

Пражский лингвистический кружок



ПРАЖСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК



СБОРНИК СТАТЕЙ

Составление, редакция и предисловие
Н. А. КОНДРАШОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1967

Настоящий сборник содержит наиболее важные и принципиальные работы преимущественно чехословацких языковедов, связанные с деятельностью Пражского лингвистического кружка и отражающие в основном классический период развития этого лингвистического направления до начала последней мировой войны.

Редакция учебников русского языка и литературы по лингвистике

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пражский лингвистический кружок (Pražský lingvistický kroužek, Cercle linguistique de Prague) возник в 1926 г. по инициативе чешского англиста и специалиста по общему языкознанию Вилема Матезиуса (1882—1945) и слависта Р. О. Якобсона, работавшего тогда в Праге. В Кружке объединились исследователи славянских и германских языков и литератур, стремившиеся на подведомственном материале осуществить структурный и функциональный подход как в области языкознания, так и в области литературоведения. Первоначально Кружок объединял в своем составе таких чехословацких филологов, как Богумил Трнка, Богуслав Гавранек, Ян Мукаржовский, Йозеф Вахек, Франтишек Оберпфальцер, Милош Вейнгарт (1890—1939), затем порвавший с Кружком, позднее к нему примкнули Йозеф Мирослав Коржинек (1899—1945), Владимир Скаличка, Людовит Новак, Карел Горалек, Павел Трост и др. В работе Кружка деятельное участие принимали, кроме Р. О. Якобсона, русские лингвисты: Н. С. Трубецкой (1890—1938), бывший профессором в Вене, и С. О. Карцевский (1884—1955), работавший с 1925 г. в Женеве. ПЛК, выработавший основные теоретические положения Пражской школы в области фонологии и грамматики, существовал, строго говоря, до начала второй мировой войны и выпустил 8 номеров своих «Трудов» («Travaux du Cercle linguistique de Prague»). Кроме того, с 1935 г. Кружок начал издавать свой периодический орган — журнал «Slovo a slovesnost», существующий (правда, на иных организационных началах) до настоящего времени. Пражский лингвистический кружок отличала необычайно живая и плодотворная связь как с западноевропейскими научными центрами и учеными, так и с русской советской наукой. На его заседаниях выступали, а также помещали свои работы в его изданиях К. Бюлер (Австрия), Л. Блумфилд (США), Л. Ельмслев (Дания), А. В. де Гроот (Голландия), Г. Улашин и В. Дорошевский (Польша), Д. Джоунз (Англия), Л. Теньер и А. Мартине (Франция) и многие совет-

ские ученые: Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Н. Н. Дурново, П. Г. Богатырев [1].

Идейные и научные позиции Пражского лингвистического кружка были более или менее полно изложены в его коллективных выступлениях на международном форуме, во-первых, в тезисах, представленных I Международному конгрессу лингвистов в Гааге (1928), и, во-вторых, в более известных тезисах, подготовленных к I Международному съезду славистов в Праге (1929).

Философско-теоретические истоки Пражской школы связаны с методологией и теорией познания неопозитивизма, с «феноменологией» Э. Гуссерля, Gestaltpsychologie и концепцией языка Т. Г. Масарика. Впрочем, эта проблема еще не вполне изучена и нуждается в более подробных разысканиях [2].

Лингвистическая концепция Пражской школы отталкивается прежде всего от младограмматической традиции языка и методов исследования, свойственных этому направлению. В течение всего XIX в. лингвистика рассматривала языковые явления почти исключительно исторически, в ряде случаев выдвигалась на первый план даже палеонтологическая тенденция. «Историческое изучение считается единственным научным методом лингвистической работы; даже если изучаются живые диалекты, то итоги этого изучения используются преимущественно для решения исторических проблем. Хотя иногда и отмечается, что язык представляет собой систему знаков, но поскольку изучаются лишь изолированные языковые факты, постольку единственно исторический метод мешает осознанию важности языковой системы. Изоляция отдельных языковых явлений препятствует также пониманию важной роли, которой обладает в языке функция» [3].

На путях построения новой лингвистической теории, которая бы превзошла атомистические и генетические концепции младограмматизма, создатели Пражского лингвистического кружка восприняли и развили дальше в цельную научную концепцию, с одной стороны, некоторые положения Ф. де Соссюра, с другой — русскую лингвистическую традицию, представленную в трудах Бодуэна де Куртенэ, раннего Щербы, Фортунатова, Шахматова и Пешковского. С концепцией Соссюра отдельные

[1] Условия возникновения ПЛК освещены в статье В. Матезиуса «Deset let Pražského lingvistického kroužku», SaS, R. II, 1936, стр. 137—145.

[2] Ср. замечания М. М. Гухман во введении «Исторические и методологические основы структурализма» к книге «Основные направления структурализма», М., 1964.

[3] В. Матезиус, Куда мы пришли в языкознании, см. В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1965, стр. 143.

представители (в частности, русские) познакомились еще в 1917 г. Одним из важных моментов этой концепции являлось разграничение диахронической и синхронической точек зрения при изучении фактов языка. Синхроническая точка зрения была теснейшим образом связана с убеждением, что элементы, существующие в языке в данную эпоху, образуют систему, в которой все взаимозависимо и значение каждого элемента которой определяется его связью с другими элементами и его положением внутри системы. Однако противоречие между синхронным изучением языка и непрерывным изменением речи еще до опубликования «Курса общей лингвистики» было подмечено В. Матезиусом в его докладе 1911 г. «О потенциальности языковых явлений» (см. стр. 42—69 наст. сб.). Правда, Матезиус отметил лишь колеблющуюся, полную факультативных и комбинаторных звуковых вариантов поверхность речи, определив последнюю как статическое колебание и противопоставив ее динамической изменчивости, проявляющейся во временно́й последовательности, но его высказывание (со ссылкой на Н. В. Крушевского) о том, что «разнообразное изменение артикуляции, видимо, сопровождается сравнительно незначительным колебанием звука», непосредственно ведет к будущему учению о фонеме. Существенны его упреки в адрес младограмматиков (их историзм, атомизм, отрыв речи от говорящего индивидуума, неправомерное упрощение лингвистического материала, априорная вера в закономерность звуковых изменений и т.п.), а также критическое замечание о сторонниках психологизма, для которых потенциальность произношения являлась первопричиной звуковых изменений.

Поскольку Пражская школа исходит из представления о языке как системе знаков, постольку для нее весьма важным оказывается понятие языковой функции. Функционирование системы знаков — основная отличительная черта языка. В понимании пражских лингвистов функция равнозначна целевой установке (термин «функция» употребляется тогда, когда речь идет о значении того или иного языкового элемента в системе языка). Понятие «функция» в ПЛК определяется не в математическом смысле как выражение строгой зависимости, а как то, что обусловлено или обусловливаемо (системой). Поэтому В. Скаличка и утверждал, что «термин «функция» означает здесь, разумеется, задачу, а не зависимость»[4]. Таким образом, в характеристику Пражской школы и ее научной концепции вносятся два определения — структурная и функциональная.

[4] Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 250.

Наиболее полное выражение взгляды ПЛК нашли в «Тезисах», представленных I съезду славистов в 1929 г. Общие положения в значительной мере здесь связаны с конкретной проблематикой изучения славянских языков.

Функциональная точка зрения ПЛК обнаруживается в первых формулировках «Тезисов»: «Являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с последней обладает целевой направленностью. Анализ речевой деятельности как средства общения показывает, что самой обычной целью говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения *язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели*» (см. стр. 17 наст. сб.). В «Тезисах» признается, что лучшим способом познания сущности языка является его синхронное описание, и указывается, что нельзя воздвигать непреодолимые преграды между синхронией и диахронией, что понятие системы и функции должно пронизывать и изучение прошлых языковых состояний. В отличие от концепции Соссюра и ученых Женевской школы ПЛК полагает, что синхроническое описание не может исключить понятия эволюции, ибо «стилистические элементы, воспринимаемые как архаизмы, во-первых, и различие между продуктивными и непродуктивными формами, во-вторых, представляют собой явления диахронические, которые не могут быть исключены из синхронической лингвистики» (стр. 18 наст. сб.).

Центром тяжести лингвистического исследования в конце 20-х и 30-х гг. для ПЛК явилась фонология. Недаром В. Матезиус отметил, что «плодотворность и гибкость новой точки зрения и новых методов проверяется прежде всего на звуковой стороне языка, и фонология становится ведущей дисциплиной в области функциональной, а также структурной лингвистики, подобно тому как историческая фонетика стала главным полем и гордостью исследования младограмматиков» (стр. 82—83 наст. сб.).

Наиболее важными в этом плане были работы Трубецкого, Якобсона, Матезиуса, Трнки и Гавранка. Особенно полным сводом взглядов на сущность и методику определения фонем явился труд Трубецкого «Основы фонологии», переведенный на русский язык Издательством иностранной литературы в 1960 г. Работы Р. О. Якобсона, посвященные принципам исторической фонологии, в частности «Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves» (TCLP, 2, 1929) и «Prinzipien der historischen Phonologie» (TCLP, 4, 247-267, 1931), будут опубликованы в сборнике ста-

тей этого автора. В настоящем сборнике мы сочли возможным напечатать богатую мыслями статью В. Матезиуса «Задачи сравнительной фонологии», в которой хорошо показаны истоки и условия возникновения пражской фонологической концепции, акцентируется внимание на типологическом изучении фонологических систем, причем особо отмечается необходимость увязать фонологию и ее достижения с изучением других уровней языка и проследить их взаимообусловленность и взаимосвязь. Подобная типологическая направленность свойственна и статье В. Скалички «О фонологии языков Центральной Европы». Она связана с теорией Н. С. Трубецкого, состоящей в выделении двух типов языковых группировок: во-первых, «языковых союзов» (Sprachbünde), характеризующихся сходными чертами в синтаксической, морфологической и фонологической системах, и, во-вторых, «языковых семей» (Sprachfamilien), которые вследствие генетического родства обладают общим фондом лексики и грамматических формативов.

Как было отмечено, наиболее развернутое изложение учения о фонеме содержится в труде Трубецкого, однако полного сходства во взглядах на проблему определения фонемы в Пражской школе никогда не было. Вследствие этого трудно сформулировать положения фонологии, разделяемые до конца всеми представителями Пражского кружка. Более или менее общепринятыми были следующие взгляды: фонема — это мельчайшее звуковое целое, посредством которого различается значение. Фонологическая система определяется как набор фонологических оппозиций, способных служить для дифференциации лексических и грамматических значений. Каждая фонема обладает своими дифференциальными признаками, обусловленными оппозициями фонем в фонологической системе того или иного языка. Среди фонологических оппозиций выделяется корреляция: это бинарная оппозиция, в которой участвует более чем одна пара фонем. При нейтрализации число дифференциальных признаков в фонемах уменьшается. В противовес фонеме, которая является элементом фонологической системы, выступает ее реализация в виде звука, обладающего, кроме дифференциальных признаков, и другими признаками, не имеющими фонологического значения. В любом языке мы находим подобное наличие фонемных вариантов. Потенциальная семантическая нагрузка дифференциальных признаков в речи используется не целиком. Однако Пражская школа не отводит исключительной роли дифференциальным признакам. О фонологических поисках и попытках дать более адекватное определение фонемы свидетельствуют статьи Й. Вахека «Фонемы и фонологические единицы» и Л. Новака «Проект нового определения

фонемы». Наконец, обзорная статья Й. Вахека «Пражские фонологические исследования сегодня» позволит читателям составить представление о развитии и конкретном применении фонологической теории к исследованию различных языков в послевоенный период.

Статья Н. Трубецкого «Некоторые соображения относительно морфонологии» посвящена морфологическому использованию фонологических средств языка и имеет принципиальное значение. С самого начала объединенной деятельности пражские лингвисты стремились распространить функциональный и структурный подход и на исследование грамматики (морфологию и синтаксис).

Если в области фонологии между членами ПЛК наблюдалось единство лишь в общих вопросах при наличии многообразных путей их конкретного применения и решения на лингвистическом материале, то в области грамматики выдвигались по крайней мере три концепции структурного подхода.

Одну точку зрения разделял Р. О. Якобсон, и его подход нашел отражение в «Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre» (TCLP, 6, 1936, стр. 240—288) и «Zur Struktur des russischen Verbum» («Charisteria», 1932, стр. 74—84), которые будут помещены в сборнике этого автора наряду с более поздними работами, также использующими материалы русского языка. В указанных работах Якобсона о падежах и спряжении проблема грамматического значения трактуется с тех позиций, которые уже нашли позитивное применение в области фонологии. Опираясь на асимметрию языкового знака и учение Трубецкого о корреляции, Якобсон настаивает на универсальной значимости бинарных привативных оппозиций при анализе грамматической системы языка. Эти построения до сих пор вызывают резкие возражения.

Из чешских членов ПЛК наиболее значительный вклад в теорию и практику структурной грамматики внесли В. Скаличка и В. Матезиус [5].

В. Матезиус стремился создать функциональную грамматику языка. Рассмотрение языковых средств с точки зрения их функций при речевом общении с учетом многообразных связей с внеязыковой действительностью было связано с принципом лингвистической характерологии и методом аналитического сравнения, с постоянным указанием на различия между языками. «...лингвистическая характерология,— писал он,— имеет дело только с важными и существенными особенностями данного языка в данный момент времени, анализирует их на

[5] См. О. Лешка, К вопросу о структурализме (Две концепции грамматики в Пражском лингвистическом кружке), ВЯ, 1953, № 5. стр. 88—103.

базе общей лингвистики и старается выяснить отношения между ними» [6]. В концепции Матезиуса наиболее важными разделами грамматики и всего исследования оказываются изучение средств и способов называния отдельных фактов действительности и изучение средств и способов объединения этих названий в предложение в рамках той или иной конкретной ситуации, то есть ономатология и функциональный синтаксис [7].

Концепция Матезиуса находит в основных моментах отражение в его рецензии «Попытка создания теории структурной грамматики», в статье «О системном грамматическом анализе» и особенно в обширной работе «Язык и стиль». Однако полностью его концепция стала известна лишь в 1961 г., после выхода в свет его книги «Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém», содержащей оба раздела (функциональная ономатология и функциональный синтаксис английского языка). Основным недостатком концепции Матезиуса оказалось некоторое игнорирование собственно морфологической структуры языка.

Весьма плодотворной явилась идея Матезиуса об актуальном членении предложения или функциональной перспективе последнего. Матезиус предложил делить предложение на «тему высказывания», служащую связующим звеном в контекстуальной связи, и «ядро высказывания», которое, собственно, и содержит новую информацию. Подобный подход иллюстрируется статьями «О так называемом актуальном членении предложения» и «Основная функция порядка слов в чешском языке».

Таким образом, исследование субсинтаксического уровня языка с учетом внелингвистической обстановки перекидывает мост от внешней структуры к внутреннему движению мысли.

В. Скаличка применил типологический подход к проблемам структурной грамматики (в частности, морфологии). Он также основывался на асимметрии языкового знака (см. его статью «Асимметричный дуализм языковых единиц»), сопоставляя морфемы как минимальные единицы морфологии с семами, составляющими минимальные единицы смыслового содержания. Собственно, Скаличка занимается изучением субморфемного уровня языка, столь важного для флективных языков, где представлена кумуляция грамматических значений. Исследование Скалички «О грамматике венгерского языка» содержит множество общелингвистических идей, порой актуальных и для современности. «Такой подход, при котором уделялось вни-

---

[6] Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 253.

[7] См. подробнее Т. В. Булыгина, Пражская лингвистика, в кн. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 94—96.

мание как форме, так и содержанию языкового высказывания, предопределил дальнейшее развитие пражских исследований по структурной грамматике, авторы которых сознательно избегали того чисто формального, антисемантического метода, который столь часто используется другими лингвистическими группами вплоть до настоящего времени» (см. стр. 326 наст. сб.). Представляют значительный интерес критические отклики на концепцию Скалички, во-первых, в названной выше статье В. Матезиуса и, во-вторых, в статье «Основная единица грамматической системы и типология языка» Л. Новака, свидетельствующие о иных воззрениях в пределах ПЛК.

Особое мнение о сущности структурной морфологии содержится в статье Б. Трнки «Несколько мыслей о структурной морфологии». Представляют интерес его «Замечания об омонимии». Статья Й. М. Коржинка «К вопросу о языке и речи» содержит оригинальный взгляд на эту проблему. Весьма показателен опыт структурного изучения междометий, принадлежащий Скаличке. Наконец, раздел завершается недавним обзором Фр. Данеша и Й. Вахека «Пражские исследования в области структурной грамматики на современном этапе», из которой читатель может получить представление о работах, появившихся в более позднее время.

Кроме работ в области фонологии и грамматики, Пражский лингвистический кружок совершенно новаторски применил функциональный подход к исследованию литературного языка и сформулировал свой взгляд на проблемы культуры речи. Хотя на первых порах именно фонология и отчасти грамматика находились в центре интересов ПЛК, однако в работах Б. Гавранка и В. Матезиуса с самого начала ставились и проблемы, связанные с изучением литературного языка. Как известно, в «Тезисах» ПЛК литературному языку и связанным с ним проблемам отведено чрезвычайно большое место. На основе своих методологических позиций ПЛК выдвинул новое понимание сущности литературного языка, обосновал теорию языковой нормы и кодификации литературного языка, разработал теорию стилей в соответствии с функциональным подходом и много сделал для теории культуры речи. Живой интерес к проблематике литературного языка был связан и с особенностями развития чешского литературного языка в 30-е годы и оживленной полемикой по этим вопросам.

Известно, что новый чешский литературный язык с самого своего возникновения не мог опереться на разговорную речь и явился во многих отношениях наиболее архаичным (особенно в области морфологии) среди славянских литературных языков. После напряженной работы по обогащению лексиче-

ского состава, развития вначале поэтических, а затем и прозаических форм в художественной литературе появилась надежда на возможность ликвидации опасного разрыва между литературным языком и разговорной речью. Однако на пути развития чешского литературного языка возникла серьезная преграда в лице чешских пуристов, опирающихся на национальные чувства, а не на существующую языковую ситуацию. Й. Зубатый позицию чешских пуристов охарактеризовал двумя ироническими тезисами: 1) все, в чем чешский способ выражения совпадает с немецким, является в чешском языке германизмом; 2) из двух способов, посредством которых в чешском языке можно выразить одно и то же, один способ должен быть всегда неправильным.

Один из редакторов журнала «Наша речь», В. Эртль, писал, что «проникновение иностранных слов — это явление естественное, и его не может избежать ни один язык. Напротив, чем больше ощущается потребность в повышении культурного уровня народа и ценности его литературы, тем более благоприятны условия для проникновения заимствований; отсутствие чуждых элементов является привилегией диалекта, изолированного от мира и ограниченного в своих средствах узким кругом понятий текущей жизни... Поэтому благоприятную почву для проникновения заимствований создает не эпоха упадка, как иногда думают, а, напротив, эпоха расцвета и подготовки к культурному подъему» [8]. Эртль выдвинул тезис о «хорошем авторе», заключающийся в убеждении, что литературный язык обязан опираться на узус лучших чешских писателей.

Носителем пуристических тенденций стал Й. Галлер, редактировавший указанный журнал и вступивший в полемику с И. Ольбрахтом, Ф. К. Шальдой, В. Ванчурой и другими «хорошими авторами». Эта полемика и практические задачи, возникшие в связи с подготовкой «Настольного словаря чешского языка», послужили поводом для публичного выступления членов ПЛК с рядом лекций о литературном языке и культуре речи, которые и составили знаменитый сборник «Spisovná čeština a jazyková kultura».

В настоящем издании приводятся статьи Б. Гавранка «Задачи литературного языка и его культура», В. Матезиуса «О необходимости стабильности литературного языка», Я. Мукаржовского «Литературный язык и поэтический язык» и «Общие принципы культуры языка», разработанные ПЛК. Позднейшая статья Б. Гавранка «О функциональном расслоении

[8] Цит. по сборнику «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932, стр. 9—10.

литературного языка» свидетельствует о стремлении на базе понятий системы и функции более точно охарактеризовать язык как сложное образование, состоящее из нескольких «слоев».

Однако функциональный подход к языку, подчеркивание функционального назначения языковых систем и практического использования языка сами по себе еще не могли предостеречь от ошибок. В «Тезисах», где рассматриваются проблемы исследования языков, выполняющих различные функции, проводится различие между интеллектуализированной и эмоциональной речевой деятельностью. Далее утверждается, что «*каждая функциональная речевая деятельность имеет свою условную систему* — язык в собственном смысле» (см. стр. 25 наст. сб.). Ошибочность этого положения становится особенно явной, когда различные языковые слои и стилевые разновидности поднимаются до уровня «языков» (например, специальные языки или функциональные стили: технический стиль, фамильярный стиль, поэтический стиль и т.п.). Дело доходит до того, что о литературном языке и о поэтическом языке говорят как о различных языках, которые отличаются друг от друга и от народного языка. Подобная методика исследования нарушает единство национального языка и свидетельствует о недостаточной ясности понимания сущности языка, его функций и признаков.

Особенно отчетливо сказывается ошибочность теоретической позиции ПЛК, роднящая их с русскими формалистами в литературоведении, при рассмотрении языка поэзии, поэтического «языка». «Тезисы» ПЛК выдвигают следующее положение: «*Организующий признак искусства, которым последнее отличается от других семиологических структур, — это направленность не на означаемое, а на сам знак*... Знак (то есть словесное выражение. — *Н. К.*) является доминантой в художественной системе, и если историк литературы имеет объектом своего исследования не знак, а то, что им обозначается, если он исследует идейную сторону литературного произведения как сущность независимую и автономную, то тем самым он нарушает иерархию ценностей изучаемой им структуры... *Нужно изучать поэтический язык как таковой* (стр. 31 — 32 наст. сб.). Естественно, что в конкретной исследовательской деятельности подобные установки открывали широкие возможности для артистизма и формализма.

В сборник включены две статьи Й. Вахека, посвященные проблемам письменного языка, и в заключение дана недавняя статья А. Едлички «О пражской теории литературного языка», анализирующая разработку нормы для современного чешского литературного языка.

Кроме того, русскому читателю следует иметь в виду, что ряд работ, которые должны были войти в данный сборник, были напечатаны в «Истории языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях» В. А. Звегинцева (ч. II., М., 1965). Это статьи В. Матезиуса «Куда мы пришли в языкознании», В. Скалички «Копенгагенский структурализм и „Пражская школа“», С. Карцевского «Об асимметричном дуализме языкового знака», Б. Трнки и др. «К дискуссии по вопросам структурализма» (первоначально в ВЯ, 1957, № 3).

Пражский лингвистический кружок (Пражская школа функциональной лингвистики) внес существенный вклад в современное языкознание. Его общелингвистические установки гораздо ближе ко многим положениям советского языкознания, чем установки других направлений структурной лингвистики. Пражцы никогда не отказывались от учета роли и значения экстралингвистических факторов в развитии языка, они не отрывали синхроническое изучение языка от диахронического, они никогда не отказывались от рассмотрения смысловой стороны языковых явлений, наконец, они стремились поставить лингвистику на службу общественным потребностям, как это было, например, с проблематикой литературного языка. Возможно, что именно эти особенности Пражской школы вызывают стремление некоторых лингвистов отлучить пражцев от структурализма, хотя именно эта школа разработала понятие структуры языка. Но в таком случае речь должна идти не о структурализме, ибо понятие структуры языка в настоящее время принимается почти всеми лингвистами, а о методах или приемах изучения структуры языка. Действительно, в трудах Пражского лингвистического кружка были детально разработаны методы изучения только фонологической структуры языка (основные понятия фонологии и методы фонологического исследования, разработка типологии фонологических оппозиций, основные положения морфонологии, решение проблем диахронической фонологии, особенности фонологических структур литературных языков). Методы изучения других уровней языка не достигли столь же подробной разработки и однозначности. Однако и здесь заслуженное признание получили такие идеи Пражской школы, как разработка учения о грамматических оппозициях, теория актуального членения предложения, разработка проблем структурной типологии языков, изучение языковых союзов, изучение функциональных «языков» и стилей и т. п.

Нам думается, что интересы истории науки и потребности советских лингвистов в какой-то степени будут удовлетворены изданием настоящего сборника.

В заключение редакция считает своим долгом выразить искреннюю признательность товарищам, оказавшим помощь при работе над сборником: акад. Б. Гавранку, Й. Вахеку и О. Лешке за советы по его составу и предоставление необходимых материалов, К. Е. Майтинской — за помощь при переводах венгерских и финских текстов, Т. В. Булыгиной-Шмелевой — за ценные указания по составу сборника, А. Стиху (ученому секретарю Института чешского языка в Праге) и П. Г. Богатыреву — за предоставление фотографий лингвистов.

Н. Кондрашов

ТЕЗИСЫ ПРАЖСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРУЖКА *

1

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ КАК О СИСТЕМЕ, И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

(Синхронический метод и его отношение к методу диахроническому; сравнение структуральное в противовес сравнению генетическому; случайный характер или закономерная связь явлений в лингвистической эволюции)

а) Представление о языке как о функциональной системе

Являясь продуктом человеческой деятельности, язык вместе с последней обладает целевой направленностью. Анализ речевой деятельности как средства общения показывает, что самой обычной целью говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения *язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели*. Ни одно явление в языке не может быть понято без учета системы, к которой оно принадлежит. Славянская лингвистика также не может игнорировать этот актуальный комплекс проблем.

б) Задачи синхронического метода. Его отношение к методу диахроническому

Лучший способ для познания сущности и характера языка — это синхронный анализ современных языков. Они являются единственными данными, предоставляющими исчерпывающий

---

* Thèses, «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (= TCLP), 1. Prague, 1929. Тезисы были напечатаны к I съезду славистов также на чешском языке.

материал и позволяющими составить о них непосредственное представление. Первоочередная задача славянской лингвистики (задача, которой до сих пор пренебрегали) заключается в том, чтобы сформулировать лингвистические характеристики современных славянских языков, без чего сколько-нибудь углубленное изучение их абсолютно невозможно.

Представление о языке как о функциональной системе должно приниматься также во внимание и при изучении прошлых языковых состояний независимо от того, предстоит ли их воссоздать или описать их эволюцию. Но нельзя воздвигать непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делала Женевская школа. Если в синхронической лингвистике элементы системы языка рассматриваются с точки зрения их функций, то о претерпеваемых языком изменениях нельзя судить без учета системы, затронутой этими изменениями Было бы нелогично полагать, что лингвистические изменения — не что иное, как разрушительные удары, случайные и разнородные с точки зрения системы. Лингвистические изменения часто имеют своим объектом систему, ее упрочение, перестройку и т. д. Таким образом, диахроническое изучение не только не исключает понятия системы и функции, но, напротив, без учета этих понятий является неполным.

С другой стороны, и синхроническое описание не может целиком исключить понятия эволюции, так как даже в синхронически рассматриваемом секторе языка всегда налицо сознание того, что существующая стадия сменяется стадией, находящейся в процессе формирования. Стилистические элементы, воспринимаемые как архаизмы, во-первых, и различие между продуктивными и непродуктивными формами, во-вторых, представляют собой явления диахронические, которые не могут быть исключены из синхронической лингвистики.

в) Новые возможности применения сравнительного метода

До настоящего времени сравнительное изучение славянских языков ограничивалось одними генетическими проблемами, в частности поисками общего прототипа. А между тем сравнительный метод должен быть использован гораздо шире; он позволяет вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции. Ценный материал для такого рода сравнения мы находим не только в неродственных или отдаленно родственных языках, различных по своей структуре, но и в языках одной семьи, например в славянских, обнаруживающих в ходе

своей эволюции наряду с многочисленными и существенными соответствиями также и резкие различия.

Значение структурального сравнения родственных языков. Сравнительное изучение эволюции славянских языков постепенно разрушает представление о случайном и эпизодическом характере конвергирующей и дивергирующей эволюции, которая проявляется на протяжении истории этих языков. Оно обнаруживает законы единства конвергирующих и дивергирующих явлений (пучок явлений). Таким образом, эволюция славянских языков создает свою типологию, то есть группирует ряд взаимообусловленных явлений в одно целое.

Давая, с одной стороны, ценный материал для общей лингвистики, а с другой — обогащая историю отдельных славянских языков, сравнительное изучение решительно отбрасывает бесплодный и ложный метод исследования изолированных фактов. Сравнительное изучение раскрывает основные тенденции развития того или иного языка и позволяет с большим успехом использовать принцип относительной хронологии, более надежной, чем косвенные хронологические указания отдельных памятников.

Территориальные группы. Определение тенденций эволюции различных славянских языков в разные эпохи и сопоставление этих тенденций с другими, засвидетельствованными в эволюции соседних славянских и неславянских языков (например, в угро-финских, немецком, балканских любого происхождения), дают материал для изучения целого ряда важных вопросов, связанных с «региональными объединениями» различного масштаба, к которым разные славянские языки примыкали в ходе своей истории.

г) Законы связи явлений лингвистической эволюции

В науках, имеющих дело с эволюцией, к числу которых принадлежит и историческая лингвистика, представление о произвольном и случайном характере возникновения явлений (даже если они реализуются с абсолютной регулярностью) постепенно уступает место понятию связи согласно законам развивающихся явлений (номогенез). Точно так же в объяснении грамматических и фонологических изменений теория конвергирующей эволюции отодвигает на второй план представление о механическом и случайном характере распространения явлений. Последствия этого таковы:

1. *Для распространения языковых явлений.* Распространение языковых явлений, изменяющих лингвистическую систе-

му, не происходит механически, а определяется склонностями воспринимающих эти изменения индивидов; эти склонности проявляются в полном соответствии с тенденциями эволюции. Таким образом, споры о том, имеют ли в данном случае место изменения, распространяющиеся из общего источника, или же факты, являющиеся результатом конвергирующей эволюции, теряют всякое принципиальное значение.

2. *Для проблемы членения «общего праязыка».* Изменяется смысл проблемы членения «общего праязыка». Единство этого языка проявляется лишь в той мере, в какой диалекты оказываются способными развивать общие изменения. Вопросом второстепенного значения, едва ли разрешимым, становится вопрос о наличии общего источника как отправной точки этих конвергенций. Если конвергенции получают преобладание над дивергенциями, то имеется основание предполагать, правда, условно, общий «праязык». Такой же подход позволяет разрешить и вопрос о распаде славянского прототипа. Понятие лингвистического единства, употребленное здесь, является, конечно, только вспомогательным понятием, предназначенным для исторического исследования, и неприемлемо в практической лингвистике. В последней критерием единства языка служит отношение говорящего коллектива к этому языку, а не объективные лингвистические признаки.

2

ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СЛАВЯНСКОЙ СИСТЕМЫ, В ЧАСТНОСТИ

а) Исследования, относящиеся к звуковому аспекту языка

Важность акустической стороны. Проблема целевой обусловленности фонологических явлений приводит к тому, что в лингвистическом исследовании на первый план выступает не двигательный, а акустический образ, так как именно последний имеет своей целью говорящий.

Необходимость различать звуки как объективный физический факт, как представление и как элемент функциональной системы. Регистрация с помощью инструментов объективных акустико-двигательных факторов субъективных акустико-двигательных образов представляет большую ценность как показатель объективных соответствий лингвистических значи-



Участники международной фонологической конференции (Прага, 1930 г.)

Стоят (слева направо): Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой, Д. Чижевский, С. О. Карцевский, А. де Гроот, А. Соммерфельт, П. Г. Богатырев, Ф. Оберпфальцер, Б. Трнка, Я. Мукаржовский, Г. Ружичич; сидят: В. Дорошевский, В. Матезиус, К. Нич, А. Белич, Г. Улашин, Ст. Романский, К. Бюлер.

мостей. Однако эти объективные факты имеют только косвенное отношение к лингвистике и их нельзя отождествлять с лингвистическими значимостями.

С другой стороны, субъективные акустико-двигательные образы являются элементами лингвистической системы лишь в той мере, в какой они выполняют функцию различителя значений. Материальное содержание таких фонологических элементов менее существенно, чем их взаимосвязь внутри системы (*структуральный принцип фонологической системы*).

Основные задачи синхронической фонологии. К числу этих задач относятся:

1. Характеристика фонологической системы, то есть составление перечня наиболее простых и значимых акустико-двигательных образов данного языка (*фонем*). При этом необходимо установить существующие между этими фонемами связи, то есть наметить структурную схему рассматриваемого языка; в частности, важно определить *фонологические корреляции* как особый тип значимых различий. Фонологическая корреляция устанавливается рядом противополагающихся фонематических пар, различающихся между собой согласно одному и тому же принципу, который может мыслиться отвлеченно от каждой пары (в русском языке, например, имеются следующие корреляции: ударность — неударность гласных, звонкость — глухость согласных, мягкость — твердость согласных; в чешском: долгота — краткость гласных, звонкость — глухость согласных).

2. Определение сочетаний фонем, встречающихся в данном языке, по сравнению с теоретически возможными сочетаниями этих фонем; определение вариаций в порядке их группировки и степени распространения этих сочетаний.

3. Установление степени использования и объема реализации данных фонем и сочетаний фонем различной распространенности; равным образом изучение функциональной нагрузки различных фонем и их сочетаний в данном языке.

4. Важной проблемой лингвистики (в частности, лингвистики славянской) является, кроме того, морфологическое использование фонологических различий (или *морфофонология*, сокращенно *морфонология*). *Морфонема* играет первостепенную роль в славянских языках. Это образ, состоящий из двух или нескольких фонем, способных замещать друг друга согласно условиям морфологической структуры внутри одной и той же морфемы (например, в русском языке морфонема *к/ч* в комплексе *рук/ч*: *рука*, *ручной*). Необходимо определить строго синхронически как все морфонемы, существующие

в каждом славянском языке или диалекте, так и место, занимаемое данной морфонемой внутри морфемы.

Фонологическое и морфонологическое описание всех славянских языков и их диалектов — насущная проблема славистики.

б) Исследование слова и сочетания слов

Теория языковой номинации — слово. Слово, рассматриваемое с точки зрения функции, представляет собой *результат номинативной языковой деятельности*, неразрывно связанной иногда с синтагматической деятельностью. Лингвистика, анализировавшая речь как совокупность объективных фактов механического характера, часто полностью отрицала существование слова. Однако с функциональной точки зрения *самостоятельное существование слова — это совершенно очевидный факт*, хотя в разных языках самостоятельность слова проявляется по-разному и даже может находиться в потенциальном состоянии. Посредством номинативной деятельности язык расчленяет действительность (безразлично, внешнюю или внутреннюю, реальную или абстрактную) на элементы, лингвистически определимые.

Каждый язык имеет свою особую систему номинации: он употребляет различные номинативные формы, притом с различной интенсивностью, например словообразование, словосложение, застывшие словосочетания (так, в славянских языках, особенно в народной речи, новые существительные образуются большей частью путем словообразования). Каждый язык имеет свою собственную классификацию способов номинации и создает свой особый словарь. Эта классификация определяется, в частности, системой категорий слов, точность, объем и внутренняя структура которой должны изучаться для каждого языка особо. Кроме того, внутри отдельных частных категорий тоже существуют классификационные различия: для существительных, например, категории рода, одушевленности, числа, определенности и т. д., для глагола — категории залога, вида, времени и т. д.

Теория номинации частично анализирует те же языковые явления, что и традиционное учение о словообразовании и «синтаксис» в узком смысле слова (значение частей речи и форм слов). Но функциональная концепция позволяет связать разрозненные явления, установить систему данного языка и дать объяснение тому, что прежний метод мог только констатировать, например объяснить функции временны́х форм славянских языков.

Анализ форм языковой номинации и классификация способов номинации не определяют еще в достаточной мере характер словаря данного языка. Чтобы охарактеризовать его, нужно изучить еще объем и точность значений в языковой номинации вообще и в различных категориях номинации в частности; определить понятийные сферы, фиксированные в элементах данного словаря; указать, с одной стороны, роль эмоциональных факторов, а с другой стороны, все возрастающую интеллектуализацию языка; установить, каким образом пополняется словарь (например, заимствования и кальки), и т. д., то есть исследовать явления, обычно относящиеся к семантике.

в) Теория синтагматических способов

Сочетание слов, если речь идет не об устойчивом сочетании, *возникает в результате синтагматической деятельности.* Впрочем, эта деятельность проявляется иногда и в форме отдельного слова. *Основное синтагматическое действие*, созидающее вместе с тем и предложение, *выражается предикацией*. Поэтому функциональный синтаксис изучает прежде всего типы сказуемых, учитывая при этом функцию и формы грамматического подлежащего. Функция подлежащего лучше всего может быть выявлена при сравнении актуального членения предложения на тему и высказывание с формальным членением предложения на грамматические подлежащее и сказуемое (в чешском языке грамматическое подлежащее не столь тематично, как во французском и английском языках; возможное вследствие незастывшего порядка слов актуальное членение чешского предложения на тему и высказывание позволяет избегнуть противоречия между темой и грамматическим подлежащим, устраняемого в других языках при помощи пассивной конструкции).

Функциональная концепция позволяет *распознать взаимные связи различных синтагматических форм* (ср. отмеченную связь между тематической природой грамматического подлежащего и развитием пассивной сказуемости) и, следовательно, их единство и концентрацию.

Морфология (*теория системы форм слов и их групп*). Лексические образования и образования лексических групп, вытекающие из номинативной и синтагматической языковой деятельности, группируются в языке в системы формального порядка. Эти системы изучаются морфологией в широком смысле слова, которая существует не как дисциплина, парал-

лельная теории номинации и синтагматической теории (традиционное деление на словообразование, морфологию и синтаксис), а перекрещивается как с той, так и с другой.

Тенденции, создающие морфологическую систему, имеют двоякое направление: с одной стороны, они стремятся удержать в формальной системе различные формы в зависимости от функций, в которых проявляется носитель одного и того же значения, а с другой — удержать также и формы носителей различных значений, объединяемых одной и той же функцией. Необходимо установить для каждого языка силу и степень распространения этих тенденций, а также расположение систем, управляемых ими.

Равным образом в характеристике морфологических систем нужно определить силу и степень распространения аналитического и синтетического принципов в выражении различных частных функций.

3

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

а) Функции языка

Изучение языка требует в каждом отдельном случае строгого учета разнообразия лингвистических функций и форм их реализации. В противном случае характеристика любого языка, будь то синхроническая или диахроническая, неизбежно окажется искаженной и до известной степени фиктивной. Именно в соответствии с этими функциями и формами изменяется как звуковая, так и грамматическая структура языка и его лексический состав.

1. Необходимо различать *внутреннюю речевую деятельность* и *реализованную речевую деятельность*. Последняя для большинства говорящих является только частным случаем, так как лингвистические формы чаще употребляются мысленно, чем в речевом процессе. Поэтому не следует обобщать и переоценивать важность для языка чисто внешней звуковой стороны, а нужно принимать во внимание также и потенциальные лингвистические явления.

2. Важным показателем характеристики языка служат *интеллектуальность* и *аффективность лингвистических проявлений*. Эти показатели либо переплетаются друг с другом, либо один из них господствует над другим.

3. Реализованная *интеллектуализованная речевая деятельность* имеет прежде всего социальное назначение (связь с другими). То же можно сказать и об *аффективной речевой деятельности*, если она стремится вызвать у слушателя известные эмоции (эмоциональная речевая деятельность); кроме того, она служит для выражения эмоции вне связи со слушателем.

В своей социальной роли речевая деятельность различается в зависимости от связи с внелингвистической реальностью. При этом она имеет либо *функцию общения*, то есть направлена к означаемому, либо *поэтическую функцию*, то есть направлена к самому знаку.

В функции речевой деятельности как средства общения следует различать два центра тяготения: один, при котором язык является «ситуативным языком» (*практический язык*), то есть использует дополнительный внелингвистический контекст, и другой, при котором язык стремится образовать наиболее замкнутое целое с тенденцией стать точным и полным, используя слова-термины и фразы-суждения (*теоретический язык*, или *язык формулировок*).

Необходимо изучать как те формы языка, где преобладает исключительно одна функция, так и те, в которых переплетаются различные функции; в исследованиях последнего рода основной проблемой является установление различной значимости функций в каждом данном случае.

Каждая функциональная речевая деятельность имеет свою условную систему — язык в собственном смысле; ошибочно, следовательно, отождествлять одну функциональную речевую деятельность с языком, а другую — с «речью» (по терминологии Соссюра), например интеллектуализованную речевую деятельность — с языком, а эмоциональную — с речью.

4. *Формы лингвистических проявлений* следующие: с одной стороны, *устное проявление*, подразделяемое в зависимости от того, видит ли слушающий говорящего или не видит его; с другой — *письменное проявление*; наконец, *речевая деятельность, чередующаяся с паузами*, и *монологизированная непрерывная речевая деятельность*. Важно определить, каким функциям соответствуют те или иные формы и степень этого соответствия.

Следует систематически изучать *жесты*, сопровождающие и дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном общении со слушателем, жесты, имеющие значение для проблемы лингвистических региональных союзов.

5. Важным фактором для подразделения речевой деятельности служат *взаимоотношения говорящих, находящихся в язы-*

ковом контакте: степень их социальной, профессиональной, территориальной и родственной связи, их принадлежность к нескольким коллективам, порождающая смешение лингвистических систем в городских языках.

Сюда же примыкают: проблема *межъязыковых связей* (языки, называемые общими), проблема *специальных языков*, проблема *языков, приспособленных для связи с иностранной языковой средой*, а также проблема *распределения лингвистических пластов в городах*.

Необходимо также (даже в диахронической лингвистике) обращать внимание на глубокие взаимовлияния различных языковых образований, причем не только с точки зрения территориальной, но и с точки зрения функциональных языков, различных форм лингвистического проявления, определенных языков различных групп и целых языковых групп.

К изучению этой функциональной диалектологии в области славянских языков еще не приступили, до настоящего времени отсутствуют, например, сколько-нибудь систематические исследования лингвистических средств выражения аффективности; следовало бы незамедлительно приступить также и к изучению языковой дифференциации в городах.

б) Литературный язык

В образовании литературного языка *политические, социальные, экономические и религиозные условия являются только внешними факторами*; они помогают объяснить, почему данный литературный язык возник именно из определенного диалекта, почему он образовался и утвердился в данную эпоху, но они не объясняют, чем и почему этот литературный язык отличается от языка народного.

Нельзя сказать, что это различие обусловлено исключительно *консервативным характером* литературного языка; если, с одной стороны, он и является в действительности консервативным в своей грамматической системе, то, с другой — он всегда проявляет себя творчески в отношении своего словаря; кроме того, он никогда не представляет только прошедшее состояние данного местного диалекта.

Особый характер литературного языка проявляется в той *роли, которую он играет*, в частности в выполнении тех высоких требований, которые к нему предъявляются по сравнению с народным языком: литературный язык отражает культурную жизнь и цивилизацию (ход и результаты научной, философской и религиозной мысли, политической и социальной, юри-

дической и административной деятельности). Эти функции литературного языка способствуют *расширению* и *изменению* (интеллектуализации) и *его словаря*; необходимость говорить о материях, не имеющих отношения к практической жизни, и о новых понятиях требует новых средств, которыми народный язык не обладает или не обладал до известного времени; равным образом необходимость говорить о некоторых предметах практической жизни точно и систематично приводит к созданию слов-понятий и выражений для логических абстракций, так же как и к более точному определению логических категорий посредством лингвистических средств выражения.

Интеллектуализация языка вызывается также необходимостью выражать *взаимозависимые и сложные мыслительные операции*; поэтому литературный язык обладает не только выражениями для абстрактных понятий, но и особыми синтаксическими формами (фразы с разного рода придаточными предложениями).

Интеллектуализация литературного языка проявляется *во все возрастающем контроле над эмоциональными элементами* (эвфемизмы).

С повышенными требованиями к литературному языку *связан и более упорядоченный и нормативный его характер*. Литературный язык характеризуется более широким функциональным использованием лексических и грамматических элементов (в частности, бо́льшая лексикализация групп слов и стремление избежать двусмысленностей, а в связи с этим бо́льшая точность средств выражения) и богатой шкалой социально-языковых норм.

Развитие литературного языка предполагает и увеличение роли сознательного вмешательства; последнее проявляется в различных формах реформаторских попыток (в частности, пуризма), в языковой политике и в более ярко выраженном влиянии лингвистического вкуса эпохи (эстетика языка в своих последовательных изменениях).

Характерные черты литературного языка больше всего представлены в монологической речи и особенно в письменных формах языка. Они оказывают сильное воздействие на разговорную форму литературного языка.

Разговорно-литературная форма языка менее удалена от народного языка, хотя и сохраняет четкие границы. Более удалена от него монологическая речь, особенно в публичных выступлениях, лекциях и т. д. Ближе всего к народному языку приближается диалогическая речь, образующая целую гамму переходных форм от нормированного литературного языка до языка народного.

Литературный язык обнаруживает две характерные тенденции: с одной стороны, *тенденцию к распространению* (expansion), стремлению играть роль койнэ, и, с другой — тенденцию *занять монопольное положение* и быть *отличительной чертой господствующего класса*. Обе эти тенденции проявляются в характере изменений и консервации звукового аспекта языка.

Все эти свойства литературного языка следует учитывать как при синхроническом, так и при диахроническом изучении славянских литературных языков. Их исследование не должно строиться по образцу исследований народных диалектов, а тем более ограничиваться рассмотрением только внешних условий жизни и эволюции литературного языка.

в) Поэтический язык

Поэтический язык долгое время оставался областью, которой лингвистика пренебрегала, и только совсем недавно было положено начало углубленному изучению его основных проблем. Это можно сказать и о большинстве славянских языков, тоже не изученных до сих пор с точки зрения поэтической функции. Правда, историки литературы время от времени затрагивали эти проблемы, но, не имея достаточной подготовки в области лингвистической методологии, не могли избежать ошибок. Естественно, что без устранения этих ошибок успешное изучение частных явлений поэтического языка невозможно.

1. Разработка основ *синхронического описания поэтического языка* должна стремиться освободиться от ошибок, заключающихся в отождествлении языка поэтического с языком общения. Поэтическая речевая деятельность с точки зрения синхронической принимает форму речи, то есть индивидуального творческого акта, приобретающего свою значимость, с одной стороны, на основе современной поэтической традиции (поэтический язык), а с другой — на основе современного языка общения. Взаимоотношения поэтического творчества с этими двумя лингвистическими системами крайне сложны и разнообразны, почему их необходимо исследовать как с точки зрения диахронии, так и с точки зрения синхронии. Специфические свойства поэтической речевой деятельности проявляются в отклонении от нормы, причем характер, тенденция и масштаб этого отклонения очень различны. Так, например, приближение поэтической речи к языку общения может быть обусловлено противодействием существующей поэтической традиции: четкие в изве-

стные периоды времени взаимоотношения поэтической речи и языка общения в другие периоды как бы не ощущаются вовсе.

2. Различные стороны поэтического языка (например, морфология, фонология и т. д.) настолько тесно связаны друг с другом, что изучение одной из них без учета других, как это часто делали историки литературы, невозможно. *В соответствии с положением о том, что поэтическое творчество стремится опереться на автономную ценность языкового знака, вытекает, что все стороны лингвистической системы, играющие в языке общения только подсобную роль, в поэтической речевой деятельности приобретают уже самостоятельную значимость. Средства выражения, группируемые в этом аспекте, равно как и их взаимоотношения, стремящиеся в языке общения автоматизироваться, в поэтическом языке, напротив, направлены на актуализацию.*

Степень актуализации различных элементов языка в каждом данном отрезке поэтической речи и в поэтической традиции различна, чем и объясняется *специфическая* для каждого случая *градация поэтических ценностей*. Естественно, что отношение поэтической речи к поэтическому языку и к языку общения оказывается в функции различных элементов каждый раз иным. Поэтическое произведение — это функциональная структура, и различные элементы ее не могут быть поняты *вне связи с целым*. Элементы объективно тождественные могут приобретать в различных структурах совершенно различные функции.

В поэтическом языке акустические, двигательные и графические элементы данной речевой деятельности, не применяемые в ее фонологической системе и графическом эквиваленте, могут актуализироваться. Однако бесспорно, что фонетические особенности поэтической речи находятся в связи с фонологией разговорного языка вообще, и *только с фонологической точки зрения можно раскрыть фонетические принципы поэтических структур*. Под поэтической фонологией понимаются особенности употребления фонологического инвентаря в сравнении с языком общения, принципы сочетания фонем (особенно в sandhi), повторения сочетаний фонем, ритм и мелодия.

Язык стихов характеризуется особой иерархией ценностей; *ритм* является организующей основой, с которой тесно связаны другие фонологические элементы стиха: мелодическая структура, повторение фонем и групп фонем. Эта комбинация различных фонологических элементов с ритмом порождает канонические приемы стиха (рифма, аллитерация и т. д.).

Ни акустическая точка зрения, ни двигательная точка зрения независимо от того, будут ли они субъективными или объективными, не могут служить основой для разрешения проблем

ритма; они могут быть разрешены лишь при подходе фонологическом, устанавливающем разницу между фонологической основой ритма, внеграмматическими сопровождающими элементами и автономными элементами. Только на фонологической основе можно сформулировать законы сравнительной ритмики. Две ритмические структуры, по виду тождественные, но принадлежащие двум различным языкам, могут быть по существу различны, если они образованы из элементов, играющих разную роль в фонологической системе каждого из языков.

Параллелизм звуковых структур, реализуемый ритмом стиха, рифмой и т. д., составляет один из наиболее эффективных приемов для актуализации различных лингвистических аспектов. Художественное сопоставление сходных между собой звуковых структур выявляет сходства и различия синтаксических, морфологических и семантических структур. Даже рифма не представляет собой абстрактно фонологического явления. Она вскрывает морфологическую структуру и тогда, когда подчеркиваются сходные морфемы (грамматическая рифма), и тогда, когда, наоборот, этого сопоставления нет. Рифма тесно связана также с синтаксисом (элементы синтаксиса, выделяемые и противопоставляемые в рифме) и с лексикой (важность слов, выделяемых рифмой, и степень их семантического родства). Синтаксические и ритмические структуры находятся в тесной связи независимо от того, совпадают или не совпадают их границы (перенос). Самостоятельная значимость этих двух структур выделяется в том и в другом случае. И ритмическая структура и структура синтаксическая оказываются акцентированными в стихах не только под влиянием норм, но также и в результате отклонений от ритмико-синтаксических норм. Ритмико-синтаксические фигуры имеют характерную интонацию, повторение которой составляет мелодическое движение, изменяющее обычную интонацию языка общения; тем самым вскрывается автономная значимость мелодических и синтаксических структур стиха.

Словарь поэзии актуализируется таким же образом, как и другие стороны поэтического языка. Он отталкивается либо от существующей поэтической традиции, либо от языка общения. Необычные слова (неологизмы, варваризмы, архаизмы и т. д.) имеют поэтическую значимость, поскольку они отличаются своим звуковым действием от обычных слов языка общения, которые вследствие своего частого употребления воспринимаются не во всех деталях своего звукового состава, а целиком; кроме того, неупотребительные слова обогащают семантическое и синтаксическое многообразие поэтического словаря.

В неологизме бывает актуализирован, в частности, морфологический состав слова. Что касается отбора самих слов, то в словарь вносятся не только неупотребительные и редкие слова, но и целые лексические пласты, которые своим вторжением приводят в движение весь лексический материал поэтического произведения.

Неограниченную возможность поэтической актуализации представляет *синтаксис* благодаря его многообразным связям с другими аспектами поэтического языка (ритмика, мелодическая и семантическая структура). Особое значение приписывается именно тем синтаксическим элементам, которые редко употребляются в грамматической системе данного языка; например, в языках с изменчивым порядком слов последний несет основную функцию в поэтическом языке.

3. *Исследователь должен избегать эгоцентризма, то есть анализа и оценки поэтических явлений прошлого или поэтических явлений других народов с точки зрения своих собственных поэтических навыков и художественных норм, привитых ему воспитанием.* Впрочем, художественное явление прошлого может сохраниться или возродиться как активный фактор в другой среде, стать неотъемлемой частью новой системы художественных ценностей, причем, естественно, его функция изменяется; само явление также подвергается соответствующему изменению. Однако история поэзии не должна переносить в прошлое это явление в его измененном виде, а должна восстановить его в первоначальной функции в рамках системы, внутри которой оно зародилось. Для каждой эпохи нужно иметь ясную, присущую ей классификацию специальных поэтических функций, то есть перечень поэтических жанров.

4. С точки зрения методологической менее всего разработана *поэтическая семантика* слов, фраз и композиционных единиц любого размера. Не изучалось также и разнообразие функций, выполняемых тропами и фигурами. Кроме троп и фигур, представленных как прием красноречия автора, не менее важными и, однако, слабее всего изученными являются объективные семантические элементы, перенесенные в поэтическую реальность и объединенные построением сюжета. Так, например, метафора представляет собой сравнение, перенесенное в поэтическую реальность. Сам *сюжет* представляет семантическую композицию, а поэтому проблемы структуры сюжета не могут быть исключены из изучения поэтического языка.

5. Вопросы, связанные с поэтическим языком, играют в исследованиях по истории литературы в большинстве случаев подчиненную роль. *Организующий признак искусства, которым последнее отличается от других семиологических структур,—*

это направленность не на означаемое, а на сам знак. Организующим признаком поэзии служит именно направленность на словесное выражение. Знак является доминантой в художественной системе, и если историк литературы имеет объектом своего исследования не знак, а то, что им обозначается, если он исследует идейную сторону литературного произведения как сущность независимую и автономную, то тем самым он нарушает иерархию ценностей изучаемой им структуры.

6. Имманентная характеристика эволюции поэтического языка часто подменяется в истории литературы характеристикой культурно-исторических, социологических и психологических идей, то есть использованием явлений, чужеродных по отношению к изучаемому явлению. Вместо изучения отношений причинности между разнородными системами *нужно изучать поэтический язык как таковой.*

Поэтические нормы славянских языков предоставляют ценный материал *для сравнительного изучения*, так как существование дивергентных структурных явлений дается здесь на фоне многочисленных конвергентных фактов. Нашей неотложной задачей является сейчас установление сравнительной ритмики и эвфонии славянских языков, сравнительной характеристики славянских рифм и т. д.

4

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

а) Если понимать под *старославянским языком* тот язык, который употребляли Кирилл и Мефодий и их последователи для литургических целей и который в течение X—XII вв. являлся литературным языком всех славян, исповедовавших православие,— то было бы методологически неверно считать этот язык одним из живых славянских языков X—XII вв. и изучать его с позиций исторической диалектологии.

Старославянский язык с самого начала не был предназначен для использования его в качестве локального языка; он широко опирался на традиции литературного греческого языка и, как и последний, со временем принял на себя роль славянского *койнэ.* В таком языке можно a priori предположить наличие искусственных образований, заимствований, а также смешения самых различных по происхождению элементов. *Можно полагать поэтому, что старославянский язык подчиняется законам развития, свойственным всем литературным языкам.*

б) Исследование старославянских текстов X—XII вв. показывает, что существует *большое количество местных редакций старославянского языка*. Если рассматривать его как язык литературный, то *нет никаких оснований считать истинно старославянской лишь какую-то одну из этих редакций*, а остальные рассматривать как отклонение от нормы и пренебрегать ими. Местные редакции старославянского языка (его литературные диалекты) можно обнаружить в результате анализа используемых писцами с X до начала XII в. языковых норм. Эти литературные диалекты старославянского языка необходимо строго отличать от живых славянских диалектов, особенности которых проникают в тексты как ошибки и незначительные отклонения от нормы, характерной для того или иного писца.

Для изучения истории старославянского языка необходимо тщательное исследование не только его южнославянских редакций и русской редакции, которая восходит к южнославянской, но и остатков чешской редакции, ее следов в древнейших религиозных текстах, написанных на чешском языке.

в) *Для того чтобы* составить представление о происхождении и составе старославянского языка, а также для целей изучения истории живых славянских языков *важно установить тот локальный славянский диалект, который был выбран Кириллом и Мефодием в качестве основы для литературного славянского языка*. Этот диалект не представляет собой какого-то одного из тех литературных диалектов, которые засвидетельствованы дошедшими до нас старославянскими текстами. Для установления этого диалекта необходимо сравнительно-историческое изучение всех литературных диалектов старославянского языка и изучение графических систем, которыми они пользовались. Сравнительное изучение древнейших текстов, использовавших тот и другой алфавит, поможет уяснить первоначальный вид славянского алфавита и фонологическую значимость его знаков.

При исследовании дальнейшей судьбы старославянского языка в его разных редакциях (*начиная с XII в.*, то есть с эпохи, когда, по-видимому, в старославянском языке начинают регулярно отражаться следы существенных звуковых изменений, происшедших к этому времени в живых славянских языках), следует употреблять наименование «среднецерковнославянский язык».

д) Очень важной и до сих пор оставленной без внимания задачей славистики является задача *научной разработки истории церковнославянского языка вплоть до нового времени*.

Столь же неотложной и важной в методологическом отношении является и проблема изучения истории *церковносла-*

вянских элементов в национальных славянских литературных языках, в частности в *русском*, а также соотношения между пластом церковнославянских элементов и пластами других элементов в этих языках. Церковнославянские элементы, обнаруживаемые в литературных славянских языках, следует изучать с точки зрения тех функций, которые они выполняют в различные периоды развития этих языков. В то же время надо попытаться решить вопрос о значимости церковнославянских элементов в литературных языках в соответствии с теми требованиями, которым литературные языки должны удовлетворять.

5

ПРОБЛЕМЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ ДЛЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Для изучения славянских языков необходимо унифицировать принципы фонетической транскрипции, то есть правила графической передачи *самых различных звуков*, при помощи которых реализуется весь набор фонем каждого языка.

Для целей синхронического и диахронического изучения языков, в частности для изучения славянской диалектологии, столь же важно условиться о принципах фонологической транскрипции, то есть о средствах передачи на письме *самого фонологического устройства* славянских языков.

Необходимо также установить принципы комбинированной транскрипции, которая является одновременно и фонетической, и фонологической.

Отсутствие стандартизованной фонологической транскрипции затрудняет работу над исследованием фонологических особенностей славянских языков.

6

ПРИНЦИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ НА СЛАВЯНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

а) *Определение пространственных (или временны́х) границ* отдельных языковых явлений представляет собой *необходимое условие метода лингвистической географии* (или истории языка); однако этот метод не следует превращать в самоцель.

Нельзя понимать территориальную локализацию лингвистических явлений как анархию отдельных автономных изоглосс. *Рассмотрение изоглосс показывает, что некоторые из них могут быть связаны в пучки*, что позволяет определить как источник, или центр, распространения группы лингвистических новшеств, так и периферийные области этого распространения.

Изучение изоглосс, перекрывающих друг друга, показывает, какие лингвистические явления находятся *в регулярной связи*.

Наконец, сравнение изоглосс представляет собой основную проблему лингвистической географии, именно проблему *научного определения лингвистических ареалов* или разделения языка на зоны согласно наиболее рациональным принципам этого деления.

б) Если ограничиться явлениями, входящими в лингвистическую систему, то можно констатировать, что *изолированные изоглоссы являются, так сказать, фикциями*, так как явления внешне тождественные, но принадлежащие двум разным системам, функционально могут различаться (например, *i* может иметь в различных украинских диалектах разную фонологическую значимость; в тех диалектах, где согласные смягчаются перед *i* < *o*, звуки *i* и *и* являются вариантами одной и той же фонемы; там же, где они не смягчаются, они представляют две различные фонемы).

Лингвистическое истолкование изолированных изоглосс невозможно, так как языковое явление как таковое, а также и его генезис и распространение не могут быть поняты без учета системы.

в) Подобно тому как в истории языка допустимо сопоставление разнородных эволюционных явлений, так и *территориальное распространение лингвистических явлений может быть сопоставлено с другими географическими изолиниями*, в особенности с антропогеографическими (границы распространения явлений, относящихся к экономической и политической географии или к материальной и духовной культуре), а также с изолиниями физической географии (изолинии почвы, растительности, климата, геоморфологические явления).

При всем этом не следует пренебрегать частными условиями той или иной географической единицы; так, например, сопоставление лингвистической географии с геоморфологией, необычайно плодотворное в условиях Европы, на восточнославянской территории имеет значительно меньшее значение, чем сопоставление изоглосс с климатическими изолиниями. Сопоставление изоглосс с другими антропогеографическими изолиниями возможно как с точки зрения синхронической, так и с

точки зрения диахронической (данные исторической географии, археологии и т. д.); однако эти точки зрения не должны смешиваться.

Сопоставление разнородных систем может быть плодотворным только в том случае, если сравниваемые системы рассматриваются как эквивалентные; если же установить между ними механическую причинную связь и выводить явления одной системы из явлений другой, то синтетическое сочетание данных систем будет искаженным и научный синтез окажется подмененным односторонним суждением.

г) При составлении карты *языковых или этнографических явлений* следует учитывать, что *распространение рассматриваемых явлений не покрывает генетического родства лингвистического или этнического порядка* и занимает часто более обширную территорию.

7

ПРОБЛЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АТЛАСА, И ОСОБЕННО ЛЕКСИЧЕСКОГО

Славянские языки так близки между собой, что различия между двумя соседними славянскими языками нередко оказываются менее заметными, чем различия между двумя соседними итальянскими диалектами. *Географически почти все славянские языки связаны друг с другом.* Непосредственно не граничат друг с другом лишь южнославянская и северославянская группы, однако каждая из них в отдельности представляет собой непрерывное географическое целое: южнославянская группа простирается от Венеции до Фракии, северославянская — от Шумавы до Тихого океана. Это обстоятельство уже само по себе наводит на *мысль о создании общеславянского лингвистического атласа*; не возникает никакого сомнения в необходимости подобного атласа. *Сравнительно-этимологическое изучение славянской лексики невозможно без установления точного ареала распространения каждого слова.* В словарях Миклошича и Бернекера, вообще говоря, имеются указания на то, в каких славянских языках можно найти соответствие тому или иному рассматриваемому праславянскому слову, но эти указания не дают точного представления о территории распространения отдельных слов, потому что границы распространения каждого отдельного слова все время накладываются друг на друга, что невозможно отразить в словаре. Точное установление лекси-

ческих изоглосс в пределах славянских языков даст возможность с новой точки зрения взглянуть на историю всех славянских языков.

Если оценивать практическую работу, связанную с составлением общеславянского лингвистического атласа, то необходимо отметить, что это дело более легкое, чем создание лингвистического атласа какого-нибудь одного славянского языка: для общеславянского атласа потребуется меньшее количество населенных пунктов, которые надлежит обследовать, и меньшее количество вопросов в вопроснике.

Практически *эта работа может быть организована так*: все академии наук славянских стран, а также неакадемические научные общества, заинтересованные в создании общеславянского атласа, назначают соответствующие комиссии. Представители всех комиссий собираются вместе для выработки единой точки зрения по следующим вопросам: а) установления количества населенных пунктов, подлежащих обследованию, и размещения точек на карте (очень важно сделать сеть обследования возможно более равномерной, конечно, с учетом различных местных особенностей); б) единой фонетической транскрипции; в) состава вопросника (перечня слов, в соответствии с которым будет производиться сбор материала).

Намеченная программа должна быть одобрена всеми академиями. Каждой академии, кроме того, придется взять на себя определенную долю обязанностей по организации и финансированию последующей работы.

Что касается славянских меньшинств в неславянских странах, то комитет представителей академий наук должен договориться с академиями наук этих стран об организации и в этих странах работы по изучению лингвистической географии славянских народов, населяющих страны, причем в соответствии с выработанной программой.

И последнее. Публикацию общеславянского лингвистического атласа должны субсидировать все академии наук славянских стран. Руководство публикацией будет осуществлять специальный комитет, выбранный вышеупомянутым совещанием представителей академий наук.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Изучение происхождения отдельных слов и изменения их значения необходимо как для лексикологии в узком смысле слова, так и для общей психологии и истории культуры; однако это

изучение не образует лексикологии как науки о словарном составе языка, ибо последний не является простым конгломератом некоего количества отдельных слов, напротив, это сложная лексическая система, в которой все слова без исключения тем или иным образом связаны друг с другом или противопоставляются друг другу.

Значение слова определяется прежде всего его отношением к другим словам, то есть его местом в лексической системе; определение же места слова в лексической системе возможно только после изучения *структуры* данной системы. Этим изучением и нужно заняться в первую очередь, тем более что до последнего времени слова как части лексических систем и как проявление структуры данных систем почти не изучались. Многие лингвисты полагали, что в противоположность морфологии, образующей строгую систему, словарь представляет собой хаос, в котором, пользуясь алфавитом, можно навести только чисто внешний порядок. Это очевидное заблуждение. Правда, лексические системы намного сложнее и шире систем морфологических, так что лингвистам вряд ли удастся когда-либо представить их с такой же ясностью и точностью, как последние; однако, *если слова действительно противопоставлены друг другу или взаимосвязаны*, *то они образуют системы*, *формально аналогичные системам морфологическим*, *и*, *следовательно*, *тоже могут изучаться лингвистами*. В этой области, еще мало разработанной, лингвист должен работать не только над исследованием самого материала, но и над разработкой правильных методов.

Каждый язык в каждую эпоху обладает своей особенной лексической системой. Но оригинальный характер каждой из этих систем выступает с особенной ясностью только при сопоставлении одной системы с другой. Большой интерес в этом отношении представляют языки, находящиеся в тесном родстве, так как именно при наличии большого сходства лексического *материала* индивидуальные признаки *структуры* различных систем выявляются с наибольшей ясностью. В этом отношении славянские языки предоставляют такие удобные и благоприятные условия для исследований, каких почти нет в других языках.

9
ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И КРИТИКИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Под культурой языка понимается четко выраженная тенденция к развитию *в литературном языке* (*как разговорном, так и книжном*) *качеств, требуемых его специальной функцией.*

Первым из этих качеств является *устойчивость*; литературный язык должен избегать всяких бесполезных отклонений и опираться главным образом на глубокое языковое чутье; вторым качеством является *способность передавать ясно и точно, со всеми тонкостями, без напряжения, самые разнообразные оттенки*; третье качество — это *оригинальность языка*, то есть культивирование всех тех признаков, которые придают ему специфический характер. Развивая эти качества, приходится принимать одну какую-либо из различных возможностей, существующих в языке, или же превращать скрытую тенденцию языка в намеренно используемые средства выражения.

Что касается *произношения*, то из вышеуказанных основных качеств вытекает необходимость установить определенное произношение там, где еще допускается сосуществование нефункциональных вариантов (например, в чешском sh имеет двоякое произношение — sch или zh: shoda и т. д.; ě в сербском — троякое: ije, je или e).

Орфография, являясь продуктом чистой условности и практики, должна быть легкой и ясной в той мере, в какой это позволяет ее функция зрительного различения. Частое изменение орфографических правил, особенно если это не служит их упрощению, находится в противоречии с принципом устойчивости. Однако в тех случаях, где орфографические несоответствия исконных и иностранных слов вызывают колебания в произношении (например, чешское s в иностранных словах имеет двоякую значимость — s и z), они должны быть устранены.

В формах номинации нужно учитывать индивидуальность языка, то есть не следует при отсутствии настоятельной необходимости в этом использовать неупотребительные или малоупотребительные в языке формы (например, в чешском — сложные слова). Что касается *источников пополнения словаря*, то лексическому пуризму нужно противопоставить стремление к максимальному обогащению словаря и его стилистическому разнообразию; однако наряду с богатством словаря нужно добиваться также точности его смысла и устойчивости там, где этого требует функция литературного языка.

В области *синтаксиса* необходимо стремиться не только к индивидуальной лингвистической экспрессивности, но и к богатству возможных дифференциаций значений. Таким образом, с одной стороны, следует культивировать черты, свойственные данному языку (глагольное выражение в чешском языке), а с другой — нельзя из-за синтаксического пуризма уменьшать число такого рода возможностей, правомерность которых находится в зависимости от особой функции языка (именная конструкция в юридическом и других специальных языках).

Для индивидуальной экспрессивности языка *морфология* имеет значение только в своей общей системе, но не в частностях. Поэтому с функциональной точки зрения она не играет той роли, какую приписывали ей пуристы старого типа. Необходимо, следовательно, следить за тем, чтобы бесполезные морфологические архаизмы не увеличивали без надобности расстояния, существующего между книжным и разговорным языками.

Очень важен для культуры языка упорядоченный *разговорный язык*. Он представляет собой источник, к которому всегда можно обращаться для оживления книжного языка и который создает благоприятные условия для выработки языкового чутья, столь необходимого для создания устойчивости литературного языка.

Как и разговорный литературный язык, книжный литературный язык тоже служит средством для выражения умственной жизни. При этом он заимствует немало ценного в данной области культуры у других языков; естественно, таким образом, что общность этой культуры отражается в литературном языке, и было бы неправильно бороться против этого во имя чистоты языка.

Забота о чистоте языка находит свое отражение в культуре языка, как это и вытекает из предыдущих объяснений, но всякий преувеличенный пуризм вредит истинной культуре литературного языка независимо от того, какой это пуризм: с логическими, историческими или народническими тенденциями.

Культура языка совершенно необходима для большинства литературных славянских языков, ибо эти литературные языки или сравнительно молоды, или претерпели перерывы в своем развитии.

В последнее время ведется интенсивная работа в области упорядочения существующих литературных славянских языков и создания литературных языков для тех этнических групп, которые их до сих пор не имели. Функциональная лингвистика должна занять в этой работе главенствующее положение; она должна выбрать из всего разнообразия фонологических и

грамматических вариантов те варианты, которые по их различительной силе и широте распространения наиболее пригодны для литературного языка; она должна создать алфавит и орфографию, основанные, однако, не на принципах фонетической транскрипции или соображениях диахронии, а на принципах синхронической фонологии с ее системой фонологических корреляций, которая дает наиболее экономную графическую систему; она должна разработать словарь, в частности терминологию, и здесь не должно быть места националистическому и архаизирующему пуризму, ибо неумеренный пуризм любого толка ведет к обеднению словаря, он порождает ненужную синонимичность в сфере терминологии, ограничивает терминологию словами, этимологически связанными с обиходной лексикой, допускает в качестве терминов слова, ассоциирующиеся с другими словами или аффективно окрашенные, и, наконец, придает научной терминологии чрезвычайно локальный и узкий характер.



В. Матезиус

О ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ *

Термин «потенциальность» (я понимаю под этим статическое колебание, то есть неустойчивость в данную эпоху, в противоположность динамической изменчивости, проявляющейся во временно́й последовательности) применяется в языкознании, собственно говоря, по отношению к двум явлениям.

Прежде всего можно говорить о статическом колебании языка у индивидуумов, образующих языковой коллектив. Может быть, это явление связано не только с проблемой диалекта, но и с *языком как предметом языковедческого исследования.* Хотя языкознание по необходимости исходит из речи отдельного лица, все же оно этим не ограничивается; от конкретных высказываний индивидуума наука обращается к его речевым навыкам, к его речи, и, наконец, к диалекту и языку, то есть к языковым навыкам, свойственным большему или меньшему языковому коллективу. Следовательно, *теоретически* язык содержит все языковые явления, которые присущи конкретным высказываниям всех говорящих, принадлежащих в данную эпоху одному и тому же большому языковому коллективу, который называется нацией. *В действительности* же языкознание, конечно, никогда не сможет удовлетворить выдвинутым выше требованиям. Это обусловлено не только огромным богатством языковых явле-

* Vilém Mathesius, O potenciálnosti jevů jazykových, «Věstník královské české společnosti nauk» (Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná), R. 1911, Praha, 1912, стр. 1—24.

нии вообще, но главным образом тем, что ежедневно — особенно в обществе с развитой духовной жизнью — возникают новые, хотя и недолговечные явления, а при изучении языков уже издавна обращается внимание только на главные черты, к которым применимы примитивные методы анализа. Такое упрощение, неодинаковое, конечно, для разных языков и для различных видов языковых явлений, возникает и сохраняется чаще всего бессознательно; в результате мнимая простота языковых явлений зачастую рассматривается не как следствие лингвистического метода, а как действительное свойство этих языковых явлений, что нередко приводит к пагубным ошибкам. Таким образом, развитие науки показывает, что в языкознании наряду с общенаучным стремлением выявить наиболее общие законы существует и должна быть развернута еще более сильная борьба против излишнего и механического упрощения фактов.

Более важным, по крайней мере на современном этапе лингвистического исследования, представляется мне указание на потенциальность языковых явлений: на статическое колебание речи индивидуума. На первый взгляд не заметно большой разницы между содержанием предыдущего абзаца и существом поднятого вопроса. В действительности, однако, некоторые лингвисты, отчетливо сознавая, что речь отдельных представителей одного и того же языкового коллектива различна, все же приписывают речи индивидуума чрезмерное постоянство. Укажу хотя бы на *Эртеля* (Oertel), который в своих «Lectures on the study of language» (Нью-Йорк — Лондон, 1902), изложив весьма дельные соображения по поводу проблемы диалекта и языка, утверждает, что языковые навыки взрослого индивидуума при нормальных условиях неизбежно должны быть постоянными [1].

Исследователи *Бурдэн* и *Руссело*, на которых ссылается Эртель, выражаются, однако, гораздо осторожнее, в чем мы убеждаемся, обращаясь к их трудам, не удовлетворившись отрывочными цитатами, приводимыми Эртелем на стр. 104. Так, хотя *Бурдэн* в начале своей статьи «L'évolution phonétique du langage» (см. «Revue philosophique de la France et de l'étranger», 26, 1888, стр. 344) и подчеркивает, что речь взрослого человека представляет собой совокупность актов, закрепленных

---

[1] Первое высказывание создает слабую диатезу (= определенную психофизиологическую склонность, стр. 102), в результате которой второе высказывание будет похоже на первое; но, подобно любому высказыванию, оно будет воздействовать на диатезу и усилит ее. У взрослых, однако, диатеза в нормальных условиях должна быть постоянна, а соответствующие высказывания должны быть сходными (стр. 103).

обычаем [2], однако в заключительных абзацах статьи он утверждает, что индивидуальная речь хотя и незначительно [3], но все же изменяется, и, следовательно, не считает постоянство индивидуальной речи совершенно абсолютным, как это вытекает из высказываний самого Эртеля. Также и *Руссело* в своем известном исследовании «Les modifications phonétiques du langage» (цитирую по первоначальной публикации в «Revue des patios gallo-romans», IV—V, 1891—1892) ограничивает тезис о том, что речь одного и того же индивидуума постоянна [4], тремя условиями: во-первых, тем, что это постоянство касается только самого характера звуков и не распространяется на второстепенные свойства, например долготу, резкость и интенсивность, во-вторых, тем, что оно (то есть постоянство) нарушается аналогией, и, наконец, тем, что оно не присуще словам заимствованным. О нефонетических чертах Руссело, однако, ничего не говорит. Очевидно, даже лингвисту, столь хорошо и полно осведомленному, каким предстает Эртель в упомянутой книге, колебания в индивидуальной речи кажутся такими незначительными и несущественными, что, несмотря на оговорки Бурдэна и прямое ограничение Руссело, последний возводит постоянство в принцип. Тем большее право на существование, на наш взгляд, получает настоящая работа, цель которой — доказать, что статическое колебание представляет собой важное свойство языковых явлений и что признание этой истины помогает решить ряд любопытных лингвистических вопросов.

Начну с анализа фонетической стороны, которая обладает, по-видимому, наибольшим постоянством; чтобы придать своим доказательствам как можно большую точность, приведу прежде всего данные, полученные объективным экспериментальным путем.

Весьма поучительными являются результаты новейших исследований о *длительности звуков* в речи образованных кругов южной Англии. Для наших целей достаточно обратить внимание на ударные гласные в односложных словах. В исторических грамматиках справочного типа, таких, например, как «Истори-

---

[2] Язык взрослого человека можно рассматривать как совокупность актов, закрепленных повторением и ставших привычными.

[3] Тем не менее мы замечаем, что исследование еще более усложнится, если мы обратимся к речи индивидуума и к ее едва заметным видоизменениям, которые произношение этого индивидуума может претерпевать в различные моменты его существования (стр. 369).

[4] Говор одного и того же лица устойчив.

ческая грамматика английского языка» *Калужа*, в ударных слогах обычно различаются гласные краткие (например, æ в словах back, bag и т. д.; e — в set, bed и т. д.; i — в it, bid и т. д.), гласные долгие (например, ā в словах staff, ask и т. д.; ə̄ в stir, dirt, herd и т. д.) и дифтонги (например, ai в словах dry, bite, bride и т. д.; ei — в way, gate, made и т. д.). Однако специалистам по фонетике уже давно известно, что дело обстоит гораздо сложнее. *Суит* в своем «Handbook of Phonetics», изданном в 1877 г., впервые более подробно проанализировал вопрос о длительности звуков в односложных английских словах. По степени длительности он различает гласные трех видов: долгие, полудолгие и краткие. Долгими являются только дифтонги и так называемые долгие гласные в исходе (а именно, в приведенных примерах гласные в словах stir, dry, way) и перед звонкими согласными (например, в словах herd, bride, made). Полудолгими являются дифтонги и так называемые долгие гласные перед глухими согласными (например, в словах staff, ask, dirt, bite, gate) и так называемые краткие гласные перед звонкими согласными (например, в словах bag, bed, bid). Краткими, наконец, согласно Суиту, являются только так называемые краткие перед глухими согласными (в приведенных примерах back, set, bit). *Фиетор* (Viëtor) продвинулся еще далее, исследовав длительность экспериментальным путем («Elemente der Phonetik», изд. 3-е, стр. 271); при этом обнаружились еще большие различия. Однако в своем распоряжении Фиетор имел небольшой материал, а его объектом был англичанин, уроженец Австралии. Поэтому исследование было дополнено обстоятельной работой *Э. А. Мейера* «Englische Lautdauer. Eine experimentalphonetische Untersuchung» («Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala», VIII, 3, Упсала — Лейпциг, 1903). Автор приводит в этом исследовании результаты почти 5000 экспериментов, произведенных на двух англичанах, уроженцах южной Англии; из этих результатов мы можем, например, выбрать данные, показывающие длительность гласных у Суита в сотых долях секунды *:

а) краткие гласные (по Суиту):

ə nip 10.7*	ɔ fɔp 19.7	ɔ mæp 21.7
ə hwip 14.6 } ə hwip 15.4 }	ɔ pɔp 20.6	ə kæp 22.8

* Шкала измерений длительности, приведенная в статье В. Матезиуса, построена по редко применяемой системе, в соответствии с которой показатель 10.7 равен 107 миллисекундам.— *Прим. ред.*

б) гласные и полудолгие дифтонги (по Суиту):

ə nib	20.0	ə bɔb	31.0	ə mæb	34.8
ə bib	24.9	ə fɔb	31.6	ə kæb	37.5
ə hijp	18.8	ə suwp	19.7	ə paip	24.9
ə pijp	19.8	ə suwp	20.7	ə raip	25.4
		ə šāp	29.2		

в) гласные и долгие дифтонги (по Суиту):

ə nij	29.5	tu duw	30.5	ə nou	31.3	tə vau	39.0
ə fij	30.0	tu duw	33.0	ə fou	33.1	tə bau	39.2
ə lij	32.0			ə tou	37.6	ə bau	41.2
						ə bau	41.4
						ə kau	43.2

ə nijd	33.6	tə buwd	32.9	ə baud	39.9
ə lijd	35.2	tə buwd	36.4	hi baud	43.2
ə bijd	38.8	hi kuwd	34.7		
ə sijd	34.0	hi kuwd	34.8		
		hi kuwd	42.7		

Подобные результаты, естественно, привели Мейера к новой формулировке правила Суита, в которой наиболее важным является то положение, что гласный при одинаковых условиях тем короче, чем больше поднят язык при его произношении. Учитывая результаты, полученные Мейером путем измерений, нельзя оставлять без внимания и различия в длительности отдельных гласных и дифтонгов. Не только одни и те же гласные и дифтонги характеризовались перед одними и теми же согласными в разных словах различной длительностью, но каждый раз иной была длительность гласного при двухкратном или трехкратном произношении одного и того же слова (в примерах это указано фигурными скобками), несмотря на то, что эти слова произносились изолированно одним и тем же лицом, и, как автор заверяет, с естественной силой звука и в тоне спокойного утверждения. Мы видим, следовательно, что даже при вполне тождественных условиях длительность ударных гласных в односложных английских словах не является постоянной, а колеблется в силу своей потенциальности.

Пределы возможного колебания длительности гласных у одних и тех же слов в связной речи показывает анализ речи американских англичан, данный *Скрипчером* в его работе «Elements of experimental phonetics» (Нью-Йорк, 1902). Там в тождественном предложении непосредственно перед паузой трижды встречается слово glœs (европейское произношение: glās), и длительность гласного œ при этом в сотых долях секунды равна соответственно: 57—45—35. Дважды встречается

там и слово rabin (европейское произношение: rɔbin) перед паузой, причем гласный *a* в этом слове в первый раз отмечен длительностью 14, а во второй — 10.3 сотых секунды, а гласный i — в первый раз равен 5.6, а во второй — 8.2 сотых секунды. Результаты измерения *Фиетора* поражают своей амплитудой. Даже в произношении одного и того же лица гласный, например, в слове pad длится сначала 55, затем 35 и, наконец, 25 сотых секунды, а дифтонг в слове bide первый раз имеет длительность 25, второй — 30, а третий — 15 сотых секунды.

Колебание длительности английских гласных, однако, не является совершенно произвольным, оно ограничивается пределами, на которые обращает внимание Мейер в главе «Хронологические рамки артикуляций». При этом амплитуда колебаний у разных гласных неодинакова. Мейер устанавливает (признавая при этом недостаточность исследованного материала), что гораздо меньшее колебание наблюдается в группе, именуемой «напряженными гласными» (то есть ij, uw, ou, ei, ai, au, ō, ā, ə̄), в противоположность «ненапряженным гласным» (то есть i, u, a, e, ɔ, œ) и что, по-видимому, колебание возрастает в связи с более высокой степенью подъема языка. С иных позиций рассматривает колебание английского количества *Веррье* в одной из глав первого тома своего «Essai sur les principes de la métrique anglaise» (Париж, 1909), излагая, однако, результаты своего субъективного слухового наблюдения и касаясь в первую очередь слогов: дело в том, что, как и *Зиверс* («Phonetik», § 707), Веррье различает в английском языке слоги продолжительные и непродолжительные. Продолжительными под ударением являются якобы все долгие слоги; если слог долгий от природы, то удлиняется гласный элемент (например: *a···mz* = arms, *la···f* = laugh, *nou···* = no и т. д.); если долгота обусловлена позицией, то удлиняется элемент согласный (*wel···* = well, *wan··· də* = wonder и т. д.). Непродолжительными под ударением являются краткие слоги, вместо которых удлиняются следующие безударные слоги, всегда выступающие как долгие (*píti···* = = pity, *stédi···* = steady и т. д.). Однако пределы колебания не являются единственным ограничением потенциальности английского количества. Обратимся к таблице, с помощью которой Мейер наглядно показал (на стр. 101 своего труда) колебания в длительности начальных p, b, f, l.

Наиболее интересным является сопоставление результатов для звуков b и f; эти звуки имеют одинаковый коэффициент возможностей, но значительно различаются по результатам: при b количество случаев увеличивается до 10 сотых секунды, при f — до 12 сотых секунды. В соответствии с этим расчеты

Звуки	Установленная длительность (в сотых долях секунды)											
	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19
p		2	10	8	15	10	9	6	6	4	1	2
b	3	15	27	20	11	4	2	4				
f	2	1	5	8	8	7	4	2				
l		4	7	111	14	4	1					

(число измерений)

Мейера показывают, что средняя длительность начального b в его опытах составляла 11.8 сотых секунды, тогда как средняя длительность начального f была равна 12.5 сотых секунды. Следовательно, можно сказать, что *длительность английских звуков в настоящее время статически изменчива, потенциальна, однако амплитуда длительности у отдельных звуков различна и в пределах последней отдельные конкретные случаи распределяются всегда по определенной линии, которую можно выявить статистическим методом. Направленность этой линии определяется влияниями, которые хотя и не являются столь сильными, чтобы можно было определить амплитуду длительности вполне однозначно и сделать возможными, например, точные расчеты действующих сил, что наблюдается хотя бы в физике, но все-таки проявляются вполне отчетливо. Наименование «законы» в применении к подобным лингвистическим данным вело бы к неправильному представлению о влияниях слишком абсолютных, и поэтому лучше использовать другой термин, назвав последние хотя бы статическими тенденциями.*

Приведенного, вероятно, достаточно для доказательства того, что потенциальность фонетической стороны речи не является чем-то совершенно нереальным и неизвестным. Кроме того, в тех же словах с тем же значением и в той же связи нам удалось бы найти немало интересного материала относительно *высоты тона* отдельных звуков и относительно их *интенсивности*. Что касается собственно *качества* звуков, то Руссело считает его в указанной выше работе постоянным. Я же подчеркиваю только то, на что указывает Скрипчер в некоторых местах своих трудов, например при анализе дифтонга ai (см. «Researches in experimental phonetics», First series, Stud. Vale Psych. Lab., 1899), затем в извлечении, напечатанном в качестве второго дополнения к «Elements of experimental phonetics» и, наконец, при изложении так называемого качественного анализа звуковых кривых в «Researches of experimental phonetics», изданных

институтом Карнеги (Вашингтон, 1906). В своей работе Скрипчер характеризует общий характер английских звуков — разумеется, в американском варианте — следующим образом: «Произносимые звуки — это факты, подлинная сущность которых заключается в изменении от одного мгновения к другому (стр. 41). Звуковые кривые, а следовательно, и звуки, ими обозначаемые, нерегулярны, подобно листьям деревьев: две никогда не совпадают полностью, но отдельные кривые одной и той же разновидности похожи друг на друга и отличаются от кривых других разновидностей» (стр. 49). Итак, вновь потенциальность, но замкнутая в определенные границы и проявляющаяся также в виде статической тенденции.

Фонетика предоставила нам материал для определения понятия языковой потенциальности. Морфологическая сторона, под которой я подразумеваю все, что относится к форме слов и предложений, свидетельствует о том, что принятие языковой потенциальности позволит нам решить некоторые спорные вопросы лингвистики.

Прежде всего, не решен еще вопрос о *самостоятельности слова*[5] *в предложении*. Освещение этого вопроса представляет в любопытном свете историю лингвистических исследований за последние пятьдесят лет. Поскольку лингвистический материал долгое время пополнялся лишь фактами из древних языков (выступая в упрощенном и закоснелом виде из-за условного правописания), а также, очевидно, вследствие логического анализа, постольку самостоятельность слова в предложении считалась чем-то само собой разумеющимся. Отсюда можно сделать вывод, что наряду с фонетикой не менее важна и морфология. В связи с этим, например, *Миклошич* рассматривал синтаксис как часть грамматики, где говорится лишь о значении словесных видов и форм («Vergleichende Grammatik», IV, 1). *Рис* решительно протестовал против определения Миклошича («Was ist syntax?», Марибор, 1894), но не обратил никакого внимания на проблему самостоятельности слова: она была для него очевидной. Исследованием этой проблемы впервые стали заниматься современные фонетисты, которые, изучая

[5] Как известно, я рассматриваю слово в качестве формального языкового факта, а не в плане содержания. Формально определяет слово, например, Финк: «Слово — это мельчайшая единица речи, не связанная определенным образом с другими звуковыми комплексами» (см. «Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft», Галле, 1905, стр. 30). Это определение, собственно говоря, исключающее так называемые дистантные конструкции, целиком согласуется с моим взглядом на сложные слова и сочетания («Sborník filologický», 1910). Определение Диттриха (см. «Idg. Forsch.», 25, стр. 16) смешивает критерии формальные с критериями смысловыми.

живую разговорную речь, обратили внимание на то, что самостоятельность слова в предложении не является раз и навсегда установленной. *Суит* в своей интересной попытке статически проанализировать современный английский язык («Words, logic and grammar», Transactions of the Philological Society, 1875—1876, Лондон, 1877, стр. 470—503), вероятно, первый заявил, что слово не является единицей разговорной речи. Поэтому в своей работе «Elementarbuch des gesprochenen English» (изд. 3-е, Оксфорд, 1904) Суит делит звуковые ряды на так называемые stress-groups (ударные группы), начиная каждый новый сегмент по принципу музыкальной нотации ударным звуком. Последователем Суита был *Зиверс* (см. его «Grundzüge der Phonetik», изд. 4-е, Лейпциг, 1893), который, обладая тонким восприятием действительности, сразу заметил, что нельзя аподиктически отрицать самостоятельность слова даже с фонетической точки зрения. Поэтому он утверждает, что устное предложение в *наивной* речи фонетически вполне стандартно, что его фонетическая стандартность тем нерушимее, чем наивнее речь, и что вообще фонетическое членение на такты четче, чем этимолого-логическое членение на слова и словосочетания даже у лиц, обученных грамматике. На Зиверса и отчасти на изложение *Зарана* в «Deutsche Verslehre» (Мюнхен, 1907) опирается *Диттрих* (последняя работа—«Konkordanz und Diskordanz in der Sprachbildung»—в «Indogermanische Forschungen», 25, стр. 1—37), который переносит фонетическую теорию о несамостоятельности, или неэкзистенциальности, слова в область синтаксиса и создает на базе лишь нескольких примеров Зиверса целую теорию о синтаксическом несоответствии, на основании чего можно утверждать, что существуют также предложения без слов (например: wosìntigə...fánənən?). В результате такого рода доказательств эта важная проблема была выведена из узкой сферы фонетики на широкую дорогу общелингвистического исследования, где самостоятельность слова не была еще ничем поколеблена. Намеки на ее проблематичность есть, например, у *Бругмана*, который, однако, ограничивается кратким замечанием о том, что разбить предложения на слова удается не всегда («Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen», Страсбург, 1902—1904, стр. 281—282), и у *Мейе* («Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes», Париж, 1908, стр. 108—111), который хотя и говорит, что слово как явление фонетическое нельзя определить точно, но приводит два обстоятельства, доказывающих, что индоевропейское слово отчетливо ограничено и со стороны фонетической, а именно особым характером конечных звуков и определенным местом ударения. Наконец, следует напомнить, что психологи

и психологи-лингвисты, исследующие духовную деятельность при говорении, также обращались к проблеме самостоятельности слова, пытаясь решить, как возникает устное предложение,— укажем здесь лишь на главы *Вундта*, излагающие по преимуществу историческую точку зрения (см. «Wort und Satz. Ursachen der Wortsonderung» в «Völkerpsychologie», I. «Die Sprache», I, Лейпциг, 1900, стр. 560 и сл.), и на мысли *Финка*, использующего также и чисто лингвистические критерии («Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft», Галле, 1905, стр. 29 и сл.). Я попытаюсь дать лишь общий ответ на этот вопрос, опираясь только на лингвистические факты.

Многие высказываются за, многие — против. Фонетисты, защищающие теорию полного исчезновения слова в предложении, могут по праву сослаться на акустическое впечатление, которое препятствует, например, иностранцу, слушающему незнакомую речь, распознать в ней отдельные слова и которое, по словам Скрипчера («Researches in experimental phonetics», издано институтом Карнеги в Вашингтоне, 1906, стр. 45), подтверждается и объективными инструментальными записями. Они могут также сослаться на случаи переразложения, имеющие место в некоторых языках; это явление наблюдается, например, в английском языке: ān efeta > an ewte > a newte, a newt; a nadder (ср. нем. Natter) > an adder и т. д. (см. Ch. S c o t t, English words which have gained or lost an initial consonant by attraction, Transactions of the American Philological Association, 1892—1894, и B. F e h r, Zur Agglutination in der englischen Sprache. Festschrift zum 14. Neuphilologentage in Zürich, 1910); они вправе сослаться также и на то, что не всегда еще лингвисты могут установить точно, сколько слов представлено в том или ином конкретном случае: одно или два слова. Ошибки необразованных людей при делении на слова на письме, которые приводит для доказательства несамостоятельности слов, например, *Пасси* («Petite phonétique comparée des principales langues européennes», Лейпциг, 1906), могут указывать лишь на то, что границы слов не являются очевидными: отсутствие таких границ еще ничего не доказывает, поскольку в каждом языке существует немало различных явлений, о которых говорящий, не имеющий лингвистической подготовки, даже и не подозревает.

Доводы против теории о безусловном исчезновении слов в предложении оказываются не менее вескими, и на них, поскольку при современном состоянии проблемы они считаются более важными, я остановлюсь подробнее. Прежде всего я коснусь динамических явлений, то есть таких, которые вытекают

из фактов исторического развития. Я не буду упоминать о различных изменениях конечных слогов, потому что для последних более важным, чем конечная позиция, является безударность или степень удаленности от главного ударения. Наиболее интересными оказываются чешское и польское ударения, греческие акцентологические правила, а возможно, и германское перемещение ударения (если оно явилось, как показывают новейшие работы, механическим перемещением ударения на первый, а не только на корневой слог). Наиболее убедительными, однако, мне представляются те случаи, когда на развитие ударения оказывает влияние длина слов, на что в последнее время особое внимание обратил *Вакернагель* в статье «Wortumfang und Wortform» (см. «Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-hist. Klasse», 1906, стр. 146 и сл.). В этой работе указывается, что употребление или неупотребление аугмента в древнеармянском, а также в гомеровском греческом, в «Ригведе» и в среднеиндийских диалектах зависело от длины словесной формы. Любопытно также замечание *Висслера* о диалекте, который развился в Швейцарии из литературного французского языка («Das schweizerische Volksfranzösisch» в «Romanische Forschungen», 27, стр. 723 и сл.). В первоначальном диалекте швейцарцев всегда наблюдалось, как и во французско-провансальских диалектах, изобилие пароокситонов, потому что в таких словах безударный конечный гласный часто сохранялся (gutta > gŏta, fenestra > fənītra и т. д.). Эта словесная схема удержалась и в указанном диалекте, так что к конечному согласному французских слов, в том случае если он сохранился, присоединялось -ə, в результате чего слово становилось пароокситоном: en cass*e* de malheur; œ̃n ǫmə də sǭrt и т. д.

Из статических критериев самостоятельности слова в предложении необходимо упомянуть следующий: слова в предложении более или менее подвижны, тогда как слоги, составляющие слово, неподвижны. Решающую роль здесь все-таки играют критерии фонетические, наиболее убедительно опровергающие мнение тех фонетистов, которые утверждают, что слов в разговорной речи, собственно говоря, не существует. Применительно к французскому и английскому языкам такие выводы делают представители экспериментальной фонетики — *Руссело* («Principes de phonétique expérimentale», Париж, 1901—1908, стр. 972—974), который нашел разницу в произношении звуковых рядов: comte Roland — contrôlant; donne à Pierre — donna Pierre, и *Э. А. Мейер* («Englische Lautdauer», стр. 33), обнаруживший разницу между a name и an aim. Для других языков подобные экспериментальные факты мне не известны (во фран-

цузском же и английском языках необходимы дальнейшие исследования), но зато в немецком и чешском встречаются другие интересные и ценные факты, свидетельствующие о самостоятельности слова в предложении, например так называемый гортанный приступ (coup de glotte, glottal catch, фонетическое обозначение: ʔ; см. о нем, например, J e s p e r s e n, Lehrbuch der Phonetik, Лейпциг, 1904, § 76; F r i n t a, Novočeská výslovnost, Прага, 1909, стр. 41—47).

На этом явлении вообще можно прекрасно наблюдать разные формы лингвистической потенциальности. Тогда как в языке южноанглийских образованных слоев это явление отсутствует (hi͜ ānsəz, ət͜ ɔl) и может появиться лишь при искусственном делении слов (см. S c r i p t u r e, Elements of experimental phonetics, стр. 278—279), в обычном датском произношении (rigssproget) оно является постоянным признаком целых категорий слов (anʔn «утка», ann «другой»; см., например, D a h l e r u p — J e s p e r s e n, Kortfattet Dansk Lydlære, изд. 2-е, Копенгаген, 1898, стр. 27—30), а в чешском и немецком языках оно потенциально в словах, начинающихся с гласного. Если мы обратимся, например, к немецкому языку, то обнаружим, что здесь гортанный приступ почти всегда присущ ударным словам с гласным началом (но постоянным он не является; так, в «Maître phonétique» (1909) я читал: mit dən ŷbrigən hɛrən, а в «Elemente» Фиетора — hɛtən áiŋgēən zolən), тогда как в безударных словах с гласным началом и во второй части сложных слов, начинающихся с гласного, проявляется гораздо заметнее потенциальность гортанного приступа. *Э. А. Мейер* в своей фонетической транскрипции немецких говоров («Deutsche Gespräche mit phonetischer Einleitung und Umschrift», Лейпциг, 1906) редко обозначает гортанный приступ в безударных словах; *Фиетор* передает его в своей транскрипции («Deutsches Lesebuch in Lautschrift», т. 1—2, Лейпциг, 1899—1901, и «Die Aussprache der Schriftdeutschen», Лейпциг, 1909) чаще, но обычно при этом отмечает в скобках и произношение без гортанного приступа. Как мне представляется, в этих случаях налицо две тесно связанные между собой тенденции, которые и определяют потенциальность. При быстром темпе речи, когда больше внимания обращается на предложения, чем на отдельные слова, гортанный приступ исчезает, почти стирается, о чем свидетельствует транскрипция Мейера, тогда как в торжественной речи, например в записи Фиетора сцен из Шекспира, или в речи, разделенной на слова сознательно или из педантизма (см. об этом O. S c h r o e d e r, Vom papiernen Stil, изд. 5-е, Лейпциг, 1902, гл. III), он почти постоянно сопровождает слова с гласным началом. В чешском языке положение анало-

гичное. Если просмотреть записи, сделанные Фринтой (см. стр. 45 и 46) и фиксирующие гортанный приступ в середине слова, то можно убедиться в его потенциальности и тенденции развития. У лиц, привыкших анализировать части сложных слов, гортанный приступ в середине этих слов встречается гораздо чаще, чем у людей обыкновенных, поэтому мы отмечаем: nā́ˀ ušňī, néˀ estetickī и т. д., но nā́ušňice, sóužit, póducitel, póukāska и т. д. В ударных словах с гласным началом гортанный приступ имеет место почти всегда (хотя Фринта приводит baáňi, pudaā́lɛji), тогда как в безударных словах его не бывает. Оба изменчивых фактора — расчленение слов и ударность — объединяются при образовании следующих пар: наряду с привычными сращениями panúčitel, páneučitel, mòcamóc обычно встречаются четкие словосочетания pan ˀámbroš, paňi ˀúrvālkovā, moc ˀúzdravovat, хотя, разумеется, можно услышать и иное произношение. Ударность нередко определяет в среднечешском также произношение имен, начинающихся с гласного и стоящих после предлогов. Если сравнить интересные формы — f ˀ itālijі, f ˀ ohňi, s ˀ okna, s ˀ ucha и т. д. — с двумя примерами, приведенными Фринтой (přɛ́zɛmauzi, náūsta), а также с другими подобными примерами (pódut'erkou, náuhlī, dóuhlī, záouvali (záouvàlama), ?úouval, dóurānie и т. д.), то можно обнаружить, что гортанный приступ чаще исчезает после слогообразующих предлогов, которые в чешском произношении несут ударение, чем после первообразных предлогов, которые не перетягивают на себя ударения с начала следующего имени. Явление это можно объяснить теорией, которую, разумеется, я привожу лишь в виде предположения. Часто упоминаемый нами *Э. А. Мейер* в статье «Beiträge zur deutschen Metrik» (см. «Die Neueren Sprachen», VI), основываясь на экспериментальном исследовании, утверждает, что в немецком ударении максимум энергии сосредоточивается на начальном согласном, причем за согласный принимается также и гортанный приступ. На основании этого можно утверждать, что немецкий язык обладает так называемым согласным ударением, которое, насколько мне известно, впервые отметил *ван Гиннекен* («Principes de linguistique psychologique», Париж, 1907, § 333 и сл.). Вполне возможно, что чешский язык также имеет такое же согласное ударение. Если со словом, имеющим мнимое гласное начало и содержащим ударение на начальном гортанном приступе, сочетается неслоговой предлог, то ударение остается на гортанном приступе, который сохраняется благодаря этому и оказывает ассимилирующее воздействие на звонкий согласный предлога. При слогообразующих же предлогах ударение переходит на предлог, а гортанный приступ, утрачивая свою значимость, исчезает.

Возвращаясь вновь к главному вопросу настоящей статьи, а именно к проблеме самостоятельности слова, мы можем на основании наблюдений над развитием гортанного приступа в различных европейских языках сделать следующие выводы: то обстоятельство, что в чешском и немецком языках гортанный приступ встречается, как правило, лишь в начале слова или на границе элементов сложного слова, тогда как в датском — по преимуществу внутри слова, доказывает, что в немецком и чешском языках слово является формальной единицей, и потенциальность гортанного приступа в обоих языках подтверждает в то же время, что его самостоятельность является фактом потенциальным. Этот вывод, который можно подтвердить психологическим наблюдением над нормальной речью и чтением, а также наблюдением над патологическими расстройствами речи (о первом см. вводные главы книги Гиннекена, о втором—работу Скрипчера «Elements», стр. 128), как мне кажется, позволяет примирить доводы за и против самостоятельности слов, приведенные выше. Нельзя, разумеется, забывать, что границы потенциальности неодинаковы в различных языках и что она меняется в ходе исторического развития. На конкретном примере я попытался исследовать самостоятельность слов в различных языках в работе «Poznámky o substantivních složeninách a sdruženinách v současné angličtině» (см. «Sborník filologický», I, стр. 247—257) и пришел к выводу, что по сравнению с чешским и немецким языками самостоятельность слов в английском является ослабленной. Доказательство этого можно обнаружить в новоанглийском удвоении слов, которое применяется для подчеркивания их значения. Такое удвоение, насколько мне известно, наблюдается только у наречий и прилагательных, то есть у слов, эмоциональная оценка которых наиболее важна; данное явление необходимо отличать от случайного удвоения слов, которое, впрочем, возможно и в других языках и при котором темп речи всегда бывает свободным, медлительным, а между членами удвоения голос понижается и наступает пауза (например: Vsadila, vsadila fialinku v poli «Посадила, посадила она фиалочку в поле»). В английском языке чаще всего примеры подобного удвоения встречаются в быстрой разговорной речи, а члены удвоения при этом произносятся один за другим без каких-либо пауз с равномерным или нисходящим ударением: many many more examples «много, много больше примеров», very very often «очень, очень часто», very very well «очень, очень хорошо», very very familiar indeed «очень, очень близкий», very very foreign «очень, очень чужой», always always «всегда, всегда», a great great friend of yours «большой, большой ваш друг». Мне думается, что из древних

языков преимущественно древнегреческий и латынь, с одной стороны, и санскрит — с другой стороны, предоставляют нам примеры любопытного различия самостоятельности слов, на что указал уже *Джеймс Бѐрн* в своих «General principles of the structure of language» (изд. 2, Лондон, 1892). Об историческом развитии самостоятельности слова могу сообщить лишь то, что говорит об этом *Фосслер* в своей книге «Sprache als Schöpfung und Entwicklung» (Гейдельберг, 1905), о которой я еще буду писать, касаясь вопроса членения предложения во французском языке. Он пишет, что старый порядок слов qui |moult| fu sage свидетельствует о членении на большее количество групп, чем современное обобщение qui était très sage «который был очень умным»; такие же отношения существуют между del olifan |haltes| les menées sunt в сравнении с современным les sons du cor sont forts «звуки рога очень громкие». С этим, вероятно, можно сопоставить мою собственную привычку. Когда я медленно стилизую какое-либо предложение, я ставлю обычно энклитические местоимения и глагольные формы после слова, к которому они относятся. Когда же я перечитываю такие предложения, то всегда, перемещая их, ставлю их перед словами, к которым они относятся. Иными словами, когда я впервые составляю предложение, то расчленяю его на отдельные отрезки, и поскольку с энклитики не может начинаться каждый такой отрезок предложения, то она по необходимости ставится за словом, к которому относится; однако, когда я повторяю уже составленное предложение, то воспринимаю его больше как целое и энклитика передвигается непосредственно к первому слову целого предложения. Потенциальность членения предложения в этом случае вполне очевидна.

Другой любопытный спорный вопрос, который может быть решен с учетом потенциальности языковых явлений,— это вопрос о том, *имеют ли отдельные части речи собственную определенную ступень ударения.* Этот вопрос особенно важен при исследовании ритма того или иного языка и его влияния на порядок слов: в своих работах о порядке слов в английском языке я неоднократно обращал на это внимание. В дальнейшем, однако, я заменю английский материал немецким, потому что при анализе немецкого материала спорный момент данной темы выражен гораздо ярче. В своем «Deutsche Verslehre» (Мюнхен, 1907, стр. 40 и сл.) *Заран* приводит краткий обзор взглядов, которые касаются зависимости между ударением и различными частями речи в немецком, и отмечает, что после высказываний Готтшеда и Клопштока особенно *Мориц* («Versuch einer deutschen Prosodie», 1786) и *Бенедикс* («Der mündliche

Vortrag», изд. 4-е, 1888) стремились доказать, что в ударении отдельных частей речи существуют какие-то имманентные различия. Мориц рассматривает только односложные слова и распределяет части речи по степени ударности по нисходящей шкале, которая начинается именем существительным и прилагательным и заканчивается проклитическими и энклитическими местоимениями и частицами. Так же поступает и Бенедикс, который строит аналогичную шкалу для всех слов и связывает ее с разными условиями, вытекающими из контекста. Заран прямо заявляет, что теории о том, что определенные ступени ударения свойственны отдельным частям речи, доказать нельзя: по его убеждению, ни класс слов, ни синтаксические функции не могут определять ступень ударения; ступень ударения соответствует степени важности и спаянности значений, объединенных в одно целое. Отвлекаясь от позитивной части взглядов Зарана, я полагаю, что в разбираемом вопросе едва ли правы те, кто утверждает, что определенная ступень ударения является постоянным свойством отдельных частей речи, но не прав и Заран, который утверждает, что между ступенью ударения и частью речи нет вообще никакой связи: *ступень ударения каждого слова, хотя и является более или менее потенциальной, но отношение между ударением и различными частями речи проявляется в виде тенденций, которые, конечно, не столь абсолютны, как полагали Мориц и Бенедикс, но все-таки более четки, чем думает Заран.* Небольшая таблица, извлеченная из первых десяти абзацев «Deutsche Gespräche» *Э. А. Мейера*, в должной степени может убедить нас в этом:

В тексте имеются:	Имена существительные	Прилагательные	Глаголы			Личные заместители
			полнозначные	модальные	вспомогательные	
Всего	169=100%	71=100%	128=100%	20=100%	92=100%	215=100%
В том числе:						
полноударных	131=77,5%	49=69,0%	63=49,2%	3=15,0%	3=3,2%	3=1,4%
полуударных	13=7,7%	5=7,0%	21=16,4%	8=40,0%	11=11,9%	1=0,4%
безударных	25=14,8%	17=24,0%	44=34,3%	9=45,0%	78=84,8%	211=98,1%

Поскольку здесь дается лишь общая картина (вследствие чего я не описываю подробно употребленные категории слов), то достаточно только присмотреться к рядам, означающим количество полноударных и безударных слов: в первом ряду мы наблюдаем постоянное падение, а во втором — постоянное повышение от имен существительных к личным заместителям. То, что приведенная шкала не является случайной для транскрипции Мейера, показывают аналогичные подсчеты на базе нескольких прозаических отрывков, фонетическую транскрипцию которых опубликовал *Фиетор* в виде дополнения к книге «Die Aussprache des Schriftdeutschen» (изд. 7-е, Лейпциг, 1909):

В тексте имеются:	Имена существительные	Прилагательные	Глаголы			Личные заместители
			полнозначные	модальные	вспомогательные	
Всего	126=100%	50=100%	68=100%	16=100%	45=100%	127=100%
В том числе:						
ударных	106=84,2%	40=80,0%	41=60,3%	3=18,7%	6=13,3%	9=7,1%
безударных	20=15,8%	10=20,0%	27=39,7%	13=81,3%	39=86,7%	118=92,9%

Сравнение с предыдущей таблицей показывает, что иная шкала ударений и иной стиль произношения (последний термин будет объяснен позднее) обусловили кардинальное изменение в распределении ударения, однако нисходящая линия от имен существительных к личным заместителям сохранилась. Итак, приведенные таблицы подтверждают выдвинутое выше положение о том, что хотя *в немецком языке ударение слов обладает потенциальностью*, *все же в этой закономерности можно установить определенные тенденции при подходе к отдельным категориям слов.* Аналогичная таблица для английского языка имеется в моей статье о новых работах, посвященных ритму и порядку слов в современном английском языке, напечатанной в «Вестнике чешской Академии», XIX.

При рассмотрении двух указанных выше проблем мы пришли к тому выводу, что теория потенциальности успешно смогла примирить две противоположные тенденции, рассматривающие одно и то же явление с разных точек зрения. Точно так же обстоит дело с многими проблемами, которые касаются *порядка*

слов. Поскольку я уже не раз касался последнего, то здесь я заострю внимание лишь на успешной критике *Джоном Рисом* теории Брауне о свободном порядке глагола в прагерманском языке (см. W. B r a u n e, Zur Lehre von der deutschen Wortstellung, «Forschungen zur deutschen Philologie, Festgabe für Hildebrand», Лейпциг, 1894; J o h n R i e s, Die Wortstellung im Beowulf, Галле, 1907, введение). Рис отвергает полную свободу порядка слов и допускает релятивную свободу, то есть потеницальность, установив статистический метод для выявления тенденции порядка слов. Подобная теория и подобный метод необходимы при исследовании порядка слов везде, где последний не вполне стабилизирован.

Теория потенциальности способствует установлению закономерности в кажущемся абсолютно свободном порядке слов. В то же время она способствует установлению формальных закономерностей и в других случаях, там, где их никто не ожидает и где их никогда не обнаружил бы тот, кто при языковедческом анализе исходит только из абсолютных законов. Профессор *Л. А. Шерман* (университет в Небраске) исследовал с помощью статистического метода (см. «University of Nebraska Studies», т. I, а также ряд глав в книге «Analytics of literature» («A manual for the objective study of English prose and poetry», Бостон, 1893)) длительность и сложность периодов и обилие предикатов у отдельных английских и американских авторов и пришел к поразительным выводам: «Естественно, что оба эти фактора неустойчивы,— говорит он,— однако они колеблются у одного и того же автора в известных пределах и в духе определенной тенденции, которую можно выразить средней величиной. Так, у де Квинце при исследовании 2225 периодов средние величины для отдельных сотен колеблются от 29.09 слова до 40.29, но для десяти сотен средняя величина составляет от 31 до 35 слов, а средняя величина для целого комплекса равна 33.25 слова. Исследование книги Маколея «История Англии», которая содержит 41 579 периодов, дало такие результаты: средние величины для отдельных тысяч периодов колеблются от 19.62 до 26.09, но при этом средние величины для 30 тысяч периодов колеблются между 21 и 25, а средние величины для десяти тысяч обнаруживают удивительное тождество: 23. 33, 23. 18, 23. 32, 23. 72. Средняя величина для всего комплекса равна 23.43. Сходным образом Шерману удалось установить закономерность и в структуре периодов и в богатстве предикации; любопытно, что с развитием современной литературы наряду с упрощением периодов убывает и предикация и поэтому стиль не выигрывает в ясности; ученики Шермана, о работах которых сообщает *Р. Е. Мориц* в статье «On a quantitative

relation governing certain linguistic phenomena» (см. «Modern Language Notes», 24, стр. 234—241), решили, кроме этого, исследовать еще и длину слова. К исследованиям такого типа относятся также работы о закономерностях системы ударений в предложении; работы на эту тему в достаточной мере освещаются в моих статьях в «Вестнике Академии».

Теория потенциальности необходима также для правильной оценки смысловой стороны речи. Так как я готовлю обширный реферат, посвященный этой проблеме, то здесь я ограничусь лишь несколькими замечаниями. Уже из исследований Вундта, касающихся наименований предметов («Die Sprache», II, 464), видно, что когда предмет получает определенное название, то, несмотря на общее представление о предмете, первоначально бывает связан с этим названием только один преобладающий признак. Позднее название закрепляется за общим представлением о предмете, и если с развитием мышления изменяются различные элементы этого общего представления, то меняется и значение названия. Вундта, однако, интересует главным образом динамическое изменение значения. На деле смысловая сторона языка получила поистине обстоятельный анализ только в работе женевского ученого *Ш. Балли* «Traité de stylistique française» (Гейдельберг, 1909) *, которая, к счастью, не является стилистикой в обычном смысле слова, а затрагивает еще и проблемы статической семасиологии, базирующейся не на психологических, а на надежных лингвистических основах. В богатых по содержанию главах этой книги мы обращаем внимание на зыбкость речи в плане содержания, то есть опять-таки на потенциальность. Припомним наиболее важное явление этого типа — колеблющееся соотношение интеллектуальных и аффективных элементов в составе большинства выразительных единиц, которое проявляется, например, в чешском языке, в том, что некоторые уменьшительные формы используются то для обозначения действительно малых предметов (Strýc má jen přízemní domek «У моего дяди одноэтажный домик»; To nepotřebujete klec, stačí tahle klícka «Вам не нужна клеть, достаточно клетки»), то для обозначения любимых предметов независимо от их величины (Je to domek jako klícka! «Этот домик, как клетка!»). Так проявляется смысловая потенциальность речи, если мы исходим из действительной зыбкости значения. Если же мы исходим из данного представления и подбираем для него словесное выражение, то смысловая потенциальность речи предстанет перед нами в виде множественности

---

* См. в переводе на русский: Ш. Балли, Французская стилистика М., ИЛ, 1961.— *Прим. ред.*

выражений, то есть возможности выразить одно и то же несколькими способами. Последнее подводит нас еще к одному вопросу, который способствует раскрытию теории языковой потенциальности,— к вопросу взаимоотношений между языкознанием и стилистикой, или риторикой. Нередко в монографиях по синтаксису можно встретить указание на то, что данное явление в языке того или иного писателя относится не к грамматике, а к стилистике, или риторике. На мой взгляд, подобное мнение неправильно. Если речь идет о лингвистическом анализе индивидуальной речи, все ее факты принадлежат лингвистике и нельзя при этом что-то передавать стилистике. Языкознание является наукой, которая исследует языковой материал общественного целого определенной эпохи в статике, а его исторические изменения — в динамике. Поэтому ученые обязаны определять характер материала непосредственно путем исследования индивидуальной речи, для того чтобы выявить его потенциальность. Стилистика отличается от языкознания не материалом, а целью. Если языкознание исследует речь индивидуума для определения языкового материала социальной группы в целом, то стилистика изучает конкретные литературные произведения для определения того, каким образом данный языковой материал использован при создании индивидуального художественного произведения. Следовательно, стилистический анализ всегда обращен к индивидуальности и в лучшем случае может коснуться нескольких индивидуальностей, чтобы исследовать их стилистическую взаимозависимость или зависимость от общего внешнего влияния. Никогда, однако, стилистика не может заниматься изучением всей социальной группы в целом, а названия «чешская стилистика», «немецкая стилистика» и т. д. содержат противоречия между определяемым словом и определением. Такие труды или устанавливают возможности выражения в данном языке, и тогда это лингвистический анализ его потенциальности, или же они содержат лишь данные стилистики, и тогда это только собрание примеров, которые нельзя систематизировать. Часто обе задачи смешиваются, как, например, в известной и в общем содержательной книге *Р. М. Мейера* «Deutsche Stilistik» (Мюнхен, 1906). В первой главе этой работы автор путано определяет стилистику то как «vergleichende Syntax, d. h. Lehre von den normalen Gestaltungen der syntaktischen Möglichkeiten» («сравнительный синтаксис, то есть наука о нормальных представлениях синтаксических возможностей»), то есть (если не обращать внимания на слово «нормальный», посредством которого подготавливается фокус) как науку лингвистическую, то как «die Lehre von der kunstmässigen

Anwendung der fertigen Rede» («науку о художественном использовании готовой речи»), то есть как проблематичную науку о художественном литературном творчестве. До уровня научной системы «национальная» стилистика сама по себе подняться на может. В лучшем случае ее достижения можно обобщить в хорошем обзоре результатов индивидуальных стилистик, предназначенных для практических целей, то есть в своего рода методическом пособии.

Однако в языке представлены и такие явления, исследование которых на первый взгляд приближается к анализу стилистического характера,— это *языковые стили*— так я назвал бы в отличие от индивидуального характера литературно-художественного творчества тот факт, что речь различных лиц, обусловленная сходством их характера или сходной целью, содержит известные общие черты. Влияние подобных определяющих сил на языковой материал, обусловленное именно потенциальностью языка, было исследовано лишь в ряде случаев, однако и их достаточно, чтобы показать, как проявляются языковые стили, с одной стороны, в литературном произношении, а с другой— в словаре и синтаксисе.

Фонетический характер данного диалекта в определенную эпоху имеет две стороны: во-первых, он зафиксирован в чисто фонетическом инвентаре звуков и, во-вторых,— в фонетико-формальном распределении последних по отдельным словам. Если бы какой-либо диалект в фонетическом отношении оказался вполне стабильным, то стабильными были бы и его фонетический инвентарь и фонетический характер каждого отдельного слова. Потенциальность же какого-либо диалекта в области фонетики проявляется в потенциальности одной или обеих указанных сторон.

Влияние стилей речи на произношение в современном английском языке (речь здесь идет о целевых стилях, при этом *Джоунз* («Transcriptions of English prose», Оксфорд, 1907) признает три стиля, а *Ллойд* («Nothern English», изд. 2-е, Лейпциг, 1908)— четыре) можно наблюдать в обоих планах. Фонетический инвентарь рассматривает в основном Джоунз, указывая, например, что в стиле приподнятой, торжественной декламации часто употребляется дрожащее *r* вместо или наряду с фрикативным ɹ и что в этом случае встречается также *m*, архаичное для южноанглийского произношения. На неустойчивость фонетического облика слов в зависимости от стиля произношения (в частности, на редукцию безударных гласных) указывают оба автора. Образцы этих разных стилей произношения приводятся мною в «Вестнике чешской Академии» (XVIII, стр. 4—5). Следует подчеркнуть, что наряду с нормальными стилями

произношения существуют также патологические, которые для лингвистики не имеют, конечно, определяющего значения: это стили, обусловленные дефектами произношения или переходным патологическим состоянием, например опьянением. О влиянии опьянения на произношение англичан можно справиться у *Риппмана* («Specimens of English», Лондон, 1908, стр. 26) и в статье *Фейна ван Драата* «Drunkard's English» («Englische Studien», 34).

Влияние стилей на лексику и синтаксис речи подробно рассматривает *Грёбер* в работе «Methodik und Aufgaben der sprachwissenschaftlichen Forschung» (см. «Grundriss der romanischen Philologie», изд. 2-е, I, стр. 267 и сл.). Он отличает высказывание субъективное, при котором проявляются также чувства, вызванные в говорящем темой разговора, и объективное, при котором сообщается только мысль. Субъективное высказывание в количественном плане отличается от объективного тем, что, с одной стороны, оно заменяет паузой, тоном или жестом то, что в последнем выражено словами, а с другой—повторяет то, что достаточно было бы сказать один раз; в качественном же плане субъективное высказывание отличается от объективного тем, что избирает другие слова вместо реальных названий. Наконец, субъективное высказывание отличается от объективного и своим порядком слов: члены предложения в субъективном высказывании находятся в таких позициях, которые им не свойственны в объективной речи. Оба способа выражения в речи бывают взаимосвязаны. Если, однако, у говорящего проявляется склонность к одному из них или вообще к определенному стилю высказывания, то тенденции его речи обнаруживают и характер последнего. Эта проблема была хорошо разобрана в книге *Н. Бёгхольма* «Bacon og Shakespeare» (1906). Автор решает вопрос—Бэкон или Шекспир—на основе анализа языка обоих писателей. То же самое наметил уже *Есперсен* на стр. 48 своей книги «Growth and structure of the English language» (Лейпциг, 1906). Различия, которые Бёгхольм устанавливает между языком — не стилем! — Бэкона и Шекспира, не имеют отношения к потенциальности языка. В самом деле, отмечая, что Бэкон более консервативен, чем Шекспир, и является более строгим грамматистом, а Шекспир — более народным писателем, Бёгхольм связывает характеристику их стилей с языком различных социальных диалектов, из которых они исходили. Так, если Шекспир довольно часто использует в номинативе ye, то есть форму именительного падежа в качестве формы винительного (ср. F r a n z, Shakespeare-Grammatik, изд. 2-е, Гейдельберг, 1909, стр. 251—252; объяснению Франца о том, что ye является ослабленной формой you, противо-

речаг рифмы на -ī из -ē; см. V i e t o r, A Schakespeare phonology, Марибор, 1906, стр. 162—163), то Бэкон никогда не употребляет эту форму в значении винительного падежа. Это обстоятельство и свидетельствует о том, что речь Шекспира более народна, чем изысканный диалект Бэкона. Когда же мы убеждаемся, что сравнения двух типов — посредством наречия и суффикса — часто встречаются у Шекспира (см. также F r a n z, стр. 206—207), но не у Бэкона, у которого мы находим лишь несколько примеров подобного рода, то это, очевидно, объясняется тем, что здесь представлены не два диалекта (еще Поп боролся против такого объяснения), а две индивидуальности, то есть человек с живой фантазией и острым интересом к жизни, в речи обращающий внимание на выражение, а не на логику, и мыслитель, подчиняющий свои слова столь же точным законам, как и свои мысли. К сходным результатам приводит и сравнение словарного запаса обоих авторов. Целые ряды выражений, которые Шекспир в пьесах рассматривает как педантические, Бэкон использует как совершенно естественные. Союзы, которые слишком точно и вследствие этого слишком тяжеловесно выражают отношения между двумя предложениями (например, insomuch as), часты у Бэкона и очень редки у Шекспира.

Сказанного, на наш взгляд, достаточно для того, чтобы показать разницу между наукой о стилях и стилистикой. Книга Балли и в этом вопросе изобилует новыми идеями и наблюдениями, которые я буду использовать в дальнейшем.

В заключение следует добавить, что, как мне известно, теория потенциальности не является теорией совершенно новой: замечания и выводы, подобные высказанным мною, я находил и у многих других лингвистов; число их наверняка возросло бы, если бы систематичному рассмотрению с этой точки зрения подверглась вся раздробленная, несистематизированная и неиссякаемая лингвистическая литература последних пятидесяти лет, в которой сокрыто множество вполне современных и прогрессивных идей. Трактовки, приведенные здесь, отличаются от моих прежних наблюдений иногда разным толкованием основной идеи, а иногда строго индуктивной последовательностью, базирующейся на лингвистическом материале. Дополню свои рассуждения некоторыми указаниями на с п е ц и а л ь н у ю л и т е р а т у р у и на и с т о р и ю п р о б л е м ы.

Определяющей чертой лингвистического исследования XIX столетия является *оторванность речи от говорящего индивидуума*: материалом стал язык как нечто объективное, стабильное для данного времени и места. У лингвистов-аналитиков

этот подход тесно связан с историзмом, восходящим главным образом к Якобу Гримму. В связи с этим, как уже говорилось, лингвистический материал часто неправомерно подвергался упрощению. Влияние естественных наук, наиболее ярко проявившееся в лозунге Шлейхера «язык — это организм» и приведшее младограмматиков к априорной вере в закономерность языковых изменений, действовало в том же направлении. Лингвисты психологического направления, хотя и относились более внимательно к необычайной изменчивости языка, но затруднили себе путь к прямому познанию последствий этого факта односторонним подчеркиванием общественного характера языка (это имеет место у Гумбольдта — Штейнталя — Вундта). Порвать с такими антииндивидуалистическими взглядами было трудно, ибо они выглядели весьма научно и были в какой-то мере правильными. Но, однако, попытки освободиться от этих взглядов предпринимались не раз. *Первым* источником оппозиции явилось стремление *более тесно и последовательно приблизиться к действительности*; оно появлялось у отдельных лингвистов всегда индивидуально, вырастая из различных интересов. Молодого и безвременно умершего *Крушевского*, ученика Бодуэна, «Очерк науки о языке» (Казань, 1883) которого известен преимущественно в немецкой обработке (см. первые пять выпусков «Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft» Техмера; первый выпуск вышел в 1884 г.), привело к этому стремление построить на результатах непосредственного наблюдения над русским языком собственную лингвистическую теорию. Крушевский считает основным свойством языка сложность и неопределенность его единиц, на чем и базируется историческая изменчивость языка. Предложение, слово и морфологические элементы неопределенны по своему содержанию. Звук неопределенен в физиологическом отношении, то есть его артикуляция может в известных пределах изменяться, и это необычайно разнообразное изменение артикуляции, видимо, сопровождается сравнительно незначительным колебанием звука, поскольку слух не способен уловить столь тонкие оттенки. Таким образом, по крайней мере теоретически, Крушевский предполагает (в другом месте он указывает, что исследовательские методы пока весьма несовершенны), что нельзя в данное время установить, является ли звук, в данную эпоху стабилизованный акустически отчетливо, стабилизованным также и в физиологическом плане. Это, видимо, близко к истине, поскольку стабильность звуковой системы в данном диалекте и в данную эпоху можно принять за статический лингвистический закон. Подобная стабильность обусловлена унаследованными противопостав-

лениями и памятью о прежних артикуляциях — мысль, которая вновь появляется в статье *Карстена* «Sprecheinheiten und deren Rolle im Lautwandel und Lautgesetz» («Phonetische Studien», III, 1890), переведенной из третьего выпуска «Transactions and Proceedings of the Modern Language Association of America», 1887.

Шухардт не был создателем собственных систем; он был скорее противником младограмматиков и опирался на действительность. В первой из двух относящихся к этому вопросу его книг —«Slavo-deutsches und slavo-italienisches» (Штирийский Градец, 1884)— говорится, что в нашем мозгу содержится бесконечный мир представлений, спаянных с речью, из которых каждое самыми разнообразными нитями связано с многими другими, причем сила этих связей постоянно меняется, в результате чего в языке происходят многочисленные и важные изменения. Во второй книге, «Über die Lautgesetze» (Берлин, 1885), Шухардт утверждает, что индивидуальное произношение, насколько оно поддается наблюдению,— это не просто обычное колебание. Наряду с бесконечным расщеплением речи происходит якобы тесно связанное с ним бесконечное смешение языка. Под влиянием работ Шухардта как оппозиция младограмматическому взгляду Нюропа, преимущественно на базе тонких наблюдений над фонетикой, возникла в 1886 г. работа *Есперсена* (опубликована первоначально в «Nordisk tidskrift for filologi», ny række VII, а затем вновь напечатана как первая из двух статей, объединенных в «Phonetische Grundfragen» (Лейпциг, 1904) под общим названием «Zur Lautgesetzfrage»). В этой работе Есперсен утверждает, что никто никогда не сможет говорить точно так же, как другой (это касается как звуков, так и содержания, связанного с этими звуками),— речь может идти лишь о приблизительном совпадении. Еще более важно то, что говорит Есперсен о стилях речи. Подобно тому как при разных позициях в предложении могут возникать двойные формы одного и того же слова, точно так же и в разных стилях речи иногда встречаются двоякие формы, которые сосуществуют в языке одного и того же индивидуума. Для подтверждения своего положения Есперсен приводит примеры из датского языка, а также абзац из известного сочинения *Вегенера* «Untersuchungen über die Grundfragen des Sprachlebens» (Галле, 1885), где говорится, что в семье и вообще в близком кругу артикуляция характеризуется меньшей точностью и более слабой силой выдоха, чем при разговоре лиц, мало знакомых друг с другом. В фонетике Зиверса неоднократно встречаются рассуждения о неустойчивости лингвистических явлений («Grundzüge der Phonetik», изд. 4-е, Лейпциг,

1893; например, наряду с приведенными уже замечаниями о взаимоотношении слова и предложения см. еще § 669 и 682); основываясь на фактах, приводимых Зиверсом, *Есперсен* пишет вторую статью о фонетических законах (1904 г.), в которой довольно много места уделяет так называемому Richtigkeitsbreite, то есть рассуждениям о пределах потенциальности отдельных языковых явлений, рассматриваемых, впрочем, с точки зрения их понятности. Для каждого элемента речи существуют якобы границы, в рамках которых он может быть познан. Границы эти неодинаковы не только в разных языках, но и в одном и том же языке для разных элементов.

Далее рассмотрим взгляды *Вундта*. В нем как в представителе социально-психологической лингвистики не мог не проявиться наблюдательный и экспериментирующий психолог. Вундт подходит к проблеме потенциальности произношения (Spielraum der normalen Articulationen) как к одной из проблем своих лингвистических теорий и считает, что потенциальность произношения является первопричиной индивидуальных звуковых изменений. Он различает потенциальность индивидуальную и общую, то есть ту, которая фиксирует колебания в произношении индивидуумов, относящихся к одному и тому же диалекту. Он подробно рассматривает также и проблему потенциальности отдельных свойств звуков, места артикуляции, длительности звуков, ударения и высоты («Völkerpsychologie», I, «Die Sprache», 1, Лейпциг, 1900, стр. 364 и сл.).

Вторым источником оппозиции против объективной антииндивидуалистической лингвистики является *современная идеалистическая философия* (см. об этом, например, G. Villa, L'idealismo moderno, Турин, 1905), которая коснулась лингвистики главным образом в работах неапольского философа Б. Кроче и его немецких последователей Финка и Фосслера. *Бенедетто Кроче* (из его основной работы на эту тему «Estetica come scienza dell' espressione e linguistica generale» (изд. 2-е, Милан, 1904) д-р Э. Франке перевел на чешский язык первую, теоретическую часть («Světová knihovna», Прага, 1907, стр. 588—589, 614—615) и изложил его философию как во введении к своему переводу, так и в журнале «Чешская мысль» (см. «O Croceově estetice», «Česká Mysl», IX, стр. 401—414)) видит сущность речи во внутреннем выражении, совершенно индивидуальном и тождественном с искусством. Философские положения философа Кроче перенес на почву конкретных лингвистических приемов *К. Фосслер*, который изложил свои взгляды более подробно в книге «Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen» (Гейдельберг, 1905). Как индивидуальная

деятельность речь является художественным произведением (Sprache als Schöpfung). Однако как только язык используется при общении индивидуумов, он уже становится не индивидуальным, а коллективным творением, выступающим в виде эмпирического факта, и изменяется (Sprache als Entwicklung). Индивидуальная речь всегда создается заново, старое слово в новой связи — уже не то же самое даже по звучанию; таким образом, в речи как явлении индивидуальном мы наблюдаем постоянные и бесконечные изменения: Фосслер не видит пределов этой изменчивости речи. Так, теоретический фактор, подсказанный чистым наблюдением, отделяет индивидуумы друг от друга и дифференцирует их речь до бесконечности; однако практический фактор свободной аналогии объединяет их в языковые сообщества.

Еще конкретнее высказывается *Ф. Н. Финк*, о работе которого под названием «Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft» (Галле, 1905) я уже говорил (см. также журнал «Přehled», VIII, стр. 649—651). Он (то есть Финк) подчеркивает, что речь — это индивидуальная деятельность, при этом указывая, что было бы неправильно считать индивидуальность речи чем-то абсолютным, автономным, независимым. Речь представителей одной и той же языковой группы, несмотря на ее субъективность, всегда содержит значительную степень единства, обусловленную воспоминаниями о собственной речи в прошлом и о речи других. Языкознание должно изучать язык как сумму выражений взглядов на мир, которые тождественны у большинства людей. Слишком индивидуальные выражения такого характера надлежит изучать литературоведению. Наконец, я должен здесь упомянуть еще статью *Р. М. Мейера* «Gibt es Lautwandel?» (см. «Zeitschrift für vgl. Sprachforschung», 42, стр. 28—38), положения которой, очевидно, основываются на работах Фосслера и направлены, по-видимому, против статьи *Дельбрюка* «Das Wesen der Lautgesetze» («Annalen der Naturphilosophie», 1902). Автор обосновывает здесь тезис о том, что звуковых изменений как таковых не существует, а существует лишь выбор между параллельными формами. Доказательства покоятся на материале, отобранном, вероятно, по методу Дельбрюка и абсолютно не пригодном для подтверждения этого тезиса; таким материалом явились наши обрывочные сведения о староверхненемецких звуках.

Этот перечень имен и цитат в достаточной степени характеризует оба главных направления в лингвистике в связи с проблемой, которую я попытался здесь решить. Мне хотелось бы прочитать еще две статьи, но они в то время были для меня недоступны, вследствие чего я могу упомянуть о них только

в заключение,— это статья *Акселя Кока* (Axel Kock, Om sprakets förändring, Гётеборг), автор которой, используя психологические взгляды Джеймса, говорит, видимо, о постоянном изменении речи, и обзор современного состояния индоевропейского языкознания *Яна Розвадовского* («Eos», 1910), где, по сообщению проф. Янко («Časopis pro moderní filologii», I, 175), автор заявляет, что в современном языкознании оживленно обсуждается вопрос устойчивости языковых явлений.

Последнее замечание. В обзоре специальной литературы проблема языковой потенциальности часто связывалась с загадкой закономерности языковых изменений. В целях упрощения этой проблемы я строго придерживался *статической* стороны последней, будучи верен своему убеждению, что переход от статики к динамике в языкознании является наиболее надежным[6]. Я подчеркиваю это для того, чтобы не вызвать предположения, будто в настоящем очерке я хочу решить и проблемы динамики. Ни в коем случае! Мне думается, что последние могут быть решены только тогда, когда путем более подробного изучения отдельных языков будет твердо установлено, какие явления в них в ту или иную эпоху были стабильными, а какие — потенциальными. Только тогда настанет время поставить вопрос, как долго потенциальное явление мы можем рассматривать еще в качестве того же самого явления α с небольшим лишь сдвигом потенциальности и с какого времени нам придется говорить уже о новом явлении β, которое развилось из явления α. Это будут весьма трудные исследования, но если они осуществятся, то нам удастся узнать гораздо больше о языковом развитии. Путь к подобным работам отчасти намечает исследование *Розвадовского* «Ein quantitatives Gesetz der Sprachentwicklung» («Idg. Forsch.», 25, стр. 38 и сл.).

---

[6] Справедливость требует отметить, что разницу между статическими и динамическими языковедческими проблемами я впервые заметил, когда, занимаясь в университете, смог ознакомиться с замечаниями Масарика о языкознании в его работе «Конкретная логика».

В. Матезиус

ЗАДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФОНОЛОГИИ *

В настоящее время уже никто не сомневается, что в языкознании наступил переломный момент. Почти в течение тридцати лет все настойчивее проявляется стремление языковедов встать на новую точку зрения, выработать новые методы и произвести критическую ревизию наследия, оставленного уходящей эпохой. Созрело время для чего-то нового, на что указывает появление новых, родственных между собой идей, одновременно в местах, удаленных друг от друга, а также возрождение к новой жизни идей, о которых долгие годы не вспоминали, так как их развитию не благоприятствовала атмосфера младограмматизма. Наглядным свидетельством этого является быстрое распространение функциональной точки зрения при исследовании звуковой стороны языка и в связи с этим создание науки фонологии.

Начало развития фонологического исследования связано с именем гениального женевского лингвиста Фердинанда де Соссюра. В лекциях по общему языкознанию, которые его ученики издали после смерти своего учителя в 1916 г. в Женеве под названием «Cours de linguistique générale», Ф. де Соссюр подчеркнул, что в языке существенную роль играет не материальная сторона звуков, то есть их физиологическое возникновение и их физические свойства, а их контрастные взаимоотношения, которые дают им возможность стать носителями значения, и что эти контрастные взаимоотношения существуют только в системе данного языка. Поэтому де Соссюр исключает фонетику в обычном ее понимании из грамматики, хотя и признает, что сама по себе фонетика является важной наукой. Свою основную идею функциональной науки о звуковой стороне языка де Соссюр, однако, как видно, в дальнейшем не развивал. Термин *фонема* означает у него то звук как явление

---

* Vilém Mathesius, Úkoly srovnávací fonologie, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 39—58.

артикуляционное или акустическое, то член функциональной звуковой системы. Но новое, чрезвычайно плодотворное понятие было им провозглашено и требовало лишь благоприятных условий для дальнейшего развития.

Пока необычайно активно проявили себя славянские языковеды. Поляк Бодуэн де Куртенэ, живший в России, в процессе своего психологического метода исследования, благоприятствующего его синхронической точке зрения, и вместе с тем под влиянием своего рано умершего ученика Н. В. Крушевского уже в 80-х гг. пришел к ясному различению звука и фонемы. Об этом свидетельствует, например, введение к его книге, вышедшей в Страсбурге в 1895 г. под названием: «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen». К сожалению, Бодуэн не рассматривал психологический фактор как явление временное, сопутствующее, а считал его фактором постоянным и ведущим, и поэтому известный всему миру языковед-мыслитель не дошел до ясного понимания функциональной фонетической системы. Для него и его непосредственных учеников фонема является представлением звука без учета его функции. Несмотря на это, взгляды Бодуэна, насколько внедрилось их влияние, освободили лингвистическое исследование от гнета физиологической фонетики и способствовали тому, что ко времени, когда идеи де Соссюра благодаря изданию его лекций получили более широкую известность, русские языковеды были уже неплохо подготовлены к восприятию нового. Поэтому не случайно, что на Первом международном конгрессе лингвистов, происходившем в Гааге в 1928 г., группа молодых русских языковедов, живущих за пределами России (в состав ее входили Р. Якобсон, С. Карцевский и Н. С. Трубецкой), предложила тезисы, в которых совершенно самостоятельно развивалась теория де Соссюра о функциональной звуковой системе. Эти тезисы, разработанные с помощью женевской школы и молодой пражской лингвистики в действенную программу современного лингвистического исследования, были приняты Гаагским конгрессом. В программу для обозначения новой области языкознания был введен также новый термин «фонология».

Программа, принятая в Гааге в 1928 г., однако, уже тогда не была единственным проявлением того требования, чтобы в науку о звуках было введено понятие функции. Наш современник, известный английский фонетист Даниэль Джоунз уже до этого высказывался за различение звуков и фонем и, наконец, с образцовой ясностью изложил свои взгляды в книге «Lautzeichen und ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten», которая вышла как раз в то время, когда заседал Гаагский

конгресс. Джоунз пришел к понятию фонемы как фонетист-практик во время решения проблемы записи бесписьменных языков и из противоречия между звуком и фонемой не делал никаких теоретических выводов. Однако его точка зрения — чисто функциональная. В Северной Америке также раздались голоса, требующие, чтобы звуковая сторона языка исследовалась с точки зрения функциональной (см. Э. Сепир, Язык, Нью-Йорк, 1921). Этому, разумеется, способствовал тот факт, что в Северной Америке имеется счастливая возможность изучения еще не записанных экзотических языков прямо на месте. Кроме того, к 1928 г. языковеды и других стран в отдельных случаях пришли к выводам, от которых оставался только один шаг для перехода к систематической фонологической работе. Это проявилось и в частных беседах в среде участников конгресса в Гааге. Таким образом фонологическое направление было многосторонне укреплено.

Поэтому после первого конгресса работа в этом плане оживилась. Увеличивалось число сторонников нового направления, но все-таки признание за фонологией права на существование и признание плодотворности ее методов еще не проникло в сознание языковедов так глубоко, как это было бы желательно. Следовательно, не будет лишним дать краткий обзор всех достижений в области фонологии и указать на главные проблемы, решение которых зависит от этой науки.

Прежде чем перейти к изложению задач фонологии, укажем еще, что последней наряду с фонетикой по сравнению со старой лингвистикой принадлежит ряд важных преимуществ.

Исследователи-младограмматики выдвинули лозунг, что научным должно считаться только историческое языкознание, и лишь фонетику они не отваживались упрекать в отсутствии исторического аспекта. Чопорный историзм в последние годы, конечно, значительно потускнел, и все больше начинают признавать, что языкознание синхронное, или статическое, также имеет научную ценность. В то же время, однако, неплохо и то, что фонология может опираться на фонетику, поскольку большинство проблем, которые должна прежде всего решать фонология, имеет синхронный характер. Ведь исходным моментом в фонологическом исследовании является положение о существовании фонологической системы и ее признаках. Установить, что фонетические элементы, которые используются функционально в данном языке в данное время, составляют систему, члены которой взаимосвязаны и взаимообусловлены,— значит, разумеется, решить проблему синхронно.

При решении своих проблем фонология, как и фонетика, исходит из современного языка и, как и фонетика, пользуется

при этом методом аналитического сравнения. В этом также состоит ее отличие от принципов младограмматического направления. Историческая школа младограмматиков утверждала, что чем древнее языковая стадия, тем она ценнее, поскольку она вскрывает глубокие исторические корни последующих стадий. Новая лингвистическая школа, а с ней и фонология, опровергает это положение и утверждает, что только современный язык может дать нам полную, искусственно ничем не упрощенную картину языковой системы. Только современный язык позволяет нам также полностью прочувствовать языковые явления, и поэтому тщательный и тонкий анализ современного языка является настоятельной задачей научной лингвистики. Историческая школа младограмматиков выработала в качестве весьма эффективного инструмента своего исследования особый сравнительный метод, но внесла при этом очень важное ограничение. Согласно этому методу, сравниваются родственные языки, чтобы установить общий источник встречающихся в них явлений. В лингвистике функциональной и структурной, а следовательно, и в фонологии сравниваются также и неродственные языки, поскольку при сравнении не всегда стремятся лишь к определению общих источников, но и к углублению языкового анализа, к лучшему познанию языковой структуры, которая при сравнивании языков неродственных становится намного яснее. Если при генетическом сравнении, то есть при сравнении языков родственных с целью определения общего происхождения исследуемых явлений, в сравниваемых языках прежде всего стремятся найти сходные явления, то при аналитическом сравнении, рассматривающем языки без учета их генетического родства, обращают внимание прежде всего на то, чем эти языки отличаются друг от друга.

При анализе фонологической системы возникают две немаловажные частные проблемы. Необходимо прежде всего установить, какие фонологические элементы существуют в исследуемой фонологической системе, в каком взаимоотношении они находятся и какие комбинации их возможны в пределах системы, а затем проследить, в какой мере и каким способом язык, о котором идет речь, использует фонологические элементы своей системы и их возможные комбинации.

К фонологическим элементам при этом относятся фонемы, то есть звуки, обладающие функциональной нагрузкой в исследуемой системе, и фонологические признаки, то есть свойства отдельных звуков или звуковых групп, которые используются для различения двух слов, двух групп слов или двух фонем и которые, следовательно, имеют свое функциональное значение. Все установленные фонологические элементы имеют

силу только внутри системы, в которой они были установлены. Так, например, ясное и темное *l* в английском языке относится к одной и той же фонеме, поскольку различие между ними является только следствием фонетической ситуации и не несет функциональной нагрузки. Наоборот, мягкое и среднее *l* в словацком языке представляют собой две разные фонемы, поскольку обе они могут стоять в одной и той же позиции, и поэтому различие между ними используется для различения смысла слов (lad «порядок»— l'ad «лед», lavica «лавка»— l'avica «левая рука»). Дентальное *n* и веларное *n* в английском языке—также две разные фонемы (sin «грех»— sing «петь», kin «род»— king «король»), тогда как, например, в чешском имеется только одна фонема *n*, а *n* дентальное и *n* веларное представляют собой разные реализации этой фонемы в разных фонетических позициях (brána «ворота»— branka «калитка»).

Важным фонологическим признаком является количество гласных. В русском языке долгота или краткость гласного целиком зависит от фонетической позиции и вообще не несет функциональной нагрузки. Напротив, в чешском количество гласного играет важную роль. При этом различие между кратким гласным и долгим гласным имеет силу как для ударных, так и для безударных слогов (káli «он загрязняет»: kalý «хороший» : kaly «грязи» (им. п. мн. ч.)).

Указанное различие сопровождается лишь незначительными различиями в качестве гласных, что относится и ко всем чешским гласным, поскольку там, где прежнее количественное различие с течением времени переходит в различие качественное, обнаруживается влияние заимствованных иностранных слов (borový«сосновый» : bórový«борный»). Между указанными крайними полюсами располагаются французский, английский и немецкий языки. При этом французский язык занимает самое последнее место, так как функциональное использование количества гласного наблюдается в нем лишь спорадически (mettre : maître). Превосходит всех в этом отношении немецкий язык, где количество используется функционально во всех гласных ударных слогов; между этими двумя языками находится английский язык, в котором лишь некоторые гласные ударных слогов несут функциональную нагрузку, и в этих случаях количественные различия сопровождаются значительными качественными различиями.

От этого толкования функционального использования количественных различий гласных мы можем перейти, собственно говоря, и к другой частной проблеме, поскольку мы уже частично ответили на вопрос, в какой мере и каким способом используются фонологические элементы в пределах анализируемой

фонологической системы. Способ использования определяется ее диапазоном и ее условиями. Если, например, установлено, что слоговое *l* может встречаться в чешском языке как в безударных, так и в ударных слогах (plný «полный», stoupl «поднялся»), тогда как в немецком и английском языках оно имеет место только в безударных слогах (das Zehntel «десятая часть», bottle «бутылка»), то из этого вытекает, что его использование в данных языках имеет разный диапазон. Чешский язык вообще относится к языкам, которые и для ударных и для безударных слогов имеют только один ряд сонантов. В немецком же языке и особенно в английском для безударных слогов и для ударных слогов зафиксированы разные системы сонантов.

Еще заметнее разница между равномерным и неравномерным распределением фонем в слове, если учесть ту роль, которую выполняет в отдельных языках функциональная контрастность фонем, отличающихся друг от друга наличием или отсутствием фонологического признака. Речь может идти при этом о различиях лексического, категориального и морфологического порядка. Это хорошо видно на использовании различия по звонкости конечных согласных в английском языке. В паре back «спина»— bag «мешок» можно зафиксировать чисто лексическое различие, в паре use «употребление» (имя сущ.)--use «употреблять» (глаг.)— различие категориального характера и в паре build (форма наст. вр. от глаг. «строить»)—built (форма прош. вр. того же глаг.)— различие морфологическое. Тот факт, что английский язык использует различие по звонкости согласных для всех трех случаев, свидетельствует о важности этого различия в данном языке, а также о том, что это различие в английском языке имеет одинаково большое значение как для начала слова, так для его середины и конца. С этой точки зрения английский язык сходен с французским языком и резко противоположен немецкому.

С другой стороны, указанные три языка сходны, если рассмотреть их с точки зрения тех способов, которыми они располагают для проведения различий категориального и морфологического характера. В целом можно констатировать, что такое различение производится или путем изменения фонологической структуры слова без изменения долготы звукового ряда, или путем изменения звуковой долготы слова, то есть его удлинения или сокращения, без изменения его фонологической структуры, или, наконец, тем и другим путем сразу. Изменение фонологической структуры — единственный способ, относящийся к области фонологии,— может затронуть основу слова или то, что к ней примыкает, или обе эти части, и может проявиться в изменении фонем или фонологических признаков

или в изменении того и другого вместе. Исследование способов, с помощью которых отдельные языки используют указанные возможности, приводит к интересным результатам. Отметим здесь хотя бы то, что в английском языке случаи морфологических различий, выраженные с помощью фонологических изменений основы слова (например: lie — lay, meet — met, drink — drank — drunk, foot — feet), в значительной мере преобладают над теми случаями, в которых такое различие выражается фонологическим изменением части слова, примыкающей к его основе (например: looks — looked). Во французском языке в этом случае наблюдается противоположное явление (rompons, rompez, rompant, rompis, rompu против fait, fit). Здесь, очевидно, мы имеем дело с двумя разными типами языков, а ни в коем случае не с результатами только механического звукового развития. В морфологической системе чешского языка тип, представленный французским, проявляется еще нагляднее, поскольку здесь изменение фонологической структуры основы слова происходит только вследствие фонологического изменения окончания. Разнообразие фактов, которое можно установить при подобном исследовании, так велико, а их важность для научного анализа так очевидна, что профессор Трубецкой для исследований такого рода предлагает ввести особую самостоятельную дисциплину, называемую «морфонологией».

Мера конкретного использования фонологических элементов данного языка определяется отношением количества реализаций к количеству возможностей, имеющихся в словарном составе или в потоке действительной речи. У меня под рукой имеются цифры, полученные при анализе словарного состава разных языков, которые показывают, к каким интересным результатам здесь можно прийти. Цифры говорят, что отдельные языки используют фонологические элементы с неодинаковой экономичностью. Так, например, чешский язык содержит не только большее количество согласных фонем, чем немецкий язык, но может также в большей мере использовать их для образования различных комбинаций, и, наоборот, возможности для создания вариаций согласных фонем он реализует гораздо менее интенсивно. Все это вместе взятое показывает, что чешский язык в большей мере, чем немецкий, основывается на принципе различения единиц своего словарного состава на базе накопления различий согласных звуков. Английский и французский языки, использующие фонемы часто еще экономичнее, чем немецкий, свидетельствуют о том, что речь здесь идет о важном типологическом различии, чреватом серьезными последствиями. Указанное свойство этих языков,

очевидно, связано с их склонностью к моносиллабизму, который в свою очередь связан с тенденцией к аналитическому выражению, с ослаблением самостоятельности слова и с расширением омонимии. Таким образом, мы приблизились к проблеме сходства и различия, подробное исследование которой нам многое объяснит.

Способность к комбинациям согласных фонем, как и малая экономичность в их использовании, свидетельствует о пристрастии чешского языка к резким контрастам лексических единиц. В чешских словах, состоящих из трех и четырех фонем, я нашел 157 различных сочетаний из двух согласных, тогда как в немецком языке их только 54. То, что чешский язык как славянский отдает предпочтение сочетаниям, стоящим в начале слова, а немецкий, относящийся к германской группе, предпочитает сочетания в конце слова,— факт общеизвестный. Его можно еще раз подтвердить тем, что в словах, состоящих не более чем из четырех звуков, в немецком языке мы находим 21 начальную комбинацию согласных и 47 конечных комбинаций, тогда как в чешском — 160 начальных комбинаций и только 16 конечных. Этому соответствует также характер словообразующих и формообразующих формантов в обоих языках. Количество конечных сочетаний согласных в немецком языке возрастает за счет того, что к корням с конечной согласной здесь часто присоединяются чисто согласные окончания, которых не знает чешский язык. Количество же начальных сочетаний согласных в чешском языке увеличивается за счет того, что корням, начинающимся с согласной, часто предшествуют согласные приставки, в свою очередь не известные немецкому языку.

Исследуя комбинации согласных в разных языках, можно установить еще и другие интересные и важные факты. Можно, например, проследить, где встречаются конечные сочетания согласных — только ли в конце корня, или только на стыке корня и окончания, или в обеих позициях. При рассмотрении в этом аспекте английского языка мы находим, что из конечных сочетаний двух согласных 18 встречаются только в конце корня, 23— на стыке корня и окончания и только 10— в обеих позициях. В немецком языке, напротив, 16 таких сочетаний появляются в конце корня, 4— на стыке корня и окончания и 17— в обеих позициях. Эта разница показывает, что в английском языке окончание выступает как более самостоятельное, более определившееся, чем в немецком языке. Это подтверждается и тем, что в английском языке окончание -s при так называемом групповом генитиве может полностью отделяться от корня, к которому оно относится.

Покажем еще (для этого мы приведем только один пример), что методом структурного фонологического анализа можно установить различие между словом как целой единицей и группой слов. Комбинация mje никогда не встречается в среднечешском произношении внутри слова, поскольку там она всюду была заменена комбинацией mně, однако на словоразделе она сохранилась (město «город»: tam je to «там есть это»). Следовательно, в чешском языке существует совершенно ясное различие между словом как целой единицей и группой слов. Поэтому мы можем с полным основанием ожидать, что фонологический анализ структуры слова и группы слов по-новому осветит проблему самостоятельности слова, а фонология поможет исправить ошибку объективистской фонетики, которая отрицала самостоятельность слова.

Сравнение структурного распределения комбинаций согласных в литературном произношении и в произношении простонародном указывает на иные факты. Если, например, попытаться установить, какие типы сочетаний согласных в среднечешском народном произношении больше всего противостоят литературному произношению, то можно констатировать, что таковыми являются начальные сочетания, состоящие из плавного звука + взрывный или из плавного + спирант, то есть сочетания, необычные по распределению сонорности и характерные для славянских языков. Эти сочетания в народном произношении упрощаются, или искажаются, или изменяются путем обобщения подвижного гласного элемента (lžice «ложка» дает žice, žlice; rez «ржавчина», rzi «ржавчины» дает rez, rezi); иногда слова, в которых они встречаются, заменяются другими словами (ret, rtu «губа,-ы́» = pysk, pysku «губа,-ы́» (у животн.)). Сохраняются эти сочетания иногда под влиянием морфологической системы, где сочетание плавного звука с согласным чередуется с сочетанием плавного с гласным, а иногда под влиянием сходно переданного родства слов (lež «ложь» : lži «лжи» : lhát «лгать» : lžou «они лгут»).

Все фонологические явления имеют силу, как уже было сказано, только в пределах данного языка. Подробные исследования, однако, показывают, что и это положение еще надо ограничить. Не только в каждом языке, но и в каждом его диалекте, не исключая и диалектов социальных или функциональных, можно наблюдать иную фонологическую ситуацию; в каждом диалекте имеются целые группы слов, занимающих особое положение с точки зрения фонологии. Фонологическую структуру, отличную от остального словарного материала, имеют прежде всего междометия и другие эмоционально окрашенные слова, а также слова звукоподражательные. Так,

например, в немецком междометии brr! мы находим в ударном положении слоговой r и в этом же языке в звукоподражательном выражении tschingdada (у Лилиенкрона) — tš в начале слова. Таким образом, в обоих случаях имеют место явления, не характерные для нормальной фонологической структуры словарного состава немецкого языка. В чешском междометии pst! звук s выступает как слоговой, чего никогда не наблюдается в интеллектуальном словарном составе.

Другую группу слов, которая занимает особое положение по своей фонологической структуре, составляют иностранные слова. При этом, конечно, имеет значение, в какой мере то или иное иностранное слово приспособилось к словарному составу данного языка, а также отношение фонологической системы языка, из которого слово было заимствовано, к фонологической системе языка, который его заимствовал. В чешском языке, например, произношение иностранного дифтонга au в словах auto, automat и т. п. не вызывает затруднений даже в народном произношении, но непривычное сочетание двух гласных в слове aeroplán в просторечии по-разному приспосабливается к возможностям родного языка (ajeroplán, ajroplán, éroplán). Наиболее интересными, однако, являются в заимствованных словах не гласные, которые нельзя приспособить к фонемам данного языка, а различия в использовании фонем, которые являются общими для обоих языков. Я констатировал, что в чешском языке давно акклиматизированные иностранные слова до сих пор еще имеют непривычные сочетания согласных (obr), а в английском языке в результате большого притока романских слов в начальной позиции развились фонемы v и z, благодаря чему в этой позиции было увеличено количество соответствий между звонкими и глухими согласными (feel — veal, seal — zeal и т. д.) и таким образом было подкреплено важное для английского языка фонологическое противопоставление. Подробные исследования такого рода проблем приведут еще к немаловажным результатам.

Внимания исследователей заслуживают также вопросы, возникающие при фонологическом сравнении разных диалектов одного и того же языка. Выше мы видели, какие любопытные различия наблюдаются в употреблении некоторых сочетаний гласных звуков в чешском литературном и народном произношении. Особенно поучительным является сравнение литературного языка, с одной стороны, с местным диалектом, на основе которого он возник, и, с другой стороны, с просторечием, с которым он сливается при определенных обстоятельствах. Как указал Б. Гавранек, литературный язык отличается от

своего материнского диалекта не только определенным консерватизмом, но и в соответствии со своей функцией также иным подбором фонологических средств. Просторечие выполняет иную функцию, чем литературный язык, и поэтому оно имеет также иной подбор фонологических средств. Это та тема, которая в будущем фонологическом исследовании может оказаться очень перспективной.

Все вопросы, только что рассмотренные здесь, подводят нас к систематической фонологической характеристике данного языка в данную эпоху. Как я уже подчеркнул вначале, речь здесь идет в общем о проблемах синхронного характера, то есть об анализе языка в определенный момент времени (для нас всегда было важно состояние языка в настоящую эпоху) без учета предшествующих стадий. Однако, хотя первые проблемы, которые фонология должна решить, носят синхронный характер и требуют аналитического метода сравнения, это не исключает и проблем диахронических и связанного с ними метода генетического сравнения. Функциональное и структурное языкознание является полноправным наследником школы младограмматиков. Пренебрежение к наследию, оставленному этой школой, было бы ошибкой. Наиболее богатых результатов школа младограмматиков добилась в историческом исследовании, и для соблюдения органического развития лингвистического исследования новая лингвистика должна переоценить эти результаты со своей точки зрения и с помощью своих методов. Исторической фонетике младограмматиков должно соответствовать диахроническое фонологическое исследование. Здесь фонология выходит — особенно в работах Р. Якобсона — за пределы теории Ф. де Соссюра, поскольку последний ограничивал фонологический метод лишь областью синхронического исследования.

Необходимым условием работы в области исторической фонологии является, разумеется, синхроническое исследование предшествующих языковых стадий, в особенности самой древней исторической стадии. Только через сравнение таких фонологических поперечных разрезов, как показал Б. Трнка на примере английского языка, станет ясна картина изменений, которые произошли в исследуемой фонологической системе с течением времени, и происхождение, направление, а также результаты которых должна определить историческая фонология. Следовательно, историческая фонология должна заниматься двумя рядами проблем: фонологическим анализом более древних языковых стадий и вопросами фонологического развития. Перед фонологическим анализом более древних языковых стадий будут стоять в основном те же задачи, какие

ставятся перед фонологическим анализом современного состояния языка. Однако ввиду особого характера материала, находящегося в нашем распоряжении, процесс анализа будет иметь свои особые трудности и должен будет проводиться особыми методами. Методы, которые были до сих пор разработаны для реконструкции произношения минувших эпох, например для реконструкции старого произношения французского и английского языков, должны быть пересмотрены и дополнены согласно фонологическим принципам. При этом правописание будет выглядеть в лучшем свете, чем оно представлялось исследователям, ориентирующимся только на фонетику. Фонологи по крайней мере пришли к убеждению, что правописание является скорее отражением фонологической системы, действовавшей в эпоху его возникновения, чем отражением произношения в смысле фонетическом.

Исследователи, которые занимаются проблемами фонологического развития, руководствуются мыслью о том, что во всех фонологических сдвигах можно усматривать результат двух факторов: с одной стороны, динамической силы, нарушившей равновесие существующей фонологической системы, происхождение которой может быть различным, и, с другой стороны, стремления к установлению нового равновесия, что может быть достигнуто преобразованием имеющегося в распоряжении материала в новую фонологическую систему. Некоторые исследователи, например Э. Сепир, довольствуются индуктивным методом и, решая отдельные проблемы, накапливают материал, на основе которого позднее можно будет приступить к обобщениям. При этом, разумеется, приходят к результатам общего порядка, какими, например, являются сведения, касающиеся влияния фонологической системы одного языка на фонологическую систему или, лучше сказать, на отдельные черты фонологической системы другого языка, который чем-то близок первому, хотя генетически может быть от него довольно далек. Так, например, как уже неоднократно указывалось ранее, при сравнении фонологических систем современного английского, французского и немецкого языков, мы пришли к выводу, что английский язык в некоторых чертах своей фонологической системы сходен скорее с французским языком, чем с немецким. Я обращаю здесь внимание на особенно богатую, с тонкими оттенками шкалу гласных звуков, на огромную важность различия по звонкости — глухости и на относительно небольшую роль различий по количеству. Эти факты выступают еще ярче при исследовании древнеанглийского языка, которым занимался Б. Трнка, продолжая работу, начатую мною. При исследовании обнаруживается, что английский язык в процессе

своего исторического развития удалился от немецкого и приблизился к французскому языку. В связи с этим можно предположить, что уменьшение количественных различий, которое можно констатировать в английском языке и которое привело, по мнению Трнки, к появлению различий качественных, и явилось причиной известного в английском языке сдвига гласных, было каким-то образом связано с фонологической системой французского языка. Так открывается целый ряд интересных и взаимосвязанных проблем, число которых увеличивается, если рассматривать английский и французский языки как члены соответствующих языковых семей, поскольку оказывается, что французский язык занимает особое положение среди романских языков, так же как и английский — среди германских. Безусловно, необходимо выяснить причины этого явления.

Русские фонологи при решении проблем фонологического развития, так же как и при синхронном анализе фонологических систем, проявляли интерес главным образом теоретический и причинный. Уже в программе, представленной Гаагскому конгрессу, они указывали, что для них, например, важно установить целый ряд корреляций, которые, по их мнению, имеют абсолютную силу и определяют фонологическое развитие. Если, например, в фонологической системе количество не играет никакой роли, то в ней не может быть функционально использована также и словесная интонация. Или: в системе, где функционально используется динамическое ударение, количество не может нести функциональной нагрузки. Если в системе исчезнет один из членов такой корреляции или, наоборот, если он появится в ней, то это, как правило, повлечет за собой радикальную перестройку всей системы. Если эти и подобные им тезисы подтвердятся в процессе тщательного исследования, то это приведет к новому понятию закономерности в развитии языка. Данная мысль подчеркивается в «Remarques sur l'évolution phonologique du russe» (Прага, 1929) Якобсона.

Мы подошли к концу настоящего обзора. Разумеется, мы смогли дать здесь лишь общий набросок важных и интересных проблем, которые надлежит еще решить фонологии, и не пытались представить полную картину результатов, достигнутых этой наукой в настоящий момент. Это была бы действительно нелегкая задача, поскольку молодая наука развивается быстро и имеет несколько научных центров, разбросанных по всему свету. Повторяется случай, известный из истории младограмматизма. Плодотворность и гибкость новой точки зрения и новых методов проверяется прежде всего на звуковой стороне языка, и фонология становится ведущей дисциплиной в области функциональной, а также структурной лингвистики, подобно тому

как историческая фонетика стала главным полем и гордостью исследования младограмматиков. Наш обзор в какой-то мере умышленно уклонился от картины современного состояния фонологии.

Я сознательно останавливался на проблемах, касающихся использования фонем в отдельных языках, уделяя им гораздо больше места, чем проблемам, возникающим при анализе фонологических систем. В фонологическом исследовании до сих пор было принято как раз обратное. Блестящая теоретическая подготовка создателя фонологии Н. С. Трубецкого и его знание неиндоевропейских, особенно кавказских, языков способствовали тому, что с самого начала с большим вниманием и тщательностью была разработана теоретическая база анализа фонологических систем, углубляемая до тонкостей и охватывающая самые разные языки мира. Разумеется, это большое преимущество, когда новая наука, так сказать, с первых шагов может опереться на столь разработанную и такую универсальную теорию, какую стремится создать Трубецкой, но каждая палка о двух концах. Чрезмерная универсальность теоретической фонологической базы приводит к тому, что приходится иметь дело с различиями, которые большинство исследователей никак не может проверить, а стремление установить глубокие и тонкие различия, обгоняющее конкретно обработанный материал, иногда чересчур усложняет проблемы и смущает особенно тех, кто впервые сталкивается с фонологией. По моему мнению, для развития фонологии было бы полезнее, если бы фонологи на первой стадии удовлетворились только самой необходимой теоретической базой, которая бы предоставила им возможность проводить работу прежде всего в области индоевропейских языков, и постарались бы получить с помощью новых методов как можно больше конкретных сведений из языков, которые всем известны. В своей статье я также хотел показать, что такие сведения можно получить в результате анализа наиболее известных европейских языков.

В. Скаличка

О ФОНОЛОГИИ ЯЗЫКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ *



Р. О. Якобсон обратил внимание на то [1], что чешский и словацкий языки, с одной стороны, и венгерский—с другой, имеют много общего в области фонологии (корреляция по количеству, экспираторное ударение на первом слоге, сходная система согласных и т. д.). Видимо, эти языки имеют и сходные тенденции в развитии. Естественно, возникает важный вопрос — является ли это поразительное сходство случайностью или же оно тесно связано с развитием этих языков.

Рассмотрим прежде всего системы согласных. В первую очередь обращает на себя внимание корреляция по количеству, которая имеет место в венгерском языке; ее развитие в исторический период играет важную роль, так как благодаря ей венгерский язык занимает в Центральной Европе совершенно изолированное положение (если не считать некоторых словацких диалектов: vili ~ villi) [2].

---

* Vladimír Skalička, Zur mitteleuropäischen Phonologie, ČMF, R. XXI, č. 2, 1935, стр. 151—154.

[1] R. O. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe, TCLP, 2, стр. 109; его же, К характеристике евразийского языкового союза, Париж, 1931, стр. 13.

[2] Gombocz, Magyar történeti nyelvtan, II, Budapest, 1926, стр. 88 и сл.; L. Novák, Fonologia a štúdium slovenčiny, Turč. Sv. Martin, 1934, стр. 19.

Несмотря на это, система шумных согласных в рассматриваемых языках весьма сходна:

Венгерский язык				Чешский язык (с ним сходен словацкий)			
p	b	f	v	p	b	(f)	v
t	d			t	d		
ty	dy			t′	d′		
c		sz	z	c		s	z
cs		s	zs	č		š	ž
k	g			k		ch	h

Это сходство является инновацией. Ко времени колонизации современной территории система согласных венгерского языка очень напоминала систему согласных некоторых тюркских языков, например турецкого, и имела следующий вид:

p	b	f	v
t	d	sz	z
cs	gy	s	?zs
k	g	χ	γ

gy здесь обозначает звук, являющийся продолжением финно-угорского *j-, *δ′ ∼ j, *ńt′ś ∼ ńd′ź и старо-булгарского ǯ, и встречается в современном языке как gy (ɔ : d′), а в диалектах — как dzs [3].

После колонизации развились ty и c, возможно, также zs[4]. С этим связаны и другие изменения: gy стало звонким соответствием ty, а sz и z вошли в один ряд с *c*. Поскольку палатальные спиранты исчезли (γ —полностью, а χ стало ларингальным h), образовалась приведенная выше система. Напротив, в чешском языке современная система согласных возникла прежде всего в результате исчезновения корреляции по признаку отсутствия или наличия палатализации.

В системе гласных сопоставляемых языков мы не обнаруживаем ничего существенного. Системы с тремя степенями раствора издавна существуют в этих, как и в большинстве соседних языков. Различие заключается в том, что в венгерском языке сохранился третий тембровый класс гласных (в дополнение к ü возникло еще ö), тогда как в чешском языке второстепенные классы гласных исчезли [5].

---

[3] Szinnyei J., MNyh, 29, 39, 45; Gombocz Z., Magyar szókészlet, Budapest, 1930, стр. 36; Melich J., A magyar tárgyas igetragozás, Budapest, 1914, стр. 29.

[4] На это мне любезно указал проф. Я. Мелих; ср. также Kniezsa J., A magyar helyesírás a tatárjárásig, стр. 13, 23, 36.

[5] R. O. Jakobson, Указ. раб., стр. 53 и сл.

Аналогичную тенденцию можно усмотреть и в исчезновении ä, ɛ, то есть в преобразовании четырехугольной системы гласных в треугольную, хотя последняя существует и в соседних языках. Это преобразование еще не завершилось.

В чешском языке звук ä исчез уже давно, но в письменном словацком языке он еще продолжает существовать, хотя имеет там очень небольшую функциональную нагрузку. В венгерском языке этот процесс протекает как раз в настоящее время. Прежняя четырехугольная и новая треугольная системы

i	ü	u		i	ü	u
e	ö	o		e	ö	o
ɛ		å			a	

по-разному комбинируются в различных диалектах (укороченная четырехугольная + длинная четырехугольная, укороченная четырехугольная + длинная треугольная и т. д.) [6].

Корреляция по количеству гласного играет весьма важную роль в обоих языках. В чешском и словацком языках она победила в конкуренции с другими видами корреляций. В венгерском языке тенденция к этой корреляции является важнейшим принципом развития гласных [7]. В обоих языках отсутствует мелодическая корреляция [или корреляция движения тона], а также другие суперструктурные корреляции. Правда, это обстоятельство имеет лишь негативную ценность, поскольку указанная корреляция исчезла лишь в чешском языке, тогда как в венгерском языке ее никогда и не было.

Поразительной сходной чертой обоих языков является связанное ударение на первом слоге. Однако этот факт также имеет только негативную ценность, поскольку лишь в чешском языке он представляет собой инновацию, тогда как в венгерском языке он существует издавна.

На основании сказанного выше фонологические явления обоих языков можно рассматривать следующим образом:

1) новые сходные черты: система шумных согласных, корреляция по количеству и треугольная система гласных;

2) старые сходные черты (со стороны венгерского языка): отсутствие суперструктуры гласных, акцентуация (с обеих сторон): 3 степени раствора;

3) различия: корреляция по количеству у согласных, третий тембровый класс.

---

[6] Ср. детальное описание венгерской системы гласных: L a z i c z i u s Gy., Bevezetés a fonológiába, Budapest, 1932, стр. 49—74.

[7] L a z i c z i u s Gy., MNy, 26, стр. 30 и сл.

Все это, по-видимому, доказывает наличие сходных тенденций у данных языков. Они достаточно четко охарактеризованы: 1) по отношению к евразийскому языковому союзу, обладающему корреляцией по тембру согласных, но не имеющему (в Европе) корреляции по количеству в системе гласных; 2) по отношению к балканскому языковому союзу, обладающему оригинальной системой гласных, имеющему корреляцию ударения, но не имеющему корреляции по количеству; 3) по отношению к политоническим западнобалканским языкам [8]; 4) по отношению к немецкому языку с иной системой согласных, не имеющему корреляции по количеству, но обладающему корреляцией усечения слога.

В области грамматики здесь наблюдается большой консерватизм. Грамматическая система обоих языков совершенно различна. Следовательно, можно ожидать, что сходство тенденций удастся показать лишь на некоторых несущественных явлениях. Известное сходство мы можем обнаружить в системе времен. В обоих языках существует система трех времен. В чешском языке она возникла в исторический период в результате исчезновения форм аориста и имперфекта. У славянских языков, соседних с венгерским, эта система богаче. Формы аориста и имперфекта сохранились в южнославянских языках; напротив, в польском языке образовалось два будущих времени. В древневенгерском имелась богатая система времен, которая позднее упростилась. Интересно, что в семиградских диалектах, существующих в соседстве с балканскими языками, старая богатая система времен не только сохранилась, но даже расширилась [9].

---

[8] B. Havránek, Zur phonologischen Geographie (Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences), Amsterdam, 1922.

NB Граница «балканской» системы гласных, представленная проф. Гавранком в его статье, должна быть сдвинута дальше на восток. Система гласных турецкого литературного языка осталась прежней, то есть в том виде, как она была унаследована. Во многих районах Малой Азии старые ö, ü превратились в o, u (Kowalski, Osmanische Dialekte, Enzyklopädie des Islam, см. статью о турках). Так возникает совершенно «булгарская» система гласных:

i y u
e a o

Точно такая же система, хотя и реализованная несколько иным образом, зафиксирована также в армянском языке (на это обратил мое внимание Б. Bареш):

i ə u
e a o

Ничего похожего я не смог обнаружить дальше на восток в соседних семитских, иранских и кавказских языках.

[9] Klemm A., Magyar történeti mondattan, I, Budapest, 1928, стр. 80.

Й. Вахек



ФОНЕМЫ И ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ *

В четвертом томе «Трудов Пражского лингвистического кружка» опубликован хорошо известный «Проект стандартизованной фонологической терминологии» («Projet de terminologie phonologique standardisée», стр. 309—322). Рассмотрим некоторые из основных определений этого «Проекта». Они сформулированы следующим образом:

«*Phonème*...: Unité phonologique non susceptible d'être dissociée en unités phonologiques plus petites et plus simples».

«*Фонема*...: Фонологическая единица, не разложимая на более мелкие и более простые единицы».

«*Unité phonologique*...: Terme d'une opposition phonologique quelconque».

«*Фонологическая единица*...: Член любой фонологической оппозиции».

«*Opposition phonologique*...: Différence phonique susceptible de servir, dans une langue donnée, à la différenciation des significations intellectuelles».

«*Фонологическая оппозиция*...: Звуковое различие, способное служить в данном языке для смыслоразличения».

---

* Josef V a c h e k, Phonemes and phonological units, «A Prague School Reader in Linguistics», 1964, составил Й. Вахек, Bloomington, 1964; перепечатано из «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, Прага, 1936, стр. 235—239.

Цитированные выше определения до сих пор принимались без всякого обсуждения [1]. Между тем то, с чем фонологам приходится иметь дело, а именно «фонемы» и «фонологические единицы» на практике, то есть в фонологических описаниях различных языков и диалектов, не соответствует тому, что содержится в определениях «Проекта», если их тщательно рассмотреть и последовательно применять.

Чтобы доказать это, мы сначала обсудим всесторонне определения в том виде, как они были цитированы выше.

«Фонологической единицей» назван член л ю б о й фонологической оппозиции. Но понятие «фонологической оппозиции» определено в «Проекте» шире, чем оно понимается обычно лингвистами. Оно покрывает не только такие оппозиции, как l : r (в англ. low «низкий»: row «ряд»), но также и случаи типа bl-: gr- (в blow «дуть»: grow «расти») и даже оппозиции, подобные hiər- : pəteit- (hero «герой» : potato «картофель»), feim- : : konšienš- (famous «знаменитый» : conscientious «совестливый»); во всех этих парах слов мы имеем дело со звуковыми различиями, которые являются смыслоразличительными [связанными с различиями в интеллектуальных значениях] в английском языке. Строго следуя определениям «Проекта», мы с необходимостью должны признать bl-, gr-, hiər- и даже pəteit-, feim- и konšienš- «фонологическими единицами». Никто из фонологов, насколько мне известно, не употребляет этот термин в таком широком смысле. В этом нет ничего удивительного, потому что столь широкое понимание этого термина делает его употребление бесполезным. В результате фонологи либо совсем избегают термина «фонологическая единица», либо употребляют его в другом значении, игнорируя или не замечая несовместимости такого употребления с определениями «Проекта». Представителем последней группы лингвистов является В. Скаличка [2], хотя он употребляет термин «фонологический элемент», а не «фонологическая единица». Как можно понять из его блестящего, но фрагментарного изложения, под фонологическими единицами он понимает наименьшие звуковые отрезки в языке, способные дифференцировать смысл.

---

[1] Последнее одобрение эти определения получили у Н. С. Трубецкого (см. N. S. T r o u b e t z k o y, Essai d'une théorie des oppositions phonologiques, «Journal de psychologie normale et pathologique», XXXIII, 1936, стр. 1—18, особенно стр. 9 и 10), где они лишь слегка модифицированы («cette distinction n'apporte aucun changement essentiel» «это различие не означает никакого существенного изменения»).

[2] См. его статью «K otázkám fonologických protikladů» в журн. «Listy filologické», LXIII, 1936, стр. 133—139.

Я хотел бы доказать, что новое значение термина «unité phonologique» («фонологическая единица») требует небольшого, но существенного изменения в определениях «Проекта».

Мы видели, что «фонологическая единица» определяется в «Проекте» слишком широко; то же относится и к «фонологической оппозиции». Поэтому оба определения в формулировке «Проекта» не могут быть приняты в фонологической практике. Фонологическая единица в пересмотренном понимании является членом не любой фонологической оппозиции, а простой фонологической оппозиции. Последнюю следует определить как минимальное звуковое различие, способное служить для смыслоразличения.

Далее, оказывается полезным отличать широкое понятие фонологической оппозиции вообще от более узкого, подчиненного понятия простой фонологической оппозиции, поскольку только последнее (подчиненное) понятие может привести нас к адекватному пониманию (и определению) фонологической единицы.

Более того, будет небесполезным ввести и определить другое понятие, а именно понятие сложной фонологической оппозиции. Она соотносится с простой фонологической оппозицией и является также подчиненной по отношению к фонологической оппозиции вообще:

Фонологическая оппозиция

простая сложная

Ее можно определить как неминимальное звуковое различие, способное служить в данном языке для смыслоразличения [3]. Дальнейшее рассмотрение покажет, что введение нового понятия обусловлено не логическим педантизмом, а его чрезвычайной важностью для основной проблемы фонологии — определения фонемы.

Вернемся к определению фонологической единицы в измененном виде. Едва ли необходимо останавливаться на том факте, что фонологические единицы, участвуя в минимальных звуковых различиях, должны отражать их минимальный дифференциальный признак *. Иначе говоря, фонологическую единицу нельзя разложить на меньшие фонологические единицы.

---

[3] Легко заметить, что это понятие покрывает такие приведенные выше оппозиции, как bl- : gr-, hiər : pəteit- и пр., но не такие, как l : r, которые входят в объем простой фонологической оппозиции.

* В английском тексте статьи — character; представляется, что этот термин равен повсеместно утвердившемуся позднее термину «feature».— *Прим. перев.*

Это требование находится в полном соответствии с характеристикой «фонологических элементов» у Скалички. Скаличка, однако, колеблется сделать все необходимые выводы из этой характеристики. Рассматриваемые проблемы можно сформулировать следующим образом:

Определение фонологической единицы, данное в настоящей статье, имеет точно тот же объем, что и определение фонемы, содержащееся в «Проекте». Значит ли это, что один из этих терминов лишний? Или, может быть, определение фонемы, сформулированное в «Проекте», также нуждается в исправлении?

Лингвистические факты дают достаточно свидетельств того, что ни один из обсуждаемых терминов не является лишним. Фонема и фонологическая единица — это разные понятия, хотя во многих случаях отдельные фонемы соответствуют отдельным фонологическим единицам. Для иллюстрации нашего утверждения вспомним еще раз несколько случаев фонологических оппозиций. В парах слов типа glow «светиться»: grow «расти» различительными элементами, без сомнения, являются l : r. Но в парах типа bad «плохой»: pad «подушечка» различительными элементами не могут быть b : p, поскольку речь идет о минимальном различии. Минимальным различием является здесь «звонкость : О», так как b не только фонетически, но и фонологически состоит из архифонемы p + признак корреляции (в данном случае — звонкость). Другими словами, только присутствие звонкости, противопоставленное ее отсутствию, служит различению двух форм bad и pad. Очевидно, только звонкость, не разложимая далее на фонологические единицы, согласно определению «Проекта», может претендовать на статус фонемы. Однако в действительности ни один фонолог никогда не употребляет термин «фонема» в подобном смысле: b и p называются фонемами, а звонкость, которая является признаком корреляции, включается в состав фонемы b. Лингвистическая практика, даже если она подсознательна, правильно противостоит здесь как определениям «Проекта», так и остроумному и сжатому, но не точному утверждению Карла Бюлера, который изображает фонемы диакритическими элементами морфем (см. TCLP, 4, стр. 295). Очевидно, в случаях, подобных нашему, только звонкость b является диакритическим элементом (что уже было подчеркнуто Скаличкой в цитированной выше статье). Следовательно, фонема типа b содержит две фонологические единицы — единицу p и единицу «звонкость». Однако в фонеме может объединяться и большее количество фонологических единиц; например, русская фонема b' содержит единицы, составляющие p + звонкость + признак палатальности. И наоборот, существуют фонемы, содержа-

щие только одну фонологическую единицу (например, англ. p, l, r).

Из соображений, изложенных выше, следует, что определение фонемы, данное в «Проекте», неадекватно и нуждается в исправлении. Именно в этом пункте Скаличка не решается пойти дальше. В целом можно сказать, что он ясно понял различие между фонемами и фонологическими единицами, но старается примирить факты с определением фонемы в «Проекте». Он утверждает (см. стр. 133 цит. выше статьи), что «архифонема вместе с признаком корреляции составляет низшую, не делимую далее единицу. Корреляции двух фонем (или нескольких пар фонем) являются их частным делом и не имеют значения для реального потока речи». Это утверждение вызывает большое количество возражений. Во-первых, корреляция очень часто играет некоторую роль в реальном потоке речи (например, альтернация коррелятивных фонем, обусловленная особыми группировками фонем (то есть речью), такими, как в англ. iš ši < iž ši «is she?»). Во-вторых, определения «Проекта» не выведены индуктивно из наблюдений над реальным потоком речи, а введены дедуктивно, на основании таких вещей, как смыслоразличительные (или сигнальные) оппозиции. Это исходное допущение, без которого невозможен никакой язык (не только устный); таким образом, критику указанных определений следует производить в рамках основ «Проекта», его терминов и понятий, а не переводить обсуждаемую проблему в другой план, то есть в план реального потока речи. (Однако, как было указано, даже там можно обнаружить, какую роль играет корреляция).

Необходимость исправления определения фонемы, данного в «Проекте», очевидна. Как его осуществить?

Мы точно знаем, что фонема равна фонологической единице, если фонологическая единица выступает изолированно; если же две или более фонологических единицы выступают *одновременно*, то они входят в одну единичную фонему. С другой стороны, две или более фонологических единицы, выступающие *последовательно*, равны двум или более фонемам. Иначе говоря, фонологические единицы могут существовать и существуют одновременно, но фонемы одновременно существовать не могут [4].

Оказывается, четкое разграничение наших двух терминов — фонемы и фонологической единицы — может быть проведено

---

[4] См. еще V. *Skalička*, K otázkám fonologických protikladů, LF, LXIII, 1936, стр. 133; он, однако, не полностью осознал последствия данного факта.

только в терминах времени. Фонему можно определить как такую часть слова, которая не может быть разделена на следующие друг за другом фонологические единицы. Это, однако, означает введение нового термина в круг понятий, используемых в «Проекте». Мы можем избежать этого, если обратимся к термину «сложная фонологическая оппозиция», предложенному выше в настоящей статье.

Окончательная формулировка определения будет иметь тогда следующий вид:

Фонема составляет часть члена сложной фонологической оппозиции; она бывает иногда разложима на фонологические единицы, выступающие одновременно, но никогда — на фонологические единицы, следующие друг за другом.

Это определение никак не противоречит моему предыдущему определению, данному в «American Speech», X, 1935, стр. 250, где фонемой названа «сигнальная фишка языка, манифестируемая в реальном потоке речи с помощью двух (или более) звуков, 1) которые сходны по качеству и 2) звуковые окружения которых являются взаимоисключающими; все отклонения от 2 должны объясняться только морфологически»[5]. Оба определения касаются одной и той же вещи, и оба имеют свои достоинства и недостатки. Определение, процитированное в этом абзаце, бесспорно, более ясное и более пригодное к практическому применению, чем определение, использующее термины «Проекта». Достоинство последнего определения состоит в том, что оно позволяет опустить фонетический термин «звук» и грамматический термин «морфема». Но это достоинство превращается в недостаток, если пользоваться этим определением в фонологической практике, то есть при фонологической интерпретации данного языка. Для этой важнейшей задачи фонологических исследований мое определение, опубликованное в «American Speech», окажется гораздо более полезным.

В заключение я попытаюсь дать французский перевод определений, которые были исправлены и предложены в настоящей статье:

Opposition phonologique simple: Différence phonique minimum susceptible de servir, dans une langue donnée, à la différenciation des significations intellectuelles.

Opposition phonologique complexe: Différence phonique non-minimum susceptible... (см. выше).

---

[5] В принципе эта формулировка определения датируется 1932 годом; ее можно найти в моей статье «Prof. Daniel Jones and phoneme» в «Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et circulis linguistici pragensis sodalibus oblata», Pragae, 1932, стр. 25—33.

Unité phonologique: Terme d'une opposition phonologique simple.

Phonème: Partie d'un terme d'une opposition phonologique complexe, découpable parfois en unités phonologiques simultanées, mais jamais en unités phonologiques successives.

Из данных определений вытекают интересные следствия как для фонологической теории, так и для фонологической практики. Однако это должно послужить предметом специального исследования.

Л. Новак



ПРОЕКТ НОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНЕМЫ *

То, что фонология была создана фонологами именно как противодействие излишествам фонетики, является вполне естественным. Отправной точкой для всех соображений по этому поводу послужил тот факт, что не всякий звуковой оттенок, выделяемый экспериментальной (инструментальной) фонетикой в некотором отрезке «речи», улавливается языковым сознанием сразу всех говорящих на том или ином «языке». Отсюда мы приходим к одному весьма плодотворному разграничению, а именно к разграничению между «фонемой» и «комбинаторным вариантом». Это разграничение заложило основы новой лингвистической дисциплины, которая стала известна в дальнейшем под названием «фонология».

Для умения отличать фонему от комбинаторного варианта одного лишь определения фонемы оказывается недостаточно. Параллельно мы должны выработать ряд практических правил, которые позволяли бы отличать фонемы от комбинаторных вариантов [1].

Совершенно очевидно, что некоторые термины, как, например, термин «нейтрализация», были созданы в фонологии для обозначения явлений фонетической реализации фонем [2]. Кроме

* L'udovít N o v á k, Projet d'une nouvelle définition du phonème, TCLP, 8, Prague, 1939, стр. 66—70.

[1] См., например, N. T r u b e t z k o y, Polabische Studien, Wien, 1929, стр. 113 и сл., или более позднюю интересную работу этого же автора, озаглавленную «Anleitung zu phonologischen Beschreibungen», Brno, 1935, стр. 7 и сл.

[2] О термине «нейтрализация» см. главным образом следующие сравнительно новые исследования: N. T r u b e t z k o y, Die Aufhebung der phonologischen Gegensätze, TCLP, 6, 1936, стр. 29 и сл.; A. M a r t i n e t, Neutralisation et archiphonème, там же, стр. 46 и сл.; B. T r n k a, Poznámky ke kombinatorním variantám a k neutralisaci, отдельный оттиск из «Časopis pro moderní filologii», t. XXIV.

того, иногда был необходим даже своего рода подсчет (в основном с помощью позиционных правил), чтобы решить, какой из двух или более звуков должен квалифицироваться как фонема, а какой в то же самое время — как вариант.

Не удивительно поэтому, что даже сами определения фонемы, которых к настоящему времени предложено весьма значительное число [3], несвободны от пережитков фонетических представлений. И это наблюдается не только в терминологии, что было бы еще в некоторой мере неизбежно и простительно, но даже и при интерпретации языковых явлений как таковых.

Бесспорно, члены Пражского лингвистического кружка в своих работах в большей степени, чем лингвисты, остающиеся за пределами Пражской школы, сумели преодолеть эти пережитки фонетических представлений. Однако же в «Проекте единой [4] фонологической терминологии», выработанном Пражским лингвистическим кружком, в главе 2-й, озаглавленной «Основные фонологические понятия», мы находим определения такого типа:

Фонологическая оппозиция: Звуковое различие, способное служить в данном языке для смыслоразличения;

Фонологическая единица: Член любой фонологической оппозиции;

Фонологическая система: Присущий данному языку набор фонолог ческих оппозиций;

Фонема: Фонологическая единица, не разложимая на более мелкие и более простые фонологические единицы.

Непосредственно за приведенными определениями следует заметка «Принципы выделения фонемы» [5], содержащая несколько удобных практических правил. Нет оснований недооценивать важность рассматриваемых определений и правил и большое влияние, которое они оказали на развитие фонологических исследований вообще. Однако способ формулировки группы приведенных определений не может, по нашему мнению, остаться без изменений. Здесь говорится о «звуковом различии, способном служить в данном языке для смыслоразличения»,

---

[3] См., например, критический обзор B. T r n k a, O definici fonématu, «Slovo a slovesnost» (= SaS), List Pražského linguistického kroužku, т. I, 1935, стр. 238 и сл.

[4] См. TCLP, 4, 1931, стр. 315. В формулировках «Тезисов» в TCLP, 1, 1929, стр. 10—11 еще слишком сильны элементы психологизма. Синтезируя эти формулировки в основном с формулировками В. Матезиуса, приведенными в его исследовании «Ziele und Aufgaben der vergleichenden Phonologie», в «Xenia Pragensia E. Kraus... et J. Janko... oblata», Prague, 1929, стр. 435 [см. стр. 70—83 наст. сб.], мы приходим к формулировкам, изложенным в четвертом томе TCLP.

[5] См. TCLP, 4, стр. 315—316.

и подчеркивается в дальнейшем необходимость различать, кроме фонем, экстрафонологические, особенно комбинаторные варианты [6].

Однако реального существования комбинаторные варианты не имеют [7]; вот почему совершенно неправильно полагать в данном случае, что варианты также представляют собой какие-то фонемы. И не менее ошибочно настаивать на введении этой отправной точки в определение фонемы («Звуковое различие, способное служить...»).

На наш взгляд, определение фонемы необходимо давать только с учетом языкового сознания говорящих, которое прямо обусловлено внутренней структурой системы данного языка [8]. В языковом сознании говорящих исключается смешивание фонем (являющихся в нормальном употреблении двумя разными фонемами), даже если совпадают их фонетические реализации. Там, где речь идет об *оппозициях*, мы имеем дело со свойством, присущим всей внутренней структуре языка, а не только его звуковой структуре. Следовательно, это свойство необходимо учитывать. Принимая во внимание все сказанное, мы позволим себе предложить определение [9], которое является всецело лингвистическим. Вот его текст:

Под «фонемами» мы понимаем мельчайшие элементы, которые не могут быть подвергнуты дальнейшему дроблению и которые выделяются благодаря взаимопересечению всех внутренних функций данного языка, спроектированных на форму того же самого языка.

---

[6] См. TCLP, 4, стр. 318 и сл.

[7] Даже по этому вопросу существуют противоположные теории. Ср., например, тезис В. Скалички, согласно которому вариант, вне всякого сомнения, принадлежит языку («Varianta je něco, co naprosto zřetelně patří k langue», SaS, II, 1936, стр. 194).

[8] Ср. резюме нашего доклада о ноэтической основе фонологии, прочитанного в Парижском лингвистическом обществе 17 февраля 1934 г., BSL, XXX, fasc. I, 1934, стр. XVII—XVIII.

[9] Это определение впервые было сформулировано нами в до сих пор не напечатанном исследовании, представленном в 1934 г. в Национальную школу живых восточных языков в Париже, в финно-угорскую секцию проф. А. Соважо («Essai d'une typologie de la langue finnoise», стр. 1—56). Для словацкого языка рассматриваемое определение я сформулировал в работе «K základným otázkam štrukturálneho jazykozpytu», опубликованной в 1937 г. в «Sborník Matice Slovenskej» (= SMS), XV, стр. 13. Так как определение, данное на материале словацкого языка, более выразительно, приводим здесь его текст: «Фонемы — это мельчайшие, далее неделимые элементы языка, которые выделяются благодаря пересечению всех языковых функций на языковой форме». Й. М. Коржинек в своем письме от 23 декабря 1937 г. любезно сообщил мне, что почти тождественное определение было выработано Б. Трнкой, однако последний до сих пор не опубликовал текст этого определения.

Этим новым определением мы не хотели бы просто увеличить число выработанных до сих пор определений. Нам представлялось рациональным предложить его, поскольку оно, пользуясь исключительно терминами (и, следовательно, понятиями), имеющими прямое отношение к «языку», не выходит за пределы уровня «языка». Если бы данное определение включало, например, формулировку типа той, которая содержится в официальном определении фонемы Пражского лингвистического кружка («звуковое различие, способное служить...»), то это могло бы натолкнуть на следующую ошибочную мысль: подразумевалось бы, так сказать, что, кроме «этих звуковых различий, способных служить...», в действительности имеются какие-то другие, которые «не способны служить...».

По своей природе наше определение охватывает даже случаи «сандхи» и всевозможных зависимых чередований [10], о чем мы уже говорили в другом месте [11]. Иными словами, оно охватывает все внутренние функции языка: семантические, морфологические, синтаксические и т. д., включая даже все чисто формальные функции, касающиеся как «означаемого», так и «означающего». В то же время это определение устраняет все пережитки фонетических представлений, например понятия, отражающие явления — по преимуществу экстрафонологические — физиологии отдельных звуков речи или их сочетаний.

Под «формой языка» следует понимать звуковую сторону языка, которая интерпретируется исключительно сознанием говорящих и, стало быть, существует благодаря своей фонологической значимости.

Единственное возражение, которое, по нашему мнению, может быть высказано против нового определения фонемы, заключается в том, что это определение прибегает к аналогии, взятой из области геометрии. Как на самом деле «размещена» в памяти или в сознании говорящих необъятная система языка — структура крайне сложная,— мы не знаем. Впрочем, это проблема не лингвистики, а психологии или в конечном

---

[10] См. об этих терминах в нашей работе «Fonologia a štúdium slovenčiny», «Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej», № 2, Turč. Sv. Martin, 1934 (резюме на франц. яз.).

[11] См. наши исследования: 1. «Základná jednotka gramatického systému a jazyková typologia», SMS, t. XIV, 1936, стр. 3 и сл. [см. стр. 210—225 наст. сб.]; 2. «L'harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaïques, surtout finno-ougriennes, Notes synchroniques et diachroniques», TCLP, 6, стр. 81 и сл.; 3. «Quelques remarques sur le système phonologique du hongrois», «Études Hongroises», t. XIV, XV, Paris, 1937, стр. 219 и сл. О первом исследовании (1) см. также C. E. B a z e l l, Analogical System, «Transactions of the Philological Society», 1938, стр. 113 и сл.

счете ноэтики и — в некоторых философских школах — метафизики. Однако, с другой стороны, понятия пространства и времени [12] пронизывают все содержание нашего сознания; поэтому, принимая во внимание «линейный» характер языка в соссюровском смысле, вполне правомерно использование этих понятий даже и при определении фонемы.

В тех определениях фонемы, где за исходную точку взято понятие фонологической оппозиции, повторяем, забывалось, что признак противопоставленности, впервые отмеченный Соссюром, принадлежит языку как единому целому, и нет здесь ни слов, противопоставленных друг другу, ни бинарных оппозиций фонем как таковых.

Наконец, предложенное определение охватывает одновременно не только все явления фонологии слова, но и явления синтаксической фонологии. Некоторые факты этой последней отрасли фонологии, например зависимые чередования «сандхи», часто игнорировались прежними определениями фонемы.

Какие следствия из нашего определения могут быть сделаны для других фонологических понятий, особенно для таких, как «нейтрализация», «чередование» и «корреляция», было показано нами в другом месте [13].

---

[12] Временны́е отношения вводились в определение фонемы преимущественно Й. Вахеком. См. его исследования: 1. «Can the phoneme be defined in terms of time?», «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacq. van Ginneken», Paris, 1937, стр. 101 и сл.; 2. (на чешском языке) Časové pojmy v definici fonému», SaS, III, 1937, стр. 59 и сл.; 3. «Phonemes and phonological units», TCLP, 6, стр. 235 и сл. [см. стр. 88—94 наст. сб.]; 4. «More thoughts on phonemes and phonological units», SMS, XV, стр. 24 и сл.

[13] В нашей цитировавшейся здесь работе на словацком языке, см. сн. 9.

Й. Вахек

ПРАЖСКИЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ *

I. Если мы посмотрим, какое место фонологические исследования занимают в лингвистической работе Чехословакии сегодня, и вспомним, какое место занимали эти исследования в конце двадцатых и в тридцатых годах (в «классический» период Пражской лингвистической школы), то заметим, что положение изменилось в ряде пунктов. На первый взгляд может показаться, что произошли некоторые изменения к худшему. Так, едва ли можно сомневаться в том, что в отличие от 30-х гг. фонологические исследования сегодня уже не находятся в центре интересов чешских и словацких лингвистов, особенно тех, кто принадлежит к младшему поколению и занимается в основном вопросами грамматики (и преимущественно синтаксиса). Однако такой сдвиг интересов можно оценивать отрицательно лишь с узкоместнической фонологической точки зрения. С более широкой точки зрения общей структурной лингвистики этот сдвиг интересов органически связан с постепенным, но систематическим процессом последовательной выработки понятия языковой системы как инструмента мысли и коммуникации. В период неограмматиков было вполне естественно, что первые приверженцы только что созданной теории языка пытались опробовать ее преимущественно на звуковом уровне языка; этот уровень, составляя основной пласт языковой системы, имеет, кроме того, то неоспоримое преимущество, что звуковая форма и смысловое содержание взаимодействуют в нем сравнительно менее тесно, чем на более «высоких» уровнях языка. Для следующих поколений лингвистов, мыслящих структурными категориями, было так же естественно более систематично расширять сферу исследований, рассматривая и эти более высокие уровни.

---

* Josef V a c h e k, Prague phonological studies today, в «Travaux linguistiques de Prague», 1, L'École de Prague d'aujourd'hui, Prague, 1964, стр. 7—20.

Все же совершенно неверно утверждать, что изучение звукового уровня (и главным образом фонологических проблем, связанных с ним) было приостановлено после второй мировой войны. В послевоенный период появилось значительное количество книг и статей по фонологии, но нельзя не заметить, что в них можно обнаружить явный сдвиг интересов, если сравнить их тематику с тематикой предвоенного периода. Уже один выбор обсуждаемых тем доказывает это: так, только во второй половине 50-х гг. была написана полная монография, посвященная вопросам мелодики чешского предложения [1], в 30-е гг. фонологическое изучение чешского языка было сосредоточено в основном на сегментных явлениях, несмотря на тот факт, что уже появились новаторские работы Карцевского по мелодике русского предложения. Сдвиг интересов виден не только в выборе новых тем; изменилось и многое другое.

II. В первую очередь усилился интерес к широким, общим перспективам. Сказать, что такого интереса недоставало Пражской школе в 30-е гг. (и даже в конце 20-х гг.), однако, нельзя. Как показывают ранние фонологические работы *Н.С.Трубецкого*, *Р. Якобсона*, *В. Матезиуса*, *Б. Гавранка* и *Б. Трнки*, в 50-е и 60-е гг. интерес к этому не только не исчез, но скорее усилился. Частично это объясняется оборонительной позицией, которую заняли пражские фонологи в конце 40-х — начале 50-х гг.: они должны были в высшей степени тщательно и систематически размышлять над основными методологическими вопросами фонологической теории, чтобы проверить ее обоснованность в меняющемся контексте времени. Две хорошо известные фонологические дискуссии, происходившие во второй половине 50-х гг. в Москве и в Праге [2], конечно, действовали как катализаторы этого процесса, хотя в то время казалось, что они не имели большого количества ощутимых результатов.

Одним из явных недоразумений, которые предстояло устранить чешским фонологам, было ошибочное утверждение, что пражская фонология является в своей основе неисторической (если не антиисторической) доктриной. Тому, кто знаком с ранними работами пражцев, очевидна абсурдность этого утверждения — наличие во втором и четвертом томах «Трудов Пражского лингвистического кружка» двух капитальных исследований, посвященных теории и практике этой проблемы, вполне

[1] F. D a n e š, Intonace a věta ve spisovné češtině, Praha, 1952.

[2] Московская дискуссия была опубликована в журнале ВЯ за 1952 г.; отчет о пражской дискуссии см. в SaS, 15, 1954, стр. 29—48 (особенно вступительный доклад К. Горалека).

достаточно для опровержения указанной точки зрения. И все же можно утверждать, что в классический период существования Пражского кружка лишь немногие ученые этой школы решались рассматривать фонологические явления исторически; большинство ограничивалось современным состоянием того или иного языка (последний подход был типичен, в частности, для *В. Матезиуса*). Отстаивание научной значимости синхронического анализа языка было одной из задач Матезиуса на протяжении нескольких десятилетий. Он считал, что только синхроническое изучение современного языка, изучение, основанное на полном и легко контролируемом материале, может дать достаточно точное представление о сложной, но системной структуре языка и о законах, управляющих ею. Но Матезиус был убежден также и в том, что законы и закономерности, обнаруживаемые в языке при его синхронном изучении, окажутся весьма полезными и для исторического изучения языка. Предпочтительное внимание, которое Пражская школа уделяла в предвоенные годы синхронии, никоим образом не было показателем антиисторического уклона. В действительности демаркационная линия между пражской и доструктуралистскими (в основном неограмматическими) концепциями языка отделяла не синхронию от диахронии, а структурный подход к языку от предшествующего ему атомистического.

С этой точки зрения усиление после 1950 г. в среде пражцев интереса к проблемам исторической фонологии является убедительным свидетельством в пользу углубленного интереса чешских и словацких лингвистов к широким, общим фонологическим перспективам. В отличие от того, что имело место в 30-е гг., необходимость изучения фонетического развития языка в терминах фонологии стала требованием, настоятельность которого становится все более очевидной. В последнее десятилетие появилось много важных работ, освещающих фонологическое развитие конкретных языков, особенно историю чешского языка [3]; были выяснены новые факты из истории чешских гласных и согласных фонем. Подобный же анализ, причем в довольно широком объеме, был произведен на мате-

---

[3] См. среди прочего важную статью А. Лампрехта (A. Lamprecht, Vývoj hláskového systému českého národního jazyka se zvláštním zřetelem k nářecí na Moravě a ve Slezsku, SaS, 17, 1956, стр. 65—78) и особенно статью М. Комарека (M. Komárek, Zur Entwicklung des tschechischen Vokalsystems, «Ztschr. f. Slawistik», I, 1956, № 4, стр. 14—32 и II, 1957, № 1, стр. 52—60). Совсем недавно Комарек написал очень важный комментарий и послесловие к новому изданию монументальной «Исторической грамматики чешского языка» Я. Гебауэра (J. Gebauer, Historická mluvnice česká, Praha, 1962, стр. 705—765).

риале общеславянского языка [4]; чешские англисты также пытались решить некоторые из старых проблем истории английских звуков, особенно проблемы, связанные с изменением звуков, известным под названием «великий сдвиг гласных» и происшедшим в конце среднеанглийского и в начале новоанглийского периода, а также с историей системы английских гласных вообще [5]. Особенное внимание следует обратить на тот факт, что фонологическая концепция развития языка, принятая после 1950 г., не только обсуждалась на теоретических дискуссиях, но систематически проникала и в практику преподавания, то есть в вузовские учебники [6].

Об усилении интереса к фонологическим концепциям развития языка свидетельствует также сегодняшнее состояние чешских диалектологических исследований. Начиная с *А. Келльнера*, выдающегося чешского диалектолога и ученика *Б. Гавранка*, и *Фр. Травничка*, обязательным стало требование не только формулировать в фонологических терминах результаты диалектологического исследования, но также и оценивать их с точки зрения их значения для лучшего понимания фонологического развития данного языка. Этот исторический взгляд не был, конечно, абсолютно новым для пражских лингвистов; было бы несправедливым не упомянуть здесь о многочисленных случаях использования *Фр. Травничком* [7] диалектологических материалов с целью лучшего освещения развития звуков чешского и словацкого языков, даже когда истинно фонологический подход к таким материалам был ему еще чужд. Естественно, только такой подход сделал возможным наиболее полное использование диалектологических материалов для плодотворного изучения развития диалектов и литературного языка. О плодотворности такого изучения свидетельствует большое число

---

[4] F. V. M a r e š, Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty, «Slavia», 25, 1956, стр. 443—495.

[5] См. B. T r n k a, A phonemic aspect of the great vowel shift, «Mélanges F. Mossé», Paris, 1959, стр. 440—443; J. V a c h e k, Notes on the quantitative correlation of vowels in the phonematic development of English, там же, стр. 444—456.

[6] См., например, A. L a m p r e c h t — D. Š l o s a r, Vývoj českého hláskosloví a tvarosloví, Praha, 1962; M. K o m á r e k, Historická mluvnice, 1, Hláskosloví, Praha, 1958; J. V a c h e k, Historický vývoj angličtiny, изд. 4-е, Praha, 1962. Проблемы исторической фонологии словацкого языка обсуждались после новаторских работ Л. Новака в «Linguistica Slovaca», в основном Р. Крайчовичем (R. K r a j č o v i č, Vývin nárečí na juhozápadnom Slovensku, Sborník filos. fak. univ. Komenského, «Philologica», 13, 1961, стр. 45—82), и особенно Е. Паулини (см. сн. 28).

[7] F. T r á v n í č e k, Historická mluvnice československá, Praha, 1935.

опубликованных в последнее десятилетие монографий [8]. Таким образом, необходимость использования диалектологических материалов для изучения чешского языка несомненна; это в еще большей мере относится к словацкому языку, так как исторические документы, известные на данном языке, относительно немногочисленны и фрагментарны. Все это свидетельствует об увеличении интереса к исторической фонологии у ученых Пражской школы в период после 1950 г.

III. Далее, современные чехословацкие лингвисты, примыкающие к традициям довоенной Пражской школы, проявляют постоянный интерес к большому числу основных теоретических и методологических проблем фонологии и к взглядам на эти проблемы некоторых иностранных ученых. Так, например, *Б. Трнка* опубликовал важное исследование, связанное с проблемой фонемы [9]. Были рассмотрены и методы анализа фонетического материала Лондонской группы лингвистов [10]; наиболее важным, однако, явился критический подход к хорошо известному гарвардскому тезису об универсальности бинарных оппозиций в структуре языка [11]. Большинство современных ученых Пражской группы придерживаются того мнения, что в ряде конкретных языков, кроме бинарных оппозиций, могут иметь место также некоторые многочленные (особенно трехчленные) оппозиции. Необходимо добавить, что, конечно, правомерность процедуры анализа фонем по дифференциальным признакам никогда не подвергалась сомнению в среде пражских ученых. Между прочим, понятие дифференциальных

---

[8] См. среди прочего J. B ě l i č, Dolská nářečí na Moravě, Praha, 1954; A. L a m p r e c h t, Středoopavské nářečí, Praha, 1953; F. K o p e č n ý, Nářečí Určic a okolí, Praha, 1957; S. U t ě š e n ý, Nářečí přechodného pásu českomoravského, Praha, 1960.

[9] B. T r n k a, O určování fonému, AUC, 1954, № 7 (Philologica et historica), стр. 16—20.

[10] Ср. J. V a c h e k, The London group of linguistics, SPFFBU, A7, Praha, 1959, стр. 106—113; он же комментировал фонологические концепции Р. Якобсона, М. Халле и А. Мартине в статье «Dvě významné fonologické publikace zahraniční, SaS, 19, 1958, стр. 52—60. Для полноты отметим также две его рецензии на книги: H. K u č e r a, Phonology of Czech и E. P a u l i n y, Phonology of standard Slovak (в SPFFBU, A10, 1962, стр. 203—209). О лингвистических учениях американских дескриптивистов писали Й. Вахек в SaS, 11, 1948, стр. 36—44, и позднее Й. Полдауф, см. его «Strukturalismus a americký deskriptivismus», в сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962, стр. 79—110.

[11] См. особенно K. H o r á l e k, A criticism of the number two Preprints of Papers for the Ninth International Congress of Linguists, August 27—31, 1962, Cambridge, Mass., стр. 46—47. Неадекватность универсального бинаризма при обсуждении проблем грамматики была указана М. Докулилом: M. D o k u l i l, K otázce morfologických protikladů, SaS, 19, 1958, стр. 81—103.

признаков как компонентов фонем намечалось еще в 30-е годы, хотя термин «дифференциальный признак» и не употреблялся — в то время в Праге были приняты термины «фонологические характеристики» (или фонологически релевантные характеристики), а иногда —«фонологические единицы» [12]. Следует заметить, однако, что большинство членов Пражской группы в своей конкретной исследовательской работе не придают дифференциальным признакам такого исключительного значения, какое придает им Гарвардская группа. Многие чехословацкие фонологи настаивают на необходимости рассматривать фонему как некоторое целое (каким бы сложным оно ни было), особенно при изучении вопросов исторического развития языка. Они указывают на тот факт, что в этом развитии именно фонемы как целые единицы являются носителями напряженности системы, что часто приводит к важным структурным перестройкам фонологической системы. Иногда проводится параллель с ситуацией в химии: хотя никто не сомневается, что атомы могут расщепляться на протоны, нейтроны и пр., химики продолжают оперировать в своих дискуссиях и статьях не этими единицами низшего порядка, а атомами как целыми, потому что именно в терминах атома, как правило, наиболее адекватно формулируются результаты химических процессов [13].

IV. Еще более примечательной (и едва ли не типичной) чертой ученых Пражской группы, которые занимаются сейчас фонологией, является стремление сделать все выводы из структурного подхода к фактам языка. Иначе говоря, пражские лингвисты сегодня хотят воздать должное концепции языка (сформулированной некогда *В. В. Виноградовым*) как системы

---

[12] См., например, N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, TCLP, 7, Praha, 1939, особенно стр. 35; J. V a c h e k, Phonemes and phonological units, там же, 6, Praha, 1936, стр. 235—239 [см. стр. 88—94 наст. сб.].

[13] В этой связи следует упомянуть одно обстоятельство. Даже те (не очень многочисленные) из чехословацких ученых, которые принимают принцип последовательных бинарных оппозиций дифференциальных признаков, так радикально изменили содержание понятия дифференциального признака, что оно не совпадает с исходным гарвардским содержанием этого термина (например, Е. Паулини, М. Ромпортл). Они считают, что расщепление фонем на дифференциальные признаки должно происходить на основе акустических и артикуляторных характеристик, которые иногда существенно отличаются от характеристик, используемых гарвардскими учеными; последние придают таким характеристикам универсальную и панхроническую значимость. Справедливы или нет тезисы Паулини и Ромпортла (а некоторые из них, безусловно, представляются спорными), тем не менее они иллюстрируют отсутствие беспрекословного принятия концепций Гарварда и стремление найти свой собственный путь к решению затронутых проблем.

систем (или, скорее, подсистем, или уровней). Если это так, то структура фонологического уровня не может быть полностью понята, пока должным образом не будут рассмотрены структуры других, «более высоких» уровней. В ответ на это, естественно, должно возникнуть возражение, что такой подход неизбежно открывает путь тому, что американские лингвисты назвали «смешением уровней». Однако это не так: пражские фонологи никогда не отрицали того факта, что каждому из языковых уровней присущи свои особые языковые единицы и закономерности, а также свои особые проблемы, требующие решения. Но пражцы стремятся избежать и противоположной ошибки, присущей как раз американским дескриптивистам, а именно так называемого деления уровней (или, если пользоваться термином *К. Л. Пайка*, «перегораживания» уровней) [14]. Пражские ученые хотят подчеркнуть тот факт, что изменение в языковом уровне может отразиться на некоторых других уровнях. Между прочим, должный учет взаимозависимостей, существующих между различными (но никак не герметически отделенными друг от друга) языковыми уровнями, оказался очень плодотворным в основном при изучении фонологической истории языков, где благодаря ему достигнуты уже некоторые значительные результаты. Таким образом, иногда можно констатировать, что то или иное фонологическое изменение (или, наоборот, отсутствие ожидаемого фонологического изменения) может быть вызвано потребностями структуры некоторого более высокого уровня того же языка, особенно его морфологического уровня.

Интересный случай подобной взаимозависимости обнаружил один молодой словацкий лингвист [15] в известном западнославянском переходе g > γ; этот лингвист убедительно показывает, что данный переход обусловлен нуждами и потребностями западнославянской морфологической системы. Другой случай, взятый из истории английского языка, также не менее любопытен, в связи с чем о нем необходимо упомянуть [16]. Хорошо известно, что в результате утраты конечных слабых

---

[14] Как известно, Н. Хомский также не согласен с тезисом дескриптивистов о недопустимости «смешения» языковых уровней — см. его «Syntactic structures», 's Gravenhage, 1957, стр. 56 и далее [см. русск. перев.: Н. Хомский, Синтаксические структуры, в сб. «Новое в лингвистике», вып. II, М., ИЛ, 1962, стр. 412 и сл.— *Прим. ред.*].

[15] R. Krajčovič, Zmena g > γ (> h) v západoslovenskej skupine, «Slavia», 26, 1957, стр. 341—357. Проблемы этого рода рассматривал также А. Лампрехт в «Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963, стр. 71—74.

[16] J. Vachek, Some less familiar aspects of the analytical trend of English, Chapter VI, BSE, 3, Praha, 1961, стр. 53—60.

гласных ъ, ь в чешском и других славянских языках произошло оглушение парных звонких фонем, которые благодаря этому оказались конечными в слове (например, plod «фрукт» > [plot]). Это оглушение, естественно, вызвало некоторое увеличение числа омонимов в рассматриваемых языках. Так, например, в чещском языке есть два слова, которые стали произноситься одинаково, то есть [plot]: plot «забор» — plod «фрукт». Процесс оглушения был естественным следствием физиологического закона, управляющего деятельностью связок *как* физиологических органов: в исходе слова перед действительной или потенциальной паузой деятельность голосовых связок должна ослабевать, в связи с чем их вибрация прекращается. Ввиду физиологической очевидности этого процесса может показаться странным, что в ходе истории английского языка в позициях, аналогичных указанным позициям в славянских языках, не произошло совпадения аналогичных парных согласных. В результате слова типа cab «кэб» — cap «шапка», pod «стручок» — pot «горшок», besiege «осаждать» — beseech «умолять» и пр. продолжают различаться своим фонетическим обликом. Однако физиологический закон все же действовал: конечные парные звонкие согласные существенно утратили свой исконный звонкий характер, и в результате действительная фонологическая оппозиция, благодаря которой конечные сегменты приведенных выше слов взаимно различаются, стала оппозицией не по голосу, а по напряженности (звуки [b] : [p] и т. д. фонологически противопоставляются как ненапряженный : напряженный соответственно). Оппозиция по напряженности существовала, конечно, и раньше, хотя только как сопутствующая, избыточная характеристика, сопровождавшая релевантную тогда оппозицию по голосу. После того как функционирование исконно релевантной оппозиции натолкнулось на трудности или стало даже невозможным, исконно сопутствующая оппозиция была переоценена и получила статус функционально релевантной оппозиции.

Указанное выше различие в фонологическом развитии славянских и английского языков поднимает вопрос о причине различного отношения этих языков к, казалось бы, аналогичным ситуациям. Сформулируем нашу мысль точнее: почему английский язык в отличие от славянских не слил парные звонкий и глухой в исходе слова, а продолжает их различать? В упомянутой выше статье ее автор предположил, что это различие может быть обусловлено различиями, существующими в грамматических структурах двух типов языков. В самом деле, оказывается, что увеличение числа омонимов, вызванное совпадением соответствующих звонкой и глухой конечных

фонем, вполне совместимо с грамматическими структурами славянских языков, но несовместимо с грамматической структурой английского языка. Новые омонимы могут различаться только в контексте предложения, и эта различительная функция присуща контекстам чешского языка (и любого славянского вообще), языка «синтетического» типа, в котором контексты не сильно перегружены другими различительными функциями. В языке аналитического типа, подобном английскому, контекст предложения чрезвычайно нагружен различительными функциями (как известно, в английском почти исключительно с помощью контекста различаются не только некоторые морфологические категории, такие, как падежи имени, но и даже многие классы слов; это иллюстрируется знаменитым явлением конверсии); такого же рода ситуация должна была существовать уже в среднеанглийском, то есть уже тогда надвигался процесс совпадения конечных согласных. Таким образом, ясно, что любая дополнительная нагрузка контекста английского предложения дальнейшими различительными функциями едва ли оказалась бы возможной. В этих обстоятельствах фонологическая оппозиция конечных сегментов слов типа cab — cap должна была сохраняться любой ценой: однако, поскольку различие в голосе поддерживаться в них не могло, так как это противоречило физиологическим законам, управляющим деятельностью органов речи, то наиболее подходящим — и, может быть, единственно возможным — был путь перевода различия по напряженности из ранга сопутствующей вариантности в ранг функционально релевантной оппозиции [17].

V. Мы несколько задержались на обсуждении различия между английским и славянскими языками, чтобы конкретизировать пражский тезис о том, что изменения на фонологическом уровне могут быть вызваны нуждами других языковых уровней и что поэтому структурное изучение фонологического уровня языка не должно изучаться обособленно, вне связи с другими уровнями языка. Следует добавить, что существует другого рода обособление, против которого пражские ученые всегда возражали,— это изоляция языковой структуры от внеязыковой реальности, которую она представляет. Подобный подход (эквивалентный подходу, исключающему «значение» из лингвистического анализа) часто встречается в современ-

---

[17] Обсуждаемая «переоценка», естественно, не ограничилась позициями конца слова, а должна была распространиться на другие позиции (то есть на начало слова и на середину слова). Это было обусловлено тем, что оппозицию «напряженный: ненапряженный» можно обнаружить в парных согласных типа p : b, t : d и т. д. во всех позициях, тогда как оппозицию «звонкий : глухой» — только в некоторых из них.

ной лингвистике, особенно в деятельности большинства американских дескриптивистов и в некоторой степени в неоднократно обсуждавшихся взглядах *Н. Хомского* и его последователей[18]. В противоположность этому представители Пражской школы всегда утверждали, что ни один язык не существует в вакууме; язык существует в языковом коллективе, коммуникативные и экспрессивные нужды которого он призван обслуживать. Более того, внешние события, происходящие в этом коллективе, должны — по крайней мере в какой-то степени — отражаться в некоторых частях его системы. Если не замечать всех этих фактов, то можно легко прийти к замкнутой в себе, имманентной концепции, несправедливо игнорирующей факт социального функционирования языка.

Следует признать, конечно, что не всегда легко определить, до какой степени внешние факторы могут влиять на развитие языка и — что нас более всего интересует — на развитие его фонологической системы, в частности. Говоря более конкретно, мы имеем здесь дело не только с проблемой воздействия важных социальных, экономических и политических событий на язык (такое воздействие на лексическом уровне столь очевидно, что не требует комментариев), но также с большим числом более тонких проблем, таких, как возможное влияние на фонологическую систему языка со стороны лингвистов (в основном орфоэпистов) или со стороны письменной нормы этого языка и т. д. Эти и связанные с ними проблемы также рассматривались в некоторых недавних публикациях пражских ученых [19]; в результате был выяснен ряд вопросов, связанных со многими уже известными проблемами, и выдвинуты некоторые новые проблемы. Исследования приводят к выводу, что система языка (включая ее фонологический уровень) в ходе своего развития не может быть не подвержена внешнему влиянию, если такое влияние не является несовместимым со структурными нуждами и потребностями этой системы. Характерно, что этот вывод был предвосхищен *Б. Гавранком* еще в 1930 г. (в период его новаторских исследований в области фонологических характери-

---

[18] Ср. совсем недавние критические замечания А. В. Исаченко (A. V. Isačenko, Gramatičnost a význam, AUC, «Slavica Pragensia», 4, Praha, 1962, стр. 47—52, и цит. выше статью И. Полдауфа (см. сн. 10).

[19] См., в частности, M. Komárek, K dialektice jazykového vývoje, AUC, «Slavica Pragensia», 4, Praha, 1962, стр. 19—26; P. Sgall — P. Novák, K otázce zákonů jazykového vývoje, там же, стр. 27—34; V. Skalička, Vývoj jazyka, Praha, 1960 (все эти исследования содержат более теоретический взгляд на данный комплекс проблем); J. Vachek, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», 11, 1962, стр. 433—448 (анализирует некоторые конкретные проблемы).

стик литературных языков). Он утверждал тогда, что «ce ne sont que des raisons intrinsèques qui peuvent résoudre la question de savoir pourquoi certaines influences étrangères agissent, tandisque d'autres restent sans effet» [20] («только лишь при исследовании внутренних факторов можно решить вопрос, почему одни внешние воздействия оказывают влияние на язык, а другие — нет»).

VI. Из подобных исследований вытекает и другой довольно важный вывод, подтверждающий, что относительно сильная нормализация литературных языков часто порождает некоторые недостатки в их фонологических системах. На этот факт обратили внимание также некоторые американские ученые (в частности, *К. Л. Пайк* и *Ч. Ф. Хоккетт*), которые говорят о слабых, или «размытых», точках в системе, но не идут дальше и не ищут причины возникновения таких точек. Эту причину, как было показано уже не раз [21], следует искать в относительно жесткой нормализации литературных языков. Справедливо, конечно, что начиная с 1929 г. [22] Пражская школа подчеркивает тот факт, что никакой язык не составляет абсолютно уравновешенной системы, и это естественно должно быть справедливо также по отношению к той стадии языка, на которой он получает кодифицированную норму, такую, какую должен иметь любой литературный язык. Но недостатки в структуре, существующие в литературном языке в момент его кодификации, могут и не бросаться в глаза; со временем, однако, когда тенденции развития все более последовательно внедряются, недостатки становятся более заметными в структурной модели, стабилизированной посредством кодификации. Далее, они могут даже явиться тормозом, задерживающим развитие упомянутых тенденций, тормозом, устранение которого окажется настоятельно необходимым. Осуществить такое устранение, однако, довольно трудно, поскольку многочисленные культурные институты, связанные с цивилизацией, для которых использование кодифицированной нормы является обязательным, все сильнее внедряют эту норму со всеми ее недостатками в сознание носителей языка. Весьма интересно, что в соответствующих народных

---

[20] Procès verbaux des séances, Réunion phonologique internationale tenue à Prague (18—21/XII 1930), TCLP, 4, Praha, 1931, стр. 303. Статьи Гавранка, посвященные проблемам литературных языков, недавно были собраны в сб. «Studie o spisovném jazyce», Praha, 1963.

[21] Впервые в 1952 г. (в статье на чешском языке, опубликованной в SPFFBU, A 1, 1952, стр. 121—135); вариант статьи, написанный по-английски, см. в BSE, 4, Praha, 1964, стр. 9—21.

[22] См. «Тезисы», опубликованные в TCLP, 1, 1929, стр. 7—27 (особенно стр. 7—8), и, в частности, соображения Р. Якобсона в TCLP, 2 (особенно стр. 12—16) [см. также наст. сб., стр. 17—41].

говорах, не подверженных такой строгой нормализации, недостатки в структуре устранить гораздо легче, в связи с чем фонологическая модель того или иного диалекта часто может стать более уравновешенной и более «систематичной», чем структура соответствующего литературного языка.

Высказанное выше теоретическое утверждение можно проиллюстрировать конкретными примерами. Убедительный случай структурной недостаточности части фонологической системы можно обнаружить в литературном чешском языке, подсистема долгих гласных которого не имеет фонемы заднего ряда, противопоставляемой фонеме переднего ряда /e:/. (Такие гласные звуки, а именно [o:], можно обнаружить в литературном чешском только в эмоциональных или в воспринимаемых как иностранные словах). В народных говорах центральной Чехии (и в чешском просторечии, опирающемся на эти говоры) данный недостаток структуры был своевременно устранен путем сужения фонемы /e:/ и превращения ее в фонему /i:/. Там, где звук [e:] все еще существует в указанных диалектах или в разговорной речи, он не является фонемой; он или выступает там как показатель эмоциональности (ср. céra «дочь», bjéžet «бежать»), или расценивается как показатель книжности, другими словами, как некоторая синхроническая «иностранность» (ср. lékař «врач», aféra «афера»).

Очень любопытный случай такого периферийного явления наблюдается в фонологической системе современного английского языка, где, как известно, фонема /h/ имеет весьма ограниченную дистрибуцию: фактически она может встречаться лишь в начале корневой морфемы, если непосредственно за ней следует гласный (или полугласный). В древнеанглийском фонема /h/ могла встречаться также и во многих других позициях, но в процессе развития английского языка она была вытеснена постепенно из всех позиций, кроме одной, указанной выше. В результате функциональное использование (или «функциональный выход») современной английской фонемы /h/ относительно невелико; одного этого факта было бы достаточно, чтобы характеризовать ее как периферийный элемент фонологической системы современного английского языка. Но это количественное ограничение, однако, сочетается с не менее важным качественным недостатком; фонема /h/ не связана с какой-либо другой согласной фонемой так тесно, чтобы отличаться от нее только одним дифференциальным признаком [23]. Другими словами, фонема /h/ оказалась полностью изоли-

---

[23] Подробности см. в J. Vachek, On the interplay of quantitative and qualitative aspects in phonemic development, «Ztschr. f. Anglistik u. Amerikanistik», 5, 1957, стр. 5—28.

рованной в фонологической системе современного английского языка, тогда как в древнеанглийском она была тесно связана подобного рода узами по крайней мере с двумя фонемами: с /k/ и с /ʒ/. Используя термин *Мартине*, можно назвать современную английскую /h/ фонемой, не включенной в систему (phonème non intégré). Мартине убедительно показал [24], что положение недостаточно интегрированных фонем в их фонологических системах никогда не является особенно твердым. Языки, имеющие такие фонемы, стремятся решить данную проблему структуры, либо снабжая изолированную фонему новым членом противопоставления (и делая ее таким образом более интегрированной), либо, наоборот, отбрасывая ее совсем. История развития современной английской фонемы /h/ ясно показывает, что в этом случае следует принять второе, а не первое решение проблемы, поскольку назревает полное устранение фонемы /h/ из современного английского языка. Все же, несмотря на очевидное наличие такой тенденции, окончательного устранения этой фонемы не произошло по той простой причине, что важный социальный фактор мешает носителям языка сделать это. Этим фактором является орфоэпическая норма, навязываемая школой и другими культурными институтами: норма канонизирует произношение с начальным /h-/ и запрещает произношение без /h-/ (которое, между прочим, является более прогрессивным) как вульгарное. Примечательно, что почти все народные говоры на территории Англии отбросили фонему /h/ («они опускают свои h's»), иногда сохраняя этот звук в качестве потенциального, позиционно связанного показателя эмоциональности [25]. Народные говоры тем самым оказались в состоянии покончить с выпирающими слабыми, или «размытыми», точками в системе, чего литературный язык с его специфическими культурными и социальными функциями пока не в силах осуществить. Эти два приведенных нами интересных случая слабых, или «размытых», точек показывают, что лингвист не должен смущаться, если он обнаруживает некоторые несистемные элементы в изучаемых фонологических системах литературных языков. Скорее, он должен насторожиться, если таких элементов не обнаруживается. Нужно отметить, что выявление этого обстоятельства должно рассматриваться как вклад Пражской школы в фонологические исследования всемирного масштаба. Даже если существование «размытых» точек допускалось некоторыми другими фоноло-

---

[24] A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955. [Русск. перев.: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., ИЛ, 1960.— *Прим. ред.*]

[25] Подробности см. в J. Vachek, BSE, 4, стр. 13.

гическими школами лингвистики [26], нельзя отрицать, что впервые оно было установлено Пражской школой и что пражские фонологи развивали эту «динамическую» концепцию фонологической системы наиболее последовательно как в ее теоретическом аспекте, так и в ее практическом приложении. Можно лишь добавить, что в соответствии с данной концепцией пражские лингвисты всегда настаивали на необходимости отличать синхронию от статики и всегда (еще с 1929 г.) подчеркивали тот факт, что даже при неисторическом подходе к изучению языка приходится иметь дело не с неподвижными, мертвыми структурами, а с системами, характеризуемыми беспрестанным и непрерывным — даже если оно является микроскопическим — движением. То, что эта динамическая концепция языка не ограничивается только фонетическим уровнем, неоднократно было показано во многих работах пражцев (см. особенно прекрасный анализ тенденций, прослеженных в чешской глагольной системе *М. Докулилом*) [27].

VII. Настоящий обзор наиболее типичных аспектов деятельности Пражской школы в области фонологии далеко не полон. Но даже он убедит читателя в том, что чехословацкие фонологи интенсивно работают, неутомимо, но критически развивая позитивные стороны Пражской школы предвоенных лет как в области ее теоретических основ, так и в области ее рабочих методов. Кульминационной точкой их деятельности должно явиться фонологическое описание современного чешского литературного языка, которое готовится в настоящее время (словацкие ученые находятся в более выгодном положении, так как *Е. Паулини* составил недавно замечательное фонологическое описание литературного словацкого языка [28]). Следует также добавить, что современные учения Пражской школы далеки от догматизма — теперь, так же как и в пред-

---

[26] Совсем недавно (в сборнике «Universals of language», ed. J. H. Greenberg, Cambridge, Mass., 1963, стр. 20) Ч. Ф. Хоккетт пошел дальше и заявил, что «в каждой фонологической системе имеются пробелы, нарушения симметрии и «конфигурационные давления» независимо от того, когда она рассматривается». Это звучит почти как парафраза пражских «Тезисов» 1929 г. Ср. также многочисленные важные замечания, сделанные Ч. А. Фергюсоном в его рецензии на книгу М. Халле «The sound pattern of Russian» («Language», 38, 1962, стр. 284—298).

[27] В коллективной монографии «O češtině pro Čechy», Praha, 1960, стр. 192—221.

[28] E. P a u l i n y, Fonológia spisovnej slovenčiny, Bratislava, 1961 (о рецензии на эту книгу см. сн. 10). Последняя фонологическая работа Паулини посвящена выявлению периодов развития фонологических и морфологических систем западнославянских языков («Československé přednášky», см. сн. 15). См. также его последнюю монографию «Fonologický vývin slovenčiny, Bratislava, 1963.

военные годы, имеется большое количество различных мнений в рамках общего направления, описанного здесь; более того, некоторые пражские ученые считают ряд основных положений этого общего направления спорными.

Заканчивая этот неполный и очень краткий обзор, хотелось бы подчеркнуть, что постоянное внимание, которое уделяют ученые Пражской лингвистической школы структурным взаимозависимостям, обнаруживаемым на фонологическом уровне языка, и — что важнее — взаимозависимостям между фонологическими и «более высокими» языковыми уровнями, а также учет роли фонологического уровня в коммуникативной деятельности оправдывает деятельность сегодняшней Пражской школы, которую несправедливо называют иногда (что уничижительно) «таксономической» фонологией. По общему мнению, фонологическая концепция Пражской школы принципиально отличается от фонологической концепции, которой придерживаются сторонники порождающей и трансформационной грамматики (в основном *Н. Хомский* и его последователи). Хотя пражские ученые высоко оценивают новые перспективы, которые открывает для общей лингвистики трансформационный метод — некоторые из них пытаются применить этот метод и к чешскому языку,— однако они относятся скептически по крайней мере к двум положениям Хомского. Во-первых, они не убеждены, что фонологические проблемы можно свести к чисто морфологическим (в этом, кажется, убеждены Хомский и его последователи), и, во-вторых, они считают, что сторонники трансформационного метода явно не осознают динамической природы системы языка, которая в концепции Хомского и его последователей оказывается слишком статичной [29]. По мнению пражских фонологов, любая модель языка, не учитывающая того факта, что языковая система никогда не бывает и никогда не может быть абсолютно устойчивой, не отражает одной весьма существенной, если не самой существенной, особенности этой системы. Но более детальное обсуждение этой и некоторых других спорных проблем выходит за рамки настоящей статьи.

---

[29] По этому вопросу см. в особенности рецензию Ч. А. Фергюсона, указанную в сн. 26, и статью автора данного обзора, которая должна выйти в «Zeitschrift für Phonetik».



Н. С. Трубецкой

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МОРФОНОЛОГИИ *

Под морфонологией, или морфофонологией, мы понимаем, как известно, исследование морфологического использования фонологических средств какого-либо языка. До сих пор морфонология была в Европе одной из самых заброшенных областей грамматики. Если сравнить в этом плане теории древних греков и римлян с теориями древнееврейских, арабских и в особенности древнеиндийских грамматистов, то бросается в глаза недостаточное понимание морфонологических проблем в период античности и средневековья в Европе. Однако и в новое время такое положение не претерпело существенных изменений. Современная семитология попросту позаимствовала морфонологические теории у арабских и древнееврейских грамматистов, не приведя их в соответствие с современными научными точками зрения. Индоевропеисты положили в основу морфонологии индогерманского праязыка морфонологические теории индийцев, тщательно их разработав, вследствие чего возникла так называемая индоевропейская система аблаута и вся теория индоевропейских корней и суффиксов.

Однако если рассмотреть результаты, полученные современной индоевропеистикой в этой области, то становится ясно, что в сущности они не имеют ничего общего с собственно морфонологическим подходом: корни («основы») и суффиксы при-

---

* N. S. Trubetzkoy, Gedanken über Morphonologie, TCLP, 4, Prague, 1931, стр. 160—163.

обретают здесь характер метафизических сущностей, а аблаут становится своего рода магическим действом. Характерной чертой является также отсутствие здесь связи с каким-либо живым языком. Теория корней, системы аблаута и т. д., по-видимому, возможны и необходимы только для гипотетического праязыка, тогда как в языках, засвидетельствованных исторически, сохраняются лишь остатки этих явлений, на которые, однако, наслоилось так много более поздних напластований, что о существовании какой-либо системы в этих языках не может быть и речи. Данная точка зрения, вполне закономерная для Шлейхера, принципиально разграничивавшего праязыковый период становления и исторической период языкового распада, бессознательно отстаивается и сейчас большинством индоевропеистов, хотя все они отвергают теоретические положения Шлейхера.

Аблаут и различные виды звуковых чередований в отдельных индоевропейских языках всегда описываются с исторической точки зрения, причем все существующие типы чередования звуков независимо от их современной значимости возводятся к их историческим источникам. Поскольку при этом не делается различий между продуктивными и непродуктивными морфонологическими фактами, а их функции вообще не учитываются, то, естественно, не могут быть раскрыты и системные свойства самих фактов.

Индоевропеисты никогда не хотели признавать, что морфонология не только для праязыка, но и для каждого отдельного языка составляет особую и самостоятельную область грамматики: обычно морфонологию трактовали как результат компромисса или взаимодействия между историей звуков и историей форм и рассматривали одну часть морфонологических явлений в фонетике, а другую — в морфологии.

С таким положением дел больше мириться нельзя. Морфонология как связующее звено между морфологией и фонологией должна занять принадлежащее ей по праву достойное место в грамматике, подчеркиваю — в любой грамматике, а не только в грамматиках семитских или индоевропейских языков. Только такие языки, которые не имеют морфологии в собственном смысле этого слова, могут обойтись также и без морфонологии: для подобных языков некоторые разделы, обычно относимые к морфонологии (например, раздел о фонологической структуре морфем), должны включаться в фонологию.

Полная морфонологическая теория состоит из следующих трех разделов: 1) теории фонологической структуры морфем; 2) теории комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в морфемных сочетаниях;

3) теории звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию.

Из этих трех разделов только первый имеет значение для всех языков. Во всех языках, разграничивающих различные типы морфем, отдельным их видам присущи специальные звуковые признаки, меняющиеся, впрочем, от языка к языку. Особенно многообразны структурные типы корневых морфем. Как известно, именные и глагольные корневые морфемы в семитских языках состоят большей частью из трех согласных звуков, в то время как местоименные корни не имеют таких ограничений. Однако правила подобного рода могут быть установлены и для других, не семитских языков. Например, в некоторых восточнокавказских языках глагольные и местоименные корневые морфемы всегда состоят из одного согласного звука, тогда как именные корневые морфемы не знают таких ограничений. Впрочем, и для индоевропейских языков можно вывести подобные правила. В славянских языках корневые морфемы, состоящие из одного согласного звука, представлены только в качестве корней местоимений; корневые же морфемы, состоящие только из одного гласного звука (без согласного), если не принимать во внимание такие реликты, как «u» в польском obuć, вообще не встречаются в современных славянских языках; в русском именные и местоименные корневые морфемы должны иметь в исходе согласный звук и т. д. Другие типы морфем (морфемы окончаний, префиксальные и суффиксальные морфемы и т. д.) также имеют в любом языке ограниченное количество возможных типов звуковой структуры. Задача морфонологии заключается в установлении типов звуковых структур у различных видов морфем [1].

Теория комбинаторных звуковых изменений морфем, обусловленных их сочетанием, соответствует тому, что в древнеиндийской грамматике называлось «внутренним сандхи». Не для всех языков этот раздел морфонологии имеет одинаковое значение. В некоторых «агглютинирующих» языках он (вместе с упомянутой выше теорией звуковой структуры морфем) составляет всю морфонологию. Напротив, в некоторых других языках он не играет никакой роли.

Mutatis mutandis можно то же самое сказать о третьем разделе морфонологии, а именно о теории рядов звуковых изменений, выполняющих морфологическую функцию.

---

[1] Что касается языков, не имеющих дифференцированных видов корневых морфем (как, например, китайский), то для них приходится устанавливать возможные звуковые типы слов (однако это должно производиться не в морфонологии, а в особом разделе фонологии).

Очень важно, особенно для данного раздела морфонологии, строго разграничивать продуктивные и непродуктивные явления и, кроме того, учитывать специализацию функций различных рядов чередований. Изучение морфонологии русского языка показывает, например, что в этом языке ряды звуковых чередований в именных и глагольных формах не одинаковы и что, кроме того, существует большое различие между рядами звуковых чередований, которые используются для парадигматического и деривационного формообразования. Аналогичные условия наблюдаются, по-видимому, и во многих других языках.

Изменение звукового облика морфем играет определенную роль не только в так называемых флективных языках (например, в индоевропейских, семитских, восточнокавказских и т. д.). Достаточно указать на выполняющий морфологическую функцию количественный и качественный аблаут в угорских языках или на чередование согласных в финских языках. Вместе с тем не вызывает никаких сомнений, что во многих языках морфемы не подвергаются звуковым изменениям. Для таких языков этот третий раздел морфонологии оказывается ненужным.

Таким образом, морфонология представляет собой раздел грамматики, который играет важную роль для всех языков, но который не изучен еще почти ни в одном языке. Изучение морфонологии значительно углубит наши знания о языках. Особо следует отметить значение этого раздела грамматики для типологии языков. Старое типологическое деление языков на изолирующие, полисинтетические, агглютинирующие и флективные во многих отношениях неудовлетворительно. Морфонология, являющаяся, как уже отмечалось, связующим звеном между фонетикой и морфологией, призвана благодаря такому своему положению в системе грамматического описания дать всеобъемлющую характеристику каждого языка. Возможно, что при установлении языковых типов с морфонологических позиций как раз и откроется возможность для создания рациональной типологической классификации языков земного шара.

В. Скаличка

АСИММЕТРИЧНЫЙ ДУАЛИЗМ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ *

О грамматической системе любого языка мы можем говорить только с большой неопределенностью. Хотя у нас и существует немалое количество традиционных терминов, таких, как *слово*, *предложение*, *имя существительное*, *род*, но, как известно, немногие из них вполне удовлетворительны.

Например, термин *слово* является сравнительно ясным образованием. Так, в чешском языке можно без труда расчленить связную речь на ряд слов. Но мы все же не можем сказать, что, собственно, представляет собой слово. Справедливо, что мотивировка этого образования заключена в его назывном значении. Словом мы обычно называем dům «дом», oko «глаз», zvíře «животное» и т. п. Но иногда мы находим два слова там, где по значению можно было бы ожидать одного: vraní oko «волчьи ягоды», volské oko «яичница-глазунья». Поэтому в «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (1, стр. 11) сказано: «слово есть *результат* назывной [или номинативной] деятельности». Поэтому и вводится новый термин — *наименование* [или *номинация*] (см. ниже).

В равной степени таким же понятным представляется нам и термин *предложение*. И все же определение предложения до сих пор спорно. Существует немало конструкций, по поводу которых языковеды никак не могут договориться, являются они предложениями или нет, или, может быть, это какие-то неполные предложения. К таким конструкциям относятся прежде всего различные так называемые одночленные предложения типа: Prší «Идет дождь», Oheň! «Пожар!», Hm! «Гм!» и т. д.

Имя существительное характеризуется родом, числом, отсутствием степеней сравнения и спряжения, в славянских языках — также особым склонением (в отличие от имен прилагательных). Основа имени существительного заключена в том,

---

* Vladimír S k a l i č k a, Asymetrický dualismus jazykových jednotek, «Naše řeč», roč. XIX, Praha, 1935, стр. 138—145.

что можно назвать субстанцией. Но в языке представлено немало имен существительных, не представляющих собой субстанции: pití «питье», přízeň «благосклонность», skok «прыжок».

Род имен существительных определяется прежде всего естественным полом: kocour «кот»— kočka «кошка», učitel «учитель»— učitelka «учительница». Но он характеризует и те слова, к которым неприменимо понятие пола: stůl «стол»— židle «кресло», šálek «чашка»— číše «бокал». Обычно в таких случаях различается род естественный и грамматический.

Подобным же образом мы могли бы рассуждать и о других терминах. Но, вероятно, и так уже ясно, что многие грамматические термины страдают известной неточностью.

Нужно решить вопрос, как поступить с неточными терминами. Мне думается, что нашу задачу в значительной степени облегчит обращение к самой сущности языка.

В отдельном знаке, равно как и во всем языке, наличествуют две стороны: то, что обозначается, и то, что обозначает. Уже де Соссюр указал, что отношения этих двух сторон не столь просты, как это кажется на первый взгляд. То, что обозначено, существует только благодаря тому, что наличествует то, что его обозначает. И наоборот, то, что обозначает, становится самим собой только потому, что оно что-то обозначает. Если употребить слова «форма и значение», то можно в соответствии с этим сказать, что значение непременно обладает своей формой, подобно тому как форма невозможна без значения. Это, однако, далеко не все для определения соотношения формы и функции в языке. И все-таки вполне возможно, что указанные особенности этого соотношения будут способствовать более точному определению грамматических терминов.

Очень важны для определения соотношения значения и формы так называемые омонимия и омосемия (мы употребляем слово «омосемия» в том случае, когда один и тот же элемент имеет различное выражение, что наблюдается, например, с флексиями в словах nes-u «я несу», kupuj-i «я покупаю», dělá-m «я делаю»; словом «синонимия» обозначаем названия, близкие по смыслу, например: bída «нищета», nouze «нужда», nedostatek «нехватка»).

Знак является омосемической единицей, то есть он имеет всегда одно и то же значение. Он выражен омонимической единицей, имеющей всегда одно и то же название. Границы омонимической единицы обычно совпадают с границами омосемической единицы. Но иногда этого не наблюдается. Объем омонимической единицы порой бывает шире объема омосемической единицы. Так возникает омонимия и омонимическая группа.

Наоборот, когда шире оказывается объем омосемической единицы, то имеет место омосемия и омосемическая группа.

Омонимическая группа имеет формальную основу, омосемическая — смысловую. Казалось бы, что в данном случае автономность формы и значения проявляется особенно четко. Но как раз здесь и обнаруживается, сколь прочно они связаны.

Омонимичными являются, например, немецкие слова Bauer в значении «крестьянин» и Bauer в значении «клетка». Сами по себе они кажутся тождественными. Но их сочетания с различными морфемами и словами (главным образом с артиклем), то есть средствами и формальными и смысловыми, свидетельствуют о том, что речь идет о разных словах. Условием омонимии является взаимоисключаемость. Части омонимической группы дополняют друг друга. Взаимоисключаемость делает возможным их формальную идентичность при смысловом различии (употребление их в одной и той же ситуации привело бы к двусмысленности).

Омосемическими являются, например, флексии -i, -m в формах kupuj-i, dělá-m. Сами по себе они кажутся совершенно непохожими. Но связь с морфемами, следовательно, со средствами и формальными и смысловыми, указывает на то, что речь идет о чем-то близком. Условием появления омосемии является опять-таки взаимоисключаемость частей омосемической группы. Части омосемической группы подобны фонологическим вариантам, взаимно дополняющим друг друга. Взаимоисключаемость делает возможным их смысловую идентичность при формальном различии.

На основании сказанного форма и значение или, скорее, формальная и смысловая основа знака не всегда симметричны. Эту асимметричность, которая проявляется по-разному, а не только так, как было показано нами, С. Карцевский называет асимметричным дуализмом языкового знака. (Ср. S. K a r c e v s k i j, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1, стр. 88 и сл.).

Асимметричный дуализм омонимических и омосемических единиц вызывает в языковой системе известные затруднения и осложнения. Поэтому языки — разные и каждый в неодинаковой степени — избегают его. Турецкий язык очень последователен в этом отношении, в меньшей степени последовательны финский и венгерский языки. Чешский являет пример языка с развитым асимметричным дуализмом. В нем ассиметричный дуализм получает важную функцию. В корнях слов омонимия и омосемия весьма редки (например: míti «иметь»— mýti «мыть», jdu «я иду»— šel jsem «я шел»), и, напротив, они очень распространены во флексиях: had-a «змей», žen-a «женщина, же-

на», města «города», nes-a «неся» и т. д.; dá-m «я даю», nes-u «я несу», kupuj-i «я покупаю» и т. д. Отсюда следует, что омонимия и омосемия характеризуют флексии как таковые.

Таким образом, понятие асимметричного дуализма оказалось полезным при рассмотрении языкового знака. Теперь приступим к рассмотрению языковых единиц.

Минимальной языковой единицей, обладающей значением, является *сема*. Она не может быть разделена на меньшие значащие части. Например, в слове zub-at-ý пять сем: zub- «зуб», -at— суффикс прилагательного и -ý, которое содержит три семы: 1) именительного падежа, 2) единственного числа, 3) мужского рода.

Сема обычно выражается непрерывным фонематическим рядом, и это означает, что она является одновременно и семой и морфемой (морфема равна семе или сочетанию сем, которые сами по себе или с помощью других морфем выражены непрерывным рядом фонем). Но так бывает не всегда. В приведенном слове две из пяти сем выражены самостоятельными морфемами, три остальные объединены в одной морфеме.

Итак, мы опять-таки сталкиваемся с двумя весьма близкими друг другу единицами, которые в большинстве случаев совпадают. Морфема имеет формальную основу, сема — основу смысловую. Морфема, содержащая несколько сем, походит на омонимическую группу. Что она содержит несколько сем, становится ясно из сравнения с другими морфемами, то есть средствами и формальными и смысловыми. Так, например, последняя морфема слова zub-at-ý содержит три семы, на что указывает сравнение с другими морфемами, в которых соответствующие семы выступают вместе с другими семами: zub-at-ého (родительный падеж единственного числа мужского рода), zub-at-í (именительный падеж множественного числа мужского рода), zub-at-á (именительный падеж единственного числа женского рода).

Противоположные случаи, характерные для омосемии, сравнительно редки. Они имеют место — хотя и в не совсем чистом виде — например, в слове zub-at-í. Семы именительного падежа, множественного числа и мужского рода выражены отчасти последней морфемой, отчасти предшествующей. То, что обе морфемы связываются для выражения определенной группы сем, становится ясным из сравнения с другими морфемами и семами, где те же самые или подобные им семы выражаются лишь одной морфемой: lesn-í (именительный падеж множественного числа мужского рода), zub-at-ých и т. д.

Представляется возможным утверждать, что и здесь имеет место асимметричный дуализм.

Асимметричность дуализма семы и морфемы также вызывает в разных языках определенные затруднения и осложнения. Разные языки — в разной мере — стараются избежать его. Турецкий язык и в данном случае — самый последовательный; большую асимметричность допускает венгерский язык, еще бо́льшую — финский, а самую большую — чешский язык. Функция дуализма семы и морфемы тождественна функции дуализма омонимии и омосемии. Дуализм наблюдается почти исключительно во флексиях, и тем самым они отличаются от остальных сем и морфем.

Любопытно еще подчеркнуть, что акустико-моторная сторона языка также имеет свою единицу, стоящую на уровне сема — морфема. Этой единицей является слог. Сема и морфема чаще всего соответствуют одному слогу. Несоответствие отдельных слогов отдельным семам и морфемам всегда объясняется определенной функцией. Слог таким образом становится важной грамматической единицей.

Так, например, во многих языках семантемы и формемы (формемы равны «формальным» семам, то есть словообразующим суффиксам, флексиям, предлогам, союзам, местоимениям и т. д.) различаются количеством слогов: в венгерском языке, например, встречаются одно — трехсложные семы (had, kemény, babona), нулевые — двусложные формемы (éj-t, éj-nek, fáj-dalom); в чешском языке встречаются нулевые — трехсложные семантемы и нулевые — двусложные формемы (dn-e, den-0, sever-0, krahujec-0, nés-t, kost-mi, žen-ami). В других языках по такому принципу отличают словообразовательные суффиксы от флексий. В финском языке мы находим одно — двусложные словообразовательные суффиксы, нулевые — односложные флексии (via-ton «невинный», via-ttoma-n «невинного», saa-n «получаю», saa-da «получить»).

Наряду с этим слог важен и для различения морфемы и слова. Границы морфем часто разрывают слоги, тогда как границы слов почти всегда совпадают с границей слога, например: -že-n-a-mi-.

Семы и морфемы связываются в единицы высшего порядка — в *слова* и *наименования*. Выражение «наименование» (pojmenování) мы употребляем здесь вслед за профессором Матезиусом (см., например, «Slovo a slovesnost», I, стр. 134). Наименование является назывной единицей языка. Оно не может быть разделено на меньшие части, также обладающие назывным значением, ср., например, oko «глаз», vraní oko «волчьи ягоды».

Единичное наименование чаще всего выражено самостоятельной ударной единицей, характеризуемой иногда и иным способом, то есть выражено словом. Однако это наблюдается

не всегда. Выражение vraní oko «волчьи ягоды» содержит два слова, но является одним наименованием (при этом мы пока не принимаем во внимание флексий).

В данном случае также речь идет о явлении асимметричного дуализма, аналогичного омосемии (единица со смысловой основой имеет больший объем, нежели единица с основой формальной). То, что речь идет об одном наименовании, выясняется из сравнения с другими словами и наименованиями: vraní oko «волчьи ягоды»— pampeliška «одуванчик», kuří oko «мозоль на пальце ноги»— mozol «мозоль» и т. д. Асимметричный дуализм такого рода проявляется изредка, спорадически и поэтому особенно не влияет на структуру языка.

Казалось бы, что противоположный случай мы находим, например, в слове ok-o. Оно выражает не только наименование «oculus», но также форму именительного падежа и форму единственного числа. Но здесь ситуация более сложная. В разговоре к этому наименованию присоединяются различные семы, определяющие наименование более детально (сюда относятся, например, семы числа, времени, наклонения, уменьшительных суффиксов и т. д.). Наряду с этим наименование никогда не замыкается в самом себе, то есть к нему обычно присоединяются и другие семы (например, семы падежей, семы флексий сказуемых и др.).

Все эти вспомогательные семы образуют с соответствующим наименованием одно слово. Ср., например, ruka ruku myje «рука руку моет». Но так бывает не всегда. Необходимо отметить, например, что в чешском языке несамостоятельными являются флексии падежей, тогда как родственные семы предлогов выступают в виде особых слов; в глаголах отношение к лицам выражается флексиями, а у имен существительных — самостоятельными словами: věřím «я верю», но moje víra «моя вера» по сравнению с венгерским, где hiszek означает «я верю», а hitem —«моя вера».

Вновь мы имеем дело с двумя очень близкими друг другу единицами, которые в большинстве случаев совпадают. Слово имеет формальную основу, наименование с соответствующими семами — смысловую. В приведенных примерах, таких, как moje víra «моя вера», речь идет о асимметричном дуализме, аналогичном явлению омосемии. То, что здесь имеет место именно единичное наименование с соответствующим окружением, подтверждается сравнением со словами типа věřím «я верю».

Асимметричный дуализм наименования со своим окружением и сло́ва опять-таки вызывает некоторые затруднения. Многие языки — хотя и в разной степени — стараются избе-

жать его. И снова турецкому, финскому и венгерскому языкам свойственна более слабая асимметрия, чешскому же — более сильная. Такого рода дуализму также свойственны свои определенные функции. Имя отличается от глагола, помимо прочего, также и тем, что личные отношения выражаются у имени особым словом, а у глагола — флексией. Ср. moje víra «моя вера» — věřím «я верю». Также отличаются падежные флексии от предлогов; ср. lesa «ле́са» — z lesa «из леса».

Акустико-моторная сторона языка на уровне наименования также имеет свою единицу — слово, то есть такт. Такт обычно соответствует слову и наименованию. Там, где соответствие отсутствует (например, при энклитиках), указание на другое слово должно быть выражено иным способом (присоединением энклитики не к тому слову, к которому она относится, фонологическим выражением границы слов и т. п.). Функцией такой «асимметрии» является выделение энклитик как особого типа слов.

Слово является очень важной языковой единицей. Поэтому в пределах слов имеют место важные оппозиции. К ним относятся прежде всего оппозиции в области так называемых частей речи. Вопрос о частях речи является давней и трудной проблемой.

Еще Пауль указывал (P a u l, Prinzipien der Sprachgeschichte, изд. 5-е, стр. 352), что части речи имеют троякую основу: 1) смысловую: имя существительное является выражением чего-то, что можно назвать субстанцией, глагол является выражением действия или состояния и т. д.; 2) морфологическую: имя существительное принимает падежные окончания, глагол — личные и временные окончания и т. д.; 3) синтаксическую: имя существительное может быть субъектом или объектом, глагол — предикатом и т. д. Последние два пункта мы можем, вероятно, объединить. Нам неизвестны образования, которые «морфологически» были бы именем существительным, а «синтаксически» — глаголом и т. д.

Иную картину мы наблюдаем в смысловых основах. Имя существительное обозначает нечто, что мы можем назвать субстанцией: dům «дом», otec «отец», noha «нога», koncovka «окончание» и т. д. Мы оставляем в стороне сомнительные случаи типа hlad «голод», láska «любовь», spalničky «корь». Но имеются случаи, когда вербальность имени существительного очевидна: pití «питье», přízeň «благосклонность», skok «прыжок».

Итак, мы имеем единицы двоякого типа, чаще всего соответствующие друг другу: имя существительное и глагол, с одной стороны, и имя существительное и глагол со смысловой точки зрения — с другой. Границы первых двух отклонены по сравнению с границами вторых в направлении к глаголам.

То, что такие существительные, как pití, přízeň, skok, являются по значению глаголами, выясняется из сравнения их с глаголами píti «пить», přáti «благоволить», skákati «прыгать, скакать».

Следовательно, здесь, очевидно, мы можем отметить еще один пример асимметричного дуализма.

Оппозиция существительного и глагола является в сущности дифференцированной, то есть оппозицией непарных групп. Приведенные слова dům, otec, noha, koncovka не имеют своих антиподов среди глаголов, равно как и слова píti, přáti, skákati — среди существительных (по значению). Но асимметричный дуализм нарушает эту картину. Слова образуют пары, являются коррелятивными. Особая сема указывает на то, что речь идет не о глаголе, а о существительном.

Функцией подобного асимметричного дуализма является выражение действия или состояния то глаголом, то существительным. Таким образом, появляется возможность употребления «глагола» в качестве подлежащего, дополнения и т. д.

Другую важную оппозицию образует род имен существительных. Здесь необходимо различать так называемый естественный род и род грамматический.

«Естественный» род означает в смысловом отношении различение, с одной стороны, по полу (род мужской и род женский), с другой стороны — по зрелости (мужской и женский род — средний род). Эта оппозиция является коррелятивной, то есть оппозицией парных групп (vlk «волк»— vlčice «волчица»— vlče «волчонок» и т. п.).

«Грамматический» род распространяет родовые различия на все существительные. Он имеет формальную основу. Связь со значением обнаруживают только существительные с естественным родом, а также прилагательные и местоимения в значении определений. Оппозиция «грамматических» родов является дифференцированной, т. е. оппозицией непарных групп.

Кажется, что и в данном случае речь идет об асимметричном дуализме формы и значения. Этому дуализму также свойственны свои функции: согласование определения с существительным на базе рода довольно четко определяет отношения прилагательного и существительного и тем самым открывает возможности для более свободного порядка слов.

Слова и наименования объединяются в единицы высшего порядка — в *предложения*. Предложение является самой минимальной языковой единицей, содержащей какую-либо модальную точку зрения (реакцию) на что-либо.

Предложение выражается обычно так называемым *клише-предложением*. В каждом языке существуют свои обязательные

типы построения предложений (клише). Например, в чешском языке имеет место схема: имя существительное (местоимение) + + глагол: Strom roste «Дерево растет»; глагол + окончание: Píši «Я пишу»; в венгерском языке наряду с этими схемами представлено еще одно клише: имя существительное + имя существительное: Fiú szegény «Парень беден». Предложение, следовательно, выражается обычно клише-предложением. Но это не всегда имеет место. В выражении Oheň! «Пожар!» имя существительное заменяет целое предложение Tam je oheň! «Там [есть] пожар!» Мне думается, что и в этом случае мы имеем дело с явлением асимметричного дуализма. Предложение имеет смысловую основу, клише-предложение — формальную. То, что образование Oheň!, является предложением, подобным конструкции Tam je oheň, подтверждается интонацией предложения.

Обратный случай, аналогичный омосемии, наблюдается в сложном предложении, подчиненном или сочиненном, где на одно предложение приходится два клише.

Асимметричный дуализм предложения и его клише также имеет в языке свою функцию. Предложения с нарушенным клише служат для выражения эмоционального стиля. Придаточные предложения используются в различных языках по-разному. Турецкий язык редко использует придаточные предложения, тогда как финский, венгерский, чешский пользуются ими гораздо чаще. Функция асимметричного дуализма в данном случае состоит в том, чтобы выразить часть предложения аналогично целому предложению, в результате чего структура предложения становится более удобной.

На уровне предложение — клише-предложение также существует особая акустико-моторная единица — интонация предложения. Она почти всегда сопровождает предложение и никогда — его клише. Там, где предложение не соответствует клише-предложению, интонация принимает на себя функцию характеристики предложения как такового.

Предложения организуются в *высказывания*. Высказывания являются единицами наивысшего порядка в языке. Они, как и наиболее близкие к ним единицы низшего порядка — предложения, выражаются клише-предложениями и пр. Поэтому они не требуют какой-либо особой формальной характеристики. Именно поэтому на уровне высказывания асимметричный дуализм невозможен.

Мы указали вначале, что наши традиционные грамматические понятия весьма неточны. В связи с этим мы выражаем надежду, что понятие асимметричного дуализма сможет помочь нам в создании терминов более точных и более обоснованных.

В. Скаличка

О ГРАММАТИКЕ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА *

Под грамматикой я, следуя Р. Якобсону [1], понимаю все (за исключением фонологии), что относится к сфере языка.

В грамматике стилистические варианты еще важнее, чем в фонологии. В данной работе нас будет интересовать лишь продуманный и отработанный стиль.

Но даже при таком ограничении грамматики ее содержание очень богато и сложно. Поэтому вопросы семантики затрагиваются нами лишь в редких случаях. В первую очередь нас интересуют формативные элементы, то есть именно то, что обычно называют грамматикой.

Для правильного суждения о структуре венгерского языка необходима более или менее стройная грамматическая теория. Однако на первый взгляд грамматика представляет собой сплошной хаос. Как разобраться в этом хаосе? Здесь большую помощь может оказать работа Вилема Матезиуса о потенциальности языковых явлений. Он первый указал на важное значение потенциальности как в фонетике, так и в грамматике (в особенности для решения проблемы слова). Значение этой работы трудно переоценить.

---

* Vladimír Skalička, Zur ungarischen Grammatik, Praha, 1935.

1 «La grammaire s'occupe des symboles et la phonologie de parties composant ces symboles», то есть «Грамматика занимается символами, а фонология— составными элементами этих символов» (TCLP, 4, стр. 297).

Идея потенциальности необходима каждому исследователю, изучающему грамматику с функциональной и структурной точек зрения. Эта точка зрения впервые была сформулирована Соссюром и Бодуэном де Куртенэ, но до сих пор чаще всего применялась в фонетике (в так называемой фонологии). Напротив, сама грамматика всегда остается смесью различных фактов, которые классифицируются на основании нескольких, в первую очередь логических принципов.

Структурная лингвистика учит, что все явления в языке существуют только в оппозициях (в противопоставлениях) другим явлениям. Эти оппозиции, конечно, нельзя обнаружить непосредственно. Поэтому объективное доказательство некоторых утверждений бывает часто весьма затруднительным. Провести его можно различными способами:

1. В пределах одного языка. Если в двух или более фактах отражается одна и та же тенденция, то можно предположить, что такая тенденция существует. Так, например, можно сделать предположение о существовании различия между семантемами и формальными элементами, поскольку об этом свидетельствуют многие моменты: семантемы длиннее, редко имеют синонимы и омонимы; семантемы не могут выступать в функции формального элемента. Напротив, формальный элемент короче и очень часто имеет синонимы и омонимы.

2. При сопоставлении с другими языками. Например, истинное соотношение личных местоимений *я*, *ты*, *мы*, *вы* в европейских языках можно — и мы надеемся это доказать — правильно понять только при сопоставлении с другими языками (в первую очередь с такими языками, в которых имеются так называемые эксклюзивные и инклюзивные формы). Поэтому наряду с венгерским языком в данной работе рассматриваются и другие языки, в первую очередь финский, чешский и турецкий.

Логическим принципом в языке, о котором мы говорили выше, является выделение в грамматике формы и функции. Уже неоднократно указывалось на то, что форма и функция в грамматике тесно связаны, что их никак нельзя разделять. Однако при логическом анализе можно разграничить области значения и формы. Но, как мы уже говорили, нам необходимо найти объективное лингвистическое доказательство реального существования в языке противоположности между значением и формой. Мы попытаемся найти такое доказательство. Однако нам все же кажется, что любая попытка в этом направлении обречена на неудачу.

Отправным моментом для иной классификации является

слово. В этом случае грамматику делят на учение о единицах, меньших, чем слово, и на учение о единицах, более крупных, чем слово. Такова точка зрения грамматистов старой школы, которой придерживаются многие и в наше время. Необходимо заметить, что она отнюдь не лишена основания. Бесспорно, что в различных языках слово оформляется по-разному. Из всех семем (предложение, слово, морфема и т. д.; термин «семема» мы употребляем в понимании Норейна, то есть как любое грамматическое единство) слово выделяется наиболее отчетливо, во всяком случае, в европейских языках. Однако и это подразделение является чисто механическим. Слово — очень важная, может быть важнейшая, но не единственная семема. Само слово, например, состоит из морфем, но и морфема, как мы покажем ниже, состоит из еще более мелких единиц. В свою очередь из простых предложений создаются сложноподчиненные предложения и т. д. К тому же классификация слов часто бывает непоследовательной. Как рассматривать конструкции типа pater scribit и scribo, которые построены одинаковым образом? Следует ли отнести одну из них к морфологии, а другую к синтаксису? Мы полагаем, что нет оснований делать подобное априорное разделение.

Другая грамматическая система построена на основе так называемой типологии. Об этой системе немало дискутировали в XIX в. Большое внимание уделялось при этом так называемым урало-алтайским языкам, в том числе венгерскому языку. Типология выходит за рамки отдельного языка и пытается дать общую характеристику одному языку в его отношении к другим. Представители типологической школы исходят прежде всего из организации слов и предложений. Еще со времени братьев Шлегелей лингвисты наблюдали, что в одних языках, например в ряде индоевропейских, слова изменяются с помощью небольших формативов, или так называемых окончаний, в других языках используются одни и те же более или менее самостоятельные аффиксы, а в третьих слова не имеют никаких флексий и т. п. Лингвисты обнаружили, что в некоторых языках определенные тенденции выражены особенно сильно, например в китайском, турецком языках и в языках американских индейцев. На основе таких языков были намечены так называемые языковые типы, число которых у различных авторов колеблется. К общепринятым относятся следующие типы:

1. Изолирующий (примером может служить китайский язык); так был назван нефлектирующий языковой тип, в котором единственным морфологическим средством является сочетание корнеслов.

2. Агглютинирующий (например, турецкий язык); здесь формальными элементами являются аффиксы, свободно соединяемые с основой.

3. Полисинтетический (к нему относят языки американских индейцев); он характеризуется тем, что семантически важные элементы (например, прямое дополнение) выражаются слитными формами.

4. Флективный (индоевропейские и семитские языки); сюда относятся языки, в которых формальные элементы тесно соединяются с основой, а чередование звуков воспринимается также как формальный элемент или где формальные элементы выражаются одной или несколькими прочно связанными формами.

Некоторые авторы выделяют еще и другие типы языков, например аналитический тип языка, очень похожий на изолирующий языковой тип, затем основоизолирующий тип и т. д.

Преимущество такой трактовки грамматики состоит в том, что в этом случае оперируют весьма значительным количеством языков.

Вся языки созданы одним и тем же человеческим разумом. «Toute langue est une variation sur le grand thème humain du langage». («Любой язык — это вариация большой человеческой темы, языка вообще».— D e l a c r o i x, Anal. 10.) Все языки — даже самые непохожие — очень близки друг другу. Своеобразие каждого из них отчетливо проявляется только при сравнении с другими языками. Однако при тех методах, которыми пользовались представители типологической лингвистики, такое сопоставление скорее играло отрицательную роль. Какой-либо язык считался агглютинативным потому, что для него «характерна» агглютинация, то есть именно это явление отличает его от других языков. Лингвистам-типологам вообще не была известна роль, например, противопоставления агглютинация — изоляция в рамках одного языка. Однако отдельный язык — это самостоятельная система, и как таковой он не образует системы с другими языками. Правильную мысль на этот счет высказал Луи Ельмслев (стр. 214): «Chaque langue qui se trouve en un lieu donné, dans un milieu donné et à une époque donnée, constitue un état idiosynchronique qui se présente comme un ensemble de faits psychiques». («Любой язык, существующий в определенном месте, в определенной среде, в определенную эпоху, представляет собой идиосинхроническое единство, которое проявляется как совокупность психических фактов».) Поэтому приходится говорить не о «морфологической классификации» языков, а только о сходствах и различиях между разными языковыми системами или о различных решениях одной и той же проблемы.

Некоторые лингвисты-типологи, в первую очередь Г. Винклер, ошибочно полагали, что языковой тип является чем-то неизменным, и поэтому при одинаковом или сходном типе языков генетическое родство языков считалось доказанным. Действительно, нельзя отрицать, что грамматической системе присущ известного рода консерватизм, однако можно найти также и примеры коренного изменения языковой системы (западноевропейские языки, китайский язык). Идея взаимосвязи между типологическими и генетическими фактами значительно поколебала престиж типологии. Поскольку, например, угро-финские языки в их совокупности считались агглютинирующими, скептикам, указывавшим на существование в лапландском и некоторых балто-финских языках внутренней флексии, удалось дискредитировать теорию в целом.

Главной причиной того, что типология не добилась сколько-нибудь значительных успехов, является отсутствие у нее прочной теоретической базы. Важнейшим моментом считалась организация слов и предложений, однако наряду с этим опирались и на некоторые иные бросающиеся в глаза признаки: моносиллабизм, инкорпорацию, внутреннюю флексию и т. д. При более детальном исследовании за образец языкового типа принимался язык с простым, прозрачным строем, и все его свойства приписывались «типу» в целом. Так возникла идея о существовании небольшого числа языков чистого типа и о смешанных языках переходного типа. Из-за этого теперь нет четкого представления о том, что такое агглютинация, флексия, изоляция и т. д. Наиболее неопределенным является различие между агглютинацией и флексией. Заключается ли оно в кумуляции функций в одной морфеме? Или в частых альтернациях? Или, быть может, в омонимии и синонимии окончаний? Или в краткости окончаний? Или во внутренней флексии? И т. д. и т. п. И если все это справедливо, то как же рассматривать в таком случае формы и языки, которые по одним признакам являются «агглютинативными», а по другим —«флективными»?

Действительно, в языках обнаруживаются некоторые соответствия этим старым типам; эти последние все еще могут быть использованы для поверхностного описания какого-либо языка. Бесспорно и то, что краткость флексий создает благоприятную почву для их омонимии и синонимии; справедливо и то, что альтернация, если она часто встречается, также может использоваться функционально («внутренняя флексия»). Не подлежит также сомнению, что в соответствии с этими и сходными с ними структурными закономерностями, вероятно, можно выделить несколько языковых типов. Однако это уже последний вопрос при исследовании грамматической структуры.

Без изучения отдельных грамматических фактов и, кроме того, без учета структурных закономерностей «морфологическая классификация» языков является субъективной и преждевременной. Об этом свидетельствует совершенно бесплодная полемика между лингвистами-типологами о количестве «языковых типов» и их структурных особенностях.

В XX столетии типологическая теория пошла по ложному пути. О типах языкового строя можно прочитать прежде всего в различных курсах «Введения в языкознание». Этот вопрос излагается в них всегда одинаково или с незначительными отклонениями и очень часто в полуироническом тоне (ср., например, Б л у м ф и л д, стр. 209; Х о р г е р, стр. 113 и сл.; О б е р п ф а л ь ц е р, стр. 66; С е т э л е, стр. 33 и сл.). Интересную попытку поставить типологию на твердую почву сделал Сепир. Он правильно отмечает (стр. 127 и сл.), что языковые системы весьма многообразны, а различия между ними — лишь количественного характера. Однако и Сепир в своей теории слишком подчеркивает различия между языками, не учитывая в достаточной степени самостоятельности системы отдельного языка. То же самое следует сказать и о разделении Ф. Н. Финком языков на сочиняющие (anreihende) и подчиняющие (unterordnende) (а, стр. 244 и сл.).

Современная лингвистическая теория чаще всего решительно отвергает типологию в целом. Однако нельзя отрицать, что на практике типология иногда оказывается полезной. Любой лингвист, который хотя бы даже поверхностно изучает различные языки, не может отделаться от весьма субъективного впечатления, что, скажем, у так называемых агглютинирующих языков очень много общих черт, отличающих их от языков «флектирующих».

Даже авторы, отрицающие типологию, прибегают к ней при описании отдельных языков. Так, например, А. Мейе во введении к сборнику «Les langues du monde» на стр. 1 пишет: «La trop fameuse classification en langues isolantes, agglutinantes et flexionelles ne se laisse pas poursuivre exactement, et pour autant qu'elle se laisse formuler, elle n'a ni portée scientifique ni utilité pratique. La seule classification linguistique, qui ait une valeur et une utilité, est la classification généalogique» («Широко известную классификацию языков на изолирующие, агглютинирующие и флектирующие нельзя провести с достаточной точностью, и в том виде, в каком ее можно сформулировать, она не представляет научной ценности и практически бесполезна. Единственная лингвистическая классификация, которая ценна и полезна,— это генеалогическая классификация»). Но в той же самой работе (стр. 344) он замечает: «...le

caucasique méridional est intermédiaire entre le type flexionel indoeuropéen et le type turc ou finno-ougrien à caractères toutes autonomes» («...южнокавказские языки по своему совершенно автономному характеру относятся к типу, занимающему промежуточное положение между флективными индоевропейскими языками и тюркским или финно-угорским типом»). Но и лингвисты, критикующие типологию, отнюдь не безупречны. Очень часто они (например, Хоргер, стр. 114) высказывают мысль о том, что в связи с многообразием различий между языковыми системами каждый язык имеет свой «тип», другими словами, что количество различных языковых типов бесконечно. В современном языкознании вся проблема трактуется иначе. Здесь можно провести известную параллель с фонологией. В фонологии представлено множество различных систем. Вполне вероятно, что каждый язык имеет свою оригинальную систему. Однако, разумеется, существуют и определенные пределы. Так, мы знаем, что некоторые системы невозможны или, во всяком случае, встречаются очень редко. Следовательно, количество вероятных систем велико, но не бесконечно. Комбинации, в которых объединяются определенные структурные возможности, можно назвать фонологическими типами. С этих позиций была постулирована фонологическая типология. Вероятно, нечто подобное характерно и для грамматики. Здесь также следует различать систему и тип. Грамматические системы отдельных языков также несколько отличаются друг от друга. Но и в этом случае возможность вариаций ограничена благодаря наличию определенных закономерностей, что мы и надеемся доказать в дальнейшем. Следовательно, в грамматике также можно наметить определенные типы, хотя, конечно, и не в таком примитивном виде, как это представляла себе старая типологическая школа.

Для структурного изучения отдельного языка важны работы также и другого направления, а именно работы, посвященные характеристике определенного языка. Правда, они в большей или меньшей степени лишены теоретической основы. Их авторы подвергаются двоякой опасности впасть в ошибку: во-первых, потому, что они стараются обнаружить все характерное для данного языка и пренебрегают важнейшими чертами языкового строя, считая их менее «характерными» и принимая их за стилистические курьезы; и, во-вторых, потому, что из-за отсутствия определенной теории они исходят из какого-нибудь одного языка (скажем, немецкого), считая, что все, что чуждо немецкому языку, является «характерным» для другого языка.

Для венгерского языка наибольшее значение с этой точки зрения имеет капитальный труд Шимони. Обширный и весьма

поучительный материал приведен также в статье Э. Леви. Обе работы широко использованы нами, но специальных ссылок на них мы в дальнейшем давать не будем.

Если грамматика представляет собой систему, то необходимо найти мельчайшие единицы, из которых образована эта система. Такой мельчайшей единицей считается морфема.

Согласно определению, данному Бодуэном де Куртенэ в «Проекте стандартной фонологической терминологии» («Projet du terminologie phonologique standardisée») на стр. 321, морфемой считается «unité morphologique non susceptible d'être divisée en unités morphologiques plus petites» («морфологическая единица, не поддающаяся разложению на более мелкие морфологические единицы»). Этот термин, созданный с фонологических позиций, оказался весьма продуктивным именно в фонологии. Почти всегда языковой текст можно разложить на ряд морфем. Большую пользу фонологии принес также термин «стык морфем», без него фонология была бы немыслима. Существование морфем в языке общепризнанно.

Однако полезно еще раз рассмотреть природу этого понятия. В указанной выше работе в определении морфемы есть одно слово с неясным смыслом: морфология. В своем обычном значении морфология — это раздел грамматики, в котором рассматривается все то, что меньше слова. В этом случае под морфологией, видимо, понимают учение о форме (в противоположность учению о значении). Однако, как мы уже говорили, до сих пор еще не доказано, что в языке действительно существует противопоставление формы и значения. Пока это не сделано, мы вправе искать не морфологический, а грамматический элемент.

Для грамматики морфема не может считаться неделимым целым.

Это подтверждается, например, следующими случаями:

1. У английских слов foot — feet, tooth — teeth явно две функции: во-первых, функция семантемы —«нога», «зуб», во-вторых, функция числа — единственное и множественное. Такому разделению в других примерах соответствуют две различные «морфемы»: hand|0 «рука»— hand|s «ру́ки». В связи с этим мы имеем право сказать: в грамматике существуют мельчайшие неделимые единицы, которые можно назвать семами. (По соображениям аналогичного характера, правда, с «морфологической» точки зрения, проф. Трнка говорил о «морфологических экспонентах», стр. 57.) Сема большей частью, хотя и не всегда, выражается непрерывной последовательностью фонем, то есть она обычно является тем, что принято называть «морфемой». Граница между семами очень часто четко выражена,

в связи с чем можно говорить о стыке сем, а не о морфемном стыке.

2. Если все же считать морфему основным элементом, то еще труднее объяснить случаи, когда одна и та же функция выражается двумя морфемами: в финском языке иллатив, генитив, партитив и номинатив звучат следующим образом: sanaan, sanan, sanaa, sana (основа sana- «слово»). В этих случаях функция выражена, во-первых, с помощью внутренней флексии и, во-вторых, с помощью суффикса или с помощью «нулевой морфемы». Как же можно считать в этом случае морфему основным грамматическим элементом?

3. Рассмотрим еще пример: чешск. žen|a «жена, женщина», syn|a «сына», měst|a «города». Здесь налицо две морфемы: морфема корня и морфема окончания. Однако мы вынуждены зафиксировать и функциональные элементы (семы) падежа и числа, которые содержатся отчасти в окончании, отчасти в корне; другими словами, мы вынуждены выйти за пределы морфемы. Поэтому мы вправе утверждать, что мельчайшей грамматической единицей является сема.

Если мы признаем основным грамматическим элементом сему, то тогда возникает еще один вопрос: действительно ли существует в грамматике морфема?

В некоторых языках сема всегда или почти всегда выражается особой «морфемой». Например, в турецком языке, как мы увидим ниже, имеется только одна «морфема» с двумя функциями — это окончание 1-го лица множественного числа у глагола. Поэтому в грамматике турецкого языка морфема играет весьма скромную роль.

В других языках ситуация иная. Так, например, в чешском языке две семы очень часто образуют только один фонемный ряд. Это явление наблюдается лишь в окончаниях. В чешском языке — мы покажем это ниже — действует правило, согласно которому имена существительные и прилагательные, а также глаголы оканчиваются фонемным рядом, состоящим из двух или трех сем, то есть они должны иметь двухсемную морфему окончания, отличающуюся от других односемных морфем. Другими словами, в грамматике чешского языка морфема играет важную и самостоятельную роль, и в системе морфем возникают новые важные противопоставления.

Теперь вернемся к старому вопросу о форме и функции. Можно было бы предположить, что в противопоставлении семы и морфемы выражается противопоставление формы и функции. Для этого как будто бы имеются все основания. Действительно, язык можно разложить на ряд акустико-моторных единиц, которые характеризуются непрерывным

фонемным рядом и весьма часто к тому же «стыком морфем». Концептуальная сторона языка также поддается расчленению на ряд единиц; одна морфема выражает одну или несколько таких единиц. Но как установить идентичность морфем? Как рассматривать омонимичные и синонимичные морфемы? Допустим, например, что в чешском языке окончание -a в форме родительного падежа единственного числа для слова měst|a «гóрода» идентично окончанию -a именительного падежа множественного числа — měst|a «городá»; напротив, окончание -a в форме именительного падежа единственного числа žen|a «жена» и т. д., по-видимому, не имеет ничего общего с окончанием -y, -e и т. д. родительного падежа единственного числа в žen|y, duš|e, kost|i и т. п. Можно было бы также предположить, что и в немецком языке морфема Bauer в значениях der Bauer «крестьянин» и das Bauer «клетка для птиц» идентична. Но существование таких единиц в языке маловероятно. Во всяком случае, оно доказывается с трудом. Конечно, можно было бы возразить, что различие между омонимичными морфемами состоит в том, что они сочетаются с разными морфемами. Однако в чем же заключается это различие? С фонологической точки зрения форма der отличается как от des, так и от den. Это означает, что разницу между der Bauer и das Bauer мы обнаруживаем только по концептуальным различиям между артиклями мужского и среднего рода. Следовательно, и различие между обеими морфемами Bauer носит концептуальный характер.

Нечто подобное можно наблюдать и в явлениях, которые обычно именуются синонимией. Однако синонимия является специальным понятием семантики. Синонимичными считаются семантемы, семиологически настолько близкие, что их можно признать равнозначными. Хотя уже было доказано, что в действительности такие семантемы не равнозначны однако старое название можно сохранить. Здесь же мы рассмотрим иной случай. Например, морфемы родительного падежа единственного числа žen|y «жены́», duš|e «души́», kost|i «кости» и т. д. в чешском языке или латинские bon|us «хороший», mel|ior «лучше», opt|imus «самый лучший» явно взаимосвязаны. В различных сочетаниях используется либо одна, либо другая морфема. Следовательно, они представляют собой комбинаторные варианты одной и той же морфемы. В конкретном примере можно догадаться (так же, как в случае фонологических комбинаторных вариантов), с какой семой сочетается данный вариант, однако его функция всегда остается неизменной. Назовем это явление омосемией. Если, таким образом, омосемичные морфемы считать вариантами одной и той же

морфемы, то при определении морфемы необходимо учитывать и концептуальную сторону.

То же следует сказать и о «морфемном стыке». Он очень редко выражается фонологически. Например, фонология ничего не говорит нам о морфемном составе венгерских слов ár|a «его стоимость», ara «невеста». Только концептуальная сторона данных слов показывает нам, что первое слово состоит из двух морфем, а второе — из одной морфемы.

На другом полюсе находится сема. Опять-таки можно было бы предположить, что сема — это нечто чисто концептуальное. Однако ни одна сема не может существовать без формы. Она всегда выражается одной и той же формой или несколькими формами, чередующимися по определенным правилам.

Поэтому грамматику, с нашей точки зрения, нельзя расчленять на учение о функции и учение о форме. Сема — в одно и то же время формальный и функциональный, другими словами, грамматический элемент. Морфема — это соединение сем, которое само по себе или с помощью других морфем выражается непрерывным фонемным рядом.

Сложную проблему при этом представляет расчленение языка на ряд сем. Однако часто сделать это совсем не трудно. Обычно сема выражается непрерывным рядом фонем, то есть морфемой. В некоторых случаях морфема состоит из двух сем; например, родительный падеж единственного числа латинского слова vir|i «мужчины» выражает, во-первых, падеж, а во-вторых, число. Однако не все примеры столь просты. Для нас представляют интерес следующие случаи:

1. Падеж и число, которые в чешском языке и некоторых других индоевропейских языках выражаются одной морфемой: nos|0 «нос», nos|u, nos|y и т. д.

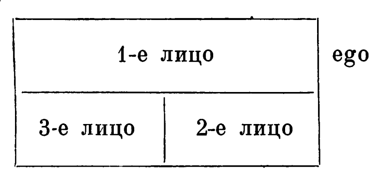
2. Некоторые падежи, указывающие одновременно место и направление; такие падежи встречаются в венгерском и финском языках:

	откуда	где	куда
в	венг. -ból фин. -sta	-ban -ssa	-ba -han
при	-tól -lta	-nál -lla	-hoz -lle
на	венг. -ról	-n	-ra

3. Субъектное и объектное спряжение в венгерском языке.

4. Очень интересен вопрос о соотношении личных местоимений и личных окончаний (притяжательные личные окончания, глагольные личные окончания). Собственно говоря, здесь представлены два комплекса проблем: а) Каково соотношение между *я* и *мы*, между *ты* и *вы*? С логической точки зрения *мы* не является множественным числом для *я*, а *вы* часто нельзя считать множественным числом для *ты*. Так ли обстоит дело в языковом мышлении? Можно ли вообще считать эти формы множественным числом (по-видимому, без соответствующего единственного числа)? Является ли в данном случае множественное число самостоятельной семой? б) Каково соотношение между *я*, *ты*, *он*, а также между *мы*, *вы* и *они*? Одинаково ли это соотношение в единственном и множественном числе? Не лучше ли считать их параллельными? Как интерпретировать встречающиеся в некоторых языках так называемые эксклюзивные и инклюзивные формы первого лица?

Соотношение между «лицами», по-видимому, можно объяснить следующим образом. Три так называемых лица выражают два типа отношений: присутствие и отсутствие говорящего, а также присутствие и отсутствие лица, к которому обращаются. Возникает следующая картина:



Таким образом, доказана также параллельность единственного и множественного числа. Итак, множественное число у глагола, притяжательных личных суффиксов и личных местоимений можно истолковать как множественное число 1-го, 2-го и 3-го лица.

Эта система для индоевропейских языков считается вполне естественной. Однако это только одно из решений сложного вопроса о том, как можно ориентироваться в запутанных комбинациях (ср. *я* + *ты*, *я* + *ты* + *он*, *я* + *ты* + *ты* (2-е), *ты* + *он* и т. д.). Другую картину можно обнаружить в языках, обладающих так называемыми эксклюзивными и инклюзивными формами. Здесь отношения перекрещиваются.

Преимущества и недостатки обоих решений совершенно ясны. В первой системе формы 1-го лица несимметричны фор-

Эксклюзивн.	Инклюзивн.	ego
3-е лицо	2-е лицо	
	tu	

мам, не содержащим первое лицо, тогда как во второй системе несимметричными могут быть формы числа.

Самым простым критерием для выделения одной или нескольких сем является морфемный состав соответствующих форм. Там, где есть две морфемы, имеются, конечно, и две семы. О двух семах можно говорить и тогда, когда в других случаях выступают две морфемы. Примером может служить окончание -t винительного падежа мн. ч. в финском языке: talo|t «дома». Эта морфема двухсемна, так как в других случаях множественное число имеет свою собственную сему: talo|i|ssa. Приведем другой пример. В турецком языке лицо и число часто передаются специальными морфемами; ср. ev|im «мой дом», ev|im|iz «наш дом», ev|in «твой дом», ev|in|iz «ваш дом», ev|i «его дом», ev|ler|i «их дом», «его дома» и т. д. Интересно, что эта форма множественного числа выражается иначе, чем в других случаях (-lar|-ler). Такое же окончание встречается у местоимений b|en «я»— b|iz «мы», s|en «ты»— s|iz «вы». В связи с этим мы вправе полагать, что и глагольные окончания типа sev|ijor|um «я люблю»—sev|ijor|uz «мы любили», sev|di|m «я любил»— sev|di|k «мы любили» двухсемны. Но и там, где в других языках представлены две морфемы, можно предполагать наличие двух сем (примером может служить чешск. dom|ů «домов» (род. п. мн. ч.), которому в других языках соответствуют следующие формы: финск. talo|j|en «домов», венг. ház|ak|nok «домов», турецк. ev|ler|in «домов»). В данном случае нам необходим уже более точный критерий.

В какой-то степени мы, по-видимому, можем исходить из семиологического соотношения обеих предполагаемых сем. Например, число и падеж, лицо и число в семиологическом плане различны, так что в этих случаях, видимо, приходится говорить о двух самостоятельных семах. Напротив, формы лица имеют одинаковую природу, и в связи с этим они, вероятно, могут быть односемными.

Таким образом, на основании указанных нами случаев можно прийти к следующим выводам:

1. Падеж и число в чешском языке и других упоминаемых индоевропейских языках являются самостоятельными семами.

2. Соответствующие падежи двухсемны.

3. Объектное спряжение в венгерском языке имеет самостоятельную сему.

4. «Лицо» и число у глагола, имени существительного и местоимения представляют собой две самостоятельные семы. Формы лица в языках, имеющих только одно «первое лицо», односемны, а в тех языках, в которых существуют инклюзивные и эксклюзивные формы, они двухсемны. Это доказывают также формы некоторых языков, где наличие или отсутствие местоимений *я* или *ты* выражается специальной морфемой, например в языке меномини (ср. Блумфилд, стр. 256).

Корреляцией мы называем соотношение морфем или более сложных семем, объединяющихся в пару с помощью одной общей семы. Отношение между двумя семами, которое не имеет аналогии во всей системе языка, мы называем реляцией. Например, связь между *ты* и *он* в языке меномини представляет собой корреляцию, а в индоевропейских языках — реляцию.

Самостоятельной проблемой являются так называемые нулевые морфемы. Нулевая морфема — это одна или несколько сем, выраженных нулем (отсутствием) звука. Подобный случай возможен лишь тогда, когда необходимо воспользоваться семой из небольшой системы сем (например, в падежных окончаниях). Однако иногда бывает трудно решить, имеется ли в данном случае нулевая морфема или морфема вообще отсутствует.

В некоторых примерах решение находится легко. Так, в чешском языке в именительном падеже единственного числа представлено нулевое окончание, например kos|0 «черный дрозд», но также и -a (kos|a «коса» [с|х. и геогр.]) или -o (měst|o «город») и т. д. В случае типа kos|0 наличие одной или, точнее, двух сем, выраженных нулевой морфемой, бесспорно. То же справедливо и для финского языка, где форма именительного падежа единственного числа не имеет окончаний. Кроме того, «форма основы» встречается только в винительном падеже при некоторых глагольных формах. И в этом случае наличие семы именительного или винительного падежа не вызывает сомнений. Но как интерпретировать формы венгерского языка? В нем слова часто употребляются в форме основы, то есть без окончаний. У глаголов чистая основа встречается только в 3-м лице единственного числа, следовательно, здесь также используется нулевая морфема. Однако у имен существительных основа выступает в формах именительного падежа (подлежащее и именная часть сказуемого), винительного падежа (здесь в порядке исключения нулевая морфема омосемична флексии), а также в формах родительного и дательного падежей (по аналогии с винительным), кроме того, она используется при большинстве послелогов. Прилагательные в атрибутивной

позиции никогда не имеют окончаний, то же самое относится к числительным, местоимениям (за исключением az, ez) и к артиклю. Во всех этих сомнительных случаях чешский язык имеет одну или несколько отчетливо выраженных сем. Представлена ли здесь сема и в венгерском языке? Мы подходим, таким образом, к новому вопросу, а именно: можно ли вообще соединять две семантемы? Так, по-видимому, обстоит дело в примерах szegény fiú «бедный мальчик», fiú dolgozik «мальчик работает», в асиндетических сочетаниях föl-alá «взад-вперед», itt-ott «там и сям», в сложных словах toll|kés «перочинный нож», menny|dörgés «небесный гром», наконец, в рифмующихся словах типа libeg — lobog «колыхаться».

Что, собственно говоря, означает «szegény fiú»? Помимо того, что это, по-видимому, форма именительного падежа единственного числа, здесь речь идет не только о «бедности» и «мальчике», но и о взаимосвязи между ними. Эта взаимосвязь, иными словами — новая сема, выражается изолирующим соединением и препозицией прилагательного. В данном случае использована атрибутивная связь, что доказывается изменением порядка слов: fiú szegény «мальчик беден». Перевод на чешский язык chud|ý hoch|0 мы можем интерпретировать следующим образом: chud- означает «беден», ý- означает, что прилагательное относится к имени существительному, во-первых, мужского рода, во-вторых, именительного падежа, в-третьих, единственного числа; hoch- означает «мальчик», 0 (нулевая морфема) выражает, во-первых, именительный падеж, во-вторых, единственное число, в-третьих, (?) мужской род.

По этому образцу мы можем также решить проблему асиндетических сочетаний. В венгерском языке существует специальная сема, которая по своей функции весьма близка союзам éz, is и выражается тесной связью обоих слов.

То же самое наблюдается и в так называемых рифмующихся, или парных, словах (венг. ikerszavak).

В сложных словах, несомненно, существует самостоятельная соединительная сема, которую выражает соединение, объединяющее в одном слове его компоненты.

Послелоги выражают связь с другими семами. Естественно, что в данном случае нельзя говорить о нулевой морфеме.

Упомянем, наконец, еще о чистой основе у подлежащего и у именной части сказуемого. Здесь представлена соединительная сема, которая выражается постпозицией имени (так же, как для глагола — окончанием).

В турецком языке та же картина, что и в венгерском языке. В чешском и финском языках предикативность передается глаголом «быть» (здесь, по-видимому, наблюдается разновид-

ность полисемии: «существовать»—«существовать как .., в качестве...»). В этих языках имеет место также сема именительного падежа, которая обозначает подлежащее или принадлежность к нему.

Мы полагаем, таким образом, что нам удалось доказать, что семантемы, по крайней мере в четырех указанных языках, не могут последовательно соединяться семами.

Сема, конечно, отнюдь не разрешает проблему смысла. Вопросы полисемии, смысловых связей и т. п. в семантике далеко выходят за рамки данной работы. Однако необходимо сделать несколько очень важных для грамматической системы замечаний. Как известно, любую или почти любую сему можно употребить в различном смысле. Неоднократно указывалось и на то, что смысл слова имеет двоякую природу (Слотти, стр. 97 и сл.). «Meinung» называет нечто, данное нам в окружающем мире, «Bedeutung» показывает, как мыслящий и одаренный фантазией человек истолковывает явления окружающего (Слотти, стр. 95). Например, Meinung и Bedeutung в латинском слове «sutor» можно истолковать как «сапожник» и «тот, кто шьет». Обрисуем эти явления с несколько иной точки зрения. Семы организуются в семемы более высокого порядка, то есть слова, предложения и т. д., и теперь мы вправе утверждать, что не только семы, но и более сложные семемы могут быть полисемичны. В результате этого оказываются возможными случаи, когда семема, то есть соединение сем, имеет иную предметную соотнесенность (Meinung), чем семы, из которых она состоит (Bedeutung). Известно также, что связь между Meinung и Bedeutung бывает вовсе не ясна. В примерах типа чешск. pero|řízek, нем. Feder|messer, венг. toll|kés «перочинный нож» первая сема кажется совершенно бессодержательной.

Не будем, однако, углубляться в эти проблемы. Вероятно, с этой точки зрения можно было бы объяснить кое-что и в формальных семах. Аналогичную картину, по нашему мнению, можно наблюдать и у падежных окончаний. Некоторые глаголы, предлоги и т. д. требуют определенного падежа (управление). Вряд ли можно предположить, что существует принципиальное различие, например, между соотношением глагола и существительного в таких случаях, как чешск. učiti se něčemu «учиться чему-либо» или studovati něco «изучать что-либо». Здесь уже ощущается некоторая бессодержательность (Sinnlosigkeit) дательного и винительного падежей. Если вместо učiti se něčemu употребить učiti se něco, то разница между этими выражениями будет иметь место, по-видимому, только в стиле: конструкция с дательным падежом «педантичнее», и в этом смысле лучше конструкции с винительным паде-

жом. Известная бессодержательность дательного или винительного падежа здесь очевидна.

Мы подходим, таким образом, к сложным проблемам функций и системы падежных флексий, которые существенно отличаются по своему характеру от большинства других сем. Их использование всегда связано с определенной группой глаголов или послелогов, то есть они имеют очень небольшую функциональную нагрузку или, говоря иными словами, очень незначительную семиологическую самостоятельность. Из этого следует, что иногда функция управления является более важной, чем непосредственная функция падежных окончаний.

Падежи мы и рассмотрим именно с этой точки зрения. Проще всего объяснить местные (локальные) падежи. Мы уже обращались к некоторым финским и венгерским падежам с весьма четкой функцией и ясной системой. Здесь осуществляется комбинация значений места (в, у, на) и направления (где?, куда?, откуда?). В некоторых языках эта система (или сходная система предлогов и послелогов) более или менее упрощена. Таким образом, мы можем установить два правила:

1. Правило сходства функции. Так, например, в финском языке падежи, отвечающие на вопросы «у чего?», «на чем?», совпадают.

2. Правило конкуренции. Падежи, отвечающие на вопросы «откуда?» и «куда?», употребляются в первую очередь с глаголами, обозначающими движение, тогда как падежи, отвечающие на вопрос «где?»,— с глаголами, обозначающими состояние. Функциональное различие между двумя первыми падежами весьма существенно: они сильно конкурируют друг с другом. Однако отличие от третьего падежа и конкуренция с ним не имеют большого значения. Этим объясняется, почему в некоторых языках существует только один падеж, отвечающий на вопросы «где?» и «откуда?» или на вопросы «где?» и «куда?». Например, французскому à Paris и en France в других языках соответствуют две семы: «в» (с местным значением) и «в» (со значением направления): ср. in, nach в немецком языке. В лапландском языке в Норвегии имеется, например, один падеж инессив-элатив с окончанием -st (в противоположность иллативу на -i).

Кроме того, в некоторых языках существует большее или меньшее число падежей с особой местной или временнóй, модальной и т. д. функцией. Они в большинстве случаев слишком специальны и абстрактны (а иногда дефективны и редки), для того чтобы их можно было включить в устойчивую систему. Так обстоит, например, дело с целым рядом венгерских падежей: терминативом (-ig), эссивом (-ul), темпоралисом (-kor) и т. д. Большинство из них дефективно и представляет собой

переход к деривационным суффиксам. Между некоторыми из них существует отношение реляции, например, оно определенно имеется между комитативом (-ine) и абессивом (-tta). В их истории много сходного. Оба заменяются послелогами kanssa «с», kera «с» или ilman «без». Однако трудно составить себе ясное представление о таких и подобных им случаях.

Нам остается еще рассмотреть так называемые грамматические падежи. Их численность не подвержена столь сильным колебаниям, как численность других падежей.

В большинстве языков, где имеется нечто такое, что может быть названо падежом, существует также и номинатив независимо от того, выражается ли он агглютинативно или позиционно. Управляемые глаголами падежи можно свести в основном в один ряд. Например, в чешском языке самым распространенным объектным падежом является винительный, за ним следует дательный падеж, еще реже для этого используется родительный падеж с партитивным, негативным и аблативным значением и, наконец, в особых случаях — инструментальный падеж.

Одна из разновидностей взаимосвязи между двумя существительными часто выражается специальным падежом — родительным. Однако его использование почти никогда не ограничивается только этой приименной функцией. Нет ничего удивительного в том, что по правилу сходства функций у него есть приглагольная притяжательная функция. То же самое следует сказать о приглагольной партитивной функции.

Большой интерес представляет отношение родительного падежа к другим объектным падежам — дательному и винительному. Двумя последними падежами очень часто выражаются два различных дополнения к одному и тому же глаголу, следовательно, они конкурируют друг с другом. Поэтому их полное слияние маловероятно. Имеется немало языков, где эти падежи частично совпадают. Однако в предложениях, где используются оба падежа, их противоположность передается в разных языках (например, в испанском, шведском языках, в хинди) различными способами. Родительный и дательный падежи имеют весьма сходные функции, но они никогда не конкурируют друг с другом. По этой причине они очень часто совпадают (например, в армянском и болгарском языках, а также в венгерском языке они почти полностью совпали). Функции родительного и винительного падежей очень далеки, так что эти падежи не конкурируют между собой. Следовательно, их совпадение вероятно, однако оно не часто встречается. Использование родительного падежа в функции винительного известно из славянских языков. У имен существи-

тельных, называющих живые существа, в первую очередь людей, омонимия винительного и именительного падежей была большой помехой. Какими путями можно было устранить этот недостаток системы падежей? Местный и инструментальный падежи имели слишком широкое значение, дательный был конкурирующим падежом, оставался только родительный падеж. Его часто использовали приглагольно в партитивном, аблативном и негативном значениях. Использование родительного падежа вместо винительного вполне естественно, поскольку этому благоприятствовали и некоторые другие факторы.

Иногда падежу свойственна только функция управления. Например, в чешском языке различие между местным и инструментальным падежами несет лишь незначительную смысловую нагрузку. Оно означает только то, что данное слово связано или не связано с определенным предлогом.

В финской падежной системе два падежа, инструктив (-in) и пролатив (-tse), являются дефективными. Остальные можно объединить в четкую систему. (Эксессив (-nta) употребляется в диалектах.)

Номинатив -∅ / Аккузатив -n	Парт. -ta
Генитив -n,	мн. ч. -ien

Лок.	-lta	-lla	-lle
	-sta	-ssa	-han
Спец.	Экс. -nta	Эсс. -na	Трансл. -ksi

Комитатив: -ine-: Абессив -tta
+ Инструктив -in
Пролатив -tse

В турецком языке система значительно проще:

Номинатив -∅
Аккузатив -i
Генитив -in

Лок.	Дат. -a	Лок. -da	Аблатив -dan

В чешском языке, как уже указывалось, падежные семы, за исключением именительного падежа, можно свести в ряды в зависимости от того, имеют ли они общую или специальную функцию. Между местным и инструментальным падежами различие наблюдается лишь в управлении.

Имя существ.	Им.
	Вин.
	Дат.
	Род.
	Инструмент.
	Местн.

Особое место занимает звательный падеж.

Из падежной системы венгерского языка в первую очередь следует исключить дефективные падежи, поскольку они являются переходным случаем к производным суффиксам. Таковыми следует считать терминатив (-ig), эссив (-ul), темпоралис (-kor), модалис (-kép) и т. д.; дистрибутив (-nként), комитатив (-stul). Все остальные, за исключением каузалиса и социатива, легко объединить в одну систему.

Номинатив	-ba	-ban	-ból
Аккузатив	-hoz	-nál	-tól
Генитив — Датив	-ra	-n	-ról

+ Каузалис -ért
+ Социатив -val

Выше мы рассмотрели несколько небольших систем сем, сходных между собой. В дальнейшем мы попытаемся описать всю грамматическую систему языка, то есть систему грамматических систем.

Для создания такой системы требуется более или менее полное собрание грамматических фактов независимо от их ценности, то есть описательная грамматика, так же как для фонологии необходима готовая фонетика. Подобная грамматика в сочетании с фонетикой, правда без органической связи их друг с другом, стала основой традиционной грамматики.

В первую очередь мы столкнемся здесь с важным вопросом о связи фактов фонологии с фактами описательной грамматики. С диахронических позиций данный вопрос рассматривал В. Горн, а с фонологических — Трубецкой в своей «Морфонологии».

Морфонологией называется «раздел фонологии слова, в котором изучается фонологическая структура морфем» (см. «Projet», стр. 321).

Задачи морфонологии Трубецкой определил следующим образом (6, стр. 161): 1. Теория фонологической структуры морфемы. 2. Теория комбинаторных звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в сочетаниях с другими морфемами. 3. Теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию.

Высказанные нами выше взгляды на сему и морфему позволяют следующим образом сформулировать задачи морфонологии:

1. Учение о фонологической структуре сем.
2. Учение о неопределенности их фонологических структур.
3. Учение о функциональном использовании неопределенности семы (внутренняя флексия, инфиксация).

Наиболее важным является третий раздел морфонологии. Есть, однако, языки, например турецкий, для грамматики которых данный раздел не играет никакой или почти никакой роли; для других языков он, напротив, весьма развит. Этот факт, как мы увидим в дальнейшем, представляет важную основу различий между языками. О внутренней флексии мы уже говорили. Следует отметить, что инфиксация наблюдается также в окончаниях (внутренняя флексия в них нам не встречалась). Так, например, финские падежи элатив, инессив и иллатив (с окончаниями -sta, -ssa, -han), с одной стороны, и аблатив, адессив и аллатив (-lta, -lla, -lle) — с другой, функционально параллельны. К тому же элатив и аблатив параллельны и в фонологическом плане — оба имеют ясный инфикс -t-. Это подтверждает возникший в диалектах падеж, так называемый эксессив.

От эссива luona «у дома», kotona «дома» образуется новый падеж: luonta, kotonta.

Какую грамматическую интерпретацию можно дать внутренней флексии и инфиксации? Мы не знаем ни одного языка, в котором бы эти явления встречались более или менее часто. В европейских языках, где они имеют место, существование морфемы не вызывает сомнений. Следовательно, здесь может идти речь о морфемной интерпретации указанных случаев. Внутренняя флексия в европейских языках обычно выражается ясной морфонемой. Это значит, что чередующиеся звуки относятся к морфеме, в которой происходит чередование. Например, в чешск. vojāc|i«солдаты» (им. п. мн. ч.) — vojāk|i «солдат» (вин. п. мн. ч.) граница между морфемами находится перед i, поскольку здесь речь идет о столь хорошо известной в славянских языках морфонеме k — c. По той же причине *aa* в уже приводившихся примерах из финского языка sana, sanaa и т. д. относится к основе. Именно таким образом разделяются функции в этих примерах. Поскольку подобные случаи встречаются очень редко, можно сказать, что в соответствующих языках морфема потенциально характеризуется одной или несколькими функциями. При инфиксации наблюдается несколько иное положение. В примерах из латинского и финского языков присутствует чуждый морфеме элемент, который никак не связан с другими фонемами. Иными словами, здесь, по-видимому, представлена новая морфема. Но инфиксация — явление весьма редкое, и поэтому в указанных языках морфема потенциально характеризуется непрерывным рядом фонем.

Морфонология — это лишь одна из проблем описательной грамматики. Другой проблемой является характер сочетания сем и морфем. По образцу морфонологии можно следующим образом сформулировать задачи этого раздела описательной грамматики.

1. Учение о структуре сочетаний сем и морфем; об организации морфем в слова и предложения; о порядке слов, об ударении и паузе.

2. Учение о чередовании сочетаний сем и морфем. Сюда, например, относится изменение порядка слов в соответствии с синтаксическими правилами: нем. ich bin müde «я устал» и обратный порядок слов: müde bin ich.

3. Учение о функциональном использовании неопределенности сочетаний сем и морфем. Сюда относится функциональное использование ударения (ср. русск. *ру́к|и — рук|и́*), порядка слов (венг. szegény fiú «бедный мальчик»— fiú szegény «мальчик беден»), организации морфем (фин. isän maa «земля отца»— isänmaa «родина»).

Первый раздел крайне важен для проведения различия между языками. В нем прежде всего рассматривается организация морфем (соответственно сем) в слова и предложения. На этом строится старое разделение языков на изолирующие, агглютинирующие и полисинтетические языки, которые названы так по формам, встречающимся в них чаще всего и «являющимся для них характерными».

В изолирующих языках слово равняется семе (морфеме); в них сильнее всего развита противоположность между словом и предложением. В других языках слово состоит из большего или меньшего числа сем и морфем.

Крайним случаем является исчезновение противопоставления между словом и предложением. Различные грамматические формы создаются благодаря большему или меньшему синтезу сем.

В большинстве языков мы можем провести различие между семантемами и другими семами. Последние часто получали название морфем. Поскольку мы придерживаемся иного понимания морфемы, то, видимо, мы вправе пользоваться пока термином «формема». Итак, по наличию в слове одной или нескольких семантем можно определить, изолирующая это форма или полисинтетическая.

Следующим разделом описательной грамматики является учение об омосемии сем. Различные случаи реализации сем обычно фонологически связаны. Однако встречаются и противоположные примеры. Омосемия семантем очень редка. Вот несколько примеров: лат. fer|o, tul|i, lat|um «носить»; bon|us «хороший» — mel|ior «лучше»— opt|imus «самый лучший»; фин. hyvä «хороший»— par|empi «лучше»; венг. sok «много»— tö|bb «больше»; vagy|ok «я есмь»— len|nék «я был бы».

Значительно чаще наблюдается омосемия формем. Ср. родительный падеж единственного числа лат. femin|ae «женщины», vir|i «мужчины», trab|is «бревна»; чешск. žen|y «женщины», měst|a «города», duš|e «души»; ср. также англ. hand «рука»— hand|s «руки»; ox «вол»— ox|en «волы»; foot «ступня»— feet «ступни»; венг. lak|ol «ты живешь»— lát|sz «ты видишь».

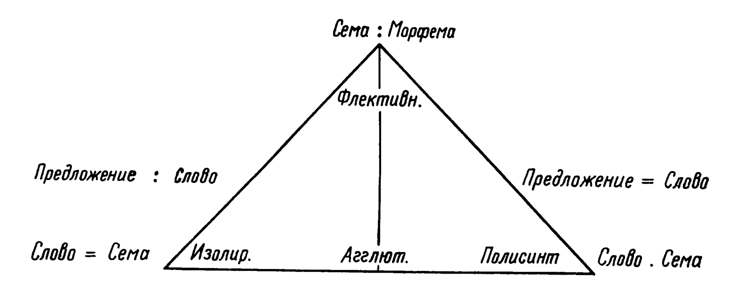
Различное выражение одной и той же семы можно использовать и функционально. В греческих словах τρέχ|ω — δράμ|ω первая морфема выражает не только семантему «бежать», но и презенс, а вторая — аорист. То же самое в греч. ἐσθί|ω — φάγ|ω «поедать» (презенс — конъюнктив аориста) и лат. tul|i, lat|i. Подобные примеры, впрочем, крайне редки.

В некоторых языках рассматриваемое явление очень часто имеет место в окончаниях. Оно выступает как отличительный признак таких языков. Если, например, сравнить лат. vir

«мужчина»—vir|i «мужчины» (род. п. ед. ч.) с турецким er «муж»—акк. er|i, то может показаться, что перед нами одинаковые явления. Однако это не так. В турецком языке -i в er|i представляет собой окончание аккузатива, а форма ед. ч. выражена нулевой морфемой (ср. форму мн. ч. er|ler|i). Напротив, лат. -i в vir|i выражает одновременно и форму единственного числа и форму генитива, то есть имеет две функции (ср. генитив мн. ч. vir|orum). Грамматическая интерпретация этих случаев вполне ясна. Здесь налицо две семы, переданные одной морфемой.

Наличие сем, не выраженных морфемой, оказывает большое влияние на способы оформления различных сочетаний сем. Чем больше число таких «неморфемных» сем, тем ближе сочетание к изолирующей или к полисинтетической форме, то есть тем меньше число морфем в слове и слов в предложении. Морфема, видимо, может совпадать со словом и предложением. По всей вероятности, это явление никогда не переходит определенной границы. По-видимому, в каждом языке семантема выражается определенным «рядом фонем». Поэтому формы с «неморфемными» семами приближаются больше к изолирующим, чем к полисинтетическим.

Соотношение между различными сочетаниями сем можно представить следующим образом:



Наконец, еще один раздел описательной грамматики может быть посвящен омонимии сем, которая является противоположностью омосемии. Общеизвестен тот факт, что некоторые семы фонологически совпадают. Так возникает омонимичное сочетание сем. О какой семе из омонимического сочетания идет речь в каждом отдельном случае, приходится решать на основе других сем. У семантем, как известно, подобное явление наблюдается редко и имеет тенденцию к исчезновению. Однако для формем оно вполне обычно. Мы приводили уже примеры из чешского языка: žen|a «женщина» (им. п. ед. ч.), had|a «змей» (род. п. ед. ч. м. р.), měst|a «города» (им. п. мн. ч.); им аналогичны лат. vir|i «мужчины» (род. п. ед. ч.),

mar|i (дат., абл. ед. ч. от mare «море») и т. д. Иногда омонимия устраняется путем изменения другой морфемы. Сюда относятся уже приводившиеся примеры из финского языка (sana «слово» — sana|n — sanaa — sanaa|n), а также из чешского языка (vojāc|i — vojāk|i) (ср. англ. foot—feet). Роль ударения иллюстрируют следующие примеры: русск. *ру́к|и —рук|и́*, греч. παίδευσαι — παιδεῦσαι (ср. кит. šeu, mai; эти слова в зависимости от ударения могут означать «получать» или «давать» и соответственно «покупать» или «продавать»).

Проблемы описательной грамматики, таким образом, сводятся к следующему: 1) морфонология, 2) учение о сочетаниях сем, 3) омосемия, 4) омонимия.

Это перечисление, конечно, не что иное, как случайное соединение фактов описательной грамматики. Вероятно, возможны лучшие комбинации, но и они не дали бы существенных изменений. Подлинная грамматическая система выглядит совсем иначе.

Все сказанное выше относилось лишь к описанию отдельной формы или отдельного сочетания сем и семем. Мы можем утверждать, что та или иная форма является изолирующей, агглютинирующей, полисинтетической или флективной или выражена порядком слов. Мы можем сказать также, что та или иная сема всегда выражается одним определенным или, наоборот, весьма разнообразными способами. А что можно сказать о языке в целом? В отношении некоторых языков ответ, по-видимому, дать нетрудно. Исходя из того, что некоторые восточноазиатские языки, например китайский, никогда не объединяют морфемы в слово, их относят к изолирующим языкам. В турецком языке, напротив, почти все, что само по себе не является семантемой, объединяется в семантему. Поэтому такие языки с известным основанием можно назвать агглютинирующими. В некоторых американских языках морфемы очень часто сливаются в одно слово, поэтому такие языки можно назвать полисинтетическими.

Однако, когда мы рассматриваем языки, которые обычно называются флектирующими, мы утрачиваем всякую, даже самую незначительную уверенность. Сразу же возникает вопрос, почему в латинском, греческом или чешском языках деривационные семы выражаются агглютинативно, а окончания — флективно? Мы не говорим уже о том, что в них часто встречаются также элементы изоляции. Нечто сходное наблюдается и в самоанском языке, где деривационные семы агглютинирующие, а окончания флектирующие. Положение было «спасено» тем, что данный язык назвали «основоизолирующим».

Попытаемся теперь сопоставить различные разделы описа-

тельной грамматики. В китайском языке семы, выраженные одним фонемным рядом, односложны. Формемами здесь служат семы, которые в других случаях определенно выступают как семантемы. Иными словами, в китайском языке семантема не отличается от формемы ни своей фонологической структурой, ни функциональной исключительностью.

Приведем другой пример. В турецком языке деривационные семы и семы окончаний соединяются посредством агглютинации. Деривационные семы можно присоединять также к семам окончаний. Следовательно, деривационные и флексионные семы не дифференцируются ни по характеру сочетания, ни по месту в слове. В чешском языке, напротив, деривационные семы агглютинативны, а семы окончаний флективны. Деривационные семы никогда не могут присоединяться к флексионным семам. Семы окончаний у глаголов, прилагательных и существительных образуют замкнутую систему, в которой используется всегда одна сема. Таким образом, деривационные и флексионные семы относятся к двум самостоятельным классам сем. Это имеет большое значение. Если в каком-либо языке группа сем отличается от другой группы какой-то одной своей особенностью, то в соответствии со сказанным ранее мы можем ожидать, что она имеет и другие характерные особенности. Именно в этом проявляется взаимосвязь явлений описательной грамматики и обнаруживается действительная жизнь языка.

Различие между языковыми системами заключается, следовательно, в степени дифференцированности сем, морфем и т. д. Эти «дифференциации» могут найти выражение в различных разделах описательной грамматики.

Морфонология, как уже указывал Трубецкой (6, стр. 163), имеет большое значение для типологии. Он также придерживается мнения о неполноценности старой типологической классификации языков: «Морфонология благодаря своему центральному положению в грамматической системе пригодна более, нежели что-либо другое, для того, чтобы дать всеобъемлющую характеристику своеобразия каждого языка».

1. Очень часто грамматические оппозиции характеризуются определенной фонологической структурой фонем и морфем. Иногда — например в некоторых восточноазиатских языках — все морфемы односложны; в этом случае дифференциация минимальна. Если же протяженность морфем различна (асиллабические, односложные, двусложные, трехсложные (большее количество слогов встречается редко)), то они обычно дифференцированы. В финском языке, например, существительные, глаголы и послелоги состоят из одного, двух и трех слогов, прилагательные — из двух или трех слогов, другие корневые

морфемы — из одного или двух слогов, морфемы окончаний односложны или асиллабичны, деривационные морфемы односложны или двусложны.

2. Неопределенность фонологической структуры. Благодаря ей в языках, для которых характерен сингармонизм, деривационные морфемы (семы) и флексионные морфемы (семы), допускающие чередование гласных, отграничены от корневых морфем, где это чередование отсутствует. В языках, в которых правила сандхи не играют большой роли, в противоположность морфемам неопределенностью фонологической структуры морфем характеризуются слова.

3. Функциональное использование фонологических чередований. Внутренняя флексия и инфиксация очень редко наблюдаются в европейских языках и совсем неизвестны, например, венгерскому и турецкому языкам. Поэтому они играют незначительную роль в дифференциации грамматических элементов. В латинском языке инфиксация встречается только в глагольных корнях. В финском языке внутренняя флексия наблюдается только в корневых и деривационных морфемах (sana «слово»: sanaa «сло́ва», pappi|la «дом священника»: pappi|laa «до́ма священника»).

4. Очень важна структура морфемных и семных комбинаций. Наиболее существенное значение имеет при этом характер морфемных комбинаций. Минимальная дифференциация наблюдалась бы при последовательно проведенной «изоляции» или последовательном «полисинтетизме». Во всех иных случаях представлена оппозиция слово : морфема (сема), слово : предложение. В некоторых языках, например в турецком, в отдельном слове всегда (или почти всегда) содержится одна семантема, к которой присоединяются почти все формальные элементы. Следовательно, семантемы и формемы дифференцируются по способу сочетания сем. Еще одним различительным моментом является то, что деривационные семы являются агглютинативными, а флексионные семы — изолирующими. Подобным образом обстоит, например, дело в так называемых «основоизолирующих» языках (ср. Финк, 6, стр. 84 и сл.).

Сюда относится также позиционная дифференциация сем. Можно было бы привести здесь примеры из финского языка. Первое место в слове занимает семантема, за ней следует деривационная морфема, затем флексионная и, наконец, особый вид морфемы — энклитика, которую, вероятно, надо считать самостоятельным словом. В данном случае интересно провести сравнение с турецким языком. В нем корень занимает первое место, однако, как уже указывалось, деривационные семы могут следовать за флексионными семами: ben|de|ki «находящийся

у меня», ben|im|ki «мой (тот, который мой)». Таким же способом характеризуется противопоставление между морфемами и словами. Для многих европейских языков справедливо правило, сформулированное В. Матезиусом (стр. 10). Слова в предложении можно менять местами, а морфемы в словах — нельзя. Здесь, собственно говоря, речь идет о двух правилах: слова или морфемы можно (или нельзя) менять местами: 1) без изменения смысла, 2) с изменением смысла, то есть с функциональным использованием порядка следования слов или морфем. Оба правила справедливы для морфем чешского языка; напротив, в венгерском или турецком языках действует только первое правило; ср. турецк. ben|im|ki|de «в моем»: ben|de|ki|nin «имеющегося во мне», венг. (очень редко) király|ai|tok|é «принадлежащий вашим королям»: király|otok|é|i «принадлежащие вашему королю». Дифференциация иного характера представлена, например, в турецком языке: слова следуют друг за другом по правилу «regens post rectum» («управляющее после управляемого»), а морфемы этому правилу не подчиняются; ср. baba oku|jor «отец читает», но: oku|jor|um «читаю».

5. Неопределенность морфемной структуры редко имеет существенное значение. Сюда относятся (падежные) окончания существительных в венгерском языке, которые обычно агглютинативны, но встречаются также в виде самостоятельных корней с притяжательным суффиксом лица ki|től «от кого»: től|em «от меня», ki|ből «из кого»: belől|em «из меня» и т. д. Они отграничены от корневых морфем и от глагольных окончаний.

6. Функциональное использование неопределенности структуры комбинаций морфем, если таковые вообще имеются, отличает формальные элементы от семантем (последние всегда выражаются своим собственным рядом фонем).

7. Омосемия (сем) обычно характеризует формальные элементы. У семантем она наблюдается очень редко. В турецком и финском языках омосемия встречается изредка и у формем. Напротив, в венгерском языке и еще в большей степени в чешском, латинском, греческом языках и т. д. она очень распространена и считается важной для характеристики морфемы окончания, а тем самым также и слова. Иногда омосемичные морфемы различных падежей более или менее отчетливо группируются в две или несколько систем, иными словами, возникают «склонения» и «спряжения», которые еще лучше характеризуют морфему окончания и само слово. Сюда относятся, например, венгерские глаголы с ik и без ik, типы спряжения и склонения в латинском и греческом языках и т. д.

8. Картина функционально используемой омосемии аналогична. Последняя крайне редко наблюдается у семантем,

но зато часто — в окончаниях, другими словами, омосемия характеризует флексии.

9. Такое же положение и с омонимией. Омонимия — важный признак слов. В упоминавшихся выше примерах из чешского языка — žen|a, měst|a, had|a — сема падежа выражена не только морфемой падежа, но и морфемой корня, иными словами, падежная сема объединяет обе морфемы в более сложное единство — слово.

10. Грамматические элементы могут, наконец, характеризоваться взаимной эксклюзивностью. Например, в чешском языке существительные никогда не могут использоваться в роли глаголов, и наоборот. Напротив, в венгерском языке существительные не всегда (следовательно, лишь потенциально) отграничены от глаголов: lak- «жилье» и «жить».

По данным признакам разграничиваются классы различных семем. Соотношения этих классов мы будем называть дифференциациями.

Начнем с дифференциаций сем. Для каждого языка наиболее существенной является дифференциация между семантемами и формемами. Она представлена — более или менее отчетливо, — пожалуй, в любом языке. Для характеристики отдельного языка важен также способ ее выражения. Во всех четырех рассматриваемых нами языках сильно развита агглютинация, то есть в них имеется относительно небольшое количество формальных (служебных) слов. Приставки (в венгерском и чешском языках) образуют однородную группу. Помимо этого, для нас представляют интерес лишь дифференциации суффиксальных сем. Наиболее существенное различие между интересующими нас языками заключается в четкости дифференциации между деривационными и флексионными семами; одновременно она служит исходным пунктом для новых дифференциаций. С другой точки зрения, суффиксальные семы разделяются на именные, глагольные и т. д. Некоторые семы окончаний (семы времени, лица), как мы уже отмечали, организуются в системы с помощью реляции. Из числа возможных дифференциаций семантем и других видов их оппозиций мы рассмотрим здесь лишь такие, которые связаны с дифференциациями и оппозициями формальных элементов. Речь идет о дифференциациях имен и глаголов, существительных и прилагательных, прилагательных и наречий.

Ближе всего к семе стоит морфема. Дифференциация сема : : морфема по-разному развита в отдельных языках. Например, она почти не встречается в турецком языке. Напротив, она богато представлена в так называемых флективных языках. Важную роль она играет в эмоционально окрашенном стиле.

Дифференциации между морфемами связаны с дифференциациями между семами.

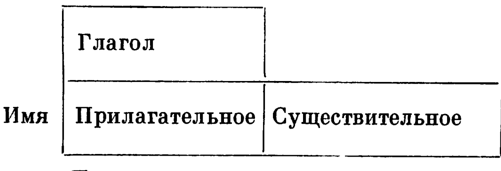
Несколько дальше от семы отстоит слово. Степень дифференциации морфема (сема) : слово не одинакова в разных языках. В отдельных языках, в особенности таких, которые обычно называются флективными, эта дифференциация представляет для нас определенный интерес. В некоторых классах слов каждое слово должно включать по крайней мере две морфемы морфему корня и морфему окончания (помимо деривационной морфемы). Подобная «словесная модель» зафиксирована, например, в чешском, латинском, греческом и финском языках для существительных, прилагательных, местоимений и глаголов. Напротив, в венгерском и турецком языках она обнаруживается только у глаголов. Существительные в этих языках обладают только формой основы, которая, сочетаясь с послелогами, выступает вместо присущего другим языкам окончания именительного падежа (в чешском, финском и других языках в этом случае всегда используется падежная форма с окончанием).

В большинстве языков слово существует как отчетливо выраженная, постоянная единица. В связи с этим язык можно расчленить на ряд слов; в результате появляется новая плоскость, на которой могут возникать новые оппозиции.

На основе корневой семы создается дифференциация семантемные слова : формальные слова. Исходя из корневой семы, последние можно разделить на местоимения, послелоги и т. д. Формальные слова не присоединяют (последовательно или потенциально) деривационных сем (исключением являются, например, венг. itt «здесь» : itteni «здешний», чешск. ten «этот, тот» - ta|m «туда, там», zde «здесь»: zde|jší «здешний», венг. valami «что-то, кое-что, немного» : valami|cske «немножечко»).

Семантемные [или семантематические (semantematischen)] слова обладают оппозицией именных и глагольных групп. Но она отнюдь не такая однородная, как можно было бы предположить. Она возникает, во-первых, в связи с дифференциацией именных и глагольных семантем, и в этом случае представляет собой дифференциацию. Другим ее источником служит присоединение именных и глагольных деривационных элементов к глагольным и именным семантемам. Так возникает корреляция (vág|ni «резать» : vág|ás «резание», jár|ni «ходить» : jár|ás «хождение», szép «красивый» : szép|ít|eni «делать красивым, украшать», jó «хороший» : jav|ít|ani «исправлять»). То же относится к оппозиции существительное: прилагательное + глагол. Последняя отнюдь не является пустой абстракцией. Она проявляется, например, в сочетании суще-

ствительного с прилагательным, глагола и прилагательного с соответствующим наречием. Обе эти оппозиции можно представить следующим образом:



В некоторых языках одна из этих оппозиций сокращается или исчезает совсем. Так, например, в турецком языке сливаются существительное и прилагательное, а в корейском — прилагательное и глагол.

Очень сложны оппозиции грамматического рода имен существительных. Из рассматриваемых нами детально языков они представлены только в чешском языке. В этом языке одушевленные существительные имеют три семемы рода, соотношение между которыми представляет собой не корреляцию, а реляцию, другими словами, они являются здесь простыми семами. Укажем на следующие реляции: зрелое существо : незрелое существо, существо мужского рода : существо женского рода. Одушевленным именам существительным противостоят неодушевленные. Так как эти классы не образуют пары, следует говорить в этом случае о дифференциации. Характеристика данной дифференциации следующая: во-первых, у неодушевленных существительных родовые признаки не составляют парного противопоставления (дифференциация); во-вторых, в мужском роде винительный падеж неодушевленных существительных совпадает с именительным, а у существительных одушевленных — с родительным.

Наконец, можно говорить о дифференциации личных и безличных слов, которая характеризуется сочетанием с вопросительными местоимениями kdo «кто», co «что».

Но и в языках, где грамматический род не играет главенствующей роли, например в турецком, финском и венгерском, можно проследить известную аналогию. В них, по-видимому, существует дифференциация одушевленное : неодушевленное, которая характеризуется возможностью передавать различия в биологическом роде. То же справедливо и для дифференциации личное : безличное, которая здесь, как и в чешском языке, выражается с помощью вопросительных местоимений (ki «кто», mi «что»; kuka «кто», mikä «что»; kim «кто», ne «что»), а также указательных местоимений (финск. hän, se «он»).

Однако все это скорее относится к структурной семантике, которой мы здесь касаться не станем. Прилагательное, кроме того, находится в оппозиции к наречию. Эта оппозиция также является отчасти корреляцией, отчасти дифференциацией. В некоторых языках (например, турецком) данная оппозиция резко сокращается.

Существует два вида оппозиций слов в словосочетании. В некоторых языках каждое слово находится в генеральной оппозиции (generalle Opposition) к другому. Примером может служить оппозиция управляющее : управляемое, которое во многих урало-алтайских языках (как это показал Г. Винклер) играет большую роль и выражается препозицией управляемого. В индоевропейских языках (например, в чешском языке) этот вид оппозиции приобретает специальный характер, в связи с чем в данном случае, по-видимому, нельзя говорить о генеральной оппозиции.

В указанных языках, следовательно, преобладают специальные оппозиции, а именно: оппозиция подлежащего и сказуемого, дополнения и сказуемого, определения и того члена предложения, к которому оно относится и т. д.

Однако в некоторых языках, где имеет место генеральная дифференциация (generalle Differenziation), встречаются и специальные дифференциации (например, в турецком языке). Оппозиции слов в словосочетании тесно связаны с другими оппозициями. Там, где эти оппозиции мало специализированы (как, скажем, в турецком языке), там и другие оппозиции развиты незначительно. Напротив, в чешском языке преобладают специальные оппозиции, что связано с сильным развитием других оппозиций.

Организация слов может осуществляться и в ином плане. Существуют языки (например, венгерский и чешский), где деривационные и флексионные семы в значительной мере отграничены друг от друга. В этих языках все слова с одинаковой семантемой независимо от того, имеют ли они деривационную сему или нет (например, венг. jár|ok «я хожу», jár|sz «ты ходишь»), организуются в систему, которая также называется «словом». Ради ясности назовем данную систему ремой. Ремы базируются на флексионных семах.

Далее ремы (и слова) объединяются в этимологические семьи.

Предложение также является семемой. Дифференциация слово : предложение обратно пропорциональна дифференциации слово : морфема. Иногда слово совпадает с предложением; тогда речь идет о дифференциации морфема (сема): предложение, например лат. scrib|o «я пишу», венг. lát|lak «я вижу тебя (вас)».

Дифференциация слово : предложение различна в разных языках.

Уже обращалось внимание (Юнкер, стр. 36 и сл.; Вайсгербер, стр. 19 и сл.) на то, что в языках предложение имеет лишь несколько наиболее общих структурных типов («схем предложения»), которые постоянно употребляются в стилистически отшлифованной речи. По образцу словесных моделей (клише) мы назовем эти схемы «клише-предложения». Они, конечно, являются интегрирующим элементом языка (de la langue). Следовательно, неправ Ф. Я. Юнкер (стр. 36), который пишет, что «говорящий употребляет господствующий в его языке основной тип предложения (допустим, «factor facit factum») и заучивает его до бессознательного автоматизма». А вообще говоря, разве когда-нибудь он его осознавал?

Для клише-предложения наиболее существенно отношение подлежащего к сказуемому. Чаще всего именно благодаря этому соотношению можно охарактеризовать клише-предложение.

В чешском языке (помимо вокатива) используются следующие клише-предложения:

1. Имя в именительном падеже + глагол.
2. Глагол + личное окончание.

Та же картина имеет место и в финском языке.

Совсем иная картина наблюдается в венгерском языке с его именным предложением:

1. Имя + глагол.
2. Глагол + личное окончание.
3. Имя + имя.

Почти то же самое наблюдается в турецком языке. Русский язык еще менее строг. Он допускает соединение подлежащего с предложной конструкцией, например: «у меня температура». Все это связано с оппозициями слов. Оппозиция имя : глагол в чешском или финском языках отчетливее, чем в венгерском, турецком и русском языках и т. д.

В данном случае речь идет, естественно, о чисто интеллектуальном и отшлифованном стиле. В различных стилях встречаются разные варианты (междометные предложения, междометие вместо глагола и т. д.). Таковыми, по нашему мнению, следует считать предложения, взятые у Пешковского, которые приводит Карцевский (стр. 190). Возможно, правильнее было бы говорить здесь не о противопоставлении предложение : фраза (proposition : phrase, стр. 189), а о противопоставлении интеллектуальный и отшлифованный стиль : эмоционально окрашенный и небрежный стиль.

В большинстве языков возникает дифференциация еще более высокого порядка. Простые предложения организуются в сложноподчиненные предложения. Там, где существует дифференциация сложноподчиненное предложение : простое предложение, может иметь место также дифференциация главное : : придаточное предложение.

Таковы основные типы грамматических дифференциаций.

Кроме того, необходимо заметить, что грамматическая дифференциация представляет собой противопоставление целых групп семем, которые не объединены в пары. Например, венгерские корневые семы kap «он получает», ad «он дает», fog «он держит», barna «коричневый», nő «женщина» находятся в многократно выраженной оппозиции к деривационным и флексионным семам (например, -os, -kod-, -k, -t и т. д.), хотя они и не группируются в пары. Признак дифференциации может иногда выражаться лишь потенциально. Так, например, корневые морфемы в венгерском языке имеют от одного до трех слогов, формальные морфемы — один-два слога. Данный признак потенциален, он не характеризует односложные корневые морфемы. Грамматическая дифференциация может обладать признаками, выступающими либо в своей совокупности, либо изолированно. Так, например, в венгерском языке морфемы окончаний:

1) короче корневых морфем;

2) им присущ сингармонизм. Однако при наличии сингармонизма они могут быть не короче корневых морфем: ok|ok «причины» : ék|ek «клинья», ok|ból «по причине» : ék|ből «из клина». С другой стороны, их протяженность может быть меньше и при отсутствии сингармонизма: beszél|nék «я бы говорил», marad|nék «я бы остался».

Грамматические дифференциации — это, по-видимому, неотъемлемый элемент языка, по крайней мере те из них, которые можно назвать «вертикальными». В любом человеческом языке должны существовать дифференциации типа сема : слово или слово : предложение или хотя бы сема : предложение. Напротив, можно представить себе язык без «горизонтальной» дифференциации, то есть без дифференциации сем, морфем или слов.

Однако такой случай, конечно, был бы изолированным. В большинстве языков дифференциации богато развиты и ясно охарактеризованы. Следовательно, строй языка и многообразие его вариаций зависит прежде всего от вида и количества дифференциаций.

Грамматические дифференциации в отдельных языках различны. Их четкость зависит от количества признаков и степени их последовательности. Как уже говорилось выше, признак

дифференциации может быть последовательным или потенциальным. Абсолютно последовательный признак встречается редко. К такого рода признакам относится, например, специфический порядок слов в придаточном предложении немецкого языка. Непоследовательность признаков явилась причиной теперешнего хаоса в грамматике. Когда все попытки найти в грамматике постоянные законы окончились неудачей, ко всем ее понятиям стали относиться весьма скептически. Отсюда ясно, какое большое значение имеет работа профессора Матезиуса.

Дифференциации, выраженные лишь однократно, встречаются редко.

Вертикальная дифференциация может быть «высокой» (hoch) или «низкой» (niedrig). Это зависит от того, сколь велико различие между дифференцируемыми группами. Например, дифференциация морфема : слово является «высокой» в гренландском языке и «низкой» в английском.

Дифференциация представляет собой всего лишь одну из разновидностей оппозиций семем. Выше мы делали попытку показать другие их разновидности — корреляцию и реляцию.

На основе различных оппозиций мы попытаемся теперь описать строй венгерского языка. Для сравнения мы бегло охарактеризуем также системы финского, чешского и турецкого языков.

Мельчайшей грамматической единицей мы считаем сему. Итак, начнем с оппозиций сем.

A.I. В венгерском языке, как и в других европейских языках, важнейшей для сем является дифференциация семантем и формем. Для ее выражения существуют следующие средства:

а) Фонологическая структура семы. Семантемы состоят из одного, двух или трех слогов (had «войско», kemény «жесткий, твердый», babona «суеверие»), формемы односложны или двусложны, асиллабичны или аморфемны (fáj|dalom «боль», éj|nek «ночи» (дат. п.), éj|t «ночь» (вин. п.), lát|ok «я вижу», belől|em «из меня», az «тот», én «я»). Здесь этот признак дифференциации выражен слабее, чем, скажем, в чешском языке. С одной стороны, встречается большое число односложных семантем (например: eb «собака», ég «небо», «горит», éh «голод», éj «ночь», ék «клин», él «острие», ép «целый, здоровый», ér «ручеек; достигать», érc «руда» и т. д. и т. п.), а с другой — формемы почти всегда имеют свой собственный слог. У слова типа szolga «слуга» асиллабичными являются только следующие окончания: szolgá|t «слугу» (аккуз.), szolgá|k «слуги» (мн. ч.), szolgá|n «на слуге» (суперессив), тогда как другие представляют собой слог: szolgá|nak «слуге» (дат.), szolgá|tól «от слуги» (абл.),

szolgá|nál «у слуги» (адессив), szolgá|hoz «к слуге» (аллатив) и т. д.

б) Фонологическое чередование. В формемах наблюдается чередование звуков по законам сингармонизма, а в семантемах такое чередование отсутствует: ágnak «ветви» (дат. п.), égnek «небу», önnek «Вам»; ághoz «к ветви» (аллат.), éghez «к небу», önhöz «к Вам». В венгерском языке сингармонизм менее последователен, чем в турецком, но более последователен, чем в финском языке.

ü	ű	u,	ú
	ő		ó
e	ö	o	
e,	é	a,	á

Гласные i, í, e, é нейтральны. Этот признак отсутствует: 1) у формемных слов, 2) у префиксов. Нет его, конечно, и у суффиксов с нейтральными гласными: király|é «принадлежащий королю», herceg|é «принадлежащий герцогу», tenger|ig «до моря», halál|ig «до смерти». У семантем наблюдается незначительная альтернация, возникающая на стыке морфем. Исключение в этом отношении составляют рифмующиеся слова типа libeg «колышется» — lobog — то же и т. д. Однако в этом случае речь идет уже об эмоционально окрашенном стиле, в котором часто допускается использование обычно малоизвестных явлений. Интересно отметить, что последнее обнаруживается как раз в тех языках, где, вообще говоря, альтернация редка, а именно в турецком, монгольском и армянском.

в) Структура сочетания сем. Формальные семы обычно соединяются с семантемой агглютинативно. Формальные слова здесь не столь редки, как в турецком, однако они не столь многочисленны, как в чешском языке.

Важное значение здесь имеет еще и непосредственное сочетание семантем. Как мы уже показали, в данном случае связь осуществляется с помощью морфем, а не сем. В этом заключается существенное различие между турецким и венгерским языками, с одной стороны, финским и чешским языками — с другой. В финском и чешском языках в указанных случаях представлена нулевая морфема, иными словами, в этих двух языках семантемы соединяются посредством морфемы. В венгерском и турецком языках это правило не действует.

В языках, где оно сочетается с агглютинацией (как, например, в чешском и финском языках), существует еще и другое правило: каждое слово должно обладать формемой. В свою очередь, это связано с ясной манифестацией слова (словесного клише) и ремы. В венгерском языке все это представлено лишь в незначительной степени.

г) Изменение структуры сочетания сем. Некоторые формемы, например окончания имен существительных, выступают то в роли окончаний, то в роли корней:

ok|ból «по причине» : belől|em «из меня».

д) Использование чередования семантических сочетаний. Сюда относится использование порядка слов. В венгерском языке это делается, во-первых, в чисто «синтаксических» целях: a szegény fiú «бедный мальчик» : a fiú szegény «мальчик беден» (то же самое наблюдается и в турецком языке); во-вторых, для выделения некоторых слов (что имеет место, например, в чешском, финском и в меньшей степени в турецком языках).

е) Омосемия. У семантем она встречается только спорадически: sok «много» : tö|bb «больше», len|ni «быть» : vagy|ok «я есмь, являюсь»; у формем она представлена чаще. Во множественном числе существительных находим -k или -i- : fá|k «деревья» : fá|i|m «мои деревья»; суперессив имеет форму pad|on «на скамейке» : rajt|am «на мне»; аккузатив может вообще не иметь окончания: kés|em|0 «мой нож» или kés|em|et «мой нож»; то же самое наблюдается у местоимений engem или engemet «меня», а также у глаголов, ср. lát|ok «я вижу» : lát|t|am «я видел», lát|sz «ты видишь» : lát|t|ál «ты видел», но lát|0 «он видит» : lát|ott|0 «он видел». Этот признак также выражен здесь сильнее, чем в турецком, но слабее, чем в чешском языке. Важную роль играет также разделение глаголов на два типа спряжения: lát|ok «я вижу», lát|sz «ты видишь», lát|0 «он видит» : lak|om «я живу», lak|ol «ты живешь», lak|ik «он живет».

ж) Использование омосемии. В данном случае речь идет почти исключительно о семах «лица».

Начнем с глагольных форм. Эти формы в венгерском языке большей частью состоят из отчетливого ряда фонем, ср.:

vár|ok	«я жду»	vár|unk	«мы ждем»
vár|sz	«ты ждешь»	vár|tok	«вы ждете»
vár|0	«он ждет»	vár|nak	«они ждут»

Сомнения могут возникать, например, относительно перфекта, ср.:

vár|t|am	«я ждал»	vár|t|unk	«мы ждали»
vár|t|ál	«ты ждал»	vár|t|atok	«вы ждали»
várt|o	«он ждал»	vár|t|ak	«они ждали»

На первый взгляд может показаться, что у глагола 3-го лица мы наблюдаем такую же картину, как у имени существительного: ház «дом» : ház|ak «домá» (мн. ч.). Но это только так кажется, ибо -ak выражает одновременно форму множественного числа и форму 3-го лица, а нулевая морфема — форму единственного числа и 3-го лица. Другими словами, оба окончания одноморфемны, но двухсемны. Напротив, у существительного падеж выражается самостоятельной морфемой ház|0|nak «дому» (дат. п.) : ház|ak|nak «домам», (дат. п. мн. ч.), то есть в этом случае -ak и нулевая морфема односемны.

Аналогичная картина наблюдается для личнопритяжательных суффиксов:

ház|am	«мой дом»	ház|unk	«наш дом»
ház|ad	«твой дом»	ház|atok	«их дом»
ház|a	«его дом»	ház|uk	«ваш дом»

Остановимся также на личных местоимениях: én «я», mi «мы», te «ты», ti «вы». Местоимение én «я», бесспорно, одноморфемно. Таким образом, mi «мы» и te «ты» тоже одноморфемны (посредством -m- передается форма множественного числа, а посредством -e- —2-го лица). Остается только ti «вы». Но оно слишком кратко для предполагаемых здесь двух морфем, и одна из них, видимо, пояснялась бы другой. Поэтому все личные местоимения мы можем считать одноморфемными.

Сема дополнения всегда аморфемна. Помимо стоящей изолированно формы -lak, vár|lak «я жду тебя», сема дополнения обозначает определенность 3-го лица, ср.:

vár|om	«я жду его»	vár|juk	«мы ждем его»
vár|od	«ты ждешь его»	vár|játok	«вы ждете его»
vár|ja	«он ждет его»	vár|ják	«они ждут его»

з) Омонимия формем. У семантем она встречается редко: ég «небо; горит», fél «половина; боится»; у формем она зафиксирована чаще, например -i- : fá|i|m «мои деревья», pozsony|i «братиславский»; -ok- : jár|ok «я иду», ok|ok «причины» (мн. ч.); -nek : ég|nek «они горят», «небу» (датив). Этот признак тесно связан с протяженностью сем. Чем короче сема, тем больше возможностей для омонимии. Таким образом, данный признак в венгерском языке выражен гораздо ярче, чем в турецком, однако он не так отчетлив, как в чешском языке.

и) Эксклюзивность. Здесь налицо некоторые исключения. Э. Леви полагает (стр. 42), что данное явление характерно для венгерского языка. Он приводит следующие примеры: -hat, -het — hat|ni «достигать», «влиять», hat|alom «власть», -bel|i «находящийся внутри» — bél «кишка»; ?-né : Kissné «госпожа Кишш»—nő «жена». К ним можно добавить: más|kép(pen) «иначе, по-иному» — kép «картина», más|kor «в другой раз» — kor «время». Сюда же относятся также многие послелоги: hely|ett «вместо», múl|va «спустя», vég|ett «рады», néz|ve «по отношению к», fog|va «начиная с», szem|be «напротив, навстречу» и т. д.

Вся система дифференциаций семантем и формем в венгерском языке занимает промежуточное место между системами турецкого и чешского языков. Она содержит признаки, которые служат для характеристики формем как таковых (сингармонизм, сильная агглютинация), однако эти признаки выражены здесь слабее, чем в турецком языке. С другой стороны, в венгерском языке наблюдаются также признаки, которые используются в первую очередь для разграничения деривационных и флексионных сем (омосемия, функциональная омосемия, омонимия), однако они развиты здесь не в такой мере, как в чешском языке.

Формемы представлены тремя наборами: 1) самостоятельными словами (местоимениями, союзами, послелогами), 2) отделимыми приставками и суффиксами, 3) суффиксами.

Важное значение имеет также дифференциация суффиксов. Сюда можно отнести:

II. Дифференциацию деривационных и флексионных сем. Как мы увидим в дальнейшем, она играет немаловажную роль в чешском языке, но в венгерском языке развита слабо.

а) Фонологическая структура ее не характеризует; ср. csúsz|amod|ik «скользит», а также vár|játok «вы ждете их», más|képpen «иначе».

б) Несколько более ясна картина сочетания сем. Как и в некоторых других языках, в венгерском языке за семантемой сначала следует деривационная, а затем флексионная сема. Но этот признак нам мало помогает, ибо мы не знаем, где кончается деривационный элемент и начинается флексия, например в таких словах, как király|ai|m|é|i|nak «тем, что принадлежит нашим королям». Исключение здесь, по-видимому, составляют суффиксы -bel|i, -szer|ű, первую часть которых, по всей видимости, можно идентифицировать с падежными окончаниями -ban, -szer. Более важную роль играет такой признак, как необходимость наличия окончания у глаголов (но не у имен!) и отсутствие его у деривационных суффиксов.

Любая форма глагола должна иметь определенное окончание времени, наклонения и лица или окончание инфинитива или причастия. Напротив, у существительных (агглютинативные) падежные окончания не являются необходимыми (форма основы выступает как подлежащее, предикат соединяется с послелогами и т. д.). Большой интерес представляют случаи типа arany ezüst|tel «золотом-серебром» (ср. Леви, стр. 41). Однако такое явление встречается крайне редко и указанный пример, по-видимому, следует объяснить недостаточной строгостью стиля. Другие семы окончаний не являются обязательными (личнопритяжательные суффиксы, суффикс обладателя). Отчасти сюда можно отнести и показатель множественного числа. Если же он отсутствует, то мы можем говорить о форме единственного числа; иными словами, единственное число может выражаться нулевой морфемой. Напротив, у числительных встречается форма без признака числа, то есть без семы единственного или множественного числа.

в) Изменение в характере сочетания. Большинство падежных окончаний существительных может также выступать в роли самостоятельного корня: tenger|től «от моря» — től|em «от меня» (аблатив).

г) Омосемия, встречающаяся только в окончаниях (ср. первую дифференциацию).

д, е) То же самое относится и к функционально используемой омосемии и к омонимии.

ж) Эту дифференциацию характеризует также эксклюзивность.

С данной дифференциацией связаны многие другие дифференциации (сема : морфема, морфема : слово, слово : рема). Следовательно, она играет очень большую роль при различении языков. В тех языках, где каждое слово непременно должно иметь окончание (например, глагол в венгерском языке), существование слова выражено отчетливо, а если налицо отчетливо выраженное окончание, то легко обнаружить и рему. Как мы увидим в дальнейшем, венгерский язык занимает в этом отношении промежуточную ступень между чешским и турецким языками. В венгерском языке подобная дифференциация хотя и существует, но она в нем развита не в такой мере, как в других языках.

III. Среди деривационных сем можно выделить еще дифференциацию глагольных и именных сем. Последние в свою очередь можно разделить на семы существительных и семы прилагательных. Эти дифференциации характеризуются эксклюзивностью.

IV. Что касается сем окончаний, то здесь дифференциация наблюдается между глагольными и именными окончаниями, а также между окончаниями существительных и прилагательных.

Первая дифференциация характеризуется:

а) неопределенностью сочетания сем; именные окончания, как уже говорилось выше, могут использоваться в роли самостоятельных корней;

б) омосемией, обычной для глаголов, но реже встречающейся у имен существительных;

в) эксклюзивностью семы. Впрочем, существуют семы, которые одновременно являются и глагольными и именными. К ним относятся, во-первых, множественное число, во-вторых, отглагольные именные формы, в-третьих, по-видимому, также личные окончания;

г) эксклюзивностью фонологической структуры. Одни и те же семы у глагола и имени выражаются по-разному. Исключение составляют lak|om «мое жилище» и «я живу» и отглагольные именные формы.

Эта дифференциация также хорошо развита, однако не в такой мере, как в чешском языке. Она связана с оппозициями более высокого порядка: слово — слово, слово — предложение (чем отчетливее оппозиция имя — глагол, тем яснее структура предложения; ср. ниже).

Вторая дифференциация характеризуется эксклюзивностью семы при изменении прилагательных по степеням сравнения: nagy|obb «больший», leg|nagy|obb «самый большой». Изолированными являются случаи типа róká|bb от róka «лисица», király|abb от király «король». В данном случае интересно сопоставить венгерский и чешский языки. В чешском языке прилагательные с фонологической точки зрения имеют совсем иные окончания, чем существительные, тогда как в венгерском языке этого не наблюдается.

V. У глагольных сем окончаний представлена также дифференциация между семами времени и наклонения, с одной стороны, и семами лица — с другой. Ей присуща:

а) флексия в личных окончаниях;

б) второй (изолирующий) набор показателей времени и наклонения;

в) определенная позиция: окончания времени и наклонения всегда предшествуют личным окончаниям.

В системе времен преобладают три временные формы, которые дополняются редко встречающимися претеритом и плюсквамперфектом.

Семы лица делятся на 1) семы подлежащего и 2) семы дополнения. Семы дополнения аморфемны. Системы выражения категории лица нам уже известны.

VI. К именным семам окончаний относятся: семы принадлежности, а также семы числа и падежа. Они отличаются друг от друга способом сочетания сем:

а) притяжательные суффиксы должны присоединяться агглютинативно, тогда как семы числа и падежа должны быть дополнены вторым изолирующим набором: kép|ek «картины» — két kép «две картины», kép|nél «у картины» — kép mellett «около картины»;

б) должны быть также представлены семы числа и падежа — агглютинативные или изолирующие.

Семы принадлежности можно разделить на два типа: 1-й тип имеет изолированный притяжательный суффикс -é, а 2-й обладает системой притяжательных личных суффиксов. Последняя построена так же, как система глагольных сем лица. Система падежей уже рассматривалась выше.

Так приблизительно выглядят оппозиции суффиксальных сем в венгерском языке. К ним присоединяются и другие формемы:

1. К семам времени и наклонения — приставки.

2. К окончаниям глаголов — формальные слова (местоимения, союзы), к окончаниям имен — формальные слова (местоимения, артикль, союзы и послелоги).

Очень важны для структуры языка приставки. Из рассматриваемых нами языков приставки встречаются еще только в чешском языке, где они имеют сходное употребление.

VII. Для семантем может быть зафиксирована дифференциация имени и глагола, а также дифференциация существительных и прилагательных. Первая почти не знает исключений (одно из них — lak «жилище», «жить»). Вторая в значительной степени потенциальна: folyó «река» и «текущий», ezüst «серебро» и «серебряный» и т. д. Дифференциация прилагательных и наречий исключений почти не имеет.

Б. Дифференциация сема : морфема.

Как мы уже видели, в венгерском языке две семы нередко выражаются одним рядом фонем. Поэтому, как нам кажется, здесь действительно существует дифференциация морфема : сема. Это, конечно, имеет большое значение для структуры языка в целом. Так создаются дифференциации деривационных и флексионных сем, сло́ва и ремы и т. д.

В. Оппозиции морфем.

Итак, существование дифференциации морфема : сема не вызывает сомнений. В связи с этим язык можно расчленить

на ряд морфем. Так возникает новая плоскость, на которой создаются новые оппозиции. Чаще всего они тесно связаны с оппозициями сем. Большое значение имеет оппозиция деривационных и флексионных морфем у глагола, которая отчетливо характеризует слово.

Г. Дифференциация морфемы и слова.

К морфеме ближе всего слово. Эту дифференциацию характеризуют:

а) фонологическая структура. Граница между словами всегда совпадает с границей слогов. Морфемная граница внутри слова часто рассекает слог; ср. fá|t «дерево» (акк.), ki-rá-ly|o-k|é «принадлежащий королям». Впрочем, в отличие от финского языка и в меньшей степени от чешского в венгерском языке стык морфем внутри слова часто выражается фонологически;

б) сингармонизм. Слово связано сингармонизмом (правда, только потенциально; ср. дифференциацию семантем и формем);

в) словесное клише. В венгерском языке, как и в турецком, словесное клише присуще только глаголу (тогда как в чешском и финском языках оно зафиксировано также у имени);

г) возможность менять местами слова в предложении и отсутствие такой возможности для морфем в слове. Исключения встречаются у существительных, но совершенно изолированно; ср. király|a|i|tok|é «принадлежащее вашим королям» — király|o|tok|é|i «принадлежащие вашему королю»;

д) использование в слове одной семантемы. Здесь имеется много исключений, к ним относятся формальные и сложные слова;

е) стабильность классификации слов. Однако и здесь есть исключения, к которым относятся сложные слова, а кроме того, приставки и падежные окончания;

ж) словесное ударение. Однако существует несколько энклитик: én is. Об этой дифференциации можно сказать то же, что уже говорилось о дифференциации семантем и морфем. И в этом случае венгерский язык занимает промежуточную ступень между чешским и турецким языками. Разнообразие признаков в слове очень важно для языка. В любом языке, по-видимому, имеется нечто такое, что можно назвать «словом», однако это «нечто» выглядит несколько иначе на каждой новой ступени развития языка и, соответственно, в разных языках. То, что мы называем здесь словом, конечно, нельзя считать словом вообще, оно является таковым лишь с точки зрения современного венгерского языка. Отсюда можно сделать еще такой вывод: поскольку слово — это понятие весьма относительное, деление видов сочетания сем (и морфем) на агглютинативные, изоли-

рующие и полисинтетические представляет для всеобщей грамматики лишь относительную ценность. Неодинаково ценно это деление и для отдельных языков.

Д. Оппозиции слов.

Итак, слово в венгерском языке выражено очень ясно. Поэтому речевой поток распадается на ряд слов, и в результате возникает определенная плоскость, на которой создаются новые оппозиции, а именно оппозиции слов.

I. Дифференциация формальных и семантических слов. В первую очередь ее характеризует корневая сема (ср. дифференциацию семантем и формем), затем возможность присоединения флексий (из семантем флексия отсутствует у некоторых наречий; из формальных слов только местоимения обладают более или менее важной флексией; иногда она весьма оригинальна (én «я» — engem «меня» — től|em «от меня» и т. д.)); кроме того, формальные слова лишь изредка присоединяют деривационные семы; однако в венгерском языке это наблюдается чаще, чем в других языках, ср. után|i «следующий за», előtt|i «предшествующий чему-либо», itten|i «здешний», а также vala|mi|cske «немножко» (деминутив).

Данная дифференциация в венгерском языке не столь отчетлива, как, например, в чешском. Послелоги здесь также имеют флексии: al|att «под» [на вопрос «где?»] — al|á «под» [на вопрос «куда?»], al|ól «из-под».

II. Оппозиции семантемных слов связаны с дифференциациями семантем, деривационных и флексионных сем. В венгерском языке они выявляются яснее, чем в турецком, однако все же не столь четко, как в чешском языке.

Оппозицию глагола и имени характеризует также клише-предложение. Глагол используется в первую очередь как предикат, имя же имеет другие функции. Отчетливость этого признака в венгерском языке снижается, во-первых, из-за наличия именных предложений, а во-вторых, из-за существования отглагольных именных форм. В языках, где (как, например, в венгерском) этот признак стремится стать отчетливым, возникает новая дифференциация между простым и сложноподчиненным предложением. Например, вместо ставшего музейной редкостью az atya adta könyv «книга, данная отцом», постоянно употребляется a könyv, amelyet atya adott «книга, которую дал отец».

Е. Дифференциация между словом и ремой.

Как мы уже указывали, она тесно связана с дифференциацией деривационных и флексионных сем. Поэтому данная дифференциация весьма отчетлива, хотя и не в такой мере, как в чешском языке.

Ж. Дифференциация между ремой и этимологической семьей.

Ее отчетливость нарушается:

1) наличием сложных слов, которые, правда, встречаются в венгерском языке не очень часто;

2) наличием таких флексий, которые выступают также как самостоятельные слова: ok|ból «по причине»— belől|em «из меня».

З. Оппозиции слов в словосочетании.

В венгерском языке, по-видимому, существует генеральная дифференциация между управляющим и управляемым словом по правилу: управляемое предшествует управляющему (regens post rectum). Данная дифференциация не очень отчетлива. К ней, вероятно, можно отнести также противопоставление предикативность : атрибутивность (ср. fiú szegény — szegény fiú).

Специальные дифференциации (подлежащее : сказуемое и т. д.) здесь более отчетливы.

И. Дифференциация между словом и предложением.

К слову ближе всего предложение. Эту дифференциацию характеризует клише-предложение. Мы уже приводили венгерское клише-предложение (имя + глагол или имя, глагол + + окончание).

К. Дифференциация между простым и сложноподчиненным предложением.

Во многих языках отдельные части предложения оформляются как предложение, в связи с чем и возникает данная дифференциация. Как мы уже говорили, в венгерском языке эта дифференциация проявляет тенденцию к развитию; то же относится и к дифференциации между главным и придаточными предложениями.

Перейдем теперь к рассмотрению финского языка.

А. И в этом случае мы начнем с оппозиций сем.

I. Дифференциация семантем и формем. Ее характеризуют:

а) фонологическая структура семы. Семантемы состоят из одного-трех слогов (jää «лед», kuusi «ель», sydäme|n «сердце»), морфемы содержат один или два слога, но могут быть также асиллабичными или аморфемными: via|ttoma|n, via|ton, via|t «невиновный», kuule|n «я слышу», kuule|mme «мы слышим» (исключение: ympäri «вокруг»). Данный признак выражен здесь сильнее, чем в венгерском языке (односложные существительные и глаголы встречаются редко, односложных прилагательных нет), и, напротив, слабее, чем в чешском языке (формемы очень часто имеют самостоятельный слог; ср. фин. isä|llä «у отца» [адессив], чешск. otc|i «отцу»);

б) фонологическое чередование. Сингармонизм здесь еще более потенциален, чем в венгерском языке. Много суффиксов с нейтральными гласными или вообще без гласных; ср. saa|n «я получаю», saa|t, saa|0, saa|mme, saa|tte — syö|n «я ем», syö|t «ты ешь» и т. д.;

в) функциональное использование альтернаций. В таком случае они выступают как форемы или части формем. Например, lopu|mme «мы кончаем», loppu|mme «наш конец», sana «слово», партитив sanaa «из слова», генитив sana|n «сло́ва», иллатив sanaa|n «в слово»;

г) сочетание сем. Самым обычным является сочетание семантема + формема. Исключение составляют формальные и сложные слова, которые весьма распространены. Как уже отмечалось, в финском языке семантемы характеризуются еще и тем, что они соединяются друг с другом с помощью морфемы (хотя бы нулевой);

д) изменения в последовательности комбинации сем. Сюда относятся немногие примеры типа kautta maan «через страну»— maan kautta и т. д. Кроме того, порядок слов используется и для выделения некоторых слов. К этому изменению в сочетании сем относится, по-видимому, также противопоставление изоляция : полисинтетизм, например, isän maa «страна отца», isän|maa «отечество»;

е) омосемия. У семантем она весьма редка: hyvä «хороший»— par|empi «лучше», ole|n «я есмь»— lie|ne|n «я могу быть», paljon «много»— en|emmä|n «больше». Редко встречается омосемия и у формем, например: партитив kalaa (номинатив kala «рыба»), инф. voi|da «мочь», katso|a «смотреть», maa|ta «лежать»;

ж) использование омосемии, которая редко наблюдается в склонении, например, форма номинатива ед. ч. puu|0 «дерево»— мн. ч. puu|t «деревья» обычна у слов, обозначающих лица: usko|n «я верю»— usko|mme «мы верим» и т. д.

з) омонимия, часто встречающаяся у формем: аккузатив usko|n «вера»—1-е лицо usko|n «я верю»; номинатив мн. ч. -t, 2-е лицо ед. ч. -t;

и) эксклюзивность. Несколько исключений отмечается у послелогов: sija|lla «на месте»— sija «пространство, место».

Дифференциация выражена почти таким же образом, как и в венгерском языке. Сингармонизм и агглютинация развиты слабее, чем в турецком, а омосемия и омонимия — не в такой степени, как в чешском языке.

Формемы представлены двумя наборами:

1. Формальные слова (местоимения, союзы, послелоги).
2. Суффиксы.

II. Суффиксы также дифференцируются на деривационные и флексионные семы. Дифференциация имеет следующие особенности:

а) наличие фонологической структуры. Деривационные семы состоят из одного или двух слогов, флексионные семы односложны или аморфемны: via|ton «невиновный», via|ttoma|n (генитив) «невиновного», saa|da «получать», kalaa (партитив) «рыбы» (номинатив kala), saa|mme «мы получаем»;

б) флексионной семе предшествует деривационная сема. Этот признак не знает исключений.

Огромную роль играют окончания у глагола, существительного, почти у всех прилагательных, у всех местоимений, а также у большинства послелогов. Семы, связывающие слова, встречаются редко. Сюда относится небольшой набор прилагательных: pikku «маленький», koko «весь, целый» и т. д., которые соединяются с существительными с помощью изолятивной связи (isolative Verbindung), но не окончания;

в) наличие омосемии и омонимии; ср. первую оппозицию;

г) наличие эксклюзивности, которое проявляется весьма последовательно.

Эта столь важная в целом для структуры языка дифференциация в финском языке проявляется гораздо отчетливей, чем в венгерском. В этом отношении финский язык больше приближается к чешскому, чем к венгерскому или турецкому языкам.

III. Деривационные семы делятся на глагольные и именные, а последние в свою очередь делятся на семы существительных и семы прилагательных.

IV. Флексионные семы делятся на глагольные и именные окончания. Эта дифференциация характеризуется эксклюзивностью некоторых сем и находится на той же ступени развития, что и аналогичная дифференциация в венгерском языке. Кроме того, существуют семы, которые являются одновременно и глагольными и именными, но у имени они выражаются иным способом, чем у глагола. К ним в первую очередь относится множественное число. У существительных оно передается морфемой -i- (в номинативе — аккузативе — -t), тогда как у притяжательных суффиксов лица оно выражается флективно. У глаголов оно всегда передается окончанием. Личные суффиксы выражаются различными способами (за исключением 1-го лица мн. ч.). Последовательность этой дифференциации существенно нарушается из-за наличия отглагольных именных форм, сильно развитых в финском языке.

Почти все существительные и прилагательные имеют одинаковые окончания (исключение: pahoilla «плохой», mielin «настроение» и т. д.). Специальный набор сем прилагательных (семы

степеней сравнения прилагательных), правда, крайне редко, присоединяется и к существительным; ср. rann|empa|na «ближе к берегу».

V. Дифференциации временных и модальных сем, с одной стороны, и сем лица — с другой, присущи те же признаки, которыми характеризуется подобная дифференциация в венгерском языке. В финском языке личные окончания организуются так же, как и в венгерском языке, а система времен и наклонений здесь несколько разнообразнее.

VI. К именным семам окончаний относятся семы числа, падежа и притяжательные семы. Они отграничиваются друг от друга теми же способами, какие существуют и в венгерском языке:

а) притяжательные семы должны присоединяться агглютинативно, тогда как семы числа и падежа дополняются вторым изолирующим набором: kuva|t «картины» : kaksi kuvaa «две картины», kuva|lla «у картины» : kuva|n vieressä «около картины». Правда, и в этом случае имеется агглютинативный суффикс;

б) семы числа и падежа всегда бывают агглютинативными или агглютинативно-изолирующими;

в) все притяжательные суффиксы двухсемны, из падежных сем двухсемны лишь немногие.

Система притяжательных сем идентична системе личных окончаний. О системе падежей уже говорилось выше.

Так примерно выглядят оппозиции суффиксальных сем. Сюда следует отнести также формальные слова (как и в других языках).

VII. Дифференциация семантем глагола и имени, а также семантем существительного и прилагательного почти не знает исключений (к ним, например, относятся usko- «вера» и «верить», koko «целое» (имя существ.) и «целое» (имя прилаг.)). Дифференциация прилагательных и наречий не знает исключений.

Б. Дифференциация между семой и морфемой.

В финском и венгерском языках она развита примерно одинаково. Здесь она встречается в системе склонения: в иллативе многосложных слов: taloo|n «в дом» [иллатив], sukuu|n «в род», sanaa|n «в слово» (генитив: talo|n «до́ма», sana|n «сло́ва», suvu|n «ро́да»; основа talo- и т. д.); в партитиве а-основ и ä-основ: sanaa «сло́ва», metsää «леса» (основа и номинатив sana, metsä). Приведенные семы интересны тем, что выражаются они в рамках двух морфем. Флексию имеют также элатив, инессив, иллатив (-sta, -ssa, -han или удлинение гласного +n), а также аблатив, адессив, аллатив, которые семиологически параллельны. У элатива и аблатива, по-видимому, есть инфикс -t-, тогда как другие падежи фонологически не совпадают;

иными словами, здесь используется омосемия. Флексия присуща также номинативу — аккузативу мн. ч.-t: sana|t; в этой форме передается одновременно и число и падеж (ср. номин. ед. ч. sana|0, акк. sana|n). Принадлежность (поссесивность) выражается обычно агглютинативно; исключение составляет лишь одна полуфлективная форма talo|aa|n. Множественное число при обозначении владельца флективно: talo|ni «мой дом»— talo|mme «наш дом», talo|si «твой дом»—talo|nne «ваш дом».

В системе спряжения флективными являются личные окончания: tule|n «иду»— tule|mme «мы идем», tule|t «ты идешь»— tule|tte «вы идете» и форма 2-го лица повелительного наклонения: osta|' «купи»— osta|kaa|0 «купите», osta|kaa|mme «давайте купим». Все эти аморфемные семы представляют собой семы окончаний. Таким образом, становятся отчетливей и дифференциации между семантемой и морфемой, между словопроизводной семой и семой окончания и т. д.

Дифференциация между семой и морфемой и тем самым существование морфемы выражены, по-видимому, вполне отчетливо. Язык в целом можно разделить на ряд морфем.

В. Дифференциация морфем.

Некоторые дифференциации морфем очень близки некоторым дифференциациям сем.

Г. Дифференциацию между морфемой и словом характеризуют:

а) фонологическая структура. В финском, как и в венгерском языке, граница слова совпадает с границей слога; напротив, внутри слова граница слога очень часто проходит по границе между морфемами: ra-ha|t-ta «без денег», suu|n «рта» и т. д. Кроме того, на стыках морфем встречаются только те комбинации согласных, которые возможны внутри морфемы (ср. Скаличка, а, стр. 95);

б) сингармонизм;

в) устойчивое словесное клише для глаголов, существительных, прилагательных (за исключением второго набора pikku, koko и т. д.) и местоимений, а именно семантема + (деривационный элемент +) окончание. Очень часто оно встречается и у послелогов. Этот признак развит здесь значительно сильнее, чем в турецком и венгерском, и почти столь же отчетливо, как в чешском языке;

г) невозможность менять местами морфемы в слове;

д) малочисленность формальных слов наряду с большой распространенностью сложных слов;

е) устойчивая классификация слов, которая, однако, нарушается многочисленными сложными словами;

ж) самостоятельное ударение. Исключение представляют энклитики. Таким образом, в финском языке слово охарактеризовано вполне отчетливо.

Д. Оппозиция слов.

I. Дифференциация семантических и формальных слов характеризуется корневой семой, а кроме того, возможностью наличия флексии (у прилагательных нет флексии, из формальных слов флексию имеют местоимения, что [необычно], и некоторые послелоги). Некоторые формальные слова могут присоединять деривационные семы; ср. ympäri «вокруг»— ympär|öi|dä «окружать».

II. Оппозиции семантемных слов выглядят примерно так же, как в венгерском языке. Оппозиция между именем и глаголом в финском языке гораздо отчетливей, так как в нем отсутствует именное предложение. Вместо старых отглагольных именных форм типа kirjoitta|ma|ni kirja «книга, написанная мною», чаще употребляют kirja, jonka olen kirjoitta|nut «книга, которую я написал», и т. п.

Е. Отчетливо выражена и дифференциация между словом и ремой, поскольку четко разграничены деривационные и флексионные семы.

Ж. Отчетливость дифференциации между ремой и этимологической семьей нарушается многочисленными сложными словами.

З. Дифференциация слов в сочетании имеет более специальный характер. Имеются только следы правила управляющее : управляемое (Regens : Rectum).

И. Дифференциацию между предложением и словом характеризует клише-предложение, которое мы уже анализировали.

К. Дифференциация между сложноподчиненным и простым предложением связана с дифференциацией имени и глагола. То же самое следует сказать и о дифференциации между главным и придаточным предложениями.

Теперь рассмотрим чешский язык.

А. Оппозиции сем.

I. Дифференциацию семантем и формем характеризуют:

а) фонологическая структура. Семантемы могут быть асиллабичными или состоять из одного, двух, а также трех слогов (dn|e «дня», den|0 «день»; sever|0 «север»; krahujec|0 «ястреб-перепелятник»); другие семы состоят из одного или двух слогов, очень часто из одной гласной, бывают также асиллабичными или аморфемными (proti «против»; žen|ami «женщинами»; kost|mi «костями»; nés|ti «нести», nés|t «нести»; žen|a «женщина» [-а означает, во-первых, форму номинатива, во-вторых, форму единственного числа]). Количество трехсложных, а также

двусложных семантем невелико, аморфемные семы очень распространены;

б) альтернация, которая — правда, лишь в исключительных случаях — используется функционально и тогда обязательно обозначает формему (vojāc|i «солдаты» — vojāk|i «солдат», střel|í «он выстрелит» — stříl|í «он стреляет»);

в) позиция большинства формем, которые следуют за семантемой. Однако существует также группа формальных слов (притяжательных суффиксов нет, часто встречаются союзы и предлоги) и приставок. Слово обычно включает только одну семантему, сложные слова встречаются очень редко. Кроме того, каждое слово в чешском языке, как уже указывалось, должно иметь как минимум одну формему;

г) использование порядка слов для выделения слов;

д) широко распространенная омосемия в формемах и ее весьма разнообразный характер (ср., например, формы род. п. ед. ч.: žen|y «женщины, жены́», duš|e «души́», pan|a «господина», dom|u «до́ма» и т. д.);

е) функциональное использование омосемии, которое играет в чешском языке весьма важную роль; любая форма множественного числа выражается омосемично;

ж) функциональное использование омонимии;

з) эксклюзивность, почти не знающая исключений (místo «место» или «вместо», být́i «существовать» или «существовать в качестве»).

Дифференциация эта весьма отчетлива.

Формемы в свою очередь можно разделить на формальные слова, приставки и суффиксы.

II. В группе суффиксов существует дифференциация между деривационными и флексионными семами:

а) Фонологическая структура, видимо, ей не присуща, так как здесь нет двусложных деривационных элементов.

б) Альтернации используются как во флексиях, так и в деривационных элементах (vojāc|i — vojāk|i, střel|í — stříl|í).

в) Флексионная сема всегда следует за деривационной. Флексионная сема необходима почти каждому семантемному слову (в том числе и местоимению). Количество деривационных сем в одном слове теоретически неограниченно (bezpeč|n|ost|n|í «предохранительный»), тогда как количество флексионных сем определяется твердыми правилами. Существительные всегда имеют 2 флексионные семы (число + падеж) (или даже три?: число + падеж + ?род), прилагательные — 3 семы (число + падеж + род), а иногда 4 или 5 (изменение по степеням сравнения), глаголы — 3 семы (лицо или род + число + время).

г) Омосемия наблюдается только в окончаниях (очень часто);

д) то же следует сказать и об использовании омосемии,

е) а также об омонимии;

ж) эксклюзивность не знает здесь исключений.

Следовательно, данная дифференциация весьма отчетлива.

III. В группе деривационных сем — как и в других языках — имеет место дифференциация между именными и глагольными семами, а также между деривационными семами существительных и прилагательных.

IV. Аналогичным образом обстоит дело и в отношении флексионных сем. Здесь большую роль играет, во-первых, отсутствие притяжательных суффиксов, во-вторых,— небольшое число отглагольных именных форм. В этом случае важна, кроме того, фонологическая эксклюзивность окончаний прилагательных и существительных. Таким образом, и эта последняя дифференциация очень отчетлива.

V. Временны́е и личные окончания дифференцированы друг от друга тем, что

а) семы лица флективны;

б) некоторые временны́е формы имеют второй, изолирующий набор;

в) сема лица следует за семой времени и семой наклонения.

Система времен в чешском языке сходна с соответствующей системой венгерского языка (система трех времен + редко используемый плюсквамперфект).

Система личных сем такая же, как и в других языках.

К именным семам окончаний относятся: 1) семы падежей, 2) семы числа, 3) семы рода. О системе падежных сем и сем рода в чешском языке мы уже говорили.

Так выглядят оппозиции суффиксальных сем. Имеются также наборы приставок и формальных слов.

VI. Дифференциации семантем глаголов, существительных, прилагательных и наречий весьма последовательны.

Б. Дифференциация между семой и морфемой наблюдается в семах окончаний. У существительных в одной морфеме всегда объединяются две (или три?) семы, у прилагательных и глаголов — три семы. Это имеет очень большое значение для других оппозиций.

В. Дифференциация морфем обусловлена предшествующей дифференциацией. В чешском языке имеются отчетливо выраженные морфемы окончаний, которые присоединяются к корневым и деривационным морфемам (семам). Существительное имеет всегда одну морфему окончания, прилагательное и глагол — одну или две.

Г. Дифференциация между морфемой и словом. Ее характеризуют:

а) фонологическая структура. Как и в других языках, граница слова всегда совпадает здесь с границей слога, тогда как стык морфем часто находится внутри слога: že-|n|a-mi «женщинами». У суффиксов стык морфем выражен только в исключительных случаях (например, kost|mi «костями»). Для приставок это правило вообще не действует: ot|tahovati «оттягивать», s|'-úžiti «сузить»;

б) альтернации наблюдаются почти исключительно внутри слов;

в) словесное клише очень отчетливо: семантема + (деривационная сема) + флексионная сема; так обстоит дело у всех семантемных слов;

г) место морфемы в слове строго фиксировано;

д) в каждом слове содержится одна семантема. Формальные слова очень распространены, напротив, сложные слова весьма редки;

е) классификация слов стабильна, ее нарушают только немногочисленные сложные слова;

ж) имеется одно главное ударение, исключение составляют некоторые энклитики; данная дифференциация выражена довольно отчетливо.

Д. Оппозиции слов.

I. Дифференциация семантических и формальных слов сходна с аналогичной дифференциацией в уже рассмотренных языках, однако в чешском она охарактеризована несколько отчетливее. Предлоги не имеют флексий. Некоторые формальные слова приобретают деривационные семы: zde|jší «здешний», před|ní «передний» и т. д.

II. Оппозиции семантемных слов сходны с аналогичными оппозициями в финском языке. Отглагольные именные формы встречаются редко.

Е. Дифференциация между словом и ремой еще более отчетлива, чем в финском языке.

Ж. Дифференциация между ремой и этимологической семьей весьма отчетлива. Сложные слова встречаются редко.

З. Дифференциации слов в сочетаниях носят весьма специальный характер.

И. Дифференциация между предложением и словом. Клише-предложения одинаковы в чешском и в финском языках.

К. Дифференциация между сложноподчиненным предложением и простым предложением очень развита, что связано с отчетливой дифференциацией между главным и придаточным предложениями.

Вообще можно сказать, что наиболее важной в чешском языке является очень ясная дифференциация между дерива-

ционными семами и семами окончаний. Благодаря ей чешский язык занимает своеобразное место среди рассматриваемых нами языков.

Наконец, попытаемся охарактеризовать турецкий язык.

А. Как и при рассмотрении других языков, начнем с оппозиций сем.

I. Дифференциация между семантемой и формемой. Ее характеризуют:

а) фонологическая структура семы. Семантемы состоят из одного, двух и трех слогов (bej «господин», balyq «рыба», jumurta «яйцо,-а»); состав формем колеблется от двусложных до аморфемных: sev|éʒek|sin «ты полюбишь», ok|újor| uz «мы читаем». Этот признак развит слабо. Трехсложные семантемы встречаются редко, тогда как односложные, напротив, очень часто;

б) сингармонизм, который наблюдается почти во всех суффиксах;

в) агглютинативное соединение формем с семантемой. Формальные слова, в первую очередь союзы, встречаются редко. Этот признак также имеет большое значение. В турецком языке, как мы уже указывали, семантемы могут соединяться последовательно с помощью морфем;

г) порядок слов, выполняющий синтаксические функции и редко используемый для выделения слов;

д) отсутствие омосемии у семантем; редкая встречаемость омосемии у формем: ok|újor|uz «мы читаем»— oku|du|k «мы читали»;

е) использование омосемии наблюдается только в 1-м лице глагола ok|újor|um «я читаю» — ok|újor|uz «мы читаем»;

ж) не очень отчетливое выражение омонимии. Она наблюдается в семантемах (сильная односложность): et «мясо», et- «делать» и в формемах : kul|u — аккузатив ед. ч. «раба» и «его раб» («servum», «eius servus»), kul|lar|y — аккузатив мн. ч. «рабов» и «его рабы» («servos», «eius servi»), «их раб», «их рабы» («eorum servus», «eorum servi»);

з) эксклюзивность. Имеются лишь немногие исключения: göre «с учетом»— gör|mek «видеть».

О дифференциации в целом следует сказать то же самое, что уже говорилось нами выше о турецком языке при рассмотрении венгерского языка. Признаки, которые используются для характеристики формальных элементов в их совокупности (сингармонизм, агглютинация), проявляются здесь довольно ярко, тогда как остальные признаки (омосемия, в том числе функциональная, и омонимия) — весьма слабо.

Формемы представлены двумя наборами: во-первых, суффиксами, во-вторых, формальными словами.

II. Для рассмотренных нами выше языков в группе формальных сем (суффиксов) отмечалась дифференциация между деривационными и флексионными семами. Существует ли она и в турецком языке? Как мы знаем, ее характеризует:

а) фонологическая структура. В обоих классах встречаются асиллабические, односложные и двусложны есемы: otur|t|mak «посадить», baba|m «мой отец», jol|daš «спутник», baba|sy «его отец», köjǯejiz «маленькая деревня», sev|meli|sin «ты должен любить» и т. д. Таким образом, признаков нет;

б) сингармонизм отсутствует только во флексионных семах sev|ijor|um «я люблю», alty|šar «по шесть». Однако такие исключения совершенно единичны;

в) комбинация сем. За семантемой следует деривационная сема, а за ней флексионная сема. Но весьма часто встречаются и противоположные случаи: ev|de|ki = οἰκεῖος «находящийся дома», ben|de|ki «тот, который у меня», ben|im|ki «мой, принадлежащий мне». Однако для глагола может быть отмечено словесное клише (как и в венгерском языке);

г, д, е) омосемия, ее использование, и омонимия, как уже указывалось выше, встречаются очень редко;

ж) взаимная эксклюзивность не знает исключений. Однако это мало чем может нам помочь.

Итак, мы можем сказать, что в турецком языке дифференциация между деривационными и флексионными семами представлена в очень скромных размерах.

III. Весьма неотчетлива также дифференциация именных и глагольных суффиксов. Она характеризуется:

а) эксклюзивностью фонологической структуры: sev|ijor|sun «ты любишь»— baba|n «твой отец»;

б) семантической эксклюзивностью, причем весьма потенциальной. Она встречается только у деривационных сем, а также у сем времени и наклонения.

IV. По-видимому, лишь для немногих производных слов можно зафиксировать дифференциацию между суффиксами прилагательных и существительных.

V. Глагольные суффиксы классифицируются так же, как и в венгерском языке. Большой интерес представляет богатая система времен и наклонений.

VI. К суффиксам имени, помимо деривационных сем, относятся также, во-первых, притяжательные семы и, во-вторых, суффиксы множественного числа и падежа. Между ними такое же соотношение, как в венгерском и финском языках.

О системе падежей в турецком языке уже говорилось выше.

Помимо суффиксов, в турецком имеется второй набор формем—формальные слова, но их меньше, чем в других языках.

VII. Дифференциации между семантемами имени и глагола, насколько нам известно, не знают исключений. Зато существительные и прилагательные часто совпадают. Это относится также и к дифференциации прилагательных и наречий.

Б. Дифференциация между морфемой и семой в турецком языке выражена весьма слабо. Она встречается только в 1-м лице.

В. Дифференциацию между морфемой (семой) и словом характеризуют следующие признаки:

а) граница слова всегда считается также границей слога, тогда как стык морфем с границей слога часто не совпадает: baba|m. Стык морфем во многих случаях выражается фонологически, ср. pekmez|ǯi «специалист по варке бекмеса»;

б) сингармонизм;

в) наличие словесного клише только у глагола;

г) возможность менять местами морфемы в слове: ben|im|de|ki «мой, находящийся у меня»— ben|de|ki|nin род. п. «находящегося у меня»;

д) наличие в одном слове только одной семантемы. Это очень важный признак. Формальные слова встречаются довольно редко;

е) стабильная классификация слов. Сложные слова редки;

ж) наличие одного ударения в слове. Энклитики встречаются редко: bén|de «у меня».

Эта дифференциация очень важна для турецкого языка.

Г. Оппозиции слов.

I. Дифференциация формальных и семантических слов.

а) Относительно корневой семы ср. сказанное о дифференциациях сем.

б) Семантемы, местоимения и некоторые послелоги могут иметь флексию.

II. Между оппозициями семантемных слов в турецком и венгерском языках много общего. Часто встречаются именное предложение и именные отглагольные формы.

Д. Дифференциация между словом и ремой.

Дифференциация между деривационными и флексионными семами в турецком языке весьма неотчетлива, в связи с чем роль этой дифференциации весьма невелика.

Е. Дифференциация между ремой (словом) и этимологической семьей очень важна. Сложные слова встречаются редко.

Ж. Дифференциации слов в словосочетаниях носят общий характер. Самой важной является дифференциация между управляющим словом и управляемым (Regens : Rectum). Дифференциации между подлежащим и сказуемым и т. д. не играют здесь такой роли, как в других языках.

З. Дифференциация между словом и предложением.

Клише-предложения в турецком и венгерском языках сходны: имя + глагол или имя, глагол + окончание. Важным признаком является также устойчивый порядок слов.

И. Дифференциация между простым и сложноподчиненным предложением в турецком языке развита слабо, поскольку придаточные предложения встречаются редко.

Таким образом, в турецком языке большинство оппозиций выражено слабо, значительно слабее, чем в трех других интересующих нас языках.

Примерно так выглядят грамматические системы четырех рассмотренных нами языков. Конечно, они не охватывают всего того, что имеется в каждом языке, однако мы полагаем, что полный охват вполне возможен.

Четыре охарактеризованных нами языка имеют в известной степени одинаковый грамматический строй. Несмотря на это, их сопоставление дает много интересного. В самом начале работы нами было высказано утверждение, что все языки следует рассматривать как различные решения одной и той же проблемы. Рассмотрение отдельных языков подтвердило это. Для описания всех четырех языков мы смогли воспользоваться приблизительно одними и теми же оппозициями. Почти всегда различие заключалось в степени последовательности и потенциальности оппозиции. Например, дифференциация между семой и морфемой сильно развита в чешском языке, слабее — в финском и венгерском и совсем слабо (однако она существует)— в турецком. Большинство оппозиций известно в той или иной степени всем языкам. Следовательно, они не случайны, а обусловлены во всех языках аналогичными причинами. Соотношение язык : речь (langue : langage) носит в первую очередь количественный характер.

Именно с этих позиций мы попытаемся определить место венгерского языка среди других языков. Мы уже говорили выше, что установление языковых типов требует изучения грамматических законов. Чем яснее и строже эти законы, тем яснее и языковые типы. Если структурные законы не оказывают заметного влияния, то и сами типы иллюзорны.

При рассмотрении дифференциаций мы показали, что различные признаки дифференциаций и сами дифференциации благоприятно влияют друг на друга. Так, например, чем отчетливее дифференциация между деривационной и флексионной семами, тем отчетливее и многие другие дифференциации, скажем, между семой и морфемой, между морфемой и словом, а также оппозиции слов, слова и предложения и т. д. На основании этого мы могли бы охарактеризовать чешский язык

как язык с сильно развитыми дифференциациями, а турецкий считать языком со слаборазвитыми дифференциациями. На промежуточной ступени оказались бы финский (стоящий ближе к чешскому) и венгерский (ближе к турецкому). Все это, естественно, справедливо лишь в самых общих чертах. Мы видели также, что существуют и неблагоприятные друг для друга дифференциации и признаки дифференциаций.

В фонологии были установлены два следующих вида соотношений между фонологическими корреляциями (Якобсон, а, стр. 17):

1. Если существует а, то существует и b, в соответствии с этим если нет b, то нет и а.

2. Если существует а, то b не существует, или: если существует b, то не существует а.

Относительно грамматических дифференциаций, в которых преобладает потенциальность, мы не можем делать столь определенных утверждений. Здесь действуют только правила:

1. а благоприятно для b; обычно b также благоприятно для а;

2. а неблагоприятно для b, соответственно и b неблагоприятно для а.

Вероятно, в любом языке существует отчетливо выраженная дифференциация между семантемами и формемами. Видимо, ее не было в языке наших предков, нет ее и в языке детей. В известном отношении к такому состоянию близки языки, которые называются изолирующими (или, может быть, их правильнее было бы назвать, как это сделал Мериджи, группирующими).

Мы уже видели, что эта дифференциация обладает двумя видами признаков. Сильная агглютинация (как, например, в турецком языке) тесно связана с фонологическими свойствами формем. Здесь нет условий для существования сильно укороченных сем, так как они не могут присоединяться к слову в большом количестве. С этим связана большая самостоятельность слога. Для слоговых сем в семиологическом отношении важнее всего согласные. Сингармонизм не воспринимается здесь как нечто чужеродное, в нем нет и особой необходимости. Вместо сингармоничного гласного звука может встречаться и «шва», что имеет место, например, в калмыцком языке (ср. Котвич, стр. 8). Проявляющаяся в этом направлении тенденция не может привести к полной ликвидации гласных, то есть к потере слогом его самостоятельности. Там, где указанный звук встречается (в редких случаях — в калмыцком, несколько чаще — в эстонском языке), проявляется в то же время и противоположная тенденция. Кроме того, мы не можем

ожидать здесь сколько-нибудь значительной омонимии. Наконец, при сильно развитой агглютинации система аффиксов оказывается настолько многообразной и сложной, что омосемия была бы серьезной помехой. Поэтому использование омосемии также нежелательно. При самостоятельности слога альтернации встречаются редко (за исключением сингармоничных гласных). То же относится и к использованию альтернаций — внутренней флексии.

Напротив, в языке, где агглютинация развита слабее, нередко встречаются и сильно укороченные семы (без самостоятельных слогов); так обстоит дело, например, в чешском языке. Гласные получают большую функциональную нагрузку, так что нет возможности и для сингармонизма. При краткости сем омонимия является неизбежной. Весьма просты системы окончаний — в данном случае не вредят ни омонимия, ни омосемия, ни использование омосемии. Очень распространены альтернации, и возможности для их использования налицо.

Последнее явление, даже там, где оно встречается, не выходит обычно за определенные границы. Оно мало распространено в финском и в чешском языках, но более свойственно эстонскому, ливскому и лапландскому, а также германским языкам.

По вполне понятным причинам при внутренней флексии существенную роль могут играть только гласные. Кроме того, широкое использование внутренней флексии возможно только в семантемах, которые обычно длиннее других единиц языка. Подобным же образом можно сформулировать еще немало важных правил. По нашему мнению, отмеченные явления можно рассматривать как весьма оригинальную комбинацию, однако исследование языков, в которых они встречаются (семитские языки), выходит за рамки настоящей работы.

Дифференциация между деривационными и флексионными семами связана с признаками предшествующей дифференциации.

При сильно развитой агглютинации в некоторых случаях можно присоединять деривационные семы к семам флексионным. Невозможность такого присоединения является важным признаком для дифференциации этих групп сем. Там, где этот признак существует, агглютинация ослаблена. Еще больше она ослабляется в результате того, что семы окончаний могут присоединяться к слову лишь в ограниченном количестве. Самостоятельность слога также неблагоприятно влияет на фонологически охарактеризованные, до предела укороченные флексионные семы. Системы деривационных сем весьма многообразны, следовательно, омонимия и омосемия здесь невозможны. Там же, где развиты омонимия и омосемия, они являются

важным признаком разграничения деривационных и флексионных сем.

Таким образом, мы опять-таки можем отметить некое размежевание явлений: сильно развитая агглютинация и родственные ей явления неблагоприятны для данной дифференциации; с ней, напротив, часто связаны омонимия и омосемия.

То же относится и к дифференциациям между флексиями глаголов, существительных и прилагательных. Только при незначительной агглютинации возможен такой признак дифференциации, который имеет место в чешск. moje víra «моя вера» — věří|m «я верю» (изоляция — агглютинация), ср. финск. usko|ni «моя вера» — usko|n «я верю». Эти дифференциации существуют даже при сильной агглютинации, однако здесь они не так хорошо развиты, как в других языках (в турецком, корейском). Дифференциация семы и морфемы обусловливается использованной омосемией или альтернацией, иными словами, она опять-таки связана со вторым рядом явлений. Благодаря ей становятся возможными другие дифференциации, а именно дифференциации морфем.

Степень дифференциации между морфемой и словом зависит от интенсивности агглютинации. Напротив, ее отчетливость связана с дифференциацией между деривационными и флексионными семами, иными словами, со слабым развитием агглютинации.

Словесное клише обусловливается необходимостью присоединения окончания. На основании вышесказанного ясно, что при этом часто используется также сингармонизм.

Степень дифференциации формальных и семантических слов связана со слабой агглютинацией. Собственно говоря, эта дифференциация представляет собой лишь часть дифференциации между семантемой и формемой.

Оппозиции семантических слов связаны с дифференциациями сем окончаний.

Организация слов в ремы обусловливается дифференциацией деривационных и флексионных сем.

Организация слов и рем в этимологические семьи связана с дифференциацией между морфемой и словом.

Дифференциации слов в словосочетаниях, как уже отмечалось выше, тесно связаны с другими дифференциациями.

Дифференциацию между словом и предложением характеризует клише-предложение, которое зависит от оппозиции слов (глагол : имя).

Дифференциация между сложноподчиненным и простым предложением предполагает слабую агглютинацию. Благодаря ей отчетливее выражается оппозиция глагол : имя.

Мы надеемся, что нам удалось доказать, что грамматические оппозиции отнюдь не случайны, а тесно связаны друг с другом. На основе четырех рассмотренных нами языков мы можем установить в первую очередь два вида комбинаций грамматических явлений.

1. Развитая агглютинация, отсутствие сильно укороченных сем, слоговая самостоятельность сем, возможность сингармонизма, отсутствие (или незначительная распространенность) омосемии и омонимии, отсутствие флексий, отчетливая дифференциация между деривационными и флексионными семами, слабая дифференциация глагольных и именных флексий, отсутствие дифференциации между семой и морфемой, а следовательно, и между морфемами, «высокая» по степени, но мало отчетливая дифференциация между морфемой и словом, неотчетливая дифференциация между словами в словаре, преобладание в словосочетании дифференциаций общего характера, менее прочное клише-предложение, отсутствие или незначительность дифференциации между сложноподчиненным и простым предложениями, а также между главным и придаточным предложениями.

2. Незначительная агглютинация, возможность сильно укороченных сем, ослабленная слоговая самостоятельность сем, частая омонимия и омосемия, флексия, сильная дифференциация деривационных и флексионных сем, отчетливая дифференциация сем глагольных и именных окончаний, «высокая» по степени дифференциация сема : морфема, самостоятельные дифференциации морфем, менее «высокая» по степени, но очень отчетливая дифференциация морфема : слово, отчетливые дифференциации слов в словаре, специализированные дифференциации слов в словосочетании, твердое клише-предложение, развитые дифференциации между сложноподчиненным и простым предложениями, а также между главным и придаточным предложениями.

До сих пор мы ничего не говорили о полисинтетизме и его значении в системах четырех рассмотренных нами языков. Полисинтетизм, подобно изоляции, ни в одном языке не может переходить определенные границы. Крайним случаем было бы исчезновение дифференциации слово : предложение (а при изоляции — дифференциаций между морфемами, между семой и словом), в результате перестали бы существовать слово, полисинтетизм и изоляция. В подобном языке обнаруживалась бы только одна дифференциация, а именно между морфемой (семой) и предложением.

Рассмотренные нами языки не пошли столь далеко. Полисинтетизм — явление редкое в чешском и турецком языках,

но довольно частое в венгерском языке, а для финского языка он играет очень большую роль. Во всех четырех языках полисинтетизм встречается только в сложных именах (очень редко у глаголов).

Полисинтетизм ведет к уменьшению дифференциации между семантемой и морфемой. Он допускает как сильную, так и слабую агглютинацию. Очень часто этот способ выражения используется там, где в других языках употребляются производные слова, ср. isän|maa, Saksan|maa, нем. Vaterland, Deutschland, чешск. otč|ina, Němec|ko (вновь уменьшение агглютинации). Необходимо также указать, что вследствие полисинтетизма становится менее отчетливой и дифференциация между морфемой и словом. Другие дифференциации для полисинтетизма безразличны. Это совпадает с фактическим положением вещей. Языки с частыми явлениями полисинтетизма имеют иногда совершенно неодинаковый грамматический строй, например финский, эстонский, венгерский, японский. То же самое относится и к языкам со слаборазвитым полисинтетизмом, например к чешскому, турецкому, французскому, арабскому и т. д. Языки с частым полисинтетизмом нередко обладают весьма различной грамматической структурой. Подобная свобода, по-видимому, возможна все же лишь в определенных, правда весьма широких границах, что можно было бы проверить по некоторым американским языкам. Благодаря этому мы рассматриваем полисинтетизм как самостоятельную комбинацию явлений.

Представителем одной комбинации является турецкий язык, а представителем другой — чешский. Первую комбинацию, пользуясь старым термином, можно назвать агглютинирующим языковым типом, а вторую — флективным языковым типом.

Теперь необходимо определить место финского и венгерского языков. Они находятся на своего рода промежуточной ступени между обоими типами. Однако и в этих языках нет ничего произвольного, а существуют определенные закономерности. В финском и венгерском языках представлены, хотя и в слабой форме, все специфические особенности обоих типов. Финский язык больше приближается к чешскому, а венгерский — к турецкому языку. Дифференциации в финском языке носят скорее «флективный», а в венгерском — скорее «агглютинативный» характер.

Необходимо упомянуть также и о некоторых специфических явлениях. В финском языке к их числу относятся часто встречающиеся сложные слова, которые, по-видимому, следует рассматривать в связи с соседними германскими языками.

В венгерском языке также много сложных слов, но они не играют в нем такой роли, как в финском языке. Вместе с тем венгерский язык занимает особое место благодаря своим отделяемым аффиксам (часть из них приставки). В остальном венгерский язык находится на промежуточной ступени между турецким и финским языками. В нем комбинируются три типа: во-первых, агглютинативный, во-вторых, флективный и, в-третьих, полисинтетический. Противоположность между двумя первыми типами — это противоположность между именем и глаголом.

Следовательно, тип представляет собой редко (а может быть, и никогда) не реализуемый крайний случай, где благоприятные друг для друга явления развиты наиболее полно. Языки с не выраженным отчетливо типом отнюдь не являются смешанными или мнеее чистыми, они обладают своей системой. Вытеснение явлений одной комбинации делает возможным возникновение другой комбинации.

В заключение укажем еще два раздела структурной грамматики, а именно территориальное распределение и историю грамматических форм.

Соотношение географии и лингвистики можно исследовать в двух сферах:

1. В сфере диалектов одного и того же языка или нескольких генеалогически родственных языков.

2. В сфере генеалогически отдаленных языков.

Грамматика значительно консервативнее фонологии. Например, финно-угорские или славянские языки имеют различную фонологию, но сходную грамматику. Венгерская фонология более похожа на чешскую, чем на мордовскую, которая со своей стороны очень близка русской. Напротив, грамматика в обоих финно-угорских и славянских языках осталась сходной.

Из этого следует, что диалектология не может дать грамматике ничего существенного.

В фонологии, в меньшей степени также и в грамматике, было показано, что соседние по географическому положению языки очень часто подвергаются сходным изменениям. В этом плане говорилось о языках со сходными фонологическими тенденциями и о фонологических языковых союзах. Причины этих явлений до сих пор недостаточно выяснены. В данном случае было бы преждевременно (ср. Трубецкой, в, стр. 233 и сл.) довольствоваться объяснениями общего характера, например теорией субстрата или «влиянием» одного языка на другой.

Нечто подобное справедливо и для грамматики. Однако серьезным препятствием является ее консерватизм, о чем уже

упоминалось выше, поэтому результаты здесь менее ощутимы, чем в фонологии. Иногда мы даже не можем сказать, что представляет собой то или иное явление — инновацию или архаизм.

Наиболее известным языковым союзом является балканский. Давно уже известен факт, что так называемые балканские языки имеют много общего и в области грамматики.

Известно также, что поразительный параллелизм в развитии наблюдается и в некоторых западноевропейских языках.

На востоке Европы и на севере Азии находится евразийский языковой союз (ср. Якобсон, б). Главными его представителями являются урало-алтайские языки. Давно известно, что в грамматическом плане урало-алтайские языки весьма близки друг другу. Это относится и к тем урало-алтайским языкам, которые давно уже находятся за пределами евразийского языкового союза,— к финскому и венгерскому языкам. Г. Винклер с неутомимым прилежанием собрал в своей работе характерные признаки этих языков, однако лишь ради доказательства их генеалогической близости. Как известно, эти языки принадлежат к агглютинирующему типу или очень близки к нему. Для агглютинирующего типа характерна также слабая оппозиция имя : глагол. Интересно отметить, что и в русском языке заметна тенденция к такому состоянию.

Тенденцию эту можно усмотреть в следующем:

1. В существовании именного предложения.

2. В употреблении именного предложения вместо глагола «иметь».

3. В исчезновении вокатива как самостоятельного падежа. В связи с этим утрачивается своеобразие вокативного предложения (сохраняющееся, например, в чешском языке), которое очень похоже на другие именные предложения. Ясно, что все это говорит о принадлежности к евразийскому языковому союзу (ср. Готьё, стр. 25; Скаличка, б, стр. 273).

Указанные явления представляют собой инновацию в русском языке, они не известны другим славянским языкам. Вокатив исчезает еще только в словацком, в чем, по-видимому, можно усмотреть влияние соседнего венгерского языка. Словацкий язык по сравнению с чешским ближе к венгерскому благодаря большей «правильности» (ср. «Краткий очерк грамматики словацкого языка» Новака, стр. 14), то есть благодаря более слабой омосемии и омонимии.

Предпринимались также попытки доказать, что чешский и венгерский языки имеют одинаковые фонологические тенденции. То же самое можно наблюдать и в грамматике, в частности в тенденции к оформлению системы трех времен (ср. Скаличка, в).

На севере Европы находится так называемый балтийский языковой союз (Я к о б с о н, б, стр. 234), для которого характерен политонизм. Близко от области политонизма расположена область значительного распространения полисинтетизма (то есть сложных слов). Сюда относится лапландский, балто-финские и германские языки. В соседних с ними европейских языках сложные слова встречаются очень редко. Весьма распространены они только в венгерском языке, однако в нем они не играют такой роли, как, например, в финском или немецком языках.

Интересно отметить также, что полисинтетизм можно наблюдать, иногда в еще более развитой форме, в соседствующих областях других стран света (например, в языках американских индейцев — алгонкинском, ирокезском и т. д., однако не в эскимосском!), затем в азиатских языках (в языках чукчей, коряков, камчадалов; ср. Б о г о р а з, стр. 826—833). Уже указывалось на то (Я к о б с о н, б, стр. 238), что эти языки не принадлежат к евразийским языкам. Это предположение получает здесь новое подтверждение. Таким образом, евразийский языковой союз граничит с полисинтетическими языками в двух областях: в районе Ладожского озера и на Дальнем Востоке. Следовательно, обе языковые группы опоясывают весь мир.

Другой задачей грамматики является изучение ее истории. Мы надеемся, что и в этой области структурная грамматика сумеет дать много нового. У типологической школы имеются различные воззрения на развитие языков. Г. Винклер отрицает развитие языков. По его мнению, строй языка в принципе не меняется, так что при сходстве языкового строя возможно и генеалогическое родство. Согласно другой теории, язык развивается от примитивной изолирующей стадии к агглютинации и, наконец, к флективному строю. Современные изолирующие и агглютинирующие языки — это якобы остатки примитивной стадии. Согласно еще одной теории, флективный строй языка «вырождается» (Шлейхер) или «рационализируется» (Есперсен, Роше) в изолирующий. По мнению фон Габеленца, языковое развитие направляется двумя могучими силами: стремлением к удобству и стремлением к ясности. В связи с этим язык развивается по спирали от изоляции к агглютинации, флексии, а затем опять к изоляции и т. д. Такая точка зрения могла бы объяснить и действительно объясняет почти все из того немногого, что нам известно о грамматическом развитии отдельных языков. Однако данная идея в целом слишком априорна и теоретически мало обоснована. Историческая грамматика должна начать с самого начала, то есть с развития

языка. Задача эта очень трудная, ибо, как известно, в языках на протяжении многих столетий часто не происходит существенных грамматических изменений.

В группе угро-финских языков большой интерес представляет, например, эстонский язык. Его грамматический строй очень похож на строй родственного ему финского языка. Однако в нем наблюдаются важные изменения в тех случаях, где финский язык сохраняет первоначальное состояние. Укажем на следующие моменты:

1. В связи со звуковыми изменениями в эстонском языке значительно возросла омосемия. Например, партитив имеет окончания -da, -t, -d; иллатив — -sse, -de, -h + гласный; множественное число получает в системе склонения -de и т. д. или все эти формы могут быть также флективными.

2. Аблаут морфологизован и, таким образом, возникает внутренняя флексия. Финскому poika, poja|n, poikaa, poikaan (ном., ген., парт., илл. слова «мальчик») в эстонском языке соответствует poeg, poja, poega (парт. и илл.).

3. Формемы часто утрачивают слоговую самостоятельность. Например, финским падежным окончаниям -sta, -lta, -ksi в эстонском языке соответствуют -st, -lt, -ks.

4. Притяжательные личные суффиксы отпадают. Финским формам poikani «мой мальчик», poikasi «твой мальчик» в эстонском соответствуют minu poeg, sinu poeg.

Следовательно, все развитие идет в направлении флективного типа.

Мы уже упоминали об аналогичной картине в развитии русского языка.

Примерно так мы представляем себе грамматическую систему. Конечно, у грамматики далеко еще нет той точности, которая присуща фонологии. Можно еще только говорить о первых попытках в изучении отдельных вопросов. Точный метод требует знания как можно большего числа языков, а также глубокого понимания тонкостей отдельного языка, а это уже выходит за рамки возможностей одного человека. Однако я надеюсь, что данная работа в известной степени поможет лучше понять принципы структурной грамматики. Во всяком случае, и через 40 лет мы можем повторить слова Георга фон Габеленца: типология языков является новой задачей лингвистики.

Замечания о терминологии. В своей работе я старался пользоваться только такими грамматическими терминами, которые называют действительно существующие, живые факты языка. Автономностью каждого языка обусловливается тот факт, что нечто, действительное для одного языка, отнюдь не является обязательным для другого языка, другими

словами, грамматические термины имеют различную значимость в разных языках, как мы это видели на примере термина «слово». Значение слова «суффикс» не одинаково в языке, обладающем приставками (чешский и венгерский языки), и в языке, не знающем приставок. Мы пользуемся тем же самым словом «суффикс» лишь по той причине, что в противном случае терминология расширилась бы до бесконечности. С такими оговорками я позволил себе воспользоваться следующими новыми терминами или такими терминами, в которые вложено новое содержание.

Семема — любая грамматическая единица (сема, морфема, слово и т. д.).

Сема — грамматический элемент.

Формема — единица, противопоставленная семантеме (очень часто называемая «морфемой»).

Изоляция — связь двух сем в двух словах.

Агглютинация — соединение в одном слове двух сем, из которых по крайней мере одна является формальным элементом.

Полисинтетизм — соединение двух семантем в одном слове.

Флексия — соединение двух сем в одной морфеме.

Морфема — комбинация сем, которая выражается непосредственно или с помощью других морфем непрерывной цепочкой фонем.

Омосемия — выражение одной и той же семемы различными фонологическими средствами, дополняющими друг друга как комбинаторные варианты.

Словесное клише и клише-предложение — устойчивая схема (модель) слова или предложения, которую можно использовать для любого слова (предложения) или для любого слова (предложения) определенной группы.

Рема — система слов с одинаковыми деривационными, но с разными флексионными семами.

Оппозиция — отношение между двумя семемами или двумя группами сем.

Дифференциация — оппозиция двух непарных групп сем.

Корреляция — оппозиция двух групп сем, соединяющихся посредством одной семы.

Реляция — оппозиция двух сем, родственных в концептуальном отношении.

Тип — предельное состояние, при котором благоприятные друг для друга явления развиты наиболее полно.

ЛИТЕРАТУРА

L. Bloomfield, Language, New York, 1933.

W. Bogoraz, Chukchee, Handbook of American Indian languages by Franz Boas, part 2.

H. Delacroix, L'analyse psychologique de la fonction linguistique, Oxford, 1926.
F. Finck, a) Das angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs, KZ, 41.
б) Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig — Berlin, 1923.
P. Gauthiot, La phrase nominale en finno-ougrien, Sonderabdruck, MSLP, 15.
L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Kopenhagen, 1928.
Horger, A nyelvtudomány alapelvei, изд. 2-е, Budapest, 1926.
W. Horn, Sprachkörper und Sprachfunktion, Palaestra, 135.
R. Jakobson, a) Remarques sur l'évolution phonologique du russe, TCLP, 2.
б) Über die phonologischen Sprachbünde, TCLP, 4.
F. Junker, Die allgemeine und die indogermanische Sprachwissenschaft. Festschrift für Streitberg, Heidelberg, 1924.
S. Karcevskij, Sur la phonologie de la phrase, TCLP, 4.
W. Kotvič, Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка, Прага, 1929.
E. Lewy, Kurze Betrachtung der ungarischen Sprache, «Ung. Jb.», IV.
V. Mathesius, O potenciálnosti jevů jazykových, «Věstník Král. České Spol. Nauk, tř. hist.», 1911 [см. наст. сб., стр. 42—69].
A. Meillet — M. Cohen, Les langues du monde, Paris, 1924.
L'. Novák, Fonologia a štúdium slovenčiny, Turč. Sv. Martin, 1934.
W. Porzig, Aufgaben der indogermanischen Syntax. Festschrift für Streitberg, Heidelberg, 1924.
F. Oberpfalzer, Jazykozpyt, Praha, 1932.
«Projet du terminologie phonologique standardisée», TCLP, 4.
E. Sapir, Language, New York, 1921. [Русск. перев. Э. Сепир, Язык, 1933].
E. N. Setälä, Kielisukulaisuus ja rotu, «Suomen suku», I.
Simonyi, Die ungarische Sprache, Geschichte und Charakteristik, Straßburg, 1907.
V. Skalička, a) Zur Phonologie der finnischen Schriftsprache, «Archiv Orientální», V.
б) Zur Charakteristik des eurasischen Sprachbundes, «Archiv Orientální», VI.
в) Zur mitteleuropäischen Phonologie, ČMF, 1935 [см. наст. сб., стр. 84—87].
F. Slotty, Wortart und Wortsinn, TCLP, 1.
B. Trnka, Some thoughts on structural morphology, «Charisteria Guilelmo Mathesio», Pragae, 1932 [см. наст. сб., стр. 266 — 271].
N. Trubetzkoy, a) Sur la morphonologie, TCLP, 1; б) Gedanken über Morphonologie, TCLP, 4 [см. наст. сб., стр. 115—118].
в) Phonologie und Sprachgeographie, TCLP, 4.
L. Weißgerber, Muttersprache und Geistesbildung, Göttingen, 1929.

В. Матезиус

ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ТЕОРИИ СТРУКТУРНОЙ ГРАММАТИКИ *

Когда я десять лет назад пытался дать теоретическое обоснование новому пониманию научной грамматики, я использовал при этом свой многолетний опыт, в результате которого мною были сформулированы четыре общих принципа, изложенные прежде всего в статье «Lingvistická charakteristika a její místo v moderním jazykozpytu» («Časopis pro moderní filologii», XIII, 1927, стр. 35 и сл.) и затем в трактате «New currents and tendencies in linguistic research» (MNHMA — сборник, изданный в честь проф. Й. Зубатого, 1926, стр. 188 и сл.). Для меня было очевидно следующее: к правильному научному анализу конкретного языка можно прийти только на статической (синхронной) основе, то есть в результате всестороннего анализа языка на данном временно́м отрезке; при этом необходимо использовать методы аналитического сравнения, т. е. проводить сравнение языков без учета их генетического родства, направленное на то, чтобы отчетливо выявились существенные черты исследуемого языка; подобное аналитическое сравнение можно эффективно производить только с функциональной точки зрения, то есть исходя из общих потребностей выражения и выясняя способ, при помощи которого отдельные языки, каждый по-своему, удовлетворяют эти общие потребности; наконец, анализ языка, основывающийся на этих принципах и производимый такими методами, должен быть направлен на определение причинных связей между отдельными сосуществующими явлениями одного и того же языка. Эти принципы остались в силе и после того, как они были обогащены систематически разработанным структуральным пониманием, то есть уверенностью в том, что отдельные сосуществующие явления одного и того же языка связаны друг с другом как члены системы. Структурализм завершил теоретическое обоснование нового понимания лингвистики, и наступило время систематической работы по проведению его в жизнь. Закономерно, что прежде всего системати-

* Vilém Mathesius, Pokus o teorii strukturální mluvnice, SaS, R. II, č. 1, 1936, стр. 47—54. Речь идет о работе Скалички «О грамматике венгерского языка», см стр. 128—195 наст. сб.— *Прим. ред.*

ческой разработке новыми методами подверглась фонетическая сторона языка, и соответствующий раздел новой лингвистики, фонология, в данное время занимает уже прочное место в научных интересах лингвистов разных стран. О быстром росте специальной фонологической литературы ярко свидетельствует второй библиографический бюллетень Международного общества фонологических исследований, вышедший в конце прошлого года в качестве приложения к первой книжке двадцать второго тома журнала «Časopis pro moderní filologii». В бюллетене имеется особый отдел со списком новых работ по исторической фонологии, ибо структурная лингвистика, хотя и считает своей самой важной задачей разрешение синхронных проблем, которыми последовательно даже в области фонетики пренебрегала школа младограмматиков, все же хорошо осознает, что всестороннее научное исследование языка возможно лишь на основе комбинации синхронного и диахронного методов. Это было совершенно определенно провозглашено уже в рабочей программе по структурной лингвистике, предложенной Пражским лингвистическим кружком в 1929 г. I съезду славистов. (Съезд состоялся в Праге; программа напечатана во французском переводе в сб. «Travaux du Cercle linguistique de Prague», т. 1, Прага, 1929, стр. 7—29.) Из этой программы, однако, также явствует, что фонология включает в себя едва ли не половину проблем, стоящих перед структурной лингвистикой, и что предстоит огромная работа не только по изучению фонетической стороны языка, но в еще большем объеме по исследованию слова и словосочетаний. В этой второй части структурной лингвистики сделано пока еще очень мало. Поэтому следует приветствовать тот факт, что молодой чешский финно-угровед Владимир Скаличка в книге «Zur ungarischen Grammatik» (Filosofická fakulta Karlovy university v Praze. Práce z vědeckých ústavů, sv. XXXIX, 1935, стр. 1—68) на продуманной теоретической основе и на материале, почерпнутом из венгерского, финского, турецкого и чешского языков, попытался построить структурную грамматику. Его работа в плане грамматическом (то есть формативном — в противоположность плану семантическому) в общих чертах соответствует тому, что понимается под исследованием слова и словосочетания в программе структурной лингвистики, выработанной Пражским лингвистическим кружком.

То обстоятельство, что попытка создания систематизированной структурной грамматики возникла на базе финноугроведения, не является случайным. Уже несколько лет назад я обращал внимание на то, что неиндоевропейское языкозна-

ние, не имея под рукой векового, если не тысячелетнего материала по истории языков, какой имеется в распоряжении индоевропейского языкознания, и будучи поэтому гораздо менее обремененным историческими проблемами, издавна уделяло гораздо большее внимание синхронному анализу языка. Это наглядно проявляется в разном характере глав, посвященных языкам индоевропейским и языкам неиндоевропейским в обобщающем труде «Les langues du monde», вышедшем в Париже (1924) под редакцией А. Мейе и М. Коэна. Именно в связи с этим в исследованиях неиндоевропейских языков было накоплено немало материала и идей, на которые можно опереться при создании структурной грамматики. Это характерно прежде всего для так называемого типологического направления, широко представленного в урало-алтайской лингвистике. Критикуя указанное направление, Скаличка в самом начале книги (см.стр. 129—130*) разъясняет собственные цели и собственный метод. Он упрекает прежнюю лингвистическую типологию в том, что она устанавливает незначительное количество чистых типов и стремится совместить типологическое родство с генеалогической близостью. Однако совершенно отвергать результаты работы этого направления нельзя даже и по мнению Скалички. Справедливо, что каждый язык представляет собой индивидуальную систему, но число таких возможных систем ограничено в грамматике, равно как и в фонологии, числом возможных комбинаций отдельных признаков. И если в фонологии за тип принимаются комбинации, связывающие определенные структурные возможности, то что-то подобное имеет место и в грамматике. Тип в таком понимании все же гораздо более сложен, нежели тип в старом типологическом представлении. В конце своей книги автор на основе полученных результатов еще раз возвращается к проблеме лингвистического типа (стр. 189 и сл.). Тип для него является крайностью, которая реализуется лишь изредка или не реализуется вообще и в которой наиболее развиты взаимосвязанные языковые явления. Языки, не обладающие наглядным лингвистическим типом, отнюдь не являются смешанными или не совсем чистыми, они в той же степени системны, как и языки с явно выраженным лингвистическим типом. Дело в том, что оттесненное на задний план явление одной комбинации делает возможным наличие в нем явлений другой комбинации.

Скаличка, как это с очевидностью вытекает из его структуральной точки зрения, строит свою систему грамматики на синхронном принципе, используя исключительно аналитическое

* Здесь и далее ссылки даны на страницы наст. сб. — *Прим. ред.*

сравнение анализируемых языков. Функциональный подход определяется тем, что он рассматривает все языки как различное решение одних и тех же проблем. Это определение, приведенное, например, на стр. 184, все-таки не вполне отчетливо и наполняется конкретным содержанием только в связи с проводимым анализом языка. Для меня (в предшествующих работах) основная проблема научного анализа языка заключалась в определении способа, посредством которого исследуемый язык отвечает двум основным потребностям выражения, то есть тому, как в языке реализуются языковая номинация и языковое соотнесение, и лишь на основе этого я пытался исследовать совокупность средств выражения как систему. На основе таких воззрений мною были построены также главы, касающиеся исследований слов и словосочетаний в программе структурной лингвистики, выработанной в 1929 г. Пражским лингвистическим кружком. Это явный переход от речи как непосредственно данного к языку как к чему-то такому, что хотя и обладает идеальным бытием, но познается лишь вторично, или при встрече с отклонениями от нормы, или при систематическом и абстрагирующем научном анализе. Скаличке — на это указывает вся его прежняя научная деятельность и особенно разбираемая книга — свойственна некоторая абстрактность, и свое исследование он начинает непосредственно с языка, с разбора языковой системы. С речью он соприкасается через дескриптивную грамматику, которая, по его мнению, является для структурной грамматики столь же необходимой основой, как фонетика для фонологии. Однако его интересы, целиком сосредоточенные на системе, не позволяют ему досконально исследовать полноту и достоверность фактов, содержащихся в ней. Каждый из показанных здесь методов исследования имеет свою базу (оба они существуют в соответствии с принципами функциональной и структурной лингвистики), свои достоинства и недостатки. Скаличка в ходе своего исследования вводит несколько важных общих понятий и сталкивается с многочисленными интересными проблемами, обусловленными системой. Он создает, базируясь прежде всего на указанном принципе, законченную систему структурной грамматики, однако абстрактность его рассуждений делает ее схематичной и скрывающей от менее посвященных специалистов многое из того ценного, что содержится в его книге.

Поскольку Скаличку занимает исключительно анализ грамматической системы (в теоретической части, в соответствии с формулировкой на стр. 148,— собственно анализ системы грамматических систем), постольку основная задача складывается у него из двух частей. Следует установить, какие члены

создают систему, и определить отношения, при помощи которых они взаимосвязаны в системе. Прежде всего он начинает свой анализ с трактовки минимальной единицы грамматической системы. Он не принимает (по-моему, вполне правильно) за такую единицу морфему, как это дано в проекте фонологической терминологии, выработанной Пражским лингвистическим кружком («Travaux...», 4, 1931, стр. 309 и сл.), а вводит для этой функции понятие семы. Понятием морфема он пользуется в дальнейшем: морфема определяется как соединение сем, выраженное само по себе или с помощью других морфем непрерывным рядом фонем (стр. 138). Однако, лишив морфему ее основного значения в грамматической системе, он тем самым показал, что даже морфология не занимает главенствующего положения при анализе языка. Морфология также выпадает и из моей грамматической системы. Я рассматриваю ее как науку о группировке языковых средств с точки зрения их формальной близости в противоположность науке о языковой номинации и науке о языковом соотнесении — двум основным разделам грамматики. Равным образом я считаю плодотворным и понятие семы, но определение семы, даваемое Скаличкой (минимальная грамматическая единица), нельзя считать окончательным, поскольку краткого, чисто количественного определения этой единицы, точно так же как и краткого определения фонемы, далеко не достаточно. Необходимо рассмотреть понятие семы и со стороны качественной. Хотя Скаличка и утверждает (его аргументация носит дедуктивный характер), что сема одновременно является единицей формальной и функциональной, однако практически он оперирует семой прежде всего как функциональной единицей. Отношение формы и функции в языке потребует дальнейшего уточнения. Скаличка справедливо отвергает мнение, что в языке можно разграничить форму и функцию столь точно, чтобы стало возможным противопоставление — в качестве самостоятельных частей грамматики — науки о форме (морфологии) и науки о значении (семасиологии). Главным защитником этой точки зрения является А. Норин. Однако все это еще не решает проблемы. Действительно, в языке не может существовать функция вне формы и форма без функции, и если даже, согласно Скаличке, невозможно доказать, что в языке имеется противопоставление формы и функции, то нельзя отрицать и того, что форма и функция являются не просто двумя сторонами одного и того же явления, а часто взаимно перекрещиваются. В этом и заключается сущность омонимии и омосемии, и именно в этом мы видим важный импульс языковых изменений. Язык хотя и является системой, но языковая система, по-видимому,

никогда не достигнет абсолютного равновесия сил. Поэтому при анализе языка чрезмерно логичные и вследствие этого излишне упрощенные построения всегда будут неубедительными. Очень важны усилия Скалички по установлению правил расчленения языка на семы. Это — нелегкая задача, и при ее решении возникают важные проблемы. Сема, как правило, выражается морфемой, то есть, короче говоря, непрерывным рядом фонем, но, с другой стороны, часто встречается и двухсемная морфема. Флексия -ám в слове žen|ám обозначает одновременно дательный падеж и множественное число. Иногда необходимо искать критерии, на основании которых можно было бы решить, является ли данная морфема односемной или двухсемной. Автор приводит примеры и при разборе их устанавливает несколько принципов. По его мнению, наиболее удобным было бы использование морфемного критерия: там, где имеются две морфемы, следует признать наличие двух сем. Но к этому, однако, необходимо добавить (это мое замечание), что такой подход справедлив лишь с точки зрения строго синхронной и только для интеллектуального стиля. В эмоциональном стиле иногда нагромождаются морфемы с одним и тем же значением лишь в целях усиления эмоционального воздействия. Более важным является второй критерий Скалички (замечания в скобках принадлежат мне): наличие двух сем следует признавать (и в одной морфеме) там, где в других случаях (в том же языке) имеются две морфемы. Однако вызывает сомнение третий критерий, выдвигаемый Скаличкой и устанавливающий, что там, где существуют две морфемы в других языках, мы должны в данном языке предполагать возможность существования двух сем. Функциональная система не имеет силы сама по себе, если мы из области одного языка переходим в область другого языка, особенно когда Скаличка имеет в виду (что вытекает из его примеров) столь различные языки, как венгерский и чешский. Критерии, выдвинутые Скаличкой и только что приведенные мною, дополнены у него, однако, еще одним важным принципом. Двухсемность морфемы можно признать только тогда, когда обе предполагаемые семы существуют в языке также и обособленно друг от друга. Если они только лишь входят в двухсемное сочетание, то из этого следует, что каждая из них может существовать по крайней мере в двух разных сочетаниях. Так, например, форма множественного числа выступает в чешском языке, с одной стороны, в сочетании с падежной формой (ženám «женщинам» — ženě «женщине»), с другой, — в сочетании с личной формой глагола (vidíme «мы видим» — vidím «я вижу»). Другой проблемой является проблема так называемой нулевой морфемы, то есть одной или

более сем, фонологически выраженных нулем звука. Такое явление возможно только внутри небольшой системы сем (например, в границах одного склонения), в которой в данном случае необходимо признать существование семы. Хорошим примером является родительный падеж множественного числа типа žen «женщин», в котором двухсемное сочетание родительного падежа и множественного числа выражено нулевой морфемой То обстоятельство, что проблемы, на которые Скаличка пытается пролить свет, весьма значительны, подтверждается, например, исследованиями по современному английскому языку. На страницах английских работ и журналов ведутся ожесточенные споры между Есперсеном (который с механической прямолинейностью осуществляет формальный подход при анализе языка) и его противниками — Е. А. Зонненшайном («The soul of grammar», Cambridge, 1927) и Г. О. Кёрмом («Syntax», New York, 1931), проводящими — часто не менее механистично — функциональную точку зрения. Последние замечания Есперсена по поводу этих споров содержатся в статье «The system of grammar», вновь опубликованной в издании «Linguistica, Selected Papers in English, French and German» (Copenhagen, 1933, стр. 304—345). На эти замечания вместо Кёрма Есперсену отвечает В. Ф. Леопольд в своей статье «Form or function as the basis of grammar?» («The Journal of English and Germanic Philology», XXXIV, 1935, стр. 414 и сл.). Трактовка расчленения языка на семы, отчетливо данная Скаличкой, освещает существо спора в целом, и, напротив, материалы, разбираемые в ходе спора, убеждают меня, что сема в понимании Скалички является единицей по существу функциональной, связанной лишь с возможностью формального выражения в области конкретного языка.

Придя таким образом к понятию семы, воспринимаемому самим Скаличкой, вопреки неудовлетворительности его собственного определения, весьма отчетливо, и исправив на этой основе дефиницию морфемы, автор приступает прежде всего к исследованию того, что (на мой взгляд, не вполне точно) именуется фонологической структурой сем, и формулирует со своих позиций новые задачи морфонологии (стр. 148 и сл.). Затем он описывает способ, с помощью которого можно связать семы и морфемы. Из трех частей, на которые Скаличка делит этот раздел структурной грамматики, наиболее важна первая часть, разбирающая структуру сочетания сем и морфем, организацию морфем в слова и предложения, порядок слов, ударение и паузы, так как именно этим отдельные языки существенно отличаются друг от друга. Так, например, в одном типе языков слово равно семе (морфеме) и противопоставление слова и пред-

ложения очень отчетливо (языки изолирующие), тогда как в противоположном типе языков в одном слове объединяется несколько сем и морфем, а в крайнем случае в них исчезает и противопоставление слова и предложения (языки кумулятивные). Если мы расчленим далее семы на семантемы (этот термин автором нигде не определяется, но он разумеет под ним, очевидно, в соответствии с французской терминологией, сему, которая является носительницей собственного значения слова) и формемы (семы, не являющиеся носителями собственного значения слова и, следовательно, представляющие собой противоположность семантеме), мы придем к различению языков агглютинативных и полисинтетических. Различие между ними Скаличка усматривает в том, что в агглютинативных языках слово содержит только одну семантему, тогда как в языках полисинтетических слово может содержать несколько семантем.

Следующий абзац (стр. 150 и сл.) посвящен общим замечаниям об омосемии и омонимии сем. Омосемия означает, что различные реализации сем в фонологическом отношении родственны (černý «черный», černější «более черный», nejčernější «самый черный»). Противоположное явление (dobrý «хороший», lepší «лучший») у семантем сравнительно редко, но у формем оно наблюдается часто (им. п. мн. ч. žen|y «женщины», duš|e «души», měst|a «города»). Противоположностью омосемии является омономия сем, заключающаяся в том,что несколько сем фонологически сливаются. Омонимия семантем, по Скаличке, редка, и в языке наблюдается тенденция к ее устранению. Более подробное исследование этой проблемы явно не входило в рамки общего очерка Скалички, но тем не менее было бы хорошо, если бы он указал на различия в этом отношении в языках неодинаковых типов. В этом ему оказала бы помощь работа Б. Трнки «O homonymii, její therapii a profylaxi» («Časopis pro Moderní Filologii», XVII, 1931, стр. 141 и сл.). Скаличка справедливо указывает (как и до него Трнка) на то, что явление омонимии распространено в формемах (ryb|a «рыба», had|a «змей», prs|a «грудь», nes|a «неся»).

Раздел о морфонологии, о структуре сочетаний сем, об омосемии сем и об их омонимии Скаличка дополнил на основе материалов, представляемых описательной грамматикой, объяснением основных положений грамматики. Более детально в этой части работы он рассматривает лишь минимальные грамматическио единицы (сема, морфема, семантема, формема), тогда как о единицах более высшего порядка — слове и предложении — он говорит только мельком, хотя очевидно, что он учитывает здесь и эти единицы О таком сосредоточении интереса лишь на минимальных грамматических единицах остается

только сожалеть, поскольку более подробное исследование понятий слово и предложение, возможно, несколько изменило бы весь характер работы Скалички. Кроме этого, Скаличка был бы вынужден глубже продумать сущность предложения и, по-видимому, заблаговременно бы понял, как мало в практическом отношении дает определение предложения, приведенное им годом позже в статье «K problému věty» («Slovo a slovesnost», I, 1935, стр. 212 и сл.).

Вторая часть книги Скаличики (начинается со стр. 152) исследует соотношение грамматических единиц в грамматической системе. Речь идет об оппозициях, в которых противопоставляются друг другу отдельные группы сем и которые автор называет дифференциациями. Характером и богатством дифференциаций прежде всего и определяется грамматический характер языка. Автор показывает, что́ это означает, в своем кратком обзоре типичных дифференциаций. Прежде всего в дифференциальной оппозиции могут находиться простые семы. Наиболее значительной является оппозиция семантем и формем, проявляющаяся, вероятно, в любом языке. Все четыре языка, разбираемые автором, являются, по его словам, в значительной степени агглютинативными, то есть имеют сравнительно большое количество слов с двумя или более семами (из них по крайней мере одна носит формальный характер) и относительно небольшое количество формальных слов. Из дифференциаций формем наиболее важной является дифференциация производных и флективных суффиксов, по-разному выступающая в различных языках. Семантемы могут делиться на основе формальных категорий на именные и глагольные, субстантивные и адъективные, адъективные и адвербиальные. Примеров автор не приводит, но могу подтвердить, что, например, в чешском языке различие между семантемами именными и глагольными очевидно, тогда как в английском такого различия не наблюдается. Это связано с тем, что в английском языке нет четкой границы между категорией имени и категорией глагола, а в чешском языке указанные категории четко разграничены. Второй по счету является дифференциация сем и морфем. И она в различных языках развита в неодинаковой степени. В турецком языке она почти не представлена, в то время как в языках, называемых флективными, она выражена весьма отчетливо. Дифференциация морфема — слово также достигает в отдельных языках различных степеней развития. В языках флективных в целом ряде словесных категорий каждое слово складывается по меньшей мере из двух морфем — из корня и флексийной морфемы. Это наблюдается, например, в греческом, латинском, чешском языках у существительных, при-

лагательных и местоимений, имеющих родовые формы, и у глаголов; в венгерском — только у глаголов. Во многих языках слова четко разграничены, и поэтому такие языки можно разделить на ряд слов. На этой основе покоятся и последующие дифференциации.

Прежде всего речь идет об оппозиции слов семантемных и формальных. Слова формальные, как правило, не принимают производных морфем. Сематемные [или семантематические] слова делятся на категории; здесь часто противопоставляются имена существительные, определяемые прилагательными, и имена прилагательные и глаголы, определяемые наречиями. В некоторых языках одна из двух оппозиций исчезает, и имя существительное совпадает с именем прилагательным, как в турецком языке, или имя прилагательное — с глаголом, как в корейском. Кроме оппозиций слов, которые я назвал бы категориальными, в языке имеют место и оппозиции, возникающие на базе позиции слов в синтаксическом сочетании (для краткости я называю их оппозициями синтаксическими). Некоторые языки, например многочисленные урало-алтайские языки, довольствуются общей оппозицией regens — rectum, выраженной порядком слов, тогда как другие языки, особенно индоевропейские, используют только специальные оппозиции субъект — предикат, предикат — объект, определяемый именной член предложения — определяющий атрибут и т. д. Иногда специальные синтаксические оппозиции могут быть связаны с общей синтаксической оппозицией, как, например, в турецком языке, где, однако, специальные синтаксические оппозиции гораздо слабее, чем, например, в чешском. Синтаксические оппозиции тесно связаны с оппозициями категориальными. Там, где представлены только слабые специальные синтаксические оппозиции, как в турецком языке, слабы и оппозиции категориальные, и наоборот: там, где сильны специальные синтаксические оппозиции, как в чешском языке, сильными являются и категориальные оппозиции. В понимании Скаличкой синтаксических оппозиций много общего с теорией первичных, вторичных и третичных синтаксических единиц, изложенной впервые в 1914 г. Есперсеном в вводной главе к 1-му тому его книги «Синтаксис современного английского языка» и более подробно (1924 г.) в 7-й главе его книги «Философия грамматики». Сравнение с теорией Есперсена благоприятно для Скалички. Объяснения датского лингвиста более продуманны и обстоятельны, но им вредит механистичность построений и недостаток сравнительного материала. Напротив, Скаличка дает краткие наброски, но благодаря своей концепции, функциональной по существу, и сравнительному аналитическому методу он вносит больший

вклад в понимание структурного различия анализируемых языков.

Следующей оппозицией является оппозиция слова и предложения. Это относится, однако, к предложению, состоящему из двух или более слов. В одночленном глагольном предложении (scribo «я пишу») речь идет, собственно, об оппозиции между предложением и морфемой. После этих вводных замечаний автор коротко останавливается на типах построения предложений. Его наблюдения весьма метки, но они только выиграли бы от самостоятельной и обстоятельной обработки соответствующего материала. Хотя Скаличка и не допускает ошибки, на которую я должен был указать Гардинеру в прошлогоднем номере журнала «Slovo a slovesnost» (стр. 42 и сл.), поскольку он открыто признает, что обычные формы предложений принадлежат языку (стр. 160 наст. сб.), но, по моему мнению, он не делает и шага вперед, так как обычными формами предложений (Скаличка называет их клише) он признает лишь те, которые, по его словам, встречаются в строгом интеллектуальном стиле. В чешском языке, например, имеются будто бы (помимо звательной формы) только две формы предложений — сочетание именительного падежа имени с глаголом и сочетание глагола с личным суффиксом. Отвлекаясь от того, что сочетания именительного падежа имени с глаголом могут быть в чешском языке двоякого типа — сочетание именительного падежа с личным глаголом (hoch píše «мальчик пишет») и с причастием (hoch psal «мальчик писал»),— мы можем констатировать, что ошибка в данном случае состоит в том, что в число обычных форм чешских предложений не включены другие формы безглагольных предложений, кроме типа hoch psal. Различие здесь все же существует, однако не то, на которое указывает Скаличка Вероятно, в каждом языке существуют предложения двоякого типа: основные, без которых вообще нельзя обойтись, и случайные, без которых обойтись можно. Различие между ними отчетливо проявляется и в том, что любое предложение случайного типа можно так или иначе передать какимлибо предложением основного типа, но ни в коем случае не наоборот. Правда, случайные формы предложений как раз в силу их случайного характера обильно употребляются в эмоциональном стиле, особенно в предложениях восклицательных, желательных, повелительных, вопросительных, но они встречаются и в других стилях. Особенно заметно это в письменной речи. Совершенно неправильным является утверждение, что благодаря этим предложениям небрежный стиль отличается от строгого стиля. Скорее мы могли бы говорить о различии между стилем сжатой речи и стилем, полно отражающим ход мыслей.

Но не в этом дело. Наиболее важным является то, что и случайные формы предложений принадлежат языку, так как они различаются в разных языках, и тот, кто хочет изучить какой-либо язык, обязан обращать внимание и на эти формы. Случайные предложения, обычные, например, в английском языке, не всегда имеют аналогию в чешском, где вместо них иногда следует употребить другие случайные или же основные предложения (The bell, sir. — Někdo zvoní, pane «Звонят, сэр»; An excellent idea, this. — To je výborná myšlenka «Замечательная мысль»). Эти различия в формах безглагольных предложений в английском и чешском языках можно вскрыть при сравнении материалов, представленных, с одной стороны, в обстоятельной монографии Фр. Травничка «Neslovesné věty v češtině» (I, 1930; II, 1931) и, с другой — в моем труде о безглагольных предложениях в современном английском языке («Sborník filologický», 2, 1931). Различие в функциях двучленных назывных предложений в чешском (и английском языке), с одной стороны, и в венгерском и русском языках — с другой, правильно указанное Скаличкой, состоит как раз в том, что предложения, обладающие в первой группе языков только функцией случайных форм, во второй группе языков обладают функцией основной формы [1]. Существование двучленных назывных предложений, имеющих функцию основной формы, Скаличка связывает (см. стр. 160 его работы) с ослаблением различий между именем и глаголом. Я не знаю, соответствует ли это предположение фактам при сравнении английского и русского языков. Разрешение данной проблемы потребует более подробного изучения соответствующего материала.

Эта вторая часть книги Скалички заканчивается общими замечаниями о дифференциациях, об их признаках и об их значении. Существенно замечание автора о том, что лингвистике нанесло большой ущерб пренебрежение к тому факту, что признак не должен быть всегда постоянным, но иногда может быть лишь потенциальным. Непонимание этого обстоятельства привело, по мнению Скалички, к грамматическому скепсису и грамматическому хаосу последних десятилетий.

---

[1] Кроме предложений, выраженных какой-либо из привычных форм— основной или случайной, в речи (но не в языке) встречаются такие замены предложений, в которых хотя и чувствуется намерение построить предложение, но его реализации не происходит, так как говорящий не обладает еще достаточным знанием языка или ему в этом мешает какое-нибудь патологическое нарушение. Скаличка в приведенной выше статье считает, однако, и подобные замены предложений предложениями, тогда как я требую для построения предложения использования формы предложения, обычной для данного языка.

Третья часть книги посвящена системным лингвистическим характеристикам анализируемых языков — венгерского, финского, чешского и турецкого. Это, собственно, доказательство практической приемлемости теоретических схем автора. Соответствующие объяснения занимают целых двадцать страниц, из них, однако, только неполная шестая часть посвящена чешскому языку, тогда как остальные пять шестых отведены языкам неиндоевропейским, недостаточно мне знакомым, чтобы судить о правильности их анализа. Автор сам говорит о том (см. стр. 184), что он не разбирает все явления соответствующих языков, но что с помощью метода, намеченного им, это можно сделать с соответствующей полнотой. Без сомнения, оригинальный метод языкового анализа и широкое использование аналитического сравнения указывают на многие значительные и интересные языковые явления. Это приняло бы еще более наглядный характер, если бы Скаличка избрал пластичный способ изложения. В конце книги он извлекает из своих характеристик еще несколько выводов общего характера. Функциональная точка зрения, заключающаяся в том, что для всех языков речь идет только о различном удовлетворении одних и тех же потребностей, подтвердилась исследованием четырех привлекаемых языков. Во всех этих языках обнаружились почти тождественные оппозиции, и различие заключалось почти всегда лишь в их последовательности и потенциальности. Скаличка убежден, что эту закономерность можно распространить на все языки, так как установленные оппозиции не представляют собой чего-либо случайного, а вызваны одними и теми же причинами. Автор снова возвращается к тезису, появлявшемуся уже несколько раз на страницах его работы, к тезису о том, что отдельные признаки дифференциаций и отдельные дифференциации взаимозависимы. Эта структурная связь определяет характерные признаки языков. Чешский язык можно назвать языком с сильно развитыми дифференциациями, турецкий язык — языком со слаборазвитыми дифференциациями. Взаимосвязь грамматических явлений, однако, не так прочна, как в фонологии. В лучшем случае можно лишь утверждать, что два явления хорошо уживаются в языке или что они уживаются плохо. Скаличка подчеркивает это при характеристике языков с сильной и слабой агглютинацией. Он заканчивает свое изложение замечаниями о географическом распространении структурных языковых явлений и проблемах их развития.

В научной литературе мы часто встречаемся с двумя крайностями. Есть книги, объем которых в два или три раза больше, нежели этого требует их идейное содержание, а встречаются книги, в два или три раза меньшие по объему, чем можно было

бы ожидать при таком богатстве мыслей, которое в них содержится. Книга Скалички определенно принадлежит ко второму типу. Ей пошло бы на пользу, если бы при том же содержании она была бы несколько большей по объему. В качестве введения в структурную грамматику — не общую и не венгерскую — она не годится, но было бы несправедливо на этом основании определять ее внутреннюю ценность. Это смелая, новаторская попытка молодого лингвиста, способствующая творческому развитию дальнейших исследований в данной области. Надеюсь, что мой разбор работы Скалички в достаточной мере доказал это.

Л. Новак

ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКА *

I

В «Проекте стандартизованной фонологической терминологии» [1], который Пражский лингвистический кружок представил на обсуждение Международной фонологической конференции (Прага, декабрь 1930 г.), за минимальную морфологическую единицу принимается м о р ф е м а. Морфема определяется следующим образом: «Морфологическая единица, которую нельзя разложить на более мелкие морфологические единицы, то есть часть слова, которая в целом ряде слов имеет одну и ту же формальную функцию и которую невозможно разложить на более дробные части, обладающие этим свойством» [2].

В дискуссии на этой конференции *Р. Якобсон* подчеркнул [3], что «фонология не является разделом грамматики» и что «минимальной единицей грамматики является морфема».

Против этого в последнее время внутри самой Пражской лингвистической школы выступил *В. Скаличка* [4]. Он также исходит [5] из понимания грамматики, изложенного в упомянутой дискуссии Якобсоном [6]: к грамматике относится все, что относится к сфере языка, кроме фонологии. («Грамматика занимается символами, а фонология — элементами, составляющими эти символы».) Но, с другой стороны, за минимальную единицу грамматической системы он признает не морфему, а с е м у [7].

---

* L'udovít N o v á k, Základná jednotka gramatického systému a jazyková typologia, «Sborník Matice Slovenskej», čast' I, roč. XIV, 1936, стр. 3—14.

[1] «Projet de terminologie phonologique standardisée», TCLP, 4, Praha, 1931, стр. 309 и сл.

[2] Там же, стр. 321.

[3] Там же, стр. 297; мнение Якобсона разделял и К. Бюлер, см. там же, стр. 297—298.

[4] В книге «Zur ungarischen Grammatik», Praha, 1935; см. особенно в местах, цитируемых в дальнейшем.

[5] См. там же, стр. 7 [см. наст. сб., стр. 128].

[6] TCLP, 4, стр. 297.

[7] См. прежде всего стр. 13—15 в книге Скалички «Zur ungarischen Grammatik» [см. стр. 135—138 наст. сб.].

Правда, термин «морфема» он сохраняет, но определяет его по-новому [8], как «комбинацию сем, которая выражается непосредственно или с помощью других морфем непрерывной цепочкой фонем». Согласно Скаличке, никакая сема не может существовать без формы. Следовательно, сема одновременно является единицей и формальной и функциональной [9]. Поэтому, на его взгляд, невозможно отделить в грамматике науку о функции от науки о форме.

В. Матезиус — единственный ученый Пражской школы, занимавшийся до сих пор теорией Скалички,— хотя и одобряет [10] отрицательное отношение последнего к некоторым отмеченным выше положениям «Проекта стандартизованной фонологической терминологии», но не считает окончательной количественную дефиницию семы как минимальной грамматической единицы, предложенную Скаличкой. Матезиус, подобно Скаличке [11], хорошо понимает, что указанным количественным ограничением отнюдь не решена полностью необычайно сложная проблема отношения между формой и функцией в языке. *Скаличка* [12] в противовес *Б. Трнке* [13] недавно подчеркнул, что «форма и функция чрезвычайно тесно, вплоть до мельчайших элементов, связаны в языке, вследствие чего их нельзя отрывать друг от друга». Правда, Матезиус [14] признает, что «в языке не может существовать функция вне формы и форма без функции», но, кроме того, в противоположность Скаличке правильно констатирует, что «форма и функция являются не просто двумя сторонами одного и того же явления, а часто взаимно перекрещиваются».

Не случайно Скаличка выдвинул свою оригинальную и весьма важную в теоретическом отношении формулировку как раз в связи с анализом урало-алтайских языков туранского типа [15]. Он подверг структурному анализу преимущественно турецкий, венгерский и финский языки и сравнивал их прежде всего

---

[8] См. цитируемую книгу Скалички, стр. 194; в немецком оригинале: «Morphem. Eine Verbindung der Semen, die total oder mit Hilfe anderer Morpheme durch eine ununterbrochene Phonemreihe ausgedrückt werden».

[9] См. там же, стр. 15 [наст. сб., стр. 138].

[10] См. его работу «Pokus o teorii strukturální mluvnice», SaS, II, 1936, стр. 47 и сл., особенно стр. 49—50 [см. наст. сб., стр. 196 и 199 — 200].

[11] См. цит. книгу Скалички, стр. 15 и сл. [см. наст. сб., стр. 138].

[12] См. его статью «K otázkám fonologických protikladů», LF, LIII, 1936, стр. 133—134.

[13] См. его работу «Some thoughts on structural morphology», «Charisteria», Praha, 1932, стр. 57 [см. наст. сб., стр. 266].

[14] См. цит. работу Матезиуса, стр. 50 [см. наст. сб., стр. 200].

[15] «Туранский» используем в типологическом смысле в соответствии с Н. Трубецким, TCLP, 1, 1929, стр. 57 и сл. Ср. уже в его книге «К проблеме русского самопознания», 1927, стр. 1.

с чешским языком. Не удивительно, что после структурного анализа неиндоевропейских языков с прозрачным морфемным составом и с непосредственным, прямым отношением между морфемами и соответствующими семами в основу грамматической системы он положил сему. В результате анализа упомянутых неиндоевропейских языков он получил обобщающие сведения по изучению грамматики вообще.

Однако против заключений Скалички можно выдвинуть серьезные возражения, исходя из тех же языковых систем, которые он использовал. Но прежде чем высказать их, коснемся сначала отношений функции и формы в языке. Нам бы следовало, собственно, сказать точнее: «в языках», ибо в действительности существуют значительные различия между отдельными языковыми типами. С одной стороны, мы можем встретить языки, в которых нет сложной системы в функциональном плане, благодаря чему в них возможно и прямое, непосредственное отношение между функцией и формой, то есть между значением в самом широком смысле слова и между формой, или, пользуясь терминами *де Соссюра* [16], между «означаемым» и «означающим» [17]. В подобной языковой системе, таким образом, прозрачность и как следствие этого непроблематичность морфемного членения обусловлена именно простой системой в функциональном плане (морфемы в плане формы являются, собственно, точками пересечения соответствующих функций на «corps phonique de la langue»). С другой стороны, существуют языковые типы, в которых в функциональном плане мы отмечаем очень сложные системы со многими «надстройками» и с переходами из одной функциональной области в другую. В результате морфемный состав в этих системах в формальном, звуковом плане не столь прозрачен и его нельзя теоретически так легко установить, как в языках первого типа.

Чтобы быть более конкретным, за представителей упомянутых языковых групп примем два крайних типа: турецкий в качестве первого типа и французский в качестве второго. В турецком языке обычно имеет место прямое, непосредственное отношение между формой и функцией, вследствие чего одной семе соответствует одна морфема, и этот язык почти не знает асимметричного дуализма [18], состоящего пре-

---

[16] «Курс общей лингвистики», М. — Л., 1933.

[17] Наиболее подходящий словацкий перевод терминов signifiant — signifié был бы: označujúci — označený; ср. венгерские jelölő — jelölt; G o m b o c z Z., Funkcionális nyelvszemlélet, MNy, XXX, 1934, 2.

[18] Об этом ср. С. К а р ц е в с к и й , Об асимметричном дуализме лингвистического знака, TCLP, 1, 1929. стр. 88 и сл., особенно стр. VI; В. С к а л и ч к а, Асимметричный дуализм языковых единиц, NŘ, XIX, 1935, стр. 141 и сл. [см. наст. сб., стр. 123].

имущественно в омонимии [19] и омосемии формальных элементов, формем. Во французском языке, напротив, асимметричный дуализм с богато развитой омонимией и омосемией осуществлен в крайней степени, причем наиболее обычным является соответствие «несколько сем — одна морфема». Вполне естественно, что функциональный план в турецком языке несравнимо проще, чем во французском; это отражается и на плане формальном, звуковом, поскольку речь идет о морфемном составе. С этим непосредственно связано и более свободное сочетание морфем друг с другом в турецком в противоположность их более прочному сцеплению во французском. Поскольку в турецком, например, почти совсем отсутствует омонимичность в кругу словоизменительных аффиксов в пределах имени и глагола, постольку актуализация их значений не зависит ни от присоединения к определенным корневым морфемам, ни от других формальных средств, ни, наконец, от смысла контекста, как это бывает в языковой системе французского типа. Из этой особенности вытекает и упомянутая более свободная связь между отдельными морфемами слов, с одной стороны, и слов между собой в предложении — с другой (ср. с этим явления сандхи, именуемые liaison, во французском и их отсутствие в турецком; большое различие в количестве формальных слов: в турецком — энклитик, во французском — также и проклитик и т. п.).

Эти общие замечания служат исходным пунктом для доказательства того, что тезис Скалички о семе как основной единице грамматической системы нельзя распространять на все языки.

Обратимся, например, к литературному венгерскому языку, в котором можно встретить следующие формы: madár «птица» — madar|a|k, madár|t или madar|a|t в противоположность asztal «стол» — asztal|o|k, asztal|t ; virág «цветок» — virág|o|k, virág|o|t; ég «небо» — eg|e|k, eg|e|t; könyv «книга» — könyv|e|k, könyv|e|t; hír «весть» [20] — hír|e|k в противоположность gyík «ящерица» — gyik|o|k; híd «мост» — hid|a|k; szék «стул» — szék|e|k в противоположность cél «цель» — cél|o|k, héj «скорлупа» — héj|a|k; kocsi «подвода, карета» —kocsi|k, kocsi|t, fa «дерево» — fá|k, fá|t и т. п. Из приведенных форм явствует,

---

[19] В турецком языке и в лексике, согласно Я. Рипке, существуют лишь гибридные омонимы; Ср. B. T r n k a, O homonymii, její therapii a profylaxi, Sborník Chlumského, ČMF, XVII, 1931, стр. 141 и сл., а также его статью «Bemerkungen zur Homonymie», TCLP, 4, 1931, стр. 153 [см. наст. сб., стр. 272 — 276].

[20] В современной венгерской письменности уже не обозначается долгота гласных u, ü, i в отличие от традиционных орфографических норм; ср. подробнее A. S a u v a g e o t, L'alternance quantitative dans le vocalisme hongrois, «Bulletin de la société de linguistique», XXXIV, 2, 1933, стр. 117 и сл. Мы придерживаемся старой нормы.

что консонатные суффиксы -k- для множественного числа и -t- для винительного падежа и другие им подобные присоединяются к словам, которые оканчиваются на гласный, тогда как слова, которые оканчиваются на согласный, имеют два разных типа присоединения: в одних случаях в винительном падеже они присоединяются без посредства гласного, в других — необходим соединительный гласный, причем гласный, не всегда механически обусловленный гармонией гласных, так как в некоторых словах с глубоким, задним гласным им является соединительный гласный -o-, в других — -a-, а у слов с так называемыми нейтральными гласными -i- и -e-, кроме -o- и -a-, встречается еще и -e-.

Ничего не меняет тот факт, что с генетической точки зрения [21] мы имеем дело в отдельных случаях то с прежним корневым гласным, то с подлинным соединительным гласным (Bindevokal). С синхронической точки зрения нет никакого сомнения в том, что соответствующие гласные -o-, -a-, -e- в духе современного языкового сознания следует квалифицировать как соединительные гласные. Поскольку в современном литературном венгерском языке, как видно из типа asztal|t, принцип «слово на согласный + соединительный гласный + консонантный суффикс» не имеет абсолютной силы, постольку наличие соединительных гласных с синхронной точки зрения нельзя объяснять только как явление, обусловленное преимущественно слоговым характером, то есть способом соединения морфем, или только как эвфоническое явление [22]. Хотя и нет возможности найти безукоризненное объяснение возникновению соединительных гласных, однако ясно, что с точки зрения синхронии объяснение это следует искать в уже упомянутых явлениях, особенно в последнем — эвфонии (ср. еще особый тип hatal|o|m «власть» — hatal|ϕ|m|a|k, fejedel|e|m «князь» — fejedel|ϕ|m|e|k).

Иными словами: сам принцип возникновения соединительных гласных касается лишь звуковой стороны языка, точнее, звуковой стороны морфологии, а не функционального плана. Здесь мы имеем дело с морфемами, которые явственно выделяются, то есть отделяются от остальных морфем, но которым в функциональном плане не соответствует никакое элементарное формальное значение, то есть никакая сема. Соединительные гласные являются фактом лишь «corps phonique de la langue», следовательно, только элементом «мор-

[21] Об этих вопросах см. Gombocz Z., Magyar történeti nyelvtan, III, Rész, Alaktan, Budapest, 1925, стр. 2 и сл.

[22] Ср. N. Trubetzkoy, Das morphonologische System der russischen Sprache, TCLP, 5, 2, Praha, 1934, стр. 57—58.

фологической» звуковой стороны языка, «морфологической» не в смысле грамматической морфологии, а «морфологии», как ее понимает, например, география, геология, анатомия или ботаника. Итак, неоснователен вывод о том, что каждая форма должна обладать функцией в том смысле, что это должна быть исключительно только истинная функция в плане функциональном, смысловом в самом широком значении этого слова (signifié). В языке необходимо допускать, кроме формы, то есть «морфологии» его звуковой стороны, и чисто формальные функции, носителями которых являются морфемы или другие звуковые элементы (морфемы могут быть также нулевыми (zéro morphologique), стоящими в ряду чередований «гласный|ϕ», как, например, в славянских языках случаи типа kostol — kostol|a в противоположность or|o|l — or|ϕ|l|a).

Сюда относятся и явления, объединяемые понятием гармонии гласных. Различные двойные, точнее, тройные ряды гласных, которые чередуются в соответствии с фонологическим характером вокализма [23] корневого слога или слогов, обладают лишь чисто формальной функцией в области звуковой стороны языка, именно функцией сигнализировать звуковыми средствами о принадлежности суффиксальных и словоизменительных элементов к предшествующему корню или основе. Члены зависимых чередований [24] типа а/ä или о/е как таковые (а с ä; о с е и т. п.) также не обладают в функциональном плане со стороны «означаемого» соответствующим эквивалентом. Явления, объединяемые понятием гармонии гласных, таким образом свидетельствуют, что в плане формальном имеются образования, которым со стороны функциональной нет соответствий. То же можно сказать и о зависимых чередованиях согласных с той же самой формальной функцией, которая имеет место при гармонии гласных. Все явления подобного характера свидетельствуют о том, что сема не может быть основной единицей грамматической системы, как это предлагал Скаличка. В языках, где подобные явления имеют место, нужно анализировать и морфемы, которые с морфологической точки зрения являются важными, но не имеют собственного значения (в самом широком смысле

---

[23] О зависимых чередованиях и вообще о всей проблеме гармонии гласных ср. мою статью «L'harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaïques, surtout finno-ougriennes. Notes synchroniques et diachroniques», TCLP, 6, 1936, стр. 81 и сл. О понятии зависимого чередования (хотя отчасти и в иной терминологической интерпретации) ср. до этого в моей работе «Fonologia a štúdium slovenčiny», «Slovenská Reč», 2, 1934, стр. 22, 31. и сл., особенно стр. 40.

[24] Точнее, в соответствии с общим характером слога при слоговом сингармонизме; ср. Р. О. Якобсон, К характеристике евразийского языкового союза, Париж, 1931, стр. 30 и сл.

слова, то есть даже чисто формального значения в смысле грамматической морфологии). Поэтому основной единицей грамматической системы в дальнейшем следует считать морфему. В этой связи могло бы возникнуть следующее возражение: существуют нулевые морфемы, которые имеют свое значение,то есть которым в функциональном плане соответствует одна или больше сем. В связи с этим можно утверждать, что основной единицей грамматики является сема, а не морфема. Однако встречаются и морфемы, которые не имеют соответствующих сем, но этот факт не меняет существа дела, поскольку в таких случаях по аналогии опять-таки можно зафиксировать морфемы с нулевой семой.

Против этого возражения необходимо высказать следующее: существует большое различие между нулевым показателем в плане формы и нулевым показателем в функциональном плане. Нулевой показатель в плане формы является противопоставлением «что-либо — ничего»; это типично формальное противопоставление (отсутствие чего-либо здесь выражает формальное средство, одно из выразительных формальных возможностей в звуковом плане). Напротив, нулевой показатель в функциональном плане не мог бы быть вообще оправдан, ибо в функциональном плане пространственная и соответственно пространственно-временна́я оформленность едва ли имеют силу. В функциональном плане нулевой показатель означает нулевую ступень в полном смысле слова, а не нулевую ступень как полноправную единицу в противовес оформленности. С этой точки зрения, таким образом выдвинутое положение не выдерживает критики. В заключение: термин «морфема» следует сохранить при формальном анализе, а термин «сема»— при функциональном анализе. Проблема более точного и адекватного определения понятий, соответствующих терминам «морфема» и «сема», остается открытой.

К этому можно еще добавить следующее: если для общего языкознания понадобится выдвинуть тезис о двойственности планов, функционального и формального, то в функциональном плане наименьшей единицей можно считать сему, а в формальном плане — морфему. Такую концепцию можно было бы принять, хотя остаются большие трудности в определении и вычленении сем и в их, так сказать, локализации в соответствующих морфемах, особенно в тех языках, где, как во французском или английском, оба плана резко противопоставлены. Но как бы то ни было, поскольку морфологию нельзя исключать из грамматики и поскольку морфология не занимается звуковым оформлением, постольку основной единицей грамматики остается морфема, а не сема, как предлагал Скаличка.

II

Выводы, к которым мы пришли, имеют первостепенное значение для проблемы языковой типологии, а тем самым и для проблемы классификации языков с точки зрения их структуры, то есть до известной степени независимо от их взаимного родства.

Было показано [25], что с точки зрения функционально-структурной лингвистики оказалось необходимым восстановить, например, старое подразделение языков с динамическим и с музыкальным ударением; подобно этому в последнее время выяснилось, что следует отвергнуть излишний скепсис по отношению к старой, так называемой морфологической типологии языков, которая имела и имеет большое значение при классификации языков мира вообще. Существо дела не меняется от того, что старую формулировку следует уточнить, изменить и дополнить в пределах тех возможностей, которые предоставляет нам прогресс современного языкознания. Так, у нас в последнее время больше всего занимался этими вопросами *В. Скаличка*, пытавшийся уточнить старую типологическую классификацию как раз на основе своего нового определения основной единицы грамматической системы — семы и ее отношения к морфеме. А поскольку выше мы вскрыли те затруднения, с которыми столкнулась теория Скалички, то нам необходимо установить, в какой степени видоизменяются после нашей критики его теории его выводы, касающиеся языковой типологии и классификации языков.

Можно вполне согласиться с определением Скалички [26] изолирующего и полисинтетического языкового типа (1) изолирующий тип — сочетание двух сем в двух словах; слово = сема; очень сильно развитое противопоставление между предложением и словом; 2) Полисинтетический тип — сочетание [мы бы добавили: по крайней мере] двух семантем [27] в одном слове; предложение = слово; очень сильно развитое противопоставление между словом и семой). Между этими двумя крайними типами находятся два последующих: агглютинирующий и флективный. Агглютинация, согласно Скаличке,— это сочетание двух сем, из которых по крайней мере одна является формальным элементом в одном слове, тогда как флексия, напротив,— это сочетание [мы бы добавили: по край-

---

[25] Ср. R. J a k o b s o n, Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie, TCLP, 4, 1931, стр. 164 и сл., преимущественно стр. 166 и сл.

[26] См. наст. сб., главным образом стр. 151 и стр. 194.

[27] Семантема — противоположность формеме [стр. 194 наст. сб.].

ней мере] двух сем в одной морфеме. Последняя формулировка вызывает возражения.

При подобном определении сохраняется прежде всего затруднение, присущее старой типологии, поскольку некоторые языки, хотя и являются агглютинирующими, сохраняют наряду с этим большее или меньшее количество флективных форм, например венгерский и финский языки в противовес турецкому. Указанная типологическая характеристика весьма несовершенна и, на мой взгляд, не отражает достаточно полно и ярко действительный структуральный характер соответствующих языковых систем.

Прежде всего следует подчеркнуть, что существует принципиальное различие между омонимией словоизменительных элементов, скажем, в таких языках, как словацкий и чешский, с одной стороны, и таких, как финский или венгерский,— с другой. Например, словацкое -a : chlap|a «мужчины», sluh|a «слуга», žen|a «женщина», diet'|a «ребенок», mest|a «города», miest|a «места» (мн. ч.) и т. п. нельзя удовлетворительно сопоставить с финским -n в usko|n (вин. п. ед. ч.) и usko|n «я верю» (1-е л. ед. ч.), так как этой финской паре окончаний лучше всего соответствовало бы сравнение типа chlap|a «мужчины», с одной стороны, с типом kráč|a «они идут», viedl|a «вела» — с другой. Это объясняется тем, что в финском с течением времени развилось явственное различие между именем и глаголом, вследствие чего омонимичные формы как в области имени, так и в области глагола относятся не к тому уровню, к какому относятся омонимичные формы, из которых одна принадлежит имени, а другая — глаголу. Например, usko|n (вин. п. ед. ч.) — usko|n (род. п. ед. ч.) от существительного usko «вера» в противоположность usko|n (1-е л. ед. ч. наст. вр.) от глагола usko|a «верить».

Следующее существенное различие заключается в том, что если в финском языке отдельные окончания употребляются внутри крупных подсистем имени — глагола по всей системе в целом, то в языках того типа, каким является словацкий, употребление отдельных окончаний, например, в пределах группы имен существительных, связано с определенными парадигмами. Далее, существует еще большее различие между парадигмами какого-то определенного грамматического рода и парадигмами других родов. Наконец, в иной плоскости выступают омонимичные формы одной и той же парадигмы в пределах единственного числа в противоположность парадигме множественного числа (например, chlap|ovi — форма дат. и предл. п. ед. ч. в противоположность chlap|om — форма твор. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч.). Кроме того, существует различие между омонимами самостоятельных и несамостоятельных падежей (например, kost'|i

«кости» (форма род. и дат. п. ед. ч.) противостоит kost'|i «кости» (форма предл. п. ед. ч.); последняя падежная форма несамостоятельна, ибо употребляется только в сочетании с предлогами).

Перечисленные немаловажные различия между омонимическими падежными формами, благодаря которым становится возможным их существование в языках такого строя, как словацкий, отсутствуют в языках типа финского, то есть в языках, не имеющих грамматического рода и вследствие этого не обладающих парадигматическим богатством, которое базируется на различии окончаний (если в языках типа финского и можно зафиксировать наличие парадигм, то они характеризуются лишь отличием основных и корневых элементов, как это имеет место в финском языке). И поскольку в языках, не имеющих грамматического рода, определенные окончания употребляются по всей системе склонения в целом, постольку самостоятельность этих окончаний в таких языках оказывается гораздо большей, чем в языках типа словацкого, имеющих грамматический род [28]. Поэтому нельзя механически сопоставлять систему падежных и вообще словоизменительных форм, например финского языкового типа, с гораздо более сложной системой словоизменительных элементов, например в словацком языковом типе (как, скажем, -n и -a в случаях, указанных выше).

Сам Скаличка в ряде своих работ, когда речь идет о языках с грамматическим родом, склонен допустить наряду с семой падежной и числовой наличие в окончаниях и родовой семы. Но поскольку грамматический род в языке представляет собой фактор языковой номинации, а не языковой соотнесенности [29], то более естественным является то, что более или менее выразительная родовая сема оказывается «локализованной» в корне или в основе, а не в падежном окончании. Конкретно в окончании -a в chlap|a «мужчины» локализованы лишь семы родительного падежа и единственного числа, а в žen|a «женщина» — семы именительного падежа и единственного числа, тогда как сема мужского или женского рода локализована скорее в корнях

---

[28] Любопытно, что в последних двух больших работах о грамматическом роде в чешском языке не обращается достаточного внимания на эти важные вопросы (1. Fr. O b e r p f a l c e r, Rod jmen v češtině, Praha, 1933; 2. K. R o c h e r, Gramatický rod a vývoj českých deklinací jmenných, Praha, 1934).

[29] Оба термина я использую с таким понятийным наполнением, как их употребляет В. Матезиус («языковая номинация» и «языковое соотнесение»); ср., например, в его работе «Funkční linguistika», «Sborník přednášek proslovených na Prvém sjezdu čsl. prof. filos., filol. a hist. v Praze», 3—7. dubna 1929, Praha, 1929, стр. 124 и сл.; ср. также его статью «Několik zásadních slov o kongruenci», SMS, XIV, 1936, стр. 15 и сл.

chlap- и žen-. Наконец, семы единственного и множественного числа в тех случаях, когда они не имеют своей особой морфемы, то есть своего особого окончания, также характеризуются тенденцией перехода в область концептуальной, функциональной стороны корня, в семантемы или другие ближайшие родственные словопроизводительные семы основ. Этим фактом объясняется большая несамостоятельность падежных окончаний в языках с грамматическим родом, то есть в плане звуковом, морфемном, и более прочное соединение, даже слияние отдельных морфем друг с другом.

С этой точки зрения в венгерском и в еще большей степени в финском языках не только почти не окажется омонимических форм в словоизменительных суффиксах, но будет иначе выглядеть и проблема частичной «флективности». Если бы мы и допустили, что с некоторыми окончаниями связаны сразу две семы, все равно не могло бы утратиться существенное различие между агглютинирующим и флективным типом: в агглютинирующем языке двухсемная конечная морфема менее тесно связана с корнем или основой, чем в языке флективном; отмеченное обстоятельство, как мы заметили выше, в агглютинирующем языке обусловлено отсутствием грамматического рода и употреблением окончаний по всей системе языка в целом, правда в пределах больших подсистем имени — глагола. Это соединение настолько свободно, что оно требует компенсации в звуковом плане посредством зависимых чередований гармонии гласных, а также зависимых консонантных чередований, функционирующих в качестве сигнализации принадлежности окончаний к предшествующим корням или основам.

Но, кроме того, в ряде случаев оказывается не вполне ясным, можно ли говорить о наличии двух сем в одной морфеме. Например, падежные окончания, означающие одновременно место и направление, относительно которых Скаличка предполагает, что в них «локализованы» всегда две семы в одной морфеме, почти все в морфологическом отношении являются разложимыми на две морфемы, из которых каждая имеет лишь одну соответствующую ей сему (вокалический элемент в последующих примерах мы выделяем тоже в качестве особой морфемы, так как здесь почти всегда выступает чередующийся гласный, подвергаемый гармонии гласных, однако, как мы указали выше, этому гласному элементу не соответствует в функциональном плане какая-либо сема). Приведем примеры из венгерского языка. Здесь мы имеем b|ó|l, b|a|n, b|a с общей морфемой b-; морфема -l является такой же, как в t|ó|l и r|ó|l; морфема -n — такой же, как в n|á|l и n в формах типа asztal|o|n «на столе»; отношение ból к ba подобно отношению ról к ra; также только

-hoz является неразложимым двухсемным окончанием (с большой уверенностью это можно было бы допустить относительно -n, а на последующей ступени — относительно tól и nál). То же самое наблюдается и в финском языке: s|t|a, s|s|a, h|a|n, где основой является -s-, а также чередующееся с ним h (<z); окончанию -sta соответствует -lta, окончанию -ssa — -lla (<-sna, -lna; итак, первоначально было -sta, -sna в противовес -lta, -lna); окончанию han соответствует -lle, которое также распадается на l|le с тождественной морфемой l-, как l- в l|ta и l|la; любопытно, что параллелизм в ассимиляции [30] lna > lla и sna > ssa также является доказательством тенденции сохранить не только «внешне» и в последующем регулярность отношений между параллельными окончаниями, но и удержать базу для этих трех форм с l и s и с местным значением («при» и «в»).

После подобного анализа мы можем найти немного случаев с сочетаниями двух сем в одной морфеме, например при личных окончаниях в спряжении, хотя и здесь сохраняется затруднение, связанное с тем, что формы множественного числа не могут рассматриваться в качестве множественных форм единственного, как это доказывает и развитие окончаний для третьего лица (pat, vat первоначально распадалось на pa|t, va|t), так что форма 3-го л. мн. ч. совпала с формой мн. ч. действительного причастия настоящего времени; форма 3-го л. ед. ч. первоначально опять-таки была формой того же причастия в исходном, номинативном падеже; но позднее, когда глагол стал более выразительно отличаться от имени, развитие формы 3-го л. ед. ч. из pa, va через обобщенное pa > pi вплоть до *ф* с заместительным удлинением корневого и основного гласного затемнило, а потом вообще привело к утрате морфемного шва при обобщенном va|t; итак, va|t изменилось в vat, и целое готовое окончание -vat было перенесено [31] из настоящего времени и из потенциалиса в претерит и кондиционалис, например, форма 3-го л. мн. ч. luke|va|t > luke|vat в противоположность форме 3-го л. ед. ч. luk|ee, где даже в морфологическом составе нет и намека на 3-е л. ед. ч., + показатель множественности -t, который в настоящее время употребляется уже только при именах; ср. до сих пор именные формы luke|va «читающий» (ед. ч.) — luke|va|t «читающие» (мн. ч.).

С иным затруднением сталкиваемся мы при номинативе без окончания, который, по Скаличке, содержит нулевую морфему (zéro morphologique). Мне думается, что при подобной интерпре-

---

[30] Ср. Budenz J.— Szinnyei J., Finn nyelvtan, изд. 5-е, Budapest, 1900, стр. 20.

[31] Ср. Szinnyei J., Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, изд. 2-е, Berlin — Leipzig, 1922, стр. 130.

тации мы можем ощутить влияние славянского языкового сознания, где (как, например, в чешском) типу chlap|ф «мужчина» — chlap|a «мужчины» противостоит ныне тип žen|a «женщина» — žen|ф «женщин», měst|o «город» — měst|ф «городов» и т. п.

В финском языке находим просто основу «без окончания», то есть корень или основу без нулевой морфемы. Подобный падеж без окончания, номинатив, употребляемый также частично и в функции аккузатива, является основной «базой», к которой в подлинном смысле слова присоединяются, то есть агглютинируются с ним настоящие падежные окончания. Так же обстоит дело и во множественном числе, где номинатив получает показатель множественности -t. Не меняет дела и то обстоятельство, что в последующих падежах множественность (иногда наряду с -t- или с его альтернантом -d-) выражена с помощью морфемы -i-. О наличии нулевых морфем в номинативе единственного или множественного числа в финском языке можно было бы говорить только в том случае, если бы в противоположность типу «номинатив: корень + ф — последующие падежи: корень + окончание» существовал еще тип «номинатив: корень + окончание — хотя бы один из последующих падежей: корень + ф», как в славянских языках. Если это соображение справедливо, то тогда рушится и утверждение [32] Скалички о том, что в финском языке все существительные характеризуются словесным клише «семантема + (словообразовательный, основообразующий суффикс +) окончание».

Номинатив, «падеж» наименования, в финской системе стоит, следовательно, целиком обособленно и является только основой, из которой исходят при настоящем склонении. Ничего не меняется от того, что эта основа в некоторых случаях в значительной степени отлична от основы остальных падежей (типы mies «мужчина» — miehen, jalka «нога» — jalan, käsi «рука» — käden, tyttö «девушка» — tytön и т. п.), потому что в языковом сознании финнов понятие зависимых морфологических чередований представляет собой не только весьма обычное, но и чрезвычайно живое явление [33]. На этом основании следует видоизменить ограничение дифференциации «сема : морфема» для финского языка [34], даваемое Скаличкой, так как иллативные формы типа taloon нельзя интерпретировать как taloo|n в противопоставление генитивной форме talo|n «дом»; иллатив в морфемном отноше-

---

[32] В цит. книге Скалички, стр. 50. [наст. сб., стр. 176]. О термине «словесное клише» (Wortcliché) ср. стр. 67 указ. книги [см. наст. сб., стр. 194].

[33] Ср. E. N. S e t ä l ä, Suomen kielioppi. Äänne-ja sanaoppi, изд. 12-е, Helsinki, 1930, стр. 10 и сл.

[34] См. цит. книгу Скалички, стр. 49 [наст. сб., стр. 175].

нии разлагается на talo|ϕ|o|n, где нулевая морфема чередуется с -s- или h (< z) в таких формах, как sateesen «в дождь» (sateeseen), päähän «в голову» и т. п.

Приведенные рассуждения, которые можно продолжить, в достаточной степени, на наш взгляд, показывают, что определение различий между агглютинацией и флексией (агглютинация — сочетание двух сем, из которых по крайней мере одна является формальным элементом, в одном слове; флексия — сочетание [мы бы добавили: по крайней мере] двух сем в одной морфеме), выдвинутое Скаличкой, следует заменить новым, так как с его помощью нельзя характеризовать всю языковую систему и так как при подобном определении некоторые языки выступали бы отчасти агглютинирующими, отчасти флективными (такие, как финский, венгерский и др. языки). При этом, как мы уже выше отмечали, возникает затруднение, с которым сталкивалась уже старая, так называемая морфологическая типология языков, ее-то и хотел после пересмотра реабилитировать Скаличка.

При последующем анализе нам придется обратить более пристальное внимание на явление, которое именуется склонением. Из него исходила и старая типология, и не без оснований, поскольку важнейший характер склонений — перекрещивание падежной системы с так называемыми грамматическими категориями — действителен в общих чертах и для всего словоизменения, особенно для спряжения, опять-таки с перекрещиванием системы лиц с грамматическими категориями.

В литературном словацком языке (и в еще большей мере в других важнейших литературных славянских языках — в русском, польском и сербохорватском) во множественном числе мы можем констатировать большой синкретизм отдельных склонений и в связи с этим обобщение определенных окончаний для всего склонения в целом в большей мере, чем в единственном числе. Это возможно прежде всего потому, что во множественном числе родовые противопоставления уступают место иным, например в литературном словацком языке — противопоставлению «одушевленные личные — все прочие», хотя в конце концов оно имеет силу чаще всего лишь для именительного и винительного падежей. С этой точки зрения, например, окончание творительного падежа множественного числа -mi (-ami) в противоположность окончаниям того же падежа в единственном числе выражает уже только множественность (здесь мы не должны принимать во внимание те оговорки, которые мы привели выше, при обсуждении проблемы локализации родовых сем). Обобщение суффикса -mi для всего языка, несомненно, повысило относительную «самостоятельность» суффикса

как такового. Говоря более строго: морфемный шов между основой или корнем и окончанием является в этом случае более отчетливым, чем в формах других падежей (ср. и синхронное проявление этого факта в дублетах типа chlap|a|mi — chlap|mi).

Представим себе, что этот принцип при отсутствии каких-либо грамматических родов [35] у имен был бы актуален для всего склонения, вследствие чего существовало бы два ряда окончаний: один для единственного и другой для множественного числа, действительных для всего языка в области имени. Это означало бы, что формальное различие выражало бы одновременно падеж и число, что достигалось бы взаимным перекрещиванием омосемических групп (сходство в падежах способствует различению числа, сходство в числе — различению падежей). В такой языковой системе неизбежно пришлось бы говорить об агглютинации, так как соединение суффиксов с корнями или основами было бы неизмеримо свободнее, чем в языках флективных в обычном смысле этого слова. Агглютинации в такой мере не противоречила бы двухсемность в тех языках, где грамматический род является важным фактором и при классификации образцов склонения, как, например, в словацком языке, и где, следовательно, серии противопоставлений сингулятивных и плюральных суффиксов всегда ограничены определенными родовыми однородными группами с добавочным делением на известные образцы.

Из этого заведомо упрощенного рассуждения ясно, что сам факт двухсемности морфем (подразумевается: словоизменительных и реже — словопроизводных) не является еще существенным критерием при различении языковых типов флективного и агглютинирующего, если флективность заключается в двухсемности, а агглютинация — в моносемности суффиксальных образований. Гораздо более существенным фактом является актуальность этих образований для всей системы имени или глагола или же для ее части. Этот факт неразрывно связан или с отсутствием грамматических родов или с отсутствием каких-либо других грамматических категорий в функции основных факторов при классификации словоизменительных образцов [36] и с выражением грамматических категорий

[35] Об именных родах и вообще о грамматических категориях в целом см. подробнее, кроме работ, цитируемых здесь в сн. 28, например Ж. Вандриес, Язык, М., 1933; из чехословацких работ: J. Baudiš, Řeč. Úvod do obecného jazykozpytu, Bratislava, 1926, стр. 89 и сл., и в последнее время F. Oberpfalcer, Jazykozpyt, Praha, 1932, стр. 262 и сл.

[36] О подобных отношениях в индоевропейском праязыке см., например, А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М., 1938, а также J. Baudiš, Struktura jazyků indoevropských, Bratislava, 1932, стр. 71—73.

особым знаком, то есть специальной морфемой, иной, чем морфема падежная или личная.

С этой точки зрения не только турецкий, но и финский и венгерский языки окажутся языками по преимуществу агглютинирующими в противоположность, например, эстонскому языку, который постепенно в результате позднейшего развития приблизился к флективному индоевропейскому типу [37], в частности к языкам балтийского типа (ср. в плане фонологическом также возникновение вторичной словесной интонации, типичной для балтийского языкового союза) [38].

Заключаем: многоплановость отличий между флективным языковым типом, с одной стороны, и агглютинирующим — с другой, не позволяет, как мы видели, использовать простую формулу, основанную, кроме всего прочего, на сомнительном выдвижении противопоставления понятийных пар «сема — морфема».

---

[37] Об историческом развитии см. A. Saareste, Die estnische Sprache, Tartu, 1932; эти вопросы я разбирал в сравнении с финским в работе «Essai d'une typologie de la langue finnoise», написанной в июне 1934 г. (существует в рукописи); ср. также В. Скаличка, цит. книга, стр. 65—66 [см. наст. сб., стр. 193—194] и его же, Notes sur la déclinaison des langues eurasiatiques, «Archiv Orientální», VII, 1935, стр. 354.

[38] Ср. R. Jakobson, Über die phonologischen Sprachbünde, TCLP, 4, 1931, стр. 234 и сл.

В. Матезиус

О СИСТЕМНОМ ГРАММАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ *

Организаторы I Международного конгресса лингвистов, происходившего в Гааге в апреле 1928 г., считали, что одна из основных задач, стоящих перед современным языкознанием, состоит в выработке подлинно удовлетворительного метода для всеобъемлющего анализа конкретного языка. Это свидетельствовало о правильной оценке современного состояния лингвистического исследования, ибо развитие языкознания за все двадцатилетие перед этим конгрессом привело нас к решению вопросов, связанных с системным анализом языка, и в то же время наметило пути для успешного решения связанных с этим проблем. Системный анализ того или иного языка может проводиться лишь на строго синхронной основе и с помощью аналитического сравнения, то есть посредством сравнения языков различного типа без учета их генетических связей. Только таким способом можно понять данный язык как органическое целое и в достаточной мере правильно выявить значение и функции лингвистических явлений, из которых слагается язык. Чтобы успешнее использовать методы аналитического сравнения, необходимо анализировать отдельные языки лишь с функциональной точки зрения, потому что только этот способ позволяет провести точное сравнение различных языков. Общие потребности выражения и коммуникации, свойственные всему человечеству, являются единственным общим знаменателем, к которому можно свести выразительные и коммуникативные средства, различающиеся в каждом языке. Лингвистический анализ, основанный на этих принципах, должен быть в конечном итоге направлен на установление взаимных причинных связей между сосуществующими явлениями данного языка. Современная лингвистика в отличие от лингвистических направлений, господствовавших в конце XIX и начале

---

* Vilém M a t h e s i u s, O soustavném rozboru gramatickém, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 157—174.

XX в., представляет, как я уже неоднократно отмечал, хорошую базу для подобного анализа, а в понимании языка как системы знаков этот анализ получает надежную теоретическую основу.

Значение нового функционального и структурного понимания языка впервые выявилось при анализе звуковой стороны языка, и фонология, которая занимается этим анализом, ныне уже прочно стоит на ногах. В области собственно грамматического анализа подобная задача еще только должна быть выполнена. Правда, с 1900 г. предпринималось несколько значительных попыток создать общеприемлемую систему грамматического анализа, но даже результаты поистине неутомимых и оригинальных попыток профессора *Есперсена* нас не могут удовлетворить вполне. И последняя работа Есперсена о грамматической системе современного английского языка, его «Основы грамматики английского языка» («Essentials of English grammar», 1933), в которой он прекрасно изложил свои выводы, полученные после длительного и тщательного изучения этого языка, не оправдывает надежд и не содержит полного и ясного анализа его грамматической системы во всех ее основных компонентах. Причины такого скромного успеха различны; на двух причинах мы должны будем остановиться в ходе своих рассуждений. Есперсен с похвальным упорством стремится опереться на такие языковые явления, которые поддаются непосредственному наблюдению, но при этом, как мне представляется, он недооценивает то обстоятельство, что под оболочкой внешних явлений можно вскрыть более глубокие факты действительности. Он не учитывает в достаточной мере, что научное исследование обязано теоретически обобщать сбивающее с толку богатство фактов действительности, так как в противном случае нельзя будет создать такую ясную систему выводов, на базе которой можно продолжать исследование. Именно поэтому у Есперсена нет ясного представления о том, какие принципы следует рассматривать в качестве основных. Относительную значимость языкового факта в грамматической системе данного языка можно определить только путем выявления его функции в рамках всей системы; она отчетливо выступает на фоне удачно подобранного сравнительного материала других языков. Проф. Есперсен уже не раз доказывал, что он хорошо понимает функциональную точку зрения и всегда с успехом на уровне современной науки использует сравнительный материал других языков. Следовало бы поэтому ожидать, что в своей работе «Основы грамматики английского языка» он эффективно будет использовать эти методические средства, ибо данная книга ставит целью, по его словам, подвести читателя, владеющего

английским языком, к правильному пониманию структуры этого языка. Наши ожидания, к сожалению, не оправдались. Хотя книга Есперсена является весьма ценным собранием тонко подмеченных и тонко оцененных грамматических фактов, в ней все же нет анализа грамматической системы. На вопрос, который в свое время поставили организаторы конгресса в Гааге специалистам-языковедам, до сих пор нет ответа, а метод, с помощью которого можно было бы осуществить ясный и полный анализ конкретного языка, еще не найден. В последующем изложении я хочу показать, каким путем, на мой взгляд, этот метод можно найти.

Системы всех известных языков созданы главным образом в целях общения, а не в целях выражения. Каждое произнесенное высказывание состоит из двух актов, которые при автоматической манере человеческой речи сливаются с самим высказыванием и проявляются самостоятельно лишь тогда, когда какое-либо внезапное препятствие замедляет темп одного из них или вообще делает его невозможным. Один из этих актов заключается в том, что из конкретной или абстрактной действительности отбираются отрезки с той целью, чтобы, во-первых, именно на них сосредоточилось внимание будущего говорящего, и, во-вторых, чтобы их удалось закрепить словарным составом языка, о котором идет речь. Второй акт состоит в том, что языковые знаки, обозначающие отобранные отрезки действительности, вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего образуется органическое целое, предложение. Эти обычные факты действительности не отменяются наличием крайних случаев, когда для обозначения определенной реальности из словарного состава языка отбирается лишь одно-единственное слово, которое затем становится само по себе предложением. Если мы хотим дать полный и органический анализ системы выразительных средств, именуемой языком, то, несомненно, лучше всего это можно сделать на базе указанных основных актов. Таким образом, мы подходим к двум важнейшим направлениям лингвистических исследований: изучение средств и способов называния отдельных элементов действительности и изучение средств и способов объединения этих называний в предложения в рамках той или иной конкретной ситуации. За исходную точку исследования всегда будут приниматься коммуникативные потребности говорящего. Из этого с необходимостью вытекают два вывода: во-первых, мы двигаемся от речи как чего-то непосредственно данного к языку, который в виде системы реален лишь в идеальном плане, и, во-вторых, от функциональных потребностей к формальным средствам, с помощью которых они удовлетворяются. Установленные таким

образом лингвистические дисциплины можно назвать *функциональной ономатологией* и *функциональным синтаксисом*. Морфология же, которая занимается группировкой выразительных средств системы, основанных на их формальной близости, имеет отношение к обеим областям, поскольку члены одной и той же морфологической системы могут быть функционально включены как в ономатологию, так и в синтаксис.

Было бы бессмысленно утверждать, что все проблемы, касающиеся функциональной ономатологии и функционального синтаксиса, являются совершенно новыми и что ни одна из них до сих пор никогда не обсуждалась. Бесполезно было бы, однако, отрицать, что новая формулировка этих проблем, основанная на функциональной точке зрения, поможет по-новому и гораздо глубже осветить эти проблемы, а также по-новому классифицировать уже известные и открыть новые факты. Достаточно бегло ознакомиться с содержанием «Основ грамматики английского языка» Есперсена, чтобы понять, как вредит анализу грамматической системы языка недооценка различий между обоими основными актами, из которых слагается высказывание и которые отражаются в языковой системе. Безусловно, каждый интеллигентный читатель получит в книге Есперсена весьма подробную информацию о синтаксическом строе современного английского языка и его морфологической системе, но способ, посредством которого удовлетворяются назывные потребности людей, говорящих по-английски, останется для него совершенно неясным. Делу не может помочь и множество прекрасных заметок о лексических категориях и смежных явлениях; разбросанных почти по всей книге. Об этом можно только сожалеть, потому что ономатологические свойства современного английского языка характерны для него не меньше, чем его синтаксические особенности или его морфологическая простота.

Я уже отмечал, что функциональная ономатология изучает инвентарь языковых наименований (называний в самом широком смысле этого слова) и их использование в конкретных высказываниях. Просмотр языковедческой литературы последних лет показывает, сколь важна эта проблема. Наиболее часто ставится на обсуждение серьезная и трудная проблема значения слова. Работа профессора *О. Функе* «О функции наименования» («On the function of naming»), недавно напечатанная в восемнадцатом томе голландского журнала «English Studies», содержит поучительный обзор литературы по истории вопроса и приводит результаты исследования этой проблемы в соответствие с основными положениями современного языкознания. В отличие от

А. Гардинера, который в своей книге «Теория речи и языка» («Theory of speech and language»), изданной в Оксфорде в 1932 г., чрезмерно подчеркивает в противоположность контекстуальному смыслу слова его логическое или лексическое значение, имеющее отношение к языку, Функе открыто заявляет, что функция называния, то есть приведение слов в связь с объективной действительностью, относится к речи, к конструкции предложения и к ситуации, с которой связано предложение. Менее ясно истинное значение для языкознания другого различия, о котором упоминалось в трудах по ономатологии в последние годы. Я имею в виду различие смысла (Meinung) и собственно значения (Bedeutung). К этому вопросу наряду с другими лингвистами неоднократно обращался *Ф. Слотти* (см., например, в сб. «Donum Natalicium Schrijnen», Nijmegen, 1929, и в первом выпуске «Travaux du Cercle linguistique de Prague», Praha, 1929). Нельзя отрицать, что нечто подобное действительно существует, ибо предмет, который мы имеем в виду (Meinung), обозначается в человеческой речи, как правило, намеком или указанием на какое-либо его свойство независимо от того, идет ли речь о свойстве действительном или предполагаемом (Bedeutüng). Очевидно, собственно значение (Bedeutung) отражает субъективный способ, с помощью которого определенный предмет воспринял тот, кто его впервые назвал. Так (используем пример, приводимый проф. Слотти), kohoutek «курок» у ружья получил свое название потому, что тот, кто его впервые назвал, обратил внимание на его сходство с головой и изогнутой шеей петуха (kohout). Трудность, однако, заключается в том, что проф. Слотти, специалист по сравнительному индоевропейскому языкознанию, в достаточной степени не различает диахроническую и синхроническую точки зрения. Он постоянно имеет в виду собственно акт номинации, то есть создание нового названия, а это, если не принимать во внимание поэтический язык, случай, как правило, очень редкий. В устоявшемся словарном составе различие между смыслом (Meinung) и собственно значением (Bedeutung) представляется в совершенно ином свете. Смысл (Meinung) данного слова живет в языке до тех пор, пока слово, о котором идет речь, входит в состав живого словарного фонда, то есть может активно использоваться в речи. Собственно значение (Bedeutung), напротив, обычный говорящий может отгадать лишь изредка, да и то поймет его лишь в том случае, если на это будет обращено его внимание. Следовательно, то, что проф. Слотти называет значением (Bedeutung) и что мы именуем собственно значением, с синхронной точки зрения обладает лишь ограниченной реальностью, да и та носит ярко выраженный потенциальный харак-

тер. С этими оговорками можно признать, что систематическое изучение собственно значений (Bedeutung), которые обычный говорящий отгадывает в определенную эпоху, может весьма интересно объяснить специфику словарного состава того или иного языка.

Другой вопрос ономатологии, заинтересовавший многих лингвистов в последние годы, касается проблемы частей речи. Здесь я опять могу сослаться на проф. Слотти, который в названных выше статьях исследует сущность частей речи, а в работе, напечатанной в сборнике, посвященном Схрейну, прослеживает всю историю вопроса по этой проблеме за последние годы. Я полностью присоединяюсь к мнению, высказанному Слотти, что самые важные части речи выступают в двух планах: с одной стороны, они выражают классификацию предметов и свойств внешней действительности (а по аналогии с ней и психической деятельности), среди которых опять-таки различаются свойства постоянные и свойства преходящие, и, с другой стороны, являются носителями главных синтаксических функций как формальные выразители подлежащего, дополнения, определения и сказуемого. Признание данного факта, однако, — лишь первый шаг к решению целого ряда возникающих в связи с этим проблем. Последние нельзя считать решенными даже после установления частей речи, явно существующих в данном языке, выяснения их ономатологического и морфологического характера и их взаимоотношений и в особенности возможностей перехода слова из одной части речи в другую. Части речи являются лишь базой для классификации, с помощью которой говорящий получает возможность овладеть словарным составом своего языка. Система классификаций продолжается и внутри частей речи; характер и значение вторичных категорий, возникающих в результате дальнейших классификаций, насколько я могу судить, едва ли в достаточной мере занимали до сих пор внимание специалистов-языковедов.

При анализе последующих классификаций необходимо различать два ряда фактов. Иногда мы замечаем, что при переходе слова из одной вторичной категории в другую изменяется лишь внешний аспект соответствующих значений, а их общая основа остается неизменной. Напротив, в других случаях различие между двумя вторичными категориями настолько радикально, что сказывается на всем значении слова. Первый тип классификационных различий можно назвать *аспектными модификациями*, второй — *категориальными различиями*. Точное значение этих терминов иллюстрируют следующие ниже примеры. У существительных аспектная модификация состоит главным образом в различиях числа (например, kámen «камень»,

kameny «камни», kamení «каменья») и целостности (например, французские un pain, du pain, les pains, des pains) в определенности (например, английские man, a man, the man) и в квалифицирующем роде (в отличие от рода формального), выражающем, например, эмоциональную окраску, которая возникает при изменении рода в чешском словосочетании kluk nezbedná «озорной мальчик», или в различии принадлежности к полу: učitel «учитель», učitelka «учительница», pán «господин», paní «госпожа». У прилагательных аспектные модификации ограничиваются в основном степенями сравнения, так как категория числа и грамматический род являются у них признаками грамматического согласования и не несут собственно ономатологической функции. Это можно наблюдать на примере современного английского языка, в котором имена прилагательные не имеют ни числа, ни грамматического рода. У глаголов разнообразные функции проявляются по-разному. В своем первичном значении, но не в синтаксической функции характер аспектных модификаций носят абсолютные времена и наклонения и, кроме того, все явления, которые можно объединить под общим названием «глагольный вид». Число и грамматический род, выражаемые личной формой глагола, как и у прилагательных, являются признаками грамматического согласования; к грамматическому согласованию относятся также различия в грамматическом лице, ибо языки типа современного английского свидетельствуют о том, что это, собственно, функция подлежащего, а не глагольного сказуемого. Залоговые различия я отношу скорее к синтаксису и полностью разделяю взгляды проф. Есперсена, изложенные им в его труде «Philosophy of Grammar» * (см. стр. 164).

Каждому, кто знает несколько языков, очевидно, что между аспектными модификациями некоторых языков наблюдаются существенные различия. Тогда как в одном языке определенная аспектная модификация может быть существенной принадлежностью его грамматической системы, систематически им использоваться и обладать отчетливыми формальными средствами для своего выражения, в другом языке эта же самая модификация может представлять собой всего лишь случайный компонент для более точной характеристики значения. Так, например, наличие артикля в германских и романских языках свидетельствует о том, что категория определенности выступает в них как существенный элемент грамматической системы, тогда как отсутствие артикля в большинстве славянских языков свидетель-

---

* На русском языке см. О. Есперсен, Философия грамматики, М., ИЛ, 1958, стр. 188.— *Прим. ред.*

ствует о том, что определенность существительных является в этих языках случайным фактором. Аспектные модификации являются определяющим фактором при решении проблем глагольного вида в германских языках, так как глагольный вид в этих языках не является существенным элементом грамматической системы, как в языках славянских. В чешском языке, например, каждый глагол уже по способу своего образования относится к определенному видовому типу, в то время как в английском глагол сам по себе, как правило, не принадлежит к какому-то определенному видовому типу и может поэтому переходить без каких-либо формальных изменений из одного видового типа в другой. Для чешского языка, следовательно, необходимо выяснить, какие существуют формальные видовые типы и как они используются в целях передачи конкретного контекста. Для английского, напротив, следует лишь знать, какие формальные средства имеются в распоряжении для выражения видовых значений, обусловленных контекстом. Правда, в так называемом расширенном спряжении (expanded или progressive form) современный английский язык имеет формальные средства для выражения специальной аспектной модификации глагольного значения, но основная функция этого спряжения не имеет ничего общего с выражением длительности или с чем-либо подобным глагольному виду в славянских языках. Со строго синхронной точки зрения это прежде всего средство, которое выражает актуальность соответствующего действия, а длительность, подобно описательности или эмфатичности,— лишь вторичный аспект, вытекающий из основной функции. Это становится очевидным при сопоставлении английских предложений I am now going to school «Сейчас я иду в школу» и I now go to school «Сейчас я хожу в школу» и соответствующих чешских Ted'jdu do školy «Сейчас я иду в школу» и Ted'chodím do školy «Сейчас я хожу в школу». В чешском подчеркивается различие между действием однократным и действием повторяющимся; при этом различие, которое является существенной чертой чешской видовой системы, выражено таким образом, что действие однократное считается нормальным, тогда как повторяющееся действие выражается особой глагольной формой. В английском же, напротив, налицо различие между действием обычным и действием актуальным; за нормальное принимается действие, понятое в общем смысле, тогда как действие актуальное выражается путем расширенного спряжения. В соответствии с терминологией функциональной лингвистики это означает, что в чешском языке маркированным членом противопоставления является действие повторяющееся, а в английском — действие актуальное. Противопоставление длительность —

недлительность не играет никакой роли ни в чешском, ни в английском языках.

Что понимается в нашем изложении под категориальными различиями, очень хорошо показывают факты, приводимые *К. Ф. Сунденом* во второй его работе, изданной вместе с первой в Упсале в 1916 г. (I. «The predicational categories in English»; II. «A category of predicational change in English»). Автор говорит, что в своей работе он стремился изучить исконно переходные глаголы, активные формы которых приобрели вторичное пассивное значение, что позволяет с их помощью выразить активное сказуемое, относящееся к тому слову, которое в первоначальном значении было подчинено ему в качестве прямого дополнения. Сунден называет это предикативным изменением. Данный термин правилен в том смысле, что истинный характер исследуемого глагольного значения можно установить лишь для предложения, в котором соответствующий глагол выступает в качестве сказуемого. Но было бы ошибкой рассматривать данную проблему как проблему чисто синтаксическую. Ясно, что речь здесь идет о факте, тесно связанном с вторичной классификацией ономатологической глагольной категории, и Сунден сам считает, что исследуемый факт является характерной чертой смысловой структуры английских глаголов. В ономатологическом освещении эта проблема представляется следующим образом. Переходность и непереходность как основа вторичных категорий в классе глаголов четко различается в ряде языков, и глагол, как правило, в таком языке не может перейти из одной указанной категории в другую, формально не изменившись в новый глагол. Такое положение характерно, например, для чешского языка. В современном английском языке, однако, различие между переходным и непереходным глаголом чрезвычайно слабое, и глагол поэтому может легко превратиться из переходного в непереходный или, наоборот, причем без формальных изменений в своей структуре. Так, например, глагол to read означает не только číst i «читать», как в предложении Tuto knihu čtu už po třetí «Эту книгу я читаю уже в третий раз», но и čísti se «читаться», как в предложении Tato kniha se pěknč čte «Эта книга прекрасно читается». Мы должны допустить, что понятийное содержание английского глагола более отвлеченно и менее конкретно, нежели понятийное содержание аналогичного глагола в том языке, где различие между переходностью и непереходностью ощущается сильнее. Так, понятийное содержание глагола čísti в чешском языке мы можем передать как выражение глаголом действительного или потенциального действия, которое заключается в том, что написанные или напечатанные знаки объединяются в выразительные конструкции,

задуманные пишущим. Аналогичный английский глагол to read означает, напротив, пребывание в некоей связи с подобным действием. Этим объясняется и то, почему в современном английском языке возможно широкое употребление таких типов пассивных сказуемых, какие невозможны в языках, где глаголы обладают более узким и конкретным значением. Что указанные факты как в английском, так и в чешском языках относятся к ономатологическим особенностям языка, подтверждается тем, что нечто аналогичное можно установить в обоих языках также у имен существительных и прилагательных. Категориальным различиям указанных частей речи было уделено до сих пор очень мало внимания, и именно поэтому большое достоинство книги Н. Бёгхольма о значении слов в английском языке («Engelsk Betydningslaere», Копенгаген, 1922) состоит в том, что автор рассматривает эти различия в нескольких главах.

Под углом зрения вторичных классификаций следует изучать также разряды и различия, относящиеся к морфологии. Я уже отмечал, что морфология, занимающаяся группировкой выразительных средств языка в формальные системы, соприкасается с функциональной ономатологией и функциональным синтаксисом. Поэтому не удивительно, что при таком анализе будет установлено, что морфологические факты с ономатологической точки зрения обладают совершенно иным значением. Например, в чешской морфологической системе склонения различия в формах между одушевленными и неодушевленными именами относятся к различиям категориальным (balíky — balíci «пакеты, посылки, свертки — провинциалы»; té špíně — tomu špínovi «той грязи — тому грязнуле»); различия, выражающие принадлежность к полу, относятся к области аспектной модификации (pán «господин»— paní «госпожа»); различия же, связанные с грамматическим родом, не имеют вообще ономатологического значения (dvůr «двор», zahrada «сад», pole «поле»). Таким образом, чешские глагольные классы выражают иногда аспектные модификации (nesu — nosím «я несу — я ношу»; kopnu — kopám «я копну — я копаю»), иногда же вообще не несут ономатологической функции (kopu — kopám «я копаю»). В современном английском языке функции морфологических типов главных частей речи несколько иные, во-первых, потому, что английский относится к менее флективным языкам, чем чешский, и, во-вторых, потому, что в этом языке имеют место иные отношения между ономатологией и синтаксисом.

Центральной проблемой синтаксиса является, конечно, проблема предложения. Попытки найти определение предложения, которым могло бы воспользоваться научное языкознание, все

время продолжаются. В последние годы критический обзор этих попыток дали Джон Рис (см. John Ries, Was ist ein Satz, Praha, 1931) и Е. Зейдель (Eugen Seidel, Geschichte und Kritik der wichtigsten Satzdefinitionen, Jena, 1935). А. Гардинер стремится в указанной выше книге о речи и языке решить очень важный вопрос о том, какое место отвести предложению в грамматической системе. Он относит слова к языку, а предложения — к речи и тем самым приходит к дихотомии, которая подкупает своей исключительной точностью. Однако именно эта необыкновенная точность рождает у подлинного специалиста недоверие, ибо чем глубже вникаешь в структуру языка, тем больше убеждаешься в ее сложности и тем отчетливее сознаешь, что нельзя найти такие элементарные и отчетливые выводы, которые бы не искажали фактов объективной действительности. Даже поверхностное ознакомление с фактами, о которых идет речь, оказывается достаточным, чтобы инстинктивное недоверие к утверждению Гардинера оправдалось. То, что по существу подразумевает Гардинер под предложением, представляет собой предложение как индивидуальное высказывание, и только именно так можно понять его рассуждения о сущности предложения. Предложения, по его словам,— это конструкции, составляемые всегда лишь на один момент и сразу же забываемые; их сущность характеризуется двояким необходимым отношением, с одной стороны, к явлению, о котором идет речь, с другой — к какому-либо слушателю или аудитории. Все это верно, поскольку под предложением понимается индивидуальное высказывание. Однако мы обязаны поставить вопрос: ограничено ли предложение целиком лишь преходящим моментом высказывания и обусловлено ли оно как лингвистический факт в целом только индивидуальной ситуацией произнесения? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы принимаем за предложение: какое-либо слово или группу слов, после которых следует пауза и которые обладают определенным смыслом, или что-либо иное. Можно себе представить, что иностранец, не владеющий в достаточной мере чешским языком, воскликнет при виде мчащегося коня: «Běžet — kůň!» («Бежать — лошадь!»), или больной, помещенный в клинику для душевнобольных, изобразит деятельность врача, выписывающего лекарство, словами: «Pan doktor — recept!» («Господин доктор — рецепт!»). В обоих случаях представлена группа слов, завершаемая паузой, в которой при данной ситуации можно уловить определенный смысл. Являются ли, однако, данные группы слов действительно предложениями? Некоторые лингвисты определяют предложение с чисто семиологической точки зрения и отвечают на этот вопрос утвердительно. К ним, естественно, относится Алан Гардинер

и из чешских лингвистов — *Владимир Скаличка*, определяющий предложение просто как элементарную семиологическую реакцию (см. журн. «Slovo a slovesnost», I, 1935). По моему мнению, подобное определение предложения настолько широко, что не может быть применимо в языкознании. С лингвистической точки зрения приведенные группы слов нельзя принимать за настоящие предложения; это патологические замены предложений, ибо они не обладают внешней формой, которую соответствующий язык (в нашем случае чешский) создал для конструкции предложения. Из такого понимания предложения следует, что предложение — это не продукт преходящего момента и по своему существу не может целиком определяться какой-либо ситуацией. Следовательно, предложение не принадлежит целиком речи, а связано в своей обычной форме с грамматической системой языка, к которой оно относится. С этим фактом обязано считаться каждое истинно лингвистическое определение предложения; данный факт не отрицает, собственно, и сам Гардинер, совершенно определенно заявляя, что синтаксические формы и интонация относятся к языку. Однако он все время рассматривает предложение только как конкретное высказывание и поэтому из своего правильного постулата не делает необходимого вывода о том, что предложение как абстрактная модель является синтаксической формой и должно быть отнесено к языку. Можно связать сказанное о предложении с приведенными выше замечаниями проф. Функе о номинативной функции. В конечном итоге следует заключить, что в языке слово выступает в своем концептуальном аспекте, а предложение — как абстрактная модель; в речи же слово соотносится с конкретной действительностью, а предложение реализуется как конкретное высказывание.

Этот вывод еще ничего не говорит о месте, занимаемом предложением в грамматической системе. Едва ли можно найти такой язык, который обладал бы одним-единственным образцом построения предложения; но трудно сказать наверняка, какую модель следует принимать в данном языке за образец предложения, а какую нельзя. Языкознание уже рассталось с предрассудком, будто каждое предложение должно иметь verbum finitum, но на безглагольные предложения еще многие лингвисты смотрят свысока (Есперсен в своих «Основах» называет такие предложения «аморфными»), и их систематическому изучению до сих пор не уделяется должного внимания. Если использовать методы аналитического сравнения, то можно быстро прийти к двум важным выводам о месте, занимаемом безглагольными предложениями в современных европейских языках. В некоторых языках тип безглагольного предложения выражает

самую сущность грамматической системы. В целом их нельзя заменить другим типом предложения, вследствие чего они никогда не исчезнут полностью. Такое положение наблюдается, например, в русском языке, где безглагольные предложения являются нормальным типом для выражения некоторых видов оценочных и притяжательных предикаций. В других языках, например в чешском, безглагольные предложения, не находясь в такой тесной связи с самой сущностью грамматической системы, являются типом окказиональным. Здесь они всегда могут быть заменены глагольными предложениями, а в некоторых стилях вообще не встречаются. Но даже и в чешском языке безглагольные предложения не являются всего лишь конструкциями ad hoc и их нельзя исключить из области языка. При сравнении английского языка с чешским обнаруживается полное расхождение в этой области — в каждом из указанных языков имеются типы безглагольных предложений, не поддающиеся копированию в другом языке. Так, например, чешскому языку чужд английский тип безглагольного предложения с стоящим в его конце подлежащим; этот тип в разговорном английском языке встречается довольно часто. Похвалу An excellent idea, this! мы можем по-чешски выразить лишь предложением Tohle je výborná myšlenka! «Это отличная мысль!», а ироническое Much use, that! — лишь предложением To mi náramně pomůže! «Это мне здорово поможет!». Безглагольный чешский тип в этом случае дает осечку. Из этого видно, что и для окказиональных типов предложений отдельные языки создают свою собственную форму, а отсюда следует необходимый вывод, что и такого рода типы относятся к репертуару моделей предложений того или иного языка.

В. Матезиус

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ *

Актуальное членение предложения следует противопоставлять его формальному членению. Если формальное членение разлагает состав предложения на его грамматические элементы, то актуальное членение выясняет способ включения предложения в предметный контекст, на базе которого оно возникает. Основными элементами формального членения предложения являются грамматический субъект и грамматический предикат. Основные элементы актуального членения предложения — это исходная точка [или основа] высказывания, то есть то, что является в данной ситуации известным или по крайней мере может быть легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, то есть то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания. Актуальное членение предложения — проблема, на которую лингвистика уже давно обратила внимание, но она не изучалась систематически, поскольку не было выяснено отношение актуального членения к формальному членению предложения. Больше всего об актуальном членении предложения писали (хотя и не употребляя этого названия) в третьей четверти XIX в. Уже в 1855 г. французский лингвист Анри Вейль (Henri Weil) обратил внимание на важность актуального членения предложения для решения проблемы порядка слов; над этой темой усердно работали лингвисты, группировавшиеся вокруг журнала «Zeitschrift für Völkerpsychologie». Важнейшие труды по этому вопросу я анализировал уже более тридцати лет назад в первой части своей работы «Studie k dějinám anglického slovosledu» («Věstník České Akademie», XVI, 1907, стр. 261 и сл.). Исходную точку высказывания лингвисты называли тогда психологическим субъектом, а ядро высказывания — психологиче-

---

* Vilém Mathesius, O tak zvaném aktuálním členění větném, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 234—242.

ским предикатом. Термины эти не были удачными, так как, во-первых, исходная точка высказывания не всегда является его темой, что, казалось бы, должно вытекать из термина «психологический субъект», во-вторых, близость терминов «психологический субъект» и «психологический предикат» никак не способствует четкой дифференциации двух по существу различных явлений. Психологическая окраска обоих терминов привела еще и к тому, что вся эта проблема была вытеснена из поля зрения официальной лингвистики. Есть о чем сожалеть, ибо как раз отношение между актуальным и формальным членением предложения — одно из самых характернейших явлений в каждом языке.

Как уже говорилось, исходная точка высказывания не всегда является темой высказывания в распространенном предложении, хотя нередко та и другая совпадают. Чаще всего это случается в простом связном высказывании, где обычно исходным пунктом является тема, вытекающая из предыдущего предложения. Например: Byl jednou jeden král| a ten měl tři syny. Nejstaršího z nich napadlo, že si půjde do světa hledat nevěstu. «Жил-был когда-то один король,| и было у него три сына. Старшему из них пришло на ум пойти по свету искать невесту». Как видно, здесь исходным пунктом второго предложения служит тема, представленная в развернутом виде в первом предложении, а исходным пунктом третьего предложения выступает тема, контурно намеченная во втором предложении. В самом начале высказывания, когда еще ничего не известно, стоит бытийное предложение с самым общим указанием времени — Byl jednou jeden král «Жил-был когда-то один король». С точки зрения актуального членения это предложение можно рассматривать как нерасчлененное высказывание, ибо оно содержит собственно ядро высказывания с сопутствующими словами. Неопределенное обстоятельство времени jednou «когда-то» целиком оттеснено на задний план, вследствие чего данное предложение по содержанию целиком равнозначно предложениям, не содержащим подобного обстоятельства времени вообще: Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. «Жил-был один король, и был он такой умный, что даже всех зверей понимал, о чем они говорили»; Byla jedna vdova, ta měla dvě dcery, Dorlu a Lenku. «Жила одна вдова, было у нее две дочери, Дорла и Ленка». Иногда такое вводное бытийное предложение снабжается различными замечаниями, указывающими на разнообразие отношений, выступающих в начале высказывания. В произносимом высказывании вводное бытийное предложение может быть связано с изображаемой ситуацией различными выражениями, общий смысл которых примерно

таков: Chcete na mně pohádku a tady ji tedy máte «Хотите от меня сказку — и вот вы ее имеете». Эти выражения могут меняться в зависимости от отношения говорящего к цели своего высказывания: Tak byl jednou jeden král... «Итак, жил-был когда-то один король...»; Tak tedy byl jednou jeden král «Так вот, жил-был когда-то один король». Чем пространнее эти вступительные замечания, тем скорее они могут достичь самостоятельности и измениться в предложение с собственной мелодической концовкой. Например: No tak tedy. Byl jednou jeden král «Ну, так вот. Жил-был когда-то один король». Таким предложением с самостоятельной мелодической концовкой выражается иногда отношение говорящего к тому, что он собирается сказать: «Было — не было: жил-был когда-то один король».

Собственно, для нашей темы самыми важными являются случаи, при которых для первого предложения используются предметные ситуации, содержащиеся в самом высказывании. Иногда в предложении, своеобразно предвосхищая еще не раскрытую предметную ситуацию высказывания, отбираются обстоятельства места или времени, которые ставятся в начало бытийного предложения в качестве исходной точки высказывания. Например: V jedné zemi panoval král, který byl nesmírně bohatý «В одной стране царствовал король, который был безмерно богат»; V jednom městě bydlili rodičové a měli tři dcery «В одном городе жили муж и жена и было у них три дочери»; Daleko, až tamhle někde za červeným mořem, býval kdysi jeden mladý pán «Далеко, где-то там, за красным морем, жил-был один молодой господин». Иной раз говорящий вообще обходится без вводного бытийного предложения и начинает повествование о герое в таком тоне, как будто бы мы с ним уже давно знакомы, и лишь потом вследствие недостаточной определенности мы убеждаемся (иногда вследствие явной неопределенности), что с этим героем встречаемся впервые. Например: Chudá selka šla do lesa na stlaní. «Бедная крестьянка пошла в лес за травой для подстилки»; Vávrovi umřela žena «У Вавры умерла жена»; Myslivec šel jednoho dne na lov «Лесник пошел однажды на охоту»; Libor byl jediný syn chudé vdovy «Либор был единственным сыном бедной вдовы». Вводные предложения рассказа, в которых на основе ситуации переданы обстоятельства места или времени, можно назвать началом обоснованным, а вводные предложения, в которых говорится о герое,— началом переносным, ибо, например, предложение Myslivec šel jednoho dne na lov «Лесник пошел однажды на охоту» можно было бы передать двумя предложениями: Byl jeden myslivec a ten šel jednoho dne na lov «Жил один лесник, и пошел он однажды на охоту». Простое предложение бытийного типа Byl jednou jeden král

«Жил-был когда-то один король» можно назвать началом нераспространенным. Типы вводных предложений, которые мы здесь установили на примере чешских сказок, представлены, конечно, и в художественных произведениях — в рассказах и романах.

В отрывистой повседневной речи картина актуального членения предложения гораздо богаче, чем в речи обработанной, особенно в письменной форме языка; богатство такой речи тем более возрастает, чем ближе соприкасаются в повседневной жизни лица, ведущие беседу. Объясняется это тем, что в таком случае чрезвычайно обогащается ситуация, на базе которой можно отбирать темы высказывания или по крайней мере обстоятельства, которые могут стать исходным пунктом высказывания. К ситуации относится, собственно, все, что собеседникам известно и что можно использовать в речи как что-то известное. В случае необходимости актуализация будет подчеркнута внутренним указанием, имеющим, естественно, всегда эмоциональную окраску; по отношению же к присутствующему лицу или предмету может быть использовано внешнее указание. (О внутреннем и внешнем указании см. мою работу «Přívlastkové ten, ta, to v hovorové češtině».)

Из подобных отрывков повседневного разговора отмечу, например, следующие предложения: U Jirsů budou mít svatbu «У Йирсов должна быть свадьба»; Záruba za námi staví nových pět domků «Заруба за нами строит пять новых домов»; Ten váš vchod se mi pranic nelíbí «Этот ваш вход мне совсем не нравится»; Tady ty knihy musí pryč «Вот эти книги нужно унести». Во временном отношении всего понятнее настоящее с непосредственным прошедшим и будущим: Dnes už k vám nepřijdu «Сегодня я к вам уже не приду»; Včera byla sobota a to se vždycky koupeme «Вчера была суббота, и мы всегда моемся»; Zítra bude hezky «Завтра будет прекрасно». Естественно, что частью данной ситуации всегда является лицо говорящее и лицо, с которым ведется разговор: Já půjdu zítra do města a koupím ti to. Ty tedy nechceš. «Я пойду завтра в город и куплю тебе это. Ты, значит, не хочешь». За часть данной ситуации принимается также обобщенное подлежащее, ибо, как правило, оно связано с опытом, приобретенным говорящим. Например: Lidé si na tom moc pochutnávají «Люди этим здорово полакомятся»; Někteří lidé jsou takoví, že nechtějí vůbec nic měnit «Некоторые люди таковы, что не хотят вообще ничего менять». Само собой разумеется, что и в повседневной речи можно встретиться с началом переносным, как мы назвали его в предыдущем абзаце. В качестве примера приведем следующее предложение: Nějací (lidé) přijeli ze Strakonic a říkali, že je tam hotové pozdvižení «Некоторые (люди) приехали из Страконии и сказа-

ли, что там настоящий переполох». Очень часто исходный пункт высказывания содержит не один, а два, три и более элементов, почерпнутых из ситуации. Однако центральным становится более актуальный из них, а остальные элементы выступают как элементы сопутствующие. Так, в предложении Paní Meisnerová to dělá bez kvašení a také se jí to nezkazilo «Пани Мейснерова делает это без закваски, и у нее также это не портится» общая ситуация дана в разговоре о приготовлении малинового сока (на что указывает местоимение to), и на этом фоне в качестве актуального выступает приобретенный пани Мейснеровой опыт, также имеющий отношение к данной ситуации. В предложении Ted' tam ti lidé stojí a povídají «Теперь там эти люди стоят и рассказывают» исходный пункт высказывания содержит три различных элемента данной ситуации, хотя среди них актуальным является только обстоятельство времени. Ядро высказывания также очень часто (возможно, как правило) наряду с собственно центром содержит сопутствующие выражения, которые связаны с этим центром и связывают последний с исходным пунктом высказывания. Так, в предложении Záruba za námi staví nových pět domků «Заруба строит за нами пять новых домов» известная ситуация выражается частью Záruba za námi, тогда как остальная часть предложения staví nových pět domků сообщает об этом исходном моменте нечто новое. Собственно, ядро высказывания содержится здесь в словах pět nových domků, а слово staví является сопутствующим выражением, соединяющим исходный пункт высказывания с его ядром. С ними обоими оно связано как грамматической функцией, так и значением. Говорящий и собеседник знают, что речь идет о застройщике домов, занятие которого не вызывает сомнений.

Сопутствующие выражения заслуживают внимания по ряду соображений. В данной связи укажем только на одно из них. Уже приводились предложения, в которых темой высказывания является говорящий или собеседник, которые, естественно, обозначаются в предложении личными глагольными формами, а именно глаголами первого и второго лица. Тема может быть выражена и формой третьего лица, если речь идет о лице или недавно названном в контексте предмете. В языках, где в повествовательном предложении при личной форме глагола всегда ставится самостоятельно выраженное подлежащее, это обычное явление. Иначе обстоит дело в тех языках, где глагол в личной форме в повествовательном предложении требует специально выраженного подлежащего лишь в особых случаях. В подобных языках — чешский язык относится именно к таким языкам (ср. мою работу «Pronominální podmět v hovorové češtině») — встречаются случаи, когда тема высказывания, которая должна

быть передана личной формой глагола, специально не выражена вообще, а отражена лишь в морфологическом аспекте слова, относящемся к ядру высказывания или в качестве его собственного центра, или в виде сопутствующего выражения. Сказку, первые два предложения которой были разобраны в начале второго абзаца, можно продолжить следующим образом: Rozloučil se s otcem a bratry, vzal si na cestu něco jídla a šel, kam ho oči vedly «Простился он с отцом и братьями, взял себе на дорогу немного еды и пошел куда глаза глядят». Тут, собственно, все является ядром высказывания, и его тема — старший сын короля, о котором шла речь в предыдущем предложении, выражена формой третьего лица глаголов rozloučil se, vzal si, šel. Аналогичное явление встречается и в отрывочном повседневном разговоре. Чаще всего личное местоимение отсутствует в исходном пункте высказывания, если оно является лишь сопутствующим выражением другого, более актуального высказывания, относящегося к данной ситуации. Примером могут служить предложения: Tak jsem dál už nevybírala a šla jsem domů «Так я уже дальше не выбирала и пошла домой»; Zítra po tom nebudete mít ani památky «Завтра об этом даже не вспомните». Но в отрывистой повседневной речи можно зафиксировать немало предложений, которые из-за невыраженного местоименного подлежащего целиком состоят из ядра высказывания. Приведем в качестве примеров следующие предложения: Jdu do města a tak jsem se tě přišla zeptat, jestli něco nepotřebuješ «Я иду в город и вот пришла тебя спросить, не нужно ли тебе чего»; Potřebovala bych, aby to někdo za mě udělal «Мне бы нужно было, чтобы это кто-нибудь за меня сделал»; Neměl ses do ničeho míchat «Ты не должен был ни во что вмешиваться».

Исходный пункт высказывания и его ядро, если они слагаются из нескольких выражений, сочетаются по-разному в предложениях. И все же, как правило, можно определить, какая часть предложения относится к исходному пункту высказывания и какая — к его ядру. При этом обычным порядком является такой, при котором за исходный пункт принимается начальная часть предложения, а за ядро высказывания — его конец. Эту последовательность можно назвать объективным порядком, ибо в данном случае мы движемся от известного к неизвестному, что облегчает слушателю понимание произносимого. Но существует также обратный порядок: сначала стоит ядро высказывания, а за ним следует исходный пункт. Это порядок субъективный, при нем говорящий не обращает внимания на естественный переход от известного к неизвестному, ибо он так увлечен ядром высказывания, что именно его ставит на первое место. Поэтому такая последовательность придает ядру высказывания

особую значимость. Наглядно это можно проиллюстрировать при сравнении двух предложений: Dala jsem za ni dvacet korun «Я отдала за нее 20 крон» (порядок объективный) — Dvacet korun jsem za ni dala «20 крон я за нее дала» (порядок субъективный). Примерами субъективного порядка являются следующие фразы: Takové tmavě červené to bylo «Такое темно-красное это было»; Dvakrát jsem tam byl a nikdy jsem nikoho nenašel doma «Дважды я там был, и ни разу я никого не застал дома»; Moc si na tom lidé pochutnávají «Здорово этим люди полакомятся»; Jenom noviny přišly «Сейчас только газеты пришли». При объективном порядке слов эти фразы звучали бы так: Bylo to takové tmavě červené «Было это такое темно-красное»; Byl jsem tam dvakrát a nikdy jsem nikoho nenašel doma «Я был там дважды, и ни разу я никого не застал дома»; Lidé si na tom moc pochutnávají «Люди этим здорово полакомятся»; Přišly jenom noviny «Пришли только сейчас газеты». Средства, удовлетворяющие потребностям выражения объективного и субъективного порядков при актуальном членении предложения, почти в каждом языке различны, и изучение их весьма важно. К ним относится не только порядок слов, но, как я показал на английском материале (см. статью «O funkci podmětu»), также и использование пассивной предикации.

Как явствует из приведенных примеров, я ограничился в данной работе лишь разбором самостоятельных повествовательных предложений, и то лишь тех, в которых представлен глагол в личной форме и которые не могут служить ответом на предыдущий вопрос. Я сделал это главным образом потому, что на примере указанных предложений легче решить рассматриваемые проблемы. Кроме того, эти предложения являются самым распространенным типом фраз в разговорной речи и в несложной прозе. Смею надеяться, что на очень ограниченном материале мне все-таки удалось рассмотреть важнейшие вопросы изучаемой проблемы. Дальнейшая работа еще впереди. Предстоит исследовать не только материал, которого я пока не касался (другие виды самостоятельных повествовательных предложений, вопросительные, повелительные, восклицательные, побудительные и сложные предложения), но также выявить тонкие оттенки структуры предложения, на которых я не останавливался. Дальнейшая задача — показать на конкретном материале соотношение формального и актуального членения предложения, ибо только в таком случае станет ясным, как важно все то, что здесь излагалось.

В. Матезиус

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОРЯДКА СЛОВ В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ *

Об основной функции порядка слов в чешском языке было высказано за последние сорок лет немало соображений. Первое из них принадлежит Й. Зубатому, опубликовавшему в 1901 г. в двадцать восьмом томе журнала «Listy filologické» критическую заметку о книге немецкого слависта Э. Бернекера «Die Wortfolge in den slavischen Sprachen» (Берлин, 1900). Дополняя выводы Бернекера, Зубатый в отличие от Бернекера вновь указывает на то, какое значение имеет для порядка слов в чешском языке так называемый психологический субъект, то есть основа высказывания; ведь порядок слов в чешском предложении бывает разным в зависимости от того, идет ли речь о чем-либо известном или о чем-либо до этого неизвестном. Зубатый, характеризуя психологический субъект, то есть основу высказывания, не обращает внимания на психологический предикат, то есть на ядро высказывания; он не предлагает какой-либо систематической теории о принципах порядка слов в чешском языке, но из всех его критических замечаний относительно выводов Бернекера явствует, что при установлении порядка слов в чешском языке он придает большое значение актуальному членению предложения на основу высказывания и его ядро. Не зная о том, что Зубатый уже писал о порядке слов в чешском языке в своей заметке на книгу Бернекера, я высказал в сущности аналогичную мысль об основной функции порядка слов в 1929 г. в лекции о функциональной лингвистике, прочитанной мною на съезде преподавателей философии, филологии и истории чешских средних школ и напечатанной в том же году в особом сборнике. Я выступал там против того понимания порядка слов в чешском языке, которое выдвинул Эртль, создав впечатление, будто бы чешский порядок слов представляет собой некую устойчивую механическую модель и будто бы лишь в результате многочисленных отклонений от основного типа формируется богатство и пластичность

* Vilém Mathesius, Základní funkce českého pořádku slov, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 327—352.

порядка слов в чешском языке. Свое мнение я сформулировал следующим образом: «Пластичность порядка слов в чешском языке обусловлена тем, что конкретные конструкции чешского языка не являются результатом чисто механического перевеса одного фактора, а зависят от влияния нескольких факторов, из которых самый существенный для порядка слов — актуальное членение предложения». В данной формулировке, как мне кажется, мысль, высказанная Зубатым и основанная на понятиях, которые некогда были разработаны группой Штейнталя и Лацаруса, передана ясно и полно.

Концепция Эртля, против которой я выступил в 1929 г., нашла свое отражение в работе «Mluvnice české pro školy střední a ústavy učitelské» Гебауера, переработанной Эртлем (ч. II, «Skladba», изд. 5-е, 1914), и представляет собой другой взгляд на сущность порядка слов в чешском языке. Эртль рассматривает порядок слов в чешском языке с формальной точки зрения и принимает два типа: нормальный (традиционный) и особый (окказиональный). Такое деление в сравнительное индоевропейское языкознание ввел, если не ошибаюсь, Б. Дельбрюк, и уже Э. Бернекер следовал ему в своей книге.

Нормальным, по мнению Эртля, является такой порядок слов, который характерен для простого, самостоятельного, спокойно произнесенного предложения; этот порядок слов характеризуется восходящей интонацией в чешском предложении и силой фразового ударения, падающего на отдельные слова в зависимости от того, какими членами предложения они являются, и создающего какое-то постоянное свойство отдельных синтаксических категорий. Нормальный порядок слов имеет немало отклонений, которые проявляются в особом порядке слов. Возникновение особого порядка слов бывает вызвано новизной или неновизной представлений, выраженных тем или иным членом предложения, эмфазой и эмоциональной окраской, содержательностью и сложностью выражения. Анализ чешского материала, произведенный Эртлем, является очень тонким и тщательным, и весьма прискорбно, что его работа не подверглась детальному разбору со стороны специалистов. Анализ деталей чешского порядка слов является у Эртля, по-моему, почти исчерпывающим, однако основные понятия и приемы систематизации, как я уже говорил в 1929 г., сомнительны и неправильны.

Третье мнение по этому вопросу высказал Фр. Травничек в своей статье «Základy českého slovosledu», напечатанной в т. 3 журнала «Slovo a slovesnost» (1937). Травничек отвергает концепцию Эртля из-за отсутствия в ней единого принципа, отвергает также и рассуждения Зубатого вследствие того, что они якобы

не соответствуют действительности. Сам же Травничек полагает, что порядок слов в чешском языке определяется двумя основными принципами — принципом фонетическим, или ритмическим, и принципом смысловым. Принцип фонетический, по мнению Травничка, состоит в том, что порядок слов в предложении зависит от словесного ударения. Непосредственно это проявляется в позиции энклитик и безударных слов, косвенно же — в расположении всех остальных слов. Принцип смысловой заключается, по мнению Травничка, в том, что позиция слова (словосочетания) в предложении зависит от его значения в предложении, от ситуации, в которой возникает предложение, а не от его вещественного, реального значения. Порядок слов в этом отношении служит средством указания на относительную весомость членов данного предложения, средством характеристики предложений различного характера, различной модальности (например, предложений неэмоциональных, не передающих настроения, и предложений эмоциональных, передающих настроение говорящего), и, наконец, порядок слов указывает на смысловую, логическую связь одного предложения с другим (согласие или несогласие с тем, что предшествовало, и т. д.). Можно, казалось бы, сделать вывод, что определяющим для порядка слов в чешском предложении является различная степень весомости его членов либо в составе данного предложения, либо по отношению к предшествующим или последующим предложениям в связи с той ситуацией, при которой произносится предложение. Естественно, что порядок слов при эмфазе часто отличается от нормального, неподчеркнутого порядка слов, который не передает настроения говорящего. На основании этого Травничек формулирует два главных закона смыслового порядка слов в предложении. При обычном высказывании самый важный член предложения стоит в конце предложения, менее важный — в начале и остальные члены — между ними. При эмфатическом высказывании, когда передаются эмоциональные оттенки (возбуждение, удивление, изумление, досада, неудовольствие и т. п.) или другие моменты (согласие, несогласие, противопоставление, упрек и т. п.), повышается значение начала предложения, где располагаются самые важные слова. Конец предложения при эмфазе сохраняет свою значимость, но иногда даже выделяемое слово располагается в середине предложения. Ставя подчеркиваемое слово в начальную позицию, мы стремимся выделить его, создавая контраст с обычным предложением, в котором подобное слово стоит на конце. Иногда в предложении бывает два ударных слова: одно стоит в конце предложения, другое — в начале. Срединная позиция ударного

слова часто обусловлена тем, что некоторые слова стоят всегда только в начальной позиции. В таком случае ударное слово ставится в конце предложения, а когда это по той или иной причине неосуществимо, то передвигается в середину предложения. Детально такие случаи Травничек анализировал позже в специальной статье «Slovosled při důrazu» (см. «Slovo a slovesnost», V, 1939).

В выводах Травничка следует обратить внимание как на отрицательные, так и на положительные моменты, учесть то, что он отрицает и по каким мотивам и что вносит положительного. Травничек решительно выступает против того мнения, что порядок слов в чешском языке обусловливают в какой-то степени моменты, объединяемые нами термином «актуальное членение предложения». Прежде всего он рассматривает концепцию Эртля, который в числе факторов, приводящих в чешском языке к особому порядку слов, указывает фактор новизны представлений. Травничек отрицает это, ссылаясь на предложения Byl jednou jeden král «Жил некогда один король» и Jeden král měl tři syny «У одного короля было три сына». В обоих предложениях, рассуждает он, král выступает в качестве представления нового, прежде не названного, и все же эти два предложения в самом важном — в позиции подлежащего и сказуемого — имеют различный порядок слов. Снова к этому вопросу Травничек обращается при разборе взглядов Зубатого на порядок слов в чешском языке. Из работы Зубатого Травничек приводит следующие слова: «Начальная позиция сказуемого является обычной, если сообщается о самом себе или о незнакомом предмете, вторая позиция (срединная или конечная) свойственна ему тогда, когда речь идет о ком-либо или чем-либо известном». И здесь Травничек сопоставляет оба приведенные выше в полемике с Эртлем предложения о короле из чешской сказки. В качестве следующего довода против утверждения Зубатого о том, что при повествовании о лице или неизвестном предмете сказуемое ставится в начало предложения, Травничек приводит предложения из ряда прозаических произведений, которые хотя и повествуют о неизвестном лице, но начинаются не сказуемым, а подлежащим. Так, из рассказа Игната Германна он приводит начальное предложение: Doktor Václav Lopota netrpělivě přešlapoval ve své kanceláři «Доктор Вацлав Лопота нетерпеливо расхаживал по своей канцелярии». Из Райса он цитирует предложение, которым начинается повесть «Хозяин Безоушек»: Pantáta Bezoušek procházel se uličkou mezi zahradami «Хозяин Безоушек прогуливался по улице среди садов», а из «Бабушки» Божены Немцовой — первое предложение: Babička měla syna a dvě dcery «У бабушки был

сын и две дочери». При анализе всех этих трех предложений и предложения из чешской сказки о короле, у которого было три сына, Травничек затруднил себе путь к правильному пониманию вопроса тем, что не увидел разницы между стилистическим приемом и истинной функцией порядка слов. Ни в одном из приведенных им предложений нет и речи о новом, неизвестном подлежащем, потому что рассказчик, опуская долгие предисловия, рассматривает личность героя или героини как фигуру известную и потом говорит о них фразой, построенной обычно по образцу предложений, повествующих об известном лице или о предмете. Тот факт, что герой или героиня упомянуты иногда лишь в заглавии, в данном случае нисколько не меняет дела. Впрочем, в статье «Об актуальном членении предложения» на примерах из чешских сказок я пытаюсь доказать, что называние героя или героини не является единственным средством, с помощью которого говорящему удается начать повествование без всякого или почти без всякого введения.

Следовательно, аргументы, с помощью которых Травничек пытался опровергнуть тезис о том, что новизна и известность представлений относятся к факторам, определяющим порядок слов в чешском языке, при ближайшем рассмотрении оказались неубедительными. Но и Травничек, разумеется, не исключает совершенно вопроса об актуальном членении предложения из круга вопросов, связанных с чешским порядком слов. При изложении своего взгляда на смысловой порядок слов он мимоходом упоминает о новизне или известности представлений, но отказывается, однако, признать за этим фактором самостоятельную роль и отвести ему соответствующее место в системе чешского порядка слов. Истинное значение актуального членения предложения для системы порядка слов в чешском языке наверняка не ускользнуло бы от его внимания, если бы он не ограничился в своем исследовании только чешским материалом. Эта ограниченность наряду с ошибочной трактовкой предложений типа Jeden král měl tři syny «У одного короля было три сына» и является второй причиной, вследствие которой Травничек занял не вполне правильную позицию по целому ряду вопросов, касающихся порядка слов в чешском языке. Освещение структуры конкретного языка, достигаемое аналитическим сравнением с другими языками, является для нас столь важным источником, что мы не вправе им пренебрегать, если хотим с достаточной глубиной объяснить языковые явления. Особенно поучительным при изучении системы порядка слов в чешском языке будет сравнение ее с системой английского языка. В работе «O funkci podmětu» («О функции подлежащего») я указывал,

что в английском языке наблюдается стремление к построению таких повествовательных предложений, в которых грамматическое подлежащее являлось бы одновременно и основой высказывания. Это достигается использованием личных предикативных конструкций, которые выходят далеко за пределы той сферы, которая отводится им в древнеанглийском языке и в современных языках иной структуры, например в чешском, а также применением многочисленных пассивных конструкций в самом широком смысле слова, запас которых английскому языку удалось намного увеличить. Причина всего этого кроется в устойчивости порядка слов в английском языке. Последний весьма прочно стабилизирован и во многом непосредственно грамматикализирован, что почти не позволяет в зависимости от контекста или ситуации менять взаимоположение грамматического подлежащего и грамматического сказуемого в повествовательных английских предложениях. Вследствие этого в английском языке не может осуществиться актуальное членение предложения с помощью порядка слов, и язык вынужден для этого создавать иные возможности. На этом фоне отчетливо видна ведущая роль актуального членения предложения в формировании порядка слов в чешском языке. Тогда как в английском языке вследствие устойчивости порядка слов нельзя в большинстве случаев изменить повествовательное предложение так, чтобы основа высказывания без каких-либо изменений была поставлена на первое место, а ядро высказывания — на второе, и нужно специально с этой целью менять характер сказуемого, в чешском языке для этого вполне достаточно небольшого изменения в его гибком порядке слов без изменения характера сказуемого. В этом легко убедиться, сопоставляя английские и чешские предложения, которые характеризуются тождественной ситуацией и выражают одинаковое содержание с одной и той же модальной окраской, вследствие чего эти предложения можно по праву рассматривать как предложения, в смысловом отношении равноценные. Такие предложения я привожу в названной выше работе о функции подлежащего.

Теперь остановимся на позитивных взглядах Травничка на систему порядка слов в чешском языке. Следует признать, что в его работах, как и в работах Эртля, осуществлен самый основательный анализ чешского порядка слов. Но в сравнении с Эртлем выводы Травничка более динамичны, и в этом их преимущество. Чтобы согласиться с ними по существу, необходимо, как мне кажется, уточнить его точку зрения, принимая во внимание выводы, к которым мы пришли в двух предшествующих абзацах, а также дополнить и переработать его доводы, чтобы нагляднее выявилось разнообразие факторов,

определяющих порядок слов в чешском языке. Поскольку речь идет о выводах, вытекающих из нашего предшествующего изложения, я уже отмечал, что сам Травничек не исключает целиком из своих рассуждений о порядке слов понятие новизны и понятие известности представления. Ясно, что новизна или известность представления, столь важные для правильного понимания актуального членения предложения, являются понятиями несколько ограниченными. Истинное положение вещей станет яснее, если вместо понятия известности представления будем говорить об основе высказывания, а вместо понятия новизны — о ядре высказывания. При таком понимании, думается мне, степень важности, которую выдвигает Травничек, и мое понимание основы и ядра высказывания не так уж далеки друг от друга. Дело, конечно, не только в терминах. Мое понимание уже включает то, к чему мы пришли путем новой интерпретации предложений типа Jeden král měl tři syny «У одного короля было три сына», и, кроме того, оно в принципе имеет функциональный характер, тогда как теория весомости Травничка носит отпечаток описательности. При таком уточнении концепции Травничка мы могли бы в полном согласии с его аргументацией сказать, что смысловая функция порядка слов в чешском языке заключается в том, что в ней порядок слов выражает актуальное членение предложения, причем высказывание спокойное, представленное повествовательными предложениями и имеющее так называемый объективный порядок слов, отличается от эмфатического высказывания, требующего так называемого субъективного порядка. Особое внимание на эмфатическое высказывание Травничек обратил во второй своей статье о порядке слов в чешском языке. О членении предложения в повествовательных предложениях я уже говорил в своей статье о сущности этого языкового явления. Но для того чтобы описать хотя бы в основных чертах с необходимой четкостью влияние факторов, определяющих порядок слов — актуального членения предложения и различия между спокойным высказыванием и высказыванием эмфатическим, — предшествующее изложение взглядов Травничка и моих собственных требуется дополнить в двух направлениях: рассказать об актуальном членении в других типах самостоятельных предложений, кроме повествовательных, и показать взаимодействие главных факторов по крайней мере в виде возможностей, вытекающих из актуального членения для повествовательных предложений.

При изучении актуального членения повествовательных предложений в статье, упомянутой выше, я пришел к выводу, что так называемый объективный порядок слов является в этих предложениях порядком, не наделенным признаком

(немаркированным), а так называемый субъективный порядок слов — порядком маркированным.

Совершенно иная картина по сравнению с повествовательными предложениями наблюдается в побудительных предложениях. Это такие предложения, с помощью которых мы побуждаем слушателя к какому-либо действию: либо к ответу на то, о чем спрашиваем (вопросительные предложения), либо к действию по нашему приказу или пожеланию (повелительные предложения). Среди вопросительных предложений отметим предложения-вопросы, посредством которых мы выясняем неясные моменты ситуации, известной лишь в общих чертах, и которые оформляются почти всегда по законам субъективного порядка слов. Они начинаются вопросительным мес имением или вопросительным наречием, которые выступают в качестве ядра высказывания, тогда как остальная часть предложений выражает основу высказывания. О правильности этого заключения свидетельствует тот факт, что в предложении-ответе на такой вопрос ядро высказывания соответствует именно вопросительному местоимению или вопросительному наречию, с которых начинается вопрос. Так, на вопрос Kdo to jde? «Кто это идет?» отвечают предложением To jde tatínek «Это идет отец», а на вопрос Kam půjde ted' tatínek? «Куда пойдет сейчас отец?» — предложением Tatínek ted' půjde na procházku «Отец сейчас пойдет гулять». Вопросы, с помощью которых мы убеждаемся, соответствуют ли предполагаемые нами факты истине или нет, обычно строятся подобным же образом. Они начинаются личной формой глагола, которая является самой важной частью в предложении-ответе, поскольку от ее формы — положительной или отрицательной — зависит значение ответа. На вопрос Půjde ted' tatínek na procházku? «Пойдет сейчас отец гулять?» отвечают положительно: Ano, tatínek ted' půjde na procházku «Да, отец сейчас пойдет гулять» или отрицательно: Ne, tatínek ted' nepůjde na procházku «Нет, отец сейчас не пойдет гулять». Выяснительный (zjišt'ovací) вопрос можно образовать и таким образом, чтобы главное ударение падало не на глагол, а на другие части речи в предложении. В таком случае подчеркиваемая часть ставится не в начале вопроса, как это было, когда главным ударением был отмечен глагол, а в конце предложения; в отрицательном предложении-ответе может отрицаться иногда глагол, а иногда — прямо или косвенно — та часть вопроса, на которую падает ударение. Мы можем, например, спросить: To s vámi půjde Míla? «Это с вами пойдет Мила?»; на такой вопрос можно дать отрицательный ответ типа: Ne, Míla s námi nepůjde «Нет, Мила с нами не пойдет» или типа: Ne, s námi půjde Vlasta «Нет, с нами пойдет

Власта». Аналогичным образом на вопрос: Tatínek ted' půjde na procházku? «Отец сейчас пойдет гулять?» можно ответить двояко: Ne, tatínek ted' nepůjde na procházku «Нет, отец сейчас не пойдет гулять» или: Ne, tatínek ted' půjde na návštěvu «Нет, отец сейчас пойдет в гости». Примеры показывают, что в таких случаях выяснительный вопрос оформляется по законам объективного порядка слов. Повелительные предложения в своем актуальном членении похожи на выяснительные вопросы. Как правило, они начинаются с ударного слова, в котором сосредоточивается побуждение: Pojd' sem!, Sem pojd'!, Nechod' tam!, Najdi mi tu knihu! «Пойди сюда!, Сюда иди!, Не ходи туда!, Найди мне эту книгу!». В таком случае они построены по законам субъективного порядка слов. Однако возможны и повелительные предложения с объективным порядком. Это отклонение от правила всегда имеет специфический смысловой оттенок. В отличие от простого приказа Nechod' tam! «Не ходи туда!» предложение Tam nechod'! «Туда не ходи!» звучит скорее как убедительное предостережение, а по сравнению с приказом Najdi mi tu knihu! «Найди мне эту книгу!» предложение Tu knihu mi najdi! «Эту книгу мне найди!» воспринимается скорее как настоятельное напоминание или просьба. Если же при объективном порядке слов вместо повелительного наклонения мы употребим в том же смысле будущее время изъявительного наклонения, то тем самым мы выразим приказ с оттенком угрозы: Tam nepůjdeš!, Tu knihu mi najdeš! «Туда не пойдешь!, Эту книгу мне найдешь!». Подобное функционально-смысловое многообразие актуального членения, свойственное побудительным предложениям, имеет место и в экспрессивных предложениях, то есть в предложениях, посредством которых мы выражаем изумление фактами, одобряемыми или отвергаемыми нами (восклицательные предложения), или высказываем желание, чтобы воображаемая действительность сделалась или не сделалась фактом (оптативное предложение). Оптативные предложения обычно начинаются с союза, например с союзов kéž или kdyby, а остальные элементы предложения располагаются в соответствии с объективным порядком слов. Например: Kdyby mi alespoň napsal, že to dostal! «Если бы он мне по крайней мере написал, что это получил!»; Kéž by se z toho všeho dostal bez pohromy! «Если бы он после всего этого уцелел!». Восклицательные предложения различаются в зависимости от близости к повествовательным или вопросительным предложениям. В первом случае актуальное членение этих предложений осуществляется по правилам построения повествовательных предложений. Например: To je nádherný zpěv! «Это изумительное пение!» (ударная часть — nádherný zpěv); Kostel

už chytá! «Служба уже начинается!» (ударная часть — kostel). Во втором случае возможен двоякий порядок слов, но смысловое различие этих вариантов ослаблено тем, что предложение всегда начинается с вопросительного слова, например: Jaký nádherný zpěv to je! «Какое великолепное пение это!»; Jaký je to nádherný zpěv! «Какое это великолепное пение!». Из всего сказанного следует, что в экспрессивных и особенно побудительных предложениях субъективный порядок является немаркированным, а объективный порядок является порядком маркированным. Это обусловлено тем, что такие предложения, как правило, более эмоциональны, чем повествовательные. Тем самым они переходят в область эмфатического выражения, что неоднократно подчеркивает Травничек в своей второй статье о порядке слов. Но такие предложения он рассматривает лишь с точки зрения эмфазы, а не с точки зрения актуального членения предложения.

Зависимость актуального членения от спокойного или эмфатического высказывания в повествовательных предложениях мы проиллюстрируем возможными вариантами предложения, содержанием которого является визит графа в какую-либо семью во время свадьбы. Предположим следующую ситуацию: свадьба — основа высказывания, потому что о ней уже шла речь, а визит графа как нечто новое — ядро высказывания. В обычном тоне повествовательное предложение, имеющее объективный порядок слов, будет звучать так: Na svatbu k nim přišel pan hrabě a povídal... «На свадьбу к ним пришел граф и сказал...». При эмфатической, взволнованной речи имеет место или повествовательное предложение с подчеркнутым членом в конце и с объективным порядком слов: Na svatbu k nim přišel sám pan hrabě «На свадьбу к ним пришел сам граф», или повествовательное предложение с подчеркнутым членом в начале и с субъективным порядком слов: Sám pan hrabě k nim přišel na svatbu «Сам граф к ним пришел на свадьбу». Подчеркнутый член предложения не всегда занимает конечную позицию, иногда он ставится на предпоследнее место, и в этом случае остается в силе объективный порядок слов, и тогда наше предложение будет выглядеть следующим образом: Na svatbu k nim sám pan hrabě/přišel «На свадьбу к ним сам граф пришел». Ситуация нашего предложения может быть, однако, иной, чем та, о которой говорилось выше. Основой высказывания может быть слово «граф», потому что о нем, как мы предполагаем, уже шла речь, а новым предметом и, следовательно, ядром высказывания явится процесс посещения им свадьбы. В этом случае предложение предстанет перед нами в следующих четырех вариантах: Pan hrabě k nim přišel na svat-

bu a povídal... «Граф к ним пришел на свадьбу и сказал...»; Pan hrabě k nim přišel i na svatbu «Граф к ним пришел и на свадьбу»; I na svatbu k nim pan hrabě přišel «И на свадьбу к ним граф пришел»; Pan hrabě k nim i na svatbu přišel «Граф к ним и на свадьбу пришел». В обоих случаях — когда основой высказывания является или слово «свадьба», или слово «граф» — внимание может быть так направлено на ситуацию, создаваемую содержанием предложения, что интерес к члену предложения, выражающему основу высказывания, окажется затемненным интересом к сказуемому, которое хотя и является частью ядра высказывания, но стоит не в центре внимания, а на периферии и образует переход от одной части высказывания к другой. В этом случае наши предложения получают ярко выраженный эпический характер: Přišel k nim pan hrabě na svatbu | a povídal... | | «Пришел к ним граф на свадьбу | и сказал... |»; Přišel k nim na svatbu pan hrabě | a povídal... |. «Пришел к ним на свадьбу граф | и сказал... |». При данной структуре последний член предложения также может быть особенно подчеркнут: Přišel k nim na svatbu sám pan hrabě «Пришел к ним на свадьбу сам граф»; Přišel k nim pan hrabě i na svatbu «Пришел к ним граф и на свадьбу». Здесь вырисовывается снова несколько отличная ситуация. В первом предложении основой высказывания является приход гостей на свадьбу, а ядром высказывания — подчеркивание того факта, что к этим гостям относится и граф. Во втором предложении, напротив, основой высказывания являются неоднократные визиты графа, в то время как в ядре высказывания подчеркнуто отмечается, что одним из визитов было посещение свадьбы. Приведенные 12 вариантов предложения, одинаковых по содержанию, но различающихся смысловыми оттенками, весьма убедительно показывают, к какому разнообразию модификаций порядка слов ведет в чешском языке взаимодействие актуального членения и спокойного или эмфатического высказывания.

Тот факт, что на чешский порядок слов влияет несколько различных факторов, признается, собственно говоря, всеми специалистами, взгляды которых на чешский порядок слов были здесь представлены. Всего детальнее занимался установлением этих факторов Эртль, который систематизировал их неправильно, так как за главный фактор принял нормальный или традиционный порядок слов, который является по существу чисто механическим, а остальные факторы он воспринимал лишь как второстепенные, побочные, хотя от некоторых из них зависит характерная динамичность чешского порядка слов. Травничек представляет в общем верную соподчиненность факторов в чешском порядке слов, ибо принцип весомости и прин-

цип ударности, которые вместе с принципом ритмичности он принимает за основу, являются главными факторами для чешского порядка слов. Однако на остальных факторах, даже на принципе ритмичности, Травничек останавливается лишь мимоходом в замечаниях к отдельным примерам и не анализирует их отдельно и с достаточной полнотой. Итак, Эртль и Травничек, каждый по-своему, дают картину чешского порядка слов, хотя в интерпретации отдельных примеров у них есть много общего. Эртль намечает довольно ясную схему порядка слов в чешском языке, рассматривая отдельные детали, но он ошибается в трактовке основных положений. Напротив, иерархия порядка слов, данная Травничком, в основных моментах совершенно правильна, но в деталях расплывчата и неопределенна. Чтобы получить полную картину чешского порядка слов, которая бы удовлетворяла всем требованиям, то есть была бы правильна в основных моментах и точна в деталях, нужно выполнить две задачи: необходимо с достаточной ясностью и полнотой выявить и проанализировать все те факторы, влияние которых определяет порядок слов в чешском языке, и затем выявленные факторы объективно и точно оценить в зависимости от силы их воздействия и взаимосвязей между ними. Для чешского порядка слов главными факторами мы можем считать лишь те, которые определяют позицию грамматического подлежащего и грамматического сказуемого непосредственно в предложении, ибо позиция этих двух основных членов предложения в его грамматической структуре играет первостепенное значение при установлении порядка слов в чешском языке. Факторы, которые вообще не влияют на позицию грамматического подлежащего и грамматического сказуемого или влияют лишь косвенно, относятся, разумеется, к второстепенным. Как я уже отметил, можно полностью согласиться с мнением Травничка, который считает главными факторами порядка слов в чешском языке момент весомости и момент подчеркивания. Наша формулировка, естественно, объединяет эти два фактора следующим образом: порядок слов в чешском предложении определяется в основном актуальным членением предложения, которое базируется на разных принципах при спокойном и при эмфатическом высказывании. Третьим, основным фактором, влияющим на порядок слов в чешском языке, является, по мнению Травничка, момент ритмичности. Согласно нашим представлениям, он относится к второстепенным факторам.

Момент ритмичности, следовательно, является первым второстепенным фактором, определяющим порядок слов. Речь идет о влиянии ритма предложения, который действительно является важным фактором порядка слов в чешском языке,

хотя непосредственно не оказывает никакого воздействия на взаимоположение грамматического подлежащего и грамматического сказуемого, и поэтому этот фактор нельзя отнести к разряду главных. Его влияние проявляется прежде всего на позиции энклитик и вообще безударных слов. Не считает ритмический момент особым фактором, определяющим порядок слов, и Эртль. Он упоминает о нем попутно, при рассмотрении так называемого нормального порядка слов. Естественно, что при таком подходе истинное значение ритмического момента оказывается затушеванным. Зато Травничек хорошо понял всю значительность этого фактора и совершенно правильно выделил его из ряда факторов, влияющих на порядок слов, несущих смысловую функцию. Ритм акцентуации не только не относится к последним, но и оказывает прямо противоположное действие на порядок слов в чешском языке по сравнению с принципом органической смысловой структуры, ибо отрывает близкие по смыслу члены предложения друг от друга. Поэтому нередки случаи, когда в чешском языке отрезок высказывания не совпадает с синтагмой, то есть с группой слов, синтаксически связанных между собой. В других языках, например в английском, такое совпадение является правилом. Я обратил на это внимание в работе «Mluvní takt a některé problémy příbuzné» и привел там в качестве примера предложение: Ani se na to | nemohu podívat «Даже на это я не могу посмотреть». Это противоречие между отрезком высказывания и синтагмой, обусловленное влиянием ритмичности на порядок слов, проявляется в книжном стиле в виде неравномерной силы ритма. В разговорной речи, где фонетическая сторона, а тем самым и ритм акцентуации проявляются очень наглядно, ритмический момент вполне регулярно определяет место энклитик. Иначе обстоит дело в книжной речи, где смысловая сторона преобладает над фонетической и где предложения строятся не в один прием, а следуют в виде отдельных смысловых отрезков. В современной литературе, конечно, энклитики почти всегда занимают то же место, что и в разговорной речи, потому что литературный и разговорный языки в своем развитии очень сблизились также и в отношении стиля, а кроме того, ценители языка литературных произведений решительно настаивают на сохранении этой нормы разговорной речи. Во времена, когда литературный и разговорный языки еще не были так близки, как ныне, ритмический принцип в области влияния на расположение энклитик часто уступал принципу смысловому, и таким образом последние легко примыкали к тем выражениям, с которыми были связаны по смыслу. С таким явлением (в других языках оно иногда становилось правилом) мы сталкиваемся,

например, при чтении монументальных периодов Палацкого; встречаются подобные случаи и в сказках Эрбена, язык которых во многом близок народному. Из Палацкого в качестве примера приведем следующее предложение:

Vše se hemží, křik a hřmot vzmáhá se vůkol, zmatek posedl zástupy, vozové vytahují se z řádův a rozcházejí se, jezdci rozptylují se po tlupách a předjíždějí jeden druhého, ale vše směrem nazad a nikoliv kupředu «Все копошится, крик и гул усиливаются вокруг, смятение охватило толпы, возы выходят из рядов и разъезжаются, ездоки разбредаются по группам и обгоняют один другого, но все едут назад, а не вперед».

Из Эрбена возьмем наудачу следующую фразу:

Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkal pavouka a pavouk svalil se na zem jako zralá višně, byl mrtev «Иржик взял сосуд из тыквы с мертвой водой, побрызгал паука, и паук свалился на землю, как переспелая вишня, он был мертв».

Разумеется, ни Палацкого, ни Эрбена мы не можем обвинить в небрежности стиля или в незнании родного языка, и поэтому нам ничего другого не остается, как констатировать, что в их времена в литературном чешском языке при расстановке энклитик руководствовались иными принципами, чем в настоящее время, то есть тогда был принят, наверное, принцип смысловой близости, а не принцип ритма акцентуации. Ныне, как уже было сказано, правило ритмичности при расстановке энклитик и неударяемых слов действует как в разговорной речи, так и в литературном языке. Уместно в этой связи исправить одно из утверждений Травничка. По его мнению, ритмический момент оказывает влияние на энклитики и безударные слова лишь при спокойном, неэмфатическом и неэмоциональном произношении. Приводя в качестве примера предложения: Nelíbí se jí to | Jí se to nelíbí «Не нравится ей это» | «Ей это не нравится», он подчеркивает тот факт, что вместо энклитической формы, которая имеет место в спокойной речи, в речи эмфатической ставится ударная форма, внешне сходная с энклитикой. Однако форма jí во втором из приведенных предложений и форма jí в первом предложении находятся в таком же отношении, как, например, формы jemu и mu, и поэтому мы не можем утверждать, что форма jí во втором предложении является энклитикой, поставленной в начало предложения в целях подчеркивания. Это просто другая форма, а не энклитика jí. Таким образом, тезис Травничка о том, что ритмический момент играет роль лишь в спокойной, неэмфатической и неэмоциональной речи, несостоятелен.

Помимо ритма акцентуационного, для порядка слов в чешском языке является существенным также ритм равновесия,

влияние которого состоит в следующем: позиция слов и словосочетаний в предложении зависит от того, являются ли они длинными, сложными, трудными для произношения или короткими, простыми, легкими. На это обратил внимание Эртль, включивший в свои рассуждения об особом порядке слов также раздел о содержательности и сложности выражений как факторов, влияющих на порядок слов. Однако уже из приведенных определений видно, что Эртль смешивает два различных явления — значение и внешнюю форму, вследствие чего с его выводами нельзя согласиться. Справедливо то, что более сложное выражение бывает также более содержательным, но в ритме равновесия играет роль только сложность как проявление соразмерности и, стало быть, ритмической силы. Для разъяснения сказанного приведем примеры. Известно, что по правилам хорошего стиля в чешском языке слишком сложное распространенное согласованное определение не может стоять перед определяемым существительным, как обычно, а следует за этим существительным или распределяется между двумя позициями. Такое определение находим, например, в предложении: Jak jsem ukázal ve své plným názvem již nahoře uvedené stati, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я указал в своей уже вышеприведенной под полным названием статье, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о ряде причин и следствий». Это предложение звучит, очевидно, намного лучше и яснее в следующей редакции: Jak jsem ukázal ve své stati, uvedené plným názvem již nahoře, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я указал в своей статье, полное название которой приведено выше, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о ряде причин и следствий».

О том, что в этом случае речь идет о ритме равновесия, свидетельствует следующий факт: исправление порядка слов оказывается излишним, если сложное согласованное определение, стоящее перед существительным, уравновешено несогласованным определением, стоящим за существительным, как, например, во фразе: Jak jsem ukázal ve své plným názvem již nahoře uvedené stati o rozhodujících momentech ve vývoji hospodářském, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я указал в своей уже вышеприведенной под полным названием статье о решающих моментах в развитии экономическом, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о ряде причин и следствий».

И, напротив, хорошему стилю противоречит постановка в конце предложения после подчиненного предложения или развернутого словосочетания слишком краткого члена предложения. При этом возможны изменения трех типов: изменение

порядка слов с переносом краткого члена предложения с конца предложения в другое место, или перестройка порядка слов для ликвидации изолированности этого члена, или, наконец, сохранение порядка слов без изменения и присоединение к краткому члену подходящего слова, чтобы уравновесить его с другими членами предложения. В качестве примера приведем два предложения:

Toho si nelze při dnešním neobyčejně vzrostlém významu ruštiny přát «Этого нельзя при современном необычайно возросшем значении русского языка желать»;

Podívejme se, jak takový rozbor, který má naučit umění kritického rozhledu a ocenění, vypadá «Посмотрим, как такой анализ, который имеет целью научить искусству критического восприятия и оценки, выглядит».

Как уже отмечалось, данные предложения можно видоизменить по-разному. Первая фраза в измененном виде прозвучит примерно так: Při dnešním neobyčejně vzrostlém významu ruštiny si toho nelze přát «При современном необычайно возросшем значении русского языка этого нельзя желать», или: Toho si při dnešním neobyčejně vzrostlém významu ruštiny nelze přát «Этого при современном необычайно возросшем значении русского языка нельзя желать», или: Toho si nelze při dnešním neobyčejně vzrostlém významu ruštiny nikterak přát «Этого нельзя при современном значении русского языка никак желать». Второе предложение в измененном виде будет выглядеть следующим образом: Podívejme se, jak vypadá takový rozbor, který má naučit umění kritického pohledu a ocenění «Посмотрим, как выглядит такой анализ, который имеет целью научить искусству критического восприятия и оценки»; или: Podívejme se, jak takovy rozbor, který má naučit umění kritického pohledu a ocenění, doopravdy vypadá «Посмотрим, как такой анализ, который имеет целью научить искусству критического восприятия и оценки, действительно выглядит».

Следует заметить, что благодаря подобным исправлениям иногда восстанавливается ритм равновесия за счет отступления от порядка слов, обусловленного принципом актуального членения предложения. Об этом свидетельствует первый пример видоизменения второго предложения. Думается — и это предположение подтверждается примерами, приводимыми мною в статье «O rozporu mezi aktuálním členěním souvětí a jeho organickou stavbou»,— что формально ясная и отвечающая требованиям ритма равновесия структура чешских предложений формируется в результате незначительных и не изменяющих смысл отклонений от нормального порядка слов, обусловленного принципом актуального членения предложения. Приведенные при-

меры показывают также, что ритм равновесия не играет в чешской системе порядка слов такой роли, как ритм акцентуации. Позиция энклитик, как мы уже отмечали, в современном разговорном и литературном языке во всех случаях, вплоть до преднамеренных отклонений от нормы, обусловлена ритмом акцентуационным. Влияние ритма равновесия (в литературном языке) зависит от способности писателя чувствовать стиль. Следовательно, ритм равновесия является для чешской системы порядка слов случайным фактором, не имеющим особого значения. Подобным же случайным фактором, влияющим на порядок слов в чешском языке, будет мелодический принцип; самая значительная роль при этом отводится интонации. Здесь подразумевается не троякая функция интонации, о которой я говорил в указанной выше статье о произносительном акте и которая является актуальной в какое-то определенное время в границах данного диалекта вообще, а та ее сторона, которая является чисто индивидуальной и эстетически самодовлеющей. Речь идет о характерной окраске произносимого текста. В Германии этим занимался Э. Зиверс в своих ритмико-мелодических трактатах, а у нас — Я. Мукаржовский. Основополагающее значение в этой области имеет работа Мукаржовского «Souvislost fonické linie se slovosledem v českých verších», которая вышла в 1929 г. на французском языке (см. «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1) и в 1941 г. по-чешски (см. J. M u k a ř o v s k ý, Kapitoly z české poetiky, I). В этой работе Мукаржовский показывает, что так называемая фоническая линия является, собственно говоря, сочетанием интонационной и динамической линий и так тесно связана с порядком слов, что каждое, даже самое незначительное видоизменение порядка слов сопровождается изменением фонической линии. По мнению Мукаржовского, вполне возможно (думаю, можно прямо сказать, правдоподобно, даже обязательно), что и, напротив, необходимость определенной фонической линии очень часто определяет порядок слов. Мукаржовский исследует, естественно, поэтические тексты, но интонационная линия в том смысле, как мы ее здесь понимаем, не менее важна и для прозы. Об этом свидетельствуют, например, следующие предложения: Otevřen dosud byl dům, do něhož šla. Studeně z dálky již černal se vchod, jako by odpuditi chtěl anděla strážce... «Открыт до сих пор был дом, в который она вошла. Холодно издалека уже чернел вход, словно бы хотел оттолкнуть ангела-хранителя...» (Ярослав Дурих).

Эти фразы преднамеренно построены так, чтобы в них четко выделялись дактилические отрезки, которые благодаря своим резким повышениям интонации и медленному темпу создают настроение торжественного уныния. Если внимательнее при-

смотреться к средствам, с помощью которых это достигается, то можно убедиться, что главную роль здесь играет порядок слов — необычный для повествовательных предложений субъективный порядок слов и перестановка энклитик (в противоречие с ритмическим принципом) в конец второго отрезка. Стоит изменить порядок слов по этим двум направлениям, превратив его в нормальный, как настроение, которое автор хотел вызвать звуковой линией своих предложений, сразу исчезнет: Dům, do něhož šla, byl dosud otevřen. Vchod se černal studeně již zdálky, jako by chtěl odpuditi strážného anděla «Дом, в который она вошла, был до сих пор открыт. Вход чернел холодно уже издалека, словно бы хотел оттолкнуть ангела-хранителя».

Вторым второстепенным фактором порядка слов общего характера в чешском языке является момент грамматический. Суть его состоит в том, что место слова или словосочетания в предложении определяется их грамматической функцией; это приводит либо к фиксированному, либо к нормальному, или нейтральному, порядку слов. Под фиксированным порядком слов понимается такой порядок слов, при котором слово или словосочетание в зависимости от своей грамматической функции занимает в предложении всегда одно и то же место. Так, например, приложение всегда ставится после определяемого им слова. Нормальный, или нейтральный, порядок слов проявляется в том, что слово или словосочетание в зависимости от своей грамматической функции занимают в предложении определенное место, до тех пор пока какой-либо другой фактор порядка слов не вызовет изменения в его положении. Так, например, согласованное определение стоит в чешском языке перед определяемым существительным, но под влиянием ударения или ритма это определение может следовать за существительным. Грамматический момент в системе чешского порядка слов систематически во всех деталях рассматривает Эртль, поскольку его внимание приковано по преимуществу к элементам грамматики в системе порядка слов. Травничек упоминает о грамматическом моменте лишь мимоходом. Естественно, Эртль, как уже было отмечено, переоценивает роль грамматического момента для чешского порядка слов. Грамматический момент является важным фактором, влияющим на порядок слов в чешском языке, но все-таки он не играет здесь такой роли, какую играет этот фактор, например, в английском. В этом убеждает нас хотя бы то, что в чешском языке грамматический момент легко уступает место другим моментам, тогда как в английском он преобладает над всеми остальными. Сравнение с английским заставляет нас еще раз подчеркнуть, что грамматический порядок слов следует отличать от грамматикализованного. Грамма-

тический порядок слов, как уже было сказано, означает, что место слова или словосочетания в предложении определяется их грамматической функцией. Напротив, грамматикализованный порядок слов состоит в том, что грамматическая функция слова или группы слов определяется их местом в предложении. Так, например, в английском языке, где формы именительного и винительного падежей существительного морфологически не различаются, для различения подлежащего и дополнения используется порядок слов, а именно: существительное, стоящее перед личной формой глагола, воспринимается как подлежащее, а существительное, стоящее после глагола,— как дополнение. В английском языке порядок слов не только в основе своей грамматический, но притом еще сильно грамматикализован; в чешском же языке, где грамматический момент все же является важным второстепенным фактором порядка слов, примеров грамматикализованного порядка слов, насколько мне известно, нет.

Принцип порядка слов в предложении определяется не только тем, где то или иное слово или группа слов должны или не должны стоять, а также возможностью или невозможностью вставки других членов предложения. Поэтому в чешском языке за третий второстепенный фактор общего характера, определяющий порядок слов, мы должны принять то, что Эртль именует категориальной однородностью (členská sounáležitost). Из сравнения чешского и английского языков видно, как различаются между собой эти языки по силе влияния указанного фактора. Определение, выраженное родительным падежом, в чешском языке так тесно связано с определяемым существительным, что между ними не может быть вставлено другое определение, относящееся к тому же самому существительному. Если мы говорим о поездке по нашей стране Рихарда Штрауса, предпринятой несколько лет назад, то мы обязаны сказать: návštěva Richarda Strausse v naší zemi «Визит Рихарда Штрауса в нашу страну». В английском же нет такой тесной связи определения (с предлогом of, с помощью которого выражается определение в родительном падеже) с существительным, к которому относится это определение. Поэтому перевод на английский язык приведенного выше текста осуществляется в соответствии с системой английского языка, то есть обстоятельство места помещается между существительным и определением, выраженным родительным падежом: The visit to our country of Richard Strauss «Визит в нашу страну Рихарда Штрауса». Полную противоположность представляет связь глагола и дополнения. В чешском языке эта связь очень свободна; здесь допускается вставка между этими членами других слов; в английском наблюдается

тенденция при любых обстоятельствах не отделять глагол и дополнение друг от друга. В чешском языке свободная связь глагола и дополнения сказывается в том, что энклитические формы местоимений легко подчиняются ритмическому принципу, часто полностью отрываясь от глагола, с которым они связаны по значению. В английском языке тесная связь глагола и дополнения проявляется в существовании описательного спряжения с to do, главная функция *которого состоит в том*, чтобы глагол, несущий основное значение, и дополнение остались на своих местах, если даже личная форма глагола должна почему-либо изменить место. Все эти особенности можно наблюдать при сопоставлении предложений одинакового содержания на чешском и английском языках: Po tom slavnostním prohlášení se ho král už na nic neptal «После этого торжественного провозглашения его король уже ни о чем не спрашивал»— After that solemn protestation the king did not ask him any question more. Тесная связь двух членов предложения негативно проявляется не только в том, что между ними не могут быть вставлены другие слова, но и в том, что при перемещении одного из членов перемещается и второй член, стремясь занять место вблизи первого, то есть в изменении порядка слов. На это явление указывал уже Эртль.

Раздел науки о порядке слов в чешском языке требует, однако, дальнейшего изучения, особенно в области различения момента грамматического и момента категориальной однородности. Большую помощь может оказать при этом сравнение с фактами других языков.

Наш обзор факторов, определяющих порядок слов в чешском языке, подходит к концу. Этот обзор, конечно, не является исчерпывающим, ибо можно отметить еще ряд случайных факторов, влияющих на порядок слов. К ним относится, например, момент синтаксической ясности, момент произношения и фонетической организации вообще и т. п. Эти дополнения не могут ничего изменить в наших выводах, ибо схема факторов, формирующих порядок слов, которую мы нарисовали, является полной в своей основе, а намеченная нами иерархия этих факторов — совершенно ясной и вполне весомой. Надеюсь, что теперь установлены точные границы для более подробного монографического исследования материала в области проблемы порядка слов в чешском языке и определена единая точка зрения на этот предмет. Почти безграничное богатство оттенков в системе порядка слов в разговорном и письменном чешском языке требует неотложного исследования этой проблемы в самом широком масштабе.

Б. Трнка



НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О СТРУКТУРНОЙ МОРФОЛОГИИ *

Рассматривая морфологию как специальную часть грамматики, мы хорошо осознаем тот факт, что форма не может быть отделена от значения. Оба аспекта языка, морфологический и семасиологический, можно, однако, считать автономными в том смысле, что изменения в значении формы не находятся в прямой зависимости от его внешнего выражения [1]. Одна и та же форма, которая обозначает, например, настоящее время, может быть использована для выражения прошедшего времени без изменения, которое формально выразило бы сдвиг временнóго значения. Взаимоотношения различных значений отдельных слов и групп слов представляют собой объект семасиологического анализа языка. Морфология имеет дело только с уста-

---

* Bohumil T r n k a, Some thoughts on structural morphology, в сб. «Charisteria...», Praha, 1932, стр. 57—61.

[1] Морфологическая структура языка, по нашему мнению, определяется в значительной степени тем, чтó говорящий принимает за основное или модифицированное в рамках грамматических категорий, например рода и числа, независимо от реально существующих средств выражения. Эта идея, которую развивает Якобсон в интересной статье, написанной для настоящего сборника, заслуживает самого пристального внимания. В своей статье (см. выше выпуск трудов Пражского кружка за май) я ограничиваюсь лишь замечаниями о том, что я называю морфологическими показателями. Из-за недостатка места остаются неупомянутыми несколько интересных моментов, таких, как омонимия в морфологической структуре, совокупность функций в показателях и отношение морфологии к семасиологии и синтаксису.

новлением основных значений форм и конструкций, представленных в языке, и с констатацией их формальных взаимосвязей в данной лингвистической системе независимо от их дополнительных значений.

Все формальные способы, посредством которых выражается морфологическая функция в языке, можно назвать *морфологическими показателями*. Языки различаются по выбору показателей: одни и те же формальные средства, которые несут функцию показателей в одном языке, в другом могут быть лишены этой роли. Так, прямое дополнение в английском языке выражается определенным порядком слов (существительное ставится после глагола в отличие от подлежащего, которое стоит перед глаголом), тогда как в чешском и других «синтетических» языках порядок слов не призван для того, чтобы играть роль морфологического показателя: его функция в этих языках состоит лишь в передаче стилистического многообразия значений. Даже если в винительном падеже форма существительного совпадает с формой именительного (например: Všechny bolesti hojí čas «Время исцеляет все раны»), мы не ощущаем, что порядок слов в предложении является передатчиком именно того значения, которое имеет в виду говорящий. В этом случае, однако, подлинный смысл не может быть слушающим воспринят неправильно, поскольку никакая альтернатива, естественно, здесь не может иметь места. Разница между «Čas hojí všechny bolesti», «Čas všechny bolesti hojí» и «Všechny bolesti hojí čas» просто стилистического характера.

Морфологические показатели, представленные в языках, весьма разнообразны. Они могут быть:

1) фонологическими (ср. чередование гласных фонем в английском языке: s*i*ng «петь»: s*a*ng «пел»: s*u*ng «пропетый»; f*oo*t «нога, ступня»: f*ee*t «ноги, ступни»; imprudent «неблагоразумный»: imprudence «неблагоразумие»).

2) синтетическими (например, *модифицирующие морфемы* в английском языке: *be*-come «становиться», come-*ly* «благообразный», come-*s* «он приходит», com-*ing* «приходящий»);

3) аналитическими (например, порядок слов, словосочетания, вспомогательные слова, грамматическое согласование);

4) сложными словами (то есть группами слов, оформленными синтетически).

Кроме того, некоторые из морфологических показателей могут состоять из сочетаний двух или более формальных средств, не обладающих функцией морфологических показателей. Так, в английском языке посессивный генитив выражается окончанием -s (а также -z и -iz) + позиция имени существительного перед определяемым словом или же сочетанием

того же окончания с предлогом of. Многочисленные морфологические показатели такого рода в индоевропейских языках складываются из чередований одной или двух фонем в корневой морфеме + суффикс или префикс, например, в английском: li*fe* «жизнь»: li*ve*-s — то же [мн.ч.]; k*ee*p «держать» : k*e*p*t* «держал»; l*eave* «покидать»: l*eft* «покинул»; clemen*t* «милосердный» : clemen*cy* «милосердие». В чешском : ru*ka* (им. п. ед. ч.) «рука»: ruc*e* (дат. п. ед. ч.) «руке»: ru*ční* (прилаг.); *Jan* «Иван»: *Jene*! (зват.п.); *hora* «гора» : *poh*oř-*í* «цепь гор» и т. д.; ср. также англ. women «женщины», образованное от woman «женщина» посредством двух чередований. Отдельные элементы комбинированного морфологического показателя не обладают никакой морфологической значимостью вне этого сочетания, которое мы должны таким образом принимать за нечто целое, если подходить к этому с точки зрения структурной морфологии.

В соответствии с тем, какие морфологические показатели являются *характерными* для тех или иных языков, последние можно разделить на четыре следующие группы:

1) языки, для которых *характерны* аналитические морфологические показатели или сложные слова. К таким языкам относятся, например, китайский, сиамский и другие «изолирующие» языки;

2) языки, *характерным* морфологическим показателем которых является *чередование*, например семитские языки;

3) языки, *характерными* морфологическими показателями для которых служат синтетические или даже сложные слова без чередований в корневых морфемах слов [2]. К таким языкам относятся, например, языки банту, американские и урало-алтайские языки;

4) языки, которые, кроме сложных слов, синтетических, фонологических и аналитических средств, пользуются еще и комбинированными морфологическими показателями, например языки индоевропейские. В соответствии с тем, какие из морфологических показателей четвертой группы используются, можно разделить эту группу на ряд типичных подгрупп. Так, латинский язык, чешский, греческий и т. д. являются языками синтетическими, тогда как в современных германских языках,

---

[2] Чередование суффиксальных гласных фонем в урало-алтайских языках (например, kések : házak в венгерском языке; ср. подобные явления в древнескандинавских диалектах) и чередования суффиксальных согласных в английском (bits : beads; laughed : loved) зависит от гласной или согласной, содержащейся в корневой морфеме слова, и их нужно строго отличать от *чередований*, которые имеют место независимо от этого, например в английском: sink : sank : sunk; foot : feet. Здесь следует упомянуть о том, что чередования могут состоять также и в добавлении или отсутствии фонемы.

особенно в английском, наряду с синтетическими показателями используются, причем очень часто, показатели аналитические и фонологические.

Морфологические показатели в свою очередь можно сгруппировать в два класса, в зависимости от того, выражают ли они реляционные или семасиологические модификации одного и того же корня, например, в английском: wait, waits, waited, waiting, waiter, waiters, waiter's, waitress; shall, will, wait и т. д., или же обозначают те же отношения или семасиологические модификации различных слов, например: *kings*, *wives*, *men*; *the king*'s garden; the garden *of the king*.

Унифицирующим элементом первой группы, которую можно назвать *группой морфологической*, является общий корень, который выступает в виде слова или корневой морфемы. Формы слов *производятся* или непосредственно от корня, или от другого члена группы, который служит вторичной основой уже для более узкой морфологической группы. Таким образом, они могут быть связаны различной степенью родства, которое должно устанавливаться для данной языковой системы синхронически, без учета предшествующих или последующих стадий развития этого языка [3]. Если ощущается, что слово содержит модифицирующую морфему, то его остаток всегда представляет собой морфологическую основу, даже несмотря на отсутствие у такой морфемы какого-либо значения. Так, англ. flabby «вялый, слабый» делится на суффикс -y, который указывает, что это прилагательное, и корень *flab, который ни в одном другом слове больше не встречается. Ср. также чешск. roz-*man*itý «разнообразный». Такие морфологические основы, которые невозможно соотнести с какими-либо другими морфемами ввиду их изолированности, могут быть названы «потенциальными». Следует добавить, что в развитии языка потенциальные элементы могут стать реальными, например scavenge «убирать мусор» в scavenger «мусорщик», и наоборот. Тем же термином можно обозначить фонемы или группы фонем, которые нужно рассматривать как модифицирующие реальную основу, хотя они больше нигде не встречаются. Примеры: fort-ress «крепость», kin-dred «кровное родство; сродство», front-ier «граница».

Общим элементом другой группы является одно и то же значение морфологического показателя. Так, модифицирующие морфемы -i(-y), -e, -í, *чередование* + -í, -i (ср. chlapi «мужчины»,

---

[3] В результате чередования некоторые члены морфологической группы могут иметь только один общий звук: ср. англ. dear : dearth. darling; чешск. roznesu: přináším.

buky «бук» (мн. ч.), meče «мечи», bratří «братья», páni «господа») в качестве синонимичных морфологических показателей служат для обозначения множественного числа и именительного падежа существительных мужского рода в современном чешском языке. Прошедшее время в английском языке образуется не только с помощью окончания -t (-d и -id соответственно), но также и с помощью чередования гласных или дифтонгов (например: sing : sang, read : read) или с помощью окончания -t + чередование (например: keep : kept). Синонимические морфологические показатели для выражения одной и той же функции комбинируются, дополняя друг друга, но ни один из них не подменяет другого. Если синонимическое образование ограничивается одним или двумя словами (например: him, them, whom), то его можно назвать «супплетивным». Морфологический показатель -m (плюс чередование гласного или дифтонга соответственно) является супплетивным вследствие того, что, как правило, показателем прямого дополнения является порядок слов. Супплетивизм — хорошо известное явление, если он имеет место в морфологической группе [4]: две корневые морфемы вместо одной используются для того, чтобы дополнить друг друга (например: good : *better*; go : *wen*-t). Такие случаи, как worse и less, которые находятся в таких же семантических отношениях с bad и little, как colder и better с cold и good, необходимо рассматривать как род *двойного* супплетивизма, где идея сравнения не выражена ни одним из обычных показателей -er и more.

Существование дополнительных типов можно рассматривать как ненужное усложнение языковой системы. Действительно, искусственные вспомогательные языки, такие, как эсперанто или новиаль, могут рассматриваться как более совершенные, чем языки живые, поскольку они пользуются только одним морфологическим показателем для каждой функции. Причина этого лингвистического явления, которое в большей или меньшей степени характерно для всех естественных языков, возможно, заключается в том, что синонимические формы, употребленные, например, в современном чешском языке для выражения дательного падежа единственного числа, соотносятся как контрастные не только с формами именительного, который используется для выражения наиболее важной синтаксической функции, но также и с другими падежными формами. Если бы форма дательного падежа единственного числа выступала в морфологической оппозиции только с формами именительного, то едва ли было бы необходимо применять так много морфологических показателей (которые, между прочим, в большинстве своем

[4] Анализ морфологической основы с точки зрения семасиологии будет представлен в специальной статье.

являются омонимами) для обозначения одной и той же функции, и тогда перестройка окончаний дательного падежа происходила бы только с учетом форм именительного и грамматических родов. Другими словами, тенденция к использованию одного морфологического показателя для одной и той же функции наталкивается на связи, существующие между членами той же морфологической (под)группы.

Некоторые из синонимичных морфологических показателей могут замещать друг друга в ряде функций. Соотношение таких показателей представляет собой особого рода параллелизм, то есть один из них, совершающий, так сказать, другой путь, выполняет на каком-то определенном отрезке ту же самую роль, что и первый. Так, посессивный падеж в английском языке является морфологическим показателем, параллельным тому, который выражается предлогом of + имя. Морфологический показатель, обозначающий дательный падеж, выраженный при помощи определенного порядка слов (имя ставится между глаголом и прямым дополнением), во многих случаях может заменить главный показатель to + имя. В чешском языке суффикс -ové, который употребляется для обозначения именительного падежа мн. ч. в существительных мужского рода, в некоторых случаях может заменять другие окончания, например: вместо rty «губы», meče «мечи», Češi «чехи» можно сказать rtové, mečové, Čechové. Замена морфологических показателей параллельными часто предполагает различные оттенки значений, но это не является объектом исследования морфологии.

Один и тот же морфологический показатель может быть и дополнительным и параллельным. Так, наречия more «больше» и most «самый большой» употребляются как дополнительные показатели, выражающие соответственно сравнительную и превосходную степени; употребление же суффиксов ограничено определенными типами прилагательных. В то же время они могут заменять суффиксы в качестве параллельных средств выражения, например: more, most poor вместо poorer «беднее», poorest «самый бедный». То же самое можно сказать о чешском суффиксе -ové, который также является дополнительным суффиксом ряда существительных, таких, как vévodové «воеводы», synové «сыновья» и т. д.

В заключение я хотел бы указать на то, что к морфологии следует подходить как с точки зрения предложения, так и с точки зрения слова. Все сказанное относится к морфологическому анализу языка как определенной статической системе средств выражения и представляет собой только зачаточную стадию структурной морфологии, которая обещает внести столь большой вклад в будущие исследования.

Б. Трнка

ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОМОНИМИИ *

Из проведенного профессором Матезиусом сопоставления функциональной нагрузки фонем и их способности вступать в комбинации друг с другом следует, что инвентари фонем, имеющиеся в отдельных языках, используются в них по-разному. Например, славянские языки менее экономны, чем, скажем, английский или французский. Это явствует хотя бы из того, что в славянских языках значение слова очень часто определяется лишь последовательностью двух, даже трех или более слогов (которые сами по себе не имеют большей частью никакого смысла), тогда как в английском и французском языках слова состоят нередко только из одного слога [1]. Поскольку большинство слов в этих языках односложно, то говорящие на этих языках привыкли ассоциировать с отдельными слогами какие-то значения. Поэтому иностранные многосложные слова, проникающие в широкие слои народа, часто подвергаются редукции, например choc (chocolate), pram (perambulator «детская коляска»), flue (influenza) и т. д. Тенденция английского языка к односложности слов, которая является его характерным признаком, зависит от относительно большой способности фонем получать функциональную нагрузку (а также от большего, чем в других германских языках, числа представленных здесь фонем).

---

* Bohumil Trnka, Bemerkungen zur Homonymie, TCLP, 4, Prague, 1931, стр. 152—156.

[1] По-видимому, не случайно, что открытые слоги односложных слов в чешском языке различаются по своему звуковому составу в большей мере, чем, например, в английском, где одна и та же односложная комбинация может быть то словом, то лишь слогом (например, англ. tea, see, sow).

Односложные слова чешского языка, оканчивающиеся на гласные, если они не являются предлогами или другими «маленькими» словами, характеризуются комбинациями согласных, например rty «губы», mzda «зарплата», dne «дня», lže «он лжет».

Комбинации фонем, функционирующие в данном языке в качестве слов, как правило, ассоциируются с различными значениями, например в английском языке: hand «рука, работник, почерк, стрелка часов, сторона, передавать», leaf «лист, страница», room «комната, место, пространство», die «умирать, игральная кость», dye «краска, красить», sea «море, волнение на море, прилив, волна, морской, приморский», see «видеть, смотреть, глазеть, наблюдать, осматривать, узнавать», fair «ярмарка, прекрасный, честный, белокурый, честно, благоприятно». Если отдельные значения слов связаны друг с другом переходными значениями, то в языковом сознании их совокупность воспринимается как «одно слово», например: hand, leaf, room, и в таком случае говорят о полисемии слов. Но если значения одинаковых комбинаций фонем настолько различны, что они не вызывают никаких общих представлений, то перед нами омонимы, например: англ. dai, si:, feə, ai. Между значениями «умирать» (die) и «окрашивать» (dye), «море» (sea) и «видеть» (see) не может существовать никаких переходных представлений. И хотя эти значения связаны с представлением об одних и тех же последовательностях фонем, в языковом сознании они остаются различными «словами». Отметим здесь, что полисемичное слово может к тому же распадаться на пару омонимов, например англ. to : too, born: borne, и, наоборот, априорно нельзя исключить возможности того, что омонимичная пара в результате так называемой народной этимологии станет полисемичным словом. Хотя бы по этой причине синхронические исследования необходимо строго отличать от диахронических. Неясности, которые можно обнаружить в некоторых работах по омонимии, обусловлены как раз смешением обоих планов: синхронного и диахронного. Как и в других аспектах языка, синхроническое исследование должно и здесь служить основой для диахронического.

Омонимия возникает либо в результате слияния (соответственно — отпадения) фонем, либо при заимствовании. К первому типу относятся англ. so «так»— sow «сеять», knight «рыцарь»— night «ночь», two «два»— to «к, в» (предлог и приинфинитивная частица), тогда как англ. fair «прекрасный» и «ярмарка», франц. ton «твой» и «тон», чешск. role «поле» и «роль» * стали омонимами лишь в результате заимствования одинаково звучащих иностранных слов. Омонимы последней группы можно назвать гибридными. В некоторых языках все омонимы являются гибридными, например в турецком языке,

* Об этих словах см. второе примечание переводчика в русском издании книги Й. Вахека «Лингвистический словарь Пражской школы», М., «Прогресс», 1964, стр. 139.— *Прим. ред.*

о чем мне любезно сообщил профессор Я. Рипка. Вопрос о происхождении омонимов небезынтересен и для синхронного изучения языка. Поскольку заимствования не воспринимаются как слова родного языка, гибридные омонимы следует отделять от остальных. Независимо от происхождения омонимов их можно разделить на две большие группы: во-первых, слова, омонимичные *во всех* формах, например франц. louer «хвалить» и «брать (или давать) напрокат», англ. knight [naɪt] «рыцарь»— night [naɪt] «ночь», die [daɪ] «умереть»— dye [daɪ] «красить»; во-вторых, слова, омонимичные *не во всех формах*, например: англ. minor [maɪnə] «младший, меньший» и miner[maɪnə] «горняк», fair «ярмарка» и «прекрасный», lie «лгать» и «лежать» (lay «лежал» или lied «лгал» в прошедшем времени). Омонимы первой группы можно назвать *полными*, а омонимы второй группы *неполными*. В первом случае значение омонима, которое имел в виду говорящий, может быть понято на основе смысловых связей. Во втором случае значение, которое имеет в виду говорящий, ясно не только из контекста, но и, как правило, из синтаксического сочетания, например англ. the rose «роза»: he rose «он встал», чешск. žíti trávu «косить траву» (переходн.): žíti klidným životem «жить спокойной жизнью» (непереходн.). Полные омонимы относятся лишь к одной грамматической категории слов, тогда как неполные могут относиться к различным категориям. В развитии языка, как доказал Жильерон на материале живых французских диалектов, существует тенденция заменять синонимами те омонимы, которые я называю полными, в том случае, если они относятся к одной и той же интеллектуальной сфере. Перед статической лингвистикой встает задача исследовать, какую роль играет омонимия в области стилистики данного языка и какими средствами можно избежать этой омонимии при отдельных комбинациях слов в предложении.

Относительно большее или меньшее количество омонимов в различных языках дает нам право сделать вывод, что отдельное слово обладает в предложении относительно различной семасиологической самостоятельностью. Например, в английском языке значение последовательности фонем, составляющей слово, связано с другими членами в том же самом предложении теснее, чем, скажем, в чешском языке, где слово и в изолированной позиции имеет довольно определенное значение. Следовательно, психологический процесс понимания в аналитических и синтетических языках протекает по-разному. Говорящий на английском языке в гораздо большей степени, чем говорящий на чешском, склонен ассоциировать одну и ту же комбинацию звуков с различными значениями в зависимости

от словесного окружения в предложении, причем следует отметить, что опасность омонимии никогда не была препятствием для заимствования иностранного слова, имеющего одинаковое звучание (с каким-либо словом родного языка). В этом отношении интересно, что в чешском языке в таких заимствованных словах, как, например, kólon «синтагма», род. п. kóla, lóže «ложа», долгота *o*, которая утратила свою фонологическую функцию еще в древнечешском языке, становится необходимым средством для отграничения заимствований от одинаково звучащих слов kolo «круг, колесо», род. п. kola, lože «ложе, постель».

Ясно, что чем прочнее значащий элемент языка включается в какую-либо комбинацию, тем больше значений он может приобрести. Суффиксы, которые ни при каких условиях не могут функционировать самостоятельно, как правило, омонимичны: например, суффикс *-a-* в чешском языке может служить для выражения родительного падежа ед. ч. *o*-основ, именительного падежа ед. ч. *a*-основ, именительного и винительного падежей мн. ч. *o*-основ среднего рода и именительного падежа ед. ч. мужского рода причастий настоящего времени, поскольку сочетания с основой оказывается достаточно для того, чтобы однозначно выразить желаемое отношение. Если исходить из слова в целом, то в данном и подобных ему случаях никакой омонимии, естественно, не существует.

До сих пор речь шла о лексической омонимии, но существует также и морфологическая омонимия. Я имею в виду случаи вроде англ. [kɪŋz], [lɔːdz], чешск. kostí *, где окончание остается многозначным даже в сочетании с основой. Но и здесь правильное понимание обеспечивается чаще всего синтаксическим контекстом. В английском языке правильное значение суффикса часто указывает только порядок слов, играющий в славянских языках лишь незначительную роль (ср. otců dům «дом отца», dům otců «дом отцов»). В отношении же морфологической омонимии необходимо сделать вывод: чем прочнее связаны слова в предложении, тем чаще в морфологической структуре языка имеет место или может иметь место омонимия [2].

Омонимия, по-видимому, является также существенным фактором в развитии фонологической системы языка. Вызы-

* Об этих словах см. первое примечание переводчика в книге Й. Вахека «Лингвистический словарь Пражской школы», М., «Прогресс», 1964, стр. 139.— *Прим. ред.*

[2] Мы здесь не будем останавливаться на вопросе о том, влияет ли на лексическую и морфологическую омонимию различная степень связанности слов в предложении или, наоборот, не является ли сама омонимия причиной различной степени связанности слов. Оба эти явления представляют, по-видимому, единую общую тенденцию для всех языков.

вающие омонимию совпадения или выпадения фонем, объяснение которых фонология ищет в звуковой системе, должны ограничиваться (сдерживаться) *профилактической* тенденцией, направленной против возникновения чрезмерного количества омонимов. Свойство фонем дифференцировать отдельные слова дано уже в определении фонемы. И чем больше опасность превращения различных слов в омонимы в результате выпадения или совпадения фонем, тем с большим трудом, ввиду реакции говорящих, пробивают себе дорогу такого рода фонологические изменения. Например, в др.-в.-нем. интердентальный фрикативный сразу же переходил в соответствующий эксплозивный, так как до этого в языке не было d, тогда как в др.-сакс., где d сохранилось, переход þ > d наступил значительно позднее. Если же тенденция к совпадению фонем очень сильна, то происходит передвижение целого фонемного ряда, чтобы предотвратить угрозу омонимии. Германское передвижение согласных и так называемое «великое передвижение» гласных в новоанглийском языке были, вероятно, вызваны этой тенденцией. Из сказанного выше следует, что сила реакций системы, противодействующих отпадению или слиянию фонем, зависит в различных языках от степени связанности значащих элементов и слов внутри предложения.

В. Скаличка

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНГЕРСКИХ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ *

В превосходном венгерском этимологическом словаре [1] значительное место занимают выражения, именуемые звукоподражательными. Речь идет об известных всем языкам словах, в которых звучание слова само по себе выражает понятие, заключенное в слове; ср., например, венгерские babog «лепетать», dadog «заикаться», csicsereg «чирикать» ** и т. п.

Этимология подобных слов объяснена в венгерском этимологическом словаре на основе программной статьи Гомбоца [2]. В этой статье он рассуждает примерно следующим образом:

Наряду со словами финно-угорскими по происхождению и более поздними заимствованиями из различных языков в венгерском языке обильно представлены звукоподражательные слова, созданные в процессе языкового развития. Последние возникли на почве подражания действительности.

Гомбоц сам отмечает, что не все слова, воспринимаемые в качестве звукоподражаний, являются звукоподражательными по происхождению. Поэтому в каждом подобном случае следует выяснить, является ли то или иное слово звукоподражательным по происхождению или нет. В связи с этим Гомбоц приводит три критерия для распознавания звукоподражательных по происхождению слов:

1. Незначительное географическое распространение. Звукоподражательные по происхождению слова являются по преимуществу диалектными, слова же угро-финского или турецкого происхождения почти всегда носят общевенгерский характер.

---

* Vladimír Skalička, Studie o maďarských výrazech onomatopoických, «Sborník filologický», XI, 1935, стр. 75—101.

[1] Gombocz — Melich, Magyar etymologiai szótár (= MESz), 1914—1936.

** Венгерские глаголы даны в форме 3 л. ед. ч. наст. вр. безобъектного спряжения, однако переводятся они, согласно традиции, почти во всех случаях в форме инфинитива.— *Прим. ред.*

[2] Gombocz Z., Hangutánzás és nyelvtörténet, MNy, 9, 1913, стр. 385—391.

2. Отсутствие таких слов в старых словарях и письменных памятниках.

3. Разнообразие фонетических вариантов (ср., например, ballag, bullog «медленно идти, семенить», billëg, büllög «шататься, колебаться»).

Кроме собственно звукоподражательных слов, как отмечает Гомбоц, в языке встречается множество слов, которые выражают движение и передают это посредством своего фонетического состава (наряду с звукоподражательными словами hangutánzó szavak Гомбоц выделяет hangfestő szavak, то есть звукоописывающие слова).

Наконец, Гомбоц отмечает, что звукоподражательные слова, подобно прочим, развивают систему значений и иногда с определенным значением попадают в литературный язык (так, например, из обширной группы слов на caf-, cap- и т. п. в литературный язык вошли слова cáfol «опровергать» и cafat «лохмотья, рубище»).

Этим принципам соответствует и практика венгерского этимологического словаря. Звукоподражательные слова даются в нем двояко:

1. С простым указанием на то, что слово является звукоподражательным (hangutánzó szó) или звукоописывающим (hangfestő szó); см., например, слово céget «науськивать, натравливать» (вып. IV, стр. 626).

2. С указанием на то, что данное слово присоединяется к другому или к другим словам или к целой группе других звукоподражательных слов. Так, например, при слове cafog 1) «шлепать по грязи», 2) «трястись» приводится много сходных слов (cafat, caflat, cáfol и т. д.) с указанием на то, что вся группа слов образована от звукоподражательного корня caf-(MESz, вып. IV, стр. 600 и сл.).

Однако теория и практика Гомбоца и Мелиха противоречат многим наблюдениям современной науки, и поэтому будет, очевидно, полезно рассмотреть данную проблему еще раз.

Мы будем исходить из самых основ языка. Язык — это семиологическая система, так как его неразрывной составной частью являются семиологические, семантические отношения. Семиологические отношения связывают два элемента — означаемое (signifié) и означающее (signifiant). В языке означаемым элементом является внешний мир, означающим — область фонетики. Обе эти стороны не включаются в язык в непосредственном виде. Фонетика входит в язык как фонологическая система, реальный мир — как система тематическая. Обе системы в свою очередь образуют систему грамматическую.

Согласно этому мы строим и наше исследование, в связи с чем на той же самой основе мы приступаем и к исследованию диахронии звукоподражательных выражений, то есть главным образом к их этимологии.

I

Прежде всего мы коснемся фонетической и фонологической сторон ономатопоэтических слов. Как мы убедимся, **фонетическая**, то есть чисто звуковая, сторона звукоподражаний чрезвычайно важна. В связи с этим мы уделим ей особое внимание.

Обычно фонетика имеет отношение только к фонологии. Эти отношения в интеллектуальном словарном составе вполне обычны и непроблематичны, а поэтому они и не особенно важны.

Звукоподражательные слова существенно отличаются от последних в двух направлениях:

1. Фонемы, образующие соответствующее слово, произносятся иначе, чем обычно, выступая в стилистических вариантах и тем самым приближаясь к действительному звуку. Это касается в значительной мере только междометий; ср., например, произношение чешск. bim-bam [3]. Тем самым фонология теряет свое превосходство над фонетикой и возникает проблема взаимоотношения фонологии и фонетики. Однако, как уже было сказано, этот факт не имеет большого значения для всех звукоподражательных выражений, а распространяется только на область собственно междометий.

2. Более важно другое явление. Фонемы, образующие определенное слово, не являются случайными, а воспринимаются так, что наличие их в слове соотносится с тем, что выражает слово в целом.

Сколь далеко простираются эти отношения — в этом вопросе мнения исследователей расходятся. Так, З. Гомбоц в указанной выше статье придерживается взгляда, что ономатопоэтические слова возникли самостоятельно, вследствие чего их единственной этимологией является сам естественный звук. Это означает, что в них преобладает звукоподражание, а прочие элементы не имеют значения. Напротив, Й. М. Коржинек пишет: «Не следует забывать, что звуковой вид звукоподражательных семантем сравнительно мало зависит от объективного характера соответствующих естественных звуков, что в дан-

---

[3] Ср. J. M. K o ř í n e k, Studie z oblasti onomatopoje, «Práce z vědeckých ústavů», XXXVI, стр. 28 и сл.

ном случае речь идет прежде всего об установившемся и традиционном представлении об особой пригодности звукового строя определенных семантем для выражения соответствующих звуков, существующих в языковом сознании носителей определенного языка и зачастую весьма разнообразных у различных народов» [4]. Таким образом, звукоподражание сведено до уровня пустой, ничем не обоснованной фикции.

Действительность, однако, гораздо сложнее, чем указанные крайние точки зрения.

Прежде всего нам хотелось бы обратить внимание на аналогичные отношения в других семиологических системах. Римские цифры I, II, III обозначают числа 1, 2, 3. Ясно, что между означающим и означаемым элементами существуют также и иные отношения, а не только семиологические. Означающий элемент обладает определенными свойствами, посредством которых он связан с означаемым элементом. Приведенные цифры обладают свойством (число черточек), которое связывает их с числами, обозначаемыми ими. То же наблюдается в китайском письме. Число 1 обозначается одной горизонтальной чертой, 2 — двумя чертами, 3 — тремя, в иероглифе дерева мы различаем ствол, ветви и корни, в иероглифе горы — вершину горы, в иероглифе, обозначающем ребенка,— голову и руки и т. п. [5] Нечто подобное наблюдается также и в языке глухонемых и в других языках жестов; например, в языке глухонемых 1 обозначается одним пальцем, 2 — двумя, 3 — тремя и т.д.

Таким образом, мы приближаемся к языку слов. В отличие от языка знаков или жестов, которые являются семиологическими оптическими системами, речь представляет собой семиологическую акустическую систему. П о н я т и е з в у к о п о д р а ж а т е л ь н о с т и о с н о в а н о н а в о о б р а ж а е м о й и л и р е а л ь н о й б л и з о с т и о з н а ч а ю щ е г о и о з н а ч а е м о г о э л е м е н т о в. Пример оптических систем указывает нам путь, по которому надо следовать, чтобы отыскать звукоподражания в языке. Означающий элемент, по-видимому, и здесь будет иметь определенные свойства, соотносительные с означаемым. Необходимо подчеркнуть, что звукоподражание не может стать идентичным звуку. И даже если бы звукоподражание физически соответствовало естественному звуку, то и тогда это не были бы тождественные явления, поскольку оба они принадлежат к разным системам и играют в последних разную роль.

---

[4] J. M. K o ř í n e k, Studie z oblasti onomatopoje, стр. 176.

[5] См. G. von G a b e l e n t z, Chinesische Grammatik, Leipzig, 1881, стр. 44.

С терминологической точки зрения мы считаем уместным распространить понятие звукоподражательности и на аналогичные явления оптических систем. Мы полагаем, что благодаря этому увеличится ценность этого понятия.

Следовательно, для нас звукоподражательность является отношением элементов означаемого и означающего, базирующимся на соотносительности их свойств.

Как мы уже отметили, ономатопоэтическое слово не бывает идентичным и не может быть идентичным звукам внешнего мира. Звуки языка являются элементами языковой системы, звуки же внешнего мира являются составной частью системы реального мира. Таким образом, они выступают в качестве составных частей разных систем и, следовательно, не могут быть тождественными. И если бы даже звук языка физически точно соответствовал естественному звуку, все же тождественным ему он быть бы не мог.

Однако нам известны определенные тенденции, на основе которых звуки распределяются по определенным группам. Совершенно объективно можно установить, что определенные звуки или определенные виды звуков языка связаны с определенными звуками или определенными видами естественных звуков.

Сделаем попытку рассмотреть венгерские звукоподражательные выражения с точки зрения фонетики.

Венгерские гласные характеризуются тремя крайностями: i — наиболее узкий и наименее лабиализованный гласный, u — наиболее лабиализованный гласный, a — наиболее широкий гласный. В соответствии с этим все венгерские гласные делятся на три группы: a-образные (a), i-образные (i,e) и u-образные (u, o, ü, ö). В соответствии с этим делением делятся на группы и звукоподражательные выражения.

Выражения, передающие отчетливый звук, содержат обычно гласный -a-; ср. csahol «тявкать», gágog «гоготать», hápog «крякать», jajgat «ахать, охать», károg «каркать».

Выражения, передающие звук высокого тона, обладают тенденцией к вокализму типа -i: szisszen, sziszeg «шипеть», cincog «пищать (о мыши)», ciripel «трещать (о сверчке)», visít «визжать».

Выражения, передающие неясный, приглушенный звук, обладают тенденцией к лабиализованным гласным; ср. bőg «мычать, реветь», köhög «кашлять», morog «ворчать», horkol «храпеть», dörög «греметь».

Система венгерских согласных гораздо сложнее системы гласных. Венгерские согласные образуют большее число соче-

таний, соответствующих акустическим представлениям о реальном мире.

Прежде всего, вероятно, сближаются велярно-гуттуральные звуки, а именно k, g, h. Они выражают неясные звуки, подобные соответствующим согласным. Приведем примеры: köhög «кашлять», köhécsel «покашливать», korog «бурчать, урчать», károg «каркать (о вороне)», gágog «гоготать», kong «глухо звучать» (например, о пустом зале), huhog «ухать (о сове)».

Сходный, но более отчетливый звук находим в словах с зубными согласными. В данном случае чаще всего употребляется звук -d-; ср. dörög «греметь», dong, döng «жужжать, гудеть», dörmög «брюзжать, урчать», durrog «трещать, грохотать» (MESz, X, стр. 1450).

Со свистящими и шипящими согласными имеют тенденцию употребляться слова, передающие свистящие, дребезжащие звуки: sziszeg «шипеть», szív «сосать», szippant «шмыгнуть (носом)», zizeg «шуршать (о листьях)», susog «шептать», suhogni «свистеть (о кнуте)», süvölt «выть (о ветре)», zsong «жужжать».

С аффрикатами употребляются слова, передающие чавкающие, трескучие звуки; ср. csámcsog «чавкать», csicseg «чавкать (о воде в сапогах)», cserdít, csördít: 1) «стучать, колотить в дверь», 2) «чем-либо трещать, греметь», 3) «щелкать бичом», 4) «стукнуть по шее» (MESz, VII, стр. 962), csoszog «волочить», cafog: 1) «шлепать по грязи», 2) «трястись, дрожать» (MESz, IV, стр. 601), cammog «семенить, трусить, идти мелкой рысью» (MESz, IV, стр. 610), cupog «издавать чавкающий звук (например, ногой в воде, в грязи, около воза, при поцелуе, при замешивании теста, при падении предмета)» (MESz, V, стр. 774).

К употреблению губных склонны трескучие и хлопающие звуки; ср. prüsszent «чихнуть», prüszköl «чихать», pattint «щелкнуть (бичом)», pukkan «треснуть», böfög «рыгать», fitty «щелкать пальцами» (MESz, XII, стр. 279), brekeg «квакать (о лягушках)».

К употреблению носовых (n, m) согласных имеют склонность звуки прерывистые, приглушенные. Звук -n- выступает чаще всего как полугласный, то есть употребляется перед согласным. Ср. morog, mormol «ворчать, бормотать», zümmög «жужжать (о мухе)», motyog «говорить себе под нос», mekeg «блеять», kong «гулко звучать (о пустом помещении)», dong: 1) «гудеть, жужжать», 2) «говорить неясно, в нос» (MESz, IX, стр. 1388), zsong «жужжать (о пчелином рое)», cancékol «шататься» (MESz, IV, стр. 611).

Довольно специфический звук выражает согласный -ny-, к которому тяготеют слова, передающие приглушенный и вместе с тем высокий звук, ср. nyerít «ржать (о лошади)», nyihog «ржать», nyávog «мяукать», nyöszörög «скулить».

Звуки -v- и -j- в звукоподражательных словах довольно редки. Они встречаются в словах, передающих протяжные звуки, например jajgat «охать», vonít, üvölt «выть».

Нам остается рассмотреть еще звуки -r-, -l-. Звук -r- означает дребезжащий, довольно грубый звук; -l- — гораздо мягче. Ср. károg «каркать (о вороне)», brekeg «квакать», morog «ворчать», korog «бурчать, урчать (в желудке)», recseg «скрипеть», röfög «хрюкать (о поросенке)», liheg «пыхтеть», lobog «реять (о знамени)», locsol «брызгать, опрыскивать», locsog «много болтать».

Звукоподражательные функции свойственны не только отдельными звукам языка, но и их сочетаниям. Очень важно при этом удвоение.

Удвоение целых слогов подчеркивает повторяющийся звук; ср. dadog «заикаться», kotkodácsol «кудахтать», kukorékol «кукарекать», kakuk «кукушка», bugyborékol «булькать (о воздухе в воде)», kelepel, kerepel «стучать (аист клювом)».

Удвоением согласных выражается прерывистый резкий звук; ср. koccint «чокаться (стаканом)», robban «взрываться», tüsszent, prüsszent «чихнуть», kullog «красться, медленно идти», loccsan «плескаться (о воде)».

Наш обзор в научном отношении никак не упорядочен. Для этого потребовалось бы сотрудничество с акустикой. Но все же и на основании этого можно сделать кое-какие выводы.

Прежде всего все приведенные слова еще раз свидетельствуют о том, что каждое звукоподражание неточно воспроизводит звук. Это видно уже из переводов с венгерского на чешский, которыми нельзя точно передать венгерские глаголы.

Но при этом все же очевидно, что подражание в известной мере имеет место. И опять-таки на это указывает чешский перевод. Некоторые чешские глаголы иногда очень сходны с венгерскими, иногда же сходство отсутствует. Ср. bög — bučeti «мычать», mekeg — mečeti «блеять», но nyerít — řehtati «ржать», tüsszent, prüsszent — kýchati «чихать».

Далее можно заметить, что не все звуки при образовании звукоподражательных слов употребляются одинаково часто. Наиболее употребительными являются свистящие и шипящие, и особенно аффрикаты, весьма эффективно способствующие образованию таких слов.

Звуки, передаваемые ономатопоэтическими словами, весьма разнородны. Некоторые из них очень сложны, и воспроиз-

ведение их оказывается довольно приблизительным. Возьмем хотя бы слово «ржать»— чешск. řehtati, венг. nyerít. В обоих глаголах представлен звукоподражательный элемент, но звучат они различно. Это вызвано тем, что звук ржания весьма сложен и звукоподражанием можно воспроизвести только какую-то его часть, в каждом языке свою. Другие же звуки совершенно элементарны, вследствие чего передать эти звуки гораздо легче. В связи с этим их выражение в разных языках оказывается почти тождественным. Ср., например, чешск. bučeti «мычать», венг. bőgni, финск. ammua, турецк. büjürmek. Наряду с этим, в чем мы еще убедимся, иногда звук не является основным элементом значимой стороны слова. Например, слово štěkati «лаять» больше интересует нас по другим причинам, нежели в плане окраски звука. Поэтому слово štěkati менее звукоподражательно, чем, например, слово mňoukati «мяукать». Вследствие этого слово štěkati в различных языках выражается многообразнее, чем слово mňoukati. Ср. чешск. štěkati, венг. ugatni, csaholni, финск. haukkua, но чешск. mňoukati, венг. nyávogni, финск. naukua. В зависимости от того, насколько точно звукоподражательные слова воспроизводят естественный звук, они образуют целую лестницу, своеобразную иерархию.

Все это имеет большое значение и для этимологии звукоподражательных слов.

Слова, обладающие значительным элементом звукоподражания, очень точно передающие звук, повторяются в различных языках. Поэтому мы не можем, например, считать венгерское слово mekegni заимствованием из чешского, где существует слово mekati, или наоборот. С другой стороны, мы обязаны предполагать значительную устойчивость, постоянство данной категории слов. Эта устойчивость и преемственность поддерживается прежде всего близостью к действительному звуку. Последнее препятствует фонетическому изменению и замене рассматриваемых слов другими словами. Во-вторых, подобная устойчивость обязана влиянию иностранных языков, в которых представлены похожие слова. Поэтому такие слова сохраняются веками, не заменяясь другими. Не следует сомневаться, таким образом, и в их общем происхождении в двух родственных языках. Не следует, мне кажется, столь безоговорочно отрицать, например, связь венгерского gágogni «гоготать» с такими финно-угорскими словами, как удмуртск. gagäkt, саамск. gakket, мордовск. gagan, kagan, как поступает З. Гомбоц (MNy, 9, 1913, стр. 387).

С другой стороны, слова с менее точным подражанием звуку больше различаются в разных языках. Поэтому если они встречаются в соседних неродственных языках, то можно считать, что они заимствованы одним языком из другого. Эти слова менее устойчивы; их устойчивость не поддерживается ни реально существующим звуком, ни влиянием иностранного языка. Этим, по-видимому, и объясняется допустимость заимствования венгерского babrálni из славянского babrati «копаться; возиться», что также отрицается З. Гомбоцем (MNy, стр. 386; MESz, II, стр. 215).

II

Итак, мы рассмотрели звукоподражание в фонетическом аспекте. В настоящей главе речь пойдет о **фонологической** стороне звукоподражания, то есть о звукоподражательных звуках как о звуках языка.

Прежде всего встает вопрос о том, отличается ли фонетический строй звукоподражательных слов от фонетического строя остальных слов. Несомненно, на этот вопрос мы должны ответить утвердительно[6]. Тем самым мы подходим к понятию **звуковой аномалии.**

Обычный словарный состав использует обычные звуки и обычные комбинации звуков. Так, например, венгерское слово öt «пять» относится к обычному словарному составу, потому что оно

1) обладает известным звуком -ö-; ср. ön «Вы», szökni «убежать», föld «земля»;

2) обладает подобным же звуком -t-; ср. tó «озеро», tavaly «в прошлом году», hat «шесть»;

3) обладает известной группой -öt-; ср. kötni «вязать», döfött «протыкать».

Слово öt является составной частью обычного венгерского словаря. Оно не имеет клейма, согласно которому оно должно было бы означать именно «пять», а, скажем, не «шесть», не «озеро», не «вязать» и т. п. Здесь отсутствует связь между звуком и значением. Звук языка иррелевантен к значению.

Напротив, слова, резко бросающиеся в глаза своими звуками или группами звуков, значительно отличаются от слов обычного словарного состава. Крайний случай имеет место

[6] Ср. V. Mathesius, O výrazové platnosti některých českých skupin hláskových, NŘ, XV, стр. 38 и сл., и особенно J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoje, «Práce z vědeckých ústavů», XXXVI, стр. 7, 24 и сл.

тогда, когда определенный звук или группа звуков представлены только в одном слове. Такого рода случаи встречаются очень редко. К ним приближается, например, чешск. -ňou-, ограниченное только словами mňoukati «мяукать», vymňouknouti «мяукнуть», или венгерский звук -dž-, который употребляется лишь в незначительном числе иностранных слов; ср. findsa «чашка», lándsa, dsida «копье, пика».

В данном случае наблюдается уже определенная связь между значением и звуком. Звук или группа звуков сами по себе уже сигнализируют о наличии какого-то значения или оттенка значения. Например, первоначальное венг. -dž- дало в венгерском языке -d'-. В заимствованных словах, как мы уже сказали, допускается -dž-. Поэтому само употребление звука -dž- в слове уже сигнализирует о заимствовании.

Какова же связь между звукоподражанием и аномалией? Эта связь весьма сложна. Известны случаи, когда звукоподражательные звуки одновременно являются и звуками аномальными для данного языка; например, венгерское слово csámcsogni имеет необычную группу звуков (cs-cs, mcs) и в то же время является звукоподражательным (звук cs напоминает причмокивание; ср. выше). С другой стороны, в языке встречаются или звукоподражательные и свойственные этому языку слова (bőg «мычать»), или несвойственные языку и в то же время незвукоподражательные слова (dsida «пика»). Подобная независимость, однако, имеет свои пределы. Звукоподражательные слова тяготеют к аномалии и, как правило, содержат в своем составе или какой-то непривычный звук (в венгерском языке — звук c), или необычную группу звуков (d-, b-, g-, p-, z- — в начале слова, -f- — в середине слова, сдвоенные согласные и т.д.).

Почему же звукоподражание сочетается с аномалией? Не обусловлено ли это их сущностью или их свойствами. Действительно, звукоподражание и аномалия опираются на означающий элемент. В случае звукоподражания это обусловлено тем, что создаются особые отношения между означающим и означаемым, а в случае аномалии — тем, что создаются особые отношения между означающим элементом и другими означающими. Следовательно, звукоподражание и аномалия объединяются друг с другом. Из этого вытекает, с одной стороны, что звукоподражательные слова создают впечатление некоторой аномалии даже тогда, когда не являются таковыми (ср. чешск. tíkati «тикать» наряду с utíkati «убегать»), с другой стороны, что аномалия усиливает звукоподражание. Слова с сильным акустически значимым компонентом являются — при прочих одинаковых условиях —

тем более звукоподражательными, чем более они аномальны в звуковом отношении (ср. чешск. štěkati «лаять», «тявкать», hafati «лаять», «тявкать», ňafati «лаять», «тявкать»).

Объединение звукоподражательности и аномалии способствует прежде всего тому, что звукоподражательность объединяется с эмоциональностью и ощущением инородности слова.

Интеллектуальные, индифферентные в эмоциональном отношении слова являются в фонетическом отношении нормальными. Поэтому аномальные слова всегда имеют сильный эмоциональный компонент. В связи с этим такие эмоциональные слова тяготеют к аномалиям и тем самым приближаются к звукоподражательным словам. К эмоциональным словам следует отнести и слова-табу, также обладающие склонностью к аномалии.

Иностранные слова заимствуются из языков с иными фонетическими навыками. Поэтому подобные слова имеют фонетические особенности, также воспринимаемые в качестве аномалий. Таким образом, последние также сближаются с эмоциональными и звукоподражательными словами.

Склонность к аномалии свойственна, таким образом, всем трем группам. Важно, что во всех этих группах указанные тенденции одинаковы и не существует одного какого-то типа аномалии для звукоподражательных слов, а другого — для слов заимствованных и т. п. Например, в венгерском языке несвойственный этому языку звук -c- встречается и в эмоциональных выражениях, и в звукоподражательных словах, и в заимствованных словах (ср. cih «тьфу!», «фи!», co — возглас, сзывающий животных, céget «науськивать», cangó «опустившаяся женщина», cikog «стонать», cafog «ходить по грязи», ciákol «реветь», cáp «козел» (из румынского языка), cápa «акула», céh «цех»).

Рассмотрим теперь венгерские звуки и отметим, в каких случаях в венгерском языке создаются условия для аномалии.

Из венгерских согласных

k g
ty gy cs ds s zs ny r, l, h, j
t d c sz z n
p b f v m

один согласный (ds) даже не относится к венгерской системе согласных. Он встречается, как мы уже указали, в нескольких заимствованных и в некоторых звукоподражательных словах, таких, как dsőg «галдеть, поднимать шум», dsavany «воробей» (MESz. X, стр. 1462, 1464). Из остальных 23 соглас-

ных только 13 возможны в любой позиции в слове. Из оставшихся согласные ty, c, zs не свойственны венгерскому языку вообще, а согласные p, g, d, b, z не употребляются в венгерском языке в начале слова, а f, h — внутри слова. Это результат исторического развития. В соответствии с фонетическими законами некоторые звуки развились только в определенных позициях, вследствие чего в других позициях они создают впечатление аномалии. Рассмотрим еще ряд примеров.

В группах согласных венгерскому языку не свойственны прежде всего сдвоенные согласные. Венгерский утратил старые угро-финские сдвоенные согласные. Однако в нем возник ряд новых сдвоенных согласных, что дало толчок к появлению аномальных сдвоенных согласных типа pp, ff и др.; ср. cáppolódik «шлепать по грязи» (MESz, IV, стр. 617), csaffant, csaffogat, «производить губами причмокивающие звуки» (MESz, V, стр. 794).

Далее идут несвойственные венгерскому языку группы, состоящие из согласных носовых + согласные неносовые, например: csámcsog, csemcseg «чавкать», cancékol «шляться, бродить, шататься» (MESz, IV, стр. 611), bamba, banga, bangó, bandó «придурковатый» (MESz, VI, стр. 264, 272).

Это показывает, сколь богата проблематика нормы и как велики отклонения от нормы венгерских согласных.

Совершенно иная ситуация наблюдается в системе гласных.

Венгерские гласные, исключая диалектное ё, можно представить в виде треугольника:

i ü u

e ö o краткие и долгие

a

Я не знаю ни одной позиции, где бы любой из этих гласных выступал аномально. Единственным правилом, определяющим постановку того или иного гласного, является гармония гласных. Его закономерность никогда не нарушается в пользу аномалии. Известно, что гласные в словах чередуются в соответствии с гармонией гласных. Так возникают пары типа csámcsog — csemcseg «чавкать»—«чмокать», tompa — tömpe «тупой» и т.д. Но это область уже не звуковой, а грамматической аномалии.

Звуковую аномалию мы должны принимать во внимание и при исследовании этимологии. Понятие аномалии изменяется, и поэтому не свойственный языку в данный момент звук ранее мог быть ему свойственным. В таком случае (это имеет место, как мне кажется, в слове por «пыль, прах», о чем

см. ниже), с исторической точки зрения, данное понятие является архаизмом. В других случаях из-за изменения понятия аномалии необычный звук ставится вместо старого обычного звука (что имеет, например, место в слове cáf «козел»). В таких случаях можно говорить об инновации. Оба явления следует принимать во внимание при рассмотрении этимологии слов, содержащих звуки, не свойственные данному языку.

III

Рассмотрим теперь вопрос об отношении звукоподражательных выражений к их **тематической** стороне, то есть к тому, что представляет собой внешний мир в свете языка. Иными словами, поскольку мы разобрали означающее, постольку следует обратиться к означаемому, чтобы иметь возможность приступить к исследованию знака.

Прежде всего несколько слов о тематической основе языка вообще.

Язык чаще всего разделен на группы звуков (то есть морфемы), имеющие свое самостоятельное значение. Примером языка, в котором этот принцип проведен чрезвычайно последовательно, является турецкий. В этом языке почти каждая группа звуков имеет самостоятельное значение. (Единственным исключением является форма 1-го лица множественного числа глагола, поскольку окончание -uz имеет значение первого лица и множественного числа.) Мы легко можем представить себе язык, где каждая группа звуков без исключения имеет свое самостоятельное значение.

В таком языке группа звуков была бы отмечена, с одной стороны, самостоятельной группой фонем, а с другой — ей было бы свойственно самостоятельное значение, то есть она явилась бы вместе с тем единицей функциональной и формальной, в которой функция и форма были бы симметричны друг другу.

Эту симметрию [7] разные языки нарушают в различной степени. Поэтому возникают единица с функциональной основой (сема) и единица с основой формальной (морфема). Но, безусловно, нельзя еще утверждать, что в результате этого форма отграничивается от функции. О семе можно говорить лишь тогда, когда она имеет прямые связи с формой, и, наоборот, вопрос о морфеме возникает только тогда, когда она обладает какой-нибудь функцией.

---

[7] См. мою статью «Asymetrický dualismus jazykových jednotek», NŘ, XIX, 1935, стр. 138—145 [см. наст. сб., стр. 119—127].

Следовательно, сема всегда имеет непосредственные связи с формой. И это очень важно для ограничения семы по отношению к объективной действительности, то есть по отношению к ее тематической основе, а тем самым важно и для тематического анализа звукоподражаний.

Сема не является неразложимой единицей. В отдельной семе всегда объединены несколько элементов значения (примерно так, как в морфеме объединяется несколько звуков). В семасиологии[8] значение слова (как правило, значение корневой семы или основы) определяется следующим образом: 1) основное значение, 2) второстепенное значение, 3) эмоциональный элемент. Это разграничение, как мы еще убедимся, слишком упрощенно, но и оно свидетельствует о том, что значение слова (и семы) очень сложно.

Возьмем, например, слово *груша*. Основным здесь является связь с отдельным тематическим элементом (плод грушевого дерева), второстепенными элементами — вкус, цвет и т. д., принадлежность к дереву, форма и т. д.

С этой конструкцией многозначно связаны конструкции, в которых доминирующими являются другие элементы. Если *груша* обозначает соответствующее дерево, то доминирует принадлежность к дереву. Когда речь идет о предмете грушевидной формы, то доминирующее положение занимает форма. Эти три значения (или, может быть, больше) объединены в семе, которая заключает в себе основное значение с доминантным отношением к плоду; подчиненными выступают значения с другими доминантными отношениями.

Далее, необходимо отметить, что любое слово имеет отношение — прямое или косвенное — ко всем остальным словам. В любом слове, следовательно, отражается весь язык, но в каждом по-своему.

После всего сказанного приступим к анализу тематики звукоподражаний.

Прежде всего отметим, что для значимой стороны звукоподражаний важен акустический компонент. Мы говорим — важен, потому что (как мы уже отмечали) в любом слове отражен весь язык, а следовательно, и любой — хотя бы совершенно слабый — акустический компонент. Этот скрытый компонент может проявиться в соответствующем контексте. Для примера можно привести анекдот, рассказанный Граммоном. Граммон разго-

---

[8] H. Sperber, Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn — Leipzig, 1932, стр. 2.

варивал с каким-то человеком, не имеющим отношения к лингвистике, об экспрессивности. Внезапно тот сказал: «Et le mot *table*? Voyez comme il donne bien l'impression d'une surface plane reposant sur quatre pieds» [9]. Граммон, а за ним и Коржинек [10] считают эту сентенцию всего лишь результатом внушения. Но мне кажется, что в данном случае речь идет о действительной, хотя и незначительной, языковой ценности, выдвинутой в разговоре на более видное место.

Отношение акустического компонента к остальным компонентам неодинаково. В одних случаях акустический компонент является доминирующим (ср. венг. nyávogni «мяукать», bőgni «мычать» и пр.). В других случаях акустический компонент является в какой-то мере подчиненным (ср. babuka «удод», ballagni «хромать»). Отношение акустического компонента к остальным компонентам может меняться. Прекрасным примером этого является слово klekání «благовест». Как объясняет Коржинек [11], это слово сначала имело значение определенной католической молитвы, позднее оно получило звукоподражательную окраску и стало связываться со словами типа klinkati «звенеть», klinkáček «колокол» и т. д. Иными словами: сначала слово имело акустический компонент подчиненного характера, а затем последний занял доминирующее положение.

Противоречие между акустическими и остальными компонентами часто приводит к тому, что возникают два или более слова с акустическими компонентами различной силы, хотя в данном случае можно обойтись и одним словом (ср. венг. biceg — sántít «хромать»).

Другой важной частью звукоподражательных единиц является оптический элемент движения. Звук всегда возникает в результате движения. Поэтому понятие движения всегда тесно связано с представлением о звуке. Вследствие этого слова с доминирующим акустическим компонентом всегда имеют сильный элемент движения (ср. хотя бы vrzati «скрипеть», vřískati «визжать», pleskati «хлопать»), и, наоборот, глаголы движения имеют сильный акустический компонент. Именно поэтому они столь часто являются звукоподражательными словами и именно поэтому они не копируют звуком движение, как полагает Гомбоц (см. указ. статью, стр. 388). Так, например, глагол vyšvihnouti se «вскочить»

---

[9] «А слово *стол*? Посмотрите, какое ясное представление дает оно о доске на четырех ножках».

[10] Grammont, Le vers français, ses moyens d'expression, son harmonie, Paris, 1913; J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoje, стр. 36.

[11] J. M. Kořínek, Указ. раб., стр. 54.

также не выражает «представления преимущественно или исключительно оптического, ни акустического», как предполагает Коржинек [12].

Следующий важный компонент тесно связан с понятием движения и звука. В понятие движения всегда входит действующее лицо, прежде всего человек и его тело. Таким образом, мы подходим к таким отношениям между словами, которые Вальтер Порциг называет wesenhafte Bedeutungsbeziehungen («существенные связи значения») и которые базируются на тематической основе. В. Порциг пишет [13]: «Как хождение предполагает наличие ног, так и осязание предполагает наличие рук, зрение — наличие глаз, слух — наличие ушей, лизание — языка, поцелуй — губ». Для слов, доминирующими компонентами которых являются звуки и движения, самыми важными являются те части тела, которые связаны с какими-нибудь акустическими и двигательными представлениями. Конкретно речь идет 1) о рте, 2) о руках, 3) о ногах. С ними звук и движение связываются наиболее часто. Речь идет в данном случае о звуках при разговоре или еде (разговор, крик, заикание, хохот, причмокивание и т. п.), при движении рук (нажатие, резание), при ходьбе (топтание, хромота и т. п.). Точно так же звуки, производимые животными, связываются или со ртом (ср. мяукать, жужжать, чавкать), или с ногами (топать, шлепать). У звуков неживой природы подобные связи гораздо слабее. Однако и там часто имеет место определенная связь с органами речи (ср. skučeti «скулить, выть»— о человеке и о ветре), иногда с рукой (плескать, хлестать, греметь [?]).

Эта связь имеет огромное значение при образовании звукоподражательных этимологических гнезд, так называемых типов. Как мы еще убедимся, подобные типы обычно не переходят границ, связывающих звуки со ртом, с одной стороны, и с другими частями тела, например с ногой и рукой,— с другой.

О влиянии эмоциональности мы говорили уже при разборе фонетики. Эмоциональный компонент наличествует в любом слове, но в звукоподражательных словах он играет особенно важную роль. Это—не только результат фонетической аномалии. Это связано также с самой природой звукоподражаний, которые являются фактом весьма необычным. Далее, отмеченной аномалии существенно способствует непривычное сочетание слов в фонетическом и тематическом отношении. Кроме того, звукоподражательные слова нередко принадлежат таким темати-

---

[12] J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoje, стр. 44.

[13] «Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen», «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur», vol. 58, 1934, Halle a. Saale, стр. 70.

ческим областям, в которых эмоциональный компонент очевиден (ср., например, mlaskati «чавкать», koktati «заикаться», bręčeti «реветь» и др.). В силу этого эмоциональный компонент в звукоподражательных словах весьма ощутим, однако он не доминирует в них, как в междометиях fuj «фи», ach «ах» и др. На основе эмоционального компонента объединяются такие значения, как (MESz, V, стр. 710) cinka: 1) возглас, посредством которого подзывают поросенка, 2) «поросенок» и cinka «подросток (девочка)» (MESz эту связь отрицает); или (MESz, II, стр. 216) babuka: 1) «удод», 2) «тот, кто всю голову закутал платком», 3) (с постоянным определением vén, то есть «старый») «замкнутая набожная старая женщина». Другой пример (MESz, IV, стр. 602): cafra (от известного корня caf-) обозначает: 1) «фруктовая мешанина, раздавленная в чане и приготовленная для перегонки водки», 2) «лохмотья», 3) «потаскуха», 4) «распущенная девчонка».

Далее, как мы уже отметили, звукоподражательные слова вступают в определенные отношения с заимствованными словами. Поэтому их этимология часто бывает связана с каким-либо иностранным словом. Особым видом таких слов являются слова, взятые из языка, на котором разговаривают с существами, в данный период или вообще не способными к восприятию нормальной человеческой речи, то есть из языка детей, или из обращений к животным. Эта связь также очень важна для этимологии звукоподражательных слов.

Далее, звукоподражательные слова имеют еще целый ряд других смысловых компонентов, дополняющих их значение. Сюда относится прежде всего оттенок значения, приобретаемый под влиянием звукового вида слова. Как было отмечено в разделе фонетики, слова, содержащие, например, аффрикату, тяготеют к совершенно иному значению, нежели слова, содержащие губной согласный. К значению звукоподражательного слова присоединяются также самые различные компоненты, зачастую вполне конкретные. Путь к таким значениям, как мы уже подчеркивали выше, всегда прокладывает какая-либо эмоция.

Наше понимание смысловой стороны ономатопеи существенно отличается от того, что понимает под значением звукоподражательных слов и звукоподражательных типов Й. Янко. Последний, анализируя, например, тип caf-, čaf- [14], примерно так определяет его значение: 1) удар воды; движение в ней; бить ключом; 2) ходьба (за кем-то); покачивание; топтание

---

[14] J. Janko, Poznámky a příspěvky k českému slovníku etymologickému, ČMF, XXII, стр. 133 и сл

на месте и отступление; 3) энергичное или стремительное движение, хватка, острие; 4) всевозможные лохмотья: а) в первоначальном значении, б) в переносных значениях: α) неряшливая женщина, проститутка, β) растерзанные растения, γ) мелкие предметы, висящие кистями, δ) смешение, ε) весьма сильно расчлененные движения (причмокивание), ξ) украшения и вычурность, η) ворчание; чириканье, ϑ) старочешское название тюрьмы для еретиков.

Мы не хотим утвержать, что наша система значений звукоподражательных слов лучше, нежели система Янко. Но у нее есть свои преимущества. Интеллектуальные незвукоподражательные слова тяготеют к точности. Они проявляют стремление к делению, разграничению, тяготение к определенному классу. Напротив, звукоподражательным словам, сопровождаемым сильным эмоциональным оттенком, свойственно стремление к расплывчатости, их нельзя подвергнуть точному разграничению или классификации. Они проявляют попытку стряхнуть с себя тяжесть интеллектуальности и стремятся вернуться к первоначальному состоянию в смысле онтогенетическом или филогенетическом.

Подобная первоначальная неточность и неопределенность психических построений засвидетельствована и психиатрией. Ср., например [15]: «Было бы большой ошибкой считать простейшие осязательные, зрительные и другие ощущения самыми первичными психическими образованиями. Как раз тяжелые психические состояния указывают нам на то, что первоначальное состояние пробуждающейся психики совершенно расплывчато, отмечено поверхностной чувствительностью. Штерн сравнивает эту чувствительность новорожденного ребенка с общим чувственным состоянием, в котором мы пребываем, когда, мечтая, с закрытыми глазами лежим на кушетке и не видим ни света, проникающего сквозь веки, не слышим далекого шума улицы, не ощущаем давления одежды и тепла комнаты, а все это сливается в диффузное, целостное состояние. Ассоциации предшествует диссоциация, ребенок должен как-то выйти из этого «сложного чувственного прасостояния», «отвлечься» от отдельных ощущений и чувственных комплексов с помощью собственных усилий, своей активности, без которой нельзя было бы приобрести опыта, на что как раз указывают тяжелые случаи идиотизма».

Следовательно, мы рассматриваем звукоподражания как по-

---

[15] K. Herfort, Psychopathologie věku dětského. Základní pojmy a otázky. Soubor prací univ. prof. MUDr. Karla Herforta, Praha, 1932, стр. 206.

пытку возврата к первоначальной диффузной чувствительности. Поэтому-то мы и считаем более удачной классификацию значений звукоподражательных слов, сделанную нами выше.

IV

Следующей проблемой звукоподражаний является проблема грамматических отношений между звукоподражательными элементами. Другими словами, после рассмотрения элементов означаемого и означающего речь пойдет о знаке, объединяющем в себе эти две стороны.

Звукоподражательные элементы, подобно всем прочим, соединяются в слова, предложения, этимологические гнезда и т. п. Бóльшая часть этих связей существенно не отличается от связей, присущих обычным интеллектуальным и незвукоподражательным словам. Звукоподражательные элементы образуют слова с помощью обычных словообразовательных суффиксов и окончаний, образуют предложения — обычно в соответствии с правилами о подлежащем, сказуемом и т.д.

Но все-таки и здесь наблюдаются особенности, отличающие звукоподражательные слова от слов незвукоподражательных.

Итак, мы подходим к понятию грамматической аномалии. При разборе фонетики мы видели, что не все гласные в одинаковой степени важны. Некоторые гласные встречаются в любых позициях и поэтому являются обычными, свойственными данному языку, другие выступают только в определенных словесных группах, поэтому они аномальны. Нечто подобное наблюдается и в грамматике.

В различных языках действуют разные грамматические правила, поэтому и понимание аномалии в них неодинаково.

В венгерском языке слово не подчиняется таким строгим правилам, как в чешском. В чешском языке почти все слова, а следовательно, например, и прилагательные, должны иметь окончание. Поэтому прилагательное без окончания воспринимается как явление аномальное; ср. čupr holka «бой-девка», fain holka «чудо-девка», nóbl chování «шик-манера» и т. д. В венгерском языке прилагательные не имеют окончаний, вследствие чего здесь невозможны такого рода аномальные сочетания.

С другой стороны, венгерский язык богат рифмованными и парными словами (так называемыми ikerszavak). В чешском языке очень мало таких примеров, как takový-makový «такой-сякой», křížem-krážem «вдоль и поперек» и т.п. В венгерском языке подобных сочетаний множество, например: tarka-barka «очень пестрый» от слова tarka «пестрый»; irkál-firkál «марать бумагу» от írni «писать»; tipeg-topog «семенить

(о ребенке)» и т.д. Важны такие сочетания, как tipeg-topog, в которых чередуются передненёбные гласные с задненёбными. На этом, вероятно, основан и тот факт, что в некоторых словах передненёбные гласные чередуются с задненёбными, не образуя парных слов, например tompa и tömpe «тупой».

Понятие «корня» обычно определяется с помощью слова, основа которого равна корню целого ряда слов так называемого этимологического гнезда. Так, например, венгерский корень néz- является корнем глагола néz- (инф. nézni «смотреть»), от которого образованы такие слова, как néz-eget «просматривать», néz-et «мнение» и т.д. Теоретически можно допустить такое необычное сочетание, для которого не существует основного слова. Именно это, как нам кажется, свойственно звукоподражательным словам.

Путь к правильному пониманию корня в звукоподражательных словах указывает турецкий язык. В турецком языке [16] звукоподражательные глаголы имеют чаще всего суффикс -da-, -de-, например: charyldamaq «течь в избытке, с шумом», ḟyqyrdamaq «булькать при кипении или производить шум, похожий на бульканье», bumburdémek «производить грохот, греметь». Корни этих глаголов выступают также самостоятельно в качестве частиц (Bittner, 267), например kharyl-kharyl aqmaq «свободно вытекать». Следовательно, звукоподражательные глаголы в турецком языке считаются образованными от звукоподражательных частиц. Ономатопоэтическая частица является в одно и то же время и корнем этимологического гнезда слов, и фиктивным воспроизведением звука реального мира.

Подобная, правда несколько отличная, ситуация наблюдается в чешском языке. И здесь звукоподражательные слова имеют окончания -a, -ka, -nou: frkati «фыркать», trkati «бодать», hrkati «тарахтеть, дребезжать», mňoukati «мяукать», hafati «тявкать», bučeti «мычать», čapnouti «схватить, цапнуть», chňapnouti «схватить, цапнуть» и т. д. Корни многих из этих глаголов без таких окончаний выступают в качестве частиц; ср. mňau, haf, bú, chňap и т. д. Для некоторых слов, однако, такие частицы обнаружить не удается. Но это не препятствует тому, чтобы и они воспринимались как производные слова. Там, где частицы нет, ее можно образовать вновь; ср. чешское диалектное ...a ešče potom chmac kameň a křáp po ní «...а еще потом хвать камень и трах в нее» [17]. В случае отсутствия части-

[16] Ср. M. Bittner, Die onomatopoetischen Verba des Türkischen, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», 26, 1912, стр. 263 и сл.

[17] Цит. по Ф. Оберпфальцеру (см. F. Oberpfalcer, Jazykozpyt, Praha, 1932, стр. 256).

цы звукоподражательный глагол возводится к потенциальной, возможной частице, которая должна представлять звук внешнего мира. Поэтому в тех случаях, когда имеются и глагол, и частица, этимон глагола не обязательно содержится в частице, но и частица в свою очередь может этимологически восходить к глаголу.

Аналогичная ситуация наблюдается и в венгерском языке, где почти все звукоподражательные слова имеют словообразовательный суффикс. Очень часто встречаются суффиксы -og- (соответственно -eg-, -ög-), -ol- (соответственно -el-, -öl-), -an- (-en-), например: nyávog «мяукать», brekeg «квакать», köhög «кашлять», lohol «спешить», kotkodácsol «кудахтать», kukorékol «кукарекать», robban «взорваться», szisszen «шипеть» и т. д. Лишь немногие звукоподражательные глаголы не имеют окончаний, например: kong «гулко звучать (о пустом помещении)», dong, zsong «жужжать», cseng «звенеть» (MESz, VI, стр. 931). Сюда относится, вероятно, и слово bőg «мычать», хотя и здесь -g- можно принять за окончание; ср. междометие bú «му».

Некоторые из этих глаголов имеют при себе частицы без окончаний. Например: jaj «ой, ах» наряду с jajgat «ахать, охать», kár «кар-р» наряду с károg «каркать», huhu «уханье (совы)» наряду с huhog «ухать (о сове)», locs — междометие к глаголу locsolni «брызгать» и т. д.

Другие звукоподражательные глаголы таких сопроводительных частиц не имеют. Несмотря на это, они считаются образованными от частиц, которые представляют звуки внешнего мира, подобно чешским глаголам. Можно предполагать, что в случае необходимости частица возникает на базе глагола.

Все сказанное имеет большое значение и для этимологии. Например, в качестве возражения против заимствования слова csahol «высекать огонь» из тур. čakmak приводилось то обстоятельство, что слово csahol имеет деривационный суффикс, хотя в других заимствованиях из турецкого в венгерском этот суффикс не встречается. Но глагол csahol воспринимается как звукоподражательное слово, в связи с чем он и имеет деривационный суффикс.

Как и в чешском языке, в венгерском, в тех случаях, когда сосуществуют звукоподражательный глагол и частица, бывает трудно определить, возникла ли частица из глагола, или наоборот. Пока нам не известна дальнейшая этимология глагола или частицы, проблема их этимологии остается открытой.

Этимологические гнезда звукоподражательных слов построены весьма любопытно. Бросается в глаза их отличие от этимологических гнезд интеллектуальных слов. Интеллектуальные слова объединены в этимологические гнезда вполне отчетливо.

Обычно без малейшего затруднения мы можем сказать, какому этимологическому гнезду принадлежит то или иное слово.

Для ономатопоэтических слов роль этимологического гнезда более проблематична. Правда, иногда и ономатопоэтические слова оказываются связанными этимологически в соответствии с обычными правилами интеллектуальных глаголов. Так, например, не представляет большой трудности объяснить этимологическую принадлежность отглагольных существительных на -ás, например: cáfolni—cáfolás «опровергать — опровержение», babrálni—babrálás «копошиться — возня» и т. д.

Гораздо труднее интерпретировать слова, в корне которых имеют место изменения внутреннего порядка. Здесь возникает два вопроса:

1) Как интерпретировать такие слова, как ballag, bullog, billeg, büllög «медлить, тихо идти» или csihol, cihol, csihel, cihel, csahol и т. д. «высекать огонь». Одно ли это слово или несколько слов? Другими словами: идет ли здесь речь только об одной корневой семе или о нескольких семах?

2) Как интерпретировать такие слова, как babbogtat «идти пошатываясь; делать что-то в замешательстве; заикаясь говорить; читать», babog «болтать», dadog «заикаться, бормотать», totog «говорить заикаясь». Все эти слова имеют родственное значение и родственную форму. В соответствии с законами, действующими в области интеллектуальных слов, мы включили бы их в одно этимологическое гнездо. Но нам известно, что звукоподражательным словам свойственны, с одной стороны, разнообразные изменения формы и значения, а с другой — весьма бедное смысловое и формальное содержание. Поэтому все звукоподражательные слова являются в большей или меньшей мере родственными. Где же следует искать границу между отдельными этимологическими гнездами?

Нам представляется, что следует избрать компромиссную точку зрения. Именно в этом и коренится одно из различий между звукоподражательными и интеллектуальными словами. В словах звукоподражательных сема и этимологическое гнездо не разграничены столь четко, как в словах интеллектуальных.

Таким образом, мы приближаемся к понятию уже давно употребляемому Й. Янко в его статьях о звукоподражательных выражениях [18], именно к понятию типа. Типом, по мнению Янко, является группа слов, которая базируется на одной и той же группе звуков и имеет значения, сводимые к общему происхождению. Так, например, в ČMF (XXI, стр. 253) Янко опре-

[18] ČMF, roč. XIX, 1933.

деляет тип CEMP, ČEMP следующим образом: 1) отношение к походке, 2) церемониальный обход отдельных лиц или процессии, 3) сидение и т. п., 3а) пробкообразные, плотные и толстые предметы; груда, куча, 4) удар, 5) всевозможные лохмотья: а) обычные лохмотья, б) сломанное, истрепанное, расщепленное, в) разобранный на мелкие части, маленький, г) дергать кого-либо, д) еле заметные движения тела, мелочность, избалованность вообще, е) лепет и болтовня.

Несомненно, типы, установленные Янко, являются хорошей базой для исследования взаимоотношений между звукоподражательными словами. Однако хочется сделать несколько замечаний.

В звукоподражательных словах — в отличие от интеллектуальных — делается, как мы уже видели, совершенно особый упор на форму. Поэтому с колебаниями в плане смысловом связаны и колебания в плане формальном. В этом отношении звукоподражательные слова резко отличаются от слов интеллектуальных.

В интеллектуальных словах в сходной форме всегда объединено множество значений (ср. хотя бы венгерские fal «стена», fül «ухо», fél «бояться», «половина» и т. д. и т. п.). Интеллектуальные слова с отдаленными значениями имеют часто близкую форму, и, напротив, интеллектуальные слова, близкие по значению, различны по форме.

Звукоподражательные слова, сходные по значению, близки и по форме. Слова же, различающиеся по значению, различаются и по форме.

Формальные, звуковые отношения ономатопоэтических слов, родственных по значению, отнюдь не хаотичны, а упорядочены в соответствии со строгими правилами. Таким образом, мы подходим к понятию чередования звуков в этих словах.

При анализе чередований очень важно учитывать звуковую аномалию. С этой точки зрения возможны три случая:

1. Звук, свойственный фонетической системе данного языка, чередуется с другим звуком, также свойственным его фонетической системе. Необычным (или аномальным) в данном случае является только само чередование. Так, в венгерском языке чередование по законам гармонии гласных в интеллектуальных словах свойственно только окончаниям. Однако у звукоподражательных слов это чередование часто встречается и в корнях слов: ср. totyog—tötyög «идти хромая», cafra—cefre (с очень сложными значениями; см. ниже); другой пример: tikog—tipog—titog «тяжело дышать».

2. Звук, свойственный данному языку, чередуется со звуком, не свойственным данному языку. Это вызывается чаще

всего тем, что обычное, свойственное данному языку слово после изменения какого-либо звука становится необычным, аномальным. Так, например, венг. cáp «козел» (заимствованное из румынского) имеет и другую форму — cáf. В таких случаях часто привычная старая форма исчезает (например, *saj > zaj), вследствие чего подобные случаи относятся уже к области исторической этимологии. Противоположными являются такие случаи, когда звук, свойственный данному языку, и звук аномальный сосуществуют. Примеры: cikog «стонать», kikog «хрипеть, сипеть», tikog «тяжело дышать».

3. Аномальный, не свойственный языку звук чередуется со звуком аномальным. Здесь мы имеем, например, чередование редуплицированных звуков; ср. babog «лепечет», «говорит глупости» в противоположность dadog «заикается», с чем, вероятно, связано и чередование в словах csacsog «лепечет (птенец, ребенок, человек)», dzadzog «лепечет (о птице)». Группа носовой + взрывный не свойственна венгерскому языку. Поэтому к третьему типу относятся чередования bamba—bangó—bandó «глупый», tompa—tonka «тупой» (из слав.).

В соответствии с этими правилами в венгерском языке чередуются следующие звуки:

Гласные чередуются чаще всего в соответствии с законом гармонии гласных. Ср. наряду с уже приведенными выше еще несколько примеров: tompa—tömpe «тупой», dunnyog—dünnyög «брюзжать». Это чередование иногда становится столь вольным, что в нем участвуют почти все гласные, например csihel, csahol, csehel, csihel «высекать огонь».

Чередованию согласных свойственны некоторые особенности:

1. Прежде всего чередуются согласные, отличающиеся по месту артикуляции, но сходные по способу артикуляции. В интеллектуальных словах подобные изменения чрезвычайно редки. Поэтому и в словах звукоподражательных это чередование встречается относительно реже. Наиболее часто такие чередования представлены в словах, близких к детской речи, а именно в словах с редупликацией. Ср. babuka, babuk, daduk «удод», babog—dadog «он заикается», kikog «тяжело и с хрипом дышать», tikog, tipog, titog «тяжело дышать» (MTSz, II, стр. 730) [19]; tippanó—tikkanó «томительный, изнуряющий (о жаре)» (MTSz, II, стр. 735); kajmó, kamó, gajmó, gamó «крюк», «крючковатая палка», «ножища». tajmó (шутливое) «нога» (MTSz, I, стр. 1011, II, стр. 634).

---

[19] Szinnyei J., Magyar Tájszótár, Budapest, 1893—1901.

Чередование по месту артикуляции проявляется также в группах носовой + взрывный, что тоже следует считать за один из видов редупликации [20]. Сюда относятся приведенные выше примеры: bamba—bangó—bandó, tompa—tonka.

Особым случаем являются не свойственные венгерскому языку взрывные согласные, которые чередуются между собой наиболее часто. Сюда относятся ty, c. Чередуются t—ty, d—gy, k—c—cs, c—cs. Ср. tik—tyúk «курица», babutka—babutyka «удод», budboka—bugybóka «удод», bútor—bútyor «мебель», kikog—cikog (ср. выше), kammog—cammog «трусить, идти мелкой рысцой», csamangó «бродяга», ciákol «громко кричит», csiápol: 1) «пищит», 2) «резко говорит», «испуганно кричит» (MNy, XI, стр. 71).

2. Далее, звонкие согласные чередуются с соответствующими глухими, например p—b, k—g, t—d: bizseg: 1) «кишеть», 2) «вода, начинающая кипеть», 3) «онеметь, оцепенеть», bozsog «кишеть», bizseg, pizsëg «копошиться», «кишеть», bëgygyez «играет в камешки», pëggyez «играет в кости»; kajmó—gajmó (ср. выше), totog «говорить заикаясь», dodog—dadog «он заикается», totyog—togyog «он хромает».

3. Чередуются взрывные согласные с соответствующими фрикативными, p—f, k—h, c—sz: cáp—cáf «козел», bice—fice «хромой», cikog «похихикивать, желая скрыть смех», cihog «хохотать», celleg—szelleg «бродить, шататься».

4. Наконец, краткие согласные чередуются с долгими; ср. (MESz, I, стр. 1426, 1427, 1459) dudújka «толстый ребенок», düdüllő «толстый, ленивый (ребенок)», dudduó «толстенный», düddó «глупый, глупец»; babog «он лепечет, несет чепуху», babbogtat «с трудом ходит, делает, говорит».

Подобно чередованию звуков в звукоподражательных словах, чередуются и значения этих слов.

Тенденция к расширению значения проявляется у всех слов. В непосредственном соседстве расширению значения слова препятствует прочная система противопоставлений. Поэтому слово распространяет сферу своего влияния на периферию, где и присоединяет к своему значению новые элементы. При этом первоначальное значение остается господствующим, а новые элементы значения выступают в качестве подчиненных. В свою очередь эти подчиненные элементы могут стать доминирующими, в результате чего создается или (при сохранении той же формы) полисемическая связь или (с изменением формы при помощи окончания или внутренней флексии) связь этимологическая.

---

[20] См. мою статью «Notes sur le redoublement», SMS, XIV, стр. 22.

Расширение значения интеллектуальных слов происходит посредством интеллектуальных ассоциаций. К имени Альбрехта Дюрера, если использовать пример Шпербера [21], присоединяются смысловые элементы, связанные с господствующими интеллектуальными ассоциациями. Так имя Альбрехта Дюрера, обрастая все новыми и новыми биографическими данными, сведениями из истории искусства и т. д. и т. п., становится более богатым оттенками значения и все более интеллектуальным и точным.

Пример приобретения подчиненными элементами самостоятельности мы находим в слове hruška «груша». Здесь обнаруживается полисемическая связь (слово hruška обозначает и плод и дерево) и связь этимологическая (ср. hrušeň «грушевое дерево» наряду с hruška «груша» [как плод и как дерево]).

Слова с сильным эмоциональным компонентом расширяют область своего значения на эмоциональной основе, интеллектуальные ассоциации оттесняются при этом на задний план. Так, например, слово cáp «козел» (из румынского) обладает также значением «неудачно кастрированный баран, вол», затем «человек, ведущий смолоду распутную жизнь» (MESz, IV, стр. 613).

Значения звукоподражаний чередуются весьма сложным образом. Существенно прежде всего (на это мы неоднократно обращали внимание), что звукоподражательным словам всегда присущ относительно сильный эмоциональный компонент. Он придает своеобразие значению звукоподражательных слов и приводит к тому, что расширение значения слов проводится скорее в согласии с эмоциональными, нежели интеллектуальными ассоциациями. Поэтому, например, развитие значения звукоподражательного глагола cafatol шло следующим образом (MESz, IV, стр. 602): 1) «идти по грязи»; 2) «загрязнять»; 3) «обноситься». Именно поэтому связаны такие слова, как (MESz, IX, стр. 1426—1429, 1440) dudduó «толстый», dudla «необыкновенно полная, бесформенная женщина», dudu «горшок для молока», dudulló «жбан с затычкой», dudújka «толстый ребенок», dudva «с большим задом», dundi 1) «бутуз (только о ребенке)»; 2) (?) «сонный», dundus— то же (в MESz указывается, что это слова или звукоподражательные по происхождению, или слова с неизвестной этимологией). Связующим звеном в этих словах является представление о чем-то грязном или толстом, но только благодаря сильному эмоциональному компоненту могла возникнуть вся семантическая группа.

[21] H. S p e r b e r, Einführung in die Semasiologie, Bonn — Leipzig, 1932, стр. 1.

Смысловой основой звукоподражательного слова всегда является акустический компонент, сопровождаемый компонентом движения. Эти два компонента являются обязательными спутниками звукоподражательных слов. Разумеется, это не означает, что они должны с необходимостью входить в значение, о котором идет речь. Зачастую эти компоненты проявляют себя лишь тем, что слово, о котором идет речь, в этимологическом отношении оказывается близким звукоподражательному слову. Так, возьмем хотя бы слово cafka «толстый, крепкий шест, к которому что-либо прикреплено сверху» (MESz, IV, стр. 600). Согласно MESz, этимология этого слова неизвестна. Но мне кажется, что это слово можно связать с известным звукоподражательным корнем caf-, который представлен в значениях «ходьба по грязи, по траве» и т. п.

Иногда для подобных слов нельзя найти соответствующего звукоподражательного глагола, но и в таких случаях их звукоподражательный характер не может подвергаться сомнению. К таким словам относятся уже приведенные слова с корнем dud-, dudd-, dund-, звучание которых связывается с понятием полноты и неповоротливости.

Как мы уже указывали, рассматривая тематические группы звукоподражательных слов, следующим компонентом этих слов является отношение их к человеку и к его телу. Звукоподражательные слова имеют отношение к звукам и движениям, производимым ртом, руками, ногами. Чередования значений происходят таким образом, что обычно связь со ртом, с одной стороны, с рукой или ногой — с другой, остается неизменной и уже к этой основе присоединяются другие компоненты.

Так, например, слово cáfol означает (MESz, IV, стр. 600) 1) «шлепать по грязи, идти по грязи»; 2) «вытоптать всходы ходьбой в запрещенном месте»; 3) «бродить, шататься»; 4) «трудиться»; 5) «ругать, порицать»; 6) «отступать (перед лошадью)»; 7) «ссориться, противиться»; 8) «препятствовать»; 9) «опровергать». В литературном языке представлено лишь последнее значение. В этом слове отчетливое отношение к ноге связано с каким-то отношением к руке.

Корень camm-, csamm-, canc-, camp- имеет отношение к движениям, производимым ногами; ср. cammog, cammag, cámog, csammag, csammog «медленно продвигаться; неуклюже продвигаться, как медведь; трусить мелкой рысью», campózik «он лениво идет», cancékol «бродить; шататься; бездельничать», cancér «бродяга» (MESz, IV, стр. 610—611).

Корень dad-, dod- имеет отношение к звукам, произносимым ртом. Ср. dadog, dodog—dadog, dadorog «заикаться; карта-

вить; болтать; шуметь», dadara «болтливый», dadrál «говорить обо всем сразу, болтать», dadri «заикающийся; болтающий», dadoga «ворчащий басом, бубнящий» (MESz, VIII, стр. 1251).

Корень dob- имеет отношение к движениям, производимым рукой или ногой; ср. dobog «топать, стучать ногами»; dobban 1) «издавать глухой звук, запрыгать»; 2) «внезапно появляться», doborog «болтать (руками, ногами)», dobászkol «топтаться ногами в чем-либо» (MESz, IX, стр. 1371, 1398).

Эти четыре компонента — эмоциональный, акустический, двигательный и телесный,— как мы уже указывали, исчерпывают смысловую основу ономатопеи. Другие компоненты, присоединяющиеся к звукоподражательным словам, лишь дополняют их значения. Иногда эти компоненты становятся доминирующей частью слова; это происходит, например, в таких словах, как cafka «толстый, крепкий шест, к которому что-либо прикреплено сверху», cafra «распутная девка» и др., cancér «бродяга», dudu «горшок для молока». В таком случае мы все же не можем полагать, что налицо манкирование основными компонентами ономатопеи. Напротив, пафос таких слов заключается в противопоставлении того, что под ними подразумевается (Meinung), не имеющего отношения к звукоподражанию, и того, как это объясняется (Bedeutung), что имеет непосредственное отношение к звукоподражанию. Так как под Bedeutung мы разумеем этимологические связи соответствующего слова, то и его звукоподражательный характер мы воспринимаем с помощью этимологических связей.

Сложная игра фонетического и смыслового чередований способствует тому, что появляется возможность объединить звукоподражательные слова в группы, аналогичные этимологическим гнездам интеллектуальных слов. Эти группы, следуя за Й. Янко, мы будем называть типами.

Разберем несколько таких типов.

Наиболее распространенным является тип caf-, настолько очевидный в венгерском языке, что мимо него не проходит даже «Венгерский этимологический словарь» (MESz, IV, стр. 600). Однако образование таких типов противоречит точке зрения Гомбоца о возможном образовании звукоподражательных слов ex nihilo, ибо, допуская образование ex nihilo в одном случае, мы не можем отрицать его в другом.

Этот тип был рассмотрен Янко в ряде среднеевропейских языков [22].

---

[22] J. J a n k o, Poznámky a příspěvky k českému slovníku etymologickému, NŘ, VII, с продолжением, ČMF, XXII, стр. 133—142.

В венгерском языке тип caf имеет множество вариантов. Основной формой является caf-. Звук c чередуется с cs. Наряду со словами cafra, cafrinka находим и csafinka, csafrinka со значением «распущенная девчонка», «потаскуха». Гласный *a* чередуется в соответствии с гармонией гласных с *e*. Поэтому наряду со словом caflat, что означает 1) «шлепать, идти по грязи»; 2) «шататься, шляться, кутить»; 3) «мешать, вставлять палки в колеса», появляется и слово ceflet со значениями «шататься, шляться, кутить, гулять». Последний согласный чередуется со всеми губными (кроме -m-, так как корень cam- образует, как мы увидим ниже, другой тип). Следовательно, мы имеем здесь формы caf-, cap-, capp-, cav-, а возможно, и cab- с долгим или кратким гласным.

Этот тип выражает в основном отношение к движениям, производимым ногами, иногда руками, с чем связывается представление о плавности движений. Поэтому общим значением, которым обладают глаголы, относящиеся к этому типу, а именно глаголы cafog, cáfol, caflat, будет значение «идти по грязи». Все другие значения присоединяются к этому основному значению.

К корню, о котором идет речь, относятся не только слова, приведенные под заглавным словом cafog в MESz (IV, стр. 600—602) и под заглавными словами cafra, cafrang, cáppolódik, cavira, cefre, cevere (там же, стр. 602, 603, 617, 619, 622; V, стр. 650), но и некоторые другие:

1. cafka «толстый крепкий шест, к которому что-либо прикреплено сверху» (MESz, IV, стр. 600). В «Венгерском этимологическом словаре» указывается, что этимон этого слова неизвестен. Но здесь идет речь о корне caf-, поскольку связь значений «топтать» и «крепкий шест» совершенно очевидна;

2. cáp, cap, caf (MESz, IV, стр. 613), обозначающее 1) «козел»; 2) «неудачно кастрированный; полускопец; скопец»; 3) «бык, кастрированный взрослым; полукастрированный вол»; 4) «старый человек, ведший в молодости развратную жизнь»; 5) (?) «какое-либо большое ленивое животное». Это слово явно обязано своим происхождением румынскому ţap- «козел». Но развитие значения, движущееся к значению «нравственная нечистоплотность», указывает на то, что это слово приближается к нашему типу caf-.

К звукоподражательным словам, начинающимся слогом caf-, относится и слово cafol «чирикать». В MESz оно имеет помету «eredete ismeretlen», то есть «неизвестного происхождения». Очевидно, это слово не принадлежит к только что приведенному типу caf-. Но мы знаем, что c- чередуется с cs- и поэто-

му слово cafol принадлежит к типу caf-, csaf-, kaf-, куда относятся также слова:

csáfog «цыпленок» (MESz, V, стр. 794);

csaffant, csaffogat «издавать ртом чавкающий звук» (там же);

csaffant «тявкнуть», csaffog(tat), kaffog, то есть «щелкнуть зубами (о собаке, когда она хватает муху или когда она заглатывает пищу по куску)» (там же);

csáfla «подзатыльник, оплеуха» (там же);

csáforít, csáforétt, csávorít, sáforít «молоть языком, громко болтать», csáforgat «много болтать», csáfordi «сплетник», csáfori «сплетница» (там же);

csáfordi «глупый, наивный» (там же);

csápol (в диалектной форме csápól) «болтать, молоть языком», csáppog «цыпленок» (MESz, VI, стр. 864);

csamrog «он говорит» (?) (там же, стр. 838) (ср. чешск. camrati!);

csávé «тот, кто говорит много лишнего», csávog «кричит (галка); лепечет (о детях)» (там же, стр. 894);

csivög-csavog «он лепечет» (там же стр. 896);

cseferít «громко болтает, много болтает»; csefftet, cseffertel «болтать», «ворчать»; csefe-csafa «болтовня»;

cseveg 1) «(о птицах) щебетать»; 2) «(о лягушках) квакать»; 3) «(о человеке, ребенке) болтать, тараторить»; csevëgdëgel — то же значение, csefëg (засвидетельствовано в форме csefög) «тявкать, лаять; ворчать; шептать»;

kaffant 1) «гавкнуть»; 2) «тявкнуть» (MESz, I, стр. 1007);

kaffog 1) «щелкать зубами (собака, хватающая муху или куски)»; 2) «затявкать» (там же);

kaffogat 1) «щелкает зубами (собака, когда она хватает муху; боров, когда его хотят поймать в хлеву)»; 2) «сердито атаковать» (там же).

Родство этих слов очевидно. Доминирующим в этом типе является связь со звуками, производимыми ртом.

Любопытна граница между двумя приведенными нами типами. Поскольку значение этих двух типов различно, постольку допускаются варианты в фонетическом отношении, почти тождественные. Ср. cáfol и cafol, cafog и cafol. Там, где значение становится близким, таких смещений обычно не наблюдается. Нет таких смещений, скажем, в типе cam-, csam- и т.д., имеющем, подобно типу caf-, отношение к движениям, производимым ногами, но с несколько другим оттенком значения.

Представляется, что подобный тип допускает и Гомбоц, хотя этого не видно из его помет к отдельным словам. При такого рода словах у него стоит помета «звукоподражательное

слово», затем следует «сравни» и приводятся остальные относящиеся сюда слова, например:

cammog, cammag, cámog, csammag, csammog «трусить мелкой рысью» (MESz, стр. 610);

campózik «он идет, идет медленно» (там же, стр. 611);

cancékol «шататься, шляться, бездельничать», cancékozik, cancikál— то же значение; cancér «бродяга» (там же);

cankózik 1) «подкрадываться; бродить»; 2) «семенить (ребенок за матерью, цыпленок за наседкой)»; 3) «шляться» (там же, стр. 613);

csamangó, csamingó 1) «бродяга»; 2) «ленивый человек»; 3) «собаковод» (там же, V, стр. 835);

csánkál 1) «бродить, шататься, шляться»; 2) «прыгать; двигаться; создавать затруднения» (там же, стр. 845);

csámbolyog, csampojog «блуждать, шататься» (там же, стр. 835);

csámborog «блуждать, шататься»; csámburdi, cámburdi 1) «ленивый, неповоротливый ребенок»; 2) «полусумасшедший; безумный»;

csámolyog «слоняться; бродить (о скоте на пастбище)» (там же, стр. 836);

kammog «трусить, идти мелкой рысью, семенить» (MESz, I, стр. 1028);

csángó 1) «маленький неповоротливый ребенок»; 2) (шутливое) «сумасбродный» (MESz, VI, стр. 834);

csángurdi «неуклюжий, неловкий; глупый; сумасбродный».

Приведенные выше слова объединяются в «Венгерском этимологическом словаре». Однако область распространения этого корня более широка. Сюда относятся также слова:

cankós в сочетании cankósan jár «при ходьбе заплетаться ногами» (MESz, IV, стр. 613);

csammant «сходиться, собираться» (там же, стр. 836);

csámpás, csámbás 1) «хромой, со слабыми ногами (например, о человеке или лошади), с тяжелой походкой»; 2) «кривоногий, косолапый»; 3) «неуклюжий, неповоротливый; с медленной походкой»; 4) «болезненный»; 5) «нелепый»; 6) «подлый, подлец» (там же);

csampulyka «шаткая нога; неверная рука» (там же, стр. 838).

К последнему типу в фонетическом отношении очень близок тип csamcs-, который беден вариантами, вследствие чего значение его очень определенно. К нему относятся: csamcsog, csámcsog, csancsog, csáncsog, camcog «чавкать (о свинье, о человеке)»; другие варианты: csammog, csámmog, csammant или

cammant 1) «чавкать (о собаке)»; 2) «смаковать (о человеке)» (MESz, VI, стр. 835);

csëmcsëg, csömcsög, csemcsëg, csemcseg «чавкать (о свинье, о кошке, лакающей молоко, о человеке)» (там же, стр. 923) с вариантами csemmeg, csemmëgtet и csemment «причмокнуть».

Некоторые типы, указанные нами в последнюю очередь, в которых носовые на конце слога были усилены тем же согласным, что и в начале слова, приближаются к редуплицированным звукоподражательным корням, очень распространенным в венгерском языке. Приведенные слова cancékol, cancér, csámcsog, csemcseg очень близки словам csacsog, dzadzog, dzadzsa, babog, dadog, totog, tëtyëg. В данном случае речь идет о границах двух или нескольких типов. Все эти типы с редупликацией очень близки друг другу и фонетически и по смыслу (они обозначают звуки прерывистые, имеют чаще всего отношение к звукам, производимым ртом, некоторые из них связаны с движениями ног, следовательно, речь идет о заикании, лепете, особенностях походки человека и т. п.).

В таком плане мы могли бы продолжать свой разбор далее. Но уже и из анализа нескольких типов видно, насколько интересным и сложным образованием является «тип». Мы можем констатировать, что один тип находится в близком соседстве с другим. При большом количестве ономатопоэтических выражений, из которых нами приведена только какая-то часть, кажется правдоподобным, что немногие из фонетических групп остаются «не охваченными» тем или иным из ономатопоэтических типов. Поэтому одной из задач будущей науки о звукоподражаниях будет задача исследовать распределение типов по фонетическим группам.

V

Теперь, наконец, мы можем приступить к рассмотрению **этимологии** венгерских звукоподражательных слов.

Первой проблемой этимологии этих слов является проблема образования звукоподражательных слов из ничего, ex nihilo, то есть путем непосредственного воспроизведения естественных звуков. К такому мнению приходит Гомбоц в статье, приведенной нами в начале нашего изложения. Это предположение, уже давно совершенно не встречающее поддержки, является предметом дискуссии. Различные мнения, имеющие отношение к этому спору, подробно разобраны Коржинком, который недвусмысленно выступил против образований ex nihilo. Он допускает

эту возможность только при зарождении человеческой речи и в случае передачи новых звуков, подобных, например, тиканью часов, выстрелам огнестрельного оружия и т. п. (стр. 86).

По нашему мнению, следует пойти еще дальше. Мы можем, вероятно, допустить, что в интеллектуальной области могло бы быть по чьей-либо прихоти создано какое-то новое слово, не родственное другим старым словам. (Сюда, однако, не относится, как справедливо указывает Коржинек, слово «газ», образованное в результате изменения греч. χάος.)

Но в области ономатопеи не действует даже такое ограничение. Как известно, в любом языке имеется огромное количество звукоподражательных слов. Как было отмечено в предыдущей главе, все звукоподражательные слова в большей или меньшей степени взаимосвязаны. Связь тесно спаянных звукоподражательных слов мы называем типом. Любой новый звуковой комплекс с необходимостью должен напоминать отдаленное или близкое звукоподражание. Если в языке появляется новая ономатопея, то в этимологическом отношении она должна быть близка остальным звукоподражательным словам, одним в большей, другим в меньшей степени. Поскольку новое слово по необходимости родственно другим звукоподражательным словам уже при своем возникновении, нам следует учитывать их при установлении этимологии этого нового звукоподражания, если последнее не связано с каким-либо интеллектуальным словом или словом иностранного происхождения. Если язык имеет средства выражения для каких-либо новых звуков, то он не уподобляет эти новые звуки *звукам* сходным, а ищет среди *средств выражения* сходных звуков новое средство, наиболее приемлемое для нового звука. В речи мы находимся в плену своих акустико-моторных навыков и не можем освободиться от них. Следовательно, возникновение нового слова невозможно без участия других слов.

Мне кажется, что эту негативную точку зрения относительно образований ex nihilo необходимо довести до логического конца, то есть применить ее к наиболее древним стадиям развития языка. Каково бы ни было происхождение языка, ясно одно: язык возник не путем создания, а путем использования определенных звуков, которыми человек реагировал на различные импульсы в семиологических целях. Функция обрела свою форму, а не возникла ex nihilo; то же самое характерно как для поздних стадий, так и для современной стадии развития языка.

Вследствие всего этого придется отказаться от приведенных выше терминов «hangutánzó szó» и «hangfestő szó», то есть звуко-

подражательное и звукоописывающее слово. Не удовлетворяет нас и трактовка слов, начинающихся с caf-, как результат образования их от звукоподражательного корня caf-. Действительно, некоторые слова были образованы таким путем. Но для более полной этимологии необходимо объяснить и возникновение звукоподражательного корня caf-, который не возник ex nihilo.

Таким образом, мы выдвинули требование, предъявляемое к этимологии слов, звукоподражательных по происхождению. Где же искать их этимологию?

Прежде всего мы должны отметить, что звукоподражание не следует считать новым и скоропреходящим явлением, как думает Гомбоц. Правда, звукоподражания в старых венгерских памятниках встречаются редко. Но этот факт отмечен для всех языков. Некоторые предполагали, что на ранних стадиях развития языка звукоподражания были редки, и подтверждали это древними текстами. Однако новые исследования показали (см. об этом у Й. Коржинка, цит. ранее работа, стр. 173—178), что это предположение лишено основания. Небольшое количество звукоподражательных слов в древних памятниках характеризует только эти памятники, а не древний язык. Следовательно, мы не должны не зафиксированные в древних памятниках слова звукоподражательного характера с необходимостью рассматривать как новые и искать их этимологию в словах, представленных в новую эпоху.

Гомбоц в рассмотренной нами статье (стр. 387) совершенно справедливо указывает на узкое географическое распространение как на одну из характерных особенностей ономатопеи. Действительно, многие звукоподражания имеют ограниченное географическое распространение. Но это не свидетельствует о том (как полагает Гомбоц), что они обязаны этим своему позднему происхождению. Звукоподражание, которое распространено на малой территории, всегда является только вариантом, видоизменением, другого звукоподражания, а несколько таких вариантов обычно распространяются по всей языковой территории. Так, скажем, нам известны слова dudduó «неповоротливый» (из говора Дьёра), dudla «безобразно полная, бесформенная женщина» (Кошице), dudva «толстозадая» (Кеменешалья), dudu «горшок для молока» (Дунантул). Связь этих слов очевидна, несмотря на то, что они записаны в разных областях. Это значит, что они являются вариантами одного и того же звукоподражательного выражения и что поиски их этимологии означают поиски этимологии этого, не определенного точно выражения, которое может восходить к очень древней эпохе.

Теперь попытаемся найти возможные источники звукоподражательных слов.

1. Прежде всего мы должны считаться с тем, что некоторые звукоподражания унаследованы от древней эпохи, то есть восходят к угро-финскому периоду, о чем свидетельствуют тождественные слова в родственных языках.

2. Отдельные языки не являются изолированными, они постоянно оказывают друг на друга давление, которому иногда, когда появляется необходимость, поддается тот или иной язык. Поэтому нет оснований полагать, что явление заимствования ограничено только словами интеллектуальными. Напротив, некоторые факты свидетельствуют о том, что в области звукоподражательных слов заимствование наблюдается чаще, чем в области незвукоподражательных слов. Как мы уже отмечали в начале своего исследования, звукоподражательные слова и заимствованные слова воспринимаются как очень близкие, и, вероятно, поэтому чужое слово нередко заимствуется с ономатопоэтической функцией. Причем заимствованное слово может быть звукоподражательным в чужом языке (сюда относится, вероятно, слово babrál; ср. словацк. babrat' «портить» и т. д.), но может и не быть таковым (ср. венг. csahol, тур. čakmak «высекать огонь»). Источником венгерских звукоподражательных слов, если они представляют собой заимствования, являются те же языки, из которых заимствуются и слова незвукоподражательные, то есть турецкий, славянские языки, немецкий, румынский и др. Наряду со словами из указанных языков в венгерском, вероятно, есть и слова из языков праиндоевропейского населения Европы, на что уже обратил внимание Й. Янко (и что отрицает, на мой взгляд несправедливо, Й. М. Коржинек) [23]. Венгерские слова такого происхождения проникли, вероятно, в венгерский язык, скорее всего, через посредство какого-либо третьего языка.

Наряду с этим необходимо искать источник звукоподражательных слов в языке, на котором разговаривают с детьми и с животными.

3. Наконец, источником звукоподражательных слов могут быть и исконные интеллектуальные слова. Противопоставление звукоподражательных и незвукоподражательных слов постоянно имеет силу, но границы его изменчивы. Поэтому слова нередко переходят из одной группы в другую. Чисто незвукоподражательных слов, на что мы уже однажды указывали, не бывает. Тем более не может быть таким слово, имеющее

[23] J. Janko, Čury mury a jeho nejbližší příbuzenstvo, «Národopisný věstník československý», 23, стр. 22; J. M. Kořínek, Studie z oblasti onomatopoje, стр. 114—115.

столь тесные связи со звукоподражательными словами, что оно может стать источником их этимологии. Слова, находящиеся на границе звукоподражательных и незвукоподражательных слов, отличаются тем, что они имеют фонетические варианты, хотя и в небольшом количестве. Чередование звуков в них наблюдается редко, и таким образом новая форма становится обычно формой единственной. Эмоциональные слова из такого пограничного слоя ведут себя аналогично звукоподражательным словам, и поэтому в дальнейшем мы приводим и такие слова.

Фонетическая сторона очень важна для этимологии звукоподражательных слов. В тех случаях, когда интеллектуальные слова подчиняются фонетическим законам, звукоподражательные слова нарушают их. Поэтому мы должны основывать свои суждения об этимологии звукоподражательных слов на совершенно иных принципах, чем принципы, на основе которых мы устанавливаем этимологию слов незвукоподражательного характера.

Так, например, в венгерском языке в начале слова сохраняется t-, внутри слова — -t- (<tt) и -d- (<nt). Таким образом, аномалия достигается постановкой d в начало слова. И действительно, в венгерском можно обнаружить несколько слов, где вместо прежнего t представлено d. Таковы слова [24]: dug «толкнуть» (ср. финск. tunkea и т. д.), daru «ястреб» (ср. коми и удм. turi и т. д.), darázs «оса» (ср. удм. durińt'si, durińsi), dorgál «бранить», «ругать» (ср. мар. torl- и т. д.), domb «холм» (ср. манси tump, tomp «холм», «остров»), dara «град» (из тур. tary, tary). Вихман [25] объяснял эти факты наличием большего числа зубных в угро-финском праязыке. Однако такое изменение t > d происходит в венгерском языке позднее, на что указывает тот же Вихман [26]. Это изменение относится скорее к чередованиям, поскольку первоначальное t живет в языке до сих пор, почему мы и говорили о нем в предыдущей главе. Изменение t > d в указанных словах Вихман объяснял ассимиляцией. Но такое объяснение применимо и к словам более древним [27]. Однако ни для древних, ни для новых слов такого объяснения недостаточно. Если мы исследуем условия звуковой аномалии, то увидим, что они весьма четки. Речь идет о словах с сильным акусти-

---

[24] Szinnyei J., Magyar nyelvhasonlítás, Budapest, 1927, стр. 25, 142, 144, 148; Gombocz Z., Magyar történeti nyelvtan, II, 1926, стр. 86 и сл.

[25] «Finnisch-ugrische Forschungen», XI.

[26] Y. Wichmann, A moldvai csángó mássalhangzók történetéből, «Magyar Nyelv», IV, стр. 297.

[27] Gombocz Z., Magyar történeti nyelvtan, II, 1926, стр. 88.

ческим компонентом — ср. darázs «оса», daru «ястреб», dorgál «бранить, ругать», dara «град»— и о глаголе движения dúg «толкать, пихать». Наконец, слово domb «холм» явно содержит в себе какой-то компонент движения. О том, что это слово тяготеет к звуковой аномалии, свидетельствует чередование dob — domb (см. предыдущую главу). Таким образом, мне кажется, что эти случаи с d вместо ожидаемого t можно объяснить стремлением к звуковой аномалии.

Полагаю, что сюда необходимо включить еще один случай. Венгерские слова döf, düf, duf обозначают «толкать; бодать; толочь; колоть» (см. MESz, IX, 1927, стр. 1398—1399, 1430—1431; форма duf приводится здесь как особое слово с пометой «hangutánzó szó», то есть звукоподражательное слово). Слово döf Й. Буденц (NyK, 6, стр. 420) связывал с финским tuppia «часто толкать, ударять». «Венгерский этимологический словарь» (см. MESz, IX, стр. 1399) эту связь отвергает. Однако затруднения, имеющие место в данных словах, удается устранить как раз благодаря указанию на их звукоподражательный характер. Этим вызвано не только изменение t > d, но и изменение p > f (ср. ниже), а также чередование гласных (ö — ü — u).

p в венгерском языке изменяется в начале слова в f. Внутри слова в венгерском языке мы находим p (< pp) и b (< mp). Поэтому аномальными для венгерского языка будут слова, имеющие, с одной стороны, p-, b- в начале слова, а с другой — слова, имеющие -f- внутри слова. Это положение могло быть достигнуто двумя путями: или заменой обычного звука звуком, не свойственным языку, или большей консервативностью, то есть сохранением старого звука на его прежнем месте. Последний случай может относиться к звуку p- в начале слова.

Случаи с p- в начале слова [28]: por «пыль», ср. фин. póro «осадок, пыль», paraj «сорняк; овощи», манси poriγ «густая трава», para (pala) «продырявленный кусок коры или дерева, привязываемый к неводу для того, чтобы он держался на воде», фин. polo «плавающее дерево, указывающее место удочки или сети».

Объяснение этих аномалий необходимо искать в терминологичности данных слов, хотя бы в случае втором и третьем. В первом случае, очевидно, влияет какой-то акустический компонент.

Случаи с b- в начале слова [29]: bal «левый», ср. удм. pal'l'an,- bök «наталкиваться, шататься», фин. pökkiä «бодать» и т. д.;

---

[28] Szinnyei J., Magyar nyelvhasonlítás, 1927, стр. 25, 142, 145, 146.
[29] Szinnyei J., цит. раб., стр. 147, 156; MESz, seš. II, стр. 248, seš. IV, стр. 520, 587.

венг. buzog «кипеть», манси posχ- и т. д. Причина этих аномалий во втором и третьем случаях кроется в акустическом компоненте. В первом случае влияние оказывает, очевидно, эмоциональный компонент — в этом случае речь идет о слове табу.

Кроме этого, имеют место и случаи замены звуком b- старого звука m-: bagoly «сова», ср. манси māŋχωlä; венг. bonyolít «замотать, запутать», bonyolódik «запутаться», манси māń «запутать» и т. д. В данном случае причиной аномалии является, по всей видимости, акустический компонент.

Случаи на -f- внутри слова: döf, düf, duf; этот случай уже показан нами в качестве иллюстрации изменения t > d. Более поздним чередованием является чередование p — f, например, в слове cáp — cáf «козел», что уже также отмечено нами.

k в венгерском языке в начале слова перед гласными переднего ряда сохраняется, перед гласными заднего ряда изменяется в χ, которое выступает в современном языке в виде h. Внутри слова в венгерском языке мы находим -k- (< kk) и -g- (< nk). Следовательно, венгерскому языку не свойственны -h- внутри слова, g- в начале слова, k- и g- в начале слова в определенных позициях. Но здесь ситуация более сложная. Как детально показал Д. Лазициуш [30], h- появлялось на месте исконного k- перед гласными заднего ряда только в определенных венгерских говорах. В остальных было, по-видимому, только k-. В результате смешения диалектов целый ряд слов в венгерском языке имеет k- перед гласными заднего ряда. Сюда относятся, например, такие слова, как kap «получать», ср. фин. kaappaa- «взять» и т. д.; kúszni, kúszik «лазить; подлизываться», ср. мар. kuz- «вылезти; выбраться» и т. д.; kívánni «желать; поздравлять», ср. фин. kaipaa- «нуждаться»; kaparni «копаться; грести», ср. фин. kaappi-, kaapi- и т. д.; karcsú «стройный, тонкий», саамск. kàrᵉt'še «узкий» и т. д.; kast «лужа», фин. kaste «роса» и т. д.; kopál, kovál «очистить от кожуры», ср. удм. ku «кожа», pu-ku «кора» и т. д.; kozmás «пригорелый, подгорелый», саамск. kuössmu «пригореть, подгореть»; kupa «углубление, впадина, выем», ср. удм. gop и т. д. [31]

Подобных слов так много, что невозможно объяснить непоследовательность изменения k > h в этих словах простым исключением. Поэтому очевидно, что в данном случае, как утверждает Лазициуш, речь идет о различиях диалектных. Мы хотели бы, однако, добавить к этому несколько слов. Смешение диалектов в данном случае означает, что отдельные слова

---

[30] L a z i c z i u s Gy., Bevezetés a fonologiába, Budapest, 1932, стр. 84—101.

[31] S z i n n y e i J., MNyH, стр. 24, 35, 142, 150, 151, 155, 159.

заимствовались из одного диалекта другим. В этом другом диалекте именно слова с k- рассматривались как чужие. Поэтому и заимствовались чаще всего слова с определенной ономатопоэтической окраской (kap, kapar, kast и др.).

Любопытно, что от древней эпохи нет примеров на изменение k, h > g, аналогичное изменению t > d и f > b. Это объясняется, вероятно, тем, что в языке существовало противопоставление k — h, вследствие чего язык мог не считаться с иным противопоставлением. Но позднее, когда k- перед гласными заднего ряда утвердилось, мы находим многочисленные изменения k > g, на что мы уже указывали.

Венгерскому языку не свойственно употребление звука -h- внутри слова. Изменение k > h, таким образом, — явление очень редкое, равно как и изменение p > f. Примером такого изменения является, как мне кажется, глагол csihol, cihol, csihel, cihel, csahol, csohol, csehel, csehël, cserhel, cihent 1) «выбивать, высекать огонь»; 2) «осечка» (MESz, VII, стр. 1035). З. Гомбоц вначале считал это слово заимствованием из турецкого языка, но впоследствии отказался от этого взгляда (ср. MESz, там же) прежде всего из-за наличия в данном слове неправомерного -h-. С нашей точки зрения, заимствование этого слова из тур. čak- «бить; колоть; сверкать; блестеть» и т. д. вполне допустимо.

Интересно другое возражение против представленной этимологии: только глаголы, заимствованные из славянских языков, принимают в венгерском языке окончание -ol (например, parancsolni «приказывать»), тогда как турецкие слова в венгерском языке окончаний не имеют, например baszni «сходиться, собираться». Мне кажется, что окончание -ol вообще не может быть помехой в данном случае. Как мы показали в предыдущей главе, звукоподражательные слова в венгерском языке сплошь и рядом имеют деривационные флексии, и, следовательно, такая флексия могла быть присоединена и к глаголу csahol. Поэтому мы считаем правдоподобным, что глагол csahol является турецким по происхождению.

Звук -t- дает в венгерском языке внутри слова -l- или -z-. В начале слова z- не встречается. Поэтому слова, начинающиеся с z-, являются аномальными для венгерского языка, например zaj «шум, гул», ср. фин. soida «звучать» и т. д. [32]

Группы -nt-, -nk, -mp- дают в венгерском языке -d-, -g-, -b-. Поэтому аномальными в венгерском языке являются группы носовой + взрывный, например в слове domb наряду с более поздним dob «холм», ср. манси tump, tomp «остров; холм» [33].

[32] См. Szinnyei J., Magyar nyelvhasonlítás, 7, стр. 160.
[33] Szinnyei J., Там же, 7, стр. 142.

Звук ly- в начале слова не встречается. Поэтому слово lyuk из более позднего lik (ср. фин. loukko «отверстие, щель»[34] и т. д.) является аномальным.

Наконец, за период обособленной жизни в венгерском языке неправомерно возникают три новых звука: ty, c, zs. Они появились не вследствие какого-либо фонетического закона, а косвенно, прежде всего благодаря заимствованиям и преобразованию звукоподражательных слов.

Так было образовано слово tyúk «курица»— из прежнего tik, cékla «свекла» от славянского svekla (см. Z. G o m b o c z, Magyar történeti nyelvtan, II, стр. 90), zsindely — из нем. Schindel «дранка» (там же, стр. 88).

Сюда относятся, как мне представляется, и звукоподражания типа caf-. Второй согласный -f- является, очевидно, пре образованием -p-. Первый согласный c-, как мы уже видели, чередуется с взрывными cs-, k-, t-. Таким образом, сближаются три звукоподражательных типа: csap-, kap-, tap-. По значению нашему типу наиболее близок тип csap-. Слово csap- означает «бить», «рубить», «мешать», «кидать», «швырять», «колотить», «бичевать», «хлестать» и в семантическом отношении ближе всего к словам типа caf-. Поэтому весьма правдоподобно, что корень caf- возник в результате преобразования корня csap-.

Примерно в таком виде представляется нам теория венгерских звукоподражательных слов. Мы надеемся, что нам удалось указать на то, что старая теория, на основании которой был создан венгерский этимологический словарь, несовершенна и что необходимо создать новую теорию. При построении такой теории, вероятно, будет полезно в некоторых моментах обратиться и к нашей работе.

---

[34] S z i n n y e i J., Magyar nyelvhasonlítás, 7, стр. 34.



Й. М. Коржинек

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ *

Разграничение языка (langue) и речи (parole) в том виде, в каком оно встречается в лингвистических работах со времен Соссюра, представляется мне неточным и вводящим в заблуждение, потому что речь здесь не только ставится рядом с языком, но и противопоставляется ему как координирующее и коррелятивное понятие лингвистической теории; во всяком случае, указанное разграничение приводит именно к такому пониманию речи. Взаимоотношение обеих абстракций уже определялось отдельными исследователями тем или иным образом; оно может, например, выражаться в соотношении так называемой социальной и индивидуальной сторон языковой действительности, как это утверждал де Соссюр, и в соотношении так называемой потенциальной или актуализованной сторон, как полагал Есперсен, и т. д. Моя собственная трактовка этой проблемы в отличие от упомянутых выше базируется на положении о том, что соотношение между языком и речью представляет собой просто отношение между научным анализом, абстракцией, синтезом, классификацией, то есть научной интерпретацией фактов, с одной стороны, и определенными явлениями действительности, составляющими объект этого анализа, абстракции и т. д.,— с другой. В языковой действительности, из которой исходит лингвистическая

* Josef M. Kořínek, Einige Betrachtungen über Sprache und Sprechen, TCLP, 6, Prague, 1936, стр. 23—29.

теория, выступает — прямо или косвенно — вся структура языка (как языка национального или языка вообще); в любом конкретном высказывании, если даже в нем реализуется лишь какая-то незначительная часть языка, всегда заключена вместе с тем вся его структура, ибо то, что реализуется в речи, существует как факт языка именно благодаря своим структурным связям со всем тем, что в рамках данного конкретного случая остается непосредственно нереализованным — подобно тому, например, как окружающий мир отражается в каждом из бесчисленных осколков разбитого зеркала как некое целое. И, наоборот, языковая структура исчерпывающе представлена совокупностью индивидуальных речевых актов, она получает в них осязаемое воплощение и проявляется бесчисленное множество раз, бесконечно, многообразно и неповторимо; она содержится в них как нечто целое и в то же время лишь частично, причем, чем наивнее восприятие, тем меньше цельность воспринимаемого. Лингвист ощущает в конкретных высказываниях их своеобразную внутреннюю закономерность, автономность их структуры, точнее, то, что можно ощутить или по крайней мере предположить на данной ступени нашей способности к познанию, если опираться на уже существующие представления об этой закономерности, об этой структуре. Интуитивное постижение языковой структуры характерно не только для лингвиста; более или менее сознательно и систематично оно осуществляется всеми говорящими на данном языке, а различия между нелингвистом и лингвистом при осознании структурных связей в языке носят отнюдь не принципиальный характер, заключаясь лишь в количестве языкового опыта и тех усилиях, которые необходимы для его интеллектуальной переработки. Любой говорящий на языке начинает осознавать языковую структуру, «языковые нормы» в процессе изучения языка (родного или иностранного), и это изучение основывается на устных и письменных высказываниях окружающих, то есть в принципе на том же самом материале, на котором основывается и теоретическая работа лингвиста. Из этих высказываний человек, изучающий язык, абстрагирует более или менее сознательно, с большей или меньшей степенью совершенства ту систему, которой он затем и пользуется,— именно благодаря этому он овладевает языком.

Правда, это осознание языковой структуры наивным носителем языка, так называемое «чувство языка», чаще всего оказывается очень примитивным по сравнению с языковым чутьем лингвиста и находится, между прочим, в рабской зависимости от различных традиционных предрассудков и ложных теорий, так что это больше мешает, нежели способствует пониманию

родного языка, а также языка вообще. Поэтому языковое чутье наивного информанта неправильно расценивать — а это присуще некоторым лингвистам — как критерий, важный также и для лингвистики. С другой стороны, по сравнению с неизмеримо сложной структурой, просвечивающей в языковой действительности, любые результаты научного лингвистического исследования, то есть лингвистическая теория как таковая, всегда остаются лишь необходимым остовом, лишь чисто временным построением, постоянно преследующим, однако, некую идеальную цель, а именно — окончательное и полное соответствие между теорией и сущностью вещей. Это роковое обстоятельство характерно не только для лингвистического, но и для любого научного исследования. Необходимо подчеркнуть, что достижимая степень точности в области (правильно понимаемой) лингвистики отнюдь не ниже, чем в прочих научных областях; давно ставшее традиционным привычное представление о значительно меньшей степени точности лингвистических исследований по сравнению, например, с исследованиями в области физики основано на том, что по незрелым методам лингвистов прошлого и по их методическим ошибкам судили о достижимой степени точности в лингвистике вообще. Как и для других наук, здесь особенно необходимо постулировать, что устанавливаемые в области лингвистических явлений научные законы, как и законы, которые будут установлены, не должны иметь исключений. Без этого постулата невозможен никакой научный закон, а без специальных научных законов для языковых явлений лингвистика как наука была бы невозможна. Исключения из научных законов, в том числе из законов лингвистических, являются кажущимися и объясняются либо неправильным пониманием фактов, для которых были сформулированы данные законы, либо неправильным пониманием самих законов. Во всех случаях, где это не так, факты, противоречащие любому выдвинутому закону, свидетельствуют о том, что этот закон сформирован неточно. Что же касается самой лингвистики, то ни один закон, относящийся к языковым явлениям как таковым, не может быть правильным, если в нем не отражены определенные структурные связи. Все, что выходит за их пределы, является лишь более или менее неполным перечислением материала или тщетным стремлением к установлению лингвистических законов в области явлений, отнюдь не собственно лингвистических.

Между точностью лингвистических методов, а также отсутствием исключений из лингвистических законов, с одной стороны, и постоянной и при данных обстоятельствах совершенно неизбежной фрагментарностью и относительностью

лингвистической теории — с другой, отнюдь нет логического противоречия. Упомянутая выше точность и отсутствие исключений всегда относятся лишь к одному из весьма многочисленных компонентов языковой действительности, и вычленение этих отдельных компонентов из неизмеримо сложной совокупности речевых актов является необходимой начальной ступенью всякого лингвистического анализа. Результаты научных лингвистических исследований, то есть вся совокупность обнаруженных на определенной ступени лингвистических законов, и составляют сущность языка как лингвистической теории, при этом речь может идти или о системах отдельных национальных языков, или о системе языка вообще. Язык как лингвистическая теория противостоит той структуре, которая дана нам, или только намечена в воспринимаемой нами языковой действительности, то есть в виде индивидуальных речевых актов. Стать адекватной этой структуре и стремится лингвистическая теория, ибо как раз в этом и состоит истинный смысл лингвистического исследования. Доступная нам языковая действительность (речь) лежит, так сказать, между ними, являясь посредницей между языковой структурой, которая в своей совокупности недоступна непосредственному восприятию, но служит необходимой основой всех индивидуальных высказываний и дана нам, собственно говоря, лишь в этих высказываниях, и структурой языка как результатом основанного на этих высказываниях анализа, абстракции и синтеза [1].

Таким образом, соотношение между речью и языком как лингвистической теорией совершенно аналогично, например, соотношению, с одной стороны, между бесчисленными и бесконечно многообразными явлениями, данными нам в нашем опыте, благодаря чему получает осязаемую реализацию непосредственно недоступная в своей совокупности физическая структура мира (частично данная нам, а частично содержащаяся в них имманентно) и физическими законами как научной теорией, с другой стороны. Последняя стремится к полной идентичности с этой лишь частично данной нам структурой, оставаясь всегда фрагментарной и относительной. Вероятно, против этого могут выдвинуть возражение, что в отличие от единичных явлений, через которые проявляется физическая структура мира и которым приписывается механический характер, в языковых высказываниях проявляется и языкотворческая способность человеческих индивидуумов, на чем основывается сама языковая эволюция. Однако это недоразумение. Некоторые

[1] Правда, слова «лежит... между ними» и «являясь посредницей» употреблены здесь образно, в вспомогательных целях и, следовательно, не передают реальных отношений.

из наличествующих в языковой системе элементов и отношений могут использоваться не только традиционным, нормативно предопределенным для данного языкового коллектива путем, но и иным способом: например, если индивид впадает в состояние аффекта, он использует их чрезвычайно многообразно и часто совершенно неповторимо. Однако следует заметить, что индивид не может создать в языковом плане ничего действительно совершенно нового, во-первых, потому, что все индивидуальное многообразие конкретных речевых актов с точки зрения звучания, морфологии и синтаксиса основывается на тех возможностях и предпосылках, которые заранее предопределены данным языком (соответственно несколькими языками, участвовавшими в «акте новотворчества») или языком вообще, а во-вторых, потому, что следует различать предпосылки индивидуальной творческой способности, относящиеся к сфере чисто языковой и, собственно говоря, не существующие, от предпосылок языкотворческой способности, коренящейся в сфере психического, о природе и границах которой лингвист не может судить и с которой не следует смешивать или идентифицировать ее языковое выражение. Именно языковое выражение должно быть с самого начала примарным и автономным, а не являться для лингвиста чем-то производным и зависимым. Это — первостепенное и неукоснительное условие чисто лингвистического подхода к языку. Многое из того, о чем думают те, кто оперирует в своих языковедческих работах такого рода психологическими выражениями, как «целенаправленность индивидуальной речевой деятельности» («Eingezieltsein der individuellen Sprachbetätigung»), «целеустремленность речевого акта» («Zielstrebigkeit des Sprechens») и тому подобное, не является областью собственно лингвистики. В равной степени это относится и к образованию «новых» слов или к влиянию иностранного языка на речевую деятельность индивида, а также к планомерным отклонениям от нормы в «языке» отдельных писателей или в различных профессиональных языках, жаргонах и т. д. Все подобные случаи лингвистически предопределены соответствующей языковой структурой или структурами — точнее тем, что́ говорящий индивид усвоил на основе речевых высказываний окружающих из структуры языка или языков, которыми он пользуется, то есть в зависимости от того, в какой степени и каким образом это усвоение происходило. Задача лингвиста определяется здесь тем, что по возможности он обращает свое внимание на коллективное, надиндивидуальное, тогда как противоположный подход, а именно акцентирование индивидуального и единичного в структуре

языкового высказывания, характерен для стилистики, которая имеет свои собственные задачи и свои собственные пути для решения поставленных вопросов. С точки зрения лингвиста стилистический подход ведет к простому перечислению материала, точно так же как с точки зрения физика учет случайного (вместо ориентации на принципиальное) в физических явлениях, которые необходимо объяснить, неизбежно приводит к простому нагромождению отдельных фактов. Вопрос о чисто индивидуальной языковой структуре лишен для лингвиста всякого смысла. С лингвистической точки зрения в этом понятии содержится contradictio in adjecta. Неточную терминологию, могущую ввести в заблуждение, как, например, выражение «язык Гёте» («die Sprache Goethes»), следовало бы, по крайней мере в устах лингвиста, заменить лингвистически более правильным «немецкий язык в употреблении Гёте» или «в стилистической интерпретации Гёте» («die deutsche Sprache im Gebrauch oder im Stil Goethes») или просто «стиль Гёте, гётевский стиль» («der Stil Goethes, der Goethesche Stil») . Правда, индивидуальный стиль какого-либо писателя может с течением времени получить большее или меньшее обобщение, и тогда можно будет говорить о более или менее коллективном языковом стиле, в этом смысле граница между стилем и языком всегда относительна, и мы вынуждены иметь в данном случае дело с целой иерархией переходных форм. Одной из таких переходных форм являются так называемые функциональные языки в рамках национального языка, которые тем не менее с точки зрения лингвистической теории нужно в принципе считать и, следовательно, называть различными стилями одного и того же языка. Например, следует говорить «немецкий экономический стиль» или «немецкий язык в экономическом употреблении или стиле» вместо обычного сейчас названия «немецкий экономический язык» («die deutsche Wirtschaftssprache»). Такое разделение будет для лингвистики, как я полагаю, не менее полезным, чем аналогичное разграничение, проводимое при изучении звуковой стороны языка между фонологией как чисто лингвистической дисциплиной, изучающей надиндивидуальные явления, и фонетикой, ориентированной на индивидуальное в языке [2]. С чисто лингвистической точки зрения в диахрониче-

[2] Это, конечно, отнюдь не должно означать недооценки последнего подхода при исследовании языковой действительности в широком смысле этого слова: в конечном счете речь идет лишь о том, чтобы отвести правильное место обоим противоположным направлениям исследования в общем кругу лингвистических задач, а также о том, чтобы ограничить чисто лингвистические исследования, по возможности сосредоточив все внимание на рассмотрении надиндивидуального, то есть того, что как раз специфично для лингвистики.

ском аспекте утверждение о языкотворческой способности говорящих также неоправданно. Все языковые изменения полностью определяются предшествующим состоянием данной языковой системы и с лингвистической точки зрения предопределены. Это справедливо не только в отношении тенденций развития, которые охватывают в определенный промежуток времени бóльшую или меньшую часть языкового коллектива, но и в отношении чисто индивидуальных зачатков некоторых инноваций. Само собой разумеется, что лингвистический подход представляет собой лишь один из возможных подходов; при исследовании и интерпретации какого-либо факта языкового развития можно учитывать также и другие компоненты и делать упор на другие факторы, помимо тех, которые представляет нам сама рассматриваемая языковая система, а именно на явления индивидуально-психические и индивидуально-социальные. Исследование всех этих компонентов и факторов, однако, уже не является делом лингвистики, а использование подобных исследований в лингвистике и сопоставление результатов соответствующих исследований с результатами собственно лингвистического исследования может иметь с лингвистической точки зрения лишь вспомогательное, а не принципиальное значение. Такое экстралингвистическое исследование или применение его в лингвистике ни в коем случае не может заменить собственно лингвистического подхода. Лингвист, задача которого заключается в установлении и освещении структурных связей между предшествующим и последующим языковым состоянием с помощью чисто лингвистических средств (то есть не психологизирующих, не социологизирующих и не еще каким-либо образом «изирующих»), не должен и не может исчерпывающе, во всех отношениях охарактеризовать данный факт развития; с нашей точки зрения, он должен и может сознательно и последовательно ограничиться лишь тем, что превращает этот факт в факт языка и тем самым объясняет языковое развитие на основе самой языковой системы. Одной из самых больших опасностей для лингвистической методологии было и остается стремление исследовать и объяснить больше, чем положено лингвисту. Интерпретация диахронических языковых явлений на основе языкотворческой способности говорящих индивидов является с лингвистической точки зрения бесплодным мистицизмом, в лучшем случае это лишь описание того, что как раз и должно быть истолковано с лингвистических позиций. Подобная интерпретация представляет собой заимствованную из экстралингвистических областей и ничего не дающую лингвистам метафору, которая первоначально, по-видимому, употреблялась с самыми лучшими

намерениями, но сейчас серьезно угрожает правильной постановке основных методологических проблем. Тот, кто хотел бы сохранить выражение «языкотворчество» («Sprachschöpfung») скорее всего имеет право говорить о «самотворчестве» («Selbstschöpfung») надиндивидуальной языковой системы, понимая под этим ее телеологическую природу. Однако, по-моему, весьма сомнительно, чтобы мы, лингвисты, могли бы извлечь какую-либо пользу из подобного ненаучного и мистического способа выражения мыслей.

Фр. Данеш, Й. Вахек

ПРАЖСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОЙ ГРАММАТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ *



Фр. Данеш

I. Хорошо известно, что Пражская лингвистическая школа, применяя функциональный и структурный подходы к языку, никогда не ограничивалась только звуковым уровнем — напротив, с самого начала своей объединенной деятельности пражские лингвисты стремились распространить этот подход и на изучение «высших» языковых уровней, особенно при исследовании проблем грамматики (морфологии и синтаксиса). Однако известно также и то, что в области структурной грамматики пражцами сделано значительно меньше, чем в фонологии — той области языкознания, само название которой обычно ассоциируется с Пражской лингвистической школой. Хотя русскими членами кружка было опубликовано большое число блестящих исследований по русской морфологии еще в 20-е и 30-е гг.[1], однако аналогичные исследования, посвященные собственно чешской тематике, смогли появиться в свет только к началу 40-х гг. — ко времени выхода книги *Е. Паулини* о структуре словацкого глагола и монографии *В. Скалички*

* František D a n e š, Josef V a c h e k, Prague studies in structural grammar today, TCLP, 1, Prague, 1964, стр. 21—31.

[1] См. С. К а р ц е в с к и й, Système du verbe russe, Prague, 1927; см. также очень оригинальную, хотя и во многом спорную работу *Р. Якобсона* «Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre», TCLP, 6, 1936, стр. 240—288 и его же «Zur Struktur des russischen Verbums», «Charisteria Gu. Mathesio», Prague, 1932, стр. 74—84.

о чешском склонении [2]. Что же касается чешского спряжения, то его описание, осуществленное на том же уровне, смогло увидеть свет только в начале 60-х гг.[3]

Заслуга книги В. Скалички в применении типологического подхода к проблемам структурной морфологии. Основы его были заложены автором еще в середине 30-х гг.[4]

II. Несомненно, что типологические исследования, основоположником которых был Скаличка,— одно из наиболее значительных достижений Пражской лингвистической школы в области структурной грамматики. Как известно, эти работы основывались на взаимном сопоставлении морфем, минимальных элементов звуковой формы языка, и «сем», образующих минимальные единицы смыслового содержания. Такой подход, при котором уделялось внимание как форме, так и содержанию языкового высказывания, предопределил дальнейшее развитие пражских исследований по структурной грамматике, авторы которых сознательно избегали того чисто формального, антисемантического метода, который столь часто используется другими лингвистическими группами вплоть до настоящего времени.

Другим значительным предвоенным вкладом пражских ученых в теорию и практику структурной грамматики явилась известная работа *В. Матезиуса* — попытка построить функциональную грамматику языка. Этот опыт был основан на солидной теории и подтверждался практически богатым иллюстративным материалом. Несмотря на то что значительное число глав, демонстрирующих общий подход Матезиуса к грамматике, было опубликовано еще при жизни ученого, полностью его концепция стала известной лишь спустя пятнадцать лет после его смерти, когда вышла в свет его обобщающая работа по современному английскому языку [5].

Матезиус отталкивался от коммуникативных нужд и пожеланий говорящих. При этом учитывались и те лингвистические средства, которые служат потребностям человеческой коммуникации в разных языковых сообществах. Такой подход оказался особенно плодотворным для исследования синтаксического (или, скорее, суперсинтаксического) уровня, на котором

---

[2] E. Pauliny, Štruktúra slovenského slovesa, Bratislava, 1943 (на эту работу имеется содержательная рецензия *М. Докулила* в SaS, 11, 1949, стр. 68—78); V. Skalička, Vývoj české deklinace, Praha, 1941.

[3] M. Dokulil, Vývojové tendence časování v současné spisovné češtině, в книге: «O češtině pro Čechy», Praha, 1960.

[4] V. Skalička, Zur ungarischen Grammatik, Praha, 1935 [см. наст. сб., стр. 128—195].

[5] V. Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha, 1961.

в целях сопоставления языков как родственных, так и не связанных генетически оказалось крайне удобным использовать предложенную Матезиусом процедуру установления так называемой функциональной перспективы предложения. Идея Матезиуса состояла в делении предложения на исходную точку, так называемую «тему» (которая не сообщает новой информации, но служит главным образом в качестве необходимой связи с контекстом как языковым, так и ситуационным), и вторую часть —«ядро», или «рему» (передающую ту новую информацию, которую и сообщает все предложение) [6]. Эта идея оказалась весьма привлекательной для значительного числа молодых чешских лингвистов, применивших ее к данным самых различных языков [7]. Причем нельзя, однако, не заметить, что многие лингвисты, как американские, так и европейские (например, *К. Г. Крушельницкая*, *К. Боост*, *Д. Л. Болинджер*, *А. Г. Хэтчер*, *Д. С. Уорс* и др.), значительно позднее пришедшие самостоятельно к тем же самым выводам, которые были сделаны Матезиусом еще в 30-е гг. и в начале 40-х гг., ничего или почти ничего не знали о достижениях Матезиуса в этой области, хотя одна из его работ по данной проблематике была опубликована на немецком языке еще при жизни ученого [8]. Что же касается изучения несинтаксических уровней языка, то нельзя не заметить, что в этой области (особенно в морфологии) метод Матезиуса никогда не был разработан полностью и оставался весьма схематичным. (В морфологии имела хождение оригинальная, хотя и спорная концепция *Б. Трнки* [9].)

---

[6] Ср. также V. Mathesius, Zur Satzperspektive im modernen English, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatur», 115, 1929, стр. 202—210. В работах некоторых американских ученых в последнее время вместо терминов «основа» (theme) и «ядро» (rheme) используются термины «topic» и «comment».

[7] См., в частности, F. Daneš, K otázce pořádku slov v slovanských jazycích, SaS, 20, 1959, стр. 1—10; M. Dokulil, F. Daneš, K tzv. významové a mluvnické stavbě věty, в кн.: «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958, стр. 231—246; K. Hausenblas, Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejího vyjadřování, «Bull. VŠRJL», 2, 1958, стр. 23—51; J. Firbas, On the communicative value of the modern English finite verb, BSE, 3, 1961, стр. 79—104; E. Beneš, Die Verbstellung im Deutschen, von der Mittelungsperspektive her betrachtet, PP, 5, 1962, стр. 6—19; J. Dubský, L'inversion en espagnol, SPFFBU, A 8, 1960, стр. 111—122; P. Novák, O prostředcích aktuálního členění, AUC, 1959, «Philologica», 1, стр. 9—15.

[8] См. работу *Матезиуса*, упоминавшуюся выше в сн. 6.

[9] См. работу *Б. Трнки* «On structural morphology», в «Charisteria», Prague, 1932 [стр. 266—271 наст. сб.] и его более позднюю работу «Morfologické protiklady» в кн. «O vědeckém póznání soudobých jazyků», стр. 93—104.

III. После второй мировой войны чешские лингвисты, особенно ученые младшего поколения, были поставлены перед вполне осознанной необходимостью разрабатывать методы структурной грамматики в первую очередь на материале чешского и словацкого языков (хотя, если говорить честно, наиболее значительные достижения в области структурной грамматики имели место для русского языка, данные которого успешно сопоставлялись с данными чешского или словацкого — это относится особенно к анализу русского языка, произведенному *А. В. Исаченко*, а также к более практической русской грамматике, выполненной целым коллективом во главе с *Б. Гавранком*) [10].

Необходимость в разработке методов на материале чешского и словацкого языков была тем более очевидна, что в большинстве самых известных послевоенных грамматик этих языков не проводилась достаточно последовательно та концепция языка, согласно которой он понимался как система систем, хотя теоретически эта концепция для большинства авторов уже давно была само собой разумеющимся фактом [11]. Однако провести последовательно эту концепцию тогда было практически невозможно, так как отсутствовали некоторые весьма необходимые для этого предпосылки — а именно: монографические исследования некоторых частных проблем чешской или словацкой грамматики и в особенности исследование тех отношений, которые существуют между уровнями языка, образующими отдельные подсистемы внутри системы всего языка, рассматриваемого как целое.

О том, что эти задачи были поняты и проанализированы правильно, убедительно свидетельствуют чешские учебные грамматики, разработанные в начале 50-х гг. под руководством Б. Гавранка (который при создании целой серии грамматик чешского языка еще в 30-е гг. старался опираться на струк-

---

[10] А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, Морфология, I, Братислава, 1954; II, 1960; B. Havránek, O. Leška и др., Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy, Praha, 1960—1961.

[11] Fr. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny, Praha, 1948—1949 [см. русск. перевод Ф. Травничек, Грамматика чешского литературного языка, М., ИЛ, 1950]; B. Havránek—A. Jedlička, Česká mluvnice, Praha, 1960; E. Pauliny — J. Ružička — J. Štolc, Slovenská gramatika, изд. 4-е, Bratislava, 1963. Определение языка как системы систем восходит к *В. В. Виноградову* (хотя он использовал это в ином контексте). См. отчет *К. Горалека* о лекции советского ученого, прочитанной в Праге в 1956 г. (SaS, 18, 1957, стр. 98).

турный подход к языку), а также ряд коллективных трудов, рассчитанных на широкий круг читателей [12].

И все же систематическое описание чешского литературного языка не могло осуществиться до тех пор, пока не было найдено удовлетворительное решение ряда частных проблем. За последние полтора-два десятилетия опубликовано большое число весьма ценных работ именно такого рода. Этому вопросу посвящены, например (если назвать наудачу): интересная дискуссия по проблеме инфинитива в чешском и некоторых других языках [13]; детальный анализ системы видовых отношений в чешском языке и проблемы глагольной модальности [14]; изучение конструкций с приглагольным родительным, решение других существенных вопросов чешской падежной системы [15] и многое другое.

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые разделы грамматической системы языка были изучены самым систематическим образом [16] и что при анализе некоторых из них применялся метод, обеспечивший как всесторонний охват материала, так и высокий уровень методологии. Указывая на это, мы прежде всего имеем в виду систематический анализ чешского словообразования (один из томов на эту тему уже вышел из печати, а второй и третий будут опубликованы в течение ближайших двух лет) [17]. Названная работа была подготовлена коллективом сотрудников Института чешского языка в Праге. Значение теории порождения слов *М. Доку-*

---

[12] B. H a v r á n e k и др., Český jazyk, Praha, 1955 и далее. Чтобы составить представление о работах другого типа, см. коллективный труд «О чешском языке для чехов», упоминавшийся выше, в сн. 3. Книга была написана главным образом силами сотрудников Института чешского языка Чехословацкой Академии наук.

[13] Дискуссию открыл *И. Полдауф* («Infinitiv v angličtině», ČMF, 36, 1954, стр. 9—23), затем она была продолжена *В. Скаличкой*, *К. Ф. Свободой* и другими; словацкие проблемы того же характера разрабатывались в основном *Й. Ружичкой* («Skladba neurčitku v slovenskom jazyku», Bratislava, 1956).

[14] См. особенно F. K o p e č n ý, Slovesný vid v češtině, Praha, 1962. Другие значительные работы, опубликованные по той же тематике, принадлежат *А. Досталу*, *И. Немцу* и *И. Полдауфу*. О модальности в глаголе см. L'. Ďurovič, Modálnosť; lexikálno-syntaktické vyjadrovanie modálnych a hodnotiacich vzt'ahov v slovenčine a ruštine, Bratislava, 1956.

[15] Ср. K. H a u s e n b l a s, Vývoj předmětového genitivu v češtině, Praha, 1958.

[16] По этому поводу см. F. K o p e č n ý, Základy české skladby, Praha, 1958.

[17] «Tvoření slov v češtině», ч. I: M. D o k u l i l, Teorie odvozování slov, Praha, 1962; ч. II: Odvozování podstatných jmen (в печати). Словацкое словообразование исследовал *Й. Горецкий*; см. J. H o r e c k ý, Slovotvorná sústava slovenčiny, Bratislava, 1959.

лила, изложение которой помещено в первом томе, выходит далеко за узкие рамки чисто чешских лингвистических штудий. Данная теория, и это для нас очевидно, представляет собой первую успешную попытку дать такой анализ отдельной области языка, в ходе которого последовательно разграничивались бы синхронический и диахронический аспекты. Кроме того, указанная теория представляет собой первое систематическое описание чешской морфологии (в том смысле, как толковал этот термин *Н. С. Трубецкой*).

В процессе конкретных исследований выяснилось значительное количество интересных фактов, характеризующих специфику взаимоотношений между элементами разных уровней языковой системы. За недостатком места приведем лишь один пример. Так, в чешском языке была установлена интересная зависимость между распространенностью глагольных конструкций (и соответственно нераспространенностью именных), с одной стороны, и нелюбовью к употреблению пассивных и причастных конструкций — с другой [18].

Зависимость эта тем более заслуживает внимания, что в современном английском языке (который во многих отношениях представляет собой прямую противоположность чешскому языку) относительно большая распространенность именных конструкций связана с пристрастием к употреблению пассивных и причастных конструкций (см. об этом в работах, указанных в сн. 18). Соотношения такого рода рассматриваются пражскими учеными как свидетельство правильности взгляда на язык как на систему систем, все элементы которой связаны между собой. Особо нужно подчеркнуть тот факт, что такая взаимозависимость не ограничивается только элементами, принадлежащими звуковому уровню, но может быть (пусть с несколько меньшей наглядностью) продемонстрирована и для всей системы языка в целом, включая также и грамматические уровни (то есть синтаксис и морфологию).

IV. Необходимо заметить также, что концепция Пражской школы в основе своей была не только структуральной, но и функционалистской. Данное обстоятельство неоднократно подчеркивалось пражскими лингвистами [19]; в этой связи

---

[18] Ср. J. Vachek, Some thoughts on the so-called complex condensation in modern English, SPFFBU, A3, 1955, стр. 63—77; J. Hladký, Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts, BSE, 3, 1961, стр. 105—118.

[19] См., например, V. Skalička, Kodaňský strukturalismus a pražská škola, SaS, 10, 1948, стр. 135—142. Русский перевод этой статьи приводится в книге *В. А. Звегинцева* «История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1960, стр. 92—99.

небезынтересно отметить, что глава, посвященная принципам и достижениям Пражской школы, была названа *В. А. Звегинцевым* «Функциональная лингвистика» [20]. Настаивая на определении «функциональный», пражские ученые хотели подчеркнуть этим то положение, что изучение системы языка может быть адекватным по отношению к фактам только в том случае, если анализ этих фактов проводится с ориентацией на их функции, особенно, конечно, с ориентацией на их коммуникативную функцию.

Анализ этот, естественно, не может проводиться иначе, чем путем сопоставления элементов звуковой формы языка и соответственно их смыслового содержания. Пражские лингвисты убеждены в том, что только такой подход может обеспечить исследователю возможность полностью охватить факты языка как системно организованного целого, во всех их аспектах и на всех языковых уровнях — от высшего до низшего (включая при этом и не всегда ясные факты стилистического уровня). Поскольку тесная связь звуковой формы и смыслового содержания составляет самую суть языка, пренебрежение смысловой стороной так же губительно для языкового исследования, как и пренебрежение звуковой формой,— оно просто уничтожает то, что делает язык языком [21]. Пражские лингвисты никогда не уставали подчеркивать и другое существенное обстоятельство. Они считали, что неправомерно отождествлять в лингвистике синхронию и статику. Члены Пражской школы, даже если и применяли систематический принцип описания для изучения синхронного состояния того или иного языка, однако никогда не забывали о том, что всякий живой язык (конечно, не «мертвый» язык типа латыни или не искусственный язык типа эсперанто) всегда находится в движении, в «состоянии изменения» [22]. Отсюда вытекает одно важное обстоятельство, а именно: в каждом языке в любой момент его развития должны быть представлены как уже развившиеся элементы, так и, наоборот, элементы, переживающие самое начало своего становления. Иными словами, для всякого

---

[20] Имеется в виду указанная в сн. 19 книга В. А. Звегинцева, стр. 67—110.

[21] Это не означает, однако, что в чисто экспериментальных целях нельзя было бы пренебречь одним из двух основных элементов языка. Но при этом никак нельзя забывать, что результаты, полученные от такого эксперимента, не могут быть механически распространены на весь язык в целом.

[22] Наиболее отчетливо этот факт был сформулирован еще в 1931 г. *Р. Якобсоном* (TCLP, 4, стр. 264 и сл.); в дальнейшем (наряду с другими) — *Й. Вахеком* в коллективном труде «O vědeckém poznání...» (см. об этом сн. 7), стр. 63.

языка в любое время его существования характерно своего рода смешение структур, которое — если смотреть на него «извне»— может восприниматься как некий дефект данной языковой структуры. Таким образом, мы сталкиваемся здесь с феноменом, аналогичным тому, о котором говорилось в связи с дискуссией о фонологических проблемах (см. статью Й. Вахека, стр. 100—114 настоящего сборника). Другими словами, здесь мы снова сталкиваемся с тем, что может быть названо «размытыми» точками системы, которые в дальнейшем могут (но не обязательно должны) быть уничтожены на одном из позднейших этапов ее развития.

Такой подход к фактам языка, наполняющим языковую систему, которая не является уравновешенной, сбалансированной (поскольку ей свойственны дефекты внутри самой структуры), но только стремится к равновесию, отражен во многих работах пражских лингвистов. Цель таких работ — выяснить отдельные неясные факты в структуре чешского языка (см. об этом выше, сн. 3, где упоминается о работе М. Докулила, который представил тонкий анализ глагольной системы современного чешского языка). Эти так называемые «размытые» точки хотя, несомненно, и принадлежат структуре чешского языка, однако обычно бывают расположены на периферии чешской языковой системы, и потому их позиция в данном языке никогда не бывает особенно стабильной [23]. При этом необходимо заметить, что идея системности языка понимается многими современными лингвистическими направлениями слишком узко, и поэтому в случае, когда в языковой системе отсутствует равновесие, сторонники этих направлений оказываются методологически беспомощными. Говоря о дискуссии по проблемам фонологии, мы указывали, что *Ч. Хоккетт* отнюдь не игнорирует наличие подобных недостатков «баланса системы» и идет даже дальше, объявляя существование этого недостатка одной из лингвистических универсалий. Но даже и этот ученый не осознает необходимости пойти еще дальше

[23] На существование периферийных элементов в языковой структуре было указано рядом пражских лингвистов, например *К. Горалеком* (K. H o r á l e k, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha, 1962, изд. 2-е, стр. 27 и сл.) и особенно *Фр. Данешем* в докладе на симпозиуме «Знак и система языка» («Zeichen und System der Sprache») в Эрфурте (см. труды симпозиума, опубликованные под тем же названием, т. II, Берлин, 1962, стр. 62). О конкретных периферийных явлениях в фонологической системе современного английского языка см. J. V a c h e k, On peripheral phonemes in English, BSE, 4, 1964.—Быть может, *М. Докулил* отнесся скептически к универсальной ценности «бинарного принципа» в анализе морфологических феноменов именно из-за этого тонкого свидетельства в пользу большей структурной сложности системы языка (см. SaS, 19, 1958, стр. 81—103).

и поставить вопрос о том, каковы же причины отсутствия этого баланса и как этот недостаток баланса может сочетаться с общим системным характером языка. Эта проблема была как будто достаточно осознана членами Лондонской группы лингвистов, в последние годы возглавляемой *Д. Р. Фёрсом* [24]. И все же предлагаемое ими решение вряд ли может быть признано удовлетворительным. Оно гласит, что лондонские лингвисты находят необходимым расщеплять языковую систему на множество малых подсистем таким образом, что для любой позиции в слове может быть создана своя фонологическая система. Пражская группа в противоположность этому оказывается в состоянии примирить концепцию языка как незамкнутой в себе (то есть открытой) системы с наличием внутри этой системы некоторого числа подсистем. Предполагается, как указывалось выше, что эти взаимодействующие между собой подсистемы не только не уничтожают общего единства языковой системы, но, напротив, скорее подчеркивают и укрепляют его.

V. Целью всего сказанного выше было упомянуть о некоторых наиболее «прогрессивных» идеях «классического периода» Пражской лингвистической школы (главным образом периода 30-х гг.). Идеи эти должны были не только сохраниться, но и развиваться далее, что не обязывает, однако, к механическому восприятию всех положений, выдвинутых предвоенной пражской лингвистикой. Если попытаться суммировать современную точку зрения чешских языковедов по этому вопросу, то можно сказать, что лингвистическая теория Пражской школы и практика довоенных лет все еще может являться мощным стимулом для современных исследований по лингвистике, однако при этом концепция пражцев не должна рассматриваться как совокупность некоторых догм, но скорее как показатель правильного методологического подхода [25]. Вместе с тем, если современная пражская лингвистическая теория и не тождественна тому замкнутому множеству научных тезисов, которые были выдвинуты в предвоенные годы, то это, очевидно, потому, что члены Пражской школы никогда

---

[24] Более подробные сведения о деятельности этой группы см. в статье Й. Вахека (J. V a c h e k, The London group of linguistics, SPFFBU, A7, 1959, стр. 106—119).

[25] Ср. работу *Б. Гавранка* «Aktuální metodologické problémy marxistické jazykovědy», опубликованную в коллективном труде «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962, стр. 9—19 (особенно стр. 19). Существует также интересная попытка объединить подходы, принятые в Пражской и Копенгагенской школах (см. O. L e š k a, A. K u r i m s k ý, Theoretické předpoklady lingvistické konfrontace, ČR, 7, 1962, стр. 214—221).

не игнорируют успехов, достигнутых в настоящее время участниками других групп и лингвистических направлений, и никоим образом не отказываются улучшить результаты (полученные при помощи их собственных методов) за счет достижений, которых добились другие направления, если только окажется, что эти улучшения осуществимы и удобны. Более того, данное положение справедливо и в отношении методов квантитативной и математической лингвистики, которая систематически разрабатывается и успешно применяется к данным чешского языка не менее чем в трех исследовательских центрах, функционирующих в Праге [26]. В этой связи стоит упомянуть о том, что некоторые представители Пражской лингвистической школы действовали как пионеры квантитативного изучения языковых явлений еще в конце 20-х и начале 30-х гг. (в этой области работали *В. Матезиус*, *Б. Трнка* и позднее *И. Крамский*). Весьма симптоматично в этом смысле, что самый первый из пражских «Travaux...» уже включает работу Матезиуса по квантитативной лингвистике [27].

Несколько менее ясны взаимоотношения между пражской концепцией языка и подходом к языку, разрабатываемым главным образом *Н. Хомским*. Этот метод поддерживается сторонниками того направления, которое обычно называется порождающей, или трансформационной, теорией грамматики (в дальнейшем мы будем использовать только последний термин). Проблемы, с которыми приходится при этом сталкиваться, слишком сложны, чтобы можно было на современном этапе ответить на этот вопрос ясно и недвусмысленно. Однако уже и сейчас можно вполне определенно высказаться по ряду проблем. Хотя данное Хомским определение грамматики как совокупности правил, посредством которых из относительно небольшого числа «ядерных» предложений могут порождаться все допустимые предложения данного языка (и только такие

---

[26] Наряду с другими результатами, полученными в ходе этой работы, необходимо упомянуть о подсчете энтропии в чешских текстах. Вычисления были проведены коллективом лингвистов во главе с *Л. Долежелом* в Отделе математической лингвистики Института чешского языка в Праге; данные опубликованы в SaS, 24, 1963, стр. 165—175. Другие два коллектива, также занимающиеся проблемами математической лингвистики, возглавляются *П. Сгаллом* (см., например, его статью «Převodní jazyk a teorie gramatiky», SaS, 24, 1963, стр. 114—128) и *П. Новаком* (последняя группа особенно много сделала в области машинного перевода с чешского языка).

[27] Ср. V. Mathesius, La structure phonologique du lexique du tchèque moderne, TCLP, 1, 1929, стр. 57—84. Из недавних публикаций на эту тему особенного внимания заслуживает работа J. Jelínek — J. V. Bečka — M. Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce, Praha, 1961.

предложения), кажется несколько узким и хотя Хомский как будто бы неоправданно устраняет ту сторону лингвистического исследования, которая связана с рассмотрением отдельных языковых единиц, за счет развития процессуального аспекта лингвистики, все же нет сомнений в том, что трансформационный метод, проливающий новый свет на явления языка, может по праву считаться весьма ценным. Одним из достоинств новой концепции является то, что она никоим образом не игнорирует наличия внутренних связей, существующих между языковыми фактами, принадлежащими к разным уровням, и тем самым кончает с той «разобщенностью», которая явилась результатом применения максимы американских дескриптивистов о недопустимости «смешения языковых уровней». Это говорит также и о том, что трансформационная теория по-новому освещает проблемы лингвистики речи (linguistique de la parole), сформулированной еще де Соссюром, который отнесся к ней с пренебрежением, как и лингвисты, пришедшие вслед за ним [28].

Некоторые сомнения вызывает тезис трансформационной теории о том, что все закономерности языка могут быть последовательно аксиоматизированы и формализованы. Как настойчиво подчеркивал *Н. Д. Андреев* [29], а в нашей стране — *И. Полдауф* [30], трансформационная концепция не в состоянии подчинить себе не подлежащий сомнению динамический характер языка. Иными словами, те совокупности порождающих и трансформационных правил, которые сформулированы Хомским и его последователями, оказываются способными к формализации (пусть даже вполне адекватной) только таких отношений, которые имеют место в статических, неподвижных языковых структурах (и в этом отношении сами сторонники трансформационной теории открыто признают, что достигли того, что может быть названо лишь частичным успехом). Однако всякая развивающаяся языковая система — а такова, несомненно, система любого живого языка — оказывается весьма сложной для применения формализирующих и аксиоматизирующих правил. И так как с уверенностью можно сказать, что постоянное движение есть одно из наиболее существенных свойств языка, то, кажется, вряд ли можно уйти от того вывода,

---

[28] Ср. V. Skalička, The need for a linguistics of «la parole», RLB, 1, 1948, стр. 21—38.

[29] N. D. Andreyev, Models as a tool in the development of linguistic theory, «Word», vol. 18, 1962, стр. 186—197 (особенно стр. 197).

[30] J. Poldauf, Strukturalismus a americký descriptivismus, в кн.: «Problémy marx. jazykovědy» (см. выше, сн. 25), стр. 79—110, особенно стр. 103 и сл.

что порождающие и трансформационные правила, по крайней мере в своем современном виде, едва ли способны покрыть все основные факты языковой системы.

VI. Для того чтобы сделать нашу исходную позицию более ясной, мы должны упомянуть об одном существенном обстоятельстве. Дело в том, что сказанное выше ни в коем случае не должно интерпретироваться как категорический отказ Пражской группы признать возможность языкового моделирования. Работы, публикуемые в настоящем издании, демонстрируют тот факт, что метод языкового моделирования имеет место и в концепции Пражской группы — ее члены стремятся синтезировать все то, что является наиболее сильной стороной обеих рассмотренных концепций.

И все же можно с уверенностью утверждать, что адекватной состоянию фактов является та языковая модель, которая справедлива для всех основных лингвистических явлений, а не только для некоторых из них. (Справедливо, однако, что даже такие «частичные модели» могут все же оказаться полезными для целей, условно называемых лабораторными.)

В этой связи небезынтересно напомнить о том, что совсем недавно сама концепция языка, разработанная Пражской школой, была отнесена к одному из существующих видов лингвистических моделей. Так квалифицирует ее *Роман Якобсон*, ученый, пожалуй, наиболее компетентный в том, чтобы судить о пражской лингвистической концепции, поскольку он сам участвовал в ее создании. Якобсон говорит о том [31], что концепция пражцев стремится к тому, чтобы стать «телеологической моделью» («Means-Ends Model»), то есть моделью, подчеркивающей функциональный аспект языковой системы. Мы не намерены обсуждать здесь в деталях вопрос о том, соответствует ли действительности эта квалификация пражских исследований. Может быть, это и так, если использовать термины «модель» и «моделирование» в том широком смысле, как их теперь употребляют. Однако сами члены Пражского лингвистического кружка никогда не претендовали на такую квалификацию. Но нужно заметить, что одна вещь здесь абсолютно очевидна, а именно: никакое структурное исследование, действительно достойное этого имени, не вправе игнорировать функциональный и эволюционный аспекты языка, а также вытекающие из них необходимые последствия (включая,

---

[31] R. Jakobson, Efforts towards a means-ends model of language in interwar continental linguistics [см. русск. перев.: «Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами», сб. «Новое в лингвистике», вып. IV, М., ИЛ, 1965, стр. 372—379].

в частности, и динамическую, не замкнутую природу языковой системы).

И, наконец, заканчивая свой обзор, по необходимости столь схематичный и далеко не полный, мы все же отважимся сказать о том, что, может быть, именно это подчеркивание динамического характера языковой системы вместе с теми последствиями, которые это имеет для методологической стороны исследования, и оказалось тем, как будто бы весьма значительным вкладом, который был внесен Пражской школой в ее современном виде в общий контекст лингвистических исследований, ориентирующихся на структурную теорию, которые теперь столь пышно расцвели во многих странах мира.



Б. Гавранек

ЗАДАЧИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ЕГО КУЛЬТУРА *

Под культурой литературного языка мы понимаем прежде всего сознательную теоретическую обработку литературного языка, то есть усилия и заботы лингвистики, науки о языке, стремящейся к совершенствованию и успешному развитию литературного языка. Работа языковедов в области литературного языка направлена на то, чтобы создавать и стабилизировать нормы этого языка, развивать в нем богатство и разнообразие средств, отвечающих всем потребностям и всем задачам, предъявляемым к литературному языку. Языковедческая работа в этой области может принести огромную пользу особенно тогда, когда она направлена на поддержку элементов, необходимых для выполнения специальных задач, стоящих перед литературным языком, и отличных от задач, выполняемых языком народным; разумеется, работа в этой области не может воспрепятствовать развитию этих элементов или вообще как-нибудь помешать развитию литературного языка. Необходимое условие каждой теоретической работы в области литературного языка должно заключаться в том, чтобы подлинное состояние соответствующего литературного языка было как можно лучше установлено и описано. Кодификация норм

* Bohuslav H a v r á n e k, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, в сб. «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932, стр. 32—84. Текст работы в переводе на русский язык заново просмотрен автором, который внес ряд исправлений и опустил некоторые примеры. — *Прим. ред.*

литературного языка и исчерпывающее описание его средств дают возможность языковедам познать эти средства, а всем прочим использовать их.

Итогом подобной сознательной обработки литературного языка является культивированный язык и языковая культура тех лиц, которые на практике пользуются литературным языком.

I

Но необходима ли литературному языку такая культура, а также его теоретическая обработка? Мы видим, что народный язык обходится без нее и развивается вполне успешно. Народный язык определенного географического или классового целого (местные и социальные диалекты) также имеет свою собственную норму, то есть комплекс грамматических и лексических регулярно употребляемых средств [1] (структурных и неструктурных). То, что и здесь имеет место определенный нормированный, закономерный комплекс, лучше всего выявляется в том, что отклонения от этого комплекса воспринимаются как нечто ненормальное, как отступление от нормы, хотя сохранение этой нормы, этого комплекса вызывает (лишь косвенно, что проявляется, например, в насмешке) выражение недовольства, подобно тому как это наблюдается в правилах поведения (ср. Tilsch, Občanské právo, 1925, стр. 7).

К этой норме, к этому закономерному комплексу языкового целого относится все то, что принимает коллектив, говорящий на этом языке (наречии), то есть то, «что принято языковым единством» (разумеется, у тех, кто на этом языке говорит),

---

[1] В соответствии с прежним лингвистическим пониманием, о норме можно было говорить лишь по отношению к литературному языку, норма которого действительно гораздо более сознательна и более обязательна (см. ниже), так как лингвистика считала «естественный» язык лишь совокупностью актов речи (индивидуальных проявлений). Но если мы теперь в лингвистике проводим различие между языком как коллективной системой условностей (коллективными проявлениями) и актуальным говорением, то есть отдельными конкретными языковыми высказываниями (индивидуальными проявлениями), и таким образом делаем различие между langue и parole, если пользоваться терминологией де Соссюра (а это различие касается любого диалектного целого и функциональных языков; см. «Тезисы Пражского лингвистического кружка», о функциях языка, 1929), то можно говорить о норме, то есть о совокупности употребляемых языковых средств, и у народного языка в отличие от конкретных языковых высказываний, где можно констатировать только то, что имеется. Например, местный диалект имеет свою норму, но в конкретной речи его носителей она проявляется лишь потенциально; в отдельных языковых высказываниях могут встречаться и отклонения, их норма может перекрещиваться с иной нормой и т. п.

как это недавно сформулировал Богумил Трнка [2], или же то, что определяется привычным употреблением (usus). Разумеется, возникающие отклонения от нормы с этой точки зрения не оцениваются, но народный язык в этой оценке для существования своей нормы не нуждается.

Итак, узус определяет норму народного языка, закономерный комплекс его языковых средств: это же относится и к литературному языку, но лишь постольку, поскольку за норму литературного языка принимается все то, что представлено в современном литературном употреблении, то есть в сущности мы имеем здесь дело с теорией «хорошего автора» Эртля [3]. Было бы ошибочным представлять себе норму литературного языка вне действительно существующего литературного языка данной эпохи. Однако и этого недостаточно для определения нормы литературного языка во всем его объеме в какую-либо определенную эпоху. Собственно, нельзя сказать, что только узус определяет норму литературного языка. Признание тех, кто пользуется литературным языком, не является единственным руслом, через которое языковые средства входят в норму литературного языка; само употребление не создавало и не создает норму литературных языков. И, наконец, в литературном языке всегда имеются языковые средства, употребление которых весьма ограничено.

Возникновение и развитие нормы литературного языка, ее характер и структура (в различные эпохи) отличается от возникновения и развития нормы народного языка, от ее характера и структуры. Норма литературного языка создается, возникает и развивается не без помощи теоретического вмешательства, а именно при участии языковой и неязыковой теории; норма литературного языка является более сложным комплексом языковых средств, чем норма народного языка, так как функции литературного языка более развиты и строже разграничены, чем функции языка народного; наконец, норма литературного языка является более осознанной и более обязательной, чем норма народного языка, а требование ее стабильности — более настоятельным. Таким образом, теоретик языка, лингвист, никогда непосредственно

[2] В статье, опубликованной в «Časopis pro moderní filologii», XIII, 1927, стр. 198, и в популярном объяснении языковой правильности в журнале «Nové Čechy», XIV, 1931, стр. 166.

[3] В. Эртль в статье «Dobrý autor» прямо отождествляет свое абстрактное «представление абсолютно хорошего писателя» с литературной нормой. Ср. его посмертно изданные «Časové úvahy o naší mateřštině» («Размышления о нашем родном языке»), 1929, стр. 54. Объяснение того, что мы считаем современной литературной нормой, см. в первой части статьи «Общие принципы культуры языка» [см. наст. сб., стр. 394 и сл.].

не вмешивается в развитие народного языка, так как народный язык является для него лишь предметом познания, но он может вмешаться, вмешивался и продолжает вмешиваться в развитие языка литературного.

1. ОБРАЗОВАНИЕ НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Нормы литературных языков образуются в результате уравновешивания различных тенденций, отчасти противоположных, при сознательном теоретическом вмешательстве, вытекающем, как уже было сказано, не только из языковедческой теории, но и из теорий и усилий неязыковых.

Так, во-первых, литературному языку как носителю и посреднику культуры и цивилизации помогает то, что он имеет самую широкую область употребления (распространение географическое и племенное); к этому приспосабливается и структура литературного языка. Часто в ней побеждают именно те языковые элементы, которые способны к экспансии, то есть к распространению на максимально большой территории, что в отношении славянских языков я уже показал на нескольких примерах в других местах [4]. Вместе с тем литературный язык в этой функции стремится к тому, чтобы отличаться от народного языка, от повседневной речи, с одной стороны, по внутренним языковым причинам (например, ввиду потребности в однозначных словах, о чем будет сказано ниже; ср. стр. 350), а с другой стороны, в результате стремления к классовой исключительности, поскольку в литературном языке проявляются классовые признаки (ср., например, онемечивание господствующих слоев в старое время у нас, употребление до настоящего времени венгерского языка в словацких городах и в свою очередь словацкого языка в восточной Словакии у украинцев и т. д.).

Этим тенденциям противостоит требование понятности (общедоступности), которое ограничивает географическое и племенное распространение языка, употребляемого в качестве литературного, и тормозит развитие его отличий от народных языков, представляющих отдельные географические и племенные объединения.

Следовательно, чем меньшими в количественном отношении и чем более изолированными в классовом отношении оказывались слои населения, пользующиеся литературным языком,

---

[4] См. TCLP, 1, 1929, стр. 112 и сл. (особенно для чешского языка) и TCLP, 4, 1931, стр. 267 и сл. (особенно для польского и русского языков).

тем значительнее могла стать область его распространения и тем сильнее он мог отличаться от языков народных, особенно тогда, когда литературный язык еще не стал атрибутом народного самосознания; ср., например, область распространения средневековой латыни, церковнославянского языка, а позже — французского языка, а также — на востоке — арабского языка и китайской письменности.

И, наоборот, влияние литературного языка (хотя бы в виде пассивного овладения им) на прочие слои населения и национальный характер литературного языка ограничивают масштаб его географического распространения и приближают его к народным языкам.

Борьба этих двух тенденций касается не только литературного языка как целого, но и его отдельных составных частей, например специальной терминологии, все равно, будет ли это старая латинская грамматическая терминология, или итальянские музыкальные термины, или же современная английская спортивная терминология (ср., например, поучительное различие между названиями футбола, созданными в духе чешского языка, и названиями тенниса или даже гольфа, которые передаются английскими словами, что соответствует широкому распространению футбола и ограниченному распространению тенниса и гольфа) и пр., и вообще лексических и фразеологических европеизмов (например, интернациональные выражения на транспорте, в финансовом деле и т. д.).

Здесь противопоставлены друг другу, с одной стороны, форма и содержание интернациональные и исключительные, а для некоторых эпох и традиционные, с другой — стремление к национальной форме и содержанию, связанное с пуризмом, стремление приблизиться к народной речи[5].

Во-вторых, потребности и задачи литературного языка, постоянно возрастающие вследствие его распространения, с одной стороны, и вследствие специализации и функциональной дифференциации — с другой, ведут к преобразованию традиционного литературного узуса. Это происходит или в результате создания новых языковых средств, или же в результате их особого использования (в частности, в связи с интеллектуализацией лексики и грамматической структуры, в связи с новой автоматизацией и актуализацией в языке,

---

[5] Здесь я совершенно оставляю в стороне вопрос о том, как литературный язык влияет на народный (его влияние бесспорно), поскольку не намерен говорить сейчас об образовании народных языков.

а также в связи с возникновением новой специальной терминологии — ср. об этом подробнее ниже).

В то же время требование понятности (общедоступности) принуждает к сохранению традиционной нормы, то есть к сохранению языковых средств, общеизвестных и общепонятных.

Поэтому при высказываниях, адресованных ограниченному числу слушателей или читателей-специалистов, а также произнесенных или написанных вообще, без учета профиля слушателя или читателя, автор легче преобразует традиционную норму, чем при выступлениях, адресованных широким слоям, которые заставляют использовать средства общеизвестные и общепонятные. Подобная разница наблюдается и тогда, когда речь идет или о кодифицирующей формулировке, или о сообщении практического либо поучительного характера.

И снова тогда мы имеем дело с противопоставлением двух тенденций: с одной стороны, с преобразованием существовавшего до сих пор узуса, связанного со специальной исключительностью, с другой — со стремлением сохранить этот узус и традицию, связанную с демократизацией литературного языка.

Эти различные, взаимно противоборствующие тенденции создают и преобразуют норму литературного языка через посредство теоретического вмешательства, которое в различные эпохи и с разной силой проводит в жизнь отдельные тенденции. Уже поэтому норма никогда не может быть окончательной. Например, в эпоху французского классицизма (XVII в.) сознательно поддерживалась классовая исключительность французского литературного языка в связи с тем, что была принята кодификация французского двора (Вожла и Менаж), о развитии которой должна была заботиться Французская академия [6], и в конце концов влияние «Grammaire générale et raisonnée» Пор-Рояля (1676) интеллектуализировало норму литературного языка.

Добровский, который блестяще завершает период нормативной филологии у нас, исходя из ее принципов, сознательно кодифицировал языковую норму старшей классической эпохи, а не современный народный язык, тогда как Вук Караджич по ини-

---

[6] Ср. § 24 устава Академии от 1634 г.: «Главной задачей Академии является выработка точных правил для нашего языка, чтобы придать ему чистоту и выразительность, сделать его способным трактовать вопросы искусства и науки» («capable de traiter les arts et les sciences»), см. Brunot, Histoire de la langue française, III, 1, 35.

циативе Копитара, открывшего в филологии период почитания народных говоров, в основу литературной нормы сербохорватского языка сознательно кладет современный народный язык. Юнгманн и его школа связывали тенденцию к преобразованию литературного языка в национальный с новаторским стремлением к тому, чтобы язык имел достаточное количество специальных средств для выполнения задач, стоящих перед литературным языком.

Но речь может идти также и о вмешательстве, вытекающем из теорий и из стремлений неязыкового характера: так, например, стремление к распространению литературного языка (собственно, стремление к распространению орудия определенной пропаганды) создает или преобразует литературные языки в период Реформации (когда, например, подвергся изменениям чешский язык, когда возникли литературный словенский и оба литературных серболужицких языка), в эпоху Просвещения и в период демократии (когда, например, частично создавался литературный русский язык, а затем образовались литературные языки украинский, белорусский, болгарский и др.) или же, наконец, в период смены общественного строя (когда, например, русская революция оказала значительное влияние на литературный русский язык и на другие литературные восточнославянские языки) [7].

С другой стороны, защита национальных прав, атрибутом которой является общий для всех литературный язык, привела нас в XIX в. к пуризму и заставила заботиться о чистоте литературного языка. Подобное же явление имело место и в Хорватии, где пуризм сильно повлиял на нормы литературного языка в отличие от белградского центра, который оказался более терпимым и не побоялся денационализации [8].

Уже из приведенного очерка главных тенденций развития литературных языков и из нескольких конкретных примеров со всей очевидностью вытекает справедливость нашего утверждения о том, что норму литературного языка не формирует одно только употребление привычных средств (usus): узус

---

[7] См. об этом влиянии в статье Успенского, опубликованной в журнале «Slavia», X, 1931, стр. 252 и сл., и список литературы в этой статье.

[8] Новые интересные сведения приводит Костич в журнале «Srpski književni glasnik», 35, 1932, стр. 40 и сл. Идею национальной защиты и вытекающую из нее тенденцию сопротивления иноязычным языковым элементам еще в меньшей степени обнаружил в своем развитии русский язык, как на это обращает внимание Вейнгарт в статье «O politických a sociálních složkách v starších dějinách jazyků slovanských», см. сборник, посвященный проф. Бидло, 1928, стр. 185.

литературного языка создается, то есть возникает и развивается дальше, благодаря взаимодействию различных тенденций при вмешательстве теоретиков, и этим он отличается от нормы народного языка. Следовательно, языковедческая теория вмешивалась и может вмешиваться в развитие литературного языка.

* * *

Мы уже отмечали, что норма литературного языка отличается от нормы народного языка бо́льшей функциональной и стилистической дифференциацией, бо́льшей осознанностью и обязательностью своих канонов, что связано с требованием бо́льшей стабильности языка.

Имманентным признаком нормы вообще является т р е б о в а н и е с т а б и л ь н о с т и: любая норма (например, норма поведения и т. д.) производит впечатление, будто бы она является постоянной, бессмертной. Для литературного языка подчеркивание требования стабильности, связанное с большей осознанностью и обязательностью норм, определяется функцией: оно вытекает из задачи литературного языка связывать как можно большее целое, из потребности полного и определенного высказывания (особенно письменного), благодаря чему достигается наибольшая понятность и определенность выражения.

Итак, из функции литературного языка вытекает то, что для него благоприятна максимальная стабильность, поскольку она не перекрещивается с другими планами (разумеется, это не связано, что я сразу и отмечаю, ни с застоем языка, ни с его нивелировкой).

Вопрос о стабильности литературного языка является предметом статьи Матезиуса, напечатанной в этом сборнике [см. настоящий сборник, стр. 378 и сл.], поэтому я на нем не задерживаюсь. Я только хочу напомнить, что теоретики языка могут вмешиваться и в процесс стабилизации литературного языка. Так, Йозеф Добровский, а позже и Ян Гебауер внесли заметный вклад в стабилизацию нового литературного чешского языка, узаконив определенную языковую норму. Руководящие принципы теоретического вмешательства в норму литературного языка определены в общих тезисах Пражского лингвистического кружка, присоединенных к этой публикации [см. стр. 394 и сл. наст. сб.].

В статье о стабильности литературного языка В. Матезиус осуждает такое теоретическое вмешательство, которое нарушает стабильность языка независимо от его происхождения,

то есть независимо от того, вытекает ли оно из стремления сохранить «историческую чистоту» языка или из стремления к прямолинейной правильности языка или же идет от незнания подлинного состояния языка.

Однако тут не следует забывать еще об одной опасности: стремление к стабилизации литературного языка, стремление достичь полного единства может привести к его обеднению — к нивелировке, то есть к устранению всех колебаний и всех дублетов, всех грамматических и лексических синонимов. В связи с этим язык может лишиться всех средств своего функционального и стилистического различия, которые необходимы для функциональной дифференциации и стилистической диссимиляции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В народном языке отбор языковых средств в конкретных языковых высказываниях зависит от цели высказывания: он направлен на функцию высказывания. Мы наблюдаем значительные различия в использовании языковых средств в зависимости от того, имеем ли дело с практическим повседневным сообщением или же со случайным рассказом о каком-нибудь событии или о разговоре, со связной передачей воспоминаний или же с беседой сверстников, с разговором детей или же с обращением к пожилым лицам (ср., например, морфологическое различие в употреблении грамматического лица и числа при обращении к лицу); при этом лексические различия, связанные с определенным родом занятий, во внимание не принимаются. Точно так же и в литературном языке отбор языковых средств зависит от цели, которой подчиняется конкретное языковое высказывание. Однако различие между ними состоит в том, что функции литературного языка значительно более развиты и более строго разграничены. В народном языке (разумеется, определенного целого) почти все языковые средства являются общеупотребительными, в то время как в литературном языке всегда имеется достаточное количество средств, которые не являются таковыми.

Я не хочу схематически перечислять различные функции литературного языка, но каждому совершенно ясно, что сферы, охватываемые литературным языком, гораздо более разнообразны, чем области употребления языка народного, поскольку не все понятия можно передать средствами народного языка. Средств народного языка не хватает, например, для серьез-

ного, связного изложения вопросов гносеологии или вопросов высшей математики. В тех же областях, где употребляется народный язык, с большим или меньшим успехом можно употребить и литературный язык. Высказывание в народном языке можно свести к функции коммуникативной, то есть оно относится к области каждодневных сообщений. Из специальных выразительных средств народный язык обладает лишь рядом лексических групп, и, наконец, при случае он может выполнять функцию эстетическую. Область специального практического выражения закреплена почти только за литературным языком, за ним полностью закреплена также область науки; основой поэтического языка также, как правило, является литературная форма языка.

Представители тех слоев населения, которые обычно говорят и пишут на литературном языке, в коммуникативной функции (в сфере влияния народного языка) могут употребить и народный язык, то есть язык общенародный [9], или же местный, или «социальный» диалект, если они ими владеют. Однако в этой функции употребляется также и литературный язык, как правило, в его разговорной форме (разговорный функциональный язык). Эту разговорную форму литературного языка даже у нас нельзя отождествлять с общенародным разговорным языком, хотя она имеет с ним некоторые общие черты и носит местный колорит. Разговорная форма литературного языка еще не стабилизовалась, поэтому она имеет несколько переходных ступеней. На различия между разговорной формой литературного языка и общенародным разговорным языком наглядно указывают разговорные и светские формулы, которые воспринимаются как классовые признаки. Различия между ними и формулами народных (местных и социальных) диалектов являются весьма значительными. Ср., например, формулы приветствия, обращения и т. п. [10]

[9] Под общенародным разговорным языком мы понимаем интердиалект, собственно диалект, объединяющий значительную территорию, на которой вместе с тем существуют местные наречия, например обиходно-разговорный чешский язык (obecná čeština), но, кроме него, зафиксированы также и обиходно-разговорный ганацкий, ляшский и другие интердиалекты. (Ср. «Listy filologické», 51, 1924, стр. 265.)

[10] Нередко возникают недоразумения при взаимном недостаточном знании таких формул. Мы не должны забывать, что как раз общие народные формулы у нас хорошо разработаны. Ср., например, известное добавление к приглашению на храмовый праздник «a ne byste nepřišli», без которого приглашение является только данью вежливости — см. у Голечка роман «Naši», I, изд. 1-е, стр. 123. (Ср. и другой пример, там же, стр. 38.) Напротив, приветствие «pomáhej Pámbůh»— устаревшее приветствие трудового народа — воспринимается как классовый признак, и значение его меняется, если его употребляет представитель другого сословия.

Некоторые могли бы назвать разговорную форму литературного языка социальным диалектом, но с этой точки зрения в качестве социального диалекта будет выступать и весь литературный язык. Выше мы упоминали (на стр. 341) о его классовой исключительности, которая неодинаково проявляется в разные эпохи и у разных народов: упомянутые общие формулы являются мерой его классовой исключительности или, напротив, мерой того, как глубоко он проник в самые широкие слои населения.

Равным образом способы и ситуация высказывания в литературном языке гораздо разнообразнее, чем в народном: народный язык, как правило, ограничивается устными высказываниями, в большинстве случаев частного характера. На долю литературного языка приходятся различные формы устных публичных выступлений, а также письменная форма выражения, хотя не исключается и тот аспект выражения, который свойствен народному языку.

Для выражения функциональных и стилистических различий в языке используются прежде всего лексика и синтаксис; привлекаются также, хотя и в меньшей степени, фонетические и грамматические особенности (варианты фонологической и морфологической систем), если не принимать во внимание очевидные функциональные различия в произношении, которые освещаются в статье Вейнгарта. В области фонетики и морфологии для целей дифференциации используются средства, заимствованные литературным языком из других норм, особенно из нормы общенародного разговорного языка («вульгарный» пласт, который встречается и в лексике) [11]: из области фонетики можно привести такие варианты с функциональными оттенками, как úřad — ouřad, rýpat — rejpat, čichnouti — čuchnout и т. д., или же слова, не имеющие литературной формы, типа ouško, upejpat se и т. д.; сюда относится также функциональное использование такого сочетания фонем, которое является необычным для литературного языка, как, например, č, šť с u, ou (čuměti, šťourati и т. д.) [12]; в морфологии находим такие варианты, как tlucte, a bude vám otevřeno «толците, и отверзется вам» и netlučte tolik «не стучите так!», окончания -i или -u в 1-м

---

[11] Ср. о таком пласте, с точки зрения доисторической, в работе В. Махека «Studie o tvoření výrazů expressivních», 1930.

[12] Ср. в моей статье в TCLP, 4, 1931, стр. 276, и в статье Матезиуса, опубликованной в журнале «Naše řeč», XV, 1931, стр. 38 и сл. Иногда ошибочно полагают, что палатальные звуки сами имели определенные функциональные оттенки (эмоциональные). Подобную точку зрения отрицает Травничек в журн. «Prace filologiczne», XV, 2, 1931, стр. 163 и сл.

лице ед. ч. глаголов, например: kážì «проповедую», češi «причесываю», piji «пью» и kážu, češu, piju и т. д.

Кроме того, используются также морфологические и отчасти синтаксические варианты, которые возникают в самой норме литературного языка (точно так же, как и в норме народного языка) в результате того, что в некоторых случаях в языке одновременно сосуществуют более старые и более молодые пласты. Так, например, в целях функциональной дифференциации вместо винительного падежа можно после глагола с отрицанием использовать родительный или же дублетные формы типа béře — bere и др., где один тип (béře) является очевидным архаизмом или типично книжной формой. Для стилистической диссимиляции, то есть во избежание утомительного повторения одной и той же формы, а также из соображений ритмики можно использовать, например, двоякую форму инфинитива — на -ti и на -t, то есть можно использовать дублетные формы там, где в литературном языке между обоими типами не замечается никакого различия, кроме различия стилистического.

Однако при всех разнообразных средствах функциональной и стилистической дифференциации, преимущественно синтаксических и лексических, важно учитывать не только запас различных слов и грамматических форм, но также и разные способы использования языковых средств или же специальное их приспособление к различным задачам литературного языка.

В качестве основных типов специального использования языковых средств в литературном языке и в его различных функциональных ответвлениях мы можем отметить, с одной стороны, интеллектуализацию, с другой — различную, в зависимости от функции, автоматизацию и актуализацию его языковых средств.

а) Интеллектуализация языковых средств

Под интеллектуализацией литературного языка (которую можно было бы назвать также рационализацией) мы понимаем такую степень развития языка, при которой высказывания становятся более определенными и точными, а в случае надобности — абстрактными и способными выражать всю сложность мыслей и их взаимосвязь; следовательно, под интеллектуализацией понимается усиление интеллектуального аспекта языка. Интеллектуализация получает наивысшее во-

площение в научном языке (теоретическом), который характеризуется стремлением к максимально точному выражению, стремлением к тому, чтобы языковое выражение отражало точность объективного мышления (научного), чтобы слова-термины приближались к логическим понятиям, а предложения — к суждениям [13].

В литературном языке интеллектуализации подвергается лексическая и отчасти грамматическая структура. Я уже объяснял это подробно в докладе «Funkce spisovného jazyka», опубликованном в сборнике I съезда чехословацких преподавателей-филологов, философов и историков («Sborník I. sjezdu československých profesorů filosofů, filologů a historiků»), 1929, стр. 130 и сл., особенно об интеллектуализации лексики в литературном чешском языке, и в статье «Влияние функции литературного языка на фонологическую и грамматическую структуру литературного чешского языка» («Influence de la fonction de la langue littéraire sur la structure phonologique et grammaticale du tchèque littéraire»), опубликованную в «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1, 1929, стр. 106—120. Поэтому в настоящей статье свои объяснения по данному вопросу я только обобщаю и дополняю некоторыми примечаниями.

Со стороны л е к с и ч е с к о й интеллектуализация проявляется не только в пополнении словарного состава новыми словами-терминами, абстрактное значение которых чуждо простому человеку и для которых в народном языке отсутствуют, например, такие выражения, как poznatek «познание», pojem [14] «понятие», představa «представление», jsoucno «субстанция», podmět «подлежащее», přísudek «сказуемое» и т. д., но и в изменениях в структуре словаря, так как в научном, юридическом, административном, торговом языке предметы реальной жизни обозначаются иначе, чем в обычном разговорном:

а) мы испытываем потребность в о д н о з н а ч н ы х словах: поэтому, например, вместо слова zvíře «зверь» с весьма неопределенным значением естествознание вводит слово živočich «животное». Электротехника не удовлетворяется словом lampa «лампа», она нуждается еще в слове svitidlo «светильник»;

б) нам необходимо также специальное различение понятий и терминов, например: příčina «причина», důvod «довод», podnět «повод»; ср. также в юридическом языке: přestupek

[13] О логичности в языке мы можем говорить только в отношении этой функции языка, определяя, в какой степени языковое выражение приспособлено для выражения логического мышления, с оговоркой, о которой я говорю ниже в сн. 16 на стр. 353.

[14] Слова poznatek, pojem, dojem, rozsah и др. впервые ввел в новый чешский литературный язык в 1820 г. Ант. Марек; см. его «Логику».

«нарушение», přečin «проступок», zločin «преступление» (франц. contravention — délit — crime), vlastník «собственник», držitel «владелец» — majitel «хозяин» (dominus — possessor — detentor) и т. д.;

в) мы нуждаемся также в абстрактных обобщающих словах типа plodina «культура», rostlina «растение», vozidlo «средство перевозки», výrobek «изделие; продукт».

Далее, интеллектуализацию литературного языка вызывает также потребность выразить всю взаимосвязь и сложность процесса мышления, особенно суждения и умозаключения. В связи с этим в языке образуются новые слова или же ряд слов приспосабливается к тому, чтобы выражать различные отношения, например существования, возможности, причинной зависимости, законченности, параллелизма и т. д. Ср., например, существительные: účel «цель», záměr «намерение, замысел», výsledek «результат», důsledek «последствие, результат», následek «следствие» и т. д., а также многочисленные глаголы, прилагательные, наречия и предлоги, например: docíliti наряду с dosáhnouti «достичь», odpovídati «отвечать», sestávati «состоять из чего-л.», bezúčelný «бесцельный», bezvýsledný «безрезультатный, безуспешный», bezpodstatný «необоснованный, беспочвенный», následkem «вследствие чего-либо», za účelem «с целью» и т. п. Кроме того, в языке получают распространение или же вновь образуются и специализируются словообразовательные типы, например, для выражения абстрагируемых конкретных действий, переведенных в категорию субстанции или качества. К ним относятся отглагольные существительные (на -ní), причастные конструкции и особенно адъективированное причастие (на -cí), nomina agentis (на -tel и т. д.), прилагательные на -telný и т. д.; вообще литературный язык имеет склонность к номинативным конструкциям, что осуществляется или в результате соединения существительного с определением, или же в результате именной предикации при помощи формальных глаголов.

Тем самым интеллектуализация затрагивает и грамматический строй языка и обнаруживается прежде всего в структуре предложения. Проявляется это в том, что литературный язык отдает преимущество нормализованному предложению, состоящему из двух членов — из подлежащего и сказуемого, имеющих отчетливые формальные различия; таким образом, языкознание, поскольку синтаксис опирался только на литературный язык, видело в этом типе нормальный тип предложения вообще. Стремление к параллелизму между членением грамматическим и логическим помогает, например, распространению пассива в литературном

языке. Наконец, в литературном языке вместо свободно следующих друг за другом предложений, что присуще народному языку, мы находим сомкнутую и цельную структуру простых и сложных предложений с хорошо разработанной иерархией сочинения и подчинения, выражающих различные отношения причинности, финальности, параллелизма и пр. Стремление к параллелизму обнаруживается и в специализации союзов. Так, например, в народном языке придаточные предложения причины присоединяются к главному с помощью многозначных союзов že, dyš (když), тогда как в литературном языке те же самые отношения можно точно передать союзами protože, poněvadž и т. д. [15].

К этому присоединим еще два замечания, важные для языковой практики.

1. Определенность выражений в различных высказываниях в литературном языке многоступенчата: я уже обратил внимание на то, что наибольшее воплощение это находит в научном языке в требовании создания понятий. Если «однозначность», необходимую для научного языка, мы назовем *точностью* (přesnost) и будем отличать ее от более широкого понятия—*определенности* (určitost), то такую ступенчатость мы можем схематически изобразить в следующем порядке: понятность — определенность — точность, суживая таким образом самое широкое понятие. О понятности в разговорном языке может идти речь в том случае, когда определенность обусловлена не только привычным употреблением, но и ситуацией, знанием различных обстоятельств, в связи с чем объективность выражения оказывается в значительной степени ограниченной, даже если мы имеем дело с содержанием самым реальным. Обратите внимание, например, на то, какое большое количество местоимений употребляется в разговоре, или же на следующий повседневный факт: разговор, услышанный человеком, не участвующим в разговоре, зачастую кажется ему непонятным, хотя употребляемые собеседниками языковые средства являются вполне обычными. В рабочем языке (административном, торговом, журналистском и т. д.), без сомнения, должна иметь место определенность выражений, которая обусловлена привычным употреблением или же обычным решением, а объективность выражения, то есть независимость от

[15] Например, можно статистически определить, какие типы сложносочиненных предложений и придаточных предложений встречаются в народном языке. Для знакомства с народным языком ценными являются все данные, относящиеся к сочинению и подчинению в народных записях, которые приводит в своей статье, опубликованной в «Listy filologické» (58, 1931, стр. 28—38), Галлер. Но было бы неправильно делать из этого какие-либо выводы для литературного языка.

конкретной ситуации и от конкретных лиц, здесь должна быть гораздо большей, чем в разговорном языке. (Ср., например, частное письмо с торговым заказом.) И, наконец, научный язык должен отличаться «точностью», которая определена, или кодифицирована, и в соответствии с точностью объективного мышления стремится к объективности общезначимой[16].

Необходимо напомнить, что точное, однозначное или же определяемое привычным употреблением выражение не может быть для каждого ясным и понятным: речь может идти о термине или же о содержании, многим людям незнакомом. Например, точность выражений математического трактата о мнимых величинах нельзя измерять общепонятностью и ясностью, а различие между юридическими терминами majitel «владелец» и vlastník «собственник» вовсе не является неточным и неопределенным, если оно неясно неспециалисту. Может показаться, что я объясняю излишние вещи, но часто выражения «точность», «ясность» и «понятность» употребляются совершенно произвольно.

2. В языковой практике, да и в языковой критике не следует забывать о том, что на интеллектуализацию литературного языка, имеющую различные ступени в зависимости от функции, воздействуют не только существительные, но и другие *части речи*, которые выражают *различные отношения*. Считается общепринятым, что словарный состав литературного языка пополняется за счет соответствующих существительных, таких, например, как účel «цель», podnět «повод, импульс», soustava «система» и др.; потребность в словах для обозначения специальных понятий, равно как и для обозначения новых предметов, слишком очевидна. Часто подвергаются критике другие типы слов, например глаголы, прилагательные, наречия, предлоги, которые выражают различные отношения (иногда они имеют совершенно конкретное содержание) более точно, более тонко и дифференцированно, а в зависимости от потребности — и более абстрактно, причем для выражения таких определенных отношений совершенно недостаточно средств народного языка. Сюда относятся, например, слово odpovídati «отвечать, соответствовать» (из-за параллелизма), отличные по значению глаголы docíliti «достичь, дойти до цели» и dosáhnouti «достичь, добиться», прилагатель-

---

[16] Однако следует проводить различие между точностью выражения (слов-терминов) и точностью понятий мышления; например, точное понятие может быть уже создано, а точное выражение для него — только подыскиваться; можно не признавать точности выражения, но не отрицать вследствие этого точности понятий и т. д.

ные bezúčelný «бесцельный», bezvýsledný «безрезультатный», специализирующее общее название marný «напрасный», употребление существительных в значении новых предлогов типа následkem «вследствие», za účelem «с целью» и т. д. В списке устойчивых, но бесполезных запретов мы находим как раз большее количество глаголов, прилагательных, наречий и предлогов, чем существительных. В соответствии с этой тенденцией литературный чешский язык должен был бы развиваться в направлении увеличения числа существительных, особенно названий предметов, а никоим образом не глаголов и других средств выражения отношений. В действительности же мы обнаруживаем, что чешский язык в результате «стараний» пуристов не располагает достаточным количеством средств для выражения простого существования, а также почти не имеет средств для выражения различных ступеней неопределенности, параллелизма (без оттенка соответствия или причинности) или для выражения возможности (эвентуальности) и т. д.

б) Автоматизация и актуализация

Другие типы специального использования языковых средств в различных функциях литературного языка я назвал бы автоматизацией и актуализацией языковых средств.

Что мы понимаем под названиями «автоматизация» и «актуализация» языковых средств? Начну с примеров, почерпнутых из общих наблюдений над разными языками. Если мы переведем обычное русское приветствие «здравствуйте» на чешский язык словосочетанием bud'te zdráv, то каждый, кто не может разгадать его значения, а знаком лишь с его употреблением, поймет, что такой перевод является неточным. В чешском языке этому приветствию соответствует целая серия различных приветствий. Почему? Обычную форму русского приветствия мы передали на чешский язык формой необычной при поздравлениях, то есть автоматизированное выражение мы заменили на актуализированное, хотя словосочетание bud'te zdráv во многих других случаях (например, в конце письма, при прощании и т. д. употребляется как выражение обычное и автоматизированное).

Приведу пример более популярный. Если кто-нибудь переведет французскую условную формулу s'il vous plait на чешский язык с помощью выражения líbí-li se vám, то перевод этот будет правильным в отношении каждого отдельного слова, но не значения оборота в целом, так как французское выраже-

ние имеет автоматизированное значение, близкое к значению чешского prosím «пожалуйста».

Таким образом, под автоматизацией мы понимаем такое использование языковых средств, изолированных или взаимно связанных между собой, которое является обычным для определенной задачи выражения, то есть такое использование, при котором выражение само по себе не привлекает внимания; с точки зрения формы такое выражение употребляется [говорящим] и воспринимается [слушающим] как нечто условное и стремится быть «понятным» уже как часть языковой системы, а не только как единица, поясняемая в конкретном высказывании контекстом и ситуацией.

Итак, автоматизацией мы называем то, что в узком смысле слова, когда речь идет о словосочетаниях, называют лексикализацией словосочетаний. Термин «автоматизация» я заимствовал из психологии, а именно из психологии Жанета. В общем он соответствует определению ван Гиннекена (см. его книгу «Principes de linguistique psychologique», 1907, стр. 241 и сл.) с той лишь существенной разницей, что автоматизация для нас является не только делом говорящего (автора), но также и слушающего (читателя) и что мы не рассматриваем ее как явление психологическое, то есть как волевой акт, как представлял ее себе ван Гиннекен; мы считаем ее явлением чисто языкового характера. Иными словами, об автоматизации можно говорить только в тех случаях, когда намерение говорящего не расходится с предполагаемым результатом, так как замена намерения и результата, как правило, невозможна (разумеется, если речь идет не о замене среды, которой было адресовано языковое высказывание, и не о различиях временно́го порядка).

Под актуализацией, напротив, мы понимаем такое использование языковых средств, которое привлекает внимание само по себе и воспринимается как необычное, лишенное автоматизма, деавтоматизированное [17], как, например, живая поэтическая метафора (в отличие от лексикализованной, которая уже автоматизирована).

Разговорная практика дает нам хорошие примеры автоматизации и актуализации: все условные разговорные средства являются автоматизированными, но, чтобы оживить разговор, чтобы вызвать удивление, мы должны прибегнуть к актуализированным языковым средствам, то есть к средствам, необычным в обыденной речи или употребленным в нео-

---

[17] Ср. Rozwadowski, «Bulletin de la Société linguistique», 25, 1925, стр. 106, где, однако, термин «деавтоматизация» употребляется в смысле диахроническом.

бычном значении и сочетании (содержание не важно); в зависимости от моды используются также средства поэтического языка или же арготизмы и другие элементы и даже средства научного языка..

В научных статьях автор употребляет, с одной стороны, слова и словосочетания, которые для специалистов в данной области имеют точное, научно определенное, общепризнанное и общеупотребительное значение, так что о нем не нужно и думать, и таким образом вводит уже автоматизированные слова и словосочетания; с другой стороны, он употребляет новые выражения, причем хотя и необычные, но значение которых определил он сам или его школа. Таким образом, автор автоматизирует эти новые выражения для восприятия языка определенного сочинения или направления и т. д., вследствие чего они и становятся вполне понятными. Если же автор перенесет подобные выражения и обороты в высказывание, адресованное неспециалистам, то обороты эти утратят свою прежнюю автоматизацию (мы могли бы назвать ее специальной, профессиональной), и неспециалисты не поймут их, если это будут средства им совершенно чуждые, или же эти средства автоматизируются иначе, так что они могут быть даже актуализированы. Итак, каждый термин, если он употребляется как специальный, имеет автоматизированное значение, но если его перенести в совершенно иную среду, он тотчас же может стать актуализированным и может превратиться даже в бранное слово (ср. употребление слов synfonie, fysiko в качестве ругательств у Голечка, «Naši», I, стр. 32 и сл.).

На подобном переносе автоматизированных слов из одной области в другую, совершенно необычную среду основывается много острот, то есть актуализаций.

В журнале «Naše řeč» (XIV, 1930, стр. 1) я хотел передать общедоступным способом специальную формулировку тезисов Пражского лингвистического кружка: *поэтический язык и язык сообщений отличаются по своей функции*; поэтому я написал: «Поэтический язык совершенно явно отличается от языка, который мы употребляем при объяснениях и сообщениях, то есть от языка сообщений (sdělovací jazyk). Различие между поэтическим языком и языком сообщений состоит не в случайных частностях, на которые обращали внимание предшествующие исследователи; различие состоит в разных задачах, стоящих перед тем и другим языком» (продолжаю: «Задача поэтического языка — обратить внимание на само выражение, чтобы достичь эстетической действенности языка»).

В специальной формулировке, хотя не во всех случаях, можно употребить выражения *поэтический язык*, *язык сообще-*

ний, *функция* как специальные, а потому автоматизированные термины. При популярном изложении, если преследовать цель быть понятным, это совершенно невозможно: словосочетание *поэтический язык* можно еще считать автоматизированным сочетанием с определенным значением и в популярном языке, несмотря на то что ясность его значения как термина была уже определена содержанием предыдущего предложения («поэтический язык, то есть язык, употребляющийся в художественном, литературном творчестве»); *язык сообщений* как технический термин должен стать темой последующего изложения; термин *функция* я вообще не употребляю и передаю его описательно в ущерб точности.

Наконец, при популярной стилизации специалист проводит существенное различие в употреблении слов *язык* и *речь* (различие между langue и parole), несмотря на то что эти термины в указанном значении не являются средством автоматизации [18]; читатель-неспециалист видит в них только проявление стилистической диссимиляции.

В данном случае специальная и точная формулировка короче, чем популярная и общедоступная; можно, однако, найти и противоположные примеры.

Например, чешский экономист Ян Колоушек в своем важнейшем труде «Národní hospodářství», рассматривая вопрос о том, можно ли вообще установить ступени потребления, зависящие от степени его интенсивности, привел доказательства, вытекающие из повседневного опыта, и изложил их следующим образом:

«*Поскольку для утоления голода и жажды не хватает продуктов питания и напитков, потребности в них возрастают в такой степени, что все прочие потребности отступают перед ними*» (изд. 2-е, т. I, стр. 51).

В популярном изложении этот вывод прозвучал бы совершенно иначе, например: «*Когда человек хочет есть и пить и не имеет еды и питья, он заботится только о том, чтобы насытиться и напиться*», или же: «*Когда изголодавшемуся человеку нечего есть и пить...*», или как-нибудь еще, но наверняка не так, как это написано у Колоушка. Большинство наших критиков языка осудили бы формулировку Колоушка и потребовали бы от него, чтобы он выражался «естественней». Приглядимся к его формулировке внимательней и разберем, в чем

[18] Для parole в значении терминологии де Соссюра употребляется в этой статье (ср. сн. 1 на стр. 339) выражение jazykový projev «языковое высказывание», иногда также aktuální mluvení «актуальное говорение», а раньше и promluva «высказывание». Ф. Оберпфальцер в работе «Jazykozpyt» (1932, стр. 9) вводит термин mluva «речь» в том же значении.

заключается ее «неестественность», или — более объективно — в чем заключается различие между подобным и популярным изложением. Его формулировка короче, хорошо передает суть дела и достаточно определенна. Приведем еще контекст из цитируемого места работы Колоушка. В ней мы читаем: «Постепенное удовлетворение привычными средствами утоления голода и жажды уменьшает степень их интенсивности. Это можно наглядно показать на примере потребностей наиболее интенсивных, от удовлетворения которых зависит в отдельных случаях само бытие человека. Поскольку для утоления голода и жажды...»

Повседневный опыт заключен здесь в рамки абстрактного изложения, но конкретизирован самыми необходимыми словами: словосочетание «**наиболее интенсивные потребности**» конкретизировано словами *голод* и *жажда*, а **средства удовлетворения** — словами *продукты питания* и *напитки*; эти слова добавлены вместо соответствующих абстрактных специальных терминов, и в результате такой замены без каких бы то ни было дальнейших изменений мы получим следующую абстрактную формулировку:

«Поскольку для утоления {*наиболее интенсивных потребностей—голода и жажды*} *не хватает* {*средств удовлетворения—продуктов питания и напитков*} *эти потребности возрастают так, что все прочие потребности отступают перед ними».*

Формулировка Колоушка содержит обычные слова, которые употребляются и в разговорном языке (*утоление*, *потребности*), но здесь они даны как специальные термины и употреблены в особом сочетании; в данном случае мы имеем дело с автоматизацией языковых средств соответствующего специального языка; слова, конкретизирующие факты, например *голод* и др., не приведены в автоматизированных сочетаниях разговорного языка, а, наоборот, включены в состав специальных автоматизированных средств (*утоление голода*); вообще повседневный опыт преподнесен здесь с таким расчетом, чтобы полностью сохранить стилистическую схему специального языка (его синтактико-лексический план). Чтобы не нарушить эту схему, автор не должен вводить автоматизированные средства разговорного языка; в этом и заключается «неестественность» его формулировок. Таким образом, мы приходим к заключению, что различие это является функциональным.

Напротив, в приведенных формулировках популярного изложения используются автоматизированные языковые средства разговорного языка; таковы привычное сочетание mít hlad a žízeň «хотеть есть и пить», временные сочетания (вводимые союзом když «когда»), свидетельствующие о непринужденной форме рассказа (в отличие от вышеприведенных условных сочетаний с временным ограничением, которое создается вследствие употребления союза pokud «поскольку»), и, наконец, формы хотя и неопределенные, но индивидуализирующие этот повседневный опыт (*человек*).

Но и эта формулировка могла бы быть изменена, если бы вместо спокойного, популярного изложения или простой констатации фактов мы имели бы дело с высказыванием эмоциональным, предназначенным для того, чтобы этот повседневный опыт вызвал сочувствие к страдающим (например: *ваши братья*...) или побудил бы к действию (например: «*вам нечего есть*...; *ваши дети голодают*...», в некоторых случаях со стилистическим контрастом); тогда нам пришлось бы отметить совершенно конкретную, особую индивидуализацию, при которой имела бы место автоматизация языковых средств только разговорного языка, хотя бы в форме обиходно-разговорной речи или местного диалекта, дополненная еще подходящей языковой актуализацией.

Подобных примеров можно привести множество *.

Итак, мы можем заключить, что в сущности при одной и той же теме (при одном и том же тематическом плане) языковая форма выражения (план грамматико-семантический) меняется в зависимости от задач данного высказывания и что существенная часть этих различий падает на долю различного рода автоматизированных средств языка: научная тема в популярном изложении (в газетном и т. д.) должна освободиться от специальных автоматизированных средств и передаваться хотя бы отчасти с помощью автоматизированных слов обиходного языка; тема же повседневной действительности в научном изложении вместо автоматизированных средств разговорного языка, которые используются обычно при популярном изложении, приобретает соответствующие автоматизированные средства специального языка. Однако и в специальном изложении возможно употребление автоматизированных слов из разговорного языка. Так, например, Колоушек, развертывая далее содержание своего примера, говорит о *голодающем* человеке и т. д., но делает это с целью стилистической диссимиляции (речь в сущности идет об актуализации стиля) и чаще всего в изложе-

---

* Дальнейшие примеры опускаются. — *Прим. ред.*

нии популярном, а не в строго научном; в такого рода изложении это может преследовать и педагогическую цель. В последнем случае «иными словами», разными автоматическими языковыми средствами мы стараемся подчеркнуть одну и ту же мысль. Например, в указанной статье наряду со специальной терминологией определенного направления, то есть наряду со специальными автоматическими средствами (которые я часто отмечаю кавычками), я употребляю автоматические средства и термины общедоступные.

Напротив, автоматические языковые средства научного или же только делового специального языка, употребленные в разговорном языке (а не в специальном разговоре или дискуссии), превращаются в средства актуализации (например, когда Восковец и Верих в своем диалоге на корабле в комедии «Север против юга» употребляют вместо слова *колено* слово *коленное яблоко*).

Максимальную, целенаправленную актуализацию языковых средств мы наблюдаем в поэтическом языке и в языке эссе, который со специальным языком связывает то, что в нем средства специального или же разговорного языка выбираются и соединяются так, чтобы стать актуализированными; таким образом, эссеистический язык нацелен на актуализацию соответствующего содержания — разумеется, на актуализацию такого типа, какая имеет место в поэтическом языке, тогда как научный язык нацелен на точное выражение содержания, деловой — на точные и определенные выражения, а разговорный — на доступные сообщения. Остановлюсь на одном примере, взятом у классика чешского эссе Шальды (этой особенности, встречающейся и в поэтическом языке, посвящена также статья Мукаржовского):

«Я написал три разных слова, которые читатели газеты, академия и салоны употребляют как попало, случайно, безразлично, взаимно заменяя их. А это ведь не только три слова, но и три понятия, три суждения, три идеи, которые нелегко определить и раскромсать тупым ножом, но которые вероятно, можно описать широкими световыми кругами осветить маяками душ и гениев, воздвигнутых в них, как на водоразделе морей». «Писатель — это звук, имя, титул, звание. То, чем интересуются статистика, полиция, газеты, литература,— это бумага, перо, чернила, правила, ошибки, совершенство, средняя величина и мера».

В этом единственном примере, взятом у Шальды из «Boje o zítřek» («Борьба за завтрашний день») из эссе «Spisovatel, umělec, básník» (стр. 29), мы находим случай семантической и грамматической актуализации: со стороны семантической мы

наблюдаем актуализацию отдельных слов и их расположение (грамматическая фигура: *читатели*, *газеты*...; усиления: *как попало*, *случайно*, *безразлично*, *взаимно заменяя*; параллелизмы: *три понятия*, *три суждения*, *три идеи*), их соединения в метафоры, например: *раскромсать* (*слово*) *грубым ножом* и т. д. Со стороны же грамматической актуализация синтаксической структуры выражается в бессоюзных сочетаниях, в перечислении номинативов вне всяких синтаксических конструкций (*бумага*, *перо*, *чернила*...) и т. д.

Я хотел бы обратить внимание только на то, что в настоящее время некоторые средства актуализации той эпохи, когда была написана «Борьба за завтрашний день» Шальды, совсем износились и звучат для нас уже как клише (то есть автоматизированные слова).

* * *

Из этого краткого и довольно простого сопоставления различных функциональных языков и стилей мы можем заключить, что каждый из них имеет свои собственные языковые средства и способы их использования. Из этого вытекает, что невозможно и неправильно принимать какой-либо функциональный язык или функциональный стиль за критерий для оценки других языков и стилей. Профессор, использующий научный язык в повседневном разговоре, кажется смешным; даже деловой язык и различные стили письменного языка нельзя переносить в простой разговор [19]. Точно так же неправильно рекомендовать так называемый «естественный» способ выражения другим языкам и стилям: в этом случае им навязываются средства автоматизации разговорного языка, языка только одной функции. Поэтический язык может использовать их для своих целей самым различным образом (см. статью Мукаржовского), но он не может ограничиться только этими средствами. Специальный (деловой и научный) язык может пользоваться ими лишь в ограниченной степени. Нельзя не признать значения, которое для французского литературного языка имела его разговорная основа, узус, употребляемый двором и обществом XVII и XVIII вв., но нельзя также забывать и о том, что́ было предметом разговоров для этого общества, на норму которого опирался Вожла в своих «Remarques» (литература, философия), а что́ является предметом разговора

[19] Ср. известное изречение Вандриеса: «Un homme qui parle comme il écrit nous fait l'effet d'un être artificiel, anormal» («Le langage», 1921, стр. 326).

того общества, которое было рекомендовано в качестве защитника нормы чешского языка (базарные торговки и т. д.; см. «Naše řeč», I, 1917, стр. 266). Насколько это направление держится на романтической идеализации народа, разумеется «неиспорченного», лучше всего видно из того, что наряду с постоянной рекомендацией разговорной народной формы часто слышатся нарекания на наличие арготизмов в языке студентов и в языке молодежи, несмотря на удачное ироническое примечание Эртля в журн. «Наша речь» (VIII, 1924, стр. 61) о том, что молодежь будет говорить и делать по-своему до тех пор, «пока не начнут рождаться дети по крайней мере сорокалетние».

Разговорный язык не может служить критерием правильности для других функциональных языков, он не может быть и вспомогательным средством при определении «подозрительных» нововведений литературного языка, как это утверждает, например, Галлер [20].

Точно так же, как нельзя навязывать средства автоматизации разговорного языка другим функциональным языкам и стилям, нельзя вообще требовать от литературного языка о п р е д е л е н н о с т и или т о ч н о с т и и в зависимости от этого, как это иногда делается, определять ценность его языковых выражений. Хотя мы показали, что определенность и точность как проявление средств интеллектуализации литературного языка является отличительной особенностью определенных его функций, мы не должны забывать о том, что н е т о ч н о с т ь и н е о п р е д е л е н н о с т ь также могут быть функционально обусловлены. Например, такое явление можно наблюдать иногда в торговом, юридическом, политическом, дипломатическом языках, где речь не состоит и не может состоять из «да» и «нет». Там хотят, а иногда и должны говорить так, чтобы произносимое ни к чему не обязывало (ср. известный оборот «мы сделаем все, что будет возможно»). Так, в я з ы к е т о р г о в о й к о р р е с п о н д е н ц и и наряду с определенными выражениями, необходимыми для выполнения торговых операций, нужны также выражения вполне нейтральные, которые могут быть употреблены в различных ситуациях и при различных обстоятельствах, если мы имеем дело с корреспонденцией массовой и «неиндивидуализированной». Поэтому подобные выражения нужно оценивать с точки зрения выполняемой ими специальной функции, а не упрекать огульно их авторов за употребление «оборотов постных и несоленых, которые выражают мысль лишь в общих чертах, так что пишу-

[20] Ср. его «Problém jazykové správnosti», «Zpráva ref. reáln. gymnasia», Ústí nad Labem, 1930—1931, стр. 10, 11, 15.

щий уклоняется от необходимости размышлять и вникать в суть предмета или искать для него точные выражения» («Naše řeč», XIV, 1930, стр. 191, из статьи Галлера о торговом языке). Но ведь и машинистка не имеет возможности размышлять, так как в противном случае она не выполнит своей работы; «уточнить суть предмета» она также не в состоянии, поскольку часто сама хорошо не знает, о чем идет речь, и поэтому ее исправления могут придать работе совсем другой смысл. В этом заключается не только причина, как предполагает Галлер, говоря о выражениях «постных и несоленых», но и цель подобных формулировок. Нейтральные выражения и точные шаблоны для выполнения торговых операций, а также термины, обозначающие предметы торговли, составляют средства автоматизации; мало какой языковой стиль обладает такими средствами автоматизации, как торговый язык, тем не менее и в нем иногда имеет место актуализация, например в рекламе. Таким образом, и торговый язык не может избежать «бросающихся в глаза нововведений и непривычных слов», употребления которых нужно избегать, как советует вышеупомянутая статья в журнале «Наша речь» (см. стр. 195).

Точно так же испытывает нужду в определенном запасе различных формул (фраз) и язык журналистики, но о нем мы будем говорить в другой связи (см. стр. 372—373).

Языковое высказывание можно оценивать исключительно в свете его адекватности цели, в зависимости от того, насколько эффективно оно выполняет определенную задачу.

К этим двум практическим замечаниям, вытекающим из положения о функциональных различиях в языке, я присоединяю еще третье; оно состоит в следующем: нельзя оценивать изолированные слова вне связи с их функциональным использованием и в отрыве от автоматизированных сочетаний; нельзя также автоматизированное значение в одном сочетании и в одной функции считать единственно возможным значением слова. Сделанное замечание не является ни излишним, ни неуместным. Это показала дискуссия, начавшаяся после лекции проф. Матезиуса (11/I 1932 г.). На этой дискуссии д-р Галлер пытался доказать неправильное употребление слова případný «возможный» в сочетании případné změny a doplňky programu «возможные изменения и дополнения программы». Для этой цели он привлек следующий аргумент: он будто бы не понимал словосочетания případně změny «возможные изменения», то есть воспринимал его как vhodné změny «подходящие изменения», поскольку в этом значении употребляется případná odpověď' «подходящий ответ», что, однако, казалось ему лишен-

ным смысла. Если д-р Галлер действительно не понял этого словосочетания, то он представляет исключение, так как средний чех, который пишет и читает на литературном языке, одинаково хорошо понимает в разговоре выражение dal mu případnou odpověď (то есть vhodnou) «дал ему подходящий [соответствующий] ответ», так же как и выражение případné změny programu (то есть eventuální) «предполагаемые изменения программы»; понял бы он в официальном решении и такое место: případnou odpověď zašlete do čtrnácti dnů «соответствующий ответ пошлите до истечения четырнадцати дней» и т. д. Употребление этого прилагательного в обоих значениях свойственно современной норме литературного языка; подобных ситуаций в каждом языке сотни, но это совершенно не мешает их пониманию. В таком случае мы имеем дело со словом или, лучше сказать, с двумя словами с различной функциональной нагрузкой и с различными средствами автоматизации. Слово případný в значении vhodný является принадлежностью разговорного языка, а в значении eventuální «возможный»— специальным средством литературного языка в нескольких его функциях (в административном, в юридическом и в научном языках). Оно употребляется для выражения отношения обусловленной возможности, которое передается интернациональным словом eventuální. В «Правилах чешского правописания» (в изданиях с 1913 г. до настоящего времени) слово eventuální переведено словом případný; редакторам «Правил» оно не казалось таким плохим, и тем не менее несколько раз, хотя и не так решительно, как наречие případně, оно подвергалось критике в журнале «Наша речь». Если же грамотный чех по совету этого журнала (III, 306) избежит употребления слова eventuální и в соответствии с «Правилами» употребит вместо него слово případný, то журнал снова обвинит его в незнании литературного языка, а ответственный редактор журнала даже не поймет его.

Больше того, даже с точки зрения исторической нельзя проклинать слово případný. Это слово было обычным в период гуманизма и даже в более ранние времена.

Я несколько задержался на этом единственном примере, так как хотел более подробно объяснить и показать — раз уже этот пример нынешний редактор журнала «Наша речь» вынес в качестве документа на специальную дискуссию,— насколько слабы и ненаучны основы нашей шлифовки языка и как привычное употребление оказывается лучшей и надежнейшей опорой для литературного языка по сравнению со всякими запретами и нападками на него.

Заключая раздел о функциональных различиях литературного языка, постараюсь представить схематический обзор

этих различий. Наш обзор не претендует на классификацию всех функций языка, он является лишь схематическим перечнем главным образом тех различий, о которых шла речь выше, то есть различий, наиболее важных для задач литературного языка. Поэтому в нем не представлено важнейшего и основного различия между эмоциональной и интеллектуальной сторонами языкового высказывания, не содержатся в нем различия также и между высказанным выражением и невысказанным. Ср. хотя бы тезисы о функциях языка, предложенные Пражским лингвистическим кружком I съезду славистов в Праге в 1929 г. (Секция II, тезис № 3, на французском языке в «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1, 1929, стр. 14 и сл.)

Функции литературного языка		Функциональные языки
1) коммуникативная	язык сообщений	1) разговорный
2) практически специальная		2) деловой
3) теоретически специальная		3) научный
4) эстетическая		4) поэтический

к 1) семантический план — единый
отношение лексических единиц к выражаемому
свободное высказывание
неполное высказывание
понятность, обусловленная ситуацией и автоматизацией средств разговорного языка

к 2) семантический план — единый
отношение лексических единиц к выражаемому определено привычным употреблением (слово-термин)
высказывание — относительно полное
определенность, предопределенная автоматизацией профессионально-обычных языковых средств (термины и формулы)

к 3) семантический план — единый
отношение лексических единиц к выражаемому
точное (слово-понятие)
высказывание полное
точность, обусловленная автоматизациями определенными или кодифицированными

к 4) семантический план — сложный (многообразный)
отношение лексических единиц к выражаемому, полнота и ясность выражения определены структурой поэтического произведения и обусловлены актуализациями его поэтических средств

Функциональные стили литературного языка

А. В зависимости от конкретной цели высказывания:
1) практическое сообщение,
2) вызов (призыв), убеждение,
3) общее изложение (популярное),
4) специальное изложение (объяснения, доказательства),
5) кодифицирующие формулы.

Б. В зависимости от способа выражения:
интимное — публичное,
устное — письменное;
устное: 1) интимное: (монолог) — диалог,
2) публичное: речь — дискуссия;
письменное: 1) интимное,
2) публичное: а) объявление, афиша,
б) газетное выступление,
в) книжное.

Примечания к схеме.

1. Я отнес поэтический язык с эстетической функцией к 4-му типу функционального языка только потому, что нужно было перечислить функции. Между 1-м, 2-м и 3-м типами указанных функциональных языков, обладающих функцией сообщения, и поэтическим языком, который нацелен не только на сообщение, отмечается существенное различие. Из этих же соображений я включил в разряд функциональных стилей литературного языка тип вызов (призыв) и убеждение, хотя этот тип значительно отличается от всех остальных типов. Перечень по способу выражения вряд ли может быть полным.

2. Различие между функциональным языком и функциональным стилем заключается в следующем: функциональный стиль определяется конкретной целью того или иного высказывания и представляет собой функцию высказывания, то есть «речи» (parole), в то время как функциональный язык определяется общими задачами нормативного комплекса языковых средств и является функцией языка (langue).

При языковом высказывании мы сталкиваемся, следовательно, с функциональными языками в различных типах функциональных стилей.

3. Полнота высказывания определяется в зависимости от полноты или неполноты языкового аспекта выражения с учетом того, чтó должно быть выражено тем или иным высказыванием (в зависимости от отношения грамматико-семантического плана к плану тематическому).

В разговорном языке постепенное развитие темы прерывается пробелами, которые восполняются неязыковыми средствами, взятыми из неязыковой ситуации. В научном и деловом языке языковой аспект высказывания (плана грамматико-семантического) выражен средствами только языковыми. Научный язык, особенно если речь идет о кодифицирующих формулировках, стремится к максимальному параллелизму между языковым выражением и постепенным развитием темы. В деловом языке этот параллелизм часто бывает сознательно нарушен. Так, например, движение языкового высказывания в связи с развитием темы часто задерживается путем повторения сказанного в «иных формулировках», с другой стороны, иногда в нем умышленно делаются пропуски, которые должен заполнить читатель или слушатель, и таким образом выраженной оказывается только какая-то часть развития всей темы (обычно ее вершина); при этом здесь не участвуют неязыковые ситуации.

Наивная точка зрения часто вместо тематического плана представляет действительность (факты). Это неправильное упрощение: план тематический нельзя отождествлять с неязыковой действительностью, ибо взаимоотношения их могут не совпадать.

II

Уже в начале настоящей статьи я обратил внимание на то, что теоретики языка — лингвисты — могут вмешиваться в формирование нормы литературного языка, могут способствовать стабилизации его нормы. Каково влияние лингвиста на функциональную дифференциацию литературного языка и на формирование его функциональных отличий? Может ли лингвист вмешиваться в развитие языка, может ли он помогать развитию тех элементов языка, которые отличают литературный язык от народного, и тех элементов, благодаря которым различаются разные функции языка и осуществляются его функциональные и стилистические потребности? Да, может.

Лингвистическая практика прежде всего может оказывать помощь развитию тех компонентов, которые отличают литературный язык от языка народного. Эта помощь выражается в том, что лингвист помогает создавать специальную терминологию. Он может помочь и в разработке вопросов функционального и стилистического использования языковых средств. Наконец, его помощь осуществляется и в процессе критики конкретных языковых выражений с точки зрения функциональной. Само собой разумеется, что условием участия теоретика-лингвиста

в такой работе является совершенное знание соответствующего литературного языка, в данном конкретном случае — литературного чешского языка и всех его функций.

1

Лингвистов часто привлекают к созданию терминологии для различных специальностей, и следует признать, что и раньше, в XIX в., и теперь, после 1918 г., ими была проделана значительная работа.

Важно также напомнить, что в задачу теоретика входит не только забота о том, чтобы новый термин или новое его использование соответствовало лексической структуре чешского языка, но также и забота о целесообразности отдельных выражений и способов фиксации новых названий, о возможностях их функциональной нагрузки.

Поэтому необходимо принимать во внимание, что профессиональным терминам вредит тесная связь со словами разговорного языка, так как благодаря этому увеличивается многозначность слов. Профессиональный язык защищается от многозначности введением слов-терминов, и таким образом возникает нежелательная эмоциональная окраска подобных названий.

На первый взгляд может показаться, что на основании этого мы вправе отбросить слово případný в значении eventuální, однако указанное слово не является термином, то есть словом автоматизированным как изолированная единица, а выступает как слово, «выражающее отношения»; подобные слова являются автоматизированными в сочетаниях, хотя бы и потенциальных, так что зафиксировать их смысловые различия в различных функциях и автоматизациях гораздо труднее (ср. насколько легче перечислить значения «вещественного» существительного, чем значения глагола, даже в какой-то мере формального). Далее, что касается терминов, то нельзя с успехом заменять слова со специальными функциями словами с бо́льшей функциональной нагрузкой, как в предлагаемом примере: možný «возможный» вместо případný; наконец, теоретик вообще не имеет права устранять из языка то, что уже давно является для него привычным; этот принцип касается только терминов, да и то вновь образуемых или вводимых.

В соответствии с этим принципом язык терминов даже там, где он мог бы удовлетвориться адаптацией обычного, употребительного слова, использует часто слова вновь образованные (например, živočich «животное» вместо zvíře «зверь»), или же

отличающиеся своей деривацией (например, ohnisko «центральный очаг» от ohniště «очаг»), или наконец, иностранные слова.

Слова разговорного языка нельзя привлекать в тех случаях, когда термин должен отразить смысловую специфику. Например, стало очевидным, что новый финансовый термин proplatiti směnku «оплатить вексель» нельзя заменить словом zaplatiti или vyplatiti, как этого требовал в свое время журнал «Naše řeč» (XIV, стр. 23; XV, стр. 157).

С другой стороны, слова разговорного языка без помехи употребляются в переносном смысле. Ср., например, такие слова, как *коза*, *баран*, *глаз*, *барабан*, *зуб*, когда они обозначают предметы технологической терминологии. Эмоциональная окраска этих слов еще более способствует их быстрому и легкому распространению. Это связано, однако, с тем, что подобные слова чаще употребляются в разговоре, где сама ситуация делает их понятными. Если речь идет о точном специальном выражении, такие (неясные из ситуации и контекста) слова следует дополнять, например: elektrický proud «электрический ток» (буквально — течение).

Из сказанного вытекает, что для образования специальных терминов бывает трудно и нецелесообразно использовать слова разговорного языка; лучше всего создавать новые термины из слов и словообразовательных типов, более далеких разговорному языку, или же пользоваться средствами чужих языков, конечно, если это не касается названий конкретных предметов в промышленности, в ремесле и т. д. Здесь следует помнить о двух вещах: 1) о возможности образовывать производные слова от нового названия и 2) о том, что речь идет о приспособлении слова к определенному значению, причем это слово с точки зрения смысла не должно иметь никакого отношения к обозначаемой вещи, представлению или понятию.

Интересно, что в общем в языках легче образовать нужное слово как производное от иностранного термина, чем от своего искусственного термина (ср. об этом W ü s t e r, Internationale Sprachnormung in der Technik, стр. 272 и сл.). Журнал «Наша речь» обратил также внимание на преимущество гибридного слова nadace по сравнению с собственно чешским словом nadání. Преимущество заключается в том, что от nadace можно образовать прилагательное nadační (см. X, 1926, 236).

Определенное значение специального термина, даже самое точное (ср. здесь, стр. 351 и сл.) не должно быть обусловлено логической дефиницией; оно часто бывает только кодифицировано (узаконено). Например, уже отмеченное различие в юридическом языке между словами přestupek «нарушение»— přečin

«проступок»— zločin «преступление» (см. стр. 350—351) определить нельзя; во французском уголовном кодексе оно было кодифицировано терминами contravention — délit — crime (Code pénal, § 1), откуда оно и было заимствовано некоторыми немецкими кодексами, а в 1853 — австрийскими, где для этого были приспособлены названия Übertretung — Vergehen — Verbrechen; в чешском языке см. приведенные выше названия.

В заключение добавим к сказанному еще два практических замечания:

1. Мы не имеем права к другим, более далеким для нас специальностям подходить с той же меркой, что и к своей — лингвистике. В грамматической терминологии пуристам до сих пор не мешали ни чужие названия, ни зависимость от иностранных образцов. Например, никто не пытался запретить ни такие очевидные кальки, как casus — Fall — pád, subjekt — podmět, objekt — předmět и т. д., Umlaut — přehláska, Mitlaut — souhláska, Selbstlaut — samohláska и т. д., ни употребление таких слов, как ablaut, ablautový (несогласие с терминологией, которое у нас имеет место, является несогласием ученых более старого направления с терминологией направления более молодого).

2. Санкцию на существование специальным словам, особенно в практическом языке, дает привычное употребление. Вжившиеся слова независимо от способа их образования (неправильно образованные или же испорченные, как, например, bavlna «хлопок» из Baumwolle, rula «гнейс» из žula) имеют право на существование в языке.

2

Далее, лингвистика может помочь в разработке функциональной нагрузки языковых средств и в расширении стилистических возможностей литературного языка.

Это может быть достигнуто в результате систематического и подробного установления специальных языковых средств и способов их применения в различных функциях языка и функциональных стилях, и даже у отдельных авторов, школ и направлений. В ходе такой работы, с одной стороны, будут составлены словари и пособия по стилистике для различных функций языка и функциональных стилей, которые наряду с теоретическим значением будут иметь и большое практическое значение, а с другой стороны, наука о языке на основании подобных разборов сможет легко

и успешно определять возможности функциональных различий, возможности использования языковых средств и уделять должное внимание развитию языковых тенденций.

Что касается первого пункта, то, вероятно, было бы очень полезным для нужд философского языка разработать философскую терминологию чешских гегельянцев, гербартовцев, позитивистов и др. Но такой анализ первых ростков данной специальной терминологии того времени, когда язык еще бродил в потемках (в данном случае разбор языка Штитного или терминологии Марека) важен лишь для истории языка. Для языковой же практики намного полезнее был бы анализ языка той поры, когда он был уже более культивирован, то есть того языка, который был унаследован современностью или который оставил в ней значительные следы.

Необходимо обратить внимание на специальные потребности отдельных функциональных языков и проследить в соответствующих языках тенденции, которые способствуют их развитию. Например, развитию научной терминологии весьма способствуют международные связи. Забота о ней в среде людей, использующих термины, особенно в области техники, проявляется во многих странах (ср. об этом поучительную публикацию Вюстера «Internationale Sprachnormung in der Technik», 1931, которая весьма подробно освещает вопросы специальной терминологии, хотя с ее выводами о необходимости создания искусственного международного языка я не согласен).

Эти международные связи основываются не только на общих международных терминах, таких, например, как *атом*, *мотор* (интернациональность некоторых греко-латинских слов только кажущаяся), но и на стремлении сохранить семантическую координацию специальных названий, какую мы наблюдаем, например, у слова zub «зуб»; это слово, переведенное на иностранный язык соответствующим словом, означает в технике то же понятие, что и у нас: ср. нем. Zahn, франц. dent, англ. tooth, польск. ząb и русск. «зуб».

Координация не нарушается даже тогда, когда в некоторых языках интернациональный термин переводится. Так, например, в чешском языке в науке об электричестве в соответствии с интернациональными терминами «позитивный»—«негативный», сохранившимися в немецком, английском и французском языках, употребляются и собственно чешские эквиваленты kladný и záporný; слово *мотор* переводится в немецком языке словом Triebmaschine, в польском silnik, а в русском «двигатель». Эта координация нарушается только со стороны формальной, так как национальные эквиваленты не представляют параллельно-

го способа образования или значения его отдельных частей; приведем примеры: чешское слово stejnosměrný proud, что значит «постоянный ток», выглядит в немецком как Gleichstrom, в английском как direct current, во французском — courant continu, а в польском — prąd stały, но значение всех этих слов одинаковое. Терминологические затруднения возникают только тогда, когда значение специальных терминов в разных языках не совпадает, например, не совпадает значение чешского krájeti «кроить, резать» и немецкого schneiden «резать» или, например, английский термин steel, французский acier соответствовал двум названиям в немецком языке — Stahl и Schneideeisen — и двум словам в чешском языке — ocel и kujné železo «ковкое железо» и т. д.[21]

В электротехнической терминологии польское слово opornik и отчасти немецкое Widerstand обозначают и весь прибор — реостат — и его часть, которая во французском языке называется résistance, а в английском — resistor. В связи с этим подготовленный электротехнический чешский словарь [22] предлагает различать в чешском языке два слова: odpor и reostat, или odporník. Ср. большое количество примеров из технической терминологии в указанном сочинении Вюстера.

Сюда же можно было бы отнести и примечания о целесообразности существования шаблонов и нейтральных формул в торговом и административном языке, о которых мы говорили выше; отсюда вытекает необходимость заниматься терминологией этих языков с точки зрения их задач и нужд, а не в связи с условностями разговорного языка.

Наконец, было бы весьма поучительно и одновременно полезно исследовать функциональные средства журналистского стиля. С одной стороны, нужно было бы обратить внимание на специальные его потребности, например на необходимость синтаксических готовых схем, на требование облегчения чтения, на соединение языковых средств со средствами типографскими и т. д.; с другой стороны, следует фиксировать те способы, которые больше всего подходят для данного языка. Жгучей проблеме журналистского стиля, в котором перекрещиваются различные функции языковых высказываний и разные формы этого стиля, уделяют значительное внимание и лин-

---

[21] Поэтому немецкий комитет по нормализации терминологии в 1924 г. расширил значение слова Stahl в технике, так что оно стало означать и kujné železo.

[22] Из этого словаря, подготовленного Электротехническим чешским союзом, взяты указанные выше примеры электротехнической терминологии.

гвисты других стран [23]. У нас до сих пор лишь Галлер делал ворчливые замечания по поводу вредных примеров. В журнале «Наша речь» (XIV, 1931, стр. 56) он писал: «Малосодержательный, внутренне пустой, разбухший язык чешской журналистики, где чувствуется отсутствие сосредоточенной мысли и небрежность в логическом построении представлений, приводит к таким расплывчатым со стороны содержания словам, которые могут означать все на свете, но в действительности не означают ничего». Подобные огульные оценки журнал «Наша речь» приводил постоянно.

Благодаря изучению функционально используемых языковых средств теоретик языка способен обратить внимание на тенденции развития различных оттенков языковых средств и способов их использования и рекомендовать их к употреблению. Однако только рекомендовать. Он не должен требовать их употребления или навязывать их языковым высказываниям, имеющим другие задачи. Так, Эртль в специальном разборе обратил внимание на возможные различия между именами прилагательными různý, rozdílný, rozličný и rozmanitý (см. «Naše řeč», XI, 1927, стр. 145 и сл. и стр. 169), но поскольку узус литературного языка сам по себе неустойчив, то Эртль совершенно правильно замечает, что «о ч е н ь т р у д н о п р е д п и с ы в а т ь, чтобы данные различия строго соблюдались. Само собой разумеется, что язык от этого только выиграет. Таким образом, можно лишь посоветовать сохранить указанные различия» (стр. 173). Однако различия, которые между этими прилагательными обнаруживает Эртль, не являются бесспорными. С моей точки зрения, их нельзя отнести к одному плану: во-первых, здесь представлены различия, которые стилист, может быть, и хотел бы передать, но не должен этого делать; если он точнее захочет охарактеризовать různé предметы, он может назвать их также rozmanité, rozličné или же rozdílné; во-вторых, характеристика, данная с помощью прилагательных rozmanitý или rozličný, означает определенную ступень конкретизации, но тут встает вопрос, входит ли в планы автора подобная конкретизация.

Однако Галлер принял различия, приведенные Эртлем, за правило и стал упрекать О. Фишера, Сольдана и других («Naše řeč», XV, 1931, стр. 55, 116, 209) в неправильном употреблении прилагательного různý для тех случаев, когда можно употребить и прилагательное rozličný (ср. следующие: různé

---

[23] Ср. брошюру Г. Винокура «Культура языка», изд. 1-е, 1924, стр. 96; изд. 2-е, 1929, стр. 166. Прочую литературу см. в журн. «Slavia», X, 1931, стр. 285 и сл.

přeludy «различные призраки» он исправляет на rozličné.., různé zvuky náladové «различные лирические звуки»—на rozličné... и т. д.), хотя Эртль совершенно ясно констатирует, что граница между různý «разный, различный, разнообразный» и rozličný «различный, разнообразный» самая неопределенная (даже у Галлера на стр. 116 мы читаем, что různý = rozdílný). Следовательно, языковая критика допускает ошибку, когда упрекает авторов в пренебрежении этими различиями.

3

Итак, нам осталось рассмотреть последний способ, с помощью которого лингвист может содействовать функциональному развитию и богатству литературного языка, то есть к р и т и к у конкретных языковых высказываний с точки зрения функциональной. При этом мы оставляем в стороне тот критический анализ, который состоит в сравнении их с нормой теоретически установленной. О возможностях подобной критики говорится в п. 2 общих тезисов Пражского лингвистического кружка. Речь здесь пойдет о критическом разборе языковых средств и о способах их употребления с точки зрения их пригодности: оценивать эти средства можно только в связи с их адекватностью цели высказывания; при этом всегда следует принимать во внимание авторский замысел и его права на индивидуальный выбор.

Прежде всего такая критика не имеет права вносить в различные задачи, стоящие перед языком, и в различные функции литературного языка оценочную иерархию, которая бы считала отдельные функции, а вместе с ними некоторые функциональные языки или стили лучшими. Я изложил это довольно подробно выше, ссылаясь на наиболее часто встречающиеся ошибки.

В другом месте (на стр. 362) я обратил внимание на то, что функциональная критика не может оценивать языковые высказывания, руководствуясь определенными, заранее установленными критериями в зависимости от благозвучия, ясности или точности и пр.; ведь и неточность может быть целенаправленной; в некоторых случаях может быть оправдана броскость стиля, иногда же — приглушенность и отсутствие бросающихся в глаза особенностей. Далее, я уже останавливался на том, что критик должен принимать во внимание замысел автора и уважать его право на возможный индивидуальный выбор: но он не должен увлекаться своим собственным выбором и подсовывать автору собственные замыслы. Таким образом, я не отрицаю

права научного работника на стилистическую индивидуальность, никоим образом, но он должен осознать различие между правом критика и правом автора. Только в качестве автора он имеет право считаться со своими симпатиями и антипатиями, со своим вкусом и своим выбором, которые в отношении ряда выражений свойственны почти каждому стилисту.

Он не должен также забывать и о том, что берет на себя личную ответственность, оценивая отдельные языковые высказывания; что и он, быть может, будет когда-нибудь исправлен. Чем больше он будет избегать позы догматика и жестов законодателя, тем скорее его язык окажется действенным. Еще в большей степени это относится к критике поэтического языка, о которой говорится в статье Мукаржовского.

Наконец, нужно помнить и о том, что сама цель языкового высказывания нам может быть несимпатична, что она также может быть подвергнута критике, но это уже будет критика неязыкового характера. Поэтому совершенно неверно поступает в последнее время журнал «Наша речь», переходя для обоснования языковой критики к критике других областей. Ср., например, следующее высказывание: «Слова, которые облюбовали политические ораторы и которыми они охотно украшают свои пустые фразы...» (Г а л л е р, «Naše řeč», XV, 1931, стр. 116).

Само собой разумеется, что мы должны требовать от теоретика отличного знания с о в р е м е н н о г о л и т е р а т у р н о г о ч е ш с к о г о я з ы к а во всех его функциях. Любые оговорки относительно того, что такого знания у него еще недостаточно или что подобным знанием он пока еще совсем не обладает, не оправдывают теоретика языка и не дают ему права что-либо решать и даже отвергать. Однако необходимо отличать *практические знания* тех, кто пользуется литературным языком, от *знаний теоретических*; *способы*, которыми приобретаются эти знания, также различны. Неспециалист, кроме школы, приобретает свои знания при чтении, в жизненной и писательской практике; при этом он опирается на свое языковое сознание. Знания теоретика не могут опираться только на языковое сознание. Но, с другой стороны, совершенно бесполезно удаляться от действительности, утверждая, что необходимо изучить норму всех писателей, частоту употребления отдельных явлений в их языке и т. д. и т. п.[24]

Самый богатый материал без участия научного работника и без целенаправленной работы не даст этого знания, да оно и не нужно в такой степени. Мы должны хорошо осознать, что чистая статистика может ввести в заблуждение. Например, что́

---

[24] Что утверждает Галлер в журн. «Naše řeč», XIV, 1931, стр. 203.

может дать для живого литературного употребления процент печатных форм существительных на -ost′, -t′ в определенный период прошлого столетия или употребление наречия jedině, когда речь идет, например, о корректорской правке.

В других науках, особенно в психологии, также обнаруживается в настоящее время бесполезность «математического бешенства», которое при помощи многочисленных статистических выкладок и так называемых тестов устанавливает совершенно очевидные факты, которые можно проверить повседневным опытом.

Исследователь своего собственного литературного языка также опирается на языковое сознание, которое, однако, объективизировано сознательным контролем и теоретическим пониманием языка; так, например, не следует привлекать материал из произведений всех чешских писателей, чтобы лингвист мог установить, что для новочешского литературного употребления характерны инфинитивы на -t (být и т. д.) или что в чешском нет деепричастия dada. Работа эта весьма тяжелая и ответственная; она не может быть подчинена диктату одного журнала или нескольких лиц, как этого хотел бы нынешний редактор журнала «Наша речь». Свое желание он отразил в рецензии на научную книгу, посвященную литературному языку. Создается впечатление, что он недостаточно хорошо осознает тот факт, что познание современного литературного чешского языка и установление его существующей нормы является весьма серьезной, ответственной работой.

Теоретическое познание нормы нового литературного языка является полезным и для стабилизации литературного языка, с одной стороны, потому, что подобное познание означает кодификацию нормы, с другой стороны, потому, что теоретик своим знанием нормы помогает и другим познать ее. Тем самым он способствует познанию нормы литературного языка, способствует также стабилизации литературного языка и развитию его функциональных различий.

* * *

В настоящей статье я попытался установить различие между нормой народного языка и нормой литературного языка и объяснить, посредством чего и как лингвист может вмешиваться в развитие литературного языка. Норма литературного языка отличается от нормы народного языка и своим образованием (возникновением и развитием), и своей структурой. Норма литературного языка богаче и более дифференцирована по своим функциям не только в смысле запаса языковых средств, но

и в смысле различного их использования. Наука о языке, лингвистика, вмешивается в создание нормы литературного языка и в ее стабилизацию. Она может и должна поддерживать функциональные различия и стилистическое богатство литературного языка: для этого она должна не только хорошо и детально знать существующую норму литературного языка, но должна детально изучить разнообразные задачи и потребности литературного языка и стремиться к тому, чтобы литературный язык с его языковыми средствами отвечал и мог отвечать этим задачам и потребностям. Поэтому она не должна обеднять литературный *язык* и стирать его различия.

Активное вмешательство, которое способствует развитию литературного языка, мы называем культурой литературного языка. Но при этом мы никогда не должны забывать и о другом важнейшем факторе, участвующем в развитии литературного языка,— о тех, кто является носителями этого языка: нельзя забывать, что отличное знание литературного языка и сознательное функциональное использование языковых средств носителями этого языка — это тоже проявление заботы о культуре языка. Языковую культуру, целью которой является культивированный язык, теоретик языка может только поддерживать; *реализовать же языковую культуру и культивированный* язык могут только те, кто пишет и говорит на литературном языке.

В. Матезиус

О НЕОБХОДИМОСТИ СТАБИЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА *

Недостатком всех дискуссий о культуре чешского языка является то обстоятельство, что проблема языковой правильности изучается изолированно. При таком изучении не учитывается или по крайней мере иногда не учитывается явная принадлежность указанной проблемы к более широкой и главенствующей проблеме языковой отшлифованности. А ведь объективной оценки стремлений к языковой правильности мы не можем достичь, если подобные стремления не будут опираться на более широкую базу языковой отшлифованности или языковой культуры.

Что такое отшлифованность языка? Язык — это система целесообразных выразительных средств, достоинство которой можно измерить лишь тем, каким образом она отвечает своей цели. Иными словами, язык есть орудие, и его ценность, как и каждого орудия, определяется тем, как он справляется с поставленной перед ним задачей. Обработанный литературный язык является орудием тонким и безотказным. Он хорошо выполняет каждую из многочисленных свойственных ему функций. Язык выражает точно, полно и ясно самые тонкие наблюдения и мысли. Он является податливым выразителем чувства и подхватывает любую мелодию, на которую настраивается говорящий или писатель. При всем том — и это следует помнить при последующем изложении — он никогда не искажает намерений того, кто умеет им пользоваться, ложными ассоциациями или неблагозвучностью. Отсюда следует, что отшлифованным язык может стать лишь при его практическом использовании. Поэтому и его качества, которые при ближайшем рассмотрении оказываются компонентами языковой отшлифованности, будут иметь практический характер; освещение последних в теоретическом плане должно вестись также на основе их практической целесообразности.

---

* Vilém Mathesius, O potřebě stability ve spisovném jazyce, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 415—435.

Когда речь идет о языковой правильности, сторонники исправления языка выдвигают на первый план идею исторической чистоты языка. По их мнению, в современном литературном чешском языке лишь то бесспорно, что употреблялось в языке еще до начала XVII в., да и то mutatis mutandis лишь в той форме и в той функции, какие были свойственны древнему языку. Иными словами, наиболее важным и решающим критерием правильности современного литературного языка является сходство современной нормы с нормой, существовавшей до начала XVII в. Но и этого оказывается недостаточно. Очень часто реформаторы высказываются против современной нормы в пользу древней и в тех случаях, когда современное употребление отличается от прежнего лишь такими фактами, которые свойственны каждому языку. Так, во имя исторической чистоты языка рекомендуется (или по крайней мере совсем недавно рекомендовалось) заменить форму svižný «быстрый, ловкий» (с закономерной диссимиляцией, если это слово действительно связано с глаголом švihati «хлестать») формой švižný (без диссимиляции), которая ныне так неприятно режет слух. По тем же соображениям отвергаются (или по крайней мере до последнего времени отвергались) возникшая по аналогии вполне закономерная адвербиальная форма jedině и возникшая по аналогии форма деепричастия daje, dajíc в пользу архаичных форм jediné и dada, dadouc, от которых так и веет чем-то затхлым и книжным. Провозглашается ошибочным также и современное употребление наречия posléze «потом» в значении превосходной степени. Исходя из требования исторической чистоты, реформаторы литературного чешского языка возражают против множества выражений, образованных в новом чешском языке с помощью калькирования слов и оборотов, широко употребляемых в западноевропейских языках, объявляя их неправильными, хотя очень трудно, а порой и вообще невозможно заменить эти элементы вполне равнозначными выражениями из старочешского языка.

Каковы же взаимоотношения между охарактеризованным понятием правильности языка и идеей его отшлифованности, которая является, как говорилось выше, понятием более широким и дающим возможность достоверно раскрыть более узкую и подчиненную ей проблему? Если мы хотим правильно ответить на поставленный вопрос, то нельзя замыкаться в узкий круг домашних споров, как это, к сожалению, делают наши пуристы, необходимо обратиться к материалу мировых культурных языков. В конце концов мы придем к поразительным выводам. Историческая чистота языка сама по себе не имеет ничего общего с отшлифованностью языка. Отсутствие истори-

ческой чистоты не помеха для языковой отшлифованности, и, напротив, строгое соблюдение последней отнюдь не означает высшей степени отшлифованности языка. Немецкий язык, например, удовлетворяет требованию исторической чистоты в несравненно большей степени, чем английский: архаичные морфологическая и синтаксическая структуры сохранены в немецком языке гораздо полнее по сравнению с английским, а словарный состав немецкого языка с точки зрения исторической чистоты во многом безупречнее, чем словарный состав английского языка. С точки зрения исторической чистоты английский язык представляет полный хаос. И все-таки эта хаотическая смесь, являясь языком, для выражения своих разнообразных функций так же тонко отшлифована, как и исторически более чистый и более германский немецкий язык. Кто изучал романские языки, тот знает, в какой степени вульгарная латынь — родоначальник романских языков — была обезображена и засорена по сравнению с классической латынью. И все же эта засоренность с точки зрения исторической чистоты не помешала хотя бы французскому языку, в котором искажения и инородные примеси составляли огромный процент, уже в XII в. стать самым отшлифованным народным литературным языком в западноевропейской культурной области. Пуристы, получившие лингвистическую подготовку, обязаны были бы раз и навсегда понять, что развитие языков вообще складывается прежде всего из изменений, которые вначале с точки зрения действующей нормы воспринимаются как ошибки и которые поэтому не выдерживают критики, если применить к ним критерий исторической чистоты. Исходя из этого, было некогда ошибочным вместо формы старого винительного падежа muž употреблять форму родительного muže, которая ныне является привычной, или придавать сочетанию jest souzen «он судим» наряду с исконным значением jest odsouzen «он осужден», «iudicatus est» ныне единственно возможное значение iudicatur. Важно лишь, чтобы языковое новшество приобретало значение нормы вовремя, не слишком быстро и без длительного, упорного сопротивления. Оба последних фактора могут пагубно сказаться на необходимой стабильности литературной нормы. Из всего изложенного нельзя, следовательно, заключить, что историческая чистота сама по себе находится в какой-либо причинной связи с отшлифованностью языка. Не имеет никакого значения тот факт, что язык использует только слова, выражения, формы и обороты, существовавшие и на ранних ступенях его развития, и только в той форме и в том значении, в каких они встречались столетия назад, когда литературный язык больше всего подвергался иноземным влияниям. Отшлифованность языка определяется

лишь степенью обработки его как языка разговорного, поэтического, научного и философского.

Приведенные выше соображения точно определяют общее соотношение языковой отшлифованности и его исторической чистоты. Отрицая гегемонию исторической чистоты в вопросах языковой культуры, не следует, однако, считать, что в языке возможны полнейшая свобода и произвол. Каждая культура является известной иерархией правил, и каждый развитый язык строится на принципе соблюдения этих правил. Дело лишь в том, какова сущность этой иерархии и какими средствами она осуществляется. Если вдуматься в то, что́ понимается под принципом иерархии, то можно заметить, что по существу речь идет о трех моментах. Принцип иерархии не может касаться изолированных и индивидуальных моментов. Речь идет о чем-то едином, составные части которого находятся в отношении, обусловленном каким-то организующим принципом.

Далее, понятие иерархии вызывает у нас представление чего-то постоянного и устойчивого. Однако представление консервативности и неподвижности противоречит данному понятию. Короче говоря, принцип иерархии состоит в гибкой стабильности всего единства, объединенного в систему. Для культуры языка на основе этого общего рассуждения можно вывести т р е б о в а н и е г и б к о й с т а б и л ь н о с т и. Это не новое явление, но с ним мы еще не встречались. В сущности, данное требование выдвигалось и прежде, когда отшлифованный язык сравнивался с безотказно действующим инструментом. Выразительные средства развитого языка должны быть устойчивыми. Недопустимо, чтобы одно и то же слово, одно и то же выражение, одну и ту же форму или одну и ту же конструкцию в одном и том же контексте и в одной и той же функции одни считали правильными, а другие отвергали как языковую небрежность. Язык, нормы которого расшатаны в такой степени, не является отшлифованным. В таком случае это ненадежный инструмент, потому что он способен (повторяю формулировку, употребленную мною прежде) искажать замысел говорящего или писателя ложными ассоциациями или неблагозвучностью. Следовательно, нужно стремиться к стабильности языковой нормы, и ее нужно соблюдать, если язык уже приблизился к ней или достиг ее в возможных пределах. Настоящим положением определяется одна из задач языковой культуры и вместе с тем необходимость определенной нормы для языковой практики. Таким образом, предметом наших рассуждений вновь становится понятие языковой правильности, на этот раз, однако, как постулат отшлифованности языка, обусловленной сохранением отрабо-

танной нормы и, следовательно, целиком отличающейся от требования исторической чистоты.

Истинное значение и полный объем этих принципов выявится лишь при решении конкретных проблем. С этой точки зрения современный чешский литературный язык представляет в наше распоряжение не только доступный для нас материал, но и материал в высшей степени поучительный. Чешский литературный язык существует сравнительно недолго; он не возник путем шлифовки локального классового диалекта; в качестве нового литературного языка был принят язык, в известной степени по образу и подобию почти утраченного литературного языка прежних эпох, чем, собственно, и объясняется искусственность его архаичной морфологии. Искусственным был и словарный состав этого языка, поскольку пополнение его шло путем нарочитого создания слов по чужим образцам. Вследствие этого возникла трудная задача формирования для нового литературного чешского языка языкового сознания, которое у более счастливых народов в эпоху культурной зрелости закладывается в процессе многовековой традиции или благодаря тесной связи литературного языка с каким-либо существующим классовым диалектом. Эта задача для нас была тем более затруднительной, что новое языковое сознание возникло у нас в период, когда в ходе постоянных социальных перемен и передвижений менялось классовое расслоение нашего народа. И все же нужно отметить и, как мне кажется, даже подчеркнуть, что поставленная задача в основном была с успехом решена. Действительно, в устах истинно образованных людей литературный чешский язык выступает ныне как живой язык, а его гибкость, утонченность и колоритность, свойственные лучшим писателям, не идут ни в какое сравнение с литературным языком предшествующих эпох. Правда, приходится постоянно слышать жалобы на упадок литературного чешского языка. Даже профессор Зубатый, выступив в 1919 г. с речью как ректор университета, присоединился к этому пессимистическому мнению. Главная причина столь прискорбного суждения о современном состоянии чешского языка заключается, как нам представляется, в оптическом обмане, вызванном недоучетом того обстоятельства, что в результате быстрого развития за последние десятилетия функции чешского литературного языка расширились в невероятной степени, вследствие чего несовершенство его стабильности становится все заметнее. Ясно, что там, где работают, скажем, пятьсот переводчиков вместо прежних пятидесяти, где пишет тысяча журналистов вместо прежних ста, которым необходимо высказать все новые и новые мысли, все новые и новые реалии, обнаружится больше языковых небрежностей

и дефектов. Объясняется это тем, что невозможно столь быстро подготовить квалифицированные кадры и приспособить литературный язык к задачам, во многом расширяющим диапазон его действия. Это означает не упадок, а лишь недостаточно быстрый прогресс языка. Никто не станет отрицать, что нужно стремиться к более совершенной стабильности литературного языка, но гораздо полезнее спокойно обсудить пути достижения последней, чем жалобно стонать о безнадежности положения.

Несомненно, осуществление принципа исторической чистоты не исправит существующего положения. Выше было указано, что историческая чистота сама по себе еще не определяет достоинства языка. В том, что стремление к последней не способствует даже стабилизации языка, можно убедиться, рассмотрев два момента нашей языковой практики. Приглядимся к тому, в каких отношениях с современным языком находятся, например, слово švižný, причастие dada, наречие jediné, которые я отмечал выше. Оказывается, что в современном языке они выступают как неологизмы, причем неологизмы бесполезные, а ведь каждое лишнее новообразование нарушает стабильность литературного чешского языка. И так происходит всякий раз, когда ревнители исторической чистоты вводят в язык слова, формы или обороты, некогда хотя и существовавшие в нем, но не входящие ныне в состав живых выразительных средств. Об этом сплошь и рядом забывают филологические староверы, ибо у них на почве чрезмерного увлечения старым языком и исторических реминисценций нарушается нормальное отношение к современному языку. Второе препятствие для стабильности языка, вытекающее из признания принципа исторической чистоты, состоит в неопределенности и зыбкости суждений специалистов по поводу того, какие элементы и явления в языке в согласии с этим принципом следует рассматривать как правильные. Было удачно отмечено, что языковая правильность, опирающаяся на этот принцип, часто является правильностью лишь до опровержения. Это осознáют в конце концов и сами приверженцы принципа исторической чистоты, поскольку они руководствуются надеждами, что знакомство со старым языком, благодаря которому они хотят реформировать современный язык и которого, по их мнению, все еще недостаточно, будет с течением времени возрастать. Между тем они забывают, что изменяющийся критерий исторической обоснованности слов, форм или оборотов, проявляется ли он в отмене прежних запретов или запрещении того, что ранее считалось допустимым, нарушает стабильность языка и в конце концов ведет к языковой неустойчивости, которая является прямой противоположностью языковой отшлифованности. Не могут помочь

делу и заверения в том, что принятое решение является окончательным. Каждый, кто когда-либо произносил пуристическое суждение о неоправданности той или иной языковой нормы, искренне верил в это; однако языковая практика в большинстве случаев шла противоположным путем. Путь чешского пуризма на протяжении последних девяноста лет отмечен могильными холмиками распоряжений и запретов, которые языковая практика сровняла с землей. И в будущем положение не улучшится, поскольку речь идет не о правильном или неправильном использовании основного принципа, а о несостоятельности последнего.

Правда, следует признать, что этот путь новейшего чешского пуризма свойствен не только защитникам исторической чистоты языка. В равной мере он близок и другому кругу лиц, а именно нашим реформаторам языка; их принцип я назову для краткости принципом прямолинейной регулярности. Хорошо известно, что язык стремится к регулярности в формах своих выразительных средств, но вместе с тем мы знаем, что он никогда не может достичь этой регулярности, так как данная тенденция сталкивается с противодействием. Поборники прямолинейной регулярности ссылаются лишь на первый из этих факторов. Исходя из этого, они предъявляют литературному языку требование строгой регулярности языковых явлений и возводят эту регулярность на уровень критерия языковой правильности. В тех случаях, когда язык не достиг подобной регулярности или утратил ее, они навязывают ему последнюю силой. Так, поскольку от глагола kousati «кусать» образуется существительное kusadlo «кусачки» и от глагола strouhati «тереть»— существительное struhadlo «терка», постольку предписывается (или до недавних пор наблюдалось желание предписать), что от глагола koupati «купать» следует образовать соответствующее существительное kupadlo «купальня», хотя в языке существует лишь форма koupadlo. По тем же мотивам, в противоречие с существующей нормой, предлагается (или до недавнего времени предписывалось) употребление кратких гласных в словах типа srdečko «сердечко», draždidlo «возбуждающее средство», chranítko «наконечник», pronasledovatel «преследователь», hřiště «спортивное поле», «площадка» и многих других. К той же категории запретов относятся: экзотические формы творительного падежа holmi, nemocmi по аналогии с kostmi, пополнение словоизменения формами типа zapomněn «забыт» и т. п. или необычные образования вроде deska — deštička, «доска — дощечка», miska — mištička «миска — мисочка», houska — houštička «булка — булочка», которые навязываются (или навязывались) по аналогии с český «чешский»—čeština «чешский язык».

Из этого следует, что отмеченный принцип нисколько не отстает от принципа исторической чистоты в своем пренебрежении к языковой стабильности. Под этой маркой современному языку навязываются ненужные новообразования, да и принцип этот применяется весьма произвольно, ибо каждый новый реформатор имеет возможность навязывать свою закономерность. Все это не имеет под собой объективных оснований, так как культурные языки с давней традицией свидетельствуют, что наличие незначительных отклонений в формах вполне уживается с высокой языковой отшлифованностью. Внутренняя иерархия развитого языка заключается не в механическом соблюдении внешней регулярности, а в чем-то совершенно ином. С полным основанием можно еще раз привести принципиальные замечания Гебауера из введения к первому изданию «Правил чешского правописания» (1902 г.): «Что касается форм, то мы строго придерживаемся того, чтó в литературном языке с а м о с о б о й развилось и отстоялось», а также его примечание к случаям типа zasílatel «экспедитор» и т. п.: «Прежде чем это произойдет (прежде чем установится норма), следует допустить также форму с долгим слогом (požívatel «потребитель»), поскольку этого настоятельно требует произношение». В «Правилах» Гебауера 1902 г. не отвергаются слова dráždidlo, pronásledovatel, srdéčko и др. с долгими гласными á, é; долгота допускается также и во многих других подобных случаях, где позднее в качестве нормы были приняты формы с кратким слогом. Примечательно, что оценить в должной мере принцип прямолинейной регулярности не могут даже его сторонники; например, они без колебаний отвергают принцип регулярности, как только им начинает казаться, что подобная регулярность противоречит исторической чистоте. Так, например, для глагола ržáti, ržál «ржать, ржал», где язык сам унифицировал основу, в их предписаниях в качестве официальной нормы восстанавливаются старинные формы rzáti, rzál.

Наглядным доказательством того, что применение обоих охарактеризованных мною принципов н а р у ш а е т н е о б х о д и м у ю с т а б и л ь н о с т ь нашего литературного языка, являются «Правила чешского правописания». Поистине удивительно, как мало наша публика, и прежде всего специалисты, следят за эволюцией и деятельностью этого учреждения, наделенного административным авторитетом. В США сам президент должен был отступить перед возмущенным общественным мнением, попытавшись официально ввести практическое упрощение написания какого-то десятка английских слов. У нас же не противоречат даже тогда, когда без какого-либо научного обоснования официально вводятся коренные изменения не толь-

ко в привычное графическое изображение чешских слов, но и в их фонетическое звучание, в их морфологические формы и употребление. При этом указанные нововведения осуществляются весьма часто и таким образом не могут быть освоены языком; эти реформаторские тенденции с каждым новым изданием «Правил» все более и более усиливаются и охватывают все новые и новые стороны языка. Так, только в 1913 г. вошло в «Правило» слово zviřátko вместо прежнего zvířátko «зверек» или srdečko вместо двух прежних форм srdečko и srdéčko; наконец, в «Правилах чешского правописания» 1926 г. находим (см. введение, стр. XIX) koupadlo, хотя в алфавитном указателе единственно правильной считается форма kupadlo. Образно говоря, поверхность нашего литературного языка находится от этих потрясений в постоянном волнении, а наше языковое чувство расшатывается. Возникающая при этом неопределенность усугубляется тем, что в новом издании «Правил» нигде прямо не говорится, чем оно отличается от предыдущего и какие изменения претерпела точка зрения издателей. Все это приводит к печальным результатам. Если прежде, как мне хорошо помнится, образованному чеху было нетрудно писать правильно, то сейчас нелегко найти людей, которым наше правописание было бы по силам. Сваливают обычно на упадок образованности, забывая о том, что главной причиной является расшатанность орфографической нормы, вызванной переизданием «Правил чешского правописания» после смерти Гебауера. Причина только в этом, поскольку даже специалисты-богемисты вынуждены заглядывать в «Правила», когда они хотят писать в согласии с официально установленной нормой.

Принцип исторической чистоты и требование прямолинейной регулярности не могут быть, следовательно, ни каждый в отдельности, ни оба вместе надежной базой для установления стабильности в литературном чешском языке. Если чересчур полагаться на них, то в конце концов нарушается уже достигнутая стабильность, а тем самым подрывается одно из главных условий языковой отшлифованности. Если мы действительно хотим добиться стабильности нашего литературного языка, то мы должны опереться на единственно оправданную базу, то есть на современную норму чешского литературного языка. Эту норму, поскольку нет какого-либо кодекса разговорной речи, можно установить, исходя из языковой практики хороших чешских авторов, представленной чешской литературой последнего пятидесятилетия, литературой в самом широком смысле слова — художественной и научной. Заслуга Эртля, которого мы будем всегда с благодарностью вспоминать, состоит в том, что он первым из богемистов выступил против господства

требований исторической чистоты. Жаль, что ему не удалось до конца развить свои взгляды; еще печальнее, что преждевременная смерть помешала ему оказать руководящее влияние на вопросы культуры чешского языка, и эта роль перешла к людям, которые придерживались принципов, уже преодоленных Эртлем.

Довольно распространенный тезис о том, что нет писателя, язык которого был бы действительно безупречным, является бессмысленным. Если нет хорошего литературного чешского языка, то его нет вообще. Тот, кто с этим не согласен, вносит в свои рассуждения априорную оценку, вытекающую из требования исторической чистоты, и забывает, что язык грамматистов, не опирающийся на действительную языковую практику, — всего лишь фикция. Этот факт давным-давно отметил уже Квинтилиан, недвусмысленно заявив, что следует различать две вещи: говорить по-латыни и говорить грамматически правильно.

Реформаторские домыслы поборников «правильного чешского языка» могли бы прижиться лишь после долголетней практики и при энтузиазме деятелей эпохи чешского возрождения. Однако это был бы путь не только трудный, но и ненужный. Если бы удалось в полной мере и до конца заменить современный литературный чешский язык языком грамматистов-реформаторов, то это нарушило бы не только нашу языковую традицию, но и традицию нашей литературы. С победой новых ценностей в литературном языке и с утверждением нового отношения к его выразительным средствам изменилось бы и наше отношение к тому, что было до сих пор создано в новой чешской литературе. Произошло бы нечто сходное с тем, чего так опасаются англичане при проведении радикальной реформы правописания: значительная часть литературы, составляющая на сегодняшний день сущность нашей живой культурной традиции, оказалась бы при постоянном подчеркивании ее мнимых языковых дефектов просто неприемлемой. Все эти реформы, однако, излишни, так как язык чешской литературы последнего пятидесятилетия хотя еще и не вполне обработан, но все же довольно гибок и хорошо отшлифован. Не беда, если в нем заметен какой-либо вошедший в обиход варваризм. Историческая чистота, как уже было доказано, не является необходимым условием отшлифованности языка, и с точки зрения языковой культуры усвоенное иноязычное слово, увеличивающее своей выразительностью богатство оттенков литературного чешского языка, является по сравнению с неологизмами пуристов, построенными на базе родного языка, меньшим злом, если оно таковым вообще является. Конечно, речь идет, как

было сказано, об укоренившихся и отличающихся по значению словах, таких, например, как nápadný «бросающийся в глаза», přehnaný «преувеличенный», těžkopádný «неповоротливый», odstraniti «устранить» и т. п., а не о словах ненужных и встречающихся только в единичных случаях, например: odviseti вместо záviseti «зависеть» или zapříčiniti вместо způsobiti «вызвать, причинить». Различие обеих этих категорий весьма наглядно, и тот, у кого развито языковое чутье, в большинстве случаев будет в состоянии их отличить. С функциональной точки зрения наличие заимствований в современном литературном чешском языке не служит основанием для изгнания из последнего такого рода элементов. Если дальнейшая шлифовка чешского языка — а это насущная необходимость — должна опираться на живую языковую традицию, то таковой может быть лишь традиция, взращенная на почве непрерывного развития нового литературного чешского языка с периода чешского возрождения, а отнюдь не на теоретические оковы, посредством которых сторонники мнимого историзма, невзирая на бездну столетий и упадок языка в XVIII в., пытаются связать современный чешский язык с языком Пасионала и с «Житиями святых отцов», то есть с языком XIV в.

Изложенный выше тезис о том, что в основу стабилизации нового литературного чешского языка следует положить языковой материал исторически сложившейся чешской литературы за последние полвека, конечно, не означает, что мы обязаны ждать, пока в ходе культурного развития такая стабилизация наступит. Можно было бы, правда, целиком положиться лишь на шлифующее влияние языковой практики писателей и языковую критику неспециалистов, обладающих умением подмечать выразительные оттенки, ритм и мелодичность речи. По крайней мере, указанные факторы оправдали себя при создании и шлифовке большинства литературных языков, возникших до начала XIX в. и ставших наиболее отшлифованными языками мира. Современное состояние лингвистической теории позволяет нам посредством научного вмешательства несколько ускорить процесс шлифовки. Кроме того, нынешнее положение литературного чешского языка все же отличается от положения, в котором находились великие культурные языки в период их становления. Однако это различие не носит принципиального характера, о чем все время твердят реформаторы языка, стремясь обосновать свои пуристические устремления. Может показаться, что новый литературный чешский язык принципиально отличается от более древних литературных языков благодаря своему искусственному возникновению; но и при таком допущении следует признать, что указанное различие стало неакту-

альным, как только новый литературный чешский язык путем постепенного расширения сферы своего употребления превратился из языка искусственного в язык по преимуществу живой. Ныне состояние литературного чешского языка отличается от состояния, в каком находились более древние и отшлифованные литературные языки, лишь одним существенным моментом внешнего характера — огромным влиянием школы на процесс его стабилизации. В задачу школы входит не теоретическое, а практическое изучение языка, но школьная языковая практика должна опираться на определенную кодифицированную языковую норму. В этих целях, чтобы школа не брела ощупью, необходимо в процессе кодификации установить норму современного литературного употребления и позаботиться о дальнейшем ее совершенствовании. Эта задача, стоящая перед специалистами-богемистами, и определяет наше понимание языковой правильности. Она и по содержанию, и по направлению резко отличается от задач, на которые претендуют наши реформаторы. Эта задача исходит из иных принципов.

Конечно, не может быть и речи о том, чтобы во имя лучшего исторического познания современному литературному языку предписывались суверенные нормы, которые при явном расхождении с действительной практикой нельзя было бы отменить; речь идет о кодификации современного отстоявшегося употребления и об ограничении функционально не обусловленных колебаний. За наивысший критерий при этом будет принята функциональная отшлифованность языка. Последняя будет определять объем и направление стабилизации; стремление же к национальному своеобразию языка должно содействовать такой шлифовке языка, а не противоречить ей. Необходимо учитывать, что не все элементы языка требуют или допускают стабилизацию в равной степени. Первоочередные задачи, стоящие перед богемистами, изложены в тезисах, подготовленных Пражским лингвистическим кружком для I международного съезда славистов, который проходил в Праге в 1929 г. С некоторыми пояснениями я должен напомнить здесь о следующем: «Орфография, являясь продуктом чистой условности и практики, должна быть легкой и ясной в той мере, в какой это позволяет ее функция зрительного различения. Частое изменение орфографических правил, особенно если это не служит их упрощению, находится в противоречии с принципами устойчивости». «В номинативных формах нужно учитывать индивидуальность языка, то есть не следует при отсутствии настоятельной необходимости в этом использовать неупотребительные или малоупотребительные в языке формы (например, в чешском составные слова или слова, образованные с помощью заимствованного суффикса от род-

ного корня)». Было бы, однако, ошибкой устранять из-за необычности образования выражения, вошедшие в обиход и обладающие точностью специального термина, как, например, слово barvotisk «цветная печать». Вследствие частой употребительности и полезности допустимы также выражения, образованные гибридным способом, например: houslista «скрипач», korunovace «коронация», nadace «фонд» и т. д. «Что касается источников пополнения словаря, то лексическому пуризму нужно противопоставить стремление к максимальному обогащению словаря и его стилистическому разнообразию; однако наряду с богатством словаря нужно добиваться также точности его смысла и устойчивости там, где этого требует функция литературного языка.

В области синтаксиса необходимо стремиться не только к индивидуальной лингвистической экспрессивности, но и к богатству возможных дифференциаций значений. Таким образом, с одной стороны, следует укреплять черты, свойственные данному языку (например, глагольное выражение в чешском языке), а с другой — нельзя из-за синтаксического пуризма сужать запас такого рода возможностей, целесообразность которых и в синтаксисе должна определяться функциями языка». Так, невозможно из чешского юридического языка или других специальных языков целиком устранить номинативные конструкции. «Для индивидуальной экспрессивности языка морфология имеет значение только в своей общей системе, но не в частностях. Поэтому с функциональной точки зрения она не играет той роли, какую приписывали ей пуристы старого типа. Необходимо, следовательно, следить за тем, чтобы бесполезные морфологические архаизмы не увеличивали без надобности расстояния, существующего между книжным и разговорным языком».

Принципы, изложенные выше, лишь внешне сокращают объем работы, которую накладывает на наших чехистов забота о новом литературном чешском языке. Круг специальных подведомственных им вопросов сужается, но вместе с тем их база углубляется, а новый материал, на который приходится опираться, требует и новых исследований. Если основой для стабилизации нового литературного чешского языка должен стать язык чешской литературы последнего полувека, то этот язык необходимо как следует изучить. Метод Берлица, рекомендованный в этих целях покойным Эртлем, не вполне удовлетворителен. Требуется систематическое, с использованием тонких методов, научное изучение нового литературного чешского языка, так как в этом направлении было сделано еще слишком мало. Необходим, например, всесторонний понятийный анализ чеш-

ской лексики, тщательное изучение синонимии и антонимов, хотя для подобного анализа у нас еще нет достаточно хороших инструментов. Нужно будет старательно учиться у иностранных лингвистов и отшлифовывать собственное умение наблюдать, чтобы при анализе не ускользнул даже самый тончайший смысловой оттенок, еле заметное отклонение в мелодической или динамической линии. Уже нельзя сослаться и на то, что из научных соображений необходимо сначала фундаментально исследовать старый язык, ибо новое направление лингвистики отвергает и этот аргумент. В период, когда международные конгрессы лингвистов по инициативе сторонников сравнительного метода в языкознании призывают к систематическому изучению современного состояния языка, нет никаких причин для отговорок, что подобное изучение не может практиковаться и у нас, в тех случаях, когда такой анализ вызывается не только теоретическими, но и практическими потребностями.

С практической точки зрения необходимо, чтобы стремление к стабилизации языка как можно скорее привело к созданию трех хороших пособий, на которые могла бы прежде всего опереться школьная практика, направленная на внедрение литературного чешского языка. В первую очередь это должен быть словарь, используемый в школе и дома. Заслуживает всяческого одобрения, что наконец начал выходить благодаря заботам чешской Академии обширный «Настольный словарь чешского языка»; его достоинства необходимо оградить от дискредитации, которая исходит от сторонников пуризма, утверждающих, что этот словарь имеет описательный, но отнюдь не нормативный характер. Если мы не признаем нормативный характер «Настольного словаря» (а против этого не выдвинуто никаких научных доводов), то сами обречем себя в течение нескольких десятилетий на полное отсутствие авторитетного справочника литературного языка, ибо невозможно в ближайшее время приступить к изданию подобного словаря, основанного на новых принципах. Однако для того чтобы «Настольный словарь» принес ощутимую пользу, его следует дополнить изданием небольшого, однотомного словаря, который бы отражал результаты первого, был бы доступен по цене и таким образом служил бы в качестве обязательного учебного пособия для всех институтов и профессиональных школ. В такой словарь могла бы войти лишь основная часть словарного состава современного литературного чешского языка, которая была бы детально охарактеризована со стороны семантики и синтаксиса; в таком словаре должны были бы быть систематически указаны синонимы и антонимы, а в вопросах орфографии и морфологии он заменил бы «Правила чешского правописания».

Вторым нормативным пособием должна явиться грамматика современного литературного чешского языка, составленная с практическим уклоном и излагающая материал со строго синхронной точки зрения на характерологической основе. Ее не следует перегружать ни детальными правилами, применение которых можно отразить в словаре, ни архаическим материалом и историческими экскурсами; она должна отчетливо и ясно отражать языковую систему современного чешского литературного языка и его характерные черты. Своеобразие языка, однако, нагляднее всего может выявиться в результате сравнения. Подобная грамматика может использовать дифференциальные методы на базе самых известных у нас иностранных литературных языков, указывая тем самым на грозящую опасность чужеземных влияний. Само собой разумеется, что такая грамматика должна быть составлена с функциональной точки зрения и трактовать языковые явления так, как они предстают перед человеком, владеющим письменным и разговорным языком. Здесь может выявиться преимущество не только методического, но и дидактического порядка, ибо при грамматических объяснениях появится благоприятная возможность опереться на языковой опыт самих учеников.

Наконец, нужна также книга по стилистике чешского языка, которая бы показала, как наш литературный язык приспосабливается к требованиям различных функциональных стилей. Невозможно, да этого и не требуется, чтобы все при любых обстоятельствах писали одинаково. Языковое реформаторство, не признающее или не желающее признать данное положение, заранее обречено на провал. Поэтому я подчеркиваю, что стабильность литературного языка должна быть очень гибкой. Если кто-либо мне возразит, что подобное требование делает неосуществимым строго научное определение правильной языковой нормы, то я соглашусь с этим, но добавлю, что в строгие научные рамки нельзя поставить ни один живой язык. Языковая практика есть и всегда была результатом очень сложных взаимодействий различных сил, и лингвисты должны радоваться, если им удается хотя бы частично осуществить свое нормализаторское воздействие. Языковая культура является прежде всего предметом практического испытания и отбора. Можно спорить о принципах подхода к решению данного вопроса, но нельзя создать систему контроля над языком, которая бы функционировала точно и бесперебойно, как автоматический электрический выключатель. Однако мы можем и должны воспитывать у людей чувство заботы о нашем языке и сделать последнее составной частью общего образования нашего народа. В связи с этим перед специалистами встает трудная задача

по обучению стилю, чем у нас, особенно в высшей школе, к сожалению, пренебрегают. Само собой разумеется, что нельзя обучить индивидуальному стилю, но основательная тренировка в использовании основных видов функциональных стилей является фактором, игнорировать который не имеет права ни одна школа любого культурного народа. Это осуществляется в странах с давней культурной традицией, и мы также должны осознать, что языковая неграмотность, которая обычно проявляется у нас в письменных или печатных работах, свидетельствует больше о недостаточной стилевой подготовке, чем о слабом знании грамматики. Необходимо выдвинуть требования, чтобы каждый образованный чех овладел ясным и соответствующим тематике слогом изложения. Тогда описание этого слога, тренировка в этом слоге будут основой всей стилистической подготовки в наших школах и основной заботой авторов будущей книги о чешской стилистике. На этой основе будет уже легко перейти к овладению другими видами функциональных стилей, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни, в особенности к аргументированному изложению, имеющему ораторский характер, и к различным типам изложения — эпическому, драматическому и занимательному.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА *

Под культурой литературного языка мы понимаем сознательную обработку литературного языка. Она может осуществляться следующими путями: 1) с помощью теоретических работ по лингвистике; 2) при обучении языку в школе; 3) в процессе писательской практики.

В настоящих тезисах речь пойдет лишь об установлении общих принципов для теоретической работы языковеда, который активно вмешивается в развитие литературного языка; его работа может либо способствовать развитию языка, либо тормозить его, разумеется, если это будет не случайное или фиктивное вмешательство. Работа языковеда может принести пользу только в том случае, если он будет стремиться к тому, чтобы литературный язык как можно лучше отвечал своим задачам. Этого можно добиться следующими путями: 1) поддержкой стабильности литературного языка и 2) поддержкой его функциональных различий (дифференциации) и его стилистического богатства. Необходимым условием для осуществления обоих пунктов является как можно более совершенное теоретическое познание современного литературного языка, то есть существующей его нормы.

I

Т е о р е т и ч е с к о е п о з н а н и е с у щ е с т в у ю щ е й н о р м ы с о в р е м е н н о г о л и т е р а т у р н о г о я з ы к а — задача первостепенной важности.

Временны́е границы, в пределах которых мы можем считать литературный язык современным, для каждого литературного языка индивидуальны, они связаны со временем относительной

---

* «Obecné zásady pro kulturu jazyka», сб. «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932, стр. 245—258.

стабилизации норм, существующих ныне. Основы грамматической структуры литературного чешского языка установились приблизительно в период возрождения (особенно благодаря трудам Йозефа Добровского) и окончательно — лишь в конце XIX в. (особенно благодаря грамматике Яна Гебауера); стабилизация словаря литературного чешского языка в современном его виде произошла лишь в 80-х гг. XIX в., а специального (профессионального) языка — еще позже; специальная терминология устанавливается только в настоящее время.

Источником познания нормы современного литературного языка не может быть ни более старая литературная норма, ни народный язык, независимо от того, будет ли последний современным или старым, как вытекает из некоторых высказываний журнала «Наша речь». Точно так же норму литературного языка нельзя познать в результате изучения нормы какого-либо функционального языка или языка определенного литературного направления, какой-либо научной или практической области.

Следовательно, источником познания нормы литературного языка является средняя литературно-языковая практика за последние пятьдесят лет. При этом нельзя исключать и ту старую художественную и научную литературу, на основе которой в XIX в. подготавливалась современная стабилизация нормы языка; однако при использовании литературы старшей поры, например языка Палацкого, Гавличка, Немцовой, Тыла, нужно отличать элементы, перешедшие в современный язык, от элементов уже исчезнувших из языка этих писателей, или появившихся в их языке как результат колебания между элементами литературного и народного языка, или же удержавшихся в их языке как отзвук более ранней эпохи.

В поэтическом языке, а именно в языке современной художественной литературы и литературы старшей поры, источником познания нормы могут быть только неактуализированные элементы (если только они не являются застывшими актуализациями старого канона). От них следует отличать актуализацию языковых средств поэтического языка, которая является намеренным нарушением нормы, и вообще всевозможное структурное использование различных функциональных, местных, социальных языков и наречий; следует также принимать во внимание неодинаковое отношение различных писателей к литературной норме языка. В результате дальнейшего развития актуализация языковых средств поэтического языка хотя и может иногда войти в норму литературного языка, но происходит это помимо намерения автора.

Следующим источником познания нормы современного литературного языка является **языковое сознание** интеллигентных слоев, их **языковая устная практика**, не учитывающая, однако, индивидуального, местного колорита и арготизмов.

Примечания: 1. Речь идет о средней литературно-языковой практике без какой-либо эстетической или вещественной оценки, а не о языке средних писателей.

2. Упомянутое языковое сознание и современную литературную и устную языковую практику мы могли бы назвать «живым литературным языком» или «литературной привычкой» (usus); однако термины «живой язык» и «узус» нельзя употреблять так неопределенно и неточно, как это иногда делается; при употреблении этих терминов во многих случаях не различается язык и узус — народный, общий, литературный; «живой язык» противопоставляется языку литературному.

3. Необходимо отчетливо сознавать, что литературный язык не живет вне современного литературного и публичного, устного и письменного выражения, как нам может показаться при чтении некоторых мест журнала «Наша речь», особенно выпуска 15.

4. Нужно строго различать источники специального **теоретического познания действительной современной нормы литературного языка** и источники, из которых каждый говорящий на литературном языке может с успехом черпать свое знание языковых средств и различных языковых возможностей; к источникам индивидуальной речи может относиться также язык другой эпохи или же язык иной функции, чем та, которая была употреблена в высказывании.

Для теоретического познания современного литературного языка у нас до сих пор было сделано мало. Теоретически известна и нормативно кодифицирована только современная грамматическая структура литературного чешского языка, главным образом морфология, да и то в общих чертах и с некоторыми очевидными тенденциями к архаизации; словарь современного литературного языка в теоретическом отношении изучен очень мало.

Для теоретического познания языка нужна также общая систематическая и планомерная работа, началом которой должны быть предложенные пособия (наст. сб., стр. 391), а также монографическая разработка частных вопросов. Подобная работа, однако, должна вестись методом строго синхронным и структурным (то есть необходимо обращать постоянное внимание на взаимоотношения элементов языка и их отношение ко всей системе языка данного периода, в нашем случае — современного языка); этот метод нельзя заменить голым статистическим методом, который механически накапливает материал. Предпосылка, согласно которой для познания нормы необходимо установить узус всех писателей, а также частоту употребления определенных языковых явлений в их языке, скорее тормозит работу, чем помогает ей.

Примечание: Например, при анализе склонения существительных, расклассифицированных с точки зрения исторической, вне поля зрения остались действительно существующие типы склонения, что весьма затрудняет их познание; так, к существительным женского рода с основой на *-i* относятся и имена, не обладающие падежными окончаниями этого типа; у существительных мужского рода не различается тип с им. п. мн. ч. на *-i*, на -ové и т. п.

II

Хотя норма литературного языка устанавливается не в результате диктата лингвистической теории, но процесс ее стабилизации, становления не обходится без нормативного вмешательства теоретиков. Лингвистическая теория вмешивается прежде всего в норму правописания, в меньшей мере — в грамматический строй языка, то есть в его фонетику, морфологию, синстаксис, и меньше всего — в его структуру и в лексику.

Для теоретического нормативного вмешательства можно установить следующие общие положения:

1. Подобное вмешательство должно поддерживать стабилизацию литературного языка и никоим образом не нарушать ее, если язык уже добился успехов в этой области.

2. Целью теоретического вмешательства является не архаизация и не насильственное сдерживание развития литературного языка, а стремление к стабилизации, которое определяется целесообразностью (функциональная точка зрения), вкусом данной эпохи (точка зрения общеэстетическая) и соответствием подлинному состоянию современного литературного языка (синхронная точка зрения).

3. Это вмешательство не должно насильственно углублять различия в грамматическом строе разговорного и книжного языка, если речь не идет о функциональном использовании именно этих различий.

4. Было бы странно, если бы в результате теоретического вмешательства из литературного языка устранялись все колебания и все грамматические и лексические дублеты (грамматическая и лексическая синонимия); это и нецелесообразно, так как, с одной стороны, стремление к стабилизации литературного языка не должно приводить к его нивелировке, то есть к устранению необходимого функционального и стилистического разнообразия литературного языка, а с другой стороны, оно не должно подвергать литературный язык опасности лишиться средств, устраняющих утомительное повторение там, где это повторение не является намеренным, то есть средств стилистической диссимиляции.

А

При кодификации правописания, то есть стабилизованного способа письма, речь идет, с одной стороны, о системе правописания, с другой стороны, о ее применении в деталях (собственно, по отношению к отдельным словам).

Орфографическая система должна идеально постигать фонологическую систему языка, а не ее фонетическую реализацию, она не должна забывать ни о ее дифференцирующем морфологическом использовании, ни о визуальной функции способа письма, важной для чтения. Однако без необходимых на то оснований установленная система орфографии не должна изменяться, но именно потому эта система и все ее изменения должны внимательно изучаться как со стороны теоретической точности (адекватности), так и со стороны практической целесообразности.

Орфография отдельных слов должна быть тщательно разработана и, насколько это возможно, нетрудна, наглядна и последовательна. При этом опять-таки нужно руководствоваться фонологическим составом слова и потребностями морфологической дифференциации, а не фонетическим составом. Нельзя вводить непривычное правописание из соображений только исторического порядка, что произошло, например, со словом zdůly «снизу».

При кодификации количества (долгот) у отдельных слов нужно помнить, что обозначение количества в принципе, поскольку это касается графики, является делом правописания, но если оно уже установлено и обозначено, то оно не является особенностью только орфографии, но и фактом произношения, вследствие чего здесь следует руководствоваться литературным произношением.

Правописание иностранных слов, особенно слов общепринятых, не должно отличаться от правописания собственно чешских слов, что имеет место, например, при написании s в иностранных словах, где это s имеет двоякое произношение s и z; например, слово krise произносится с z, а kaseta — с s. С другой стороны, нежелательно, да в этом и нет смысла, чтобы интернациональные названия благодаря правописанию, приспособленному к орфографической системе того языка, который их заимствовал, изолировались и теряли связь с международными словами вследствие своего необычного звукового облика (например, если бы термин joule писался так, как он произносится). Поэтому для специальных названий в узком смысле слова можно допустить нормы правописания того языка, откуда они заимствованы; точно так же можно допустить первоначальную

орфографию для тех собственных имен, которые еще не получили чешского звукового облика.

Необходимо изучать орфографические ошибки, повторяющиеся в практике, чтобы после выделения следов кодификации более старшей поры выявить недостатки современной кодификации, ее излишнюю сложность. При решении вопросов орфографии не следует забывать о потребностях школы и о потребностях широких масс.

Примечания: 1. Нужно отличать теоретические рассуждения, касающиеся или орфографической системы, или деталей ее проведения, от нормативного вмешательства.

2. Задуманные изменения всей системы или ее деталей должны быть известны до проведения их в жизнь, чтобы специальная дискуссия и критика могли принести им пользу.

Б

О с т а б и л и з а ц и и л и т е р а т у р н о г о п р о и з н о ш е н и я з а б о т и т с я о р т о ф о н и я. За основу литературного произношения нужно брать произношение интеллектуальных слоев, говорящих на литературном языке, а не народное произношение какого-либо диалектного целого, не исключая даже народное произношение таких крупных центров, как, например, пражский. Точно так же в основу литературного произношения нельзя класть народное произношение, получившее в отдельных случаях широкое географическое распространение.

Литературное произношение нуждается в разработке функциональных различий в зависимости от различных задач языкового высказывания; в зависимости от этих функциональных различий нужно установить типы произношения без той ступенчатости в оценках, которая является обычной в орфоэпии (то есть «произношение старательное», «произношение небрежное» и т. п.). Наряду со стремлением к нормализованному, правильному произношению нужна также систематическая забота о звуковой утонченности (изысканности) литературного языка.

Особо нужно заниматься художественным чтением и театральным произношением как с точки зрения их эстетических функций в поэтических и сценических направлениях (течениях), так и с точки зрения различных технических условий; нужно профессионально руководить орфоэпией в театрах. Специальные технические условия определяют способ произношения (например, выступления по радио и т. п.), поэтому нужно изучать приемлемое для различных условий произношение.

В

Лингвистическая теория способствует стабилизации грамматического строя литературного языка, куда мы включаем фонетику, морфологию и синтаксис, с одной стороны, благодаря изучению существующей нормы, с другой — путем ее кодификации.

О теоретическом изучении нормы речь уже шла. Кодификация изучаемой грамматической нормы должна производиться с учетом того, что и для литературного языка развитие является неизбежным фактом. Поэтому его не нужно насильственно задерживать искусственным путем или даже введением архаизмов, особенно морфологических, в качестве единственно правильных литературных форм, как поступают в ряде случаев журналы «Наша речь» и «Правила чешского правописания» (например, сохраняя или вводя формы jediné, dada и т. д.), и тем самым углублять различие между книжным и разговорным языком, как это было показано выше. Неизбежность развития языка обусловливает наличие сосуществующих дублетов и в литературном языке, которые из литературного языка устранить нельзя: дублеты бывают функциональные (например, функциональное различие между конструкцией генитива или аккузатива после глагола с отрицанием); иногда существуют дублеты, которые регулярно не различаются по своим функциям (например, инфинитивы на -ti и на -t). Однако и эти дублеты могут быть в некоторых случаях использованы функционально или стилистически.

Дублеты возникают в литературном языке также в результате заимствования форм из других функционально-отличных норм (например, дублеты úřad — ouřad, rýpat — rejpat).

Фонетическая структура современного литературного языка является в общем стабилизовавшейся и известной. Немногочисленные отклонения имеют место, как уже говорилось, в результате проникновения элементов фонетической системы обиходно-разговорного языка, с одной стороны, у дублетных форм отдельных слов, с другой — у слов определенного семантического круга, как, например, слов ouško, upejpat se и т. п., формы которых с точки зрения фонетики вообще не имеют ничего общего с соответствующими формами литературного языка (в литературном языке было бы úško, upýpat se); в некоторых случаях речь идет о дублетах, которые имеют более старый и более новый звуковой вид, как, например, posvět' и posvit'.

Что же касается морфологии, то ее подлинное современное состояние не является ни полностью известным, ни во

всех случаях удовлетворительно кодифицированным. Поэтому необходимо последовательное раскрытие современной морфологической структуры, которое должно производиться с помощью синхронного описания и анализа действительного состояния, так как до сих пор эта структура была завуалирована, а отчасти архаизована, поскольку она подвергалась только диахроническому анализу. В кодифицированной норме нужно отграничить, собственно точно обозначить, как архаизмы устаревшие формы, которые в небольшом количестве встречаются в литературном языке. Синхронный разбор покажет, что традиционную кодификацию нужно, с одной стороны, существенно переработать и дополнить и, с другой — заново обработать и оформить. Например, современная кодификация форм местоимений 3-го лица является излишне архаической, так как в винительном падеже ед. ч. у местоимений, относящихся к неодушевленным существительным мужского рода, появляется навязанная ею форма jej, а в среднем роде — форма je как единственно правильные литературные формы, что рождает дальнейшие ошибки в формах этого местоимения (в родительном падеже появляются формы nĕj, jej).

В синтаксисе — наряду с общими положениями, например, предписывающими, чтобы при кодификации не удерживались излишние архаизмы,— нужно заботиться о том, чтобы стремление к стабилизации не стирало функциональных различий синтаксических дублетов и не мешало бы развитию специальных синтаксических средств, благодаря которым книжный язык отличается от языка разговорного; необходимо помнить о том, что синтаксические различия между книжным и разговорным языком, точно так же как и лексические различия,— это наиболее часто используемые средства необходимой функциональной дифференциации литературного языка.

Г

В стабильность формальной и семантической сторон словаря лингвистическая теория вмешивается меньше всего, если не принимать во внимание посильную помощь теории при образовании специальной терминологии, о которой речь пойдет ниже. Косвенно языковед своей теоретической работой может оказывать влияние на словарь тем, что он познает словарь литературного языка и дает специальное описание его современного состояния. При подобной «кодификации», которая в сущности фиксирует только то, что имеется в языке, необходимо заботиться о том, чтобы при опре-

делении значения слов принимались во внимание их функциональные различия и чтобы обращалось внимание на автоматизации, различающиеся в зависимости от функций; любая актуализация всегда находится вне языковой нормы (конечно, если она не перешла в норму литературного языка; ср. стр. 395 и сл.). Точное разграничение значений — само собой разумеющееся требование специальной терминологии, но его нельзя применять по отношению к словарю литературного языка вообще.

Благодаря тому, что дифференциальные средства различных функций литературного языка важны, кроме синтаксиса, еще и в лексике, словарь литературного языка нельзя отождествлять со словарем одной из его функций, а также нельзя связывать его временнóй нормой. Новые же слова следует квалифицировать не только с точки зрения их отношения к формальным и семантическим типам существовавших до сих пор слов, но и с точки зрения их функциональной ценности, а также с точки зрения потребности в них.

* * *

Теоретическое познание нормы и ее кодификация способствуют стабилизации литературного языка также и тем, что они дают возможность познавать норму языка и передавать ее другим.

Наконец, лингвистическая теория может способствовать стабилизации языка и своей критикой. Сравнением языка конкретных языковых высказываний с теоретически установленной нормой она при найденных различиях стремится обратить внимание на отличия диалектного характера (местные или социальные), на архаизмы, варваризмы, на собственно иноязычные влияния, на неологизмы и отличия, вытекающие из неправильной теории или из непонимания теории. Но при этом подобные отличия не должны оцениваться как небрежности и т. п. (что мы замечаем на страницах последних комплектов журнала «Наша речь»), если, конечно, не преследуется цель школьного обучения или если речь идет не об очевидной неспособности к языку. Это могут быть недостатки теоретически установленной нормы, из которых лингвист может и должен извлечь для себя урок: иногда такое отличие может стать началом дальнейшего развития, которое невозможно задержать, и, наконец, последнее — такое отличие может оказаться намеренным, и тогда о целесообразности его должны заботиться сторонники стабилизации. Из сущности поэтического языка вытекает, что отграничивать его отличия от нормы литературного языка с этой целью было бы бессмысленно.

III

Теоретические лингвистические работы могут также поддерживать **функциональную дифференциацию** (**ф. различия**) и **стилистическое богатство литературного языка**; для осуществления функционального и стилистического различий литературный язык нуждается в богатых и функционально разнообразных языковых средствах, главным образом лексических и синтаксических, и в целесообразном их использовании.

Это решается следующим образом: а) в ходе совместной работы при создании специальной терминологии; б) в процессе разработки функционального использования языковых средств, а также в ходе систематического наблюдения и описания стилистических возможностей данного языка; в) при помощи критики отдельных языковых явлений с функциональной точки зрения.

А

Лингвистическая теория весьма эффективно может содействовать созданию специальной терминологии, причем эта работа беспредельна. При этом лингвист должен заботиться не только о том, чтобы новый термин или его адаптация соответствовали лексической структуре чешского языка, но также и о целесообразности введения новых терминов и о возможностях их функциональной нагрузки. Поэтому он не должен забывать о том, что теоретическая, специальная и юридическая терминология тесно связаны со словами, повседневно употребляемыми, вследствие чего здесь может возникнуть многозначность слов (которой сопротивляется теоретический и юридический язык), а также нежелательная эмоциональная окраска терминов (например, zvíře «зверь»).

Напротив, в специальной практической терминологии (технологической) подобная связь со словами повседневной жизни (то есть появление многозначности и эмоциональной окрашенности слова) не только не препятствует, а даже скорее способствует более быстрому закреплению и распространению таких терминов (например, batoh «мешок, ранец», beran «баран» и т. д.). Что касается терминологии административного и торгового языка, то здесь нужно заботиться о сохранении общеупотребительных (ходовых) формул.

При выборе терминов следует отдавать преимущество тем словам, от которых можно образовать производные слова.

Например, слово nadace имеет то преимущество перед словом nadání, что от него можно образовать прилагательное nadační, и т. п.

Наконец, нецелесообразно слишком нарушать интернациональный характер специальной терминологии; чтобы избежать этого, заимствуется международная терминология и сохраняется смысловая координация собственных названий с иностранными терминами.

Б

Лингвистическая теория может также оказать помощь и при определении функциональной нагрузки языковых средств и раскрытии стилистических возможностей языка. Для этого:

1. Она систематически и со всеми подробностями устанавливает, какими специальными языковыми средствами владеют языки различных функций, отдельные лица, школы, направления и т. д.

Примечания: 1. Например, для потребностей философского языка было бы полезным разобрать философскую терминологию чешских гегельянцев, гербартовцев, позитивистов и др.

2. Необходимо произвести анализ языка журналистики с точки зрения его специальных потребностей, особенно с точки зрения готовых схем.

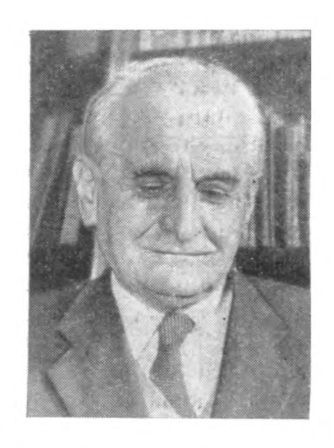
2. Лингвистическая теория обращает внимание на возможности функционального различения и использования языковых средств, особенно лексических и синтаксических, на ведущие к этому тенденции развития и рекомендует указанные возможности, однако без излишней требовательности и навязывания, языкам всех функций.

3. Она систематически описывает стилистику языков различных функций.

В

Наконец, лингвистическая теория может содействовать достижению указанных задач критикой конкретных языковых высказываний с функциональной точки зрения. Подобная критика не может руководствоваться общепринятыми критериями ясности, точности и т. п.; она

оценивает языковые средства и их использование только с точки зрения их адекватности цели высказывания, учитывая при этом и авторское право на индивидуальный выбор; она требует, например, точности только тогда, когда целью высказывания является точность (и неточность может быть функционально обоснована); она оценивает формулы торгового языка с точки зрения их специальных задач и т. д. Однако критика не имеет права вносить в различные задачи и в различные функции литературного языка оценочную иерархию, которая бы одну функцию ставила выше другой. Установленные отклонения от современной нормы должны оцениваться с точки зрения функциональной. От лингвистической критики существенно отличается критика поэтического языка; последняя всегда связана с эстетической оценкой.



Я. Мукаржовский

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ПОЭТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК *

Вопрос о взаимоотношении между литературным языком и языком поэтическим можно понимать двояко. Теоретик поэтического языка ставит этот вопрос примерно так: связан ли поэт нормой литературного языка, а в отдельных случаях: каким образом эта норма находит применение в поэзии? Напротив, теоретик литературного языка спрашивает, в какой степени поэтическое произведение может служить материалом для установления нормы литературного языка. Иными словами, теория поэтического языка интересуется главным образом различием между литературным языком и поэтическим, в то время как теория литературного языка интересуется главным образом сходством между ними. Ясно, что при правильном подходе не может возникнуть противоречия между тем и другим исследованием. Здесь речь идет только о различных точках зрения и о различном освещении проблемы. Наша статья подходит к освещению вопроса о взаимоотношении между поэтическим и литературным языком скорее с позиций языка поэтического. В ходе изложения нам придется общий вопрос расчленить на несколько специальных вопросов.

---

* Jan Mukařovský, Jazyk spisovný a jazyk básnický, сб. «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932, стр. 123—156.

* * *

Первый вопрос, вводного характера, выглядит так: каково взаимоотношение между масштабом распространения поэтического и масштабом распространения литературного языка, между положениями, которые каждый из них занимает в общей системе языкового единства? Чем является поэтический язык: особой ли разновидностью литературного языка или самостоятельным структурным образованием?

О поэтическом языке как о разновидности литературного языка нельзя говорить уже потому, что поэтический язык имеет в своем распоряжении со стороны лексики, синтаксиса и т. д. все структурные образования (útvary), а в отдельных случаях и элементы разных эпох развития данного языка; возможны и такие произведения, лексический материал которых полностью заимствован из языка, отличающегося по своей структуре от структуры литературного языка (например, во французской литературе написанные на жаргоне поэмы Вийона или Риктуса). Различные языковые образования (útvary) в поэтическом языке могут сосуществовать рядом, бок о бок (например, в диалогах романа может употребляться диалект или сленг, а в повествовательных частях — литературный язык), или же переплетаться друг с другом (например, народная речь Праги переплетается с литературным языком в произведениях Неруды и Гашека). Поэтический язык имеет даже особый словарь, фразеологию и некоторые грамматические формы, например: zor, oř, pláti; форма 3-го лица můž (богатую коллекцию примеров можно найти в ироническом описании «языка Луны» в произведении Чеха «Полет пана Броучка на Луну»). Некоторые поэтические школы относятся к таким поэтизмам вполне спокойно (например, «люмировцы», а среди них — Св. Чех), другие же их отрицают.

Итак, поэтический язык не является разновидностью литературного языка. Однако тем самым не отрицается тесная связь между обоими языками, основывающаяся прежде всего на том, что литературный язык является для языка поэтического фоном, на котором отражается подсказанная эстетическими соображениями намеренная деформация языковых частей произведения, иными словами, намеренное нарушение языковой нормы. Если мы рассмотрим произведение, в котором эта деформация осуществляется в результате переплетения диалекта с литературным языком, то обнаружим, что не литературный язык ощущается как деформация диалекта, а, напротив, диалект ощущается как деформация литературного языка, даже в тех слу-

чаях, когда диалект имеет количественный перевес. Нарушение литературной нормы, и особенно систематическое ее нарушение, дает возможность использовать язык для целей поэзии; без этой возможности поэзии не было бы вообще. Чем устойчивей в определенном языке литературная норма, тем разнообразнее возможности ее нарушения и тем больше в таком языке возможностей для поэтического творчества. И, наоборот, чем слабее ощущается норма языка, тем меньше возможностей для ее нарушения и тем меньше оказывается возможностей для поэтического творчества. Так, например, в период зарождения новочешской поэзии, когда литературная норма ощущалась слабо, поэтические неологизмы, имеющие целью нарушение литературной нормы, мало отличались от неологизмов, которые были предназначены для того, чтобы стать общепринятыми словами, составной частью литературной нормы, и, таким образом, те и другие неологизмы часто смешивались.

Такой случай можно встретить у М. З. Полака, неологизмы которого до настоящего времени оцениваются Сабиной и Я. Влчком [1] как неудачные литературные неологизмы, хотя Юнгманн [2] в своем отзыве на эту книгу подчеркнул их эстетическую направленность. Для иллюстрации сопоставим два высказывания: одно Сабины — отрицательное, другое Юнгманна — положительное—относительно неологизмов Полака. Вот что говорит Сабина: «Полак образует новые слова и новые формы, которые во многих случаях не имеют подлинной основы в аналогиях и находятся в противоречии с духом чешского языка». Юнгманн: «Наш поэт благодаря свободному духу идет собственной дорогой, он создает для себя новую, поэтическую речь, всегда придавая своему произведению необходимый художественный характер, без которого поэма никогда не выйдет за рамки обиходно-разговорной речи, никогда не станет поэмой (художественным произведением), то есть никогда не приобретет характер н е о б ы ч н о с т и. Так, мы отмечаем у него уместное употребление старых слов, например: vesna (jaro), hvozd (horní les), chorý (churavý), удачно образованные новые названия, такие, как: hvězdostolec, mhošedý, mlžina, palučina, celo, slavno и прочие подобные субстантивированные названия; тот, кто считает все это ненужным, тот о поэтическом слоге (прибавим, и научном) вообще не имеет никакого понятия». С помощью

---

[1] J. T h o n, Vybrané spisy K. Sabiny, II, Praha, 1912, статья «Mil. Zdirad Polák»; J. V l č e k, Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti, Praha, 1912 (ср. также работы о Полаке в кн. «Литература XIX в.», ч. 2, а также абзац об этом поэте у Влчка «Dějiny české literatury», díl II, sv. 2).

[2] Журнал «Krok», I, 1821, ч. 1, стр. 153.

структурного анализа стихотворения Полака[3] можно было бы доказать, что истина на стороне Юнгманна. Противоречивые же точки зрения при оценке неологизмов Полака я привожу для иллюстрации того утверждения, что при ослабленной норме литературного языка, которая характеризовала язык эпохи возрождения, трудно отличать средства, образующие эту норму, от средств ее систематического и намеренного нарушения и что, таким образом, язык с ослабленной литературной нормой предоставляет поэзии меньше средств.

Отношение языка поэтического к языку литературному имеет как свои отрицательные, так и свои положительные стороны. Последние важны, однако, скорее для теории литературного языка, чем для поэтического языка и его теории. Среди языковых компонентов поэтического произведения, собственно, всегда немало таких, которые не отклоняются от нормы литературного языка, потому что в их задачу входит образовывать фон, на котором отражаются деформации прочих компонентов. Поэтому вполне допустимо, что теоретик литературного языка включает в свой материал и поэтические произведения, однако с оговоркой, что деформированные компоненты языка он отличает от недеформированных. Предположение о том, что все компоненты языка должны совпасть с литературной нормой, является неправильным.

Другой специальный вопрос, на который мы пытаемся ответить, касается ф у н к ц и о н а л ь н ы х р а з л и ч и й обоих языков. В этом состоит суть проблемы.

Функция поэтического языка состоит в максимальной актуализации языкового высказывания. Актуализация противоположна автоматизации и, следовательно, является деавтоматизацией какого-либо акта: чем больше акт автоматизирован, тем меньше его проведение сопровождается сознанием; чем сильнее он актуализирован, тем более полным является его осознание. Объективно это можно выразить следующим образом: при помощи автоматизации явление схематизируется, актуализация же означает нарушение схемы. Литературный язык в своей самой чистой форме, то есть как язык научный, целью которого являются формулировки, избегает актуализации. Так, например, новое и в результате своей непривычности актуализированное выражение в научном трактате тотчас же автоматизируется благодаря тому, что его значение опреде-

---

[3] Важно также, что сам Полак в лексических пояснениях к своему стихотворению строго отличает малознакомые слова (среди них и очевидные неологизмы или вновь заимствованные слова) от тех слов, которые он употребил с эстетической целью, то есть, как об этом свидетельствуют и сами примеры, от поэтических неологизмов.

ляется точно. Случается, что и в литературном языке актуализация оказывается обычным явлением, например в журналистском стиле, а еще более в жанре эссе, однако во всех случаях она подчинена сообщению: она имеет целью обратить более интенсивное внимание читателя (слушателя) на предмет, выраженный актуализированными языковыми средствами. Все только что сказанное об актуализации и автоматизации в литературном языке подробно рассматривается в докладе Б. Гавранка, посвященном этому циклу; здесь же для нас важен лишь поэтический язык. В этом языке актуализация приобретает максимальную интенсивность, то есть такую, которая оттесняет на задний план сообщение как цель высказывания и становится самоцелью; она совершается не для того, чтобы служить цели сообщения, а для того, чтобы выдвинуть на передний план сам акт выражения, говорения. Теперь встает вопрос, каким образом в поэтическом языке достигается максимальная актуализация. Может возникнуть предположение, что речь идет о количественном эффекте, то есть об актуализации максимального количества компонентов, и даже, может быть, всех сразу. Это была бы ошибка, впрочем, только теоретическая, поскольку практически полная актуализация всех компонентов невозможна. Актуализация какого-либо компонента обязательно сопровождается автоматизацией одного или нескольких компонентов. Так, например, актуализированная интонация у Врхлицкого и у Чеха привела к выражению самой большой степени автоматизации значения слова как единицы, ибо слово, актуализированное в смысловом отношении, стало бы самостоятельным и в звуковом отношении и нарушило бы непрерывное движение интонационной (мелодической) линии. Примером того, до какой степени смысловая самостоятельность слова в контексте проявляется и как самостоятельность интонационная, могут служить стихотворения Томана. Автоматизация интонации как непрерывной мелодической линии связана, таким образом, со смысловой «пустотой», за которую люмировцев младшего поколения упрекали в «вербализме». Итак, как было уже сказано, одновременная актуализация всех компонентов практически невозможна. Кроме того, одновременная актуализация всех компонентов поэтического произведения немыслима, так как актуализация какого-либо компонента означает выдвижение его на передний план, а все, что находится на переднем плане, познается только в сравнении с чем-то, что является фоном (задним планом). Одновременная всеобщая актуализация поставила бы все компоненты на один уровень и превратилась бы в их новую автоматизацию.

Средства, благодаря которым поэтическая речь достигает максимальной актуализации, не следует искать среди актуализированных компонентов. Это достигается последовательностью и систематичностью актуализации. Последовательность проявляется в том, что преобразование актуализированного компонента происходит в определенном направлении внутри данного произведения. Так, например, деавтоматизация значений в одном произведении совершается последовательно в результате лексического отбора (в результате взаимного проникновения контрастирующих лексических областей), в другом — опять-таки последовательно — она осуществляется необычным с точки зрения значения отношением слов, тесно связанных с соседними в контексте словами. Это взаимопроникновение имеет своим следствием актуализацию значения, однако различную в каждом отдельном случае. Систематичность актуализации компонентов в поэтическом произведении заключается в том, что взаимоотношения компонентов ступенчатые, то есть различные компоненты взаимно подчинены друг другу. Все прочие компоненты—актуализированные и неактуализированные, и их взаимоотношения оцениваются с точки зрения доминанты. Доминантой является тот компонент произведения, который приводит в движение и определяет отношения всех прочих компонентов. Материал поэтического произведения пронизан многообразными взаимными отношениями компонентов даже тогда, когда он находится в состоянии полностью неактуализированном. Так, например, в языке сообщений всегда в потенции наличествует отношение интонации к значению, к синтаксису, к порядку слов, или же слово как смысловая единица всегда находится в определенном отношении к звуковой структуре текста, к лексическому отбору, произведенному в тексте, к соседним словам того же предложения как к смысловым единицам. Можно сказать, что при помощи этих многообразных отношений каждый языковой компонент так или иначе связан с любыми другими компонентами. В языке сообщений эти отношения являются в большинстве случаев только потенциальными, поскольку на них и на их взаимную обусловленность не обращается никакого внимания. Однако достаточно вывести эту систему из равновесия хотя бы в одном определенном пункте, чтобы вся сеть (система) отношений напряглась в каком-то определенном направлении и таким образом внутренне организовалась. Иными словами, при таких условиях возникает напряжение одной части сети (систематическая актуализация в одном направлении) при одновременном ослаблении других частей (автоматизация воспринимается как намеренно оформленный фон). Эта внутренняя

организация отношений в каждом случае будет иной в зависимости от пункта, на который она оказывает воздействие, то есть в зависимости от доминанты. Наглядно это можно выразить следующим образом: в одном случае интонация будет зависеть от значения (это может произойти при помощи различных способов), в другом случае, наоборот, смысловая сторона будет предопределяться интонацией, или же будет актуализировано отношение слова к лексическому составу, иногда — отношение этого слова к предложению, иногда — его отношение к звуковой стороне текста. Какое из возможных отношений и когда будет актуализировано, а какое остается автоматизированным, в каком направлении будет проходить актуализация — от компонента *а* к компоненту *б* или наоборот — все это будет определено доминантой.

Итак, доминанта придает поэтическому произведению единство. Однако это единство sui generis, характер которого в эстетике обозначали как «единство в разнообразии», единство динамическое, в котором одновременно ощущается гармония и отсутствие ее, подобно конвергенции и дивергенции. Конвергенция определяется стремлением к доминанте, дивергенция — сопротивлением этому стремлению, которое отмечается у недвижного фона неактуализированных компонентов. Одни компоненты могут быть неактуализированными с точки зрения нормы литературного языка, другие же — с точки зрения поэтического канона, то есть совокупности прочных и устойчивых норм, на которые распалась в результате автоматизации структура предшествующей поэтической школы, перестав ощущаться как неделимое и неразложимое целое. Иными словами, бывает, что в некоторых случаях компонент, актуализированный с точки зрения нормы литературного языка, несмотря на это, начинает функционировать в том или ином произведении как неактуализированный под влиянием автоматизированного поэтического канона. Каждое поэтическое произведение должно восприниматься на фоне некоторой традиции, то есть некоторого автоматизированного канона, по отношению к которому оно является деформацией. Внешне такая автоматизация проявляется в легкости, с которой можно творить в соответствии со схемой канона, в бурном эпигонстве и в любви к стареющему поэтизму в слоях, далеких от литературы.

Показателем того, насколько остро новое поэтическое направление ощущается как деформация традиционного канона, является отрицательное отношение консервативной критики, которая намеренные отклонения от традиционного канона оценивает как нарушение сущности поэтического творчества.

Сопутствующий поэтическому произведению фон, который воспринимается нами как нечто обусловленное неактуализированными компонентами и препятствующее актуализации, является двойственным: это норма литературного языка и традиционный эстетический канон. Оба эти фактора всегда в потенции существуют, и один из них в каждом конкретном случае имеет перевес. В период сильной актуализации языковых элементов преобладающей является литературная норма, в период умеренной актуализации получает перевес традиционный канон; при этом в зависимости от того, насколько значительно деформирована литературная норма, деформация может восприниматься вследствие своей умеренности и как обновление литературной нормы. Взаимоотношение актуализированных и неактуализированных компонентов поэтического произведения составляет с т р у к т у р у произведения, которая является динамичной по своей природе (включая конвергенцию и дивергенцию), а также нечленимой как факт художественный, ибо каждый ее элемент приобретает значение только в своем отношении к целому.

Ныне стало вполне очевидным, что возможность нарушения нормы литературного языка — независимо от того, принимаем ли мы во внимание только этот фон актуализации,— является необходимой в поэтическом творчестве. Без этого не было бы вообще поэтического творчества. Упрекать поэзию в отходе от литературной нормы, особенно в период, когда, как, например, в настоящее время, ощущается стремление к сильной актуализации языковых компонентов,— значит отрицать поэтическое творчество. Разумеется, кое-кто может возразить, что некоторые произведения поэзии, собственно целые категории поэтических произведений, актуализируют только «содержание» (тему), и, следовательно, все, что здесь было сказано, к ним не имеет отношения. Под такими произведениями я подразумеваю в первую очередь эпическую прозу, особенно роман и новеллу. Однако следует принять во внимание, что поэтическое произведение любого вида не имеет четких границ, а в известном смысле — и существенных различий между языком и темой. Тема поэтического произведения не может оцениваться с точки зрения ее отношения к неязыковой действительности, отраженной в произведении, она является составной частью содержания произведения (этим, разумеется, мы не хотим сказать, что отношение произведения к действительности не может быть фактором поэтической структуры, например, в реализме). Единственной наукой, изучающей так называемое содержание поэтического произведения, является семантика темы. Справедливость этого утверждения можно

было бы доказать на обширном материале; мы коснемся здесь лишь основного положения: на тему поэтического произведения не распространяется, да и вообще не имеет никакого смысла, требование правдивости. Даже если бы мы поставили этот вопрос и ответили на него положительно или отрицательно, ответ не содержал бы никакой оценки художественных достоинств произведения; отвечая на этот вопрос, мы можем лишь удостовериться, в какой степени данное произведение может быть оценено как документальное. Если же в том или ином поэтическом произведении подчеркивается, что происходящее соответствует действительности (как в рассказе Ванчуры «Dobrá míra»), то это обстоятельство свидетельствует только о том, что тема была известным образом семантически окрашена. Совершенно иначе обстоит дело с темой в речи сообщений. Там определенное отношение темы к действительности имеет большое значение, является необходимым требованием. Так, например, для журналистского репортажа вопрос о том, рассказывается ли о событии, действительно имевшем место или же нет, имеет основное значение.

Итак, тема поэтического произведения является наивысшим мерилом содержания произведения. Значение ее сводится к определенным качествам, которые не ограничиваются только языковым знаком, но связаны со знаком как с фактом общесемиологическим (в особенности важна независимость от определенных данных знаков или от определенного ряда знаков, вследствие чего одна и та же тема может без существенной разницы быть выражена различными языковыми средствами и даже вообще перенесена в иной знаковый ряд; ср. транспозицию темы из одного вида искусства в другой), однако эти различные качества не затрагивают характера содержания темы. Следовательно, и на поэтические произведения и их разновидности, где тема является доминантой, распространяется положение о том, что тема не является эквивалентом «действительности», которая должна быть отражена в произведении как можно более целесообразно (например, как можно более правдиво); напротив, тема является составным компонентом структуры, она руководствуется ее законами и оценивается на основе своего отношения к структуре. Это же положение распространяется в одинаковой степени и на роман, и на лирическую поэму, так что лишать поэтическое произведение права нарушать литературную норму, означает отрицать поэтическое творчество. Даже по отношению к роману нельзя утверждать, что в нем языковые элементы являются выражением содержания, эстетически индифферентного, даже в том случае, если они представляются нам совершенно неактуализированными: структура является сово-

купностью всех элементов, динамика этого целого возникает как раз в результате установления напряжения между компонентами, актуализированными и неактуализированными. Впрочем, существуют многочисленные романы и новеллы, языковые компоненты которых являются явно актуализированными. Исправление, внесенное в интересах языковой точности, затронуло бы даже в прозе самую сущность произведения: это произошло бы, например, в том случае, если бы поэт или переводчик решились устранить, как этого требует «Наша речь», «излишние» относительные предложения.

Остается выяснить еще вопрос об эстетической оценке в языке, за исключением языка поэзии. Недавно у нас была высказана следующая точка зрения: «Эстетическую оценку необходимо вообще исключить из языка, так как мы не находим почвы, на которую ее можно было бы распространить. Полезной и необходимой является эстетическая оценка при обсуждении стиля, но ни в коем случае не при оценке языка» (J. Haller, Problém jazykové správnosti, Výroční zpráva č. st. ref. reál. gymnasia v Ústí nad Labem, 1930—1931, стр. 23).

Я оставляю в стороне критику терминологически неясного противопоставления стиль — язык, однако в противовес тезису Галлера я намерен заметить, что эстетическая оценка является важным фактором при создании литературной нормы, с одной стороны, потому, что без нее невозможна сознательная шлифовка языка, с другой стороны, потому, что само развитие литературной нормы часто определяется именно этим фактором.

Начнем с общего рассуждения из области эстетических явлений. Вполне понятно, что эта область выходит далеко за пределы искусства; так, например, Дессуар по этому поводу говорит: «Стремление к красоте не должно проявляться только в специфической форме искусства. Напротив, эстетические потребности настолько сильны, что они касаются почти всех проявлений человеческой жизни» [4]. Если область эстетических явлений весьма обширна, то, само собой разумеется, что и эстетическая оценка может распространяться на предметы, лежащие за пределами искусства, например, немалую роль играет эстетический момент при сексуальном выборе, в моде, при выборе общественных форм, культуры кулинарии и т. д. Разумеется, существует разница между эстетическими оценками в искусстве и за пределами искусства. Эстетические оценки в искусстве, естественно, занимают самое высокое положение в иерархии оценок, содержащихся в произведении,

[4] M. Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart, 1906, стр. 112.

тогда как за пределами искусства их положение является неустойчивым и, как правило, зависимым. Кроме того, в искусстве мы оцениваем каждый элемент под углом зрения его отношения к структуре данного произведения, при этом мерилом оценки в каждом конкретном случае является функция элемента в такой структуре. За пределами искусства отдельные компоненты оцениваемого явления не объединяются в эстетической структуре, а мерилом оценки является устойчивая норма, распространяющаяся на данный компонент вне зависимости от того, где он встречается. Если же область эстетической оценки настолько широка, что она охватывает «почти все проявления человеческой жизни», то уже заранее ясно, что из языка нельзя исключить эстетическую оценку, иными словами, нельзя допустить, чтобы пользование языком не подчинялось требованиям вкуса. Можно, впрочем, дать также и прямое доказательство того, что эстетическая оценка является одним из главных критериев пуризма и что невозможно даже представить себе развитие литературной нормы без этой эстетической оценки.

И у нас были периоды, когда эстетическая оценка сознательно рассматривалась как один из главных критериев языковой утонченности. Наши нынешние пуристы ее отрицают, однако только в теории, потому что на практике, как мы покажем, они ею часто руководствуются. Это вполне естественно, так как эстетическое отношение к языку заключено уже в самой сущности пуризма. Французский поэт Реми де Гурмон в 1899 г. издал пуристскую книгу под названием «Esthétique de la langue française», в предисловии к которой говорится: «Эстетика французского языка предполагает изучение условий, в которых должен развиваться французский язык, чтобы сохранить свою красоту, то есть свою первоначальную чистоту. Установив уже много лет назад, что нашему языку причиняет ущерб неразумное употребление слов экзотических или греческих, варваризмов любого происхождения, я подытожил свои впечатления и пришел к такому выводу, что эти пришельцы так же отвратительны, как и неверный оттенок в картине или фальшивый тон в музыкальной фразе». В указанном введении, а также в самой книге Гурмон выступает главным образом против заимствований из греческого языка, которые встречаются во французском языке чаще всего. Выступая против этих заимствований, автор не мог сослаться на политические соображения, так как речь шла о заимствовании из мертвого языка. Он не мог привести и ссылку на опасность порчи языка, поскольку это касается языка дипломатического и международного, литература которого стояла во главе европейских литератур. При

таких обстоятельствах эстетическая оценка приобретала очень большое значение. То существенное значение, которое эстетическая оценка имела для пуризма, подчеркивает, впрочем, и Фосслер («Jahrbuch für Philologie», I, 1925, статья «Die Nationalsprachen als Stile», стр. 2). В этой статье он говорит о том, что эстетическая оценка была устранена из научной грамматики, но то, что научная грамматика отрицала, возникает вновь и становится даже предметом сознательной заботы в руках академических грамматистов, ораторских школ, мастеров художественного слова и п у р и с т о в.

Итак, элемент эстетической оценки содержится в самой сущности пуризма. Поэтому не удивительно, что (и это было уже отмечено) даже те пуристы, которые сторонятся эстетической оценки в языке, на практике сами непроизвольно оценивают язык с эстетических позиций. Так, доктор Галлер в реферате о «Kronice z konce tisíciletí» («Хроника конца тысячелетия») Незвала («Naše řeč», XIV, стр. 157) заявляет: «Автор не умеет отличать выражения хорошие и сочные от сорняков, внесенных в язык теми, кто его портит; он не умеет отличать живое и естественное употребление от пустых и книжных построений...» Равным образом в статье «Dle, vedle, podél» («Naše řeč», XIV, стр. 166) содержится фраза: «Я полагаю, что искусственность (книжность) — это большой порок и что слово, если оно является искусственным, не может не отражать этого изъяна». Когда Галлер отличает выражения «хорошие и сочные» от «пустых и книжных построений», одни отрицая, другие поддерживая, то он вносит в это свое различение оттенок эстетической оценки лексических областей. При объективной классификации можно было бы только констатировать, что некоторые слова характерны для словарного состава письменной речи (предназначенной для письменного высказывания), а другие — для словарного состава устной речи (предназначенной для устного высказывания) [5]. К первому типу слов относятся слова, которые Галлер называет «бумажными» («книжными»); ко второму же — те, которые он называет «сочными». Соответствующая оценка каждой из этих лексических областей может быть только функциональной. Это означает, что она может распространяться на конкретные случаи употребления с учетом цели высказывания. Еще более убедительный случай эстетической оценки мы обнаруживаем у Галлера в «Jazykovém rádci» (№ 1, стр. 4). Здесь

---

[5] Об устном и письменном высказываниях как о функциональных ответвлениях языка ср. тезис о языковых функциях, предложенный для дискуссии Пражским лингвистическим кружком I съезду славистов в Праге в 1929 г.

Галлер осуждает употребление глагола docíliti, приводит его замены и заключает: «При анализе этих замен становится совершенно ясно, что нет надобности заражать чешский текст этим отвратительным словом». Таким образом, эстетическая оценка этого слова здесь явно отрицательная.

Однако и при конкретной шлифовке языка у Галлера проявляется эстетическая направленность. Так, например, в упомянутой книжке (№ 4, стр. 6) он следующим образом критикует глагол přehnati «перегнать», употребленный в переносном смысле: «Глагол přehnati известен нам всем из сказки о пастухе, который гонит овец через мостик. Когда он их перегонит, рассказ будет продолжен. Когда мы были детьми, мы это очень хорошо понимали, потому что глагол přehnati имел для нас только свое единственное и правильное значение. Однако ныне в духе нового онемеченного чешского языка выражение přehnati ovce будет пониматься нами примерно в значении немецкого übertreiben, что значит «перенапрячь, преувеличить, сделать чрезмерным». В этом духе написана фраза: «Сцена раздевания, которую Когоут преувеличил (přehnal) *до вульгарности* также, видимо, через какой-то мостик». Приведенная аргументация является совершенно эстетической. Если глагол přehnati имеет в чешском языке два значения, то в повествовательной речи эти значения ощутимо отделены друг от друга и между собой никак не переплетаются; подобное явление наблюдается нередко. В поэзии такая двойственность значения может использоваться в применении к особому типу смысловой актуализации и именно таким образом, что с помощью стилистических средств обусловливается одновременное выявление обоих значений двузначного слова. Известно, что двузначностью слов широко пользуется восточная поэзия; современная поэзия начиная с эпохи символизма также часто прибегает к омонимии. Приведем два примера (один — из стихов Бржезины, другой — из стихов Сейферта). Во фразе (взятой из Бржезины) «A dusot černých dní, jež slyším z dálky cválat» («И я слышу топот черных дней, как он скачет издалека») слово černý обозначает одновременно цвет по отношению к словам dusot, cválat (подразумевается «конь») и характер эмоциональной настроенности по отношению к слову den («черные дни»—«печальные дни»); здесь использовано одновременное наличие значений основного и переносного. В стихах Сейферта

Kohoutek někdy kokrhá a někdy spouští
Kdož chtěli svádět byli svedeni
A jako svého času vedl Mojžíš židy pouští
My máme elektrické vedení

также наблюдается обыгрывание двузначности, однако она является здесь устойчивой, лексической двузначностью и содержится в словах kohoutek, vedení, а не двузначностью, обусловленной контекстом, которая имеет место в стихах Бржезины. Если мы сопоставим эти цитаты с цитатой из Галлера, то нам станет ясно, что то, чего оба поэта достигали имплицитными стилистическими средствами (Бржезина — переплетением основного и переносного семантического планов — prchající čas «бегущее (уходящее) время»: cválající koně «скачущие кони»— в одном слове, Сейферт — стилистическим пояснением: Kohoutek kokrhá a spouští), Галлер выражает открыто, простым двукратным сопоставлением обоих — основного и переносного — значений слова. Если он говорит: «Выражение přehnati ovce мы склонны понимать в значении немецкого übertreiben», — то в этом случае основное значение обусловлено контекстом, переносное — эквивалентом из немецкого языка; если же он добавляет к цитате «Kohout přehnal scénu» замечание «видимо, также через какой-то мостик», то переносное значение содержится в цитате, а первоначальное — в глоссе Галлера. В обоих случаях имеет место семантическая двойственность, которая иначе бы не ощущалась. Метод, хотя и примитивный, но явно эстетический.

Совершенно обязательно применение эстетической оценки при шлифовке языка, и те пуристы, которые отрицают ее правомочность, невольно осуждают свою собственную практику. Без эстетического критерия невозможна любая другая форма культуры литературного языка, если даже она и более целесообразна, чем пуризм. Это, однако, не означает, что тот, кто является проводником культуры языка, имеет право обращаться с ним сообразно своим собственным вкусам, как это охотно делают именно пуристы. Подобное вмешательство в развитие литературного языка является эффективным и целесообразным только в тот период, когда сознательная эстетическая оценка явлений становится социальным фактом, как это, например, было во Франции в XVII в. В другое время, в такое, например, как наше, эстетический критерий имеет скорее регулирующее значение для культуры языка: тот, кто является проводником культуры языка, должен остерегаться, чтобы во имя языковой правильности не навязать литературному языку способов выражения, нарушающих эстетический канон (совокупность норм), представленный в языке не непосредственно, а объективно; вмешательство, пренебрегающее эстетическими нормами языкового развития, скорее тормозит, чем поддерживает развитие языка. Поэтому необходимо, чтобы эстетический канон, который меняется не только от языка к языку, но и в различные периоды развития одного и того же

литературного языка (в данной статье мы не принимаем во внимание другие функциональные ответвления, каждое из которых имеет свой собственный эстетический канон), был вскрыт и по возможности изучен научным исследованием. Кроме того, для нас имеет существенное значение вопрос, каким образом эстетическая оценка проводится в жизнь. Прежде всего следует обратить внимание на способы пополнения и обновления словаря литературного языка. Слова, поступающие из сленга, из диалектов или из иностранных языков, как мы знаем из собственного опыта, нередко заимствуются в силу своей новизны и необычности, следовательно, из-за потребности в актуализации, при которой значительную роль всегда играет эстетическая оценка. Слова поэтического языка, поэтические неологизмы также могут проникать этим путем в литературный язык, и в таком случае заимствование оказывается возможным в связи с потребностями коммуникации (например, потребность в новом семантическом оттенке). Влияние поэтического языка на язык литературный не ограничивается, однако, только выбором лексики: заимствуются, например, и интонационно-синтаксические схемы (клише), разумеется, только из эстетических соображений, потому что изменение существующего типа синтаксической и интонационной структуры почти не является необходимым для целей коммуникации. Очень интересное замечание на этот счет содержится в книге поэта Ж. Кокто «Le secret professionel» (Paris, 1922, стр. 36): «Стефан Малларме оказывает ныне влияние на стиль ежедневной прессы таким образом, что даже журналисты об этом не подозревают». Комментируя это высказывание, необходимо подчеркнуть, что Малларме насильственно деформировал синтаксис и порядок слов, который, будучи во французском языке фактором грамматическим, является несравненно более строгим, чем в чешском языке. Несмотря на эту интенсивность деформации или же, напротив, благодаря ей Малларме и оказал влияние на развитие фразы в литературном языке.

Влияние эстетической оценки на развитие литературной нормы отрицать нельзя; в связи с этим данная проблема заслуживает внимания теоретиков. Однако до сих пор мы почти не имеем, например, статей по лексикологии, посвященных рассмотрению проблемы о том, какие поэтические неологизмы привились в языке и при каких обстоятельствах; единственной попыткой такого рода осталась статья Фринты «Рукописные подделки и наша литературная речь» («Naše řeč», II). Необходимо также исследовать, каков характер и каково значение эстетической оценки в литературном языке. Эстетическая оценка основывается здесь, как и везде, где она не базируется

на художественной структуре, на известных общепринятых нормах. В искусстве, в том числе и в поэтическом, каждый элемент оценивается в своем отношении к структуре: при оценке ставят вопрос, каким образом и в какой степени данный элемент выполняет функцию, приходящуюся на его долю в данном структурном целом; мерилом этого является контекст определенной структуры, который не имеет силы для какого-либо другого контекста. Доказательством всего этого служит то обстоятельство, что тот или иной элемент сам по себе может ощущаться и как негативный по отношению к соответствующей эстетической норме, в том случае, если его деформирующий характер проявляется в достаточно сильной степени; однако по отношению к данной структуре как ее существенная составная часть он оценивается положительно именно при учете этого деформирующего характера. Помимо поэзии, в литературном языке (и в языке вообще) эстетической структуры не существует. Однако имеется все же совокупность определенных эстетических норм, из которых каждая самостоятельно распространяется на определенный языковой элемент. Эта совокупность, канон, имеет постоянный характер только в определенное время и в определенной языковой среде. Так, например, эстетический канон литературного языка отличается от эстетического канона сленга. Поэтому было бы неплохо описать и охарактеризовать эстетический канон современного литературного языка и изучить развитие этого канона в прошлом. Впрочем, уже заранее ясно, что развитие его связано с изменениями структуры в поэтическом искусстве. Установление и изучение эстетического канона, действующего в определенном литературном языке, имело бы ценность не только теоретическую как составная часть его истории и его характеристики, но также, как уже отмечалось, это имело бы практическое значение для культуры языка.

* * *

Вернемся теперь к главному предмету настоящей статьи и попытаемся сделать выводы из того, что говорилось выше об отношениях, существующих между языком литературным и поэтическим.

Как уже указывалось, поэтический язык является особой формой, имеющей иную функцию, чем литературный язык. Поэтому одинаково неправомерно как провозглашать всех поэтов без исключения творцами литературного языка, так и возлагать на них ответственность за то или иное состояние

литературного языка. Тем самым, разумеется, не отрицается ни возможность привлечения поэтического творчества в качестве материала при научном описании нормы литературного языка (ср. стр. 409), ни тот факт, что́ развитие литературной нормы не обходится без влияния поэтического творчества. Деформация литературной нормы касается, однако, самой сущности поэтического языка, и поэтому было бы неверным требовать от поэтического языка его подчинения литературной норме. Эту мысль ясно сформулировал уже в 1913 г. Фердинанд Брюно: «Современное искусство, индивидуалистическое по своей сущности, не может всегда и во всем удовлетворяться общим языком. Законы, кото́рым подчиняется обычное выражение мысли, не должны — без тирании, в будущем уже невыносимой,— категорически предписываться поэту, который может найти своеобразные средства интуитивного выражения за пределами общепринятых форм языка. От него зависит, чтобы он использовал их в соответствии со своим творческим решением без каких-либо ограничений, кроме тех, которые ему дает вдохновение. Общественное же мнение вынесет окончательный приговор» («L'autorité en matière de langage» в «Die neueren Sprachen», XX). Любопытно сопоставить с высказыванием Брюно заявление Галлера, сделанное им в 1931 г.:

«Наши писатели и поэты в своем творческом усилии хотят подменить совершенное знание языкового материала какой-то воображаемой способностью, в которой они сами не убеждены достаточно искренне. Они выговаривают себе право, которое не может быть не чем иным, как несправедливой привилегией. Подобная способность, инстинкт, вдохновение, или как там еще это называется, не могут существовать сами по себе; точно так же, как и языковое чутье, она может явиться лишь конечным результатом предшествующего познания, и без сознательного подкрепления готовым языковым материалом она окажется ничуть не лучше любого произвола» (см. «Problém jazykové správnosti», стр. 3). Если мы сопоставим высказывания Брюно и Галлера, то различие между ними станет очевидным и без комментариев. Мы можем вспомнить также критику Юнгманном работы Полака «Vznešenosti přírody», приведенную в другом месте нашей статьи (стр. 408); здесь Юнгманн совершенно определенно обозначил в качестве характерной черты поэтического языка его «необычность», то есть его деформированность. Несмотря на высказанные здесь утверждения, состояние нормы литературного языка имеет значение для поэтического творчества именно потому, что литературная норма является фоном, на который проектируется структура поэтического произведения и по отношению к которому она

воспринимается как деформация; структура поэтического произведения может полностью измениться, если произведение спустя некоторое время после своего появления проецируется на плоскость изменившейся литературной нормы.

Помимо связи литературной нормы с поэзией, существует и обратная связь — поэзии с литературной нормой. О влиянии поэтического языка на развитие литературной нормы мы уже говорили, остается добавить лишь несколько замечаний. Прежде всего желательно напомнить, что поэтическая актуализация языковых явлений как самоцель не может стремиться к созданию новых средств коммуникации (как предполагают Фосслер и его школа). Если же что-либо и перейдет из языка поэтического в литературный, то это будет обычное заимствование, которое наблюдается в тех случаях, когда литературный язык заимствует новые формы из какой-либо другой языковой сферы; даже мотивировка заимствования может быть той же самой: заимствование из поэтического языка может производиться по соображениям неэстетическим, то есть из потребности коммуникации, и, напротив, заимствование из других функциональных языков, например из сленга, может производиться с целью эстетической. Заимствования из поэтического языка возникают, невзирая на намерение поэта. Так, например, поэтические неологизмы появляются как эстетически направленные новообразования; их существенным признаком является их неожиданность, непривычность и исключительность. С другой стороны, неологизмы, создаваемые с целью коммуникаций, отличаются обычной деривацией, они легко включаются в определенную лексическую категорию; этими качествами обусловлена их широкая употребительность. Но если бы поэтические неологизмы создавались с учетом их общеупотребительности, то это поставило бы под угрозу их эстетическую функцию; поэтому, как правило, способ их образования необычен; при их образовании отмечается значительное насилие над языком, совершаемое с точки зрения формообразовательной и семантической. Итак, при оценке поэтических неологизмов было бы неправильным пользоваться тем же критерием, что и при оценке литературных неологизмов, как это делает, например, Галлер: «Принципы, которых необходимо придерживаться при образовании новых слов, касаются прежде всего профессиональной терминологии (медицинской, технической), но в сущности их можно распространить и на все другие отрасли, в особенности на словообразование в области искусства... Каждое новое выражение, хотя бы даже и такое, потребность и полезность которого ощущается индивидуально, то есть в сознании индивидуума, должно удовлетворять потребности общества

и быть для него полезным» (см. «Problém jazykové správnosti», стр. 14).

Несмотря на то что создание литературной нормы не входит ни в цели поэзии, ни в намерения поэтов, поэтический язык является одним из факторов, который способствует преобразованию литературного языка; ср. об этом высказывание Шальды: «Язык создают народ, эпоха, жизнь и в какой-то незначительной мере и поэты» («Šaldův zápisník», IV, стр. 122). Сила влияния поэтического языка на развитие литературной нормы бывает различной в различные эпохи: некоторые направления и целые периоды почти не оказывают никакого влияния, другие же, напротив, оказывают значительное влияние. Существуют и такие периоды, когда поэтический язык почти совпадает с литературным языком и когда между обоими не проводится никакого различия. Это период так называемого классицизма, когда логический критерий в поэзии выдвигается за крайний предел возможного. В период классицизма поэты чувствуют свою близость к пуристам; ср. письмо французского поэта Расина [6] сыну: «Вы научитесь там (в Revue de Hollande) некоторым выражениям, которые ничего не стоят, например научитесь употреблять глагол recruter; вместо этого нужно говорить faire des recrues». В период классицизма поэзия действительно принимает участие в создании литературной нормы, а деформация языковых элементов в поэтической структуре оказывается весьма ограниченной. В такие периоды значения слов в самой поэзии тщательно дифференцируются и абстрагируются; слова, не поддающиеся этой тенденции, устраняются из языка. Фосслер в сочинении «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» (Heidelberg, 1913, стр. 367) говорит: «Ни в один из периодов жизни французского языка не было отвергнуто такого количества исторических словарных ценностей, как в XVII в.». Язык, прошедший через классицизм, имеет преимущество строго организованной и четкой литературной нормы; но наряду с этим он обладает и отрицательными качествами, в частности — строгостью нормы, ослабленной ее приспособляемостью и некоторой бедностью. Характерно, что именно во Франции на разные лады повторяется тревожный лозунг «Le français — une langue morte», а поэт Супо в своей пражской лекции восхваляет лавину переводов, которая обрушилась на французский книжный рынок, и выражает надежду, что варваризмы, внесенные в язык благодаря этим переводам, обогатят и сделают более

---

[6] Цитируется по книге G o u r m o n t, Esthétique de la langue française, изд. 9-е, стр. 139.

разнообразным литературный язык. В новочешской поэзии периода классицизма до сих пор не было; это голый факт, но оценить его в одно и то же время можно, разумеется, и положительно, и отрицательно.

Тем не менее новочешская литература пережила период, в который поэтический язык почти сливался с литературным. Это был период возрождения, когда создавался новочешский литературный язык. Не будем пока касаться поэтических переводов Юнгманна, а остановимся на лексическом влиянии Краледворской и Зеленогорской рукописей на литературный язык; в статье Фринты «Rukopisné podvrhy a naše spisovná řeč» указывается, что из RKZ (то есть из указанных рукописей) в литературный чешский язык пришло более 100 слов; имеются в виду, с одной стороны, архаизмы, а с другой — варваризмы (слова польские, русские, сербские) или диалектизмы и, кроме того, также неологизмы. Такое интенсивное заимствование является свидетельством большого сближения языка литературного с языком поэтическим. Однако здесь идет речь о явлении, существенно отличном от явлений, наблюдаемых в период классицизма; сходство здесь мотивируется не внутренним развитием поэзии, а внешним нарушением развития традиции литературного языка. Поэтому с самого начала предпринимаются попытки нарушить это соответствие, радикально отделить поэтический язык от литературного, представить его как деформацию на фоне литературной формы. Потребность в подобном обособлении высказал уже сам Юнгманн в предисловии к переводу «Потерянного рая» Мильтона: «Не допусти, милый патриот, чтобы возвышенная тема была унижена будничным языком» [7]. Грандиозной попыткой деформации литературной нормы была «Vznešenost přírody» Полака с ее поэтическими неологизмами; утверждая это, мы можем сослаться на мнение Юнгманна, высказанное им при оценке произведений Полака (см. цитату в настоящем сб. на стр. 408). Показательным для своего времени является и то обстоятельство, что Юнгманн хвалит Полака за тот «характер необычности», который, по его мнению, поэт сумел придать своему произведению, а также за его стремление к «новой, индивидуальной поэтической речи».

Итак, взаимоотношение между языком поэтическим и литературным, их взаимное сближение или отдаление с течением

---

[7] Об этом рассказывает Я. Якубец в кн. «Literatura česká XIX stol.» (Praha, 1902, стр. 562), анализируя перевод из Мильтона: «Стимулом для языкового творчества Юнгманну служила распространенная тогда точка зрения о том, что поэтический язык должен отличаться от будничной речи».

времени меняет свой характер. Однако даже в одно и то же время и при одной и той же литературной норме взаимоотношение между языком поэтическим и литературным не может быть одинаковым у всех поэтов. В этом смысле в общих чертах существует три возможности: или писатель, например романист, вообще не деформирует языковые элементы своего произведения (и эта недеформированность является все же фактом языковой структуры его произведения), или же он хотя и деформирует, но все же подчиняет языковую деформацию теме, например сообщает нелитературную окраску своему словарю с целью характеристики лиц и среды, или, наконец, деформирует языковые компоненты таким образом, что либо тема подчиняется языковой деформации, либо подчеркивается контраст между темой и языковым выражением. Примером первой возможности мог бы быть Арбес, второй — некоторые романисты, например Т. Новакова или З. Винтер, третьей — В. Ванчура. Естественно, что в направлении от первой возможности к третьей растет дивергенция между языком поэтическим и языком литературным. Разумеется, подобное разграничение для наглядности схематизировано; действительность же во многом сложнее.

Однако проблемой соотношения литературного и поэтического языка значение поэзии как искусства, материалом для которого служит язык, для литературной речи и для национального языка вообще не исчерпывается. Факт одного лишь наличия поэзии в языке народа имеет решающее значение для этого языка. Весьма удачно высказал эту мысль Шальда («Šaldův zápisník», IV, стр. 125): «Повсюду, где язык не является также и прежде всего средством выражения, где к языку не относятся прежде всего как к орудию монументальности, как к материалу, из которого создаются религиозно-общественные священные шедевры, язык быстро приходит в упадок и вырождается». Поэзия именно с помощью своей актуализации увеличивает и делает более утонченным умение обращаться с языком вообще, она дает возможность языку более гибко приспосабливаться к новым задачам и более богато дифференцировать средства выражения. Актуализация выносит на поверхность, выставляет на вид нередко такие языковые явления, которые в языке сообщений совершенно скрыты, хотя они и являются важными языковыми факторами. Так, например, символизм, у нас в особенности в поэзии О. Бржезины, открыл перед языковым сознанием сущность значения предложения и динамичность его конструкции. С точки зрения языка сообщений смысл предложения складывается из комплекса постепенно присоединяемых значений отдельных слов, то есть из чего-то, не имеющего самостоятельного существования. Подлинная сущность явле-

ния скрыта за автоматизацией смысловой конструкции предложения. Слова, предложения присоединяются друг к другу, как кажется, с само собой разумеющейся необходимостью, обусловленной только характером сообщения. Однако неожиданно мы сталкиваемся с поэтическим произведением, в котором отношение между значениями отдельных слов и темой предложения является актуализированным. Слова здесь не присоединяются явно и незаметно; напротив, внутри предложения происходят семантические скачки и переломы, не обусловленные потребностью сообщения, но заключенные в самом языке. Такая ломка языка может произойти только благодаря постоянному переплетению плоскости основного значения с плоскостью значения переносного, образного; некоторые слова в одной части контекста фразы употребляются в переносном значении, в другой части контекста — в значении первоначальном; подобные слова, несущие одновременно два значения, как раз и являются местами смысловых переломов. Взаимоотношения между темой предложения и словами в той же степени актуализированы, как и взаимные смысловые отношения между словами во фразе. Тема фразы при этом становится притягивающим пунктом, данным уже в начале предложения; обнаруживается влияние темы на слова и слов на тему; ощущается также определяющая сила, с которой каждое слово предложения воздействует на остальные слова. Предложение оживает перед глазами коллектива, который пользуется языком; разрозненные кубики обнаруживают себя как гармония сил. (То, что здесь было сформулировано в виде понятий, следует, разумеется, представить себе в состоянии интуитивного, неоформленного познания, отложившегося впоследствии в сознании языкового коллектива.) Количество примеров можно было бы произвольно увеличить, но ограничимся сказанным. Мы стремились только доказать, что основное значение поэзии для языка состоит в том, что она является искусством.

Итак, если поэзия намерена выполнить стоящую перед ней задачу, она не должна бояться никаких экспериментов, никакой деформации литературной нормы, в том случае, если с их помощью она сможет показать язык с совершенно новой стороны. Теперь, разумеется, можно было бы задать вопрос, похожий на возражение: действительно ли поэтический язык вообще бесконтролен? Ответ гласит, что нет, потому что существует критика и, если идет речь о языке поэтического произведения, то, стало быть, критика языковая. Однако эта критика может быть только эстетической. В отрицательном смысле это означает, что критика не должна судить о поэте только с позиций литературной нормы, а в положительном смысле это означает,

что критик должен взять на себя риск и личную ответственность, которые выпадают на долю любой литературной критики. Как критика художественного произведения вообще, так и языковая критика поэтического произведения в частности оценивает не только критикуемое произведение, но свидетельствует также и о вкусе и деловой компетентности критика. Языковая критика поэтического произведения может проводиться в общем с двух позиций: 1) критик стоит на позициях структуры, задуманной поэтом, и требует ее последовательного осуществления; 2) критик принимает другую структуру и вместе с рассматриваемым произведением отрицает ту структуру, на которой оно построено. В обоих случаях критик знает, за что он борется, и не придает своей критике характера закона.

Наконец, возможно и следующее возражение: то, о чем здесь говорилось, распространяется лишь на сознательную деформацию литературной нормы и не касается непроизвольных ошибок, проистекающих из незнания этой нормы. По поводу этого мы могли бы заметить, что в поэзии явления, существенные для структуры, не всегда бывают тождественны с сознательным намерением автора. Встречаются, однако, и случаи, когда несовершенное знание языка становится фактом поэтической структуры. Так, например, А. П. Колман в статье «Polonisms in the English of Conrad's Chance» («Modern language notes», November 1931) фиксирует у писателя Конрада, по происхождению поляка, множество явных синтаксических калек (копий) с польского, и именно таких, которые в соответствии с распространенной у нас точкой зрения рассматривались бы как ошибки (например, беспредложный падеж при глаголе вместо предложного; неточное употребление артикля; необычное опущение вспомогательного слова there или даже неличного подлежащего it; замена будущего времени условным наклонением). Эти «ошибки» Колман считает, однако, положительным явлением, поскольку они являются элементами поэтической структуры Конрада. В качестве доказательства приведем две цитаты из его статьи: «Известные случаи так называемого эллиптического слога Конрада можно проследить в польском языке»; «Прежде всего хорошо известная у Конрада несвязность структуры предложения легко может быть объяснена как след польского языка, языка с сильной флексией, где взаимоотношения групп слов обнаруживаются в словоизменительных окончаниях... Кроме того, структура предложения и порядок слов у Конрада, особенно в абстрактных пассажах, характеризуются благозвучием литературного польского языка». Нарушение нормы литературного языка превратилось у Конрада в факт поэтической структуры; подобных примеров

можно было бы привести множество; например, в русской литературе мы можем назвать Гоголя, который указал путь дальнейшему развитию русской прозы.

Таким образом, следует рекомендовать, чтобы к проблеме непроизвольных ошибок в поэтическом языке подходили с большой осторожностью.

* * *

Заканчивая теоретическую часть настоящей статьи, сопоставим наши результаты с результатами критической практики журнала «Наша речь». Мы сознаем, что точка зрения, высказанная в нашей статье, находится в противоречии с теоретическими позициями, которые занимал по вопросу языковой структуры журнал «Наша речь» с момента своего основания. В качестве доказательства можно было бы процитировать не только критические статьи, рассматривающие отдельные произведения, но и несколько основополагающих выступлений редакции, и особенно полемическое послесловие редакции к статье Травничка «O jedné stránce slovesa v našem písemnictví» (roč. V, стр. 193 и сл.). Тем не менее мы все же проводим различие между прошлым и настоящим журнала «Наша речь», потому что критические статьи и выступления, относящиеся к 1917 и последующим годам, были написаны в ином научном контексте, чем те, что были написаны в 1930 и в последующие годы, например после провозглашения тезисов Пражского лингвистического кружка о культуре языка и о поэтическом языке, предложенных I съезду славистов в Праге в 1929 г. Во втором томе (1918) вышел реферат о книге М. Геннеровой «Pod křídly», подписанный шифром *И. Л.* Рецензент констатирует, что автор употребляет особые прилагательные и наречия, использует их особым способом (например: okličná pout' «окружной, окольный путь», nadpodlažní štěrbina «щель над полом» [букв. «надпольная щель»], úsvitné proroctví [букв. «рассветное пророчество»], rozléhavě prostranná kuchyně [букв. «обширно просторная кухня»], kostelně zamyšlené pokoje «комнаты, задуманные как костел»). Он правильно подмечает, что «автор умышленно создает необычные формы и необычные конструкции, чтобы передать впечатление новизны и своеобразия». Однако он не соглашается с этим стилистическим приемом и замечает:«...автор серьезно занимался изучением чешского языка, но, с одной стороны, стремление к новизне, с другой — стремление к наибольшей лаконичности привело к тому, что не может одобрить подлинный ревнитель чешского языка». Мы не принимаем ни отрицательную оценку, ни теоретические

позиции, из которых эта оценка вытекает, но мы должны признать, что критик правильно констатировал направленность стилистического приема и что свое мнение он высказал в приемлемой форме. В 1930 г. в XIV томе был опубликован реферат д-ра Галлера о книге Незвала «Хроника конца тысячелетия»; мы выберем из него пока одну только фразу, для того чтобы продемонстрировать тон автора: «Итак, не неумение, а, по-видимому, неряшливость, поверхностность, небрежность привели автора к тому, что он не пытался стать мастером стиля, а удовольствовался школярским склеиванием и подклеиванием фраз, которые нигде не проникают в сущность вещей». Сравнение этой цитаты с предыдущей красноречиво свидетельствует о тоне обеих критических статей. Что касается верности реферата Галлера по существу, то мы будем еще рассматривать работу этого автора — типичного представителя критической деятельности журнала «Наша речь» последнего периода. Мы приведем, разумеется, лишь небольшие иллюстрации, поскольку подробный разбор всей этой критической статьи, даже если не останавливаться на материале, представленном в статье о поэтическом стиле Неймана (том XV) и в других статьях, анализирующих оригинальные поэтические произведения и переводы, опубликованные в последних томах, занял бы много места и не принес бы особой пользы [8]. Речь будет идти не о проблеме теоретических позиций, поскольку они нами уже анализировались, а об исследовании конкретной правильности реферата.

---

[8] В качестве примера, относящегося к совсем недавнему времени, можно назвать глоссу Седлака к роману М. Пуймановой (т. XVI, 1932, стр. 104). Этот реферат основан на предположении о том, что подбор лексики в романе должен быть однородным, взятым из словаря литературного языка; автор протестует против нелитературных слов, употребленных «само собой разумеющимся образом», «без кавычек», так как критик готов допустить нелитературные слова только тогда, когда они употребляются «документально», для характеристики среды, лиц и т. д. Руководимый подобным принципом, Седлак приходит к своеобразным соображениям: так, например, он отвергает слова pant, fortel, štace, abštajg, но допускает слово průch, потому что автор использовала это немецкое слово «на месте», то есть там, где жена Хегла, по происхождению немка, иного выражения сказать не может. Требование документальности, использование литературных слов для характеристик, хотя и являлось составной частью канона в так называемом реалистическом романе, оказывается проявлением произвола критика в том случае, если оно становится мерилом романа, стиль которого явно стремится к противопоставлению словаря литературного языка лексическим элементам из более низких языковых сфер (из речи разговорной, сленга и т. д.). Этот произвол становится особенно заметным, когда Седлак стремится выразить свои оценки не иначе, как следующим образом: «Я считаю, что литературная речь ни в коем случае не должна способствовать распространению таких слов, как pant, без особой мотивировки, выразительной или художественной»; или: «Никто не может, а также не

Однако если бы мы провели общий анализ всех статей, то он бы не изменил существенно картину, которую мы здесь попытались нарисовать. Может быть, стало бы только еще более ясным, что направление языковой критики поэтического произведения, ставшее в последних томах журн. «Наша речь» парадоксальным, находится в противоречии с состоянием современной науки и основывается на непонимании сущности поэзии и функции поэтического языка.

должен лишать языковую критику права создавать ограничения для подобного украшения языка. Здесь уже не идет речь только (!) о вопросе правильности языка, здесь налицо действительно актуальная проблема чистоты языка». Что касается «безусловности» при употреблении нелитературных слов, на которой останавливается Седлак, то именно это стирание лексических границ (например, опущение обычных кавычек у нелитературных слов) указывает на тенденцию к явной неоднородности лексики: контрасты между неоднородными лексическими сферами усиливаются от их переплетения.

Б. Гавранек

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ РАССЛОЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА *

Проблема функционального расслоения литературного языка встретила у нас в Чехословакии сочувственное отношение уже в 1932 г., когда я впервые нарисовал исчерпывающую картину этого явления [см. статью «Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura» в настоящем сборнике, стр. 338 и сл.]. Порой на эту тему дискутировали, но дебаты сводились чаще всего к случайным замечаниям. При этом речь шла в первую очередь о разговорном языке, о соотношении «функционального языка» и стиля, в связи с чем рассматривались также и основные лингвистические понятия Женевской и Пражской школ: «язык» (jazyk) и «речь» (mluvení), langue и parole. Работы Й. М. Коржинка, В. Скалички, Б. Трнки и в ряде случаев Я. Мукаржовского [1] способствовали углублению данной проблемы.

Бесспорно, мои выводы, касающиеся проблем, связанных с функциональным расслоением литературного языка, которые я пытался сделать в указанной статье (особенно на стр. 346 и сл. и стр. 364 и сл.), не являются окончательными. В ней еще не сказано последнего слова по ряду основных и второстепенных вопросов, так как тогда еще не было по-настоящему определено даже само понятие структуры. Да и сам я при случае, особенно в докладе на IV Международном конгрессе лингвистов в Копенгагене в 1936 г. и в статьях 1940 г., написанных мною

---

* Bohuslav H a v r á n e k, K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka, ČMF, R. XXVIII, 1942, стр. 409—416.

[1] J. M. K o ř í n e k, Einige Betrachtungen über Sprache und Sprechen, TCLP, 6, 1936, стр. 23—29, и Substituovanie jazykov v kultúrnych štýloch, najma v štýle vedeckom, «Linguistica slovaca», III, 1941, стр. 10—20; J. M u k a ř o v s k ý, Estetika jazyka, SaS, VI, 1940, стр. 1 и сл., а также в других статьях, собранных в сборнике «Kapitoly z české poetiky», I, 1941; дискуссия о стиле в журнале «Slovo a slovesnost», VII, 1941, в которой приняли участие Й. М. Коржинек (стр. 28 и сл.), Б. Трнка (стр. 61 и сл.) и В. Скаличка (стр. 191 и сл.).

для Научного словаря нового времени [2], разрабатывал и дополнял далее свои первоначальные наблюдения и выводы, связанные с данной проблемой.

В настоящей статье я возвращаюсь к спорным вопросам, относящимся к проблеме функционального расслоения языка с тем, чтобы вскрыть и углубить свои выводы; речь пойдет о проблеме отношения функционального расслоения к «языку», о соотношении «функционального языка» и стиля и о проблеме «разговорного языка».

Я считаю, что указанная проблематика будет уместной для номера журнала, посвященного В. Матезиусу, поскольку речь идет о тех вопросах, которые весьма часто интересовали проф. Матезиуса и с которыми он сталкивался в своей исследовательской практике.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО СТРУКТУРЫ

В конце XIX и начале XX в. лингвистика с удовольствием отмечала неоднородность языка любого коллектива, локального или социального, и в поисках строго однородного языка как идеального предмета для своего исследования, по образцу классического труда Руссело, охотно предпочла бы ограничиться изучением языка одной семьи и даже индивидуального языка [3]. При этом, однако, говорилось не о языке (langue) как противоположности языковым высказываниям (mluvení, parole), а о недифференцированном понятии языка, в связи с чем более правильным было бы говорить в данном случае вообще о речи (řeč, langage). Подобный тип атомизации крупных языковых единиц на небольшие однородные части ныне уже преодолен. Соссюровское понятие языка (langue), а тем более понятие структуры языка как целостно организованной совокупности языковых знаков позволяет видеть существенное единство и в крупных языковых единицах. Однако не следует вместе с тем впадать в другую крайность. Предположение о строгом един-

[2] «Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur» («Actes du IVe Congrès de Linguistes», Copenhague, 1938, стр. 151—156); статьи «Spisovný jazyk», «Strukturální lingvistika», «Stylistika» и «Systém» в OSNND, VI/I, 1940, стр. 180—185, 454—457, 471—473 и 607.

[3] P. Rousselot, Les modifications phonétiques de langage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefouin, «Revue des patois Galloromans», 4 и 5 и в дополнениях к т. 5 (1891—1893). Ср. об этом в моей статье «K české dialektologii», LF, 51, 1924, стр. 266 и сл.

стве языковой структуры данного языкового целого отбросило бы нас к старому наивному пониманию языка как нивелированного монолитного целого, к эпохе, когда все, что отклонялось от этого единства, рассматривалось просто как изъян (с известными последствиями при оценке и кодификации литературного языка, который все же мог рассматриваться во всех своих проявлениях как единый). Почти в каждой языковой структуре нужно уметь видеть как известную изменчивость, так и иерархические группировки на большие языковые единицы, какими являются чаще всего национальные языки.

Мы можем, например, говорить о языковой структуре любого однородного местного говора, но нельзя на этом основании выдавать его структуру за структуру, свойственную только этому одному говору. Ту же структуру могут иметь и другие говоры, не образующие единого целого с рассматриваемым нами, если они отличаются только теми чертами, которые не затрагивают структурных элементов, а относятся лишь к инвентарю языковых средств. Только говоры, имеющие различия, например, в фонологической системе, имеют различия и в структуре, но даже такие говоры, как правило, выступают не в совершенно новом качестве, а оказываются различными в определенных звеньях своей структуры, чаще всего в первичном знаковом классе (в звуковом плане).

Огромная часть структурных элементов не имеет различий даже в пределах более крупных диалектных единиц, часто в пределах соответствующего национального языка (в том случае, если границы национального языка совпадают с границами крупных диалектных образований). Следовательно, с точки зрения структуры в рамках одного языкового целого нельзя ни механически отождествлять отдельные местные говоры, ни сводить их структуру к одной гомогенной структуре, ибо в данном случае мы будем иметь структуру иерархически организованную (нужно, таким образом, и с этой точки зрения различать при классификации говоров степень их близости, и было бы неплохо вернуться также к старой двухступенчатой терминологии: наречие — поднаречие или хотя бы различать: диалектное целое — отдельные диалекты).

Аналогичным с точки зрения структуры представляется и расслоение языкового целого на социальные диалекты, а также, как мне думается, и так называемое функциональное расслоение литературного языка [4].

---

[4] В настоящей работе мы имеем в виду лишь обычный тип современного европейского литературного языка, представленный современным литературным чешским языком. Функциональное расслоение литературного языка изменчиво; в прошлом и у названных языков оно было иным, чем

Структура литературного языка, если отвлечься от его иерархически структурного отношения к соответствующему языковому целому, также не лишена известной изменчивости и в свою очередь расчленяется на функциональные языки, которые было бы уместнее всего называть функциональными диалектами. Отношение подобного функционального расслоения к структуре литературного языка я еще раньше пытался сформулировать следующим образом: «При этом... речь идет о структурных явлениях, затрагивающих самую совокупность языковых средств, о структуре самого языка как нормализованной системе, а не об организации конкретных языковых высказываний, хотя эта организация равным образом функциональна и подчинена нормам» (OSNND, VI/1, 1940, стр. 472 b). Вторая часть этой формулировки, где говорится о соотношении функционального расслоения и стиля, нас пока не интересует. Что касается первой части, то здесь я хотел бы подчеркнуть тот факт, что отдельные слои различаются не только запасом языковых средств (например, запасом лексических и грамматических синонимических дублетов, соответствующих терминов и т. д.), то есть не только совокупностью этих средств, но и структурной организацией всей этой совокупности (вплоть до закономерных отношений в ней). Следовательно, это различия в системе, но они не таковы, чтобы образовывать самостоятельные равноценные структуры; они лишь несколько изменяют структуру литературного языка в определенных звеньях, подобно тому как это происходит при расслоении языкового целого на местные диалекты, причем бывают затронуты совершенно различные звенья.

Разговорный слой также часто отличается от обоих специальных слоев элементами, которые относятся к первичному знаковому ряду (к звуковому плану), а иногда и к грамматическому строю (например, системы времен и наклонений во французском и немецком языках); поэтому указанное отличие больше всего бросается в глаза (что и является причиной исключения разговорного слоя из сферы литературного языка). Однако и в данном случае наиболее существенное различие состоит не в этом, а в различном построении лексического и синтаксического планов (вместо примеров укажу лишь на то, сколь явственно отличается от структуры разговорного языка

теперь; своеобразным является это расслоение и у литературных языков других культурных областей или у литературных языков, так сказать, только лишь возникающих. Основные задачи, стоящие перед литературными языками, нередко меняются; часто это зависит от того, кто является носителем литературного языка, и связано с социальным назначением последнего.

так называемый школьный язык или, в еще большей степени, разговорные пассажи в старой чешской прозе).

Разграничение обоих специальных слоев, которые в паре «разговорный слой : специальный слой» являются единым членом, на специальный практический (деловой) язык и на специальный научный (теоретический) язык затрагивает, как правило, только семантическую структуру, а именно семантику как лексическую, так и синтаксическую.

Установка научного языка на отождествление языка с научной логикой, на что с полным основанием обратил внимание Й. М. Коржинек [5], ясно подчеркивает структурные особенности научного слоя в отличие от делового слоя языка, не имеющего подобной направленности.

Последующая более детальная дифференциация обоих указанных слоев специального языка обычно не затрагивает языковой системы, а касается уже только специфического запаса языковых средств (чаще всего терминологических) и их специфических сфер употребления; таким образом, из языковых средств научного слоя имеется в виду, например, совокупность терминологических математических, грамматических и т. д. средств, коммерческие формулы делового языка и т. п. Следовательно, дифференциации самой структуры не подразумевается.

Итак, рассматривая структурное членение литературного языка, мы пришли к тому выводу, что необходимо выделить три слоя, возникшие вследствие двоякого бинарного соотношения; в первичной паре в качестве особого типа (маркированного ряда) можно указать разговорный слой, во вторичной паре — слой научного языка. Структура поэтического языка, который мы часто именуем одним из функциональных языков литературного языкового комплекса, не подвержена отмеченному функциональному расслоению. Отношения поэтического языка и литературного языка более свободны, чем взаимоотношения названных слоев; в пределах соответствующего языкового целого оба языка сосуществуют параллельно. И хотя весьма изменчивая структура поэтического языка базируется на структуре соответствующего литературного языка, все же последняя служит основой только для его «означающих» (signifiant); «означаемые» же (signifié) формируют в нем иные, специфические

---

[5] SaS, VII, 1941, стр. 33 и сл. Однако мы не можем согласиться с выводами, которые делает из этого Коржинек (там же), касающимися «самоцелесообразности» научного языка. При этом, конечно, наличествует крайняя заинтересованность в языке как орудии, в его адекватности, но, несмотря на это, логическое мышление и его адекватное языковое выражение в синтаксическом и семантическом планах все-таки остаются орудием, (Ср. Ig. Hrušovský, Teória vedy, 1941, стр. 22 и сл.)

структурные отношения. «Означающие» элементы структуры поэтического языка черпаются не только из литературного языка: подобные элементы, взятые из других источников, сами могут проникать из поэтического языка в литературный язык, заменяя при этом, однако, ряд означаемых; больше того, часто именно они служат основой для построения литературного языка (в своем развитии именно поэтический язык бывает первичным, а литературный язык — вторичным), но это уже специальные вопросы.

2. «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» И СТИЛЬ

Существует мнение, что функциональное расслоение литературного языка тождественно стилистическим различиям, что вместо функционального «языка» (соответственно: диалекта) можно говорить о функциональном стиле речи или просто о языковом стиле[6]. С подобными взглядами я не могу согласиться; причины моего несогласия были по существу высказаны мной в уже цитированной выше формулировке об отношении функционального расслоения к структуре.

Языковой стиль — своеобразное явление, которое наличествует в языковом высказывании, но потенциально не содержится в языковой структуре, как это присуще другим его составным частям. Я уже определял стиль в качестве «индивидуализирующей (своеобразной) организации языкового структурного целого, каким является каждое данное языковое высказывание» (в OSNND, VI/1, стр. 472а)[7].

[6] Ср. особенно J. M. Kořínek, TCLP, 6, стр. 28; SaS, VII, стр. 29.

[7] Это определение встретило сочувственное отношение. Из него исходит В. Скаличка, упростив, однако, его следующим образом: «Стиль — это индивидуализирующая организация высказывания» (см. дискуссию о стиле в SaS, VII, стр. 192); тем самым признается очевидным, что высказывание (=языковое выражение) является структурным целым (единством). Думается, что именно это важно подчеркнуть, потому что со стороны языка это единство создает из прочих элементов языкового выражения как раз его стилевая организация. О том же говорит в своей формулировке Трнка (см. материалы упомянутой дискуссии): «К стилистической области относятся, по моему мнению, все языковые факты, которые возникают в результате структурной организации единого высказывания и могут быть поняты только на фоне этого целого» (там же, стр. 66). Поскольку последняя моя формулировка используется в полемике со взглядами Й. М. Коржинка в противоположность последней его формулировке о понятии стиля (см. указанную дискуссию, стр. 29), то в интересах объективности следует подчеркнуть, что она возникла на базе прежней формулировки Коржинка, представленной в его статье в TCLP, 6, стр. 27.

Ныне, чтобы избежать какого-либо недоразумения и говорить только об индивидуальном стиле, я бы заменил в этом определении термин «индивидуализирующий» словом «сингуляризирующий» и определил бы стиль следующим образом: «сингуляризирующая организация языкового выражения (высказывания) как единства», конечно ограничив это определение только языковым планом. Такая организация, как правило, не является исключительной, но подчинена обычаю и условностям, ибо ее типы, хотя и могут быть исключительными, но лишь в совершенно особом случае; чаще всего они подсказаны обычаем. Если такой тип обусловлен индивидуальным вкусом, то мы будем иметь дело с индивидуальным (или субъективным) [8] стилем речи, если же он обусловлен надиндивидуальным вкусом, условностью, то и стиль можно назвать условным (функциональным или объективным). Эти условности, если руководствоваться строго синхронной точкой зрения (каждой присуща и своя эпоха), зависят прежде всего от направленности (цели) высказывания, его типа (внутреннее высказывание — выражено; произнесенное высказывание — написано) и ситуации. Направленность выражения со стороны семиологической характеризуется перевесом или функции репрезентативной, или экспрессивной, или апеллятивной (в соответствии с классификацией семиологической направленности на Darstellung, Ausdruck и Appell, разработанной Бюлером [9]).

Отождествление Коржинком этой трехплановости Бюлера со специфическим различением логического, эстетического и этического (в согласии с чувствами правды, красоты и добра — см. журнал «Slovo a slovesnost», стр. 36) не вполне оправдано; семиологическая экспрессивная направленность (Ausdruck) гораздо у́же эстетической направленности [10].

Подобные привычные приемы индивидуального стиля, как и условные приемы «функционального» стиля, могут быть реализованы лишь стилистическими средствами, сгруппированными в высших единствах в надлежащие комплексы. Подбирая название для подобного комплекса, мы можем назвать его «говорением» (mluva), следуя при этом за Я. Мукаржовским [11]. Тем самым мы избегаем термина, в общем, быть может, самого

[8] Индивидуальный стиль — функциональный стиль: ср., как трактует стиль В. Матезиус в своей работе «Řeč a sloh» в сб. «Čtení o jazyce a poesii», 1942, стр. 34 (см. наст. сб., стр. 463 и сл.).

[9] Ср. K. B ü h l e r, Sprachtheorie, 1934, стр. 24 и сл. Близко к этому различение языковой роли экспрессивной (выразительной) и коммуникативной функции у В. Матезиуса (см. TCLP, 1, 1929, стр. 7 и в последний раз в раб. «Řeč a sloh», стр. 14 [см. стр. 445 наст. сб.]).

[10] Ср. J. M u k a ř o v s k ý, Kapitoly z české poetiky, I, стр. 182 и сл.

[11] Ср. в его статье «Estetika jazyka», SaS, 6, 1940, стр. 9 и сл. и стр. 24.

подходящего, а именно термина «речь», ввиду того, что он имеет иное употребление в лингвистике. Совокупность средств индивидуального стиля составляет «индивидуальное говорение (речь)»; к этому, однако, не имеет отношения, например, то, что мы употребляем два числа, три лица и т. п.; напротив, к этому имеет прямое отношение употребление долгих или кратких синтагм, известные ряды синонимических дублетов и подобные явления. Сочетание средств функционального стиля распределено между «говорением — речью повествовательной, экспрессивной и апеллятивной», между «говорением — речью внутренней и внешней», между «говорением — речью разговорной и письменной», между «говорением — речью монологичной и диалогичной» и т. д.

Таким образом, становится ясно, что даже «функциональный» стиль, хотя он и определяется условностями (нормами), оформленными в соответствующем говорении (речи), ни своей формой, ни своей ролью не влияет на функциональное расслоение литературного языка, ибо это тип организации языковых выражений. Точно так же «говорение (речь)» в употребленном здесь смысле является не связующим звеном между языком и конкретным выражением (актуальным говорением), а только высшей единицей, группирующей типы этой организации.

3. РАЗГОВОРНЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В научной чешской литературе теоретически или практически и с большей или меньшей отчетливостью разговорный литературный язык часто отождествляется с обиходно-разговорной чешской речью (obecná čeština); отождествление их я не считаю обоснованным.

Под обиходно-разговорной чешской речью я понимаю интердиалект (народное «койне»), то есть народные чешские говоры без более точного локального определения. Позиция ее языковой структуры — в рамках иерархически сгруппированного структурного целого национального языка — отчетливо определена главным образом благодаря особенностям фонологической системы (в звуковом плане), а отчасти и морфологического строя (который упрощен). Не вполне отчетливо лишь ее структурное отличие от локального среднечешского, точнее, пражского наречия, но это нас сейчас не интересует. Функциональная соотнесенность обиходно-разговорной чешской речи в языковом целом бывает двоякой: она находится в отношении корреляции или с местным наречием, выполняя в таком

случае роль общего языка (jazyk obecný, společný), и до известной степени заменяя литературный язык, или же связана с литературным языком (вместе с его разговорным слоем), играя в таком случае роль народного языка и отличаясь, кроме того, функционально от разговорного слоя литературного языка (ср. мои «Nářečí česká», «Československá vlastivěda», III, 1934, стр. 87).

Разговорный чешский язык является функциональным слоем литературного языка. Он отличается структурно от остальных его слоев в известных звеньях семантической, лексической и синтаксической структуры (см. выше). Его структура характеризуется значительной подвижностью языкового знака, который предполагает непосредственное, но изменчивое отношение к данной ситуации, то есть он приспосабливается к ситуации (например, в беседе, направленной на ситуацию) или к контексту, иногда многоплановому, по крайней мере двуплановому, семантически противоположному или себя взаимно дополняющему (например, в беседе «личной», или «разговорной» [12]), и из реальной или контекстной ситуации, вытекающей иногда из нескольких контекстных слоев, получает свою определенность. Вследствие этого означающие элементы языковых знаков в своей совокупности бывают несложными: простое построение предложения с одноразмерными синтаксическими отношениями, которые в таком случае легко выявляются только из ситуации предложения или контекста (например, в ответе на вопрос); в словесном плане характерны указательные местоимения и наречия места и времени и т. п.

Следовательно, если в разговорном слое наличествуют постоянные колебания между изменчивостью и стабильностью языкового знака [13], направленные на его изменчивость, то в обоих специальных слоях зафиксирована направленность на его стабильность (здесь все направлено на слова-термины, на слова-понятия, на однозначное синтаксическое построение). Указанная особенность семантической структуры разговорного слоя литературного языка, как и обиходно-разговорной чешской речи, тесно связана с его основной задачей удовлетворять

---

[12] Типы диалога — «личный» (osobní), «ситуационный» (situační) и «разговорный» (konversační)—даны в соответствии с классификацией Мукаржовского; см. его статью «Dialog a monolog» в «Kapitoly z české poetiky», I, стр. 150 и сл. (= LF, 68, 1940). Однако нельзя этот разговорный слой ограничить только диалогом.

[13] Ср. S. Karcevski, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, 1, 1929, стр. 88 и сл. [см. статью С. Карцевского на русском языке в кн. В. А. Звегинцева «История языкознания XIX—XX веков...», ч. II, 1965, стр. 85].

потребностям повседневной жизни, но в разговорном слое эта особенность выступает гораздо ярче, так как она отталкивается от более сложной семантической, лексической и синтаксической структуры чаще всего тогда, когда для вторичного языкового знакового плана в первичных планах (фонологическом и морфологическом) используются структуры в общих чертах тождественные. (В связи с этим можно говорить об упрощенном синтаксисе, о простом лексическом выражении и т. п.) Именно указанные колебания дают возможность разговаривать — в истинном смысле этого слова (когда беседа не имеет отношения к конкретной реальной ситуации),— даже если мы не обращаем внимания на нормализованную совокупность средств в рамках разговорного языка.

Обиходно-разговорная чешская речь лишена последней особенности; она приобретает ее разве только тогда, когда заменяет разговорный слой литературного языка, но в таком случае она оказывается ослабленной и расшатанной как раз структурным различием в первичном плане. Таким образом, в указанной замене обиходно-разговорная чешская речь оказывается всегда уже перемещенной, сдвинутой, а если этого не наблюдается, то просто неспособной заменять разговорный слой литературного языка.

Кроме приведенных качеств, по своей семантической структуре разговорный слой отличается от прочих слоев литературного языка известной вариантностью, особенно в первичном плане, в плане звуковом, а отчасти и в морфологических средствах. Эта вариантность означает, что средства литературного языка в узком смысле слова в определенных границах могут дополняться или усиливаться средствами народного языка, как правило, обиходно-разговорной чешской речи. В качестве стилистических признаков в таком случае можно использовать почти все средства обиходно-разговорной чешской речи, но оказывается, что непризнаковые знаки, то есть составная часть разговорной нормы, представлены здесь очень скупо (например, формы типа řek sem, píšu — píšou, род., дат., местн. п. mně, вин. п. м. р. неодушевл. и ср. р. ho, přídu, netluč и т. п. в фонетическом плане — mlíko и т. п.).

Последовательно проведенное ej, например в bejt и т. п., полное отсутствие é (кроме вариантов под ударением, как Jéžiš), постоянное vo- в начале слов, долготы под ударением в словах типа rádnice, pívo и т. п., формы на -ejí типа trpějí, mlátějí, seš и т. п. являются вполне отчетливыми показателями обиходно-разговорной, а отнюдь не разговорной речи. На практике, отвлекаясь от крайних случаев, всегда можно без затруднений отличить выражения, принадлежащие обиходно-разговор-

ной речи, от выражений просто разговорной речи. Например, можно без колебаний утверждать, что фразы типа u rádnice to bylo, to máte pravdu, ale kerej von moh bejt, to nevim «у ратуши это было, это вы правы, но кто он мог быть, этого я не знаю» не имеют никакого отношения к формам разговорного языка. Короче говоря, разговорный чешский язык обладает фонологической системой литературного языка, а также его морфологическими средствами, однако в распределении фонем в словах, а равным образом в использовании морфологических средств в отдельных случаях он руководствуется и нормами обиходно-разговорной речи, не воспринимая, однако, ее фонологическую систему, а также не заимствуя последовательно ее собственные морфологические средства.

Для существования разговорного чешского языка как функционального слоя литературного языка является иррелевантным тот факт, что его индивидуально или окказионально заменяет обиходно-разговорная речь, местные говоры или сленг. Решающим в этом отношении является то, что его коммуникативная роль осуществляется посредством языковой структуры, которую нельзя отождествлять ни с обиходно-разговорной речью, ни с литературным языком других функциональных слоев. Эту структуру разговорного чешского языка используют в конкретных языковых высказываниях большей частью те, кто владеет активно и пассивно литературным языком. Среди них наряду с лицами, родной речью которых, в узком смысле слова, является местный говор или обиходно-разговорная речь, немало таких, родным языком которых в этом смысле является не народный язык, а именно разговорный литературный язык.

Скептическое отношение к разговорному чешскому языку вытекает из старого предрассудка о том, что якобы «живым» языком может быть только язык народный и что существует лишь «народное» языковое сознание. Разумеется, верно, что разговорный слой литературного языка не является обязательной составной частью каждого литературного языка. Выше мы сами определили его как бинарный специальный элемент в общей структуре литературного языка. Существуют и существовали литературные языки, не включающие в свой состав этого слоя, и его роль в этом случае выполняет отчасти народный язык, а если он оказывается несостоятельным, то язык чужой. Именно чешский язык долгое время в XIX в. этим слоем не располагал и боролся за него; его заменяла обиходно-разговорная речь («узус» Юнгманна), а в разговоре — чужой или недифференцированный литературный язык, который, естественно, всегда производил впечатление педантичного (еще около 1873 г. эту ситуацию метко отражает «Kallilogie» Дурдика, стр. 32; приме-

ров же из мемуарной литературы можно привести бесконечное множество).

Этот слой образуется на протяжении последних 40—50 лет и зашел в своем развитии так далеко, что мы едва ли можем сомневаться в его существовании. Нам приходится только приветствовать его возникновение, так как без наличия этого слоя литературный язык всегда оказывается односторонним, ибо лишь этот слой, столь важный для языковой культуры, придает ему прочное языковое сознание и преображает литературный язык, выражаясь популярно, поистине в «живой» язык.

В. Матезиус

ЯЗЫК И СТИЛЬ *

ЯЗЫК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь задумываться над тем, как точно и детально могут выражаться в языке самые разнообразные явления действительности. Этот факт должен удивить вдумчивого наблюдателя и заслуживает самого серьезного внимания с нашей точки зрения. При самом внимательном исследовании мы замечаем, что выразительная гибкость языка обусловливается двумя факторами. С одной стороны, мы не выражаем языком действительности непосредственно, а всегда приводим ее к упрощенной форме, которая более пригодна для выражения, с другой стороны, мы используем при языковом выражении удивительные системы взаимно связанных знаков языка.

Характер отношения языка к действительности мы определим лучше всего, обратив внимание на то, какие, собственно, явления действительности, доступные нашим органам чувств, мы выражаем в речи. Мы сидим в комнате и, глядя в окно, замечаем мелькающие полосы водяных капель, падающих на землю, или слышим равномерное постукивание водяных капель в оконное стекло или на жесть под окном. Связав эти восприятия со своим прежним опытом, мы скажем: Venku prší «На улице идет дождь». Войдя в незнакомую комнату и обратив внимание на то, что она освещена не только рассеянным неопределенным дневным светом, но и на то, что поверхность окна ярко озарена, что сияющий свет, приходя, очевидно, извне, заливает все окно, мы снова свяжем эти зрительные восприятия с имеющимся у нас опытом и скажем с чувством удовольствия, которое вызывает у нас наблюдаемое явление: Sem svítí krásně slunce «Здесь ярко светит солнце». Таким же образом мы можем связать с основными чувственными восприятиями действительности и другие подобные предложения, например: Někdo jde po schodech nahoru «Кто-то идет по лестнице вверх»; Tamhle leze po střeše kočka

* Vilém Mathesius, Řeč a sloh, в сб. «Čtení o jazyce a poesii», Praha, 1942, стр. 13—102.

«Вот там по крыше ползет кошка»; Na ulicích se už svítí «На улицах уже зажглись фонари». Мы видим, что первичному восприятию действительности, которая (как об этом красноречиво свидетельствуют творческие поиски художников-импрессионистов) богатством своего содержания иногда даже приводит в замешательство, в речи соответствует всегда лишь группа слов, прочно схватывающих ее основные элементы и ясно выражающих происходящее.

Однако это не какой-либо произвольный ряд слов. Используемые нами слова должны иметь с данным явлением действительности прочную смысловую связь, а поскольку такая связь обязательна, постольку их комбинация должна выражать отношение говорящего к этому явлению действительности в данный момент. Для отмеченных двух задач, то есть задачи наименования элементов действительности и задачи выражения актуального отношения говорящего, каждому языку и каждой эпохе свойственны свои собственные средства выражения, отличающиеся от аналогичных средств другого языка и другой эпохи не только внешним видом — формой, но и смысловым содержанием и эмоциональной окраской. Каждый язык, воспринимая действительность по-своему, оформляет ее в соответствии со своей собственной системой знаков. Поэтому каждый язык весьма оригинален в отражении действительности и содержит в себе немало особенностей, которые нельзя воспроизвести в каком-либо другом языке. Вследствие этого абсолютно точный перевод с одного языка на другой по существу невозможен.

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА И КОНКРЕТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Выразительные средства данного языка сгруппированы в его языковой системе. Язык как система выразительных и коммуникативных знаков является абстракцией и существует только в идеале. У каждого из нас, поскольку мы в свое время научились своему родному языку, его языковая система прочно закреплена в сознании, но как неспециалисты мы осознаем ее только тогда, когда кто-то другой сделает ошибку в языке или когда мы сами пытаемся подобрать какое-нибудь слово для достижения наибольшей выразительности. В этом отношении языковая система родного языка имеет много общего с нравственными принципами, на которых мы воспитаны, с той только разницей, что она оказывает на нас более отчетливое воздействие — ведь мы старательно осваиваем ее с малых лет. Каждое высказы-

вание (если ограничиться только самопроизвольным обучением языку) при его практическом применении укрепляет в ребенке сознание языковой системы, а таких высказываний, едва ребенок научится говорить, бывает на дню не только десятки, но и сотни.

Языковой системе как абстракции противостоят конкретные результаты отдельных высказываний. В высказываниях реализуются выразительные возможности, предоставляемые языковой системой всякий раз для конкретных задач и с определенным воздействием. Каждое высказывание имеет свое собственное вещественное содержание и возникает из своеобразной ситуации. В каждом высказывании отражается актуальное отношение говорящего к действительности и его отношение к слушателю, реальному или мыслимому. Это приложимо в равной мере как к отрезку повседневной речи, так и к отрывку из проповеди или научного изложения. Вы можете это проверить на высказываниях, приведенных в качестве примера в предыдущей главе. Все четыре момента — вещественное содержание и ситуационная перспектива, отношение говорящего к конкретной действительности и его отношение к слушателю — создают прежде всего смысловую сторону высказывания, и поэтому способ, посредством которого оформляется высказывание, мы называем его смысловой структурой. Необходимо хорошо помнить, что смысловая структура высказывания, как мы увидим позднее, представляет собой нечто своеобразное по сравнению с выразительными возможностями языковой системы, которые в ней реализованы. Это различие и обусловлено как раз индивидуальными явлениями действительности, с которыми высказывание тесно связано, тогда как языковая система как абстракция не имеет к ним непосредственного отношения.

Высказывание, направленное на слушателя, мы называем по его функции коммуникативным высказыванием. Коммуникативные высказывания преобладают в речи, и языковые системы известных нам языков построены так, чтобы отвечать потребностям высказываний, направленных на слушателя. Противоположностью сообщения является экспрессивное выражение, или экспрессия, то есть выражение внутреннего состояния говорящего, служащее часто для собственного облегчения и, следовательно, не только не направленное на слушателя, но иногда даже прямо отрицающее возможность существования последнего. Основное различие между сообщением и экспрессией можно себе уяснить, вспомнив о различии между преднамеренным выговором и укоризненным замечанием, которое помимо воли вырвалось у вас только потому, что вы не смогли побороть в себе недовольства.

Сообщение и экспрессия, однако, как правило, не проявляются в речи в чистой форме, подобно тому как, с одной стороны, скажем, это проявляется в сухом сообщении телеграфного агентства, и с другой — в непроизвольно вырвавшемся выражении боли. Обычно, особенно в живом разговоре, оба момента — момент коммуникативный и момент экспрессивный — тесно переплетаются. Основой конкретных высказываний, однако, как уже было сказано, является в первую очередь коммуникация, и если экспрессивное выражение несколько и разрастается, то все же оно не может быть не чем иным, как формой, выросшей на базе коммуникативной функции. Примером тому могут служить различные обороты, посредством которых мы посылаем к черту и в кромешный ад тех, кто нас рассердил, то есть выражаем желание, чтобы того, кто нас рассердил, «разразил гром», чтобы его «черт побрал» и тому подобное. Из этого отнюдь не следует, что указанные восклицания или пожелания воспринимаются всерьез, это только экспрессивное выражение нашего возмущения, принявшего форму призывной или оптативной коммуникации.

ДВА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Уже в первой главе было сказано, что высказывание, с одной стороны, охватывает те явления действительности, которые настолько привлекли наше внимание, что мы хотим о них что-то сказать, с другой — выражает наше отношение к этой действительности. Это два основных момента каждого высказывания, а вместе с тем также и проявление двух основных актов, на базе которых возникает высказывание — акта назывного, или номинативного, и акта фразообразующего. Наша речь, однако, уже до такой степени автоматизирована, что мы эти два акта, как правило, даже не осознаем. Чаще всего они привлекают наше внимание в связи с затруднениями, возникающими при том или ином речевом процессе, когда он сам по себе труден или же невозможен по причинам патологическим.

Затруднения первого рода, пожалуй, известны каждому, изучающему иностранный язык. Если он учит только слова, то может называть отдельные предметы, но затруднится высказать что-либо в форме правильного предложения. Если он запоминает краткие обороты, то сможет бойко пользоваться ими, но окажется в тупике, если потребуется сказать о чем-то новом, что посредством этих оборотов нельзя передать. Самым важным для нас является, однако, то обстоятельство,

что оба речевых акта отражаются также и в языковой системе. Фоном для назывного акта является совокупность названий, которые в данном языке обычны и которые в совокупности составляют его словарный состав. Фоном для фразообразующего акта являются модели предложений, по которым в данном языке составляются предложения различных типов, и вообще все, что касается структуры предложений. В соответствии со сказанным мы распределили по разделам и наше изложение.

Если представить себе нормальное возникновение коммуникативного высказывания из нескольких слов в виде замедленного до предела фильма, то можно убедиться, что ему предшествует расчленение реальной действительности на отрезки. Эти отрезки по необходимости получают языковое наименование еще до формирования предложения, в котором отдельные слова, обозначающие отдельные элементы действительности, вступают во взаимные отношения, определяемые типом предложения. Таким образом, в последующих главах речь пойдет прежде всего о наиболее важных моментах, касающихся языковой номинации, и лишь затем — о структуре предложения и обо всем, что с ней связано. В развитии языка, однако, предложение является определяющим фактором, ибо его создание, собственно, знаменует волевой акт, состоящий в решении что-то о чем-то сообщить. Можно сказать, что предложение является элементарным коммуникативным высказыванием, с помощью которого говорящий активно реагирует на то или иное явление действительности. Поскольку структура предложения, если она закономерна, регулируется системой определенного языка, постольку высказывание, которое стремится стать настоящим предложением, должно производить с формальной точки зрения привычное впечатление. Предложение также всегда имеет свое естественное завершение. Это завершение обычно выражается такой интонацией, которая указывает на то, что говорящий сказал все, что хотел выразить данным предложением. Речь идет лишь о законченности субъективной, так как предложение в качестве формальной конструкции не должно удовлетворять требованию объективной законченности, каковую может вкладывать в его содержание посторонний слушатель. Этот признак субъективной законченности также является одной из существенных особенностей предложения.

На самых ранних ступенях развития, которые мы можем воссоздать лишь в своем воображении, отдельные высказывания были, по-видимому, нерасчлененными образованиями, где называние совпадало с предложением. Подобные конструкции употребляются кое-где и поныне; в чешском языке также можно найти соответствующие примеры. Когда, например, мы хотим

обратить внимание на быструю перемену погоды (что выражается, скажем, в отдаленных раскатах грома), то мы можем сказать только: Hřmí «Гром гремит» или: Bouřka «Гроза». В данной ситуации эти слова выступают в роли предложений, и мы можем назвать их одночленными утвердительными предложениями: глагольное Hřmí или безглагольное Bouřka. Мы говорим о предложениях одночленных, поскольку такие предложения вполне самостоятельны и не требуют дополнений, которые позволили бы надлежащим образом понять их смысл в данной ситуации. Ничто не меняется от того, что одночленное предложение Bouřka имеет то же значение, что и распространенное предложение Jde sem bouřka «Сюда надвигается гроза» или Blíží se bouřka «Приближается гроза», Začíná bouřka «Начинается гроза» и т. д. Утвердительными мы называем такие предложения потому, что они констатируют действительное существование какого-либо явления. Мы узнаем сейчас, что есть также одночленные предложения и другого типа — одночленные предикативные предложения.

Одночленные предложения в настоящее время в чешском и родственных ему языках относительно редки. Обыкновенно предложение бывает двучленным, в нем о чем-то или о ком-то что-то сообщается. Таким двучленным предложением является, например, замечание Tatínek už jde «Папа уже идет». Внешним признаком двучленности предложения является наличие в нем подлежащего и сказуемого. Двучленность не относится к обязательным признакам предложения, но это явление настолько распространено, что язык создал для основных частей двучленного предложения особые грамматические формы. Специальной формой для выражения подлежащего в чешском языке выступает форма именительного падежа существительного или личного местоимения, а в ряде случаев и любого другого слова, имеющего субстантивированный характер. Специальными формами для выражения сказуемого служат личные глагольные формы. Двучленное предложение, в котором сказуемое выражено личной формой глагола или хотя бы содержит в основной своей части личную форму глагола, представляет собой двучленное глагольное предложение. Существуют, однако, также двучленные предложения, не включающие личной формы глагола, то есть безглагольные двучленные предложения. Приведем пример: Líná huba holé neštěstí «Ленивый рот — сущее несчастье» или предложение из повседневной речи: Tak vy taky na jarmark «Так вы тоже на ярмарку». Этот тип, встречающийся, впрочем, очень редко, является господствующим в одном случае, воспринимаемом нами, собственно, уже в качестве глагольного двучленного предложения.

Если в приведенном уже двучленном глагольном предложении поставить глагол в прошедшем времени и сказать: Tatínek už přišel «Папа уже пришел», то можно получить по существу уже двучленное безглагольное предложение, ибо сказуемое в нем выражено не личной формой глагола, а причастием прошедшего времени, следовательно, именной глагольной формой.

Двучленность предложения не обязательно должна быть всегда полностью выражена. Иногда она остается скрытой. В чешском языке это происходит тогда, когда глагол своей формой указывает на лицо и число подлежащего, и нет оснований для того, чтобы подлежащее было специально выражено. Такое предложение со скрытой двучленностью употребляется в укоризненном замечании: Mluvíš nesmysly «Ты несешь вздор». В подходящей ситуации подлежащее в предложении такого типа можно обнаружить без всякого труда. Вместо Mluvíš nesmysly мы можем сказать Ty ale mluvíš nesmysly «Ну и вздор ты несешь». Именно потому, что в приведенном предложении дополнение его подлежащим вполне очевидно, данный тип предложений со скрытой двучленностью отличается от одночленных предикативных предложений, которые без помощи глагола выражают сказуемое вообще, не обозначенное более подробно в данной ситуации. Вместо слов Mluvíš nesmysly мы можем, например, охарактеризовать объяснения, адресованные нам, одним лишь словом Nesmysel «Вздор», которое употреблено нами в данном случае в функции предложения. Одночленности этого безглагольного предикативного предложения не меняет и то обстоятельство, что по значению оно сходно с расчлененным предложением: To je nesmysl «Это вздор»; Co říkáš, je nesmysl «То, что ты говоришь,— вздор» и т. д.

Сферой употребления безглагольных предложений является разговорный язык. Это естественно, так как безглагольные предложения — прежде всего предложения одночленные; они становятся понятными только на фоне ясной ситуации, а это характерно как раз для повседневной речи. Безглагольные предложения встречаются, разумеется, и в литературном языке и в языке художественных произведений, но они воспринимаются там как особые построения. Поэтому безглагольные предложения имеют, если они не являются цитацией разговорной речи, специальное назначение. Иногда их используют при описании ситуации, воспринимаемой органами чувств с живописной статичностью. Примером живописной статичности описания, которое начинается одночленным утвердительным предложением, могут быть вступительные строки из чешского перевода старинного китайского стихотворения: Hladina vodní

v dálku rozlitá, volavka nad ní letí stříbřitá «Водная гладь в дали разлита, цапля над нею летит серебристая». Иногда в безглагольном предложении кратко характеризуется место действия и фон, и тогда оно дается в самом начале повествования. Это имеет место, скажем, в начальных предложениях одной из глав оригинальной чешской фантастической повести: Karneval v obrovském sále, čtyřicet metrů pod hladinou dlažby. Byla to kulatá propast o devíti poschodích, do lůna země. «Карнавал в гигантском зале, сорок метров под поверхностью мостовой. Это была круглая пропасть с девятью этажами в недрах земли». Иногда, наконец, безглагольными предложениями передается ход событий и развитие действия с драматической сменой событий или только перечисление последних. В качестве примера приведем отрывок из современной чешской повести, в которой автор ведет повествование от первого лица. Hned mi bylo jasno, kde jsem tento obličej viděl. Minulý pátek, trestní senát dr. Solnaře, bytový zloděj, nedostatek důkazů, osvobozen «Сразу мне стало ясно, где я видел это лицо. Прошлая пятница, судейство доктора Солнаржа, квартирный вор, за недостаточностью улик освобожден».

ФОРМА ЯЗЫКОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ

Наименования, представленные в языке для того, чтобы охватить ими отдельные элементы действительности, бывают или мотивированными, или немотивированными. Различие между ними заключается в том, что мотивированное наименование, если мы встречаемся с ним впервые, само даст нам возможность в какой-то степени угадать, что оно обозначает, а наименование немотивированное в этом отношении нам совершенно не поможет. Легко понять, чем это объясняется. Наименование мотивированное мы можем с помощью других родственных слов разложить хотя бы на две части, каждая из которых имеет свое вещественное значение, тогда как немотивированное наименование ничего подобного не допускает. Примеры покажут лучше всего, что́ разумеется под всем этим. Возьмем хотя бы слово palírna «винокурня» и слово okřín «чаша, миска». Кто впервые встречается со словом palírna, тот обязательно вспомнит о других словах с тем же окончанием, таких, как barvírna «красильня», brusírna «точильня», čistírna «химчистка», holírna «парикмахерская», kreslírna «чертежная», udírna «коптильня» и т. д., и поймет, что слова, имеющие словообразовательный суффикс

-írna, означают всегда помещение или строение, где происходит деятельность, выраженная глаголом (barviti «красить», brousiti «точить», čistiti «чистить», holiti «брить», kresliti «чертить», uditi «коптить» и т. д.). Он легко поймет тогда, что слово palírna означает помещение или строение, в котором что-то курят. Расспросив, он установит, что в нем курят, допустим, сливовицу. Следовательно, слово palírna в известной степени само помогает человеку, впервые столкнувшемуся с ним, угадать то, что оно обозначает. Поэтому оно и является мотивированным наименованием. В ином положении окажется тот, кто впервые встретит слово okřín: ему ничего не остается, как спросить кого-нибудь о его значении. Только тогда он узнает, что это выдолбленная из дерева миска для приготовления теста. Следовательно, слово okřín является немотивированным наименованием.

Морфемы с вещественным значением, объединяемые для образования мотивированного наименования, могут выражаться разными способами. Приведенное выше наименование palírna можно расчленить на корень, восходящий к глаголу páliti, и на словообразующий суффикс с самостоятельным вещественным значением. О таких наименованиях говорят, что это слова производные. В словах производных наряду со словообразовательными суффиксами важны также и приставки, на что указывают хотя бы глаголы donésti «донести», odnésti «отнести», přinésti «принести», unésti «унести», vynésti «вынести», zanésti «занести» и т. д. Иногда мотивированные наименования образуются таким образом, что объединяют в одном слове два или более корня. Таким путем образованы, например, наименования vodovod «водопровод» и modrooký «голубоглазый». Слова этого типа называются сложными. И наконец, встречаются в языке и такие мотивированные наименования, при образовании которых объединяются два самостоятельных слова, например: divoký mák «полевой мак», obecná škola «начальная школа», větrný mlýn «ветряная мельница», parní pila «лесопилка», horské slunce «горное солнце» и т. д.

Наименования мотивированные, прежде всего слова производные и сложные, переходят с течением времени в разряд наименований немотивированных. Объясняется это тем, что по той или иной причине носители языка в своей практике утрачивают способность разлагать такие слова на части с четким значением. Без исторических справок сейчас, например, уже никто не скажет, что medvěd' «медведь» означает того, кто поедает мед, oblek «одежда»— то, во что мы облекаемся, одеваемся, а слово rádlo «соха» уже значением своих составных частей означает орудие для обработки земли. Эти исторические соображения в данном случае нас не интересуют. Мы исследуем

язык не в его развитии, а как целесообразную систему выразительных средств, и поэтому нас интересуют только такие мотивированные названия, составные части которых по своему значению еще отчетливы и понятны. Подобные мотивированные наименования, разумеется, употребляются в речи и как наименования немотивированные. Значения их составных частей мы не осознаем, но это не значит, что его не существует. Оно лишь скрыто и всплывает в нашем сознании, как только для этого появится повод. Выразительная сила подобного наименования, мотивированный характер которого еще очевиден, заключается отнюдь не в смысловой четкости его составных частей, а прежде всего в том, что своей немотивированной функцией оно вступило в тесную и непосредственную связь с предметом, который им обозначается. С другой стороны, если мы хотим употреблять языковые наименования в их истинной функции, мы обязаны всегда воспринимать их в непосредственной связи с обозначаемыми ими предметами независимо от того, идет ли речь о словах нашего родного языка или о словах языка иностранного. Наконец, действительное значение мотивированного наименования не всегда заключено в значении его составных частей. Обозначаемая действительность может измениться настолько, что в конце концов уже не будет соответствовать некоторым существенным сторонам первоначальной действительности, но, несмотря на это, все-таки будет обозначаться первоначальным названием. Так, например, sirka «спичка» в современном чешском языке обозначает не только спичку с серной головкой, но и спичку вообще.

ЯЗЫКОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ВЕЩЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Мы разобрали в основном форму языкового наименования, но это только первый шаг в исследовании данного цеха удивительной мастерской языка. Мы узнали, что представляет собой наименование, но ничего еще не знаем о том, как, собственно, оно отражает действительность. Наименование является все же чем-то постоянным, хотя бы для определенной эпохи, а действительность все время изменяется. Следовательно, наименование должно обладать чем-то очень гибким, чтобы каждый раз соответствовать изменчивой действительности. Самым гибким элементом в наименовании является его значение. Оно определено четырьмя основными факторами: вещественным содер-

жанием, символической значимостью, эмоциональным акцентом и специфическим привкусом конкретного языка.

Вещественное содержание наименования, стоящего обособленно и, стало быть, не включенного в какую-либо связь, создает общее представление об обозначаемом предмете. Эти общие представления приближаются к понятиям, от которых они отличаются отсутствием логической точности; они сжато выражены теми толкованиями значения, которые даются при отдельных словах и выражениях в одноязычных словарях. Так, имя существительное dveře «дверь» означает отверстие в какой-либо перегородке, заделанное досками, которые укреплены так, чтобы отверстие можно было закрывать и открывать. Имя существительное dům «дом» означает что-то построенное, распланированное и приспособленное для постоянного пребывания внутри. Глагол letěti «лететь» означает свободное и быстрое движение в воздухе, а глагол potkati «встретиться»— во время движения прийти в тесное соприкосновение с кем-либо или с чем-либо, что само движется в обратном направлении.

Именно эта принципиальная всеобщность вещественного содержания наименований обеспечивает использование одного и того же наименования для обозначения предметов в самых различных ситуациях и связях. Так, словом dům мы можем обозначить большой многоквартирный дом современного города и одноэтажный домик полусельского типа провинциального городка, дом римского патриция и дом китайского мандарина или североамериканского фермера. Во всех случаях это будет строение, отвечающее представлению о доме, но каждый раз оно будет выглядеть совершенно иначе. Каждый раз оно будет вызывать неодинаковые второстепенные представления, неодинаковые ассоциации. При этом имеются в виду не только разные типы, но, как правило, индивидуальные представители типа, например городской жилой дом, в котором мы живем сами или кто-либо из наших знакомых. Вещественное содержание наименования суживается при конкретном использовании, а абстрактное и общее представление уступает место единичному представлению со множеством конкретных черт. Здесь речь идет уже не о доме вообще, а об определенном доме в определенной ситуации и в определенной связи. Все признаки, которые говорящий и слушающий вкладывают в актуальное представление о доме, не выступают в этом названии непосредственно, но вызываются на основе данной ситуации, конкретной связи и опыта обоих участников. Этот опыт скрыто присутствует в их представлении о доме, и в случае надобности его можно соответствующим словом восстановить. Наоборот, действительность, с которой наименование

было конкретно связано, ситуация, в которой оно было употреблено, оставляют в его значении видимый след, от которого зависит его выразительная сила. Именно в этом состоит отличие слов книжных от слов, взятых непосредственно из жизни. За наименованием obuvnický učeň «ученик сапожника» стоит лишь абстрактное употребление в официальных документах, учебниках и в газетных сообщениях, вследствие чего оно и вызывает тусклое и бесцветное представление. Напротив, за словами ševcovský učedník «подмастерье» подразумевается бесчисленное количество употреблений в конкретных ситуациях практической жизни, поэтому и представление, возбуждаемое ими, живо и красочно.

ЯЗЫКОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

У разных предметов, с которыми мы часто и близко сталкиваемся, имеется одно свойство, воспринимаемое нами как постоянный и бросающийся в глаза признак. Благодаря этому соотношение предмета и признака иногда настолько меняется, что предмет становится символом свойства, выраженного его признаком. Тем самым получает символическую значимость и языковое наименование, которым обозначен предмет. Покажем это на примерах. Если мы скажем об одной девушке, что она, как тростинка (proutek), а о другой, что она, как спичка (sirka), то эти два сравнения не будут одинаковыми, хотя в обоих случаях подчеркивается худощавость фигуры. Название proutek «тростинка» является символом стройности, связанной с гибкостью и упругостью, тогда как название sirka «спичка» указывает на худобу, которая бросается в глаза, не восполняясь красотой или изяществом.

Признак, на котором основывается символическая значимость наименования, не всегда может быть существенным признаком предмета, употребляемого в качестве символа. То обстоятельство, что внутри мешка темно, не является существенным признаком мешка, и все же мы говорим, что на улице темно, как в мешке (tma jako v pytli). Равным образом мы скажем, что кто-то hluchý jako poleno «глух, как пень», хотя неспособность к звуковому восприятию не является существенным признаком пня. Но мы будем уже ближе к истине, если скажем, что на ком-то visí šaty jako pytel «платье висит, как мешок», поскольку бесформенность покроя является отличительным свойством мешка, особенно если он пуст, или если мы заявим

о тупом карандаше, что он, как полено (je jako poleno), поскольку это действительно характеризует полено в отличие, например, от щепки. Как видно из приведенных примеров, один и тот же предмет может быть принят за символ нескольких совершенно различных признаков, и в результате этого одно и то же наименование в зависимости от обстоятельства может иметь различную символическую значимость.

Как указывают только что приведенные здесь примеры и десятки других, которые каждый может припомнить сам, символическая значимость повседневных наименований в разговорной речи является чем-то до известной степени установившимся. Так, отдельные языки и отдельные говоры одного и того же языка имеют в этом отношении свои отличительные особенности. В Чехии о полной женщине говорят, что она, как кадка (je jako štoudev) или как бочка (jako sud); в Моравии, как я слышал, ее сравнивают с квашней. В чешском языке обычным символом твердости служит камень, в английском — кирпич. И если в разговорной речи создается новая символическая значимость, то она остается в пределах того, что стало привычным.

Использование символической значимости в целях новизны является привилегией поэтов. Наименование plástev «соты» употребляется, например, в разговорной речи, самое большее, как символ чего-то ячеистого. Поэт же говорит о сотах долин и характеризует таким образом с замечательной проникновенностью их ровную поверхность и их плодородие одновременно. Способ употребления символических элементов языкового наименования поэтом и способ употребления их в обычной разговорной речи неодинаковы и в другом плане. Хотя символическая функция всегда наличествует в языковом наименовании, но, как правило, в скрытом состоянии отчетливое проявление ее обусловлено лишь потребностью придать высказыванию особую выразительность. Подобная потребность характерна для поэтов, что и приводит к более частому и интенсивному использованию ими символических элементов слов. Сравнение, благодаря которому символическая функция наименования чаще всего употребляется в разговорной речи, для экспрессивной поэтической потребности выражения оказывается слишком громоздким, в связи с чем поэт охотнее связывает предмет, для которого он ищет название, непосредственно с наименованием, символическая значимость которого, по его мнению, более всего постигает сущность предмета. Это главный источник всего того, что мы называем образностью поэтической речи. В только что приведенном примере поэт не распространяется о том, что долины ровны и плодородны, как соты, а прямо

говорит о сотах долин. Другой поэт, охваченный предчувствием преждевременной смерти, убежденный, что умрет прежде, чем сможет полностью использовать свое великое чувство любви как оружие в геройской борьбе, очень лаконично выражает эту мысль, образную по своей сущности, в собственной эпитафии словами, что он умер раньше, чем смог вынуть из ножен свое сердце.

ЯЗЫКОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Из всех элементов, которые удается установить в содержании языкового наименования, труднее всего подвергнуть анализу эмоциональный акцент. Это обусловлено тем, что в эмоциональном акценте, больше, чем в вещественном содержании, и символической значимости, наряду с точкой зрения говорящего проявляется также установка на слушающего или читателя и что здесь многое решает ситуация. Как это проявляется, мы увидим на примере, который поможет нам раскрыть сущность эмоционального акцента вообще. Прилагательное teplý «теплый» обозначает температуру, ощущаемую по сравнению с холодом как более высокую. В плане эмоциональном это прилагательное нейтрально; мы можем его употребить независимо от того, приятна или неприятна нам температура, которая этим словом обозначается. Мы употребим его, например, и тогда, когда укоризненно замечаем, что принесенное пиво теплое и поэтому нам совсем не нравится, и тогда, когда с удовольствием замечаем, что квартира, в которую мы переехали, очень теплая. Различие в эмоциональном акценте, придаваемое нами в указанных случаях прилагательному teplý, станет ясным, если мы в первом случае сможем сказать, что пиво противно теплое, а во втором, что квартира замечательно теплая.

Совсем иначе, чем прилагательное teplý, ведет себя в эмоциональном плане прилагательное teploučký «тепленький». И оно обозначает более высокую температуру, но всегда с оттенком чего-то приятного, то есть мы произносим это слово, когда испытываем приятное ощущение. Мы могли бы употребить его вместо прилагательного teplý «теплый» только во втором случае, и то лишь тогда, когда мы захотели бы особенно подчеркнуть наше удовольствие. Следовательно, это прилагательное является хорошим примером языкового наименования, лишен-

ного нейтральности в эмоциональном плане. Употребление его указывает нам, однако, и на нечто иное. Если мы говорим, что наши перчатки тепленькие, то мы не выходим еще за пределы своих ощущений. Иначе обстоит дело, если мы уговариваем ребенка взять эти перчатки, говоря, что они тепленькие. Тут, очевидно, мы пытаемся перенести свой чувственный опыт на слушателя и воздействовать им на него. Поэтому прилагательные подобного образования используются прежде всего в разговоре с детьми. Некоторые из этих прилагательных, такие, как, скажем, sladoučký «сладенький», dobroučký «хорошенький», употребляются взрослыми только при разговоре с детьми.

К подобным же результатам можно прийти, если исследовать употребление уменьшительных имен существительных. В целом они действительно означают что-то непривычно малое. Это видно, скажем, на слове krůček «шажок», если мы действительно подразумеваем под ним очень маленький шаг. Однако, как правило, уменьшительные существительные употребляются в качестве наименований с оттенком приятного удовлетворения, в большинстве случаев невзирая на величину предмета. Одобрительные слова To je domček! «Вот это домик!» может употребить тот, кто строил дом, и тот, кому он принадлежит; это можно сказать и о большом жилом доме.

У прилагательных типа teploučký и у уменьшительных существительных наличие эмоционального акцента выражено словообразовательным суффиксом. Такое словообразование типично для чешского языка. Иногда от одного корня здесь образуется целый ряд наименований с разным эмоциональным акцентом (bába «старуха», baba «баба», babka «бабушка», babice «ведьма», babička «бабуся», babizna «бабища»). Случаи, когда эмоциональный элемент в наименовании обозначается лишь формально, очень редки, и, как правило, эмоциональный акцент характеризует только содержательную сторону речи. Однако он состоит в связи и с другими элементами содержания. В принципе его характер может быть определен вещественным содержанием наименования и усилен его символической значимостью. Многие явления сами по себе возбуждают у обыкновенного человека чувство неудовольствия, ибо они печальны, мучительны или отвратительны, и оттенок неудовольствия переносится с явления на его наименование. Если мы хотим избежать этого, то употребляем эвфемизмы, то есть называем неприятный предмет не его собственным именем, а наименованием, которое из-за относительной новизны еще слабо срослось с данным предметом или которое только намекает на этот предмет. Правда, не обо всем можно всегда говорить без

обиняков и открыто, как это часто делают простолюдины, но, с другой стороны, нужно, помнить, что эвфемизмы весьма чувствительны, их следует употреблять осторожно и с должным тактом. Чрезмерное использование их так же свидетельствует о недостатке вкуса, как и злоупотребление нежными выражениями из детской речи.

Решающим и часто единственным моментом, определяющим эмоциональный элемент в актуальном значении языкового наименования, является зависимость конкретного высказывания от ситуации. Выше мы отметили, что вещественное содержание языкового наименования только на базе ситуативного высказывания получает конкретные черты, позволяющие ему обозначать индивидуальные предметы; мы видели также, что ситуативные высказывания обусловливают актуализацию или пассивность символической значимости наименования. При эмоциональном акценте роль ситуации еще более возрастает, ибо эмоциональная окраска нередко создается только ею. На примерах с прилагательным teplý мы уже познакомились с этим и теперь сможем применить свои познания к предложению Zde je teplo «Здесь тепло». В зависимости от ситуации это предложение может иметь эмоциональную окраску удовольствия или неудовольствия. Представим себе, что мы употребили это предложение, когда во время летней жары, к своему неудовольствию, обнаружили, что там, где мы предполагали найти прохладу, жарко, или же когда зимой, в мороз, при входе в натопленную комнату нас поразило приятное чувство тепла. Выше на этих примерах мы доказывали, что прилагательное teplý в эмоциональном плане нейтрально. На этот раз речь идет о способе произношения нашего предложения в различных ситуациях. Легко догадаться, что в любом из двух случаев это предложение произносится по-разному и что это касается именно слова teplý. Мы видим, что эмоциональная окраска языкового наименования не только определена ситуацией, но передается также средствами, свойственными речевому целому — предложению. В устной речи это прежде всего особенности звуковые. Эмоциональный акцент выражается тоном, которым мы произносим соответствующее высказывание, то есть расстановкой ударения, интонацией, темпом речи и окраской голоса. В письменной или печатной речи, однако, эти моменты не отражаются или отражаются весьма неполно и примитивно знаками препинания. Эмоциональная окраска должна выражаться там связью слов в предложении, и если мы хотим, чтобы читатель не сомневался в смысле написанного, мы должны обращать внимание на то, чтобы связь эта была в эмоциональном отношении ясной и однозначной.

Эмоциональная сторона языкового наименования — это одна из областей, неограниченным владыкой которой является поэт. У него все омывается струей постоянно настороженного чувствования, и его чудесный дар речи позволяет воспринять предметы и действия с отблеском неуловимых оттенков. Для него не существует эмоционального акцента, который для других людей с обычной эмоциональной логикой вытекает из вещественного содержания наименования и из его привычной символической значимости. Он сам определяет эмоциональную ценность предметов и в соответствии с этим оставляет на словах свой собственный эмоциональный отпечаток. Он использует средства, принадлежащие выразительному инвентарю предложения. Поэт вводит слово в эмоционально-выразительную канву предложения, связывает его с другими специально подобранными и созвучными ему словами и усиливает его эмоциональный акцент звуковым строем и искусственно подобранными чисто звуковыми элементами — ритмом, темпом и интонацией. Сила поэтического слова поистине творит здесь чудеса. Чтобы, скажем, прочувствовать ночь со всем ее эмоциональным сопровождением, с одной стороны, как время пышного великолепия, и с другой — как время тягостного мрака, не требуется ни долгого описания, ни драматической ситуации. Из чешской поэзии нам известно, что достаточно будет для этого нескольких стихов, начинающихся в одном случае словами Letní ty noci zářivá «Эти летние ночи сверкают», а в другом — словами Pustopustá temná noc «Бездонная темная ночь».

ЯЗЫКОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРИВКУС КОНКРЕТНОГО ЯЗЫКА

Некоторые языковые наименования употребляются повсеместно, другие употребительны лишь в особом стиле языка, характерном либо для определенной территории, либо для известного возрастного или общественного слоя, для общности людей, объединяемых единством профессии, интересов, устремлений и т. д. Слова первого типа распространены повсеместно на территории данного языка, слова второго типа употребительны лишь в определенной среде, отпечаток которой явственно отражается на их специфическом привкусе. Это наглядно проявляется в том случае, когда для одного и того же предмета в языке имеется два названия, одно без этого специфического

привкуса, следовательно, нейтральное, а другое с отчетливо ощутимым специальным оттенком, свойственным только определенной среде. Очень часто наряду с нейтральным названием употребляется название с оттенком фамильярности или просторечности. На это указывают, например, пары: dům «дом»— barák «халупа, изба», hlava «голова»— palice «башка», děvče «девушка»— holka «девка, девчонка», otec «отец»— tata «батька», plakat «плакать»— brečet «хныкать». В других случаях специфический оттенок позволяет перейти от нейтральных названий в сферу книжной утонченности или конкретной профессии, как, скажем, в парах tvář — líce «лицо — лик», věneček — vínek «венок—венец», kmen — peň «племя—род», stopka listů—řapík «стебель—черенок», jíti—ubírati se «идти — направляться» и т. д. Наименования книжного характера часты в языке в тех случаях, если в языке действует принцип, согласно которому поэтические произведения обязаны пользоваться особым слоем слов, отличным от словаря повседневной речи. Иногда в языке вы можете встретить целый набор названий для одного и того же предмета, основанный на специфических оттенках и состоящий более чем из двух слов: ústa «рот, губы»— huba «рот, морда»— držka «пасть»— pusa «ротик». В иных случаях название остается одиночным, так как другой член пары у него отсутствует. Так, не имеется (за исключением выражений детской речи или жаргонов, которых мы здесь не касаемся) параллелей со специфическим оттенком к нейтральным словам most «мост», kladivo «молоток», stůl «стол», koleno «колено», sestra «сестра» и т. д., и наоборот, трудно кратким нейтральным названием полностью выразить то, что с экспрессивным оттенком обозначают слова fláma «кутеж», ulít se «увильнуть», podfuk «обман, подвох», vyžírka «обдирала» и т. д.

Особую группу составляют в этой области заимствованные слова. Если иностранное слово выступает для какого-нибудь предмета в качестве единственного названия, то оно обычно не имеет специфического привкуса. Об этом свидетельствуют слова telegraf, automat, režisér, motor и т. д. Если заимствованное слово употребляется для обозначения какого-либо предмета наряду с коренным словом, если оно повсеместно привилось, то мы почти не замечаем в нем специфического оттенка, обязанного своим появлением его происхождению. Это относится, например, к слову historie «история» по сравнению со словом dějiny. Обычно же заимствованное слово имеет ощутимую специфику, характер которой зависит от того, как вообще в языке оцениваются иностранные слова того или иного происхождения. Когда в XIX в. создавался новый, более отшлифованный разговорный чешский язык, заимствования, которыми до этого он был

насыщен, были оттеснены на периферию. Поэтому сейчас заимствованные слова по сравнению с коренными словами часто наделены оттенками фамильярности и вульгарности. В качестве примера приведем пары: lék «лекарство»— medicína, přikrývka «одеяло»— deka, závin «рулет»— štrůdl, slamník «тюфяк»— štrozok.

Иностранные слова, заимствованные позже или из других источников, особенно под непосредственным влиянием западной культуры, принадлежат, напротив, словарю высокого стиля. Определяющим в специфической окраске подобных слов является оттенок специальности, который сам по себе может быть весьма различным. Явственно ощутимо различие, когда заимствованное слово относится, например, к словарю художественной критики (sloh — styl «стиль», jemný — subtilný «изящный», výtvor — kreace «творение»), или к научной терминологии (drobnohled — mikroskop, lékař chorob duševních — psychiatr, podstatné jméno — substantivum), или к официальной терминологии (úřední spisy — akta «дела, бумаги», schválení provedené práce — kolaudace «прием, одобрение», dáti na dočasný odpočinek — kvieskovat «уйти на пенсию»).

Злоупотребление иностранными словами свидетельствует об отсутствии вкуса, однако для принципиальной борьбы против каждого заимствованного слова нет разумных оснований, и такая борьба не может рассчитывать на окончательный и длительный успех. Заимствованные слова употребляются во всех культурных языках и будут в них всегда, поскольку обмен идеями и предметами приводит и к смене названий. Стремление заменить иностранное слово во что бы то ни стало своим словом может привести к тому, что вводимое нами родное слово приобретет излишний оттенок новизны, тогда как заимствованное слово будет уже восприниматься как нейтральное. И чем глубже укоренилось иностранное слово, тем сильнее и продолжительней это ощущение. У названия dálnice «автострада» специфический привкус был с самого начала довольно слабым и скоро исчез совсем, так как слово autostráda было еще новым само по себе. Когда же вместо заимствованного слова feúilleton «фельетон» нам встречается малоупотребительное слово podčárník, то мы не можем избавиться от ощущения, что сильный привкус произвольного словотворчества постоянно сопутствует этому слову.

Названия с оттенком новизны мы называем неологизмами. Неологизм легко приживается лишь тогда, когда он служит для наименования новых предметов (rozhlas «радио», dálnice «автострада») или для массового внедрения специально разработанной терминологии (спортивная терминология). Вообще же

удачный неологизм в литературном языке — редкая случайность. Разговорная речь, легко подчиняющаяся изменчивой моде, а также охотнее принимающая новые названия, более богата неологизмами (čepice— *ahojka* «фуражка», dámské holinky — *válenky* «валенки» и т. д.).

Противоположностью неологизмов являются архаизмы, то есть слова, имеющие ощутимый привкус того, что когда-то было обычным, но теперь уже устарело. Архаизмы, подобно иноязычным экзотическим словам, являются принадлежностью прежде всего литературного языка и употребляются для характеристики лиц и среды. Подобно диалектизмам, то есть словам, взятым из диалектов, архаизмы могут быть по существу тождественны словам повседневным, от которых они отличаются лишь незначительными формальными особенностями. Так, архаизм měštěnín соотносится с повседневным měšt'an, а существительное dívčí из ходского говора — с обычным děvče.

Небольшие отклонения в структуре слов оказываются немаловажными для специфических оттенков и в других случаях. Различие между обычными čichat «нюхать» и вульгарным čuchat столь выразительно, что нет необходимости объяснять его. В заимствованных словах различия между оттенком фамильярным или даже вульгарным и нейтральностью нередко выявляется лишь при отклонениях в произношении (student «студент»— študent, skizza «очерк»— şkica и т. д.). Обычному autor «автор» противопоставлено слово auktor, выражающее педантизм преподавателей классических языков. Обычным формам oblázek «галька», svižný «гибкий», mistička «мисочка» в качестве пуристических противостоят формы oblásek, švižný, mištička. Поэтизмы — слова, свойственные поэтическому стилю, иногда также отличаются от повседневных слов. Из практики поэтов «Лумира» в качестве примера можем указать на употребление слов tes вместо útes «скала», slal вместо poslal «он послал» или posílal, poprv вместо poprvé «во-первых».

О СТИЛЕ

В своем исследовании мы зашли так далеко, что пришла пора приостановить изложение и спросить, как же выразительные языковые средства, с которыми мы познакомились, используются в стилях речи. Хотелось бы все-таки оперировать лишь известными понятиями, вследствие чего необходимо ответить прежде всего на вопрос, что такое стиль. Под стилем в плане

словесном мы понимаем характерный способ, с помощью которого обычно с определенной целью используются выразительные средства языка. Это определение требует, однако, дальнейшего разъяснения. Уже из того, что мы говорим о способе, с помощью которого выразительные языковые средства использованы с определенной целью или с определенной целью обычно используются, вытекает, что о стиле можно говорить в двояком смысле. В первом случае под стилем мы подразумеваем действительность, которая проявляется в готовом языковом материале, идет ли речь об элементарном высказывании или о литературном произведении, тогда как во втором — под стилем мы подразумеваем возможность, обусловленную ситуацией, при которой происходит языковое творчество. При более близком рассмотрении мы обнаружим, что ситуация, определяющая стиль, включает в себя три важнейших фактора: языковой материал, личность говорящего или пишущего и цель, стоящую перед ними. Чешский язык имеет одни стилевые особенности, немецкий или французский — другие, одним стилем писал свои критические статьи Ф. Кс. Шальда, другим — Индржих Водак, разных стилей требует интимное письмо и письмо официальное. С точки зрения этих трех факторов мы можем различать стиль исходного языка (стиль чешского, немецкого, французского языков), стиль авторской индивидуальности (стиль Шальды, Водака) и стиль функционального объекта (стиль интимного письма, стиль письма официального). Однако в действительности все они неразрывно связаны, и на всех этих стилях сказывается стилистический материал и стилистические возможности. Так, индивидуальный авторский стиль возникает только на основе стилистических возможностей исходного языка и в границах, определенных стилистическими возможностями функционирующего объекта, и, наоборот, характер и объем этих обеих возможностей обнаруживается в реализациях, созданных авторской индивидуальностью. Вероятно, это звучит довольно абстрактно, но постараемся заменить абстрактные понятия конкретными примерами, и тотчас все разъяснится. Никто ведь не станет отрицать, что индивидуальный стиль Шальды проявился на основе стилистических возможностей современного чешского языка в рамках функциональных задач, определяемых его художественными принципами, и что, наоборот, стилистические возможности современного чешского языка, а также стилистические требования различных функциональных объектов проявляются в известной степени в индивидуальном стиле Шальды.

Для нас самым важным является различие между стилем индивидуальным, то есть способом проявления в речевом

построении выразительных способностей, склонностей и особенностей говорящего или пишущего субъекта, авторской индивидуальности, и стилем функциональным, то есть способом, с помощью которого речевое построение отвечает выразительным требованиям функционального объекта. Индивидуальный стиль индивидуален как раз тем, что несет отпечаток отдельной личности, а для остальных является лишь чем-то готовым, что можно только анализировать, дегустировать и критически оценивать. Стиль функциональный, напротив, в своих границах является чем-то общим, ибо требованиям, предъявляемым функциональным объектом к речевому построению со стороны выразительности, должен в известной степени удовлетворять каждый, для кого этот объект является целью. Поэтому при функциональном стиле мы прежде всего думаем о данных возможностях, нежели об их реализации. В этом заключается источник недоразумений в решении вопроса о том, можно ли научиться хорошему стилю. Некоторые — и таких, как это ни странно, довольно много именно среди наших учителей средней школы — решительно заявляют, что хорошему стилю научиться нельзя. После всего сказанного вы, вероятно, догадаетесь, что эти скептики правы постольку, поскольку речь идет об индивидуальном стиле. Ему действительно нельзя научиться, его можно только создать. Однако не следует все же забывать, что наряду со стилем индивидуальным существует также и стиль функциональный, и последний именно ввиду его всеобщего характера можно изучать и научиться ему. Этот тезис можно расширить, провозгласив, что непосредственной обязанностью каждой вполне сформировавшейся нации является забота о том, чтобы все ее члены, если они претендуют на звание образованных людей, хорошо изучили хотя бы те способы функционального употребления своего родного языка, которые встречаются в повседневной жизни наиболее часто и потому наиболее необходимы. Создать свой характерный индивидуальный стиль не каждому дано, но определенная стилистическая подготовка должна быть частью общего образования, и такая подготовка является не чем иным, как овладением наиболее важными видами фукционального стиля.

О стиле мы можем говорить, собственно, и при наличии очень кратких высказываний, ибо и они тоже возникают на основе какого-нибудь языка, имеют какого-то автора и на что-то направлены, так что и в них могут проявиться все три стилистических фактора: исходный язык, авторская индивидуальность и функциональный объект. Как правило, мы говорим о стиле только тогда, когда эти три фактора проявляются характерным образом, а это возможно преимущественно в связных языковых

проявлениях. Если мы хотим шагнуть в своем исследовании дальше и спросить, в чем же состоит стилистическая подготовленность, названная нами в качестве необходимой составной части всеобщего образования, то прежде всего мы должны будем ответить на вопрос о том, какие цели чаще всего преследуют в повседневной жизни языковые высказывания, все равно — письменные они или устные. Каждый согласится с нами, если мы скажем, что посредством этих высказываний кому-нибудь что-то сообщается, объясняется или рассказывается, кто-либо о чем-то сообщает или кому-то что-то предлагает, кто-либо кого-то в чем-то убеждает или что-то опровергает, кто-то кого-то к чему-то принуждает или от чего-то отговаривает или, наконец, высказывает по какому-либо поводу радость, сожаление, печаль, гнев и т. д. Это довольно длинный перечень различных функциональных стилей, но по зрелом размышлении этот перечень можно сократить. Отдельные стили речи различным способом и с разной интенсивностью апеллируют к адресату, слушателю или читателю (с этой точки зрения, безусловно, существует значительное различие между простым сообщением, высказыванием и объяснением, с одной стороны, и убеждением, требованием, принуждением — с другой), в разной степени насыщены они и эмоциональными элементами (больше всего последние имеют место при непосредственном выражении чувства). Однако всегда в связном языковом построении, относящемся к некоторым из приведенных стилей речи, представлено какое-то вещественное содержание, являющееся общим знаменателем, под который можно подвести все функциональные языковые стили повседневной жизни. Простой стиль изложения является поэтому основой стилистической подготовленности, которой должен обладать каждый образованный член нации.

Итак, мы пришли к тому, что для нас стиль речи должен быть представлен преимущественно простым стилем изложения. Под таким углом зрения мы рассмотрим также и вопросы специальные. Это предполагает большое упрощение проблемы, ибо в простом разговорном стиле мы не должны особенно считаться ни с апелляцией к слушателю или к читателю, ни с примесью элементов эмоциональных. Все, что требуется от простого стиля изложения, сводится лишь к тому, чтобы сказанное обладало точностью, ясностью и связностью.

СТИЛЬ И ЯЗЫКОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Выбор слов как носителей языкового наименования, который является одним из двух краеугольных камней любого высказывания, играет не меньшую роль в создании стилевых ценностей. Он связан также со всеми тремя особенностями, которые были определены нами в качестве желательных признаков простого стиля изложения. Более того, от выбора слов зависит точность стиля изложения и в значительной степени выбор слов способствует ясности стиля, хотя стилистическая связность большей частью является следствием совершенно иных моментов. Следовательно, в настоящей главе речь пойдет прежде всего о первых двух особенностях стиля изложения.

Первое условие, от которого зависит совершенство стиля того или иного высказывания, носит не языковой, а смысловой характер. Мы не сможем изложить четко и ясно то, чего сами хорошо не знаем. Все еще сохраняет свою силу совет, высказанный еще во времена Древнего Рима: хорошо пойми сущность вещи, слова придут сами. Эта старая истина является настолько очевидной, что о ней не нужно было бы и напоминать, если бы те, кого коснулось книжное образование, не относились бы столь сухо и черство к действительности. Это отнюдь не означает, что они не разбираются в действительной жизни. Практичных дельцов среди нас уйма, но нам не хватает простой и искренней радости восприятия того, что нас окружает. Мы часто скользим по поверхности явлений. Иначе бы не было у нас такого недостатка в романах и пьесах, написанных с настоящим знанием людей и явлений действительности.

Недостаточно, однако, хорошо знать предмет, необходимо также уметь правильно назвать его. Это само собой разумеющаяся вещь, но все же на нее обращается у нас мало внимания. Замечали ли вы, как часто заменяется в фамильярном разговоре точное название предмета общим, ни о чем не говорящим местоимением «это», если даже речь зашла о нем впервые? Эта дурная привычка имеет две причины: или мы не освоились с названием предмета настолько, чтобы иметь всегда это название наготове, или же мы слишком ленивы, чтобы вспоминать его. И для того чтобы правильно употреблять названия предметов, нужно упражняться. В связи с этим позволю себе вспомнить небольшой эпизод. Это было в Бельгии. В купе вагона, которое я занимал, ехали еще две скромно одетые женщины, и с ними был маленький мальчик лет пяти. Он с любопытством наблюдал за всем и, когда поезд тронулся, радостно закричал, что поезд уже поехал. Он употребил при этом глагол

se mouvoir, но одна из женщин его тотчас поправила, сказав, что о поезде говорят rouler. У нас хотя и можно услышать, как покрикивают мамаши на своих детей, если они употребляют слишком простонародные выражения или формы, но я никогда не слышал, чтобы чешская мать поправляла такого рода ошибки в речи своего ребенка. Так же обстоят дела и в школе. В средней школе, особенно в начальных классах, значения слов еще изучаются, но позднее на это перестают обращать внимание. Анализ синонимов и другие подобные упражнения, имеющие целью научить более точному распознаванию значений, приняты в школах таких народов, которые обладают старой языковой культурой, а у нас, насколько мне известно, этим еще пренебрегают. Почти в каждой богатой современной литературе рассказывается о выдающемся писателе, с особой любовью изучавшем словарь своего родного языка. Но чтобы словарь можно было изучать, он прежде всего должен существовать, а возможность пользования словарем современного чешского литературного языка появилась у нас лишь несколько лет назад. Да и сейчас у нас нет еще дешевого словаря обычной литературной лексики, которым можно было бы пользоваться в школе и в повседневной практике.

Поиски точного, подходящего названия часто означают выбор его из двух или трех названий, существующих в языке. Мы уже отметили, что отдельные названия в таком случае отличаются друг от друга выразительным специфическим привкусом. Со стороны стилистической мы должны следить за тем, чтобы ни одно выражение без особой на то мотивировки не выделялось указанной специфичностью. Здесь возможны перегибы и в ту и в другую сторону. Как-то я получил письмо, автор которого имела полное право писать мне в тоне родственной близости. Это было благодарственное письмо, и было очень приятно, что она благодарила меня простыми словами. Но к концу перо ей отказало. Было это во время эпидемии гриппа, и письмо заканчивалось выражением надежды, что меня и мою семью ta chřipajzna ušetřila. Вульгарное выражение было упомянуто, естественно, в шутливой форме, но корреспондентка перестаралась и слишком резким эффектом испортила приятное впечатление от своего письма. Еще большую опасность по сравнению с отклонениями влево, неуместность которых мы, как правило, осознаем, представляют отклонения вправо, по той самой причине, что слова явно книжного характера окружаются ореолом исключительности и изысканности. Неуместное употребление книжных слов в простом рассказе о простых вещах создает хрестоматийный стиль, отмеченный своей неестественностью. В этих хрестоматиях обычно не «дети ходят

на луг», а всегда «детки отправляются на лужок». Этот стиль в наших школьных хрестоматиях, кажется, уже отмер, но в книгах для детей он еще живет. Я бы не поверил этому, если бы сам не прочитал в недавно вышедшей книжке такое предложение: Byl jednou obuvnický učeň a neměl otce, ani matky «Жил когда-то ученик сапожника, и не было у него ни отца, ни матери». Книга была переведена на чешский язык, но переводчику ее следовало бы знать, что для детей нужно писать о повседневных вещах языком, с которым они близко знакомы, то есть он должен был написать, что jednou byl ševcovský učedník a ten neměl ani tatínka, ani maminku. Итак, не будем забывать, что нашей основной темой является не анализ поэтического языка или языка художественной прозы, а анализ простого стиля изложения, применительно к которому можно выдвинуть принцип неприемлемости излишнего отклонения от обычного словарного состава. Принцип «пиши, как говоришь» является вследствие своей односторонности неправильным, так как письменная речь — это нечто иное, нежели речь устная, и между ними нельзя поставить знак равенства. Еще более неправильным является и принцип «пиши иначе, чем говоришь», который хотя и не провозглашается, но из-за стилистической неграмотности осуществляется очень часто.

Сделаем еще одно замечание к предыдущему абзацу. Резкие проявления своеобразного специфического привкуса у отдельных слов вполне оправданны, если эти слова берутся как цитаты из языка иной среды. Если бы корреспондентка, о которой я только что говорил, привела слово chřipajzna в качестве цитаты (chřipka, které tady ze samé lásky k ní říkají chřipajzna), против этого ничего нельзя было бы возразить. Цитатой является также все, что вводится в рассказ как речь прямая или косвенная. В таком случае отклонения в специфическом оттенке, безусловно, допустимы, а иногда просто необходимы, если это связано с реальной достоверностью. Но и здесь ошибочна неестественность диалога. Я слышал однажды в радиопередаче для школьников, как деревенский парень сказал своему отцу крестьянину: Vzpomínám si, že jsi měl tehdy oči prozářený zvláštním jasem «Я вспоминаю, что у тебя глаза светились тогда особенным блеском». Надеюсь, никто из моих читателей не думает, что именно так разговаривают парни из деревни, и поэтому все отчетливо чувствуют стилистическую фальшь этой фразы.

Разумеется, названия, существующие в языке для одного и того же предмета (под предметом мы обобщенно понимаем все, что обозначается языковым наименованием), не всегда столь выразительно разобщены, как в случаях, о которых мы только что говорили. Иногда они отличаются друг от друга

только незаметными оттенками значения, иногда тем, что различие между ними актуализируется только в редких случаях, и в подходящей ситуации мы можем употреблять одно слово вместо другого без ощутимых изменений в смысле предложения или в его стилистической окраске. В этом и только в этом плане можно говорить, что в языке существуют слова с одинаковыми значениями — синонимы, или слова однозначные. Мы можем показать это хотя бы на паре historie — dějiny. Правда, слово historie означает также относительно короткую цепь событий и события, касающиеся конкретной личности или относящиеся к конкретным предметам (historie posledních pěti dnů «события последних пяти дней»; historie mého života «история моей жизни», historie mé čajové konvičky «история моего чайника»), что не свойственно слову dějiny, и именно поэтому слово historie имеет легкий налет чего-то особенно интересного и личного. Однако там, где речь идет о длинной цепи событий и затрагиваемый предмет лишен индивидуальных черт, можно употребить любое из этих слов (historie или dějiny starého Říma «история Древнего Рима», historie или dějiny parního stroje «история парового двигателя»). Синонимы и синонимические выражения являются важным вспомогательным средством в области стилистического разнообразия и стилистической связности. Иногда мы умышленно повторяем одно и то же слово в самых важных местах языкового высказывания, чтобы придать ему особую силу или с его помощью расчленить целое. Если же одно и то же слово повторяется несколько раз за короткий промежуток времени и стилистически не мотивировано, то возникает неприятное впечатление тяжеловесности и беспомощности стиля.

При правильном использовании синонимики можно избежать подобного впечатления. Указанные синонимические замены необходимы и там, где становится ясным, что слово, употребленное первоначально, не подходит по своему фонетическому составу к данному окружению, ибо его сочетание со словами предшествующими или последующими создает неприятное звуковое впечатление, нарушающее непрерывную линию целого высказывания.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

После вопросов практического характера вернемся снова к теоретическому исследованию и обсудим последний важный момент, который касается языковых наименований и их языковой классификации. Словарный состав языка отнюдь не являет-

ся неупорядоченным смешением названий, ибо в таком виде он вряд ли бы поддавался легкому овладению им; он определенным образом упорядочен, причем одновременно в нескольких планах.

Так, например, описательные наименования группируются в ряды или по одинаковой основе, или по одинаковой производящей части, иногда (у слов сложных, которых в чешском языке сравнительно немного) по определяющей части. Ряд, объединенный одним и тем же словообразовательным суффиксом, мы привели выше, когда анализировали слово palírna. Такими рядами закрепляется в сознании значение словообразовательных частей. Ряды, объединенные по принципу одинаковой основы, мы называем гнездами слов. Иногда, как это мы видели в ряду слов, производных от основы bába — baba, члены его отличаются прежде всего эмоциональным оттенком или специфическим привкусом конкретного языка. Иногда же они различаются между собой преимущественно вещественным содержанием. Примером тому могут служить существительные и прилагательные, производные от основы spolu: spolek, společnost, společenskost, společenství, společenstvo, spolkový, společný, společenský, společenstevní. Исключительно по значению группируются слова и выражения в ряды синонимические. Об их сущности мы уже говорили. Обширный синонимический ряд образуют хотя бы слова hlína «земля, глина», země «земля, страна», půda «земля, почва», prst' «земля, перегной». В словарном составе родного языка мы находим не только однозначные (точнее говоря, почти однозначные) слова, но также и слова с противоположным значением. Так, мы знаем, что противоположности образуют, скажем, следующие пары имен прилагательных: studený — teplý «холодный — теплый», vlažný — horký «равнодушный — вспыльчивый», nízký — vysoký «низкий — высокий», úzký — široký «узкий — широкий», těsný — volný «тесный — просторный», mělký — hluboký «мелкий — глубокий», hloupý— chytrý «глупый — умный», ošklivý — hezký «безобразный — красивый», špatný — dobrý «плохой — хороший» и т. д. Некоторые пары образованы при помощи присоединения к основному имени прилагательному отрицательной частицы. В качестве примера можно привести пары způsobný — nezpůsobný «способный — неспособный», snadný — nesnadný «легкий — нелегкий», mastný — nemastný «жирный — нежирный», významný — bezvýznamný «значительный — незначительный» и т. д. Следует обратить внимание на то, что отрицательный член пары не означает, как правило, отрицания того, что выражено положительным его членом, а чаще—полную противоположность ему. Так, мы можем сказать, что ostýchavý «робкий, стыдли-

вый»— тот, кому свойственна излишняя робость, застенчивость. Напротив, neostýchavý не означает того человека, который не склонен к излишней робости и в достаточной мере смел, а того, кого вообще ничем не смутишь, то есть такого человека, который смел сверх меры. Наряду с рядами синонимическими и парами слов, противоположными по значению, или антонимами, существуют и другие группировки названий по значению, например ряды слов, группируемые по степени качества. Очень хорошо представлен такой ряд слов у прилагательных, обозначающих разную температуру воды: ledová или jako led studená «ледяная» или «как лед студёная», chladná «холодная», vlažná «тепловатая», teplá «теплая», horká «горячая», vařící «кипящая». В этом ряду степень качества может иметь исключительно вещественный, объективный характер. Субъективное понимание в обозначении степени качества слову придается только тогда, когда указывается, что такая степень значительно превышает наши ожидания: Ty máš ruce zrovna vařící «У тебя руки, как кипяток»; Ty máš ruce jako kus ledu «У тебя руки, как ледышки». Наименования группируются не только в пары или ряды, но и вокруг основного понятия. Так, например, вокруг названия предмета группируются глаголы, обозначающие деятельность, с которой предмет связан как ее производитель или как ее объект или орудие. Так, например, говорят, что ***курица*** *копается*, *собирает*, *купается в пыли*, *несет яйца*, *кладет яйца вне гнезда*, *кудахчет*, *квохчет*, *сидит на яйцах*, *выводит цыплят*, *линяет*. ***Свекла*** *сáдится*, *окучивается*, *полется*, *прорывается*, *выкапывается*, *выдергивается*, *очищается*, *грузится* и *отвозится на станцию или сахарный завод*. ***Лопатой*** *набирают* и *кидают* или *перебрасывают*; ***заступом*** *копают* или *разбивают*; ***мотыгой*** *рыхлят* или *окучивают*; ***граблями*** *гребут*, *сгребают* и *убирают*; ***вилами*** *собирают* и *подают* и т. д. Чем лучше мы знаем предмет из собственной практики, тем более богатый словарь мы употребляем, когда о нем говорим, и тем более подходящим и точным образом мы можем характеризовать его. Язык скудный и некрасочный всегда свидетельствует о неглубоком и ограниченном знании предмета.

Все эти систематизированные классификации языковых наименований подразделяют словарный состав таким образом, что это дает нам возможность в процессе речи всегда быстро и правильно ударять по этой удивительной клавиатуре. Самой важной все же является классификация, о которой мы еще не говорили, классификация категориальная, ибо она глубже, чем какая-либо иная, приближается к самой сути языковой системы. В результате такой классификации словарный состав языка делится на части речи, которых в чешской школьной граммати-

ке насчитывается девять. Нам она представляется в виде комбинации двоякого деления слов: деления по явлениям внешнего мира, которые они обозначают, и деления по функции, выполняемой ими в предложении. Пусть философская критика судит об этом как ей угодно, но простому мышлению, возникшему из потребностей повседневной практики, внешний мир представляется в виде совокупности предметов (живых существ и неодушевленных предметов) с обликом или неизменным, или изменчивым. Итак, эти три сферы значений выражают три вида наиболее важных слов. Имена существительные являются по существу обозначениями предметов, имена прилагательные обозначают их постоянные свойства, глаголы выражают свойства предметов, которые изменяются или сами по себе, или по отношению к своему окружению. Доказательством этому могут служить любые слова с обычным значением, например: kámen «камень», tvrdý «твердый», větrati «выветриваться». Мы знаем, что слова в языке не просто стоят рядом, а связываются в предложения. Так, мы можем связать и наши три слова, скажем, в предложение I tvrdý kámen větrá «И твердый камень выветривается». При этом сразу становится ясно, что имена существительные, имена прилагательные и глаголы, кроме функции просто назывной, имеют еще и другую, синтаксическую функцию, вытекающую из их роли в предложении. Имена существительные не только обозначают предмет, но являются еще и тем видом слов, которому предназначено выступать в предложении в функции подлежащего или дополнения; имена прилагательные служат не только для обозначения постоянного свойства предметов, но являются также типичной формой определения (собственно определения или определения сказуемостного); глаголы же, кроме того, что они обозначают изменчивые свойства предметов, служат еще — в наиболее свойственных для них формах, в формах личных — для выражения сказуемого в предложении. Последняя, синтаксическая функция иногда так значительна, что преобладает над функцией назывной и вызывает любопытные преобразования в частях речи. Так, в предложении Větrající kámen není tvrdý «Выветривающийся камень не прочен» слово, обозначающее изменяющееся качество, имеет типичную форму определения, форму адъективную, а в предложениях Větrání kamene se řídí jeho tvrdostí «От степени твердости камня зависит его выветривание» или Tvrdost spomaluje větrání kamene «Твердость замедляет выветривание камня» слова, обозначающие свойства предмета (в одном случае — постоянное, а в другом — изменчивое), на почве синтаксической функции получают формы имен существительных.

То же происходит и в остальных частях речи. Различные назывные цели и различные синтаксические функции в них всячески переплетаются. Междометия по своему содержанию бывают чисто экспрессивными или звукоподражательными и не обладают устойчивыми синтаксическими функциями. Напротив, союзы теснейшим образом связаны с синтаксисом, ибо они являются средством связи различных мыслей и отрезков мыслей, выражаемых предложением. Предлоги используются всегда в предложениях субстантивных, значение которых они определяют, подобно именным флексиям, только более выразительно: jíti lesem «идти лесом», jíti skrz les «идти через лес». Наречие выражает способ, с помощью которого выявляется постоянное или изменяющееся свойство предметов, и потому в этом значении оно употребляется всегда рядом с прилагательными или глаголами. Иногда наречием выражают отношение говорящего или пишущего к отражаемой действительности, и тогда по своему значению они относятся ко всему предложению. Числительные обозначают количественные отношения и с точки зрения синтаксиса обладают функцией имен существительных (три, пять, сто), прилагательных (третий, троякий) или наречий (троекратно). Местоимения включают несколько типов слов. Местоимения личные и возвратные выступают, например, в синтаксической функции существительных. При этом личные местоимения отграничивают от данной действительности личность говорящего (1-е лицо: já «я», my «мы») и личность того, к кому обращаются с речью (2-е лицо: ty «ты», vy «вы»), и, наконец, обозначают лицо, в разговоре непосредственно не принимающее участия (3-е лицо). Первое и второе лицо всегда, когда мы их выделяем особо, обозначаются соответствующим личным местоимением, но предметы и явления действительности, не принимающие участия в разговоре, обозначаются именами существительными, и лишь тогда, когда мы не хотим повторять уже употребленного нами существительного, мы обозначаем его местоимением третьего лица. Возвратные местоимения в чешском языке относятся ко всем трем лицам, но специально их не различают; единственным их назначением является подчеркивание того, что дополнение или другой несубъектный член предложения, который иначе выражается существительным, тождествен с подлежащим предложения. Местоимения притяжательные и указательные выступают по существу в синтаксической функции прилагательных. Местоимения притяжательные выражают отношения принадлежности, а в плане пассивном — то, что что-то принадлежит кому-то. При этом тип используемого притяжательного местоимения выбирается сообразно с двумя моментами. Если обладатель

предмета является одновременно и подлежащим предложения, то в чешском языке употребляется всегда одно и то же притяжательное возвратное местоимение независимо от лица, в котором употреблено подлежащее. Если обладатель предмета не является в то же время подлежащим предложения, то употребляется обыкновенное притяжательное местоимение, причем в том же лице, в каком в данной связи говорится об обладателе предмета. Указательные местоимения выражают пространственные отношения (близость или удаленность) либо в пространстве реальном, физическом (tento «вот этот»— onen «тот», разговорное tenhle «вот этот»— tamhleten «вон тот»), либо в мыслимом, в контексте (ten «этот»— onen «тот»). Всем местоимениям свойственно то, что предмет, который они называют или к которому относятся, они не обозначают присущим ему конкретным названием, а только указывают на него, упоминая какой-либо общий его признак (число или род или то и другое вместе). Следовательно, местоимения в самом деле замещают названия, и термин, избранный для них в грамматике, совершенно правилен.

Возможно, что у вас от этих рассуждений о частях речи и об их различных задачах и функциях немного закружилась голова, но поверьте, что эти рассуждения не вносят в язык ничего такого, чего в нем в действительности не существует. Язык — это система очень сложная и притом многоплановая, так что каждый его элемент связан с другими одновременно в нескольких различных направлениях. Это и не может быть иначе, ибо более простая система не смогла бы удовлетворить все наши потребности выражения. В языке удивляет не только изящество, каким обладает его сложный механизм, но и легкость, с которой каждый, кто однажды научился говорить, овладевает им. Обыкновенный говорящий в непринужденном разговоре бессознательно следует сложным языковым правилам, сущность которых языковеды с трудом постигают в своих теоретических исследованиях. В этом смысле язык не является чем-то исключительным. И ходьба, например,— дело весьма сложное, идет ли речь о механизме движений или об их физиологической гармонии, необходимой для того, чтобы удерживалось равновесие при непрерывном изменении положения тела, и все же этими сложными навыками любой нормальный ребенок овладевает на втором году жизни. Вероятно, у вас возникнет сомнение, необходимы ли подобные теоретические исследования, если практика так легка. На это возражение можно легко ответить, не ссылаясь даже на естественную человеческую любознательность, направленную к познанию того, что не имеет прямого практического значения. Правда,

для обычного нормального умения ходить и говорить достаточно по существу практических навыков, получаемых каждым индивидуумом в детстве. Однако поскольку речь идет об исправлении патологических дефектов или о преобразовании примитивного навыка в умение высшего типа, постольку мы не можем обойтись без рассуждений теоретического порядка, которые указывают единственно правильный путь в обоих случаях. И в данном случае мы занимаемся теоретическим анализом различных сторон языка для того, чтобы показать истоки стилей речи хотя бы в нашем упрощенном понимании и указать пути достижения стилистического мастерства.

После этого успокоительного отступления пришел черед отметить, что мы не можем закончить свое изложение классификацией словарного состава на отдельные части речи, ибо деление на части речи не является окончательным. Классификация продолжается и внутри отдельных категорий слов, и это вторичное деление еще более разнообразно, так как отдельные языки часто в этом резко отличаются друг от друга. Мы не будем здесь стремиться к систематическому изложению, а ограничимся лишь несколькими примерами. И при вторичной классификации речь идет по существу не о формальных различиях, а о различиях, обладающих живой функциональной значимостью и отчетливо способствующих смысловому построению языковых выражений. Так, например, имена существительные в чешском языке бывают мужского, женского и среднего родов, с одной стороны, и одушевленными и неодушевленными, с другой. Грамматический род существительных является фактом по преимуществу чисто формальным, не имеющим никакого отношения к их значению. То, что, скажем, существительное dvůr «двор» является существительным мужского рода, существительное zahrada «сад»— женского рода и существительное pole «поле»— среднего рода, не зависит от смыслового значения этих слов; различие в роде также никак не отражается на их значении. Различию между категорией одушевленности и неодушевленности, напротив, свойственна характерная смысловая значимость. Если мы образуем, например, множественное число от существительного špunt, обычного в просторечии, в виде формы špunty, твердое окончание которой свидетельствует о неодушевленности, то оно сохранит свое первоначальное значение zátka «пробка». Если же мы образуем от этого существительного форму множественного числа в виде špunti, где мягкое окончание указывает на категорию одушевленности, то значение его в корне изменится, и существительное špunt будет обозначать фамильярное drobné dítě «карапуз, клоп». Иногда переход из категории неодушевленности в категорию одушевленности связан

с изменением грамматического рода. Это видно на примере дательного падежа существительного špína «грязь», обозначающего в предложении Té špíně se už ani nedivím «Я этой грязи даже уже не удивляюсь» реально существующую грязь, а в предложении Tomu špínovi se už ani nedivím «Я этому скупцу даже уже не удивляюсь»— скупого человека, который не решается отдать деньги даже тогда, когда это является его обязанностью. В разряд одушевленных имен существительных надо отнести и те редкие случаи, когда изменение грамматического рода придает существительному в чешском языке особый эмоциональный оттенок. Это бывает, например, в таких сочетаниях, как kluk darebná «негодница», или при обращении к женщинам, когда, например, Vlastu называют мужским именем Vlastík. Что касается чешских глаголов, то они опять-таки обладают различиями в спряжении и видовыми различиями. Глагольные виды образуют в нашем языке богато расчлененную функциональную систему и в немалой степени способствуют более тонкой передаче оттенков при смысловом построении высказывания. Лучше всего это видно на примерах. Так, для обозначения одного и того же действия употребляются разные виды глагола, выражающие разный смысл: простой просьбе или приказу skoč! «прыгни!» противопоставляется нетерпеливое побуждение или угрожающий приказ skákej! «прыгай!»; наряду с обычным запрещением neskákej «не прыгай!» звучит особое предупреждение neskoč! «не прыгни!», например, в предложении Neskoč mi na nohu! «Не наступи мне на ногу!». Подобно этому мы спрашиваем обычно по поводу новой окраски комнаты Kdo vám to maloval? «Кто вам это выкрасил?» или с определенным намерением: Kdo vám to tak pěkně vymaloval? A zač vám to vymaloval? «Кто вам это так хорошо покрасил? Во сколько обошлась покраска?» В паре skoč — skákej мы сталкиваемся с тем, что различием в глагольном виде выражается иногда важное различие в эмоциональной окраске слова. Системе глагольных видов, имеющей чисто смысловую функцию, противостоят различия в типах спряжения, которые имеют по существу формальный характер. Правда, посредством этих различий выражаются, как правило, и видовые различия, но оба указанных ряда отождествлять нельзя. Этому препятствует то обстоятельство, что не все в видовой системе удается передать только с помощью спряжения (napodhlavkovat někomu «надавать подзатыльников кому-либо»— dát někomu pohlavek «дать подзатыльник кому-либо»; с другой стороны, различия в спряжении не всегда отражают видовые различия (kopu «я ударю» — kopám «я ударяю»).

Нельзя представить себе, чтобы такой важный для языка факт, как классификация словарного состава по частям речи, не имел значения также и для стиля. Классификация по частям речи очень важна для стиля, и на это следует обратить внимание. Что касается потребностей повседневной речи, то все мы с детства обладаем умением распознавать части речи и едва ли допустим ошибку в этом отношении. В литературном же языке положение иное. Там наименования гораздо легче переходят из одной части речи в другую и вследствие этого возникают тонкие смысловые оттенки, в которых не каждый разберется. Речь идет прежде всего о различии между выражением, основанным на именах существительных и прилагательных, которое мы называем поэтому выражением именным, или номинативным, и выражением, базирующимся на глаголах, которое мы называем глагольным, или вербальным. Иногда выражению, основанному на именах существительных, противопоставляются выражения, основанные на именах прилагательных, и тогда мы говорим о различии между выражением субстантивным и выражением адъективным.

Различие между этими типами выражений лучше всего проявляется тогда, когда речь идет о сказуемом, обозначающем действие. Речь может идти, например, о том, что Ян решил спросить у родителей Зденки лично, не возражают ли они против их общего плана, а на другой день привел свой замысел в исполнение. Первый акт этого действия мы можем выразить четырьмя различными способами: Druhého dne navštívil Jan Zdenčiny rodiče «На следующий день Ян посетил родителей Зденки»; Druhého dne vykonal Jan návštěvu u Zdenčiných rodičů «На следующий день Ян нанес визит Зденкиным родителям»; Druhého dne došlo k Janově návštěvě u Zdenčiných rodičů «На следующий день состоялся визит Яна к Зденкиным родителям»; Druhého dne návštěva Janova u Zdenčiných rodičů «На следующий день визит Яна к Зденкиным родителям». Способ выражения того, что предпринял Ян, колеблется от выражения чисто глагольного (первый случай) к выражению чисто номинативному (случай четвертый). Во втором и третьем случаях представлены примеры выражения номинативно-глагольного, при котором глагол сочетается с именем существительным (vykonal návštěvu, došlo k návštěvě). Второй способ представляет собой номинативно-глагольное выражение аналитического характера, называемое так потому, что деятель и действие соотнесены здесь с подлежащим и сказуемым (Jan vykonal), тогда как третий способ характерен для номинативно-глагольных

выражений синтетического характера, поскольку деятель и действие объединены здесь в одном сложном выражении (k návštěvě Janově). Второй способ (Jan vykonal návštěvu) в этом плане совпадает с первым способом (Jan navštívil), третий способ (došlo k návstěvě Janově) — с четвертым (návštěva Janova). Если обратить внимание на смысловую функцию указанных четырех способов, то можно сказать, что выразительность действия от первого к четвертому способу постепенно ослабевает и цепенеет. Первый способ дается в чисто эпической манере, четвертый способ представляет сухую регистрацию, которую лишь в виде исключения можно включить в более широкий контекст. Способы второй и третий являются переходными в том смысле, что второй способ сохраняет еще кое-что от эпической манеры первого способа, но в более формальном виде, третий же способ близок к сухой регистрации, но наличие в нем глагольного элемента способствует включению его в контекст. Следовательно, каждый из приведенных четырех способов имеет свой особый смысловой оттенок и тем самым собственную стилистическую ценность, с которой необходимо считаться. При этом важно, что из всего ряда первый способ (выражение чисто глагольного характера) в чешском языке является немаркированным, его мы можем использовать всегда, если нет причин для использования какого-либо иного способа. Напротив, остальные способы в чешском языке (в отличие от некоторых других языков) являются маркированными, их можно использовать лишь тогда, когда имеются на то особые причины. В действительности речь идет только о втором и третьем способах, следовательно, о выражении номинативно-глагольном, поскольку четвертый способ (выражение чисто номинативное) используется в чешском языке в исключительных случаях.

Чтобы понять особые причины, которые могут привести к тому, что говорящий или тем более пишущий обращаются к выражению номинативно-глагольному, мы должны осознать, что глагол является обозначением более наглядным, а имя существительное — более определенным и в отношении содержания более точным. Это объясняется фактами, изложенными нами уже в предшествующей главе. Глагол является по существу категорией наименования, обозначающей изменчивый облик предметов, тогда как имена существительные обозначают сами предметы. Поэтому употребление глагола уместно там, где речь идет о простой наглядности, тогда как имя существительное близко понятийному мышлению. Номинативно-глагольное выражение состоит, собственно, лишь из глагола общего значения и специфицирующего имени существительного. По сравнению с чисто глагольным выражением номинативно-глагольное выра-

жение более выхолощено и бледно с точки зрения наглядности, но отличается от первого бо́льшим стремлением к понятийной точности и определенности. Свяжем это утверждение с тем, что мы говорили выше о немаркированности чешского чисто глагольного выражения, и выведем из этих двух положений общее правило употребления каждого из рассматриваемых оборотов. Из всего сказанного вытекает, что выражение чисто глагольного типа мы будем, насколько это возможно, употреблять в простом повествовании или в простом изложении, тогда как употребление номинативно-глагольных выражений ограничим по существу областью, в которой особенно необходимо следить за понятийной точностью, следовательно, прежде всего сферой специального изложения. Примером подобного специального изложения является язык юридический, особенно формулирование законов. Для иллюстрации приведем определение торговли из закона о торговле и определение мелкой торговли из учебника юриспруденции для коммерческого училища. Определение торговли выглядит так: Obchodem je koupě nebo nějaké zjednání zboží nebo jiných movitých věcí, státních papírů, akcií nebo jiných cenných papírů, určených pro obchodní odbyt, s úmyslem je dále zcizit. «Торговлей является купля или какое-либо приобретение товаров или другого движимого имущества, государственных бумаг, акций или других ценных бумаг, предназначенных к продаже, с намерением их перепродать». Здесь же дано и определение мелкой торговли: Živnost jest každá samostatná, pravidelná a dovolená činnost, provozovaná na obdyt a za účelem zisku, pokud není výslovně vyňata z působnosti živnostenského řádu. «Мелкая торговля есть любая самостоятельная, регулярная и дозволенная деятельность, направленная на сбыт с целью извлечения прибыли, если последняя не выходит за рамки торгового устава». Для того чтобы номинативный характе рстиля четко выступил в обоих определениях, сделаем первое из них глагольным. Тогда оно будет звучать так: Obchoduje, kdo kupuje nebo nějak zjednává zboží nebo jiné movité, věci, a přitom zamýšlí je dále zciziti «Торгует тот, кто покупает или каким-либо способом приобретает товары или другое движимое имущество и при этом намеревается их перепродать».

При оценке номинативно-глагольного выражения в плане стилистическом не следует забывать, что подобный способ выражения не всегда выступает только как стилистическая возможность, а иногда он является также необходимой формой наименования, к которой нет параллельной однозначной чисто глагольной формы.

Как мы уже показали в предыдущей главе, хотя у нас есть

под рукой глагол napohlavkovat «надавать подзатыльников», посредством которого передается целая серия ударов, нам все же приходится употреблять выражение dát pohlavek, если имеется в виду только один подзатыльник. Точно так же в значении совершенного вида нужно употреблять глагол udeřiti «ударить», но в значении несовершенности действия — выражение vésti ránu «наносить удар» или что-нибудь в этом роде. Не следует думать, что выражения такого типа не нужны. Можно обойтись без них в повседневном разговоре, но их необходимость тотчас обнаружится, если мы попытаемся различать тонкие оттенки значения. Примером может служить предложение: Měl vzácnou schopnost, že zpravidla doopravdy zasáhl věc, proti které vedl ránu «У него была редкая способность попадать прямо в цель, в которую он метился». Если выражение vésti ránu заменить в этом предложении глаголом mířiti «целиться», то есть сказать: Měl vzácnou schopnost, že zpravidla doopravdy zasáhl věc, na kterou mířil, то такая замена будет ошибочной. Предложение с глаголом mířiti, конечно, звучало бы лучше, но не было бы однозначным с первым и привело бы к неправильному пониманию. Глагол mířiti внушал бы представление об искусном стрелке, тогда как в нашем предложении речь идет не об ударе физическом, а об ударе в области духовной. А последнему более соответствует выражение vésti ránu, нежели mířiti. Подобных примеров, указывающих на необходимость употребления номинативно-глагольных выражений с целью видовой дифференциации, можно было бы привести огромное количество. В других случаях чисто глагольное выражение требует дополнения, обозначающего лицо или предмет, на которое направлено действие. Если указание на такое лицо или предмет невозможно или нежелательно, то зачастую неизбежно обращение к номинативно-глагольному выражению. Это позволяет иногда более наглядно, чем при чисто глагольном выражении, сопровождаемом дополнением, квалифицировать деятельность или действие, о которых идет речь. Так, из потребностей наименования возникают следующие выразительные пары: Pokusiti se o něco «попытаться»— učiniti pokus «сделать попытку», sbírati něco «собирать что-либо»— býti sběratelem «быть собирателем», přitahovati někoho «привлекать кого-либо»— míti přitažlivost «обладать притягательной силой»— být přitažlivý «быть притягательным», stratiti něco «утратить что-либо»— utrpěti ztrátu «понести утрату» и т. д. Практическое использование чисто глагольного выражения с дополнением и выражения номинативно-глагольного в абсолютной функции, то есть без дополнения, можно проиллюстрировать следующими примерами: Petr ztratil při tom podniku veliké peníze, ale Pavel utrpěl ztrátu bolest-

nější; ztratil důvěru v sebe «Петр потерял на этом деле большие деньги, но Павел понес еще большую утрату, он потерял веру в себя»; Jan nevěděl vlastně, co má sbírat, ale chtěl byt sběratelem stůj co stůj «Ян, собственно, не знал, что ему коллекционировать, но хотел стать коллекционером во чтобы то ни стало». Правда, мы могли бы и во второй части этих предложений использовать чисто глагольные выражения с неопределенным дополнением něco «что-то», но эта была бы менее выразительная и удачная стилизация по сравнению с приведенными. Поэтому в отшлифованном стиле более уместны номинативно-глагольные выражения.

Трактовка сказуемого, выражающего деятельность, не единственный случай, позволяющий рассмотреть стилистическую ценность глагольного и именного выражений. Не менее удобный случай представляют и второстепенные члены, образующие предложение или не образующие его. При этом конструкция, образующая предложение, большей частью сближается с глагольным выражением, а конструкция, не образующая предложения, ближе к именному выражению. При анализе подобных конструкций следует определить, что свойственно, а что не свойственно чешскому языку. Нетрудно заметить, что чешский язык избегает сложных номинативных конструкций, поскольку употребление подобных конструкций, хотя и грамматически правильных, затрудняет восприятие содержания предложения. Осознание этого факта очень важно, так как основные культурные языки Европы имеют в этом отношении другой характер. Самые сложные номинативные конструкции не являются в них помехой, и содержание предложения даже при наличии таких конструкций легко обозримо. Чешский язык оригинален, и он ищет свои собственные пути для выражения того, что в других языках, которым якобы присуща краткость, выражается сложными номинативными конструкциями. Путь, открывающийся в этом отношении перед чешским языком,— это путь, начертанный второй из двух приведенных выше возможностей: употребление второстепенных членов, выраженных предложением. Просто поражаешься, как в чешском языке проясняется содержание предложения в целом, когда вместо сложных номинативных конструкций употребляются второстепенные предложения. Для примера возьмем выбранное наугад предложение. В сокращенном виде оно выглядит так: Generace znamená spoločenskou skupinu v téže době žijících a působících lidí, jež v době největší vnímavosti a ovlivnitelnosti jejich bytostí ztvárňovaly tytéž poměry fysické a duchovní «Поколение охватывает общественную группу в определенную эпоху живущих и действующих людей, которые

в период наибольшей восприимчивости и отзывчивости своих натур были сформированы под влиянием одних и тех же материальных и духовных факторов». Это предложение не является образцом хорошего стиля. Его понимание затрудняют некоторые шероховатости в порядке слов, неудачное повторение существительного doba «эпоха», но больше всего вредит ему обстоятельство времени v době největší vnímavosti a ovlivnitelnosti jejich bytostí «в период наибольшей восприимчивости и отзывчивости своих натур». Эта громоздкая номинативная конструкция не свойственна чешскому языку; она ухудшается также тем, что из двух стоящих рядом существительных, связанных союзом «а» и имеющих общее подчиненное определение (největší vnímavosti a ovlivnitelnosti), первое выражает активную способность, а второе — пассивную. Попытаемся исправить положение, заменив номинативное определение подходящим второстепенным предложением. С этой поправкой и небольшими другими исправлениями получается следующее предложение: Generace znamená společenskou skupinu lidí žijících a působících v téže době, kteří byli ztvárňováni týmiž poměry fysickými i duchovními právě tehdy, kdy jejich bytosti byly nejvnímavější a nejvíce podléhaly vlivům «Поколение охватывает общественную группу живущих и действующих в одну и ту же эпоху людей, сформированных под влиянием одних и тех же факторов, материальных и духовных, как раз тогда, когда их натуры были наиболее восприимчивы и больше всего подвергались влияниям». Я надеюсь, что мои читатели согласятся с тем, что замена номинативной конструкции второстепенным предложением оправдала себя и сделала наше предложение более связным, а его содержание более доходчивым. В этом заключается истинная функция второстепенных членов в чешском языке, выраженных любым, а следовательно, и глагольным предложением.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЕГО АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ

На различие между языковой системой и смысловой структурой я обратил ваше внимание еще в самом начале своей статьи, а практически мы получили об этом ясное представление, когда рассматривали вещественное содержание языкового наименования. Мы выяснили тогда, что различие между языковой системой и смысловой структурой проявляется в различии между общим представлением, обозначаемым языковым наименованием, стоящим обособленно и вне контекста, и индивидуальным представлением, обозначаемым, как правило, язы-

ковым наименованием в конкретном высказывании. Вспомним лишь наше рассуждение о слове dům «дом». Само по себе это слово обозначает дом вообще, но в конкретном высказывании — определенный дом, о котором мы как раз говорим. Перейдем теперь от языкового наименования ко второму основному элементу высказывания — к конструкции предложения. И здесь мы сразу же столкнемся с наглядным доказательством различия между языковой системой и смысловой структурой. Речь идет о различии между грамматической структурой предложения и его актуальным членением.

Грамматическая структура предложения опирается, как мы уже знаем, на подлежащее и сказуемое. При актуальном членении предложения, напротив, выделяются две другие основные части предложения. Мы уже знаем, что с помощью предложения говорящий выражает свое актуальное отношение к какому-либо явлению действительности. Это означает, что в предложении о чем-либо что-то высказывается. Чтобы понять, что́ говорящий хочет выразить в своем предложении, мы должны ясно различать то, о чем он говорит, и то, что́ он об этом говорит. Тем самым определяются основные части предложения с точки зрения его смысловой структуры. Предложение как выражение актуального отношения к факту действительности является высказыванием, и потому мы называем то, о чем в предложении что-то говорится, основой высказывания, а то, что́ об этом говорится, ядром высказывания. Основа высказывания может совпадать с грамматическим подлежащим, а ядро высказывания — с грамматическим сказуемым, но это не обязательно. Представим себе, например, что дети ждут отца. Когда раздадутся шаги и, выглянув, они обнаружат, что идущий действительно их отец, они выразят этот факт предложением: Tatínek už jde! «Папа уже идет!». Однако ситуация может быть и иной: дети не ждут отца, и, когда послышатся чьи-то шаги, они с любопытством выглянут, чтобы увидеть, кто этот нежданный гость. Выяснится, что идет отец, и в итоге возникнет предложение: To jde tatínek! «Это идет папа!». В обоих только что приведенных предложениях грамматическая структура в принципе одна и та же; в роли подлежащего в них выступает существительное tatínek «папа», в роли сказуемого — личный глагол jde «идет». Различная же ситуационная связь приводит к тому, что смысловая структура предложения оказывается каждый раз иной. В первом случае приход отца является чем-то предполагаемым, и предложение Tatínek už jde «Папа уже идет» показывает, что ожидаемый приход осуществился. Поэтому в данном предложении основой высказывания является существительное tatínek «папа», а ядром высказывания — глагольное выражение

už jde «уже идет». Грамматическая структура предложения здесь совпадает с его смысловой структурой. Грамматическое подлежащее является вместе с тем и основой высказывания, а грамматическое сказуемое — ядром высказывания. В другом случае, приведенном нами, приход отца не берется в расчет. Исходным фактом является приход неизвестного лица, услышанный детьми, которые приходят к выводу, что нежданный гость — их отец. Именно этим определена смысловая структура предложения To jde tatínek! «Это идет папа!». Основой высказывания здесь является глагольное выражение to jde «это идет», а ядром высказывания — существительное tatínek «папа». Как мы видим, смысловая структура предложения в этом случае не совпадает с его грамматической структурой. Грамматическое подлежащее здесь является не основой высказывания, как в первом предложении, а ядром высказывания, а грамматическое сказуемое является здесь основой высказывания, а не его ядром.

Для характера высказывания, а тем самым также и для впечатления, преднамеренного или непреднамеренного, производимого высказыванием, крайне важен порядок следования друг за другом основы и ядра высказывания в предложении. Отдельные их члены, особенно маргинальные, иногда переплетаются, но, как правило, совершенно ясно, где находится центр тяжести основы высказывания или его ядра — в первой ли части предложения, в начале его, или во второй части предложения, в его конце. В соответствии с этим мы различаем два типа актуального членения предложения. Иногда на первом месте оказывается основа высказывания, а за нею уже следует его ядро, так что исходят из того, что уже известно или хотя бы понятно, и переходят к тому, что об этом говорится нового. Этот порядок естествен и дает возможность слушателю без затруднений понять произносимое высказывание. Поскольку при таком порядке принимаются во внимание потребности слушателя, мы называем такой порядок объективным. Противоположным является порядок слов, при котором на первом месте мы находим ядро высказывания, следовательно, то, что говорится нового, а уже потом как бы для добавочного пояснения — его основу. Говорящий в таком случае не принимает во внимание, что слушающий еще не знает, о чем идет речь, он целиком увлечен тем, что ему самому кажется самым важным. Поэтому такой порядок мы называем субъективным. Пример объективного порядка слов наблюдается в обоих предложениях, подробно разобранных нами в предшествующем абзаце. Пример порядка субъективного мы можем получить, если изменим второе предложение таким образом, что неожиданный приход отца будет восприниматься

в нем с удивлением, радостным или наоборот: Tatínek jde! «Папа идет!».

Объективный порядок характерен для высказываний спокойных, слабо окрашенных чувством. Это типичный порядок для спокойной констатации фактов, для спокойного рассказа, для спокойного изложения, а тем самым нормальный порядок слов для повествовательного предложения. Субъективный порядок слов является для повествовательного предложения чем-то исключительным и придает ему взволнованный характер. Оба случая повествовательного предложения могут встретиться и в произведениях художественной литературы. Достаточно сопоставить развертывание повествования народной сказки, спокойное течение которой сплошь насыщено повествовательными предложениями, имеющими объективный порядок слов, и поэтически взволнованное повествование современного писателя, состоящее из повествовательных предложений с порядком субъективным. Вот отрывок из народной сказки: A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody: v jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu tak dobře pošťestilo, a pospíchal k zámku. Kraj lesa viděl od jedle k jedli rozepjatou pavučinu, prostřed pavučiny seděl velký pavouk, cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkal pavouka, a pavouk svalil se na zem, jako zralá višeň, byl mrtev. Potom postříkal mouchu z druhé tykvice živou vodou, a moucha začala s sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fuk! do povětří. «И через минуту каждый принес Иржику по сосуду из тыквы, полному воды: в одном сосуде была живая вода, в другом — мертвая. Иржик обрадовался, что ему так удивительно посчастливилось, и поспешил к замку. На опушке леса он увидел протянутую от ели к ели паутину, в центре паутины сидел большой паук, высасывал муху. Иржик взял сосуд с мертвой водой, плеснул на паука, и паук упал на землю, как перезрелая вишня, он был мертв. Потом он побрызгал муху из другого сосуда живой водой, и муха стала метаться, выкарабкалась из паутины и ж-ж... в воздух». Совершенно иначе выглядят следующие отрывки у современного чешского прозаика: Zavřel se chrám za ženou vyházející, zavřel se před mužem přicházejícím. Rozpačitě tu stál Šimon Vlk «Закрылся храм за женщиной выходящей, закрылся перед мужчиной входящим. Смущенно стоял здесь Шимон Влк»; Otevřen dosud byl dům, do něhož šla. Studeně z dálky již černal se vchod, jako by odpuditi chtěl anděla strážce «Открыт до сих пор был дом, к которому она шла. Холодно издали уже чернелся вход, как будто отпугнуть хотел ангела-хранителя»; Nemusí přece v hanbě umříti Eva. Dlouho Bůh čeká, nemůže dopustiti, aby snad navždy pozbyla Eva své záře. Mocné

však bránil se duch «Не должна все же с позором умереть Ева. Долго ждет бог, он не может допустить, чтобы, может быть, навсегда лишилась Ева своего сияния. И упорно сопротивлялся дух».

Все эти отрывки взяты из середины повествования. Это имеет свои причины, ибо первое предложение занимает в повествовании исключительное место, поскольку речь идет об актуальном членении предложения. Если повествование не исходит по своему содержанию из того, что ему предшествовало, или если рассказчик ничего не говорит о себе, то в начале повествования нет, собственно, ничего известного и понятного. При строго объективном порядке слов такое повествование должно было бы, следовательно, начинаться так, как иногда начинаются сказки: Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali «Жил-был один король, и был он так мудр, что понимал даже, о чем говорят все животные». Такое начало, однако, часто кажется рассказчику слишком растянутым и громоздким. Поэтому, как правило, он предпочитает прямо вторгнуться в повествование, чтобы принять за нечто известное или непосредственно личность героя, или какое-либо обстоятельство, с ним связанное, и сразу с него начать первое предложение. Это отступление от строго объективного порядка слов является таким привычным в начале повествования, что мы наблюдаем его даже в сказках, для которых в других случаях объективный порядок в повествовательных пассажах вполне типичен. В качестве примера приведем два начальных предложения из сказок: Libor byl jediný syn chudé vdovy «Либор был единственным сыном бедной вдовы»; V jednom městě bydlili rodičové a měli tři dcery «В одном городе жили муж и жена, и было у них три дочери». Если даже в сказках часто проявляется стремление начинать повествование без обиняков, то не следует удивляться, что в повествовании с намерением более осознанным это наблюдается сплошь да рядом. Приведем для иллюстрации начальные предложения из нескольких чешских современных рассказов: Krajina byla připravená tichem, aby přijala netvora «Край был подготовлен тишиной принять чудовище» (Nádraží se stalo slavným na okamžik «Вокзал на мгновение стал знаменитым»); Jony byl nalezenec «Джонни был подкидышем». (Matka jej jako třídenní robě pohodila ke dveřím kostelním, aby se s ním už nikdy neshledala «Мать подбросила его на третий день после рождения к дверям костела, чтобы с ним уже никогда не встретиться»); Slunce již stálo na nebi a sirény parníků houkaly na Dunaji, když se opičkář Jan probudil «Солнце уже стояло на небе, и гудки пароходов раздавались на Дунае, когда пьяница Ян проснулся» (Vylezl zpod překoceného nákladního člunu, který

zde na písku čekal na opravu, a sešel dolu k vodě, aby se umyl «Он вылез из-под перевернутой баржи, которая здесь, на песке, ожидала ремонта, и спустился вниз к воде умыться».)

Повествовательные предложения являются основным материалом для построения рассказа или изложения, но это не единственный тип предложений, существующих в языке. Кроме них, есть в языке и другие типы предложений. Мы должны кратко упомянуть и о них, чтобы не умалить богатого разнообразия языка. Совершенно иначе по сравнению с повествовательными предложениями ведут себя в плане актуального членения предложения побудительные предложения. Этими предложениями мы побуждаем слушателя к какому-либо действию, или к ответу на наш вопрос (вопросительные предложения), или к тому, чтобы он поступил соответственно нашему приказанию или требованию (повелительные предложения). Из числа вопросительных предложений можно выделить дополнительные вопросы, посредством которых мы спрашиваем о каком-либо неизвестном факте, хотя в остальном ситуация нам ясна, и которые построены по принципу субъективного порядка слов. Они начинаются с вопросительного местоимения или наречия, функционирующего в качестве ядра высказывания, тогда как остальная часть предложения представляет собой основу высказывания. Правильность этого положения подтверждается тем, что при ответе на такой вопрос ядро высказывания соответствует как раз тому вопросительному местоимению или наречию, с которого начинается вопрос. Так, на вопрос Kdo to jde? «Кто это идет?» можно ответить предложением To jde tatínek «Это идет отец», а на вопрос Kam půjde tatínek? «Куда пойдет отец?»— предложением Tatínek ted' půjde na procházku «Отец сейчас пойдет на прогулку». Вопросы, поставленные с той целью, чтобы выяснить, соответствует ли истине то или иное предположение (которое мы считаем возможным), строятся, как правило, подобным же образом. Они начинаются обычно личным глаголом, который является самой важной частью ответа, так как от его положительной или отрицательной формы зависит значение ответа. На вопрос Půjde ted' tatínek na procházku? «Пойдет сейчас отец на прогулку?» можно ответить или положительно: Ano, tatínek ted' půjde na procházku «Да, отец пойдет сейчас на прогулку», или отрицательно: Ne, tatínek ted' nepůjde na procházku «Нет, отец сейчас не пойдет на прогулку». Вопрос такого выяснительного характера мы можем поставить и так, что выделенной частью окажется не глагол, а другая часть предложения. Тогда она будет стоять не в начале вопроса, а в конце его, а в отрицательном ответе — может отрицать или сам глагол, или, непосредственно либо косвенно, акцентируемую часть

вопроса. Мы можем, например, спросить: To s vámi půjde Míla? «Это с вами пойдет Мила?»; отрицательный ответ может быть следующим: Ne, Míla s námi nepůjde «Нет, Мила с нами не пойдет», или: Ne, s námi půjde Vlasta «Нет, с нами пойдет Власта». Точно так же на вопрос Tatínek ted' půjde na procházku? «Отец сейчас пойдет на прогулку?» мы можем ответить отрицательно: Ne, tatínek ted' nepůjde na procházku «Нет, отец сейчас не пойдет на прогулку», или: Ne, tatínek ted' půjde na návštěvu «Нет, отец сейчас пойдет с визитом». Как видно, выяснительный вопрос строится в таких случаях по принципу объективного порядка.

Повелительные предложения по своему актуальному членению напоминают выяснительные вопросы. Как правило, они начинаются энергичным словом, в котором сосредоточивается призыв: Pojd' sem! «Поди сюда!»; Sem pojd'! «Сюда поди!»; Nechod' tam! «Не ходи туда!»; Najdi mi tu knihu! «Найди мне эту книгу!». Их построение отвечает субъективному порядку. Возможны также повелительные предложения с объективным порядком слов. Это отклонение от правила всегда несет определенную функцию. Простому приказу Nechod' tam! «Не ходи туда!» противопоставляется Tam nechod! «Туда не ходи!» скорее как настоятельное предупреждение; в противоположность приказу Najdi mi tu knihu! «Найди мне эту книгу!» предложение Tu knihu mi najdi! «Эту книгу мне найди!» звучит скорее как убедительное напоминание или просьба. Если при объективном порядке слов в том же самом смысле вместо повелительного мы употребим повествовательное предложение в будущем времени, то выразим тем самым приказание с оттенком угрозы: Tam nepůjdeš «Ты туда не пойдешь!»; Tu knihu mi najdeš! «Эту книгу ты мне найдешь!»

Подобное функционально-смысловое разнообразие актуального членения, какое мы наблюдали в предложениях побудительных, мы находим и в предложениях экспрессивных, то есть в предложениях, посредством которых передается удивление по поводу того или иного явления действительности, воспринимаемого одобрительно или неодобрительно (восклицательные предложения), или высказывается пожелание, чтобы воображаемая действительность превратилась (или не превратилась) в реальность (условные предложения). Условные предложения обычно начинаются союзом, например союзом kéž «если бы» или kdyby «если бы, когда бы», а остальная часть таких предложений строится в соответствии с порядком объективным. Например: Kdyby mi alespoň napsal, že to došlo! «Если бы ты мне по крайней мере написал, что это случилось!»; Kéž by se z toho všeho dostal bez pohromy! «Если бы он из всего этого выбрался благо-

получно!» Восклицательные предложения делятся на повествовательные и вопросительные. В первом случае к ним применимы при актуальном членении те же правила, что и для предложений повествовательных. Например: To je nádherný zpěv! «Это великолепное пение!» (акцент на сочетание nádherný zpěv); Kostel už chytá! «Костел уже загорается!» (акцент на слове kostel). Во втором случае возможен и тот и другой порядок, но смысловое различие между ними приглушено тем, что предложение всегда начинается вопросительным словом, например: Jaký nádherný zpěv to je! «Как великолепно это пение!»; Jaký je to nádherný zpěv! «Какое это великолепное пение!». При более углубленном рассмотрении в экспрессивных предложениях удалось бы обнаружить много любопытного, но для нас достаточно и того, что уже было изложено. Надеюсь, что мне удалось убедить внимательного читателя в том, как важны и интересны языковые процессы, группируемые нами под названием актуального членения предложения.

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТИЛЬ

Простой и ясный повествовательный стиль требует прежде всего соответствующего обозначения наших представлений и ясной и последовательной формулировки мыслей в предложении. О соответствующем выборе выражений, то есть о первом факторе, мы уже говорили при рассмотрении языковых наименований. В главе об актуальном членении предложения мы коснулись и второго фактора. Последняя проблема весьма важна, и ей необходимо уделить особое внимание. При этом речь идет не об изолированном предложении, не о модели предложения, являющейся частью языковой системы, а о предложении в контексте ситуации и высказывания, о предложении как о части языкового выражения. Мерилом, с которым мы подойдем к нему, будет не грамматическая правильность предложения, а его удачная смысловая структура. И оно должно стремиться стать, как мы уже сказали, предложением ясным и последовательным. Порукой в том, что этого можно достичь, служит нам предложение, выработанное современной чешской прозой. Простое и ясное предложение, являющееся ее великим завоеванием, все еще остается, однако, достоянием лишь художественной литературы и утонченной журналистики и только в виде исключения проникает в специальный стиль. Тем упорнее нужно работать, чтобы оно стало достоянием хотя бы всех тех, кто

претендует на горделивое звание людей образованных. Этому должны помочь школа и усилия отдельных лиц. Однако путь к конечной цели ведет через познание того, на чем же основано построение простого и понятного предложения и какие стилистические дефекты стоят на его пути. Мы лучше усвоим все сказанное, если то, что было изложено в общем плане об актуальном членении предложения в предшествующей главе, сведем к конкретным положениям, касающимся стиля.

В предыдущей главе был сформулирован также основной принцип, из которого можно вывести все остальные требования. Там было сказано, что для правильного понимания предложения необходимо ясно отличать то, о чем в нем говорится, от того, что́ об этом говорится. Первое специальное положение, вытекающее из этого основного принципа, заключается в требовании, чтобы каждое самостоятельное предложение содержало только одну мысль, со всей основательностью выступающую как ядро высказывания. Чешский язык, по крайней мере чешский язык на современном этапе стилистической обработки, едва ли допустит, чтобы в предложении одновременно высказывался целый ряд мыслей. Он требует, чтобы цепь мыслей постепенно распутывалась и делилась на отрезки, которые благодаря этому уже легче выразить. Требование наличия в контексте одной основной мысли, единственного ядра высказывания, актуально не только для простых предложений, но и для любого сочетания главного предложения с распространяющими его придаточными предложениями. Можно сказать, что к четкому и ясному повествовательному стилю чешского языка мы придем прежде всего благодаря тому, что будем, насколько это возможно, употреблять простые в смысловом отношении предложения и такие сложные предложения, в которых придаточные предложения лишь развивают содержание главного предложения или дополняют его необходимыми пояснениями. Не следует в придаточное предложение (и вообще в любое дополнительное определение, не являющееся предложением) включать мысль, которая своей вескостью в контексте может возбудить подозрение, что здесь мы имеем дело с вторичным ядром высказывания одного и того же предложения. Если не обращать на это внимания, то возникают предложения, смысл которых читатель или слушатель улавливает с трудом, хотя речь идет о явлении, которое само по себе вполне понятно. Речевые периоды, перегруженные смыслом вплоть до того, что становятся неясными, конечно, не являются образцом хорошего повествовательного стиля, ибо мы никак не можем признать удачным любой повествовательный стиль, если он представлен предложениями, которые становятся понятными только после неоднократного прочте-

ния. При этом часто неясность предложения объясняется отнюдь не трудностями его смысла, а лишь неправильностью его стилистического оформления.

Примеров на предложения, содержащие вторичное ядро высказывания, можно найти в нашей специальной литературе сколько угодно. Приведем хотя бы один из таких примеров (я нашел этот пример в трактате одного признанного специалиста, вышедшем во втором десятилетии после первой мировой войны):

Bylo důležito, že se po Lipanech východiskem staly nikoli jižní, táborské Čechy, které se k tomu méně hodily jak svým radikalismem, jenž po katastrofě polních vojsk byl tím méně schopen ovládnouti celkovou situaci nežli dříve, za války husitské, dokud byl v plné své moci, tak poměrnou svou roztříštěností, majíce mocné soupeře, územně pronikající v jejich državu, na jihu v největším magnátovi českém, v Oldřichovi z Rožmberka, a na západě v pevně organizovaném landfridu plzeňském, nýbrž že tímto základem nových utrakvistických Čech byly Čechy východní, nábožensky kompaktnější a soustředěnější. (Tam strana sirotčí...) «Важно, что после Липан центром стала не южная, таборитская Чехия, менее подходившая для этого своим радикализмом, который после поражения сухопутного войска был менее способен овладеть ситуацией в целом, чем прежде, в период гуситских войн, пока он был в своей полной силе, так и своей относительной разобщенностью, имеющая сильных соперников, территориально проникающих в ее владения, на юге в лице самого крупного чешского магната Олдржиха из Ружомберка, а на западе в лице крепко организованного плзенского ландфрида, а этим фундаментом новой, утраквистской Чехии была восточная Чехия, в религиозном отношении более компактная и более сконцентрированная. (Там сиротская партия...)». Есть ли смысл биться об заклад, чтобы доказать, что ни один читатель не сможет повторить на память содержание этого сложного периода сразу же после первого чтения. Причина ясна. Приведенный пример, помимо основного высказывания (Bylo důležito, že se po Lipanech východiskem staly nikoli jižní táborské Čechy, nýbrž že tímto základem nových utrakvistických Čech byly Čechy východní «Важно, что после Липан центром стала не южная, таборитская Чехия, а то, что этим фундаментом новой, утраквистской Чехии стала восточная Чехия»), в своих дополнительных обстоятельственных отрезках, образующих предложения и стоящих отдельно, содержит целый ряд вторичных высказываний, и все эти высказывания так взаимно переплетаются, что на разъяснение их

взаимоотношений и правильного смысла требуется немало времени. Трудности в понимании приведенного периода связаны не с неясностью смысла, а с запутанностью стилистических формулировок. Это можно легко доказать, сопоставив первоначальный текст с текстом, переделанным так, чтобы каждое высказывание в соответствии с принципом, провозглашенным выше, было выражено, насколько это возможно, самостоятельным предложением. Текст, переработанный таким образом, будет выглядеть примерно так:

Bylo důležito, že se po Lipanech východiskem staly nikoli jižní, táborské Čechy, nýbrž, že tímto základem nových utrakvistických Čech byly Čechy východní. Nemohlo být pochyby, že se jižní Čechy k takovému úkolu hodily méně, a příčiny toho byly dvě. Jejich radikalismus nedovedl ovládnout celkovou situaci ani dříve za války husitské, dokud byl v plné své moci, a byl toho schopen tím méně nyní po katastrofě polních vojsk. Mimo to byly jižní Čechy poměrně rostříštěné, neboť měly mocné soupeře, kteří územně pronikali jejich državu, na jihu největšího magnáta českého Oldřicha z Rožmberka a na západě pevně organizovaný landfrid plzeňský. Čechy východní byly nábožensky kompaktnější a soustředěnější. (Tam strana sirotčí...) «Важно, что после Липан центром стала не южная, таборитская Чехия, а то, что этим фундаментом новой, утраквистской Чехии явилась восточная Чехия. Несомненно, что южная Чехия к этой задаче была менее подготовлена, что обусловливалось двумя причинами. Ее радикализм мешал ей овладеть ситуацией в целом даже прежде, в период гуситских войн, когда он был в полной силе, еще менее она была способна к этому теперь, после поражения сухопутных войск. Помимо этого, южная Чехия была относительно разобщена, так как у нее были сильные противники, проникавшие на ее территорию; на юге ее соперником был самый крупный чешский магнат Олдржих из Ружомберка, а на западе — крепко организованный плзенский ландфрид. Восточная Чехия была в религиозном отношении более компактной и сконцентрированной. (Там сиротская партия...)»

Дальнейшие требования касаются уже деталей актуального членения предложения. Речь идет о трех факторах, которые, собственно, располагаются в разных плоскостях. Мы должны обращать внимание на то, чтобы основа высказывания в предложении была отчетливо выражена и вытекала непосредственно из контекста ситуации и высказывания. То же необходимо соблюдать и по отношению к смысловому построению более обширного целого, например к абзацу. Мы должны далее забо-

титься о том, чтобы основа и ядро высказывания отделялись бы друг от друга в предложении с достаточной четкостью; чтобы части предложения, обозначающие основу и ядро высказывания, следовали друг за другом, если нет причин для перемены мест, как того иногда требует так называемый объективный порядок слов. Последние два требования также касаются смысловой структуры самого предложения. На каждом из них следует остановиться особо.

Требование отчетливой и ясно вытекающей из ситуационной связи основы высказывания касается, как уже было сказано, смыслового построения абзаца; чтобы быть правильно построенным, он должен иметь общую основную тему, заключенную в его границах или развивающуюся и развертывающуюся в нем. Эта основная тема абзаца, конечно, не должна выступать в каждом его предложении в качестве актуальной основы высказывания. Абзац может включать предложения, основа высказывания которых отклоняется от его общей темы. Однако основа высказывания этих предложений должна быть связана с общей темой абзаца и исходить из него, и если эта связь на первый взгляд не вытекает из самого содержания, то она должна быть специально выражена. Кроме того, общая тема должна, как правило, совершенно четко проявиться вновь, лишь только будет восстановлена связь с предложениями, отклонившимися от общей темы. Это требование совершенно естественно, ему без труда удовлетворяет и простой стиль наших сказок. Обратите внимание, например, на следующие предложения:

Potom dál už musil Jiřík pěšky. Šel dlouho, dlouho lesem, a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké široké moře. Na břehu moře dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou zlatou rybu do síti, a každý chtěl ji mít sobě sám: «Má je sít', má je ryba!» — A druhý na to: «Málo by ti tvoje sít' byla platná, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo».— «Až podruhé zas takovou chytíme, bude tvá».— «Ne tak. Ty na druhou počkej a tuhle mi dej».— «Já vás porovnám,— povídá Jiřík.— Prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím, a peníze rozdělte mezi sebou na polovic». «Дальше уже должен был идти Иржик пешком. Он шел долго-долго лесом, и когда, наконец, стал выходить из леса, то увидел перед собой далекое, безбрежное море. На берегу моря ссорились два рыбака. Они поймали сетью большую золотую рыбу, и каждый хотел взять ее себе. «Моя сеть, моя и рыба!» А другой на это: «Твоя сеть бы не помогла, если бы не моя лодка и не моя помощь».— «Если второй раз опять такую поймаем, то будет твоя».— «Нет, так не пойдет!.. Ты жди другую, а эту мне дай».— «Я вас рассужу,— сказал Иржик.—

Продайте мне эту рыбу, я хорошо вам за нее заплачу, а деньги поделите между собой пополам».

Общей основной темой всего отрывка является Иржик. Это основа высказываний первых двух предложений, причем в первом он указан совершенно определенно, а во втором подразумевается. В третьем предложении наблюдается отклонение от этой общей темы, и основой высказывания следующих предложений становятся два рыбака вместе или поочередно один из них. Переход к новой основе высказывания проведен здесь сжато. Переход, передаваемый целиком, без сокращений, имел бы следующий вид: Na břehu moře byli dva rybáři a ti se spolu hádali «На берегу моря было два рыбака, и они ссорились друг с другом». Как видно, новой основой высказывания здесь прежде всего становится сочетание na břehu moře «на берегу моря», которое вытекает из ядра высказывания предыдущего предложения, а к нему в качестве ядра высказывания присоединяется: dva rybáři «два рыбака». Это сочетание в свою очередь тотчас же становится основой высказывания (в сокращенном тексте это сопровождается стилистическим опережением), и довольно продолжительное время сохраняется именно эта основа высказывания. Затем мы снова возвращаемся к общей основной теме отрывка. А поскольку в связи с отклонением от основной темы она строилась уже на другой основе высказывания, то старая основа должна быть опять указана вполне определенно (povídá Jiřík «говорит Иржик»). Все это хорошо известно любому хорошему рассказчику, даже если он неопытен. Тем не менее у нас эту очевидную истину при написании статей и трактатов иногда забывают. Авторы бывают так захвачены своей основной темой, что им даже не приходит в голову повторять ее, когда это необходимо. Эта ошибка все же легко вскрывается, легко исправляется.

Значительно труднее удовлетворить требованию четкого отделения основы высказывания от ядра высказывания. Положение облегчается, если между обеими основными частями смысловой структуры предложения есть пробел, заполненный переходными элементами. Эти элементы, хотя и относятся уже к ядру высказывания, но находятся еще на его периферии, и благодаря им образуется переход от основы высказывания к его ядру. Там, где пробел между основой высказывания и собственно ядром высказывания отсутствует, прозрачность смысловой структуры легко затемняется. Об этом свидетельствует, например, сложное предложение, взятое из критического отчета:

Patří k podivnostem našeho divadelního návratu do minulosti, kdy velmi mnoho střízlivého a překonaného bylo vyhlášeno

za hodnotu záchovnou, jak z něho vyšel naprázdno jeden z mála našich skutečných tvůrců, jejichž poznávacím znamením je pěst a její úder «Это относится к странностям нашего возврата к прошлому в области театрального искусства, когда многое рассудочное и отжившее было объявлено сохранившим ценность и в результате чего остался ни с чем один из немногих наших действительных творцов, девизом которых является кулак и удар».

Автор, очевидно, стремился к сжатому в выразительном отношении тексту и пожертвовал при этом ясностью и понятностью смысловой структуры. Он построил свое сложное предложение так, что центром его являются два длинных и содержательных придаточных предложения, первое из которых относится к основе высказывания, а второе — к его ядру. Поэтому границы между основными частями смыслового целого стали нечеткими, и актуальное членение так затемнилось, что мало кто поймет предложение сразу при первом чтении. Правильность нашего диагноза подтверждает переработка первоначального текста с целью прояснения смысла предложения. Переработку этого предложения можно провести различными способами. Приведем три возможных варианта:

Náš divadelní návrat do minulosti, při němž bylo velmi mnoho střízlivého a překonaného vyhlašováno za hodnotu záchovnou, se vyznačuje také tou podivností, že z něho vyšel naprázdno jeden z mála našich skutečných tvůrců, jejichž poznávacím znamením je pěst a její úder «Наш возврат к прошлому в области театрального искусства, при котором очень многое рассудочное и отжившее объявлялось сохранившим ценность, отличается также той странностью, что из-за этого остался ни с чем один из немногих наших настоящих творцов, девизом которых является кулак и удар».

Patří k podivnostem našeho divadelního návratu do minulosti, že velmi mnoho střízlivého a překonaného bylo vyhlašováno za hodnotu záchovnou, a přitom že z něho vyšel naprázdno jeden z mála našich skutečných tvůrců, jejichž poznávacím znamením je pěst a její úder «Странностью нашего возврата к прошлому в области театрального искусства является то, что очень многое рассудочное и отжившее было объявлено сохранившим ценность, причем из-за этого остался ни с чем один из немногих наших настоящих творцов, девизом которых является кулак и удар».

Při našem návratu do minulosti bylo velmi mnoho střízlivého a překonaného vyhlašováno za hodnotu záchovnou, a přitom ku podivu vyšel z něho naprázdno jeden z mála našich skutečných tvůrců, jejímž poznávacím znamením je pěst a její úder «При

нашем возврате к прошлому очень многое рассудочное и отжившее было объявлено сохранившим ценность, и причем, как это ни странно, из-за этого остался ни с чем один из немногих наших настоящих творцов, девизом которых является кулак и удар».

Из этих возможных вариантов пусть читатель выберет любой по своему собственному вкусу. Я надеюсь все же, что каждый из исправленных вариантов понятнее текста, из которого мы исходили. Этого достаточно для нашего доказательства.

Третье, и в этой связи последнее наше требование, касается расчленения основы и ядра высказывания в соответствии с принципом объективного порядка слов. Этот принцип, как мы знаем, предполагает, что основа высказывания представлена в первой части предложения, тогда как ядро высказывания выражено второй его частью. Если не обращать на это внимания, то стиль изложения (и, конечно, разговорный стиль) получает взволнованную окраску. Это мы уже наблюдали, когда в предыдущей главе сопоставляли отрывок из народной сказки с отрывком из современной чешской эпической прозы. Если мы требуем, чтобы в обычном изложении и в обычном рассказе порядок слов и предложений определялся принципом объективного характера, то это не значит, конечно, что в изложении или рассказе недопустимо иногда употребление субъективного порядка слов и тем самым более взволнованного стиля. Стиль взволнованный, равно как и стиль осложненный, является индивидуальной стилистической разновидностью, которая вырастает из индивидуальных потребностей или склонностей и поднимается выше среднего уровня, присущего обычному повествовательному стилю. Если оставаться в границах хорошего стиля, то даже эти стилистические разновидности не должны пренебрегать принципами, установленными нами для обычного стиля. От них всегда зависит ясность смысловой структуры, а это—качество, без которого нельзя представить себе хороший стиль.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОРЯДКА СЛОВ

Порядок слов в чешском предложении является одним из наиболее тонких выразительных средств, которые имеются в чешском языке. Порядок слов в чешском языке не является свободным, и никто из желающих правильно говорить или писать по-чешски не должен расставлять слова в предложении произвольно, как придется. Порядок слов в чешском предло-

жении очень чувствителен ко всем моментам, могущим иметь на него влияние, и потому очень пластичен. В этом отношении чешский язык значительно отличается от наиболее известных у нас культурных языков — немецкого, французского и английского: в указанных языках порядок слов преимущественно устойчивый и прочный, причем в немецком языке в меньшей степени, а в английском — в большей. Сравнение с этими языками отчетливо показывает нам, какие моменты больше всего влияют на порядок слов в чешском языке и каковы, следовательно, его функции.

Беспристрастному наблюдателю, который пойдет по этому пути, совершенно ясно, что основная функция порядка слов в чешском языке — помочь актуальному членению предложения. Причем — и это второй основной момент, от которого зависит порядок слов в чешском языке,— в эмфатической [подчеркнутой] речи или вообще взволнованной речи порядок слов иной, чем в речи спокойной. В повествовательных предложениях (которых в речи всегда много больше остальных и где закономерности порядка слов наиболее ясны) при спокойной речи обычно используется объективный порядок слов, тогда как в подчеркнутой речи возможен порядок двоякий в зависимости от того, где стоит выделяемое слово — в конце или в начале предложения. Если оно стоит в конце предложения, то в предложениях повествовательных при подчеркнутой речи остается в силе порядок объективный, если же оно находится в начале предложения, то следует, как правило, употребить субъективный порядок *.

Актуальное членение предложения и различие между высказыванием спокойным и эмфатическим не являются, разумеется, единственными факторами, определяющими порядок слов в чешском языке, хотя они и оказывают на него наибольшее влияние. Порядок слов в чешском языке является результатом гармонии и соперничества целого ряда факторов, которые, разумеется, отличаются друг от друга степенью своего воздействия и важности. Эта количественная сторона отдельных факторов является таким же важным основанием своеобразия порядка слов в чешском языке, как и сторона качественная, то есть способ проявления этого воздействия. Наглядно это проявляется в роли момента грамматического, который заключается в том, что место члена предложения определяется его грамматической функцией в предложении. Этот момент в английском языке, например, является самым важным

---

* Примеры и их анализ редакция сочла возможным исключить, так как те же примеры представлены в статье В. Матезиуса «Основная функция порядка слов в чешском языке» (см. наст. сб., стр. 246 —265).— *Прим. ред.*

фактором порядка слов, тогда как в чешском ему принадлежит по сравнению с главными факторами лишь второстепенная роль. Грамматический момент приводит, с одной стороны, к фиксированному порядку слов, а с другой — к нормальному порядку слов, который мы можем назвать также нейтральным порядком слов. Фиксированный порядок слов означает, что член предложения, о котором идет речь, в соответствии со своей грамматической функцией занимает в предложении всегда одно и то же место. Так, например, аппозиция, или приложение, всегда следует за словом, которое оно определяет: Jiří, král český, a Matyáš, král uherský, sešli se u Vilímova, aby osobně ujednali mír «Иржи, король чешский, и Матиаш, король венгерский, встретились у Вилимова для того, чтобы лично заключить мир». Нормальный, или нейтральный, порядок слов проявляется в том, что член предложения, о котором идет речь, занимает в предложении в соответствии со своей грамматической функцией всегда определенное место до тех пор, пока какой-либо другой фактор порядка слов не вызовет изменения его позиции. Такое привычное место в предложении занимает, например, составное сказуемое. Оно, как было уже сказано выше, стоит, как правило, перед существительным, которое и определяет, но может случиться так, что в целях, например, выразительности требуется поместить его после существительного.

С моментом грамматическим тесно связан момент принадлежности слова к тому или иному члену предложения. Степенью связанности членов предложения друг с другом определяется возможность или невозможность включения между ними других членов предложения. Выше мы уже видели, что подлежащее и сказуемое в чешском языке могут отделяться друг от друга целым рядом других членов предложения, так что в длинном предложении подлежащее может стоять в самом начале, а сказуемое в самом конце предложения или наоборот, что абсолютно невозможно в некоторых других языках. Несогласуемое же определение в родительном падеже в чешском языке так тесно связано с существительным, которое оно определяет, что между ними невозможно (как это бывает в некоторых других языках) вставить другое определение. Нельзя, следовательно, в предложении Příjezd papežského legáta do naší země byl velkou událostí «Приезд папского легата в нашу страну был большим событием» поставить после существительного «příjezd» определение «do naší země» и только потом определение в родительном падеже («papežského legáta»).

Очень своеобразно влияет на порядок следования слов в чешском предложении третий из второстепенных факторов — мо-

мент ритмический. Его функционирование проявляется в том, что слова безударные, особенно энклитики (например, se, si, mě, mi, tě, ti, ho, mu, jim, je, jich, by и т. д.), следуют, как правило, сразу же после первого ударного члена предложения, даже в тех случаях, когда благодаря этому они значительно удаляются от слов, к которым относятся по значению. Это можно наблюдать, например, в предложении: Od té doby se ho král nikdy už na nic neptal «С того времени король никогда уже его ни о чем не спрашивал», где энклитические местоименные формы se и ho под влиянием ритмического момента отделены от глагола neptal целым рядом других слов. Ритмический момент, в сущности, касается произношения, и поэтому нас не должно удивлять, что его влияние проявляется обычно в повседневной разговорной речи. В письменной речи, в особенности при передаче сложной мысли, при расстановке слов моменту ритмическому противодействует момент принадлежности слов к тем или иным частям речи. Поэтому на письме иногда появляется стремление не отрывать возвратные местоимения se, si от глаголов, к которым они относятся, а ставить их непосредственно за глаголами. Сейчас, разумеется, в связи с требованием хорошего стиля необходимо учитывать влияние ритмического момента на построение предложений. Поэтому хорошие стилисты при выборе между фактором ритмическим и фактором принадлежности слов к определенным членам предложения почти всегда предпочитают момент ритмический. Прежде это бывало не всегда, и у таких замечательных писателей, как Палацкий и Эрбен, упомянутое противоречие решалось в пользу фактора принадлежности слов к определенным членам предложения. Об этом свидетельствует следующее предложение из Палацкого:

Vše se hemží, křik a hřmot vzmáhá se vůkol, zmatek posedl zástupy, vozové vytrhují se z řádův a rozcházejí se, jezdci rozptylují se po tlupách a předjíždějí jeden druhého, ale vše směrem nazad a nikoliv kupředu «Все движется, крик и шум усиливаются со всех сторон, тревога охватила толпы, телеги вырываются из рядов и разъезжаются, кавалеристы группами рассеиваются и обгоняют друг друга, но все движется не вперед, а назад».

В переложении на современный стиль это монуметальное предложение звучало бы приблизительно так: Vše se hemží, křik a hřmot se vzmáhají vůkol, zmatek zachvátil zástupy, vozy se vytrhují z řad a rozjíždějí se, jezdci se po tlupách rozptylují a předjíždějí jeden druhého, ale vše směrem nazad a nikoliv kupředu «Все движется, вокруг растет крик и шум, тревога охватила толпы, телеги вырываются из рядов и разъезжаются,

кавалеристы группами рассеиваются и обгоняют друг друга, но все движется не вперед, а назад».

Ритм, с помощью которого в чешском предложении осуществляется расстановка безударных слов и энклитик, основан на ударении, следовательно, он является ритмом ударения (или акцентуации). Наряду с ритмом акцентуации для порядка слов в чешском языке существенным является и ритм равновесия, влияние которого состоит в том, что он определяет позицию членов предложения или их частей. Позиция же слов и словосочетаний в предложении зависит от того, являются ли они длинными, сложными, трудными для произношения или краткими, простыми, легкими. Известно, скажем, что по правилам хорошего стиля в чешском языке слишком сложное согласованное определение не может занимать привычного места перед определяемым существительным, а должно стоять после него или распределяться между двумя позициями. Такое определение мы находим, например, в предложении: Jak jsem ukázal ve své plným názvem již nahoře uvedené stati, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я отмстил в своей с полным названием уже выше указанной статье, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о цепи причин и следствий». Это предложение звучит гораздо лучше и понятнее в такой переделке: Jak jsem ukázal ve své stati, uvedené plným názvem již nahoře, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я отметил в своей статье, указанной с полным названием уже выше, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о цепи причин и следствий». На то, что здесь действительно влияет ритм равновесия, указывает то обстоятельство, что исправление порядка слов становится здесь излишним или даже нежелательным, если сложное согласованное определение, стоящее перед существительным, уравновешивается сложным несогласованным определением, стоящим после существительного, как, например, в следующем тексте: Jak jsem ukázal ve své plným názvem již nahoře uvedené stati o rozhodujících momentech ve vývoji hospodářském, nejde tu o zjevy náhodné, nýbrž o řetěz příčin a následků «Как я указал в своей с полным названием уже выше указанной статье о решающих моментах в экономическом развитии, речь идет здесь не о случайных явлениях, а о цепи причин и следствий». Наоборот, хорошему стилю не свойственно, когда в конце предложения стоит слишком краткий член, отделенный от всего предложения предшествующим подчиненным предложением или распространенным оборотом, не имеющим характера предложения. При исправлении здесь следует руководствоваться или приемлемой перестройкой порядка слов, в резуль-

тате которой это слишком краткое выражение утратит свою конечную позицию, или таким изменением порядка слов, который устранит его изолированность и сохранит его на своем месте, или, наконец, превращением слишком краткого выражения в более обширное выражение путем присоединения к этому краткому выражению новых слов. Приведем примеры: Podívejme se, jak takový rozbor, ktery má naučit umění kritického pohledu a ocenění, vypadá «Давайте просмотрим, как такой анализ, который должен научить мастерству критического подхода и оценки, выглядит». Это предложение с исправленным порядком слов выглядит так: Podívejme se, jak vypadá takový rozbor, který má naučit umění kritického pohledu a ocenění «Давайте посмотрим, как выглядит такой анализ, который должен научить мастерству критического подхода и оценки». Мы можем здесь, конечно, обойтись и без перестановки порядка слов и удовлетвориться одним лишь распространением конечного члена предложения. Тогда мы получим предложение: Podívejme se, jak takový rozbor, který má naučit umění kritického pohledu a ocenění, doopravdy vypadá «Давайте посмотрим, как такой анализ, который должен научить мастерству критического подхода и оценки, выглядит в действительности». Как показывает первое из двух исправлений, формально ясная и удовлетворяющая требованиям ритма равновесия структура предложений с успехом достигается мелкими и не искажающими смысл отклонениями в порядке слов, вызываемыми актуальным членением. Приведенные примеры, думается мне, не только проиллюстрировали способ воздействия ритма равновесия на порядок слов в чешском языке, но и показали также, что ритм равновесия оказывает в чешском языке меньшее влияние на порядок слов, чем ритм акцентуационный. Место энклитик, как уже мы отмечали, в современной разговорной и письменной речи, за исключением преднамеренных отклонений, всегда определяется ритмом акцентуации. Воздействие ритма равновесия зависит, однако, от стилистической чуткости писателя. Следовательно, ритм равновесия влияет на порядок слов в чешском предложении не всегда, а лишь в некоторых случаях.

Таких окказиональных факторов, воздействующих на порядок слов в чешском языке, как и в любом культурном языке, имеется несколько, и в тщательном стиле их необходимо всегда учитывать. К ним относится хотя бы принцип стилистической ясности, требующий и в деталях такой расстановки слов, чтобы не возникало неопределенности в понимании их взаимоотношений и смысла. Обратим внимание, например, на следующее предложение: Bylo proto zcela přirozené, že se také jako vedoucí redaktor všech jejích požadavků energicky zastával

«Поэтому было совершенно естественно, что он как главный редактор все их требования энергично выполнял». При первом прочтении его мы начинаем склоняться к тому, что слова všech jejích požadavků следует принять за начало несогласованного определения к слову redaktor, но, поняв, что это не так, что эти слова относятся в качестве дополнения к глаголу zastával, мы разочаруемся в стилисте, который ввел нас в заблуждение. Можно было бы избежать этого, расположив слова в предложении следующим образом: Bylo proto zcela přirozené, že se také jako vedoucí redaktor energicky zastával všech jejích požadavků «Поэтому было совершенно естественно, что он как главный редактор энергично выполнял все их требования». Момент стилистической ясности является очень важным фактором в письменной речи уже потому, что в ней мы не можем подчеркивать ударением, паузами, понижением и окраской голоса смысл слов и предложений. Соотношение речи письменной и разговорной, однако, следует иметь в виду. Ведь плох стиль того произведения, которое некрасиво звучит при чтении вслух. Поэтому и в письменной речи мы должны следить за выразительностью и благозвучностью. Эти моменты также влияют на порядок слов. Известно, например, что не следует ставить друг за другом слова, от соседства которых возникает цепь неприятно звучащих или трудно произносимых звуков. Устранить это может или подбор других слов, или иная их расстановка. Окказиональным фактором порядка слов является также мелодия речи, наиболее значительной составной частью которой является интонация, колебание звукового тона. Здесь речь идет, конечно, не об интонации в ее функциональном смыслоразличительном плане, которой отличается, например, вопрос от утверждения и утверждение спокойное от утверждения взволнованного и которая имеет место в определенное время в пределах конкретного диалекта вообще, а об интонации в плане чисто личном и эстетически самодовлеющем. Мы знаем, что один говорит грубо, а другой мягко, знаем, что что-то читается плавно, а что-то отрывисто, с резкими паузами. Эти различия зависят не только от подбора слов, но и от их расстановки.

ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Наряду с предложениями и обычными членами предложений в языках имеются такие конструкции, которые уже не являются настоящими предложениями, но еще не стали и простыми

членами предложения. В произношении они обычно образуют самостоятельный отрезок речи как настоящие предложения, а поскольку из них можно легко образовать предложения, то их иногда называют сокращенными предложениями. В разговорной речи они почти не употребляются, там им предпочитаются полные предложения, но в письменной речи они являются важным выразительным средством. Для того чтобы понять сущность этих конструкций, вспомним, что мы говорили о двучленных предложениях. В двучленном предложении всегда что-то о чем-то сообщается; грамматической формой для того, о чем сообщается, является подлежащее, а грамматической формой для того, что́ об этом сообщается, является сказуемое. Мы можем констатировать, что сказуемое является грамматическим выражением отношения, которое создается только в предложении, и, наоборот, конструкции, выражающие отношение, которое создается только в предложении, можно назвать предикативными. Наряду с этим язык, как правило, имеет дело и с отношениями, которые поступают в предложение уже как нечто готовое. Конструкции, выражающие подобные готовые отношения, мы можем назвать в самом широком смысле слова атрибутивными, так как само определение является наиболее типичным их признаком. На различие между конструкциями предикативными и атрибутивными указывают, например, следующие предложения: Přinesli jí dvě krásné růže. Jedna růže byla bílá, druhá byla tmavě červená. Bílá růže byla ještě zpola poupě, červená růže byla plně rozvitá «Ей принесли две прекрасные розы. Одна роза была белая, другая—темно-красная. Белая роза была еще наполовину бутоном, красная роза была совсем распустившейся».

Обратим внимание на то, как здесь выражено отношение между розами и их цветом. Сначала мы ничего не знаем о цвете розы, и только во втором предложении сообщается, что одна роза была белая, а другая — красная. Следовательно, с помощью этого предложения в языке устанавливается отношение между розами и их цветом, а конструкция, при помощи которой это осуществляется, является конструкцией предикативной (byla bílá «была белая»— byla červená «была красная»). В третьем предложении, однако, эта связь воспринимается как нечто готовое и выражается атрибутивной конструкцией (bílá růže «белая роза»— červená růže «красная роза»). Сказуемое, как мы знаем, является закономерной основой предложения, в то время как собственно определение является только членом предложения. Между этими крайними полюсами лежат полупредикативные конструкции, которые хотя и выражают, подобно сказуемому, только что возникшие языковые связи,

но таким образом, что предложения при этом не образуется. Наиболее важными из подобных конструкций в чешском языке являются аппозиция, или приложение, и конструкции с деепричастием.

Приложение является слабосвязанной предикативной конструкцией, при помощи которой какое-либо именное выражение, выступающее в функции любого члена предложения, определяется другим именным выражением, находящимся в сочинительной связи с первым, то есть стоящим в том же падеже и просто присоединенным к нему. Таким именным выражением является обычно имя существительное, но им может быть и имя прилагательное, и наречие, и местоимение, и числительное, а также инфинитив. Отношения между обоими выражениями — определяемым и определяющим — представляют собой отношения широкого тождества, а это значит, что оба выражения обозначают одно и то же, хотя и отличаются друг от друга объемом значения. Если объем определяемого выражения шире объема определяющего выражения, то мы говорим о пояснительном (vysvětlovací) приложении. Такое приложение имеет место, например, в предложении: Jeho dílo vyniká vzácnou u nás vlastností, (totiž) srdečným humorem «Его произведение выделяется редким у нас достоинством, (а именно) сердечным юмором». Особым видом пояснительного приложения является уточнительное приложение перечисления (aposice výčetná), которое дополняет данное именное выражение уточнением того, что входит в его содержание. Приведем пример: Všichni, běloši a domorodci, s napětím čekali, jak spor dopadne «Все, белые и туземцы, напряженно ждали, чем окончится спор». Если при пояснительном приложении более широкое понятие (редкое достоинство) поясняется более узким (сердечный юмор), то при уточнительных (zařad'ovací) приложениях понятие более узкое обозначается как нечто, относящееся к категории, обозначенной более широким понятием. Из этого следует, что при перестановке из пояснительного приложения возникает уточнительное. Мы можем подтвердить это, видоизменив приведенное выше предложение: Jeho dílo vyniká srdečným humorem, vlastností u nás vzácnou «Его произведение выделяется сердечным юмором — достоинством у нас редким». От приложежения уточнительного только один шаг к приложению оценочному (aposice hodnotící), определяющему, как видно уже из названия, основное выражение включением его в категорию оценки. В качестве примера я приведу предложение: Sliboval mi hory doly a já, hlupák, mu věřila «Он сулил мне златые горы, а я, глупая, ему верила». Некоторые стороны оценочного приложения показывают, что в этой конструкции преди-

кативная функция не так сильна, как в пояснительном и уточнительном приложениях, и что, следовательно, оценочное приложение приближается уже к именному варианту, лишь более действенно видоизменяя основное выражение и даже не присоединяя к нему, в сущности, нового определения. Словечки totiž «то есть, именно», to «это», с помощью которых могут вводиться пояснительные и уточнительные приложения, свидетельствуют о предикативной функции этих конструкций и о том, что мы можем легко изменить их в настоящие предложения: Vzácnou u nás vlasností, to je srdečným humorem — srdečným humorem, to je vlastností u nás vzácnou. Оценочные приложения, напротив, вводятся местоимением takový «такой» или (если речь идет о третьем лице) местоимением ten «этот», а эти местоимения не являются признаками предикативной функции, которая состоит в добавлении чего-то нового, а указывают на то, что можно считать известным: Já, takový hlupák, jsem mu věřila — ona, takový hlupák, mu věřila — ona, ten hlupák, mu věřila «я, такая глупая, ему верила — она, такая глупая, ему верила — она, глупая, ему верила». И еще кое-что. Обычное уточнительное приложение выражает определение, касающееся лишь определяемого выражения. Уточнение при помощи приложения непосредственно никак не зависит от действительной ситуации, выраженной сказуемым, и воспринимается как постоянный признак определяемого выражения. В предложении Radúz, královský princ z Magury, si vyjel na lov «Радуз, королевский принц из Магуры, выехал на охоту» представлен наглядный пример такого постоянно сопутствующего приложения, так как происхождение принца Радуза не стоит ни в какой связи с тем, что он выехал на охоту. Иногда же включение определяемого выражения в соответствующую категорию явлений вступает в непосредственную связь с ситуацией, выраженной сказуемым, и воспринимается как что-то существенное. Такое приложение легко обнаружить, поскольку его содержание можно выразить обстоятельственным предложением, наглядно отражающим его отношение к сказуемому. Иллюстрируется это, например, следующим предложением: Jeho smrt, zřejmá justiční vražda, hluboce pobouřila arabské domorodce «Его смерть, явно наказуемое убийство, глубоко взволновала арабское население». Правда, смерти, о которой здесь говорится, с логической точки зрения соответствует обозначение zřejmá justiční vražda «явно наказуемое убийство» как обозначение постоянное, но в приведенном предложении это обозначение находится в непосредственной связи со сказуемым и воспринимается как нечто существенное, как активный фактор данной ситуации. Это ясно обнаружится

тогда, когда мы выразим содержание приложения обстоятельственным предложением: Jeho smrt hluboce pobouřila arabské domorodce, protože to byla zřejmá justiční vražda «Его смерть глубоко взволновала арабское население, так как это было явно наказуемое убийство». В предложении о принце Радузе мы можем (если захотим) заменить уточняющее приложение придаточным предложением, но только придаточным относительным (Radúz, jenž byl královský princ z Magury, vyjel si na lov «Радуз, который был королевским принцем из Магуры, выехал на охоту»). Если мы обратимся с этими выводами к оценочному приложению, то увидим, что и ему может быть свойствен налет актуальности. По крайней мере, предложение, приведенное в качестве примера предложения с оценочным приложением, мы можем изменить так же, как и приведенное выше предложение об убийстве: ...a já, protože jsem takový hlupák, jsem mu věřila «а я, так как я такая глупая, ему верила».

Итак, приложение в его отдельных видах является действенным средством для краткого выражения различных предикативных отношений тождества, не требующих выражения полным предложением. Разговорная речь использует эти выразительные возможности в очень ограниченном количестве и в совершенно элементарной форме. Приложения уточнительные появляются в ней только как отголосок книжной речи, зато оценочные приложения выступают в качестве излюбленной конструкции вследствие их эмоциональной выразительности. Книжная речь в зависимости от характера стиля и личности автора или избегает приложений вообще, или, наоборот, пользуется их услугами искусно и умело. В интеллектуальном стиле приложение очень часто раскрывает основное высказывание в понятийном отношении или уточняет его словесную формулировку, а в речи поэтически взволнованной опять-таки очень часто имеют место оценочные приложения, которые обрисовывают и дорисовывают основное высказывание определенным образом. Проиллюстрируем, по своему обыкновению, эти типичные случаи на ряде примеров. Приложения интеллектуального типа представлены в следующих предложениях, взятых из теоретических трактатов наугад: Tento ústřední básnický subjekt je vždy pocit'ován v pozadí jako nositel dramatického děje, vlastní tvůrce jeho proporcionality, spádu a jednoty; Tím splývá dekorace s jevištěm, ohraničeným místem významově nespecifikovaným, na němž se inscenace uskutečňuje; Nadešlo období zvýšené vitality, kvasu společenského i politického, duševního i hospodářského; Dva duchovní proudy charakterisují běh událostí v prvé polovici cinquecenta; revoluce ducha a estetiky a revoluce mravouky a náboženství

«Этот центральный поэтический субъект всегда воспринимается на общем фоне как носитель драматического действия, истинный творец его пропорциональности, движения, развития и единства; Тем самым декорации сливаются со сценой, ограниченной местом, в смысловом отношении неуточненным, где происходит инсценировка; Наступил период повышенной жизнеспособности, брожения общественного и политического, духовного и экономического; Два духовных течения характеризуют ход событий первой половины XV в.: революция духа и эстетики и революция в морали и религии». Можно сказать, что в интеллектуальной прозе совершенно обычными являются приложения пояснительные, простые и перечислительные, и приложения уточнительные. Граница между этими двумя видами приложений иногда стирается, так как при понятийной и формальной обработке смысловой объем выражения определяемого и определяющего оказывается совершенно одинаковым. Такие актуально уточнительные приложения мы находим, о чем свидетельствует хотя бы следующее предложение, в интеллектуальной прозе: Rudolf II, panovník českému prostředí zcela cizí, nemůže být nikterak srovnáván s Karlem IV «Рудольф II, государь, чехам совершенно чуждый, не может никоим образом идти в сравнение с Карлом IV». В целом же этот тип приложений чужд чешскому языковому сознанию, и там, где актуальность уточнения выступает с резкой отчетливостью, в чешском языке гораздо лучше вместо уточнительных приложений употребить полные предложения. Предложение, приведенное только что в качестве примера, лучше звучит в таком оформлении: Rudolf II nemůže být nikterak srovnáván s Karlem IV, protože byl panovník českému prostředí zcela cizí. «Рудольф II не может идти ни в какое сравнение с Карлом IV, так как он был государем совершенно чуждым чехам». Оценочные приложения образного типа, которые часто встречаются, как уже было сказано, прежде всего в стиле, поэтически взволнованном, можно обнаружить, например, в следующих предложениях:

A tak, zcela ve stylu vlastního svého života, nevybíral si Jindřich Hořejší, tento pěšák snů i umění, poslání «И так, совершенно в стиле своей собственной жизни, не выбирал себе Индржих Горжейши, этот пехотинец мечты и искусства, легкого призвания».

Vítr, nedočkavý milenec, cuchal vlasy hezkých žen pod klobouky, rozčarovával jim oči, barvil líce a zneklidňoval pohyby «Ветер, нетерпеливый возлюбленный, трепал волосы красивых женщин под шляпками, делал разочарованными их глаза, окрашивал щеки и делал встревоженными их движения». Такие именные варианты аппозиционного типа имеют важное стили-

стическое значение. Они возникают или из потребности выразить игривость либо избалованность, или из потребности выразить стремительное чувство, гнев либо нежную преданность, причем индивидуум стремится нагромождением подобных выражений передать свою взволнованность и напряженность. В случае, когда приложение является самоцелью, оно выступает как признак легкого или нарочито показного стиля.

Деепричастные обороты сходны с приложениями в том смысле, что также являются полупредикативными конструкциями, но в других отношениях они значительно отличаются от приложений. Деепричастные обороты в чешском языке всегда относятся только к подлежащему предложения, и их предикативный характер весьма отчетлив. Поскольку это выражения не столько именные, сколько глагольные, мы будем относить их к глагольно-именным выражениям. Это прежде всего означает, что их связь с подлежащим действительна только для конкретной ситуации, что она, следовательно, имеет актуальную значимость и что в своем содержании эта связь руководствуется привычным смысловым объемом глагола. Отношение между приложением и выражением, определяемым им, мы охарактеризовали как отношение широкого тождества. В деепричастных оборотах также может идти речь о выражении тождества (být něco «быть чем-то»), но в большинстве случаев они выражают другие отношения. Благодаря деепричастным оборотам подлежащему предложения приписывается деятельность (kráčeti «шагать») или процесс (hníti «гнить»), состояние (ležeti «лежать», být někde «быть где-то»), свойство (být nějaký «быть каким-то») или принадлежность чего-то (míti «иметь»). На глагольный характер деепричастных оборотов указывает, наконец, то, что они причастны к глагольному времени, виду, залогу. Особенно четко и точно различается в деепричастных оборотах временна́я градация в сочетании с видовыми оттенками, с одной стороны, в соответствии с одновременностью или предшествованием действия, что вместе с тем означает совершенность и несовершенность действия, с другой — в соответствии с тем, какое действие является при предшествующем действии основным.

Действительно живыми в чешском языке являются в настоящее время деепричастные обороты только в книжной речи, так как в обычной разговорной речи от них остались лишь одиночные застывшие конструкции (например, chtě nechtě «хочешь не хочешь», nehledě k tomu «несмотря на то», takřka «почти, едва ли не») и т. д. Однако и в речи книжной употребление деепричастных оборотов ограничено несколькими моментами.

Деепричастие будущего времени, выражающее предшествование действия в будущем или в обычной временно́й плоскости, имеет сейчас такой сильный архаический привкус, что его без насилия над языком можно употребить лишь иногда в стиле с формальной направленностью, особенно в стиле монументальном. Наиболее известно деепричастие будущего времени по цитатам старого перевода Библии, который вследствие своей древности и литургического значения стал образцом стиля монументального и торжественного. Таким известным библейским изречением является, например, Vezma lože své, jdi do domu svého «Взяв ложе свое, иди в дом свой». Примером использования деепричастия будущего времени с формальной направленностью в современной прозе является хотя бы следующий отрывок: Miluji vás, paní má: ložnice tichou vám vyhledám a ulehna před dveřmi budu chránit mír vašich snů «Я люблю вас, госпожа моя: тихую светлицу найду вам и, улегшись у дверей, буду охранять покой ваших снов». Употребление деепричастия прошедшего времени, обозначающего действие предшествующее (в прошлом или настоящем времени) формально ограничено тем, что без насильственной архаизации такие деепричастия нельзя образовать от целого ряда глаголов, по крайней мере для мужского рода единственного числа (например, от глаголов čísti «читать», vésti «вести», pásti «пасти», vézti «везти», říci «говорить», moci «мочь» и т. д.). Стилистическое использование форм этого деепричастия ограничено. Это связано с тем, что предшествование действия встречается лишь при градации действий. Здесь, разумеется, деепричастие прошедшего времени может придать действию эпические черты сжатости. Ярко выявляется эта функция деепричастий, например, в следующем ниже предложении, взятом из современной литературы. В приводимом отрывке ряд действий, сгруппированных вокруг одного и того же лица, уверенно схвачен четырьмя личными глаголами и двумя деепричастными оборотами: Prelát zrudl i zbledl, přešlápl a postaviv se přísně doprostřed chodby, sledoval očima kurýra, tiskna hněvivě kříž «Прелат побагровел и побледнел, переступил с ноги на ногу и, встав прямо посредине коридора, следил глазами за курьером, гневно сжимая крест». Наиболее свободно из чешских деепричастий употребляются деепричастия настоящего времени, выражающие одновременность действия в любой временно́й плоскости. Но и его использование формально ограничено, поскольку хороший стилист старается избегать таких форм, которые в мужском роде единственного числа сходны с формой третьего лица личного глагола (см., например, глаголы žíti «жить», mýti «мыть», douti «дуть»,

plouti «плыть», malovati «рисовать», oznamovati «сообщать» и т. д.). В остальных случаях это деепричастие можно использовать для выражения всех отношений, передаваемых обычно глаголом.

На основании того, что деепричастные обороты исчезли из разговорного языка и что их употребление формально ограничено в книжной речи, иногда делается вывод, что деепричастия в чешском языке являются совершенно мертвым материалом и представляют собой только ненужный балласт. Это ошибочное мнение. Более частое употребление деепричастных оборотов в книжной речи по сравнению с речью разговорной нельзя приводить в качестве доказательства только что высказанной мысли. Речь книжная не является лишь голой разновидностью разговорной речи. У нее другие задачи, и ее выразительные средства не совпадают с выразительными средствами разговорной речи ни по словарному составу, ни по структуре предложений. Правда, можно писать понятным и хорошим чешским языком и не употребляя деепричастий. Некоторые современные авторы доказывают это. Для тех, кто не избегает деепричастий и кто действительно может удачно употреблять их, деепричастные обороты и в объеме своего современного употребления являются удобным и надежным языковым средством.

Обратимся к деепричастию настоящего времени. Как любое деепричастие, деепричастие настоящего времени также выражает обстоятельство, сопутствующее главному действию, которое автор не считает по той или иной причине возможным выразить полным предложением. Отношение этого сопутствующего обстоятельства к главному действию и соображения автора в пользу употребления деепричастного оборота могут быть различными. Иногда деепричастие показывает, что сопутствующее обстоятельство полностью относится к основному действию, выраженному несколькими глаголами: Kde nebylo potřeba básnicky jiného, dal řeč, která zářila i jiskřila, překvapujíc svou kulturou «Когда не было необходимости в стихах, он выступал с речью, которая сверкала и искрилась, поражая своей культурой». Иногда же деепричастными оборотами выражается несколько сопутствующих обстоятельств, которые относятся к одному и тому же основному действию одновременно: Zmije odcházela pomalu, zastavujíc sa a hrozíc a z jahodiní a ze stínů zakrslých smrčků plály její rubíny pomstychtivosti «Змея отползала медленно, останавливаясь и угрожая, и из-под кустов земляники и тени низкорослых елей горели ее рубины мстительности». Уже этот последний пример показывает, как трудно иногда было бы заменить деепричастные обороты полными

предложениями, не выходя за рамки сложного предложения. Еще нагляднее это проявляется, когда одно и то же основное действие сопровождается двумя сопутствующими обстоятельствами, примыкающими к нему с двух сторон и выраженными деепричастными оборотами:

Když jsme se oba zastavili, tu zmije, tušíc, že jako barbaři nebo kmenové nečistí neznáme asi jejího královského rituálu a ceremoniálu, pohrdlivě a tiše syčela, oddávajíc se nerušeně své taneční rozkoši «Когда мы оба остановились, змея, предположив, что мы, как варвары или отверженные, вероятно, не знаем ее королевского ритуала и церемониала, презрительно и тихо зашипела, продолжая как ни в чем не бывало наслаждаться танцем».

Не всегда, однако, включение деепричастных оборотов в предложение столь сложно. В повествовательной прозе самая обычная функция деепричастия настоящего времени состоит в том, чтобы коротко и понятно выражать обстоятельство, логически связанное с тем, что выражено сказуемым. Для иллюстрации приведем два примера:

Tímto promítáním do několika kontextů pozbývá významová jednotka jednoznačnosti a její význam se ustavičně přesouvá, podléhaje tlaku různých kontextů «Этой проекцией в нескольких контекстах смысловая единица лишается однозначности, и ее значение постоянно перемещается, подчиняясь влиянию различных контекстов».

Divadelní hudba není tak těsně spjata s textem jako herectví, protože zvukové složky textu jsou od jejích složek více nebo méně odlišné, kdežto do herecké postavy vnikají přímo, stávajíce se jejími složkami hlasovými «Музыка, сопровождающая постановку, не так тесно связана с текстом, как сценическое искусство, ибо звуковые элементы текста более или менее отличны от ее элементов, тогда как в сценический образ они проникают непосредственно, став его голосовыми элементами». Иногда в рассказе деепричастие настоящего времени выражает сопутствующее обстоятельство, находящееся в логической связи с основным действием: Mezi kamením rostla žlutá tráva a vysocí kanonýři s křivýma nohama chodili znaveně, nemajíce co dělat «Среди камней росла желтая трава, и высокие канониры с кривыми ногами ходили устало, не зная, что делать». Как правило же, в рассказе сопутствующее обстоятельство, выраженное деепричастием настоящего времени, является по отношению к основному действию синхронным, не обладая особой логической связью. Иногда благодаря этому создается просто фон для основного действия: Jaký to kontrast, řeknete si, když, vzpomínajíce na život a báseň Indřicha Hořejšího, pohléd-

nete do oken a spatříte v nich zelené hřbety hor a silnici se sehnutými jeřáby, která se vine k nim! «Какой контраст, скажете вы, когда, вспоминая о жизни и поэзии Индржиха Горжейшего, посмотрите в окна и увидите за ними зеленые хребты гор, шоссе со склонившимися подъемными кранами, которое тянется к ним!»

Гораздо чаще причастие настоящего времени употребляется в рассказе для выражения действия, происходящего одновременно с основным действием и во временно́м отношении настолько равноценного, что оба оборота могут быть без ущерба взаимно заменены в соответствии с тем, какое из действий писатель считает в данной ситуации основным. Примером такой смысловой ситуации может служить следующее предложение: Prvé tramvaje řinčely mezi domy a hloučky dělnic v bílých šátkách s pevnými, osmahlými lýtky vycházely z města do vinic, prozpěvujíce si táhlé mollové písničky «Первые трамваи звенели среди домов, и группки работниц в белых платочках с крепкими, смуглыми икрами выходили из города на виноградники, напевая протяжные грустные песни».

ОТ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СЛОЖНОМУ

Предложения, из которых складывается наша повседневная речь, только в небольшом числе достаточно определенны по своему содержанию. Они, как правило, возникают из ситуации, в которой протекает разговор. Когда же мы исключаем их из этой ситуации, то они изменяются часто в отрывки, воспринимаемые с трудом. Внешним признаком прямой зависимости предложений от ситуации, из которой они вырастают, является сравнительно частое употребление одночленных предложений. Предложения в разговорной речи не в малой мере зависят также и от того, что предшествовало им в речи. Они кишат местоимениями, которые указывают на знакомые из контекста или ситуации предметы, или на предметы, которые говорящему по крайней мере кажутся знакомыми, и присоединяются посредством различных механических способов к тому, что было сказано перед этим. Так же выглядит письмо корреспондента или, еще чаще, корреспондентки, хотя и привыкших писать, но не способных еще к самостоятельной стилизации. Каждое письмо представляет в таких случаях одно длинное предложение от начала до конца; предложение непрерывно дополняется, и завершается оно только тогда, когда

корреспондент или корреспондентка написали обо всем, что у них было на сердце.

Начиная с этой примитивной стадии стилизации, развитие направляется по двум путям: предложения делаются более самостоятельными и становятся более сложными. В смысловом отношении большая самостоятельность предложения означает, что его содержание становится совершенно или достаточно понятным само по себе. Можно сказать, что предложение в языковом отношении объективизируется. Исчезает зависимость от ситуации, из которой оно возникает, и одночленное предложение уступает место почти везде двучленному глагольному предложению. Подобная тесная связь с предшествующими предложениями ослабевает, уменьшается и количество местоимений, указывающих на нее. Все это имеет место и при переходе от устной речи к письменной. В разговоре слушатель сам участвует в ситуации, и эта ситуация является фоном, на котором он воспринимает предложение. На письме конкретная ситуация, в которой слушатель участвует непосредственно, уступает место гораздо более отвлеченной ситуации отдаленного корреспондента, о которой читающий только догадывается и которая может вообще совершенно исчезнуть, когда, например, речь пойдет о незнакомом корреспонденте. Напротив, пишущий может скорее, чем говорящий, войти в положение будущего читателя и освободиться от своей субъективной манеры выражения. В печатном слове, представляющем или по крайней мере долженствующем представлять стиль наиболее тщательный и отстоявшийся, это развитие достигает своей кульминационной точки. Напечатанное здесь говорит само за себя, и обычно, если дело не касается цитаты из устной речи или какого-либо подражания разговорной речи, то само за себя говорит и каждое отдельное предложение. Это не означает, однако, что напечатанные предложения не связаны между собой. Напротив, хороший стиль требует, чтобы связь предложений, образующих связное целое высшего порядка, была основательно продумана. Однако обдуманная связь хорошего силя проявляется иначе, чем наивная связь примитивного стиля, постигаемая скорее инстинктом, нежели вдумчивым размышлением. Здесь предложения не нанизываются механически одно на другое, так что нагромождается бесформенная цепь, в которой трудно найти конец одной мысли и начало другой, но ставятся друг за другом как самостоятельные единства, связь между которыми выявляется благодаря способу, с помощью которого они друг к другу присоединены, а иногда подчеркивается соответствующим союзом, точно передающим их взаимные отношения.

Другой путь к совершенному стилю лежит, как мы уже сказали, через построение предложений усложненного характера, сложных предложений. Нельзя сказать, что разговорный чешский язык не знает сложных предложений. В языке, достаточно культурном, сложные предложения наличествуют и в разговорной речи, и если вслушаться в то, как говорят, скажем, неграмотные люди, то можно обнаружить, что они без усилий употребляют различные придаточные предложения с союзами, предложения относительные, подчиненные вопросительные предложения. Запас подчинительных союзов при этом ограничивается, конечно, наиболее важными типами, и построения, возникающие в результате образования придаточных предложений, оказываются элементарными сложными предложениями. Сплошь да рядом они представляют собой сложные одноступенчатые предложения, поскольку в них представлены придаточные предложения лишь одного порядка. Только в косвенной речи появляются построения более сложные, так как одноступенчатое сложное предложение, взятое из прямой речи, само становится подчиненным по отношению к словам автора. В книжной речи латинские образцы и необходимость точного выражения мысли привели к употреблению более сложных предложений с придаточными предложениями различного характера. В эпоху гуманизма подражание классической латинской прозе, ораторски обработанной, привело и в чешском языке к созданию искусственных речевых периодов. Примером может быть следующее наставление Коменского:

Jako hudebník, když jsou rozladěny struny lyry, kytary neb houslí, nebije do nich pěstí nebo klackem, ani jimi netluče o zeď', nýbrž skouší na nich své umění potud, až je uvede v souzvuk: právě tak, má-li duch býti získán k souzvuku a vštípena mu láska k učení, je třeba k němu se snížiti, nechceme-li z nedbalých udělati urputné a z tupých zcela hloupé. «Как музыкант, если расстроены струны лиры, гитары или скрипки, не ударяет по ним кулаком или палкой и не разбивает инструменты о стену, а пробует на них свое уменье до тех пор, пока не настроит их, точно так же, если дух стремится к гармонии и привита ему любовь к знанию, нужно снизойти к нему, если мы не хотим из нерадивых людей сделать жестоких, а из тупых—совершенно глупых».

Слава таких языковых периодов эпохи гуманизма давно прошла, и стиль в нашем представлении является гораздо более гибким, чем их скованное величие. Расчлененное сложное предложение остается, однако, и поныне важным средством книжного высказывания. Для того чтобы оно отвечало нашим требованиям хорошего и понятного стиля, оно, конечно, должно

подчиняться современным стилистическим нормам. От сложного предложения уже не требуется пропорциональности построения, а лишь живая гибкость. Мы хотим видеть его понятным и связным, с легко воспринимаемым содержанием и произношением. Для наглядности сравним современное сложное предложение с приведенным выше предложением Коменского:

Krása vzpomínek na léta středoškolská je dána tím, že do osmi let mezi jedenácti a devatenácti je stěsnáno neobyčejné rozvinutí našich schopností a našeho sebevědomí a že těchto podivuhodných osm let, žitých v atmosféře na výsost intelektuální a ozářených na konci prvními paprsky tužeb erotických, je nám dopřáno prožít s hrstkou kamarádů, mezi nimiž se vždycky najde nějaký přítel pro celý život. I pět let, připadajících na obecnou školu, je malý zázrak, ale jeho existenci si uvědomují jen ti druzí, rodiče nebo jiní příbuzní a učitelé. Na střední škole jsme však, především ve třídách vyšších sami cítili, jak míza života nám prudčeji a prudčeji koluje v žilách a závrat' z toho nás až rozkošně opájela «Прелесть воспоминаний о годах учебы в средней школе определена тем, что за эти восемь лет между одиннадцатью и девятнадцатью годами произошло необыкновенное развитие наших способностей и нашего самосознания, что эти удивительные восемь лет, прожитые в атмосфере в высшей степени интеллектуальной и озаренные в конце первыми лучами эротических мечтаний, нам дано прожить с горсточкой товарищей, среди которых всегда найдется какой-либо друг на всю жизнь. И пять лет, приходящиеся на начальную школу, являются маленьким чудом, но о его существовании поставлены в известность лишь друзья, родители или другие родственники и учителя. В средней школе, прежде всего в старших классах, мы сами чувствовали, как сок жизни быстрее и быстрее циркулирует в наших жилах, и от этого нас охватывало сладкое головокружение».

Для того чтобы увидеть, в чем состоит отличие сложного предложения эпохи гуманизма от сложного предложения, отвечающего современным стилистическим нормам, мы попытаемся выразить содержание приведенного периода Коменского в современной форме:

Má-li být duch získán k souzvuku a vštípena mu láska k učení, musíme si počínat, jako si počíná hudebník, když jsou rozladěny struny lyry, kytary neb houslí. Nebije do nich pěstí nebo klackem ani jimi netluče o zed', nýbrž zkouší na nich své umění, až je uvede v souzvuk. Právě tak je třeba se snížit k duchu, kterého máme vést ke vzdělaní, nechceme-li z nedbalých udělat urputné a z tupých zcela hloupé «Если дух стремится к гармонии и ему привита любовь к знанию, мы

должны сделать то, что делает музыкант, когда расстроены струны лиры, гитары или скрипки. Он не ударяет по ним кулаком или палкой, не разбивает их об стену, а пробует на них свое умение до тех пор, пока не настроит их. Точно так же нужно снизойти к духу, который мы должны привести к знанию, если мы не хотим из нерадивых людей сделать жестоких, а из тупых—совершенно глупых».

Как мы видим, в течение эпохи изменился смысловой ритм сложного предложения, а вместе с ним, разумеется, и его звуковой ритм. Из нового смыслового ритма вырастет гибкость, прозрачность и связанность, принятые нами за основные признаки современного чешского сложного предложения.

Из предшествующих глав мы уже узнали, что́ улучшает качество современного сложного предложения, а что́ является этому помехой. Вспомним прежде всего о принципе, состоящем в том, что каждое самостоятельное предложение должно содержать только одну мысль, выступающую ввиду ее вескости в качестве ядра высказывания, и о правилах, которые мы сформулировали на основании этого для смысловой структуры сложного предложения. Мы отметили, что период, переполненный смысловым содержанием до неясности, не отвечает требованию хорошего стиля и что придаточные предложения должны только развивать или дополнять содержание главного предложения необходимыми пояснениями. Наличие в придаточном предложении мысли, своей вескостью возбуждающей подозрение, что речь идет о втором ядре высказывания, свидетельствует о том, что в предложении допущена стилистическая ошибка. И в других случаях в сложном предложении следует принимать во внимание то, что вытекает из требований ясного актуального членения предложения, поскольку от этого прежде всего зависит его смысловой ритм. При распределении на основу высказывания и его ядро нельзя в сущности провести различие между сложным и простым предложением, так как отдельные придаточные предложения мы можем в этом отношении сопоставить с простыми членами главного предложения или же с подчиненными членами придаточного предложения. Между членами сложного предложения, однако, существуют более тесные связи, чем между членами простого предложения, поэтому в сложном предложении при распределении отдельных предложений находит себе отчетливое применение принцип принадлежности к тому или иному члену предложения и принцип ритма равновесия. Когда в сложном предложении выделяются отдельные предложения, наше языковое сознание настоятельно требует, чтобы органическому построению сложного предложения соответствовал порядок, вытекающий

из принципов актуального членения. Так, например, сложное предложение S tohoto stanoviska je třeba zkoumat, co Štítný ze složek, které přejal, udělal «С этой точки зрения нужно рассматривать, что Штитный из элементов, которые он заимствовал, сделал» построено согласно принципам актуального членения, так как личный глагол udělal относится в зависимом вопросе к ядру высказывания, вследствие чего он и отнесен на конец предложения. Поскольку при таком порядке неудачно разрывается зависимый вопрос и вместе с этим в противовес принципу ритма равновесия одно слово попадает в изолированное положение в конце предложения, мы отдаем предпочтение другому оформлению этого предложения, хотя и не отвечающему принципам актуального членения, но зато избегающему шероховатостей, которые затрудняют его понимание: S tohoto stanoviska je třeba zkoumat, co Štítný udělal ze složek, které přejal «С этой точки зрения нужно рассматривать, что сделал Штитный из элементов, которые он заимствовал».

Я надеюсь, что в предыдущих абзацах хотя бы частично мне удалось охватить характерные черты, присущие сложному предложению и выработанные им в процессе литературной практики последнего столетия. Эти черты можно дополнить своеобразными особенностями, которые характеризуют чешское простое предложение, и таким образом сложное предложение в чешском языке становится в современном понимании слова образованием действительно самобытным. Оно решительно отличается не только от предложения классического периода, значительно распространенного в чешской прозе еще в 70-е годы прошлого столетия и время от времени появляющегося и поныне, но и от усложненных предложений других современных культурных языков. В форме, отвечающей современному языковому сознанию и современному стилистическому вкусу, сложное предложение для чешской прозы является в высшей степени важным выразительным средством. Оно оправдывает себя в прозе повествования и рассказа, так как дает возможность ясно и гибко выразить сложные мысли и охватить с наглядной сжатостью многостороннее действие во всей его сложности. Тем не менее и сложное предложение не является последним словом в развитии нашего стиля. Некоторые писатели избегают любого скопления придаточных предложений, так же как и полупредикативных конструкций. Они приближаются к простому предложению народного повествования, но стилистическая простота таких предложений не примитив, а результат большой работы над языком. Предложения этих писателей просты, но они не присоединяются друг к другу случайно или механически, они продуманы, так, чтобы без привлечения

дополнительных выразительных средств выделялись тончайшие оттенки их отношений. Все это находится в согласии с тем, что в таком сознательно простом стиле с замечательным мастерством подбирается каждое отдельное слово. О характере простого народного стиля мы достаточно знаем из отрывков народных сказок, приводимых в качестве примеров в предыдущих главах. На их фоне отчетливее выступает искусственная простота отрывка из рассказа, написанного в начале нашего столетия:

Přemýšlela, orala hluboce ve svých zkušenostech. Bylo třeba peněz. Ani on ani ona ich neměli. Celé její jmění bylo v knihách a věcech. Měla bílý pokojíček a nějakých nanovo uspořených sto zlatých. Co měli začíti? Čím živí se lidé, kteří pozbývají soudnosti anebo kteří jsou nuceni vzdáti se čestné práce, chtějí-li žíti po lidsku a šťastně? Vzpomínala vzpomínkami svých knih. Věděla, že jemu nesmí přidělit práce starostné... «Она размышляла, глубоко копалась в своем опыте. Были нужны деньги. Ни у него, ни у нее их не было. Все ее достояние было в книгах и личных вещах. У нее была белая комнатка и какие-то сэкономленные сто золотых. С чего они должны начать? На что живут люди, лишившиеся рассудительности или вынужденные отказаться от честного труда, если они хотят жить по-человечески и счастливо? Ей пришли на память мысли из ее книг. Она знала, что не смеет добавить ему забот...»

Я умышленно выбрал такой пример, чтобы различие между простым народным стилем и простым обработанным стилем было как можно более заметно. Сейчас, конечно, простой обработанный стиль звучит проще и естественней, так как он окончательно вошел в употребление и утратил оттенок искусственности, отягощавший его в период его возникновения.

ПРИНЦИПЫ ДЕЛЕНИЯ РЕЧИ НА АБЗАЦЫ

В связном изложении (или, разумеется, в связном повествовании) ни простое, ни сложное предложение не являются образованиями наивысшего порядка. Над ними главенствует изложение или повествование как целое, имеющее свое начало, развитие и конец, которое руководствуется в своем построении особыми правилами. Изложение или повествование большего размера не составляет единого целого, а расчленяется на меньшие части, на абзацы или же на главы и абзацы. Каждая глава и каждый абзац являются определенным целым, хотя они и включаются в более широкие контексты, а правила, опре-

деляющие их структуру, аналогичны правилам, определяющим построение единства в целом.

Членение на абзацы — важная сторона каждого языкового высказывания, превышающего своим размером краткое сообщение. Способы, при помощи которых такое членение осуществляется, весьма разнообразны и зависят от многих обстоятельств. Решающую роль при этом играют конкретный замысел и вкус пишущего. Некоторые авторы склонны писать и большие комплексы одним духом, и поэтому они скупятся на абзацы, но есть и такие, которые важности ради готовы начинать с абзаца каждое новое предложение. Многое здесь зависит также и от вида высказывания. Повествование, написанное в форме монолога-исповеди, насыщенной чувством, расчленяется иначе, чем деловое предписание, от которого требуется предельная ясность и точность. Для четкого стиля изложения целесообразное расчленение на абзацы в высшей степени важно, так как без этого изложение окажется лишенным одного из основных предъявляемых к нему требований — ясности. Расчленение на абзацы не должно быть такого характера, который свойствен только официальным документам. В живом изложении, уклоняющемся от излишней сухости и формальности стиля, можно проследить любой ход мыслей от начала до конца. Мы должны ощущать в нем прочный смысловой костяк, несущий все остальное, точно так же как и на хорошей картине под линиями тела мы предполагаем прочно соединенные кости. Целесообразное расчленение на абзацы значительно помогает нам в этом. Абзацы не должны, разумеется, быть слишком малыми, ибо такие абзацы дробят на мелкие части основную линию изложения, и все оно приобретает характер излишне афористический или импрессионистски мозаичный. Не должны они быть, конечно, и очень длинными, и тогда читатель или слушатель не будет забывать об их существовании. Истинную меру в делении на абзацы нельзя установить посредством какого-либо общего правила. Это должен сделать в каждом конкретном случае сам автор, поскольку он лучше других осознает смысловой ритм своего изложения. Вопросу об абзацах каждый автор должен уделять особое внимание. Этот вопрос не должен быть для него делом второстепенным, и тем более он не должен полагаться в этом деле на переписчика или наборщика текста.

Уже было сказано, что абзац как целое строится по правилам, определяющим построение всего изложения в целом. Это означает, что он должен быть связан со всем изложением в целом, но в то же время и четко отграничен от других частей, то есть должен иметь определенное начало и конец. Спаян-

ность абзаца осуществляется его основной темой, пронизывающей его насквозь, а с ней, как я уже говорил в одной из предыдущих глав, органически связаны актуальные темы отдельных предложений. Основная тема абзаца может оставаться в его границах неизменной, но может также и развиваться. Мы говорим, что тема развертывается, если она постепенно заменяется в соответствии с внутренней логикой развития новой темой, и что она развивается, если постепенно приобретают особую значимость отдельные ее части или если она распадается в целом абзаце на несколько связанных второстепенных тем. Развертывание темы происходит, как правило, в движении во времени, следовательно, в эпическом плане, тогда как при развитии темы речь идет об описании или характеристике, причем здесь мы постоянно остаемся в одной и той же временно́й плоскости. Основная тема не всегда указывается вполне определенно, она может выводиться из тематических отрезков. Работа над основной темой не должна ограничиваться только чистыми типами или оставаться в пределах лишь одного типа. Это особенно четко проявляется в повествовании. Тип развертывания переходит часто в начале повествования в тип развития, и тема, развивающаяся эпически, иногда одновременно развертывается в ряд второстепенных тем. Проиллюстрируем это на примере. Рассмотрим начальный абзац из современного чешского рассказа, в первых предложениях которого развертывается не обозначенная четко основная тема осеннего вечера, а в конце его эта описательная тема становится началом эпической линии повествования:

Mlhy se valily z dálky od obzoru, rovnou do středu sohorského kraje. V mohutných přívalech, podobných temným skalám, vystoupily z hor a nebezpečně se hnaly proti rovinám. Sohorská pole ležela klidně a líná v ustáleném tichu podzimního večera, jako by čekala na tyto přívaly hustého vlhka, aby se odevzdala do jejich moci. Hluboko v úžlabině doorával chalupník Kodeš poslední brázdy. Přeorával bramboříště a přes to se země krájela v těžkých jílovatých a mokrých plástech, jimiž byl pověstný sohorský kraj, o kterém šla podivná řeč, podobná pomluvám anebo pověře: když se zamračí, nenechá se přeorávat, nebot' je nasáklý vodou, a jak jen slunce málo zasvítí, prahne a praská žízní «Клубы тумана мчались издали от горизонта, прямо в центр согорского края. Могучими потоками, подобными темным скалам, они выступали из-за гор и грозно неслись на равнину. Согорские поля лежали спокойно и лениво в установившейся тишине осеннего вечера, как будто бы ждали эти потоки сырости, чтобы отдаться в их власть. Глубоко в ложбине допахивал малоземельный крестьянин Кодеш послед-

ние борозды. Он перепахивал картофельное поле, и все же земля была разрезана на тяжелые глинистые и мокрые пласты, ими славился согорский край, о котором ходили удивительные слухи, похожие на наговор или суеверие: когда небо затянется тучами, нельзя бросать перепашку, так как край пропитан водой, и как только засветит солнце, он высохнет и растрескается от жажды». В повествовании, где картины и настроения дня и эпохи являются важными композиционными факторами, часто имеют место тематические переходы внутри абзаца. В импрессионистских летописях, таких, как «Год в деревне» Алоиза Мрштика и «Годы в кольце» Ярмилы Глазаровой, мы встречаемся с подобными тематическими переходами внутри абзаца на каждом шагу. В обоих случаях они удачно придают живой и свежий ритм повествованию. В изложении, конечно, нет места для такой артистической игры темами. Ясность изложения требует ясности темы и каждого абзаца, а этому противоречит всякая неопределенность, пусть даже самая художественная. Таким образом, в стиле изложения тематический переход внутри абзаца имеет место лишь в самом начале, где им часто преднамеренно отмечается новое вступление в излагаемое. Для подтверждения этого мы можем обратиться к работам наших молодых очеркистов. Так, трактат о необходимости пересмотра взглядов на деятельность Коменского начинается констатацией того, что союз издателей назначил премию за популярный труд о Коменском, и очерком о благозвучии поэтического слова, в котором рассказывается о том, как его славный автор, будучи десятилетним учеником, был очарован звучанием имен Эстер и Аталия. Только после такого актуального вступления и, разумеется, в связи с ним авторы переходят к основной теме. Подобные тематические переходы присущи, как уже было сказано, самому началу изложения. В дальнейшем изложении абзацы строятся каждый на своей основной теме, и эта тема остается неизменной для всего абзаца и развивается в нем.

Что касается начала и конца абзаца, то, как уже говорилось, нужно иметь в виду, что начало первого абзаца и конец последнего абзаца выполняют иные задачи, чем начало и конец всех прочих абзацев. Началу первого абзаца не предшествует ничто, кроме заголовка, а после конца последнего абзаца за ним ничего не следует. Следовательно, начало первого абзаца является абсолютным началом, а конец последнего — абсолютным концом. Начало и конец всех прочих абзацев, напротив, всегда зависят от общей ситуации, поскольку они наносятся, подобно зарубкам, на тело связного целого. Совершенно естественно, что абсолютное начало несколько отличается от начала внут-

реннего абзаца, а абсолютный конец — от конца внутреннего абзаца. В начале изложения может прозвучать полный аккорд основной темы, но может содержаться и что-то другое, актуальное или общеинтересное, и тогда к основной теме можно будет приблизиться лишь по ходу абзаца с помощью удачного тематического перехода. Точно так же и с внутренним абзацем. Основная тема может быть представлена в нем с самого начала, без всякого введения, но может быть наполнена и каким-то иным содержанием, и тогда основная тема внутреннего абзаца может вступить в действие лишь посредством тематического перехода. Между абсолютным началом и началом внутреннего абзаца существует, однако, то различие, что во внутреннем абзаце автор не может выбрать что-то, из чего бы он хотел исходить по своему желанию, как в абзаце, с которого начинается изложение. Чаще всего начало с тематическим переходом во внутреннем абзаце зависит от предшествующего изложения, из которого выводится новая тема, предназначенная стать основной темой и этого нового абзаца.

Глава по объему и функциям занимает промежуточное место между изложением и абзацем, и ей свойственны поэтому особенности и того и другого. Она, как и абзац, подчиняется общей теме изложения, но является более самостоятельной. Ее начало и конец могут быть построены поэтому по принципу внутреннего начала и конца и по принципам абсолютного начала и конца. Глава, так же как и абзац, должна иметь основную тему, которая развертывается в ней гораздо свободнее, чем в простом абзаце. Таким образом, основная тема главы имеет более широкий объем, чем основная тема абзаца. Основные темы отдельных абзацев, на которые делится глава, должны быть связаны с основной темой главы или органически вытекать из нее. В этом плане отношение отдельных абзацев к более широкому понятию главы подобно отношению отдельных предложений к образуемому ими абзацу.

Й. Вахек

К ПРОБЛЕМЕ ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА *

В те годы, когда в науке о языке почетное место принадлежало фонетике, письмо не пользовалось благосклонным вниманием лингвистов. Оно казалось не более чем оболочкой, скрывающей истинные свойства языка, и в качестве единственной функции письма выдвигалась задача служить изображением (устного) языка. К этому взгляду, наиболее отчетливо сформулированному Ф. де Соссюром, можно отнестись с полным пониманием, рассматривая его как реакцию на более ранние периоды развития лингвистической мысли, когда языковеды лишь с большим трудом могли освободиться от гипноза графики, переходя от оптических знаков — букв к акустическим — звукам; однако этот взгляд не соответствует сегодняшнему уровню лингвистического знания.

Заслугой покойного украинского лингвиста проф. Агенора Артимовича является то, что в своих исследованиях[1] он показал, «что письмо каждого так называемого литературного языка формирует особую автономную систему, частично независимую от собственно устного языка». Однако, хотя работы Артимовича содержат немало интересных подтверждений этого тезиса, в них не получила достаточного развития его общетеоретическая и принципиальная сторона.

Прежде всего следует подчеркнуть, что Артимович недостаточно четко показал различие между «письменным языком» и отдельными письменными высказываниями. Между тем это различие в высшей степени важно. Под письменным языком мы понимаем норму, или лучше — систему графических (соответственно типографских) средств, признаваемых за норму внутри определенного коллектива. Письменные высказывания представляют собой, напротив, отдельные конкретные реализации названной нормы. В каждодневной практической жизни

* Josef V a c h e k, Zum Problem der geschriebenen Sprache в сб. «A Prague School Reader in Linguistics», Bloomington, 1964 [впервые напечатано в TCLP, 8, 1939, стр. 94—104].

[1] A. A r t y m o v y č, Pysana mova, «Naukovyj Zbirnyk Ukrainśkoho Vys. Ped. Institutu v Prazi», II, 1—8. Частная проблема этого исследования послужила предметом статьи А. Артимовича на немецком языке («Fremdwort und Schrift» в «Charisteria», Pragae, 1932, стр. 114 и сл.); эта немецкая работа цитировалась и нами.

мы сталкиваемся лишь с письменными высказываниями — только по ним и можно судить об особенностях письменного языка как системы. Тем не менее нельзя подвергать сомнению его специфическое существование хотя бы уже в силу его нормативного характера. В особенности следует остерегаться смешения письменного языка с «графикой» [«Schrift»] или с «орфографией». Графика — это всего лишь terminus technicus, обозначающий инвентарь письменных знаков, необходимых для изложения устных высказываний [Sprechäußerungen]. Орфография же — это своеобразный мостик между двумя языковыми системами — письменным и устным языком, набор соответствий между отдельными элементами обеих систем.

Из развиваемых здесь соображений следует, что между письменным языком и письменными высказываниями существует отношение, подобное тому, которое было установлено Ф. де Соссюром для языка (langue) и речи (parole). Различие состоит лишь в том, что тогда как письменный язык может служить аналогом «языка», конкретным письменным высказываниям могут соответствовать лишь конкретные устные высказывания, но не абстрактная «речь».

Таким образом, мы подходим к вопросу о том, что́, собственно, соответствует «речи» в действительной жизни языка. Если задуматься над этой проблемой, то придется признать, что содержание понятия «parole» далеко не так ясно и безупречно, как понятия «langue». Нелишне заметить, что сам Ф. де Соссюр создал действительно богатую плодотворными идеями «лингвистику языка», но не «лингвистику речи». Что вообще вкладывал женевский лингвист в понятие «parole»? На стр. 38 его «Курса» мы находим следующее предложение: «Она (речь) — сумма всего, что гово́рят люди, и включает: а) индивидуальные комбинации, зави́сящие от воли говорящих, б) акты говорения, равным образом произвольные, необходимые для выполнения этих комбинаций» *. Рассматривая это определение более пристально, можно констатировать, что здесь де Соссюр объединил в рамках «речи» две разнородные группы фактов. К первой группе относятся индивидуальные сочетания языковых элементов — такие сочетания должны быть даны, однако, уже в «языке», поскольку они также должны следовать определенной норме и не могут быть чисто субъективными. Тем самым первая часть соссюровского определения неудовлетворительна, и соответствующие факты принадлежат «языку», а не «речи». Как обстоит дело со второй половиной приведен-

* Цитата приводится (с одним исправлением очевидной опечатки) в переводе А. М., Сухотина — см. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, русск. перев., М., 1933, стр. 42.— *Прим. перев.*

ного выше определения? Упомянутые де Соссюром акты говорения следует, несомненно, отождествить с тем, что мы называем здесь «устными высказываниями», так как они индивидуальны и конкретны [2]. Таким образом, и они не покрываются понятием «речи».

Из сказанного следует, что понятие «речи» — по крайней мере, в том смысле, какой вкладывал в него Соссюр,— является излишним. Мы видим, кроме того, что оказывается оправданной предложенная выше аналогия между соотношением письменного языка и письменных высказываний, с одной стороны, и «языка» и устных высказываний — с другой.

Таким образом, последовательное проведение нашего противопоставления письменного языка письменным высказываниям приводит нас к заслуживающей внимания поправке одного немаловажного пункта лингвистической теории. Мы могли бы теперь задаться вопросом, каким образом де Соссюр вообще пришел к выдвижению понятия «речи». Ответ на этот вопрос, очевидно, находится в связи с тем обстоятельством, что для женевского языковеда понятие «языка», как это было уже показано Р. Якобсоном (TCLP, II, стр. 13), является по существу статическим. А так как де Соссюр далеко не в полной мере учитывал внутреннюю динамику языка, его всегда существующее стремление к равновесию системы, никогда полностью не достигаемому, то ему не оставалось ничего другого, как объяснять проявляющуюся в течение времени и языкового развития динамику извне. Именно поэтому женевский исследователь постулировал наличие особого фактора — «parole», который должен был играть роль своеобразного посредника между двумя языковыми состояниями, рассматриваемыми в статике. По нашему же мнению, принятие посредствующего абстрактного фактора является излишним: изменения языковой системы происходят внутри самой языковой системы и вызываются вновь стремлением к восстановлению равновесия в системе. Речевые высказывания [Sprechäußerungen] играют при этом известную роль, но роль не динамического посредника, а лаборатории, в которой язык испытывает различные средства к восстановлению своего равновесия. Другими словами, различные носители данного языка ощущают несовершенство его равновесия; они преобразуют языковую систему в той или иной точке, делая это часто непроизвольно и бессознательно. При этом, естественно, различные носители языка изменяют не одни и те же, а разные точки системы. Эти индивидуальные

[2] Проблема устного высказывания развивалась В. Скаличкой в его статье «Устное высказывание как лингвистическая проблема» (на чешск. языке, см. SaS, III, Praha, 1937, стр. 163—166).

системы, несколько сдвинутые в различных направлениях, реализуются затем говорящими в их высказываниях. Тем самым эти индивидуальные сдвиги, как в лаборатории, подвергаются испытанию с точки зрения их целесообразности — одни из них признаются языковым коллективом как более, другие — как менее подходящие для восстановления равновесия. Наиболее подходящие средства включаются затем, причем окончательно, в «язык».

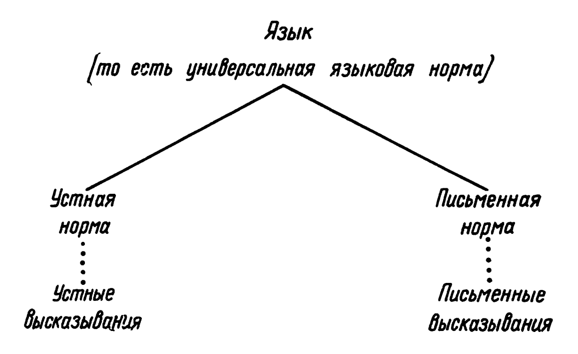
Итак, мы склонны сделать вывод, что письменный язык и «langue» представляют собой рядоположные [koordinierte] понятия, которым подчинены письменные и соответственно устные высказывания в качестве понятий субординированных. Таким образом мы подходим к новой проблеме, которая принадлежит к числу важнейших в лингвистической теории. Противоположение «langue» письменному языку наталкивает на мысль, что «langue» представляет собой нечто, имеющее акустическую характеристику. Однако это противоречит одному из самых фундаментальных положений Ф. де Соссюра, а именно тому, что «langue» является формой, а не субстанцией. Существенное в «langue» представлено, по де Соссюру, лишь его знаковым характером, а не материальной стороной. Иначе говоря, если, например, фонемы какого-либо языка будут выражаться не посредством звуков, а посредством красок и жестов, мы будем иметь дело с тем же самым языком, поскольку взаимные отношения знаков, несмотря на различные способы их реализации, останутся прежними. Это положение делает для нас понятным и отношение де Соссюра к письму: раз единственная характеристика «языка»— это только знаки и их взаимные отношения и раз материальный способ их реализации несуществен, тогда письмо — это действительно лишь оболочка, затемняющая истинную природу языка. В самом деле, если знаки и их соотношения представляют единственную ценность, они должны получать единообразное выражение в любом материале, в том числе, следовательно, и в письменных, соответственно буквенных знаках. А так как многие (если не все) письменные языки не удовлетворяют этому требованию, они вполне заслуживают соссюровской оценки — в той мере, в какой является правильным приведенный выше тезис женевского ученого.

Однако в противовес этому следует указать на то обстоятельство, что письменные высказывания — по крайней мере у культурных языковых коллективов — обнаруживают известную независимость по отношению к устным высказываниям, что было доказано работами проф. Артимовича. В этом мы не увидим ничего странного, если будем иметь в виду разли-

чие в функциях письменных и устных высказываний. Задача устного высказывания состоит в том, чтобы как можно более непосредственно реагировать на тот или иной факт; письменное же высказывание фиксирует определенное отношение к той или иной ситуации на возможно более длительный срок. Определенная независимость письменных высказываний предполагает и определенную независимость соответствующей нормы, то есть письменного языка. Однако безусловно оптический характер этой нормы с необходимостью ведет к признанию акустического характера сопряженной с ней устной нормы [der koordinierten Sprechnorm], то есть «языка» («langue»). Как разрешается это противоречие?

Здесь нам в какой-то мере могут помочь некоторые соображения, касающиеся взаимоотношений обеих названных норм. Хорошо известно, что члены языкового коллектива (по крайней мере цивилизованного) имеют в своем распоряжении две языковые нормы — одну для устных, другую — для письменных высказываний, хотя возможно, что они не владеют обеими этими нормами с одинаковой степенью совершенства. Любой из членов языкового коллектива отдает себе отчет в том, что обе нормы дополняют друг друга [komplementär sind], поскольку каждая из них обладает специфической функцией, в которой одна не всегда успешно может заменить другую. Возникает вопрос, ограничивается ли взаимосвязь обеих норм лишь комплементарностью, или же существует высшая, универсальная норма, к которой следует сводить обе эти нормы и которой, таким образом, обе эти нормы подчинены.

Идея такой универсальной нормы, несомненно, весьма заманчива: ее абстрактная природа и отсутствие прикрепленности как к оптической, так и к акустической форме выражения прекрасно бы согласовались с формальной, несубстанциональной природой соссюровского «langue». В этом случае мы пришли бы к следующей схеме:



Является ли существование такой универсальной нормы вероятным или хотя бы возможным? Чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, мы должны вновь обратиться к нашим соображениям, которые касаются отношений внутри цивилизованных языков.

Наличие двух языковых норм в цивилизованных языках не подлежит сомнению. С синхронической точки зрения неправомерно вместе с де Соссюром пытаться решить вопрос о том, какая из этих двух норм является первичной во временно́м плане и какая вторичной. Обе нормы суть просто лингвистические феномены, и каждая из них выполняет свойственную лишь ей функцию. Переход от одной нормы к другой называется правописанием и соответственно — произношением, и именно в согласии с ними устная норма транспонируется в письменную и обратно. Этот переход от одной нормы к другой в одних языковых коллективах оказывается более легким, в других — более трудным, однако он всегда остается фактом, который нельзя оспаривать. Чем легче осуществляется такой переход, тем ближе друг к другу обе нормы — устная и письменная — и тем вероятнее представляется наличие некой универсальной нормы.

Впрочем, невозможность найти такой языковой коллектив, в котором обе нормы обнаруживали бы настолько аналогичную структуру, что можно было бы без долгих размышлений признать существование подчиняющей их себе абстрактной нормы — хотя бы только для данного языкового коллектива — доказывается весьма простым соображением. А именно, необходимо иметь в виду следующий важный момент: если даже и можно найти такой язык, в котором каждой фонеме последовательно соответствовала бы одна особая буква, этого еще далеко не достаточно для того, чтобы доказать аналогичность структуры письменной и устной нормы. Если бы обе нормы обладали полностью аналогичной структурой, то каждый функционально значимый акустический элемент должен был бы иметь свой графический эквивалент в письменной норме, и наоборот. Однако практически это совершенно невозможно. Хорошо известно, что огромному богатству акустических средств устной нормы противостоит ограниченное количество оптических средств, которыми обладает письменная норма. Там, где в распоряжении устной нормы имеется разнообразная шкала мелодических, экспираторных и др. элементов, письменная норма должна довольствоваться скудным инвентарем пунктуационных и различительных средств (таких, например, как разрядка, курсив и т. п.). Как далеко отстоят друг от друга обе нормы, видно хотя бы из того, насколько часто письменная

норма должна прибегать к вторичным средствам там, где устная норма пользуется первичными средствами. В романах и вообще в беллетристике можно найти огромное количество подобных средств выражения. Интонация, например, должна передаваться следующим образом: *он говорил отрывистыми фразами*; ...*спросил он сонным голосом*; ...*ответил он резко* и т. п. Иногда приходится прибегать к помощи целых предложений, например: *В его словах сквозила большая доброта.* Энергия и вообще интенсивность также выражаются вторичными средствами: ...*крикнул он громко*; ...*сказал он вполголоса*; ...*прошептал он* и т. д.

Эти наблюдения никоим образом не позволяют заключить, что письменный язык представляет собой менее совершенную структуру, чем устный. Его структура не является менее совершенной, это просто иная структура. Ведь и письменная норма — хотя об этом очень часто забывают — располагает определенными средствами, чуждыми устной норме, которая должна прибегать в этом случае к вторичным средствам выражения. С самой природой письменных высказываний связано то, что средства, о которых идет речь, служат скорее интеллектуальным, чем эмоциональным и другим потребностям. Здесь следует прежде всего упомянуть о разделении сравнительно длинных письменных высказываний на абзацы, которые сигнализируют читателю о том, что речь идет также и о новом отрезке содержания. В устном высказывании в таких случаях приходится прибегать к вторичным средствам (например: *Таким образом, мы покончили с проблемой А и теперь переходим к проблеме Б*). Хорошо известно также, как крохотный знак двоеточия устанавливает связь между частями запутанного фразового периода и таким образом дает возможность сделать его понятным. В устном высказывании, не допускающем таких сложных периодов, последние разлагаются на более мелкие предложения. Функция двоеточия выражается при этом опять-таки вторичным образом (например, словами: *это было вызвано тем, что*...; ...*случилось так, что*... и т. п.).

Итак, мы обнаружили, что ни в одном языковом коллективе письменная и устная нормы не обладают полностью аналогичной структурой. Отсюда вытекает естественный вывод, что следует отвергнуть возможность существования абстрактной универсальной нормы, подчиняющей себе письменную и устную нормы, для какого бы то ни было из существующих языков. Ведь если нельзя говорить о наличии такой нормы даже для таких языков, в которых подобному допущению благоприятствует фонологический принцип, лежащий в основе алфавита, то тем менее можно предполагать ее существование

в тех языках, где отсутствует упомянутая предпосылка, то есть в таких языках, которые либо значительно отклонились от фонологического принципа при создании своих письменных норм, либо избрали совсем другой принцип (ср., например, индийский с его слоговым письмом или китайский с его идеографическим письмом и т. д.). Следовательно, письменная и устная нормы должны рассматриваться как рядоположные величины, которые не подчинены какой бы то ни было высшей норме и связь между которыми объясняется лишь тем обстоятельством, что они выполняют комплементарные функции в использующем их языковом коллективе. Как было сказано выше, это функция непосредственной реакции, с одной стороны, и функция продолжительной реакции — с другой.

Из только что сказанного вытекают некоторые важные общетеоретические следствия.

Прежде всего оказывается безусловно необходимым различать «письменный язык» («la langue écrite») и «устный язык» («la langue parlée») как две особые системы норм. Прежнее понятие «язык» («la langue») в связи с этим не упраздняется, а лишь меняет свое содержание. Это наименование должно обозначать не абстрактную универсальную норму, но сумму обеих рассмотренных выше норм, которые связаны друг с другом тем, что они обеспечивают данному языковому коллективу возможность реагировать любым образом на любую ситуацию.

Установленное различие обеих норм вновь возвращает нас к вопросу о том, является ли язык формой или субстанцией. Мы хотели бы ответить на этот вопрос следующим образом. Вообще говоря, не подлежит сомнению, что наиболее существенное в каждом языке определяется взаимными отношениями его элементов. Однако, с другой стороны, эти отношения повисают в воздухе, если они не обнаруживаются в определенной субстанции. Можно без колебаний признать, что до тех пор, пока язык реализуется лишь в устных высказываниях (то есть пока данный языковой коллектив еще не произвел никаких письменных высказываний), акустическая субстанция не привлекает внимания и остается в тени, поскольку рассматривается как нечто несущественное. На этой стадии языкового развития члены языкового коллектива используют свой язык лишь в качестве единственного средства выражения определенной позиции (по Скаличке, в качестве средства семиологической реакции), без дальнейшей дифференциации. Поскольку этой цели служат лишь акустические средства, говорящие воспринимают акустическую природу языковой субстанции, как рыба воду или как человек воздух, то есть как нечто само собой разумеющееся. Но как только данный

языковой коллектив начинает дифференцировать языковые функции на функции непосредственной и продолжительной реакции, то есть как только в языковом коллективе появляются первые письменные высказывания, языковая субстанция, воспринимаемая до тех пор как несущественная, необходимо начинает в той или иной мере осознаваться.

С этих пор существует уже не только противопоставление вещи и знака, взаимно противопоставленными оказываются также письменный и устный знак, и это новое противопоставление (вместе с наличием перехода от знаков одного рода к знакам другого рода, то есть с наличием правописания и произношения) выдвигает обе субстанции — звуковую и письменную — на передний план. Уже один тот факт, что члены языкового коллектива делают в соответствии со специализированными функциями выбор между различными специфическими субстанциями выражения, показывает, что эти субстанции не являются чем-то несущественным, но должны рассматриваться как важные функциональные факторы. Следует подчеркнуть, что взаимные отношения языковых элементов сохраняют всю свою важность для структуры данного языка и при данном подходе; однако не менее важным является то, что характер этих отношений с необходимостью определяется природой субстанции выражения. Эта зависимость непреложно вытекает уже из того, что́ было сказано выше относительно первичных и вторичных средств выражения — подобные факты ясно показывают, каким образом природа субстанции выражения суживает в значительной степени возможности реакции как устных, так и письменных высказываний.

Рассмотрим теперь проблему устной и письменной нормы также и в плане диахронии. Можно с уверенностью утверждать, что первые письменные высказывания определенного языкового коллектива базируются на устных высказываниях и что письменная норма представляет собой на первых порах всего лишь транспозицию устной нормы. Это, впрочем, признавал и Артимович. Мы хотели бы добавить, что на данной стадии письменная норма должна рассматриваться как вторичная знаковая система, поскольку каждый из составных элементов этой системы представляет собой знак знака — другими словами, вся эта вторичная знаковая система является не отражением системы реалий, но лишь отражением первичной знаковой системы (в данном случае устной нормы), и лишь эта последняя связана непосредственно с системой реалий. Однако специфическая функция письменной речи очень скоро приводит к той самостоятельности письменной нормы, на которой настаивал в первую очередь Артимович. Но как только пись-

менная норма получает автономию, сразу же меняется ее позиция в системе языковых ценностей: из вторичной знаковой системы она превращается в первичную, так что составные элементы письменной нормы представляют собой отныне не знаки знаков, но знаки вещей. Тем самым письменная норма становится соотносительной [wird ...koordieniert] с устной нормой. Естественно, указанными двумя нормами говорящие не могут владеть одинаково свободно. Для подавляющего большинства говорящих устная норма остается более близкой, и они переходят от нее к письменной норме через посредство правописания. Однако нередко речь идет и об обратном соотношении: для некоторых говорящих письменная норма составляет основу всей языковой деятельности и именно от нее осуществляется переход к устной норме через посредство произношения [3]. О значении письменной нормы свидетельствует, между прочим, и то, что она становится базой, на которой вторично строятся новые знаковые системы (например, телеграфный код, алфавит для глухонемых, иногда также система стенографии и т. п.).

Наконец, несколько кратких замечаний относительно динамики и проблематики письменного языка. Из сказанного выше следует, что письменный язык стремится к ясности и недвусмысленности знаковой системы — ведь высказывания записываются и сохраняются лишь для того, чтобы к ним всегда можно было бы обратиться в случае необходимости, и потому от записи требуется прежде всего быстрая и точная информация. В соответствии с этими потребностями некоторые языки предпочитают класть в основу своего письма морфологический принцип (таковы, например, чешский, английский и русский языки, отчасти также немецкий); другие языки проводят как можно более последовательно соответствие между буквами и фонемами (таковы, например, сербохорватский или финский); большинство языков в тех же целях разделяют соседние слова, предложения пробелом и т. д. и т. д. Средства, к которым прибегают языки для достижения ясности и недвусмысленности, являются, таким образом, в общем и целом произвольными; их выбор определяется принципами, которые по большей части носят негативный характер. Так, в частности, каждый языковой коллектив заинтересован в том, чтобы структура письменной нормы не отдалялась слишком сильно от структуры устной нормы, другими словами, чтобы правила правописания и соответственно произношения не были слишком

[3] Психологи уже давно обращают внимание на «оптическо-графический» тип людей — такие люди владеют с большей степенью совершенства именно письменной нормой.

сложными. Этот принцип представляет собой один из важнейших динамических факторов, требующих изменений внутри письменного языка. Это никоим образом не означает, что развитие письменного языка всегда является лишь рабским повторением развития устной нормы. С консервативными функциями письменного языка связано то, что он оказывается более статичным, чем устный язык, что, однако, ни в коем случае не делает его абсолютно пассивным фактором. История цивилизованных языков изобилует многими интересными примерами, иллюстрирующими активную роль письменного языка (ср. в особенности английский язык с его «спеллинговым» произношением).

Кроме внутренних динамических факторов, можно указать и на некоторые внешние динамические факторы, влияние которых также вызывает изменения в письменном языке. Здесь могут быть названы различные эстетические, типографские и тому подобные факторы, однако особенно важным в этом отношении представляется нам влияние других письменных языков. Изменения, которым дает толчок другой письменный язык, могут иногда заходить очень далеко — так, например, турки заменили арабский шрифт латинским под влиянием культурных языков Европы. Иногда речь идет о более мелких, но тем не менее принципиальных усовершенствованиях: так, словенцы заменили старую графику, оперирующую буквенными сочетаниями, диакритической графикой; аналогичные изменения планируются и в польском языке, по-видимому, под влиянием языков, пользующихся диакритической графикой. В других случаях, напротив, наблюдается отход одного письменного языка от взаимодействующего с ним другого — так, возможно, что замена буквы w буквой v в современном чешском языке была вызвана стремлением к обособлению от немецкой графики.

Таким образом, из нашего изложения видно, что письменный язык характеризуется не только весьма значительной степенью самостоятельности, но и своей собственной проблематикой.

Письменный язык — это весьма плодотворное понятие, развитие которого дает возможность представить в новом свете целый ряд общетеоретических языковедческих проблем.

Й. Вахек

ПИСЬМЕННЫЙ ЯЗЫК И ПЕЧАТНЫЙ ЯЗЫК *

В некоторых из своих прежних работ автор настоящей статьи пытался показать принципиальные различия, существующие между письменным и устным языком, если их рассматривать со структурной точки зрения [1]. Результаты его исследований могут быть резюмированы в следующих определениях: письменный язык — это система знаков, которые могут быть реализованы графически и функция которых — отвечать данному стимулу (как правило, не требующему немедленной реакции) статическим образом, то есть ответ должен быть стойким (способным сохраняться во времени), обеспечивая как полное понимание, так и отчетливое отображение передаваемых фактов и подчеркивая логическую сторону фактов. С другой стороны, устный язык — это система знаков, которые могут проявляться акустически и функция которых — отвечать данному стимулу (как правило, требующему немедленной реакции) динамическим образом, то есть ответ должен быть быстрым, законченным и подчеркивать как эмоциональную, так и содержательную сторону интересующих нас фактов. Печатный язык в упомянутых работах не исследовался, так как он рассматривался как вариант письменного языка; казалось, что специфические признаки, характеризующие этот вариант,

---

* J. V a c h e k, Written language and printed language, «A Prague School Reader in Linguistics», Bloomington, 1964 (впервые напечатано в «Recueil Linguistique de Bratislava», I, 1948, стр. 67—75).

[1] См. особенно J. V a c h e k, Zum Problem der geschriebenen Sprache, TCLP, 8, 1939, стр. 94 и сл. [русск. перевод этой работы см. в наст. сб., стр. 524—534]; J. V a c h e k, Psaný jazyk a pravopis, «Čtení o jazyce a poesii», I, 1942, стр. 229 и сл; J. V a c h e k, Písmo a transkripce ve světle strukturálního jazykozpytu, «Časopis pro moderní filologii», XXVIII, 1942, стр. 403 и сл. См. также A. A r t y m o v y č, Pysana mova, «Naukovyj Zbirnyk Ukrainśkoho Vys. Ped. Institutu v Prazi», II, стр. 1 и сл.; A. A r t y m o v y č, Fremdwort und Schrift, «Charisteria», Prague, 1932, стр. 114 и сл.; H. J. U l d a l l, Speech and Writing, Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques, Compte rendu de la Deuxième Session, Copenhague, 1939, стр. 374.

определяются техническими факторами. Однако более глубокое проникновение в суть дела обнаруживает, что различия между письменным и печатным языком не сводимы к техническим средствам, при помощи которых реализуются графические знаки; речь идет о более глубоких лингвистических различиях. Эти различия становятся более отчетливыми, если устные высказывания сопоставить с тем, что́ условно может быть названо нами «письменными высказываниями», с одной стороны, и тем, что можно обозначить как «печатные высказывания»— с другой [2]. Сравнение устных и письменных высказываний обнаруживает важные различия между этими двумя типами, определяемые различием материала (акустического или графического соответственно), посредством которого манифестируются языковые знаки. В качестве наиболее важных из этих различий можно упомянуть 1) двухмерный (иногда даже трехмерный) характер письменных высказываний в противоположность одномерному характеру устных высказываний и 2) независимость письменных высказываний от времени в противоположность неразрывной связи, существующей между временем и устными высказываниями (дальнейшие подробности можно найти во второй из работ, цитированных в сноске 1). Только что упомянутые отличия характеризуют и отношения, связывающие устные и печатные высказывания. Однако эти различия делают лишь более выпуклым то важное соответствие между устными и письменными высказываниями, которое отсутствует между устными и печатными высказываниями.

Личность автора находит отражение не только в содержании любого письменного и устного высказывания, но и в том, что́ может быть названо их материальной формой, другими словами, в индивидуальной манере письма или произношения пишущего или говорящего. Практически это означает, что каждому говорящему присущ особый тембр голоса, особый ритм и темп речи, отличающий его от других говорящих. Подобным образом каждому пишущему присущ специфический наклон почерка, особый способ соединения букв, особое отношение между прописными и строчными буквами рукописи и т. д., что опять-таки отличает его от всех других пишущих. В противоположность этому в печатных высказываниях отсут-

---

[2] Под «письменным высказыванием» здесь подразумевается то, что соответствует в сфере письменного языка устным высказываниям, то есть любое написанное слово, предложение, абзац, статья или книга, предназначенные автором для прочтения («eine Schriftäußerung»). Аналогичным образом под «печатным высказыванием» понимается любое напечатанное слово, предложение и т. д., предназначенные для той же цели. Устным высказываниям была посвящана статья В. Скалички «Promluva jako linguistický pojem», SaS, III, 1937, стр. 163 и сл.

ствует подобная индивидуальность материальной формы, так как различным видам почерка противостоит единообразие типографского шрифта.

В соответствии с этим автор письменного высказывания может быть опознан непосредственно по оптическому характеру единственной произвольно выбранной строки высказывания, так же как автор устного высказывания, даже если он и не видим, может быть опознан по акустическому характеру нескольких услышанных слов. В то же время автор печатного высказывания может быть опознан только опосредствованным образом, то есть только в том случае, если его имя может быть выведено из содержания высказывания, либо если оно эксплицировано в контексте, либо — как это часто бывает — в начале или в конце высказывания. Следует указать, что этот случай можно действительно квалифицировать как косвенный способ раскрытия авторства, так как здесь оно достигается окольным путем, ведущим от оптического вида слова к его значению, которое в свою очередь заключает в себе информацию об авторе, в то время как в случае письменного высказывания авторство раскрывается непосредственно из оптического вида слова без обращения к его значению.

Этот установленный факт ведет к некоторым следствиям, имеющим общетеоретический интерес. Согласно известному положению Карла Бюлера, всякое языковое высказывание облечено тремя функциями — экспрессивной, или функцией выражения (Kundgabe), апеллятивной, или функцией обращения (Appell), и репрезентативной, или функцией сообщения (Darstellung) [3]. Это положение должно считаться действительным, разумеется, не только для устных высказываний, что обычно и имеет место, но также и для письменных и печатных высказываний. В свете этого положения становится ясным фундаментальное отличие письменных высказываний от печатных: в письменных высказываниях первая из названных функций (выражение) может осуществляться при помощи основных [primary] средств, которыми располагает высказывание, в то время как основные средства, имеющиеся в распоряжении

---

[3] См. K. B ü h l e r, Axiomatik der Sprachwissenschaft (Kantstudien, XXXVIII); е г о ж е, Sprachtheorie, Jena, 1934 [см. перевод извлечений из этой работы в кн.: В. А. З в е г и н ц е в, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, М., 1960, стр. 21—36]. Термин «air» мы употребляем вместо термина «expression», иногда встречающегося в лингвистических сочинениях; мы избегаем его из-за его двусмысленности [в данном переводе употребляется термин «выражение», а соответствующая функция называется «функцией выражения» и «экспрессивной функцией», поскольку для английского «air» трудно найти адекватное русское соответствие.— *Прим. перев.*].

печатных высказываний, не способны стать орудием манифестации этой функции — другими словами, печатный язык в сравнении с письменным языком характеризуется отсутствием одного важного признака. Две другие функции — апеллятивная и репрезентативная — могут реализоваться при помощи основных средств как письменных, так и печатных высказываний (оба типа высказываний, разумеется, обладают значительно более ограниченным по сравнению с устными высказываниями запасом основных средств, относящихся к функциональному аспекту обращения).

Каким бы существенным ни было упомянутое различие между письменным и печатным языком, нельзя выводить из него слишком далеко идущих следствий. Дело в том, что подавляющее большинство признаков письменного и устного * языка совпадает, и определение письменного языка, данное в начале настоящей статьи, действительно как для одного, так и для другого языка.

Истинное различие между письменным и печатным языком заключается не в степени отклонения одного из них от данного выше определения, но скорее в глубине воплощения этого определения в каждом из них. И в этом отношении письменный язык, несомненно, уступает печатному.

Первая задача, которую имеет в виду предложенное определение, то есть задача отвечать данному стимулу в устойчивой (то есть обеспечивающей долговременность) форме, безусловно, выполняется письменным и печатным языком одинаково успешно. Что касается второй задачи, то здесь печатный язык непременно превосходит своего соперника. Не подлежит сомнению, что индивидуальные особенности различных почерков ведут к гораздо большему напряжению при восприятии письменных высказываний, чем индивидуальные особенности различных кассовых наборов типографии, что является доказательством того, что печатные высказывания представляют бóльшие возможности для полного охвата и ясного понимания изложенных фактов, чем их письменный коррелят [4], как бы хорошо ни справлялись письменные высказывания с выполнением этой задачи при помощи материальных средств, имеющихся в их распоряжении.

И, наконец (последнее по счету, но не по важности), если мы посмотрим, насколько оба типа высказываний отвечают

---

* В оригинале, видимо, опечатка — следует читать *печатного*.— *Прим. перев.*

[4] Это утверждение подкрепляется тем хорошо известным фактом, что наборщики предпочитают отпечатанные на машинке рукописи текстам, написанным от руки.

третьему требованию определения, мы получим аналогичные результаты. Содержательная сторона сообщения представлена, несомненно, более отчетливо в обезличенных, то есть объективированных печатных высказываниях, чем в письменных высказываниях, материальная сторона которых всегда индивидуально окрашена вследствие специфической манеры письма, присущей пишущему. (Нужно, впрочем, заметить, что степень такой индивидуальной окраски, несомненно, меньше в письменных, чем в устных высказываниях.)

Из вышеупомянутых фактов следует, что печатный язык не имеет качественных отличий по сравнению с языком письменным; различие является скорее количественным. Печатный язык может быть определен как усиленный вариант письменного языка, в котором большинство признаков, характерных для письменного языка, доведено до предела. Примечательно, что эта специфическая лингвистическая структура обязана своим происхождением чисто техническим, то есть экстралингвистическим факторам,— она была вызвана к жизни постоянно растущей потребностью в возможно большем количестве копий индивидуальных письменных высказываний. Техническое происхождение печатного языка особенно интересно, если в должной степени учитывать тот факт, что письменный язык в свою очередь возник также из технических потребностей практики — а именно в результате стремления зафиксировать и сохранить в целях документации определенные отрезки звуковой речи оптическими средствами (короче говоря, из своего рода примитивной фонетической транскрипции). Заслуживает особого упоминания тот факт, что как письменные, так и печатные высказывания в первое время после своего возникновения представляли собой едва ли нечто большее, чем геометрические проекции иных структур (первоначальные письменные высказывания — проекции устных высказываний, а первоначальные печатные высказывания — аналогичные проекции письменных текстов). Однако вскоре эти проекции начали, так сказать, жить своей собственной жизнью и развились в лингвистические структуры особого типа, имеющие свои специфические проблемы [5].

Приведенные выше наблюдения, если из них вывести все необходимые следствия, бросают свет на целый ряд фактов, связанных с языковой культурой, или, по крайней мере, показывают их в новом свете. Для современного периода истории челове-

---

[5] О развитии, идущем от примитивной транскрипции к письменным высказываниям, подробно говорилось в первых трех работах, цитированных в сн. 1.

чества характерно стремление производить возможно большее количество копий конкретных языковых высказываний и обеспечить им возможно более широкое распространение. Это подразумевает привлечение максимального количества людей к чтению или слушанию данного языкового высказывания в возможно большем числе мест. Примечательно, что распространение письменных высказываний потребовало иных методов по сравнению с методами, принятыми для распространения устных высказываний. Устное высказывание, очевидно, сохраняет (по крайней мере в значительной степени) своеобразие материальной формы, будучи воспроизводимо при помощи фонографа, граммофона или радио — проецирующие его копии являются в целом достаточно точными репродукциями оригинальных высказываний. В противоположность этому письменное высказывание, воспроизводимое в печати, утрачивает индивидуальность материальной формы, и воспроизводящие его копии представляют собой лишь упрощенные репродукции оригинального высказывания, характеризуемые совершенно иным стилем по сравнению со стилем оригинала. Если бы письменное высказывание должно было бы сохранять своеобразие своей материальной формы (определенное в ы р а ж е н и е, как мы могли бы сказать вслед за Бюлером), его следовало бы воспроизводить при помощи фотографических репродукций.

Различие методов репродукции двух типов высказываний не может быть объяснено путем апелляции к хронологии, а именно недоступностью методов точной репродукции в те времена, когда существенным оказывалось воспроизведение письменных высказываний, и наличием таких методов в те времена, когда насущной потребностью казалось воспроизведение устных высказываний. Если бы указанное различие сводилось только к доступности или недоступности методов точной репродукции, было бы весьма затруднительно объяснить, почему последовавшее открытие таких методов не повлекло за собой их введения в сферу письменных высказываний. Почему, действительно. практика воспроизведения обнаруживает столь прочную привязанность к старым, несовершенным способам, когда в распоряжении имеются новые, бесконечно более утонченные методы? Путь к воспроизведению рукописей фотографическим способом, дающий возможность заменить им печатание, был открыт. Тем не менее к нему прибегали только в совершенно исключительных случаях, а именно лишь при необходимости документального свидетельства или из пиетета по отношению к оригиналу. Во всех других случаях, представляющих подавляющее большинство, продолжали пользоваться традиционными спо-

собами. Причина такого консерватизма заключается, вне всякого сомнения, в том факте, что выполнению функции письменных (или, начиная с определенного времени, печатных) высказываний никоим образом не угрожало, но скорее способствовало отсутствие формального своеобразия. Не менее характерно отсутствие каких бы то ни было попыток, направленных к обезличиванию воспроизводимых устных высказываний, сопоставимому с обезличиванием, которое достигается в печатных высказываниях. Это, вне всякого сомнения, объясняется тем, что формальное своеобразие (выражение, по терминологии Бюлера) является столь типичным признаком конкретных устных высказываний, что их просто нельзя лишить этого признака.

С другой стороны, воспроизведение устных высказываний, в особенности воспроизведение, обычное в радиовещании, обнаруживает еще один любопытный момент, позволяющий уточнить то, что было только что сказано относительно формального своеобразия как типичного признака устных высказываний. Как было показано выше, первоначальным стимулом воспроизведения высказываний было стремление обеспечить ему возможно более широкую аудиторию. Если устное высказывание воспроизводится при помощи радио и если слушающие должны извлечь из него максимальную пользу (то есть если они должны воспринимать его с минимальными затруднениями), то воспроизведение индивидуальных особенностей формы, очевидно, должно быть ограничено известными пределами. Так, для современных методов воспроизведения устных высказываний становится существенной проблема орфоэпии, то есть произносительной модели[6].

Обратившись вновь к области письменных высказываний, мы можем найти здесь коррелят орфоэпических требований, представленный требованиями каллиграфии, или, вернее, той части каллиграфии, которая имеет большее отношение к удобочитаемости, чем к эстетической стороне. Определенно заслуживает внимания отсутствие аналогичных требований в сфере печатных высказываний. В то же время это совершенно естественно: открытие книгопечатания само по себе привело к такой стандартизации элементов печатного языка, к какой стремятся орфоэпия и (элементарная) каллиграфия в соответствующих областях. Таким образом, воображаемые требования «каллитипии» были удовлетворены раньше, чем они могли быть сфор-

---

[6] Наиболее отчетливо это можно было наблюдать в Великобритании, где в период между двумя войнами был опубликован ряд учебников по «дикторскому английскому языку» [«Broadcast English»].

мулированы или даже осознаны и обозначены соответствующим термином. По-видимому, достойно упоминания, что это обстоятельство определенно дискредитирует довольно распространенное представление, третирующее письменный язык как нечто вроде низшей структуры, безнадежно уступающей «высшей» структуре устного языка. Мы отчетливо видели, что письменный язык разрешил важную структурную проблему (стандартизации элементов в целях облегчения восприятия их реализации) раньше, чем аналогичная проблема начала ощущаться как таковая в устном языке.

Наконец, некоторых комментариев требует терминологическая сторона рассмотренных здесь проблем. Можно с полным основанием утверждать, что некоторые распространенные лингвистические термины скорее затемняют, чем проясняют взаимоотношения между обозначенными ими лингвистическими понятиями. Так, в качестве понятия, коррелятивного орфоэпии, в данной статье фигурировала «каллиграфия» — но только в той части, которая касается удобочитаемости в отвлечении от эстетических соображений. Однако компонент «калли-» столь тесно ассоциируется с этими соображениями, что термин «каллиграфия» становится едва ли уместным в тех случаях, когда эстетическая сторона вопроса не должна приниматься во внимание. В тех же случаях, когда имеют место эстетические соображения, каллиграфия соответствует не орфоэпии, а эвфонии. Очевидно, в сфере письменного языка недостает одного термина, призванного обозначать только тот уровень каллиграфии, который ограничивает ее требования областью удобочитаемости. Чисто теоретические соображения говорят, казалось бы, в пользу термина «орфография» (который — что касается его построения — является точным соответствием орфоэпии), но его обыденное значение настолько прочно установилось, что какое бы то ни было его изменение едва ли возможно. Как известно, орфография обозначает свод правил, которые служат для транспозиции устных высказываний в письменные. Очень немногие понимают, что в общепринятой лингвистической терминологии есть еще и другая лакуна; мы не располагаем коррелятом и самого термина «орфография», то есть таким термином, который обозначал бы свод правил, служащий для транспозиции письменных высказываний в устные. В практических учебниках весьма распространен термин «произношение», однако он едва ли удовлетворителен с лингвистической точки зрения, поскольку он является общепринятым среди лингвистов синонимом термина «артикуляция». Кроме того, этот термин не пригоден для наших целей еще и потому, что в нем не содержится компонент «орфо-», несомненно жела-

тельный в термине, обозначающем свод нормативных правил. Возможно, здесь подошел бы в наибольшей степени термин «ортология»; однако он, к сожалению, тоже отягощен другими значениями. Впрочем, создание новых лингвистических терминов не являлось целью настоящей работы. Однако представлялось необходимым указать на некоторые несообразности существующей терминологии, которые могут привести — если ею пользоваться слишком механически — к неверному истолкованию ряда существенных языковых фактов.



А. Едличка

О ПРАЖСКОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА *

Чешская лингвистика выступила на мировой арене в 30-е гг. прежде всего с работами Пражского лингвистического кружка или так называемой Пражской школы [1]. Методологической предпосылкой данных работ были, как известно, работы функционального и структурного направления. На первых порах основной областью исследования явилась для представителей Пражской школы фонология. Однако было бы несправедливо не упомянуть о проблематике, связанной с изучением литературного языка (Schriftsprache). Активная разработка этой проблематики была прежде всего заслугой Б. Гавранка и В. Матезиуса [2]; последующие работы в данной области, использовавшие новые данные, а также учитывавшие ряд изменений в общественных условиях и язы-

* Alois Jedlička, Zur Prager Theorie der Schriftsprache, «Travaux Linguistiques de Prague», 1, 1964, стр. 47—58.

[1] Полное представление о результатах лингвистической деятельности Пражской школы и ее традициях дает «Терминологический словарь» Й. Вахека: J. Vachek, Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague, Utrecht — Anvers, 1961 [Русск. перев.: Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., «Прогресс», 1964].

[2] Сборник трудов Б. Гавранка, связанных с проблемой литературного языка, недавно вышел в свет под заголовком «Studie o spisovném jazyce» («Исследования по литературному языку», с резюме на русском языке), Praha, 1963; работы В. Матезиуса по данной проблеме содержатся в сборнике «Čeština a obecný jazykozpyt»(«Чешский язык и общее языкознание»), Praha, 1947.

ковой ситуации, основывались на этих первых исследованиях и развивали далее их положения. Одним из важнейших итогов работы Пражской школы в названной области явилось принципиально новое понимание сущности литературного языка, теория нормы и кодификации, теория стилистических пластов, стилистической дифференциации литературного языка, а также теория культуры речи. Данные теоретические проблемы рассматривались с точки зрения общих методологических позиций, соответствовавших достижениям современной лингвистики, а также в связи с задачами и потребностями чешской языковой практики, то есть в зависимости от особенностей чешской языковой ситуации.

В мои задачи не входит подробно останавливаться на ранних взглядах представителей Пражской школы относительно литературного языка. Однако для понимания современной проблематики и современных теоретических позиций было бы весьма полезно показать, как чешские лингвисты старой школы, а также и лингвисты недавнего прошлого подходили к решению проблем литературного языка.

Взгляды чешских лингвистов-теоретиков на литературный язык постепенно менялись, и в целом можно различить здесь три периода.

I. Старая теория, относящаяся к периоду допрограммного выступления Пражского лингвистического кружка в 1932 г. [3], идентифицировала литературный и книжный (Buchsprache) язык и выдвигала в качестве основного его признака к о н с е р в а т и з м я з ы к о в ы х с р е д с т в, консерватизм его норм. Выдающийся чешский языковед, компаративист и богемист Й. Зубатый весьма четко сформулировал данную точку зрения [4]: «Книжный язык [то есть в его понимании литературный язык.— *А. Е.*] повсюду, где он возникает, консервативен, он и должен быть таковым, чтобы не утратить своей стабильности — одного из основных предъявляемых к нему

[3] Функциональное понимание литературного языка получило отражение в написанной еще в 1929 г. статье Б. Гавранка «Funkce spisovného jazyka» (ср. также «Studie...», стр. 11 и сл.). Данное понимание возникло в результате плодотворных дискуссий в группе по подготовке словаря чешского языка; упоминание об этом см. также в предисловии к сборнику «Spisovná čeština a jazyková kultura» («Чешский язык и культура речи»), Praha, 1932, стр. 10.

[4] Мы иллюстрируем характеристику старой теории цитатой из работы Й. Зубатого отнюдь не потому, что видим именно в нем представителя этой старой, уже потерявшей свое значение теории, но прежде всего по тем соображениям, что его четкая формулировка очень хорошо отражает сущность старой точки зрения. Об отношении сторонников новой теории к Й. Зубатому, которого они считали своим учителем, см. предисловие к уже упоминавшемуся сборнику «Spisovná čeština...».

требований»[5]. Однако Й. Зубатый и сам отдавал себе отчет в том, что подобная характеристика литературного языка является весьма односторонней, поэтому далее он несколько ослабляет приведенную выше формулировку: «Если грамматические, лексические и фонетические неологизмы начинают численно настолько преобладать, что оказываются жизнеспособными, то более старые формы книжного языка со временем отходят на второй план»[6]. Вместе с тем итог логических рассуждений, приведенных в первой части данной характеристики, остается для нас непоколебленным: стабильность (а именно, по В. Матезиусу, «pružná stabilita»[7] — «эластичная стабильность») составляет один из основных признаков литературного языка. Однако практика показывает, что предпочтение, отдаваемое при кодификации более старым, а не новым элементам, и подчеркивание тем самым консерватизма литературного языка ни в коей мере не способствует достижению желаемой стабильности, а, напротив, расшатывает ее.

Литературный язык как чисто книжный (то есть письменный) язык противопоставлялся так называемому народному языку (Volkssprache, как его называли согласно прежней терминологии). При таком противопоставлении литературный язык воспринимался как язык «искусственный» в противоположность «естественному», народному языку. («Искусственным» его считали, конечно, и потому, что он подвергался воздействию лингвистической теории,— и можно утверждать, что именно из-за недостатков прежней теории это влияние часто было действительно искусственным,— тогда как народный язык развивался независимо от какого бы то ни было влияния лингвистической теории.) Если мы попытаемся исходить из свойств литературного и так называемого народного языка, то станет ясно, что противопоставление определенных признаков и свойств обеих языковых форм, а именно противопоставление письменный — устный язык, монологическая—диалогическая форма, общественный — приватный характер языковых высказываний, консерватизм — подвижность языковых средств, в общих чертах должно было покрываться противопоставлением литературный язык — народный язык.

---

[5] Ср. «Naše řeč», 3, Praha, 1919, стр. 103.

[6] Там же.

[7] Ср. V. Mathesius, O potřebě stability ve spisovném jazyce, в сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», стр. 415 [см. также наст. сб., стр. 378—393].

Упомянутые выше противопоставления касаются характера языка, его функций и его средств. Это означает, что старая теория, противопоставляя литературный язык так называемому народному языку, рассматривала его как чисто письменный язык, как язык монолога, реализуемый в общественной практике и отличающийся преимущественно консервативным характером своих средств. В дальнейшем мы попытаемся представить развитие чешской теории литературного языка в связи с основными противопоставлениями, намеченными выше. Мы сознаем, однако, что подобное описание, при котором акцентируются лишь ведущие этапы развития, всегда будет несколько схематичным и упрощенным.

II. Новая теория литературного языка, изложенная в программном выступлении Пражского лингвистического кружка в 1932 г., исходила прежде всего из функционального аспекта. Данная теоретическая предпосылка, а также особое внимание к характеру и требованиям чешской языковой практики сказались в изменении взглядов на основные признаки литературного языка и его нормы.

Новая теория рассматривала литературный язык с его сложной стилистической структурой как образование полифункциональное, отличающееся в этом отношении от народного языка, который является по своей сущности монофункциональным и служит лишь целям взаимопонимания. Подобному многообразию функций и разнообразию стилистических пластов должна была соответствовать вся совокупность используемых языковых средств.

Противопоставления язык письменный — язык устный, консервативные языковые средства — развивающиеся языковые средства выступали для старой теории (в том, что касалось формы и способа коммуникации, а также характера языковых средств) как ведущие признаки противопоставления литературный язык — народный язык. Теперь же они рассматривались и объяснялись в рамках самого литературного языка и его норм [8]. Успешно интерпретировать данные противопоставления оказалось возможным лишь благодаря принципу вари-

---

[8] Выработка понятия нормы и его отграничение от понятия кодификации принадлежит к числу наиболее выдающихся достижений новой теории и одновременно к наиболее плодотворным рабочим понятиям, связанным с изучением вопросов современного литературного языка. Ср. A. J e d l i č k a, K problematice normy a kodifikace (oblastní varianty ve spisovné normě), SaS, XXIV, Praha, 1963, стр. 9 и сл. (с резюме на русском языке, стр. 19); M. D o k u l i l, K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace, SaS, XIII, Praha, 1951—1952, стр. 135 и сл.

антности языковых средств, вариантности, смыкавшейся в конечном итоге с проблемой стилистического членения языка [9].

Правда, основу норм литературного языка составляет традиция, однако при этом в полной мере учитываются также и элементы, которые с диахронической точки зрения являются новыми, с синхронной — живыми, а с точки зрения дальнейшего развития языка — прогрессивными [10]: компонентами нормы литературного языка считаются те новые элементы, которые являются правильными с точки зрения новой структуры; тем самым противопоставляются явления, опирающиеся на закономерности старой и новой языковой структуры.

Исходным моментом при определении нормы литературного языка являются, по мнению Пражского лингвистического кружка, прежде всего письменные высказывания, однако принимаются во внимание также и устные высказывания, то есть, по формулировке ПЛК, устная языковая практика образованных слоев общества, лишенная индивидуальной окраски территориального или арготического характера [11]. Опереться на устные высказывания значило в то время создать известную опору для живых элементов нормы, что отнюдь не приводило к полной кодификации специфических разговорных элементов. Опора на языковую практику несла в себе, однако, еще одно ограничение, связанное со спецификой чешской языковой ситуации. В сборнике «Чешский язык и культура речи» (в ряду основных требований которого было выдвинуто требование при изучении нормы литературного языка принимать во внимание и устную языковую практику) В. Матезиус отмечает, что в чешском языке отсутствует обработанный, культивированный устный язык (gepflegte Konversation) [12], то есть особый разговорный стиль, являющийся специфическим вариантом устного языка. Это значит, что устные высказывания рассматривались ранее вне разговорного стиля речи. В этой связи следует отметить, что еще одно противопоставление, а именно — язык общественной сферы — язык приватной сферы общения, с которым мы сейчас сталкиваемся в рамках

---

[9] Ср. пункт II А, II В из «Общих принципов культуры языка» [см. наст. сб., стр. 398—400].

[10] Прогрессивность акцентировки живых элементов в норме литературного языка, характерной для теории Пражской школы, еще не была по достоинству оценена. Многие изменения кодификации, к которым пришли лишь в последнее время, выдвигались еще ранее в процессе дискуссий (ср. форму вин. п. ср. р. hо наряду с je).

[11] Ср. «Общие принципы культуры языка» [см. наст. сб., стр. 396].

[12] Ср. наст. сб., стр. 386.

литературного языка,— тогда еще далеко не выдвинулось на первый план.

Какие выводы, связанные с понятием нормы литературного языка, можно было сделать при анализе данных противопоставлений? Мы уже отмечали, что избранный принцип вариантности языковых средств позволяет интерпретировать эти противопоставления с помощью понятия нормы. Особенно актуальной была проблема вариантов, обусловленных развитием языка [или исторически обусловленных вариантов, как мы их будем называть в дальнейшем.— *Н. С.*]. Основной пафос нового направления был обращен против сильной акцентировки консервативных черт литературного языка, характерной для старой теории, против кодификации архаического состояния языка. В принципе новая теория решила проблему исторически обусловленных вариантов. Это, конечно, не значило, что тем самым разрешался вопрос о кодификации отдельных вариантов, в особенности вариантов морфологических, и что в соответствии с объективно существующими нормами литературного языка все варианты, которые появлялись и дифференцировались в процессе языкового развития, были немедленно кодифицированы под влиянием взглядов Пражского лингвистического кружка [13]. Последовательное применение данного принципа утверждалось лишь постепенно, а в некоторых конкретных случаях —лишь в самое последнее время [14] (ср. кодификацию существующих вариантов глагольных форм: наст. вр. peču, повел. накл. peč, инф. péct, říct, или для местоименных форм: вин. п. ср. р. ho, род. п. м. и ср. р. jej, něj и т. д.). Дифференциация языковых средств по мере развития является для литературного языка живым, постоянно действующим фактором. Данный процесс, совершающийся в пределах нормы самого литературного языка, обусловливается вместе с тем взаимодействием последнего с обиходно-разговорной формой языка (geläufige Umgangssprache, ср. ниже). Что касается темпа данного процесса, то он весьма сильно зависит от общественных причин: изменяющаяся ситуация языкового общения, рост общественных кругов, принимающих активное участие в процессах коммуникации, изменение целей языкового общения и т. д.

---

[13] О влиянии новой теории литературного языка на кодификацию ср. статьи Б. Гавранка в SaS, I, Praha, 1935 и X, 1947—1948, вновь опубликованы в книге «Studie...», стр. 119 и сл., 133 и сл.

[14] В изданиях «Pravidla českého pravopisu», так называемом школьном издании 1958 г., в «Slovník spisovného jazyka českého», в «Česká mluvnice» Б. Гавранка и А. Едлички, изд. 3-е, 1963, и в некоторых статьях Белича, Сгалла и др., опубликованных в журн. «Naše řeč».

В норме литературного языка исторически обусловленные варианты часто дифференцируются стилистически: дифференциация происходит на уровне противопоставления книжный стиль — разговорный стиль.

Я различаю при этом три степени дифференциации:

книжный слой — нейтральный слой — разговорный слой.

В конкретных случаях реализуется, однако, лишь бинарное противопоставление:

книжный (и одновременно нейтральный) элемент — разговорный элемент: ср. чешск. mohu — můžu;

книжный элемент — разговорный (и одновременно нейтральный) элемент: ср. чешск. nésti — nést.

Применительно к современной норме нельзя, таким образом, говорить о том, что в ней имеются устаревшие элементы. Хотя, конечно, в диахроническом плане существуют относительно более старые и более новые варианты, однако устаревшими можно считать лишь те элементы, которые находятся уже за пределами современной нормы. Можно встретить, правда, историзмы, то есть некоторые элементы, особенно лексические, обозначающие факты уже исчезнувшей действительности (устаревшей является здесь сама действительность, а не ее обозначение; ср. названия гуситского оружия), и архаизмы, то есть средства, присущие другой, не современной норме, которые, однако, используются в современном художественном стиле в особых стилистических целях.

С позиций современной нормы можно говорить только об относительно более новых и более старых элементах, обусловленных развитием языка; данные элементы либо оказываются недифференцированными в стилистическом плане (в этом случае вопрос об их происхождении совершенно иррелевантен для целей коммуникации, он имеет значение лишь для определения тенденций развития в рамках нормы), либо подвергаются стилистической дифференциации.

Новая теория литературного языка, возникшая в 1932 г., была направлена против положения о консерватизме как основном признаке литературного языка, однако она должна была одновременно выступить против неверной идентификации, а также против смешения нормы литературного языка с нормой народного языка. С одной стороны, подчеркивание такого признака, как устойчивость, привело к четкому отграничению литературного языка (с консерватизмом в качестве его основного признака) от языка народного (как языка живого, развивающегося). С другой стороны, старая теория выдвигала в качестве критерия консерватизма литературного языка

как раз соответствие последнего языку народному. Данный критерий опирался на предположение о том, что народный язык архаичен, свободен от новых элементов, а в условиях языкового и общественного развития в Чехии — и от иноязычных влияний. В то же время в данном положении отражалась недооценка языка городов, а также литературного языка как такового. Это внутреннее противоречие было снято в новой теории благодаря функциональной точке зрения: литературный и обиходно-разговорный языки постоянно взаимодействуют, но в то же время между ними существует весьма важное различие на функциональном уровне. Подчеркивание в ходе полемики данного различия, обращенное против старого смешения и неразличения нормы литературного и нормы народного языка, естественно, поставило литературную норму в особое, изолированное положение, что не позволило до конца раскрыть ряд других противопоставлений, которые имеют место в ее рамках.

Кроме вопроса об исторически обусловленных вариантах, который, как мы уже отмечали выше, является центральной проблемой новой теории, она должна была хотя бы отчасти коснуться вопроса вариантности, связанного с территориальной дифференциацией языка. Эту проблему представителям новой теории пришлось решать сначала для орфоэпической нормы [15], то есть в сфере явлений, специфичных для устного языка и подверженных влиянию объективной действительности (местные варианты произношения утверждаются в употреблении под влиянием целого ряда языковых и общественных условий); новая теория уже тогда была в состоянии решить данную проблему на новой теоретической базе.

Консерватизм как признак литературного языка был снят, что усилило гегемонию центральных элементов, то есть элементов того исходного географического пункта, где исторически возник чешский литературный язык (например, за основу орфоэпической нормы было принято «произношение образованных слоев населения Праги»). Теория больше не накладывала ограничений социального и территориального порядка на основу орфоэпической нормы, поэтому оказалось возможным включить в орфоэпическую норму в качестве ее компонентов также социальные и региональные варианты даже из тех областей, которые лежали за пределами района, ставшего базой при нормализации (ср. произношение группы sh- и др.). Уже в «Общих принципах» было выдвинуто требование про-

---

[15] Ср. M. Weingart в сб. «Spisovná čeština...», стр. 188.

водить на функциональной основе дифференциацию в области произношения, а также определить основные произносительные типы. Благодаря специфике явлений в области орфоэпии, а также в силу того, что коллектив говорящих едва ли осознает их, на первоначальной стадии местные произносительные варианты не оценивались со стилистических позиций. Вопросы, связанные со стилистическими оценками и стилистическими вариантами в произношении, лишь сейчас стали для чешской теории литературного языка актуальными; в указанных рамках решается также вопрос относительно стилистической дифференциации местных произносительных вариантов.

Проблема дублетов в норме литературного языка, происхождение которых связано с территориальными различиями, не ставилась, однако, старой теорией во всей полноте и для всех уровней языковой структуры. Чем это объяснить?

1. Как мы уже указывали, было необходимо сначала разрешить проблему исторически обусловленных вариантов, что было связано с борьбой против излишнего консерватизма литературного языка; против последнего и были направлены главные возражения представителей нового направления.

2. Проблема территориальных вариантов решалась прежде всего там, где этого настойчиво требовала объективная действительность, а именно — в области орфоэпии.

3. Языковые и общественные условия не сразу, не в один момент изменили содержание и характер коммуникации и языкового употребления в рамках литературного языка, поэтому разрешение данных проблем не представлялось столь неотложным.

4. Все же для решения соответствующей проблемы были созданы предпосылки в связи с принятием принципа вариантности языковых средств применительно к норме литературного языка.

5. Поскольку вопрос о территориальных вариантах не ставился и не решался во всей его полноте, это привело к известным ошибкам при оценке использования и происхождения отдельных средств локального характера, которые длительное время существовали в норме литературного языка; некоторые уже кодифицированные варианты вообще не оценивались с точки зрения их местного характера [16].

III. Сейчас проблема территориальных вариантов является весьма актуальной. Возникает, однако, вопрос, можно ли вообще связывать регионально обусловленную вариантность

---

[16] Ср. A. Jedlička, K problematice normy..., SaS, XXIV, 1963, стр. 9 и сл.

с понятием нормы литературного языка, с требованием поддерживать ее единство; правильно ли, что кодификация допускает и учитывает региональные варианты, широко распространенные в литературном употреблении. Если мы вообще принимаем принцип вариантности языковых средств для характеристики литературной нормы, то мы, естественно, не можем возражать и против такого рода варьирования. Допустимость исторически обусловленных вариантов вообще не может быть, по моему мнению, подвергнута сомнению, она связана с признанием динамического характера норм, с признанием эволюционных процессов, совершающихся в литературном языке. Включение исторически обусловленных вариантов в норму должно рассматриваться как средство снять противоречие между статичной по своей сущности кодификацией и динамикой нормы, как средство отразить внутреннюю динамику нормы. Развитие нормы совершается именно благодаря вариантам, они являются, как правило, переходными формами от одного качества к другому; вместе с тем их позитивная роль состоит в том, что они весьма часто служат средством стилистической дифференциации.

Актуальность изучения территориальных вариантов вытекает из современной общественной ситуации, из характера и условий современной языковой коммуникации. Характер этой коммуникации оказывает значительное воздействие на современную литературную норму, при этом существенны прежде всего следующие моменты:

1. Большая роль устных высказываний в современной общественной коммуникации. Я понимаю под этим не столько высказывания обиходного плана, которые, правда, также должны приниматься во внимание при закреплении нормы литературного языка, сколько прежде всего устные высказывания по специальным вопросам, связанные, например, с популяризацией науки, или устные высказывания публицистического характера (развитая публицистика радио и телевидения) и, наконец, устные высказывания художественного стиля (широкое влияние устного языка в сфере театра и кино).

2. Диалогический характер, диалогическая форма [17], свойственные обиходным высказываниям, которые в основном ограничены приватной сферой (и характеризуются спонтанностью и неподготовленностью), свойственны в значи-

[17] К вопросу о противопоставлении диалогических и монологических форм как стилистических факторов ср. E. Pauliny, SaS, XVI, 1955, стр. 20 и сл.

тельной степени также высказываниям общественной коммуникации. Форма диалога используется в публицистических выступлениях, передаваемых по радио и телевидению (вторично также в газетной публицистике; ср. многочисленные и весьма излюбленные способы изложения закрытых дискуссий, которые лишь позднее становятся достоянием общественности).

Именно эти моменты способствуют проникновению локальных элементов в норму литературного языка. На письменные высказывания оказывает воздействие естественное давление традиционной литературной нормы, в устных высказываниях непосредственно прокладывают себе путь новообразования, в том числе локально окрашенные элементы, выступающие как принадлежность языка отдельных авторов. Я имею в виду главным образом элементы, которые не являются собственно диалектными, но весьма широко распространены и обнаруживают тенденцию превращаться в нормативные варианты или уже являются таковыми. Однако вполне понятно, что степень проникновения этих, частью еще нелитературных, элементов зависит от многих факторов и что во многих случаях речь идет об индивидуальном использовании локальных элементов в конкретных высказываниях, но отнюдь не о проникновении территориальных вариантов в литературное употребление, другими словами, речь здесь идет о вариантности в норме. Я должен прибавить к этому, что факторы, выделенные нами в качестве характерных для современного общения, имеют для литературной нормы также и другие последствия, которые порой могут расцениваться как негативные.

Каково отношение современной чешской теории литературного языка и языковой культуры к этой актуальной проблематике? Речь идет о вопросах, которые следует рассматривать как составную часть общей проблемы соотношения литературного и обиходно-разговорного языка [18]. Вопросу о региональных вариантах в рамках литературной нормы чешская лингвистика (и не только чешская) уделяла до сих пор лишь весьма небольшое внимание. Проблемами географической дифференциации и географического распространения языковых средств пока занимались преимущественно диалектологи. Если чешская лингвистика и изучала территориальные варианты в нор-

---

[18] В связи с данной проблематикой см. A. J e d l i č k a, Vztah vývoje spisovného jazyka k vývoji společnosti, в сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962, стр. 292 и сл. (с резюме на русском и английском языках, стр. 302, 303); ср. также дискуссию о чешском литературном и разговорном языке на страницах SaS, XXII, 1961, XXIII, 1962, XXIV, 1963 (с резюме на иностранных языках); библиографию к отдельным материалам этой дискуссии см. там же, XXIV, 1963, стр. 254.

ме литературного языка — помимо тех орфоэпических вариантов, которые упоминались выше,— то все ограничивалось отдельными замечаниями относительно лексических вариантов, например, относительно параллельных форм, употреблявшихся в западных и восточных областях (ср. truhlář — stolař «столяр» и т. д.) [19]. Совершенно неизученными остаются до сих пор фонетические и морфологические варианты. Существование этих вариантов подтверждалось в отдельных случаях косвенно, а именно в связи с различной интерпретацией некоторых языковых явлений при описании лексического состава или грамматической структуры языка, в чем проявлялось индивидуальное языковое сознание лингвистов [20].

Какие проблемы стоят перед чешской теорией литературного языка в связи с существованием в литературной норме территориальных вариантов? Во-первых, проблема отграничения региональных вариантов, которые уже принадлежат норме литературного языка или, во всяком случае, обнаруживают тенденцию стать ее составной частью, от нелитературных региональных вариантов. Особенно существенна проблема объективного определения этой границы, а также проблема оценки территориальных вариантов, уже включенных в литературную норму [21].

Я попытался показать, как чешская теория литературного языка на разных этапах своего развития относилась к проблеме литературного языка и его норм. Разрешение данной проблемы тесно связано с избранной методологической предпосылкой и одновременно отражает языковую ситуацию современности и характер языковой коммуникации. Теория литературного языка должна, собственно говоря, стремиться к удовлетворительному решению тех проблем, которые ставит перед лингвистикой языковая практика. В настоящей статье мы сконцентрировали свое внимание главным образом на том, как в чешской теории литературного языка рассматриваются противопоставления, отчасти заключающиеся в самой норме, а отчасти являющиеся дифференциальными признаками оппозиции литературный язык — обиходно-разговорный язык. Таким образом, проблему отношения литературного языка к обиходно-разговорному языку необхо-

---

[19] Ср. J. Bělič, Sedm kapitol o spisovné češtině, Praha, 1956, и его статью в SaS, XXV, 1964, стр. 11.

[20] Это обнаруживается, например, при сопоставлении «Словаря чешского языка» (авторы P. Váša и Fr. Trávníček) с изданным Академией «Словарем чешского языка», а также соответственно — в «Mluvnice spisovné češtiny» Фр. Травничка и в «Základy české skladby» Фр. Копечного.

[21] Более подробно я пишу об этом, приводя конкретные примеры, в статье «K problematice normy...», SaS, XXIV, 1963, стр. 9 и сл.

димо рассматривать во всей ее полноте. Что касается противопоставлений письменный язык — устный язык, консерватизм — подвижность языковых средств, то они уже не ассоциируются больше с оппозицией литературный язык — обиходно-разговорный язык. Напротив, оппозиция общественная — приватная сфера до сих пор сохраняет при различении литературного и обиходно-разговорного языка свое существенное значение. Литературный язык — это средство общественной коммуникации, тогда как обиходно-разговорный язык, напротив, ограничивается приватной сферой. В настоящее время, однако, данное противопоставление постепенно нейтрализуется и отчасти уже воспринимается как противопоставление внутри самого литературного языка. Об этом свидетельствует тот факт, что в рамках последнего все более развивается разговорный стиль, который является сейчас для приватной сферы основной формой коммуникации.

Признаком нормы литературного языка в сопоставлении с обиходно-разговорным языком является его единство. Для обиходно-разговорного языка характерна, напротив, территориальная и социальная вариантность языковых средств (ср. различия между языком городов или индустриальных центров и языком сельской местности, широкое распространение профессиональных и сленговых элементов, проблему языка молодежи и т. д.).

Современное языковое развитие обнаруживает тенденцию к сближению литературного и обиходно-разговорного языка. В связи с этим проблема территориального, соответственно социального варьирования, становится весьма актуальной. Утверждая это, мы ни в коей мере не оспариваем наличия противоположно направленных дифференцирующих тенденций, которые проявляются в выработке специфических для литературного языка средств, характерных прежде всего для стиля научной прозы [22].

---

[22] Ср. также K. Hausenblas, Styl jazykových projevů a rozvrstvení jazyka, SaS, XXIII, 1962, стр. 200 и сл. (с резюме на русском языке).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AO = «Archiv Orientální» (Praha)
AUC = «Acta Universitatis Carolinae» (Praha)
BSE = Brno studies in English (Praha)
Bull. VŠRJL = «Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury» (Phaha)
CFS = Cahiers Ferdinand de Saussure (Genève)
ČR = «Československá rusistika» (Praha)
ČMF = «Časopis pro moderní filologii» (Praha)
GRM = Germanisch-romanische Monatsschrift (Heidelberg)
IF = «Indogermanische Forschungen»
KZ = «Kuhns Zeitschrift» (Berlin)
LF = «Listy filologické» (Praha)
LS = «Linguistica Slovaca» (Bratislava)
MESz = G o m b o c z — M e l i c h, Magyar etymologiai szótár, 1914—1936 (Budapest)
MNHMA = Sborník na počest J. Zubatého (Praha, 1926)
MNyH = J. S z i n n y e i Magyar nyelvhasonlítás (Budapest, 1927)
MSĽP = Mémoires de la société linguistique de Paris (Paris)
MTSz = J. S z i n n y e i, Magyar Tájszótár (Budapest, 1893—1901)
NŘ = «Naše řeč» (Praha)
OSNND = Ottův slovník naučný nové doby (Praha)
PP = «Philologica pragensia» (Praha)
RÉS = Revue des études slaves (Paris)
RLB = Recueil linguistique de Bratislava (Bratislava)
SaS = «Slovo a slovesnost» (Praha)
SMS = «Sborník matice Slovenskej»
SPFFBU = Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university (Brno)
TCLC = Travaux du Cercle linguistique de Copenhague (København)
TCLP = «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1929—1938, вып. 1—8 (Praha)
ВЯ (или VJa) = «Вопросы языкознания» (Москва)

СОДЕРЖАНИЕ

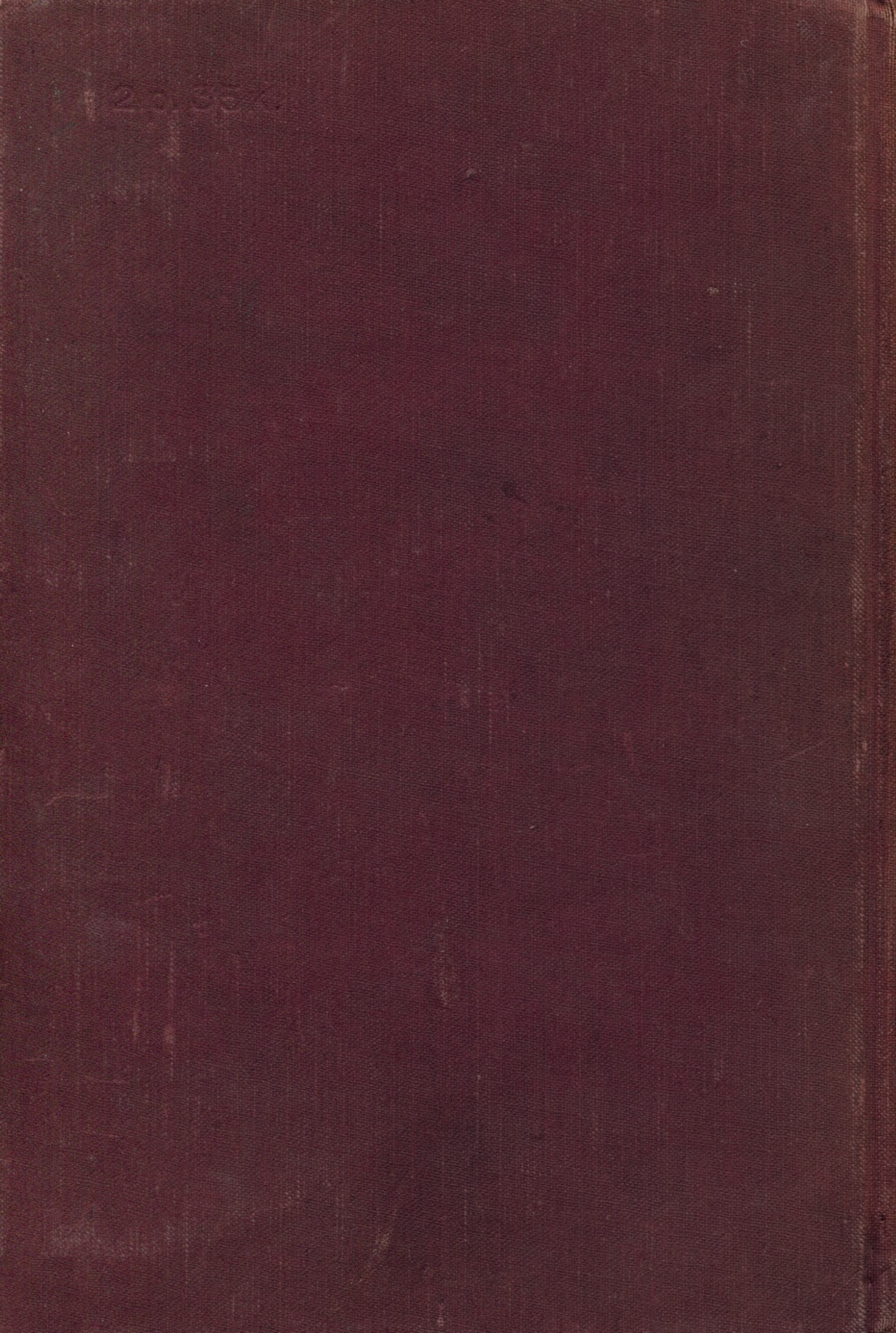
ПРАЖСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Редактор *М. ОБОРИНА*
Художник *В. Еремин*
Художественный редактор *Л. Шканов*
Технический редактор *С. Приданцева*

Сдано в производство 29/III 1966 г.
Подписано к печати 5/XI 1966 г.
Бумага $60\times90^{1}/_{16}$=$17^{1}/_{2}$ бум. л.
35 печ. л. + 1 вкл. Уч.-изд. л. 34,17
Изд. № 13/4687. Цена 2 р. 35 к. Зак. 354.

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Московская типография № 16 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, Трехпрудный пер., 9.


2 р. 35 к.